

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://prishvinmihail.ru/> приятного чтения!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин

I. Цвет и крест

Цвет и крест
(1-я редакция)

Вариант начала повести. Публикуется впервые по рукописи из архива М. М. Пришвина.

Прошедший год, чтобы достойно окончиться и исполнить меру всех нравственных оскорблений и пыток, представил нам страшное зрелище: борьбу свободного человека с освободителями человечества...

Герцен. «С того берега»

Часто вспоминаю с горечью эти февральские дни, когда я из бюро со своею починенной рукой снова вышел под пули. Днем по набережной под защитой домов я пробираюсь туда, где все решается, к Таврическому дворцу, вечером только закрою глаза – линия засыпанных снегом дворцов, и Нева, и Медный всадник проплывает, и так чисто, бело; я понимаю все, что делается в Белом городе, как прощение и народное воскресенье, моя присяга царю – равнодушное воспоминание церковного обряда с разведенной женой.

Утром старый Семеныч, курьер нашего ведомства, разбудил меня:

– Нынче, – сказал он, – приедет заместитель царя, велено вам приходиться.

Я вздрогнул, но тут же сразу и понял, что Семеныч заместителем царя назвал нового министра. Я спросил, нет ли в нашем переулке стрельбы, арестован ли пристав, а то не пройдешь.

– Фараоны все пойманы, – ответил курьер, – стрельба везде кончилась. Теплень! Народ высыпал. Газеты показались – читают! В церквах звон – обнимаются, будто в Светлое Христово воскресенье.

Воскресенье! вот правда-то: бывало, так в детстве только просыпаешься и, чуя великую радость, выглядываешь из полога, и вот они стоят, пасхальные игрушки: лошадки, пахнущие краской лучше ландышей, корзиночки с красными яйцами, заводная утка с музыкой... мило, ясно, светло, воскресенье, Светлое воскресенье!

Какая-то страшная тяжесть спала с плеч, целая гора, и чистенький, будто из яичка выключенный, я вышел из дому и прямо на Невский проспект.

Я вышел на Невский, и тут мне встретился странный человек в белых погонах с крестными нашивками и кружкой в руке; он стоял у Гостиного, как раз там, где, бывало, наши дяди Власы вычитывали свое: «Православные, в селе нашем сгорел храм...» Теперь на месте бородачей был бритый человек с отсутствующим взглядом, в солдатской зеленой рубашке с черными крестами на белых погонах и говорил постоянно одну фразу: «Товарищи, забудем личные интересы!»

«Зачем это, – подумал я, – нужно забывать личные интересы, когда тем и хорошо стало, что у каждого свой интерес пробудился и что можно для себя, то и нужно для всех». И еще я думал: «Грех рубить новый крест, когда старый отпал и стало хорошо жить так, по себе, на свободе». Досадно промелькнуло для меня этот воин модной Духовной армии, и, забыв его, в ту же минуту я присоединился к толпе, кто складывал в кучу и предавал сожжению императорские гербы.

Начиналась весна, и так захотелось мне побывать на больших наших разливах, послушать у воды колокольный звон, посмотреть на лугах цветы алые, синие, золотые... родина моя! Не раз во мгле грозящего мне смертного часа все живые силы мои собирались к ответу, и я отвечал на этом Суде, что не зарыл свой талант, а хранил непомятыми святыне земли моей; вот оно за лесами, за тундрами полуночное солнце – был я там, вон за сибирскими стенами и тайгой священные Белые воды – и там я был, и на синем небе за Каспием Желтые горы, и у нас тут, в сердце России, за Волгой Китеж невидимый град – везде я побывал, и сквозь боль свою везде видел радость, да, да! В этом и вижу оправдание свое на Суде, что свою боль умел перемочь и доходил до общего, и это общее была радость о будущем

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
своей широкой земли. Но теперь это все чувствуют просто, и для радости не нужно болеть, крест отпал, и все должно расцвести.

Обманулся я красотой белого цветка на болоте и прелестью зелени его окружающих трав, по шею в болоте стою с протянутой к белому цветку рукой, еще движение – и грязь польется мне в горло, еще движение – и уста мои умолкнут, полные грязью родной земли.

Вырвался, повидал Русь – нет ничего, обманула весна: везде раздоры, дележка, обманный крик на мираж: «Земля, земля!» – и нет земли, цвет измят, крест растоптан, всюду рубят деревья, как будто хотят себе рубить новый крест – орудие казни позорной. Хочу спрятаться в любимый свой город, где, бывало, так хорошо одуматься, в себя прийти, и тут, как в злую погоду на северном море, волны горой ходят, а люди на них, как щепки разбитой старой посуды: там, где весною радость была, теперь всякая мелочь наверх поднимается и выкрикивает то призывы к общему миру, то к гражданской войне, то к старой войне до полной победы, то просто кричит: «Авантюра!»

Смотрю на злые волны, и вот корабль спасения – с отсутствующим взглядом, с черными крестами на белых погонах тот странный человек с кружкой в руке и повторяет:

– Товарищи, забудем личные интересы!

Возле него раздаются листочки: «Спаситель скоро придет!», вон прилепили даже в трамвае, повыше: «Красный бал», пониже: «Спаситель скоро придет».

При близких выстрелах из пулемета с искаженным от злобы лицом один мелкий чиновник – я знаю, он хочет крикнуть сильное, как у Достоевского, слово «Убивец!», но выкрикивает ходячее название октябрьскому выступлению: «Авантюра!»

С холодной злобой отвечает рабочий:

– я обращаю авантюру на вас!

Два образованные скептика, указывая на листик «Спаситель придет», говорят, улыбаясь:

– Он придет во фраке из Месопотамии.

Духовный воин повторяет неустанно:

– Товарищи, забудем личные интересы.

А чиновник все кричит:

– Авантюра! А рабочий:

– Перестаньте, я вас застрелю! А я:

– Господи, помоги мне все понять, ничего не забыть [и ничего не простить!

Но кто же наш враг, кому не простить?][1]

Воля вольная

К нашему берегу на Васильевском острове приплыла барка с дровами, и рабочие всю улицу завалили швырком. Пока было тепло, в этих дровах совершалась Вальпургиева ночь. Теперь, осенью, треньканье балалайки кончилось, иногда слышатся отсюда выстрелы: раз, два! – потом, словно подумав, еще. Вчера мне это объяснили: воров расстреливают.

На дальней линии живет чиновница с дочерью, я снимаю у них комнату. Все мы трое потерпевшие: старуха лишилась пенсии, я – руки на войне, дочка, шестнадцатилетняя девочка, я зову ее Козочкой, служила машинисткой в бюро вместе со мной, теперь торгует газетами и помогает матери в очередях. Мы живем как раз у тех дров, где расстреливают воров, низко у моря. Когда я ухожу в город послушать, что в Смольном, или раздобыть продовольствия, то мне кажется, я высоко поднимаюсь: снизу размывает наш остров вода, сверху, как ветер, его

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru разрушают слова. Иногда, возвращаясь после бессонной ночи на рассвете, все слышанное я представляю себе воем осеннего ветра. Гонит ветер с войны призраки, души убитых, павших – за что? Они спрашивают смущенные сердца живых: «За что нас убили, за кого мы пали? за царя? – нет больше царя; за отечество?» Двенадцать Соломонов им отвечают на разные лады о том, как следует понимать отечество, что такое истинное отечество.

Слова падают мелкими камнями, рассыпаются мелким песком. Я слышу, один Соломон говорит:

– Русская революция виновата перед французской своим принципом бескровности, получается лицемерие: тут признается бескровность, а там самосуд.

Другой Соломон:

– Нужно открыть форточку, необходимо признать принцип крови.

Так возвращаясь домой, я будто спускаюсь все ниже и ниже, и вот на самом низу, возле булочной вижу свою старуху-хозяйку первой в хлебной очереди: во мгле осеннего рассвета сидит она на каменной ступени, в черном платке, неподвижная, как мертвая, и немигающими глазами смотрит на прекрасно вырисованные на дверях булочной булки и куличи.

Козочка спит. Бедная козочка! рано, бывало, весной поест чего-то и прыг! опять по революции до самого вечера, там, взявшись за руки с незнакомыми, идет, поет под красным знаменем; там залегла от пулемета между ступенями подвальной лавочки; и революция для нее проходит совсем как весна. Теперь козочка больше не прыгает, ей все противно на улице, и стрельба ненавистна, и злые товарищи – уже не люди. Только вдруг почему-то остановится на улице и вся просияет. Я в это посвящен: она видит своего кавказца. Нет ничего хорошего на свете, и холодно, и голодно, только на голодухе остается одна радость на свете – вот это видение: кавказец в папаше с кинжалом за поясом.

Грустно мне смотреть на похудевшую, истощенную козочку, несмело просится молитва какому-то неведомому Богу против неведомого врага: «Господи, помоги мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить».

Стынет в поле последний синий цветок. Вянет козочка среди злобы людской.

Молится в церкви священник: «Господи, умили сердца!»

А на улице, за оградой церковной кто-то спрашивает в темноте:

– Пришли хоть к какому-нибудь соглашению? Другой отвечает:

– Русский народ черти украли, с чертями не может быть у нас соглашения.

Козочка молится в церкви вслед за священником: «Господи, умили сердца!» А я по-своему за церковной оградой твержу свою подзаборную молитву: «Господи, помоги все понять, ничего не забыть и ничего не простить».

Или моя молитва оказалась сильнее? Бледная приходит ко мне козочка, бровки рожками, стала на какую-то свою тайную позицию, хочет Россию спасти.

– Кто у нас Марат?

– Ты что же, хочешь быть Шарлоттой Кордэ?

– Нечего смеяться, кто похож на зеленую жабу?

– А не хочешь убить обезьяну?

– Обезьяну... нет!

И опять, как с кавказцем, всюду ей мерещится зеленая жаба.

– Ерунда, – сказал я, – пойдем на Шаляпина.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

В этот страшный вечер думал ли кто из друзей моих в глубине России, что Шаляпин поет, что можно идти на Шаляпина?

Стреляли на улице, а он пел в эту ночь! Козочка хлопала и визжала: «Шаляпин, Шаляпин!» Отвел Господь сердце девочки, или долетела молитва из церкви «Господи, умили сердца»?

Радуюсь, что миновала злая чаша ребенка, а я для себя, ее старый дядька, твержу свою подзаборную молитву: «Господи, помоги все понять, ничего не забыть и ничего не простить!».

Нева черною смоляною водою в белом тумане плещет о пустые железные бакены, и кажется, где-то далеко пушки стреляют. Проходя тут по набережной, многие прислушиваются к этим звукам, принимают за выстрелы, начинают разговор о какой-то дикой дивизии, о каком-то корпусе, посланном с фронта выручать Петроград, о бунтующем флоте, который должен обстреливать эти войска с моря. Многие, рассеянно слушая глухие удары волн о железные бакены, начинают один и тот же разговор о том, кто освободит Петроград от тиранов.

Возле железных черных ворот нашего дома я хожу взад и вперед с винтовкой, из которой мне одной рукой невозможно стрелять: я охраняю жильцов нашего дома от нападений.

Подходит милый, душевно-внимательный человек и говорит мне:

– Вам нужно не отвертываться от стремления масс к немедленному миру, а идти с ними об руку, по пути разъясняя, что истинный мир – венец победителя.

Еще яснее он сказал после спора:

– Вам нужно использовать стремление масс к миру, и, когда массы поймут истинный мир, они создадут войско добровольцев.

– Зайцы, – ответил я, – всегда почему-то, убегая от собак, возвращаются на старое место, и там их встречает охотник.

Ушел душевно-внимательный человек. В дровах началась перестрелка: гремя украденными бутылками, бежали солдаты, матросы, последним, далеко отстав, спотыкаясь, падая, бежал человек на деревянной ноге и был очень похож на зайца с перебитой лапой; его быстро настигали красногвардейцы.

Вскоре подходит друг мой, когда-то запойный человек, ему предлагают дешево вина тысячу семьсот какого-то года. Друг мой протянул, было, руку и отдернул, будто обжегся.

Так на глазах моих прошло: человек на деревяшке выдержал испытание огнем, а вином не выдержал и превратился в зайца; друг же мой, заяц военный, выдержал испытание вином и стал похож на человека.

А душевно-внимательный мой приятель построил теорию использования стремления народных масс к миру... я ничего, ничего не могу понять в этих теориях теперь.

Темно и сыро. В тесном пролете я хожу взад и вперед, как, бывало, юношей ходил с постоянной мыслью, когда же освободят меня, когда мир освободится от власти тиранов, совершится всемирная катастрофа и пролетариат будет у власти. Мои воспоминания время от времени прерываются стуком в ворота, я спрашиваю имя, номер квартиры и пропускаю по одному. А потом явно вижу ошибку своей юности: и туда, в тот мир свободы, равенства, братства тоже пропускают по одному, такой высший завет – всех сразу, всю безымянную, безликую массу невозможно пропустить через железные ворота.

За воротами в дровах послышалась брань, жестокий спор, кто-то яростно стоял за правду и называл Керенского вором.

– А думаешь, Ленин не украдет? – слабо возражал другой.

– Не оправдается Ленин – и его на ту ж осинку. Потом началась в дровах потасовка.

- Насилие!
- Пикни еще – и еще увидишь насилие!
- Кто-то отчаянно кричал:
- Товарищи, мы православные!

Я открыл ворота и увидел: Горилла душила кого-то в дровах, потом она пошла к Неве и другой, измятый, скорченный, к Среднему, и опять все стало тихо, и опять я хожу и раздумываю о двух «мы»: мы – товарищи и мы – православные. И почему из русского человека, природу которого считали мягкой, женственной, вышла Горилла?

Я помню, на каком-то митинге говорили о Царстве Божьем на земле и мало-помалу перешли на богатство царя, и какой-то мещанин, бывший раз в Зимнем дворце, сказал, что у царя все золотое, и столики золотые, и подсвечники золотые и стены все отделаны золотом.

- А говорят, что все золото в Америке!

Ворвались теперь в Зимний дворец и давай выбивать из стен штыком золото, много, говорят, нашвыряли золота; когда рассвело, взяли в руки: бронза! и все бронзовое, и столики, и подсвечники.

Тогда зарычала Горилла:

- Обман!

И так не выходит: ни мы – православные, ни мы – товарищи, и скучает Архангел у закрытых врат Царства Божия на земле и на небе: не хотят туда идти люди поодиночке, называя свои имена, а всех вместе пустить невозможно.

Нужный человек вошел ко мне и просил документ для прописки. Я дал ему какую-то бумажку.

- Сколько вам лет?

Я ответил.

- Вероисповедание?

- Вольное.

Он усмехнулся и ждал.

- Свобода совести, – сказал я.

- А, между прочим, требуется, – ответил он.

- Ладно, – говорю, – православный.

- А звание?

- Гражданин.

- Я сам гражданин, – а из какой местности?

- Нате мой паспорт. – Очень обрадовался.

- И не стыдно вам, товарищ, – говорю, – на вашем месте я бы из-за одной гордости гражданина не взял бы в руки старого полицейского паспорта.

- Гордость, – сказал, – это нехорошо.

- Для вас, а мне она на пользу.

- Какая же может от гордости польза?

– Душевная.

– Не вижу.

Заспорили и пришли к выводу, что гордость на пользу барину, а смирение – слуге.

После этого разговора я думал: «Мы, русские люди, как гольши, скатались за сотни лет в придонной тьме, под путной водой катимся и не шумим. А что этот будто бы нынешний шум, это мы просто все зараз перекатываемся водою неизвестно куда – не то в реку, не то в озеро, не то в море-океан».

Растопырив свои бесчисленные составляющие проволоки, лежит на середине улицы оборванный кабель.

– Что это за паук? – спросил старый простой человек.

– Это, – отвечаю, – раньше власть государственная бежала по этому кабелю, а теперь, видите, лежит паук и никого не пропускает. Усмехнулся старый человек и так мне говорил о власти:

– Пришел человек ко власти, это все равно, что пришел к смертному своему часу богатый и при конце своем нужно ему распорядиться своим добром, кому что оставить и на какие надобности. Где власть, тут и смерть. Кто же во власти хочет для себя жить, тот не человек, а паук. Когда царь пал, я спросил: «А пауков вытащили? – Все, говорят, в тюрьме. – А из себя-то самих, говорю, лапки-ножки вытащили, сожгли?»

Ну, конечно, где тут, убейте паука, а ножки до зари шевелятся. Вот так и сейчас, но, когда настанет заря, нам неизвестно, и сами сторожа нашей тюрьмы ходят в тьме кромешной, и сторож сторожа спрашивает: «Скоро ли рассвет?»

Некоторые говорят: «Вот свет!» и показывают гробы, сверху окрашенные, внутри набитые костями мертвецов. Сторож сторожа спрашивает: «Скоро ли свет?» И косятся на гробы поваленные.

А вот если бы наша русская жизнь по-настоящему шла, то, я думаю, по-настоящему бы так нужно: пришел человек ко власти, это все равно, что пришел к концу своему богатый и при конце ему надо распорядиться своим добром, кому что оставить и на какие надобности, и никого в смертный час свой не обидеть, потому что, где власть, тут и смерть тебе.

Так говорил человек из града невидимого, из той староколенной Руси, которая скрыться может, но никогда не погибнет. Я спросил старца, как он думает вообще о нашей беде.

– Наши цари, – сказал он, – не думали о человеке, их царское дело было собирать вокруг себя землю, как можно больше земли и морей.

Задавила земля человека, встряхнулся он – и царь пал. Тогда все бросились разбирать по карманам рассыпанное царство, и <про> то, из-за чего свергли царя, про человека – забыли. Так и осталось славное русское царство и без царя, и без земли, и без человека.

– Мне кажется, – сказал я, – смирение русского народа достигло последнего предела, оно перешло по ту сторону черты, за которой нет креста: народ отверг и крест свой, и цвет свой, и присягнул во тьму. Меня учили на Руси все прощать – я учусь теперь не прощать. Я прошу молитв о непощении.

Старец усмехнулся и ничего не сказал о смирении.

– Что же нам делать? – спросил я.

Он ответил:

– Нужно собирать человека, как землю собирали цари.

– Какого человека, – спросил я, – общего?

– Я, – ответил он, – говорю о человеке, пример которого дал нам Господь Иисус Христос.

Сосед наш Иван Васильевич вдруг собрался уезжать куда-то в настоящую Россию со всем семейством, с малыши детшками и разными своими племянницами, падчерицами, а с вещами в квартире оставил Игнатъевну.

– Мое дело таковское, – сказала Игнатъевна, – я постерегу. Только вам все-таки, Иван Васильевич, скажу: ну, куда вы уезжаете от наказания, только ребятишек подавите, от наказания никуда не уйдешь, а Господь, может, и тут смилуется, врага отведет. Но вы, конечно, меня, старуху, не послушаете.

Любимец Игнатъевны Петька. До последней минуты не знала Игнатъевна, как трудно будет ей с ним расставаться. Едва на ногах держалась, а тут еще, когда сани тронулись, толкнули старуху. Грохнулась Игнатъевна в снег. «Стой!» – крикнул, было, Иван Васильевич. И одумался: «Поезжай скорей!»

Уехали хозяева от Игнатъевны хорошую Россию искать. Зачем уехали, куда уехали с малыши детьми? Разве есть на свете враг сильнее собственного и куда от него уйдешь: он везде.

Хожу в пустой квартире уехавших милых людей, сажусь у детского столика, исцарапанного их ножичком, и все думаю про маленького Петю, как мы в последний раз играли с ним в его зверюшек, и как-то все выходило у нас, что добрые звери людям путь указывали.

Кто-то звонит. Открываю – офицер: «Пожертвуете бедным офицерам». Игнатъевна и подает ему восьмушку хлеба. Офицер слов не находит, как поблагодарить. Всего у Игнатъевны пять фунтов хлеба: как шел паек на все большое семейство по восьмушке на душу, так и достается весь Игнатъевне, пока не разузнали. После офицера позвонился учитель, узнал от нас, что уехали, и разахался: «Да как же, да почему же так, сразу... и под конец, как многие теперь, на хлеб перешел, что вот как голодно, вот как трудно». Игнатъевна и ему немного отрезала.

Пришла курсистка-бестужевка, Сонина подруга Фифочка, ошиблась днем и тоже разахалась, что не простилась. Ей, бедной барышне, Игнатъевна, бывало, и раньше из своего собственного пайка что-нибудь дает. Отрезала, конечно, и ей.

Соседка – всегда голодная женщина пришла – соседке отрезала. От нее узнали разные жильцы и их ребятишки. Позвонятся, будто проведать: «Не скучно ли, Игнатъевна?»

Какая тут скука: дверь на петлях не стоит и все разговоры, и, уходя, раз десять спасибо скажут. Спрашивают: «Не скушно ли?», а на уме: «Хлебца бы». Игнатъевна всех наделяет без разбора, только уж как заметила, что валом валит народ, стала паек уменьшать и так раздала все, оставила только с наперсток себе на ужин; но под самый конец Мишка прибежал. Она вспомнила про Петьку, жалко ей стало мальчика, и Мишке, будто Петьке, свое последнее отдала.

С полкусочком сахару напилась чаю, стала на молитву: не пересчитать по пальцам, сколько народу накормила пятаю хлебами, Бога благодарила за счастливый день.

А что делалось на улице! Но Игнатъевна ничего не видела, ничего не слыхала, и даже не знала того, что ведь это же и было чудо насыщения пятаю хлебами.

Сегодня в столовой одну капусту в разных видах поел, выхожу голодный. «Дай, думаю, хоть трубочку покурю». Набиваю трубку на площадке у лестницы и вижу – малюсенький мышонок хочет юркнуть в какую-нибудь квартиру и не может: все двери заперты. Я думаю, глядя на мышонка: «Это голод еще не голод, будь по-настоящему, не оставил бы я его так». А сам начинаю почему-то этого мышонка гонять, стою на площадке и ногой ему навстречу дам и дам. Мышонок от меня по ступеньке и все боится прыгнуть и вдруг, шарах! через площадку и бух, дуралей! в пролет и с пятого этажа полетел вниз как плевок.

Спустился вниз, полюбопытствовал: лежит на спине мышонок и дрыгает ножками, и кажется – этих ножек у него Бог знает сколько! Посмотрел я на мышонка, взялся за ручку двери выходить, а навстречу мне с улицы трое военных.

– Подождите, – говорят, – не выходите, летит аэроплан, может бомбу бросить.

Из столовой выходит дама, тоже голодная и, видно, злющая. Военные и даму предупреждают.

– Русский аэроплан?

– Германский: белый с крестом.

– Ну, – говорит дама, – это ничего, германский бомбы не бросит, немцы теперь не с бомбами идут, вот вчера знакомый из Пскова приехал, рассказывал: бесплатно всем раздадут по коробке рисовой пудры и ревельских килек.

Военные же слушают даму, а сами вместе со мной на мышонка смотрят. Один военный говорит: «Вот мышонок!» Другой военный: «Свалился, убился! Подождите, и их есть будем, и до них дойдет черед».

– Что это, митинг?

– Какие теперь митинги!

– Хвост?

– Ржаные лепешки продают.

Конечно, я в хвосте, только очень велик хвост, боюсь, что время проведу, а ничего не достанется.

– Достанется всем! – отвечает спокойный голос, – вот еще корзинку несут.

Мало остается от второй корзинки, когда я подхожу. Кто продает, я не могу видеть, мелькают только руки его с деньгами и время от времени слышится его:

– Достанется всем!

– Сколько? – спрашивает.

– Две, а можно три?

– Хоть десять!

Купил десять. Дома все тянутся ко мне, из рук вырывают, а я им:

– Достанется всем!

– Тьфу, тьфу, тьфу! – Дети заплакали.

– Что такое?

– Земля!

Пробую: земля во рту. Смотрю на свет: глина пополам с тем, что на улице воробьи клюют.

Горько мне, говорю:

– Земля и воля.

Пробую нашей собачке Урсику дать – нос отвел.

– Земля!

– Земля и воля. Земля после воли.

Еще попробовал Урсику дать – не хочет.

– Земля!

Это достанется всем!

Урсика мы купили на Андреевском рынке маленьким щенком как водолаза и все ждали, что он поднимется, а он таким и остался навсегда, и вид имеет, будто на водолаза смотришь за версту в обратный бинокль.

Маленький-то маленький, а ест как большой. И загоревали мы с этой собакой, самим есть нечего, делим хлеб на ломтики между собой, раскладываем в коробочки, как сахар, а тут еще любимая собака заглядывает в рот и провожает тоскливо каждый кусок.

Невыносимо!

Мы отправились к фрау Гольц, большой любительнице собак, у нее знаменитые таксы, может быть, возьмет и Урсика.

– Собак моих больше нет, – сказала фрау Гольц, – я их усыпила.

Было неловко.

– Позвоните к ветеринару, он усыпит и Урсика.

– Жалко, фрау Гольц!

– Не надо жалеть – это ваш долг перед собакой.

Сказала «долг» и заплакала.

Мы вышли опечаленные.

Между тем Урсик исчез на целую неделю. Приходит веселый, толстый в новом ошейнике, пляшет, целуется. Сняли чужой ошейник, дали кусочек хлеба – не ест, даже от сахара отказался: он прибежал к нам не за едой, а по чистой любви. И вскоре опять исчез на неделю и опять веселый к нам возвращается, сытый, довольный, хвост пистолетом.

Мы второй сняли ошейник. Так у нас и пошло с Урсиком. Голод раздвоил даже собачью душу: у людей кормится, а нас целует и дарит свои ошейники.

У П. душа как страстная свеча при ветре в разорванном фонарике. Когда он приходит, я весь складываюсь лодочкой в страхе, что мое какое-нибудь неосторожное слово задует его огонек. И это уже бывало: его безумная поэма из темного дома у меня на столе. Он пришел теперь бледный, измученный, с каплями пота на прекрасном лбу. Я предложил ему есть, и он, слава Богу, в этот раз не постеснялся и за едой бормотал про какую-то «меньшевичку», встретилась ему на улице и дала записку куда-то, и там дали ему работу, простую, «физическую» (только бы не стихи!) в казарме; с радостью взял он метлу, но когда увидел, что красноармейцы были мальчиками, которых он должен бы учить, то вдруг бросил метлу: «Так нельзя, я мести за ними не могу!» На обратном пути опять встретилась меньшевичка, спрашивала, но он даже и не помнит, что такое ей наговорил, она не поняла, предложила рекомендацию в санаторию.

– Выход есть, – сказал я, – есть у меня новая, мне совсем ненужная пара – пойдем и заложим.

– На две недели, – обрадовался он, – через две недели я выкуплю.

Мы вышли на улицу. Тихо на улице, ни стрельбы, ни митингов, но это еще хуже: в тишине слышится муравьиный шаг приспособления, соглашения.

– Посмотрите, – сказал мой спутник, – какая там странная собака, как пьяная, шатается, вот и легла. Видите? корку бросили...

– На, – крикнул кто-то, – все равно околеешь скоро.

Так пожалел.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Смотрите, вот чудо: не взяла!

У собаки не было больше веры, что человек ей бросит настоящую корку, даже не поднялась, чтобы понюхать, или у собаки тоже перед концом является гордость?

Прохожий пихнул ее сапогом. Она поднялась и медленно пошла навстречу трамваю. Шел № 8, она легла на рельсы, и трамвай ее переехал.

Кто-то в публике сказал:

– Покончила самоубийством!

Кто-то прибавил:

– Даже собака!

Кто-то подумал: «А вот мы как-то живем, или у человека меньше гордости, чем у собаки?»

И подуманное, как нечаянный ветер из-за угла, дунул на страстную свечу. Мой знакомый вдруг бросился от меня в толпу и скрылся. Я искал его по всему городу, почему-то время от времени все возвращаясь на то же место, где торчала из-под снега лошадиная нога, и, казалось, грозила отсюда на [ту] сторону Медному всаднику. Мне всю эту ночь снилось, что Горилла гоняла по городу лошадиной ногой Медного всадника.

Цвет и крест
(2-я редакция)

Вариант начала повести. Публикуется впервые по рукописи из архива М. М. Пришвина

Варианты названий:

Голодные рассказы

Подзаборная молитва

Записки безрукого офицера

Остров Благополучия. К нашему берегу на Васильевском острове приплыла барка с дровами, и рабочие всю улицу завалили швырком. Пока было тепло, в этих дровах совершалась Вальпургиева ночь. Теперь, осенью, треньканье балалайки прекратилось, иногда слышатся отсюда выстрелы: раз и два! – потом, словно подумав, еще. Вчера мне это объяснили: расстреливают воров.

На дальних линиях нашего острова, у моря, в бедности великой живет чиновница с дочерью, я снимаю у них комнату. Все мы трое – потерпевшие: старуха лишилась пенсии, я – руки на войне и места в революции, дочка, шестнадцатилетняя девочка, я зову ее Козочкой, служила машинисткой вместе со мной, теперь с утра до ночи стоит, торгует газетами и помогает матери стоять в очереди.

Мы живем низко у моря, и когда я уйду в город, то будто поднимаешься в гору высоко, и на самом веру Смольный дворец. Снизу любимый мой город размывается морем, сверху его, как ветер, разрушают слова.

Время от времени я отправляюсь к своим богатым знакомым раздобывать своим хозяевам какое-нибудь продовольствие, но богатых остается все меньше и меньше, и тогда мне представляется, будто я поднимаюсь куда-то в гору и весь город будто расположен на скалистом острове.

Большой город всегда похож на остров-твердыню состоятельных людей, окруженных морем нужды. Прошлый год перед восстанием на этом острове – было у меня человек десять знакомых состоятельных людей: они жили так же, как теперь живут в Англии, почти не чувствуя войны через недостатки продовольствия. Теперь же из этих домов у меня осталось только три – вот как сильно за это время размылся Остров Благополучия.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Снизу остров подмывается морем нужды, людьми, не имеющими возможности выбраться, сверху, как ветер, его разрушают слова. Некоторые дворцы стали теперь огромными фабриками, день и ночь производящими слова.

Так в схеме я представляю себе наш Остров Благополучия, как выходящий из моря усеченный конус, по сторонам которого в трепете живет буржуазия, а на верхней площадке стоит Смольный – дворец Дон-Кихота. Часто из Смольного я возвращаюсь только на рассвете, и по пути после бессонной ночи все слышанное мне кажется воем осеннего ветра. Гонит ветер с войны призраки, души убитых, павших за что? Они спрашивают смущенные сердца живых: «За что нас убили, за кого мы пали, за царя? – Нет больше царя. – За отечество?» И им с вершины Острова Благополучия двенадцать Соломонов отвечают на разные лады о том, как нужно понимать отечество, что такое отечество.

Слова падают мертвыми камнями, рассыпаются мелким песком. Я слышу, один Соломон говорит: «Русская революция виновата перед французской своим принципом бескровности, получается лицемерие: тут признается бескровность, а там самосуд».

Другой Соломон отвечает: «Нужно открыть форточку, необходимо признать принцип крови».

Так возвращаюсь я домой и будто спускаюсь все ниже и ниже, и вот на самом низу, возле булочной вижу свою старуху-хозяйку первой в каждой очереди: во мгле осеннего рассвета сидит она на каменной ступеньке, в черном платье, неподвижная, как мертвая, и немигающими глазами смотрит на прекрасно вырисованные на дверях булочной булки и куличи.

Козочка. Грянула пушка. В восторге прибежала к нам Козочка.

– Вот какое ядро над самой головой пролетело!

И показала руками диаметр ядра аршина в полтора.

Козочке только шестнадцать лет, ни одной колючей идейки в голове, «позиции» ее не занимают даже перед зеркалом, «партии» не интересуют даже романические.

Бывало, весной, прибежала, поела чего-то – и прыг прямо по революции до самого вечера. Там, взявшись за руки с незнакомыми людьми, идет под красным знаменем и поет: «Мы жертвами пали», там залегла от пулемета между ступенями подвальной лавочки. И революция для нее наступает, и проходят первые дни, как весна.

Теперь, глубокой осенью, Козочка больше не прыгает, ей все противно на улице: и стрельба ненавистна, и злые товарищи – уже не люди. Только вдруг почему-то остановится на улице и вся просияет. Я в это посвящен: она видит своего легендарного кавказца. Нет ничего хорошего на свете, и холодно, и голодно, только на голодуху одна остается радость – вот это видение кавказца в папаче с кинжалом за поясом.

Грустно мне смотреть на похудевшую, истощенную Козочку, несмело просится живая молитва какому-то незнакомому Богу: «Господи, помоги все понять, ничего не забыть и не простить».

Раньше у меня было всегда, что понять – значит забыть и простить. Теперь я хотел бы молиться о мире всего мира, а в душе – только бы не забыть, только бы не простить!

Стынет в поле последний синий цветок. Вянет Козочка среди злобы людской.

Молится в церкви священник: «Господи, умили сердца!»

А на улице за оградой церковной кто-то спрашивает в темноте:

– Пришли хоть к какому-нибудь соглашению? Другой отвечает:

– Русский народ черти украли, с чертями не может быть у нас соглашения.

Козочка молится в церкви вслед за священником: «Господи, умили сердца!» Я

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
по-своему за церковной оградой творю свою подзаборную молитву: «Господи, помоги все понять, не забыть и не простить!»

Или молитва моя сильнее церковной? Бледная приходит ко мне Козочка, бровки рожками, нос холодный, стала на свою какую-то тайную позицию, задумала Россию спасти.

– Кто у нас Марат?

– Ты что же, хочешь, как Шарлотта Кордэ?

– Нечего смеяться, кто Марат – Ленин, Троцкий, кто похож на зеленую жабу?

– На жабу никто не похож, может быть, ты хочешь убить обезьяну?

– Обезьяну?

– Нет!

И опять как с видением легендарного кавказца, всюду мерещится Козочке зеленая жаба.

– Ерунда! – сказал я решительно, – пойдем на Шаляпина. В этот страшный вечер, думал ли кто-нибудь из друзей моих в глубине России, что Шаляпин поет, что можно идти на Шаляпина!

Стреляли на улицах, а мы шли, и он пел, как он пел в эту ночь!

Козочка хлопала и визжала: «Шаляпин, Шаляпин!»

Кажется, на время она совсем забыла про зеленую жабу. Отвел Шаляпин сердце девочки, или долетела молитва из церкви: «Господи, умили сердца!»

Радуюсь я, что миновала злая чаша ребенка, а для себя, ее старый дядька, твержу свою подзаборную молитву, обращенную к неведомому Богу: «Господи, помоги мне все понять, и ничего не забыть, и не простить!»

Корабль спасения. Криком вырывается моя новая молитва, вырвется – и я думаю: «Но кому же не простить, кто мой враг?»

Покойная матушка учила меня с колыбели так жить, чтобы все прощать и все забывать. Как же я теперь смею так, и отчего это вышло? Утомленный, закрываю в постели глаза, и, как той прошлогодней весной, проплывают в стройном порядке тонкими четкими видениями засыпанные снегом здания любимого города, встают ярко первые дни, когда я, с починенной рукой, покинул Бюро и вышел снова под пули.

Днем по набережной под защитой домов я пробираюсь туда, где все решается, вечером, только закрою глаза – линия засыпанных снегом дворцов, и Нева движется, плывет, и Медный всадник, и та сторона, все проходит чистое, белое. Так я понимаю, все это делается в Белом городе как прощение и народное воскресение, моя присяга царю – равнодушное воспоминание церковного обряда с разведенной женой.

Старый Семеныч, курьер нашего ведомства, однажды утром разбудил меня:

– Нынче, – сказал он, – приедет заместитель царя – ведено вам приходиться.

– Как царя! – Я вздрогнул, но тут же сразу и понял, что заместителем царя Семеныч назвал нового премьер-министра.

Семеныча я спросил, нет ли в нашем переулке стрельбы, арестован ли пристав, а то не пройдешь.

– Фараоны все пойманы, – ответил курьер, – стрельба везде кончилась. Теплынь! Народ высыпал.

Газеты показались, везде читают. В церквях звон – обнимаются, будто Светлое

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Христово Воскресение. Воскресение! вот правда-то: бывало, так в детстве, только проснешься и, чуя великую радость, выглядываешь из полога, и вот они стоят, пасхальные игрушки, лошадки, пахнущие краской лучше ландышей, корзиночки с крашеными яйцами, заводная утка с музыкой... Мило, ясно, светло, воскресенье, Светлое воскресение!

Какая-то страшная тяжесть спала с плеч, целая гора, и чистенький, будто из яичка выключен, я вышел из дома и прямо на Невский проспект.

В то время встретился мне один странный человек в белых погонах с черными крестными нашивками и кружкой в руке. Он стоял у Гостиного, как раз там, где, бывало, наши дяди Власы вычитывали: «Православные, в селе нашем сгорел храм!»

Теперь на месте бородачей был человек бритый, с отсутствующим взглядом, в солдатской зеленой рубашке, с черными крестными нашивками на белых погонах и говорил: «Товарищи, забудем личные интересы!»

На радостях ему хорошо подавали, и он не «Спаси Господи!», как Власы, а просто отвечал: «Благодарю».

Я посмотрел на этого воина духовной армии и подумал тогда: зачем это нужно забывать личные интересы, когда тем и хорошо стало, что каждому теперь зажить можно по-своему на радость и для себя, как для всех, и что каждому можно, то и нужно для всех.

И разве это не грех – рубить новый крест, когда старый отпал и стало можно жить хорошо, так, по себе, на свободе?

Тень старого креста промелькнул для меня этот воин какой-то духовной армии, и, забыв его в ту же минуту, я присоединился к тем, кто складывал в кучу на Невском и предавал сожжению императорские гербы. Вокруг начиналась весна, и мне захотелось быть там, где шла покойная мать моя, где на много верст бывают разливы, по разливам слышится звон колоколов, потом начинаются цветы на лугах: золотые, алые, синие. Родина моя, Россия, на западе в болотах, не знаю ясно, где начинается, на Востоке Белые воды, на юге Желтые горы, на севере люди в океане и полуночное солнце. Не вижу ясно, где начинается, где кончается страна моя, но везде был крест, теперь я жду – везде встречу цвет.

И нет ничего! Обманула весна, везде раздоры, дележки, скорый побег на захват, обманный крик на мираж: «Земля, земля!» – и нет земли, цвет измят, крест истоптан, всюду рубят деревья, как будто хотят рубить себе из них новый крест – орудие казни позорной.

И вот уже осень! Возвращаюсь я к себе в любимый когда-то город. Теперь тут, как на северном море, в злую погоду злые волны ходят высокой горой, и такой пустяковиной плывет по ним какой-нибудь обломок-поторчина, то подымет, то опустит. Так осенью на улицах, где весной радость была, теперь, будто злые волны ходят, мелкий люд поднимается на них и вскрикивает то призывы к общему миру, то к гражданской войне, то к старой войне до полной победы.

Смотрю на злые волны и вижу, будто корабль спасения проходит, в тени бортов его из волн тянутся руки утопающих – нет! – прожектор освещает далекое пространство, а возле темно – отсутствующим взглядом проходит, будто корабль спасения, тот встреченный мной в первые дни революции странный человек с крестными нашивками на погонах и кружкой в руке и все повторяет: «Товарищи, забудем личные интересы!»

Вокруг него раздают листочки: «Спаситель скоро придет!» Вон прилепили даже в трамвае, повыше: «Красный бал». Пониже: «Спаситель скоро придет!»

При близком выстреле пулемета с искаженным злобой лицом какой-то чиновник, я знаю, он хочет крикнуть, как у Достоевского: «Убивец!» Но слово настоящее не находится и вместо «убивец!» он кричит общее название октябрьскому выступлению:

– Авантюра!

С холодной злобой отвечает рабочий:

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Я обращаю авантюру на вас!

Кто-то с улыбкой, указывая на листик «Спаситель скоро придет!», говорит:

– Он придет во фраке из Месопотамии.

Ничего не слышит, ничего не видит нашего земного человек с крестными нашивками на погонах. Он говорит вслух:

– Товарищи, забудем личные интересы!

А я про себя: «Господи, помоги мне все понять, ничего не забыть и не простить».

Но кому, кто наш враг?

– Авантюра! – кричит чиновник.

– Перестаньте, – говорит Галифе, – я вас застрелю.

Ключ и замок. Нева плещется о пустые желтые бакены, и от этого кажется, будто вдали на море из пушек стреляют. Многие проходят здесь, прислушиваются к этим звукам и принимают за выстрелы, начинают разговор о дикой цивилизации, о каком-то корпусе, посланном с фронта выручать Петроград, о бунтующем флоте, который должен обстреливать наши войска с моря. Многие, проходя здесь и слушая рассеянно глухие удары волн о железные бакены, начинают один и тот же разговор о том, кто освободит Петроград от тиранов.

Возле железных черных ворот нашего дома я хожу взад и вперед с винтовкой, с винтовкой, из которой не могу стрелять: охраняю жильцов нашего дома от нападений. В тесном пролете я хожу взад и вперед, как, бывало, юношей ходил с постоянной мыслью о том, когда же освободят меня, когда мир освободится от власти тиранов, совершится всемирная катастрофа и пролетариат будет у власти. Мысли мои, воспоминания время от времени прерываются стуком в железные ворота. Я спрашиваю имя, номер квартиры и пропускаю по одному. А потом ясно вижу ошибку своей юности: и туда, в тот мир, в тот мир свободы, равенства, братства тоже пропускают по одному. Такой высший закон: всех сразу, всю безликую, безымянную массу невозможно пропустить через железные ворота. Доказательство налицо: совершилась мировая катастрофа и наступила диктатура пролетариата, а жизнь стала невыносима, и лучшие часы свои я должен проводить в тесном пролете двора с винтовкой, из которой не могу стрелять.

За воротами в дровах послышалась брань, жестокий спор, кто-то яростно стоял за правду и называл Керенского вором.

– Думаешь, Ленин не украдет? – слабо возражал ему кто-то.

– Не оправдается Ленин – и его на ту же осинку.

Потом началась в дровах возня и потасовка.

– Насилие!

– Пикни еще – и увидишь насилие!

Кто-то отчаянно закричал:

– Товарищи, мы православные!

Я открыл ворота и увидел Гориллу, она душила кого-то, а из-за дров кричали:

– Товарищи, мы православные!

Потом Горилла пошла к Неве, кто-то измятый, скорченный – к Среднему, и все стало тихо, и я опять хожу и раздумываю о двух «мы»: мы – товарищи и мы – православные. И о том, как это странно и неестественно сочеталось в одно: мы, товарищи, православные.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

А в итоге из русского человека, природу которого во всем мире считали за мягкую, женственную, вышла Горилла.

Смирным людям, униженным и оскорбленным, Достоевский давал утешение: «Терпите, Константинополь будет наш! Се буде, буде!»

И жили, терпели, и много делали доброго, пока недостижимый идеал не приблизился: иностранный флот вошел в Дарданеллы, русские войска готовы были ворваться в Болгарию. В это время один профессор в «Биржевых Ведомостях» предсказывал тем, кто имеет дачу в Крыму: обесценятся эти дачи потому, что каждому интереснее устроить свой уют на Босфоре.

Сентиментальная серая обезьяна протянула свои лапы в город невидимый и стыдливо спряталась: мы – православные.

Так случилось и с другой половиной ночного крика в дровах: мы – товарищи!

На каком-то митинге говорили о Царстве Божьем на земле и мало-помалу перешли на богатство царя, и кто-то, какой-то мещанин, бывший раз в Зимнем дворце, сказал, что у царя во дворце все золотое: и столики золотые, и подсвечники по столикам золотые, и стены все отделаны золотом.

– А говорят, что все золото в Америке.

Ворвались теперь в Зимний дворец, и давай выбивать штыком из стен золото. Много, говорят, нашвыряли золота, взяли в руки – бронза! И столики, и подсвечники медные. Тогда зарычала Горилла: «Обман!»

И так не вышло ни «мы православные», ни «мы товарищи». И скучает Архангел у закрытых врат Царства Божьего на земле и на небе: не хотят туда идти люди поодиночке, называя свои имена, а всех разом пустить невозможно.

1 декабря. Пришел ко мне простой человек и такими словами сказал о нашей беде:

– Цари наши не думали о человеке, их царское дело было собирать вокруг себя как можно больше земли и морей. Задавила земля человека, стряхнулся он, и царь пал. Тогда все бросились разбирать по карманам рассыпанное царство, а <про> то, из-за чего свергли царя, – про человека – забыли. Так и осталось славное русское царство и без царя, и без земли, и без человека.

И еще сказал мне гость:

– Смирение русского народа достигло последнего предела, оно перешло по ту сторону черты, за которой нет креста: народ отверг и крест свой, и цвет свой и присягнул во тьму.

– Что же нам делать? – спросил я.

Он ответил:

– Нужно собирать человека, как землю собирали цари.

На это я возразил:

– Теперь все говорят про человека.

– Про французского человека, – перебил меня гость, – я же говорю про человека, пример которого дал нам Господь Иисус Христос.

5 декабря. Сегодня говорил мне философ, приехавший из глуши разделенной России:

– Пришел человек к власти, это все равно, что пришел к своему смертному часу богатый и при конце этом ему нужно распорядиться своим добром, кому что оставить и на какие надобности. Где власть, тут и смерть. Кто же во власти хочет для себя жить, тот не человек, тот паук, и за гибель его, как за паука, сорок грехов прощается. Я, бедный русский человек, знал злость только паучиную, но с царем ее

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru не смешивал. Когда царь пал, я спросил: «А пауков вытащили? – Все, – говорят, – в тюрьме. – А из себя-то самих – их лапки-ножки изъяли, сожгли?» Ну, конечно, где тут! Известно, как у пауков с их ножками: оборвите, бросьте, – они все дрыгают. «Так, – говорят, – они, до зари шевелятся, но когда настанет заря – нам неизвестно, и сами сторожа нашей тюрьмы ходят во тьме кромешной, и сторож сторожа спрашивает: „Скоро ли рассвет?“» Некоторые говорят: «Вот свет!» И показывают гробы повапленные, сверху окрашенные, внутри набитые костями мертвецов. Сторож сторожа спрашивает: «Скоро ли свет?» – и косятся на гробы повапленные.

А вот если бы наша русская жизнь по-настоящему шла, то, я думаю, по-настоящему так же должно: пришел человек к власти – это все равно, что пришел к концу своему богатый и при конце своем ему нужно распорядиться добром, кому что оставить и определить, на какие надобности оставить, и никого в смертный час свой не обидеть, потому что, где власть – тут и смерть тебе.

20 января. Один гость наш сказал:

– Русскую землю нынче, как бабу, засек пьяный мужик и свет – лучину, которая горела над этой землей, задул. Теперь у нас нет ничего и человеческие произведения не с чем сравнивать.

– Тьма над русской землей, – сказал второй гость, – похожа на тьму в дни распятия.

– Нет! – возразил первый, – та тьма понятная, человеческая, а мы не знаем, из-за чего наша тьма. Свершилось, а что свершилось нам неизвестно, и в какую сторону молиться – никто не знает.

Со скорбью сказал первый гость:

– Вы, кажется, совершенно отчаялись, совершенно не верите?

– Я верю, – ответил первый, – но мне кажется, я не должен верить. Эта вера – остаток моего не совсем разграбленного имущества, как у обывателя, которого обобрали до костей, а он все еще из-за чего-то шабаршит. Я своей веры стесняюсь. Нет, наша тьма не евангельская, тьма без всякого поучения, непереходимый овраг, сквозная трещина вниз до Америки.

Опять сокрушенно сказал первый гость:

– Вы отчаялись!

– Нет, я не отчаялся. Я живу с особенным интересом и очень хотел бы хоть одним глазком посмотреть на внуков. Мне кажется, что скоро нас погонят выгребать из хлева свиной навоз и возить на указанное место. Вырастут на этом месте цветы, и дети прибегут сюда играть. Где-нибудь в сторонке из хлева выгляну я, старый, навозный. Мальчик позовет меня: «Дедушка, это какой цветок, какие у него лепесточки?» Я скажу: «Деточка, это лепесточек у цветка от Духа Святого». Ребенок спросит меня: «А есть мамин ластик?» – «Вот, скажу, и мамин ластик, и папин». – «Как же это, дедушка, – спросит мальчик, – я слышал, будто маму мою пьяный мужик засек кнутом, и папину лучинку задул». – «Ничего, – скажу, – он засек и задул, а листочки все-таки выросли, и мамыны есть, и папины, и от всех родственников, и православных христиан, и от всяких вер и народов всего мира, – вон сколько их – поди, сосчитай!» – «Как хорошо!» – скажет мальчик.

И я ему скажу, что очень хорошо на свете жить.

Он побежит по дорожке, а я пойду в хлев.

Так я и понимаю наше время, русский народ гонят хлев чистить – очень много накопилось навозу. Я знаю, что вычистить необходимо и прошу одного, чтобы хоть старым дедушкой из хлева одним глазком на ребят посмотреть.

Нужный человек вошел ко мне и просил представить документ для прописки. Я дал ему командировочное удостоверение.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Сколько вам лет? – спросил он.

Я ответил.

– Вероисповедание?

– Зачем вам моя вера? Церковь отделена от государства, совесть свободна.

– Это все верно, а, между прочим, нам это требуется.

– Ладно, – говорю, – православный.

Очень обрадовался, по всему видно – православных уважает.

– А звание?

– Ну, звание не скажу, как хотите, не скажу: я – гражданин.

– Гражданин товарищ, это верно, я это сам признаю. А из какой местности, гражданин?

– Российской.

– Какой губернии?

Потом уезда, волости, деревни. Как дошел до деревни, я вспомнил о паспорте:

– У меня, говорю, кажется, паспорт есть, не нужен ли? Как он обрадовался! А я ему:

– И не стыдно вам этим заниматься, товарищ? Для чего же мы освобождались? Будь я на вашем месте, так по одной гордости гражданина не взял бы в руки полицейского паспорта.

– Гордость, – сказал он, – это нехорошо.

– Для вас, – отвечаю, – вы везде нужный, вам гордость вредна, а мне гордость на пользу.

– Какая же, – удивляется он, – может быть человеку от гордости польза?

– Конечно, не денежная – душевная польза.

– И душевной пользы не вижу в гордости.

– А вот есть!

– Не знаю...

Мы заспорили и, в общем, пришли к выводу, что гордость на пользу барину, а смирение – слуге. Я думаю после этого разговора: «Мы, русские люди, как голюши, скатались за сотни лет в придонной тьме, под мутной водой катимся и не шумим. А что этот будто бы нынешний шум – это мы просто все зараз перекатываемся водой неизвестно куда – не то в реку, не то в озеро, не то в море-океан».

3 февраля. Разговаривать больше нечего, все опротивело, а вот растет толпа и сбивается обычное шествие «многоножки».

– Митинг?

– Какой тут митинг!

– Хвост?

– Лепешки ржаные продают.

Я, конечно, в хвост и боюсь, что опоздаю, и ничего не достанется мне, а времени

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
напрасно много пройдет.

– Достанется всем, – отвечает спокойный голос, – вон еще корзину несут.

Мало остается и от второй корзины, когда я подхожу. Кто продает, я не могу видеть, мелькают только руки его с деньгами и время от времени слышится его:

– Достанется всем!

– Сколько? – спрашивает.

– Две, а можно три?

– Хоть десять!

По восемь гривен: за десять – восемь рублей! и нисколько не жалко, и двадцать отдал бы.

Дома все тянутся ко мне, из рук хотят вырвать. И я им, как тот продавец, повторяю:

– Достанется всем!

Я не знаю, как продавец, что достанется, а повторяю его слова:

– Достанется всем!

И вдруг:

– Тьфу, тьфу, тьфу!

Дети заплакали.

– Что такое?

– Земля!

Пробую: земля во рту. Смотрю на свет: глина пополам с тем, что на улице воробьи клюют. Горько мне, говорю:

– Земля и... воля: за это-то в тюрьме отсидел: воля, а вот земля... Попробовали собачке Урсику дать – нос отвел.

Земля!

Рассеяно повторяю: «Земля и воля». А меня поправляют: «Воля и земля: сначала была воля – отсидел, а теперь земля».

Еще раз попробовал Урсику дать, опять нос отвел. Земля!

И голос продавца мне ясно вспоминается: «Этого достанется всем!»

20 марта. У П. душа, как страстная свеча при ветре в разорванном фонарике. Когда он приходит, я весь складываюсь лодочкой в страхе, что мое какое-нибудь неосторожное слово задует его огонек. И уже бывало: его безумная поэма из темного дома у меня на столе.

Он пришел теперь бледный, измученный, с каплями пота на прекрасном лбу. Я предложил ему есть, и он, слава Богу, в этот раз не постеснялся и за едой бормотал про какую-то «меньшевичку» – встретила же ему на улице и дала записку куда-то, и там дали ему работу, простую, «физическую» (только бы не стихи!) в казарме. С радостью взял он метлу, но когда увидел, что красногвардейцы были мальчишки, которых он должен бы учить, то вдруг бросил метлу: «Так нельзя, я мести за ними не могу!». На обратном пути опять встретила же меньшевичка, спрашивала, но он уже и не помнит, что такое ей наговорил, она не поняла и предложила рекомендацию в санаторий.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Выход нашлся простой. Я предложил поэту заложить мой новый костюм и вместе с его закладом у нас получится двести рублей.

Вот мы идем с поэтом в ломбард по весенней улице и отрывочно говорим:

- Весна!
- Ну, какая весна: черная.
- А соловьи все-таки прилетят!
- Все равно, весна будет черная.

Вспоминается прошлогодняя весна. Я жил в саду. В мае зацвели пышные яблони. Вдруг мороз, и все белое стало черным. Так и опять весна будет черная.

Вот на улицах мир: больше не стреляют, муравейник людской куда-то перебирается, занят делишками тайными. На улицах тишина, не чувствуется, что где-то за кулисами совершается всюду нечто гораздо худшее, чем стрельба: всеобщая сделка с совестью, размен человека.

На панель, по которой идем мы, выходит собачка очень странного вида, как пьяная, шатается и ложится. Кто-то бросает ей корку: «На, все равно скоро помрешь!»

Но у собаки не было уже веры, что это настоящая корка; она даже не поднялась, чтобы понюхать, а может быть, и у собаки перед самым концом оказалось что-то вроде собачьей гордости: не тянулась за коркой.

Другой прохожий пнул ее сапогом. Она поднялась и медленно пошла навстречу трамваю. Шел номер 8. Она легла на рельсы, и трамвай ее переехал.

Кто-то в публике, ожидавшей трамвай, сказал:

- Покончила самоубийством.

Кто-то прибавил:

- Даже собака.

Кто-то подумал:

- А вот мы как-то живем... или у человека меньше гордости, чем у собаки?

Мышонок. Сегодня в столовой одну капусту в разных видах поел, выхожу голодный: «Дай, думаю, хоть трубочку выкурю». Набиваю трубку на площадке у лестницы и вижу – малюсенький мышонок хочет юркнуть в какую-нибудь квартиру и не может: все двери заперты. Я думаю, глядя на мышонка: «Это голод – еще не голод, по-настоящему – не оставил бы я его так». А сам начинаю почему-то этого мышонка гонять, стою на площадке и ногой ему навстречу дам и дам. Мышонок от меня к ступеньке и все боится прыгнуть, и вдруг – шарах! через площадку и, дуралей, бух! в пролет, и с пятого этажа полетел как плевок.

Спустился я вниз и полюбопытствовал: лежит на спине мышонок и дрыгает ножками, и кажется, ножек этих у него Бог знает сколько.

Посмотрел я на мышонка, взялся за ручку двери выходить, а навстречу мне с улицы трое военных.

- Подождите, – говорят, – не выходите, – летит аэроплан, может бомбу бросить, тут безопасней от осколков.

Из столовой выходит дама, тоже голодная и, видно, злющая. Военные предупреждают даму.

- Русский аэроплан, – спрашивает дама, – или германский?
- Германский: белый, с крестом.

– Ну, – говорит, – это ничего, германский аэроплан бомбы не сбросит, немцы теперь не с бомбами идут, вот, вчера знакомый из Пскова приехал, рассказывал: бесплатно всем раздают по коробке рисовой пудры и ревельских килек.

Военные же слушают даму, а сами вместе со мной на мышонка смотрят. Один военный говорит:

– Вот мышонок!

Другой военный:

– Свалился, убился!

Третий военный:

– Подождите, и их есть будем, и до них дойдет.

Насыщение пятаю хлебами. В суете последних минут перед чем-то наши русские люди перестали ясно понимать, кто наш враг и кто друг, оставаться ли под немцами или уезжать куда-то в настоящую Россию.

Сосед наш Иван Васильевич поднялся уезжать со всем семейством, с малыши ребятами и разными племянницами и падчерицами, с вещами в квартире оставил Игнатъевну.

– Мое дело таковское, – сказала Игнатъевна, – я постерегу. Только вам все-таки, Иван Васильевич, скажу: ну, куда вы уезжаете от наказания? Только ребяташек подавите. От наказания не уйдешь, а может, еще Господь смилуется, врагов отведет.

– Нет, Игнатъевна, теперь не отведет, дело ясное, ведь они, бабушка, не идут, а едут.

– Ну, что же едут: захочет Господь – и укажет им дорогу назад, как французу. А не захочет Господь – ну, что же? Стало быть, виноваты.

Любимец Игнатъевны Петька. До последней минуты не знала она, как трудно ей с ним расстаться. Когда усаживала, едва на ногах держалась, а тут еще сани вдруг тронулись, толкнули старуху. Грохнулась старуха в слезах на снег.

Крикнул, было, Иван Васильевич: «Стой!» И одумался: «Поезжай скорее!»

Уехали хозяева от Игнатъевны хорошую Россию искать. Зачем уехали, куда уехали с малыши детьми! Разве есть какой-нибудь враг на свете страшнее своего собственного, и куда можно убежать от себя самого?

Хожу в пустой квартире уехавших милых людей, сажусь у детского столика, исцарапанного их ножичками, и все думаю про маленького Петю, как мы последний раз играли с ним в его зверушек, и как-то все выходило у нас, что добрые звери людям путь указывали...

Кто-то звонит. Открываю – офицер.

– Пожертвуйте бедным офицерам!

Игнатъевна и подает ему восьмушку хлеба, а офицер слов не находит, как ему поблагодарить старуху.

Всего у Игнатъевны пять фунтов хлеба: как шел паек на все большое семейство по восьмушке на душу, так и достался весь, пока не разузнали, Игнатъевне.

После офицера позвонился учитель, узнал, что уехали и разахался: да как же, да почему ж, так сразу... И под конец, как многие нынче, на хлеб перешел, что вот как голодно, вот как трудно.

Игнатъевна и ему немного отрезала.

Пришла курсисточка-бестужевка, Сониная подруга Фифочка, ошиблась днем, и тоже রাখалась, что не простилась. Ей, бедной барышне, Игнатъевна, бывало, и раньше из своего собственного пайка что-нибудь даст. Отрезала, конечно, и ей.

Соседка, всегда голодная женщина, пришла – соседке отрезала. От нее узнали разные жильцы и их ребятишки. Позвонятся, будто проведать: «Не скушно ли, Игнатъевна?»

Какая тут скука: дверь на петлях не стоит, и все разговоры, и, уходя, раз десять спасибо скажут. Спрашивают: «Не скушно ли», а в уме: «Хлебца бы!»

Игнатъевна всех наделяет без разбора; только уж как заметила, что валом валит народ, стала, чтобы не обидеть кого, паек уменьшать и так раздала все и оставила себе с наперсток на ужин, но под самый конец Мишка прибежал. Она вспомнила про Петьку, жалко стало мальчика, и Мишке, будто Петьке, свое последнее отдала.

С полкусочком сахара напилась чаю, стала на молитву. И благодарила Бога, что такой счастливый день послал ей, старухе: не пересчитать по пальцам, сколько накормила народу пятью фунтами хлеба, и была счастлива на молитве Игнатъевна, ничего, чем мы болеем теперь, между ней и Богом не было.

Не слышала Игнатъевна, как сирена этой ночью созывала рабочих на новую войну. Среди разоренного царства, в пустой-пустой квартире была Игнатъевна одна с Богом и не знала, и не думала, что это же и совершилось чудо насыщения пятью хлебами.

25 марта. Бледная, как ваты клочок, висит над Невой луна – так и душа моя, такая же бледная и невидная при свете нашего пожара.

Я стою на углу набережной и 6-й линии Васильевского острова, торгую разными газетами, кричу офицерским своим голосом, сбиваясь на команду, утром – про утренние газеты, вечером – про вечерние.

Утренняя моя молитва теперь единственная, детская: «Хлеб наш насущный даждь»... Вечером, утомленный, повторяю новую свою молитву: «Господи, дай мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить».

Недалеко от того угла, где я стою с газетами, лошадь, вытаскивая воз через кучу лежалого снега, свалилась и кончилась. Лежала дня три, стала уже сплющиваться, вращать в снег, как вдруг ее кто-то пошевелил, вытащил и даже вырезал зачем-то кусок мяса.

Стали сюда сбегаться собаки, выть, драться... Теперь из снега и льда обглоданная торчит лошадиная нога и как будто грозит по ту сторону Невы Медному всаднику.

– Ужо тебе!..

И нога эта здесь кажется такой огромной, а оттуда скачет Медный всадник – вовсе маленький.

Сегодня проходят мимо меня три веселых великана и, слышу, говорят между собой:

– Кому же иначе и жить, как не нам!

Великаны хотят по-своему жить, я – по-своему, и разговаривать нам между собой невозможно.

Один из них спросил у меня «Правду» и потом за «Наш Век» крикнул: «Буржуй!»

– Друг мой, – ответил я, – «Правда» вся разошлась, нет больше Правды. Остался Наш Век.

– Знаю вашего брата, – сказал он, – вижу по чистой морде: «империал».

– Друг мой, от «империала» у нас и половины не осталось, назовите лучше меня «полуимпериал», и показал ему на лошадиную ногу, грозящую Медному всаднику.

Лепешки «Земля и воля». Разговаривать больше нечего. Все опротивело, хвост растет, и сбивается в обычном шествии многоножка. Митинг. Не может быть митинга теперь.

Хвост.

Лепешки ржаные продают.

Я, конечно, в хвост, и боюсь, что опоздаю, и ничего не достанется мне, а времени много напрасно пройдет.

– Достанется всем, – отвечает спокойный голос. – Вот, еще корзину несут.

Мало остается и от второй корзины, когда я подхожу.

Кто продает – я не могу видеть. Мелькают только руки его с деньгами, и время от времени слышится его:

– Достанется всем!

– Сколько? – спрашивает.

– Две.

– А три можно?

– Хоть десять – вон еще корзину несут.

По восемьдесят гривен, за десять-восемь рублей. И нисколько не жалко, и двадцать отдал бы.

Дома все тянутся ко мне, из рук хотят вырвать лепешки, только собачка наша Урзик, всегда голодная, теперь почему-то не прыгает и даже носом не тянет.

Делю всем ровно по одной восьмой лепешки, а остальное на ключ хочу запереть, и в это время кто-то попробовал: «Фу, фу, фу!»

– Что такое?

– Земля!

Попробовал сам: да, это земля. Во рту земля. Посмотрел на свет: глина пополам с тем, что на улице воробьи клюют...

Рассеянно говорю: «Земля и Воля».

Попробовал Урсику дать. Нос отвел: земля.

Рассеянно повторяю: «Земля и Воля».

А меня поправляют: «Воля и Земля». Сначала воля была...

Мы сидели в тюрьме. А теперь земля, еще раз Урсику дал. Опять нос отвел. Не ест: земля.

Урзик. Урсика мы купили на Андреевском рынке маленьким щенком как водолаза и все ждали, что он поднимется, а он таким и остался навсегда и вид имеет такой, будто на водолаза смотришь за версту в обратный бинокль.

Маленький-то маленький, а ест как большой, и загоревали мы с этой собакой: самим нечего есть, делим хлеб на ломтики между собою, раскладываем в коробочки, как сахар, а тут еще любимая собака заглядывает в рот и тоскующими глазами провожает каждый кусок.

– Невыносимо.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Мы отправились этажом выше – к фрау Гольц. Она большая любительница собак; у нее знаменитые таксы. Может быть, возьмет Урсика.

– Собак моих больше нет, – сказала фрау Гольц, – я их усыпила. Вышло неловко, заговорили о покойнике.

– Позовите ветеринара, – твердо сказала фрау Гольц, – усыпите Урсика.

– Жалко, фрау Гольц.

– Не надо жалко – это ваш долг перед собакой.

Как сказала «долг перед собакой» – заплакала.

Мы вышли опечаленные, обдумывая, как же все-таки выйти из этой трагедии.

Между тем Урсик за это время сам что-то выдумал и куда-то исчез на неделю. Приходит – веселый, толстый, в новом ошейнике с шелковым бантиком, дали кусочек хлеба – не ест; даже сахару дали – не ест.

Не за едой, а по чистой любви к нам прибежал. И вскоре опять исчез на неделю, и опять веселый к нам возвращается, сытый, довольный, хвост пистолетом.

Мы второй сняли ошейник.

И так у нас и пошло с Урсиком. Голод раздвоил даже собачью душу: у людей кормится, а нас целует и дарит ошейники.

Почки на сковородке. Вижу я во сне, будто в старое время с друзьями сижу за столом в «Большом Московском». Задавили стол всякие яства: икра кубами, водка графинами и сколько хочешь, наваги аршинные, любимые почки прямо на сковородке, и сковорода на углях, и там разное, всякое и бесконечное... на столе знаки необъяснимого, неиссякаемого, беспредельного. Такая полнота, такое довольство, и вдруг я чувствую нестерпимую боль в мизинце под столом. Я ощупываю рукой мизинец и не палец встречаю, а мохнатое горлышко зверюшки. Я давлю это горлышко, а боль все сильнее и сильнее. Такая боль, что кажется – я и зверек на весах: боль одолеет – погиб я, сила моя возьмет – погиб зверек.

Делаю последнее усилие и чувствую слабеет зверек, боль унимается. Вытаскиваю из-под стола бездыханное, пушистое тело с оскаленными белыми в крови зубами и показываю пирующим: «Вот, что я задушил, пока вы кушали почки на сковородке».

Колечки. Звонят. Входит барышня с газетами, дожидается денег. Я быстро одеваюсь, а сон еще не прошел, и кажется мне – про эту барышню снился: пушистая барышня, краса и гордость всего петербургского «саботажа». Бледная, голодная, зубки ровные, острые – вот, вот укусит. (На полях вариант рукой автора: «Звонят... А, это барышня! Да, да, она и второй раз позвонила, первый звонок был, когда я пировал во сне с приятелями и сон воспроизводил звонок ее и ее самое тем пушистым зверьком. Я быстро одеваюсь. Она, краса и гордость нашего саботажа, входит с газетами, бледная, голодная, вот-вот укусит»).

На столе самовар. Я прошу ее вместе со мной чаю выпить.

– Есть, – соблазняя, – сгущенные сливки, есть хлеба немного, и масло великолепное.

Отказалась: голодна, как бывало Урсик наш, и горда.

Но время идет. Я позабыл совершенно свой сон. Саботаж спадает, барышня начала пропускать дни, и газеты иногда приходится покупать самому. Как-то я предложил ей вместе со мной выпить какао.

– Не какавела, – говорю, – что пьют теперь, а настоящее какао, редкость большая.

Не отказалась. Я заметил у нее на пальце золотое кольцо: раньше кольца не было.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Занимаю приличным разговором:

– Вот, боялись вы, что замерзнем, не хватит топлива, а уже весна начинается, бояться нечего: этот страх пережили, пройдет и голодный страх.

– Конечно, – отвечает, – переживем и большевиков прогоним! У А газеты носит все реже и реже. И вот у нее на пальце вижу еще второе золотое кольцо. Сон вспоминается. Думаю: укусила кого-то барышня. Весело говорю:

– Переживем!

Она мне уверенно:

– Переживем!

Последний раз пришла с третьим кольцом, и на кольце был красивый дорогой изумруд. Совсем весело объявляет, что газет больше не будет носить.

– Поступаете на службу?

– Ну, нет!

– Выходите замуж?

Рассмеялась, блеснула колечками.

Думай, что хочешь.

С тех пор потерял ее из виду: наверно, колечек у нее столько же, сколько у нас с Урсиком ошейников: барышням – колечки, собачкам – ошейники.

Тьма-тьмушая. 25 марта. Бледная, как ваты клочок, висит луна, – так и душа моя, такая же бледная и невиданная при свете нашего пожара.

Я стою на углу набережной и 6-й линии Васильевского острова, торгую разными газетами, кричу офицерским своим голосом, сбиваясь на команду, утром – про утренние газеты, вечером – про вечерние.

Утренняя моя молитва теперь единственная детская: «Хлеб наш насущный даждь»... Вечером, утомленный, повторяю новую свою молитву: «Господи, дай мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить».

Недалеко от того угла, где я стою с газетами, лошадь, вытаскивая воз через кучу лежалого снега, свалилась и кончилась. Лежала дня три и стала уже сплющиваться, вращая в снег, как вдруг ее кто-то пошевелил, вытащил и даже вырезал зачем-то кусок мяса.

Стали сюда сбегаться собаки, вить, драться. Теперь из снега и льда, обглоданная, торчит лошадиная нога и как будто грозит по ту сторону Невы Медному всаднику.

– Ужо тебе!

И нога эта здесь кажется такой огромной, а оттуда скачет Медный всадник – вовсе маленький.

Сегодня проходят мимо меня три веселых великана и, слышу, говорят между собой:

– Кому же иначе и жить, как не нам!

Великаны хотят по-своему жить, я – по-своему, и разговаривать нам между собой невозможно.

Один из них спросил у меня «Правду» и потом за «Наш век» крикнул: «Буржуй!»

– Друг мой, – ответил я, – «Правда» вся разошлась, нет больше Правды. Остался Наш Век.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Знаю вашего брата, – сказал он, – вижу по чистой морде: «империал».

– Друг мой, от «империала» у нас и половины не осталось, назовите лучше меня «полуимпериал», и показал ему на лошадиную ногу, грозящую Медному всаднику.

Странно посмотрел на меня великан, желающий жить.

– Ужо тебе!

Он принял меня за сумасшедшего и пошел прочь, испуганный.

Бледная, как ваты клочок, висит на небе утренняя луна. Так и душа моя – такая же бледная и невидная при свете нашего пожара. Теперь я понимаю, что значило пророчество: «Звезды почернеют и будут падать с небес».

Звезды, ведь это – любимые души людей...

Оглядываясь вокруг, прошу себя назвать хотя одну душу-звезду, и нет ни одной: все мои звезды почернели и попадали...

Закрываю глаза и вижу: в темноте лавочка и на ней сидит беспокойно женщина в черном, – вероятно покойная мать моя, и смотрит на меня, как бы вопрошая: «Не я ли?» Так на пожарище, при последней гибели скопленного добра вскидывают на вас несчастные люди глаза:

– Не ты ли?

И не дожидаясь ответа, к другому:

– Не он ли спаситель?

Она повернулась в сторону и, как бы указывая, напряженно смотрит в темноту, опираясь на лавочку.

Вспыхнуло пламя пожара, и я увидел русское поле. На этом поле тумбами стоят безрукие, безногие и – страшно сказать: друг в друга плюют.

Я шел в страстях и все понимал без Вергилия: это были страдания людей, присягнувших Князю Тьмы. Он соблазнил их Равенством и дал им Образ Беднейшего.

Они все сожгли и сравнялись по бедному, но с войны привезли еще безруких, безногих, кто более самых бедных имел теперь право на счастье, и чтобы с этим им сравняться, все обрубили себе руки и ноги, но ничего не осталось, кроме злости в этих обрубках.

Не могли они даже дракой избыть свою злобу и только плюются.

– Господи, – говорю я, – неужели вовсе оставил Ты меня? Помоги мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить. Я открываю глаза и вижу все то же самое:

– Ужо тебе! – грозит лошадиная нога Медному всаднику.

Воля вольная. Газетный дневник 1917–1918

От земли и городов

Письмо землевольцу

20 апреля

Николай Васильевич!

Прошла неделя и несколько дней со времени приезда моего в деревню; во многом я теперь разобрался и многое понимаю. Нарекания на князя Львова, который назначил уездными комиссарами председателей земельных управ, отчасти справедливы, но справедливо будет также упрекнуть наши местные общественные организации, которым предоставлено право заменить назначенного правительством комиссара своим. Этой воли у членов нашей земской управы не было, но это все равно: результат пребывания старой власти во главе управления уездом принес горькие плоды: население уезда до сих пор почти не организовано. Ссылаются на половодье, что нельзя было приехать на места, но это неправда. Пасха была у нас вовсе сухая, за

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
время пасхальной недели, когда не было работы, можно было организовать весь уезд. Это время было пропущено, и вот теперь, когда происходит сев яровых, когда никакому разному хозяину нельзя отлучиться с поля, ты должен собираться в сельские и волостные комитеты, в продовольственные, не говоря уже о политических собраниях, которые необходимы теперь крестьянству не менее всех комитетов о хлебе насущном в собственном смысле. Очень трудно, очень тревожно, и спасает положение только изумительная сила здравого смысла крестьян нашего уезда. К этой сознательности положения их, несомненно, подготовила неудача погромных выступлений 1905 года и та зависимость помещичьего хозяйства от рабочих рук, которая обнаружилась в военное время: рост цен на рабочие руки прошлый год производил полное впечатление забастовки, организованной планомерно на огромнейшей фабрике. Теперь уже все сознают, что без политической организации всего крестьянства «землею и волей» овладеть невозможно и готовность в народе к этому полная; дельный человек в какой-нибудь год-два может в любой нашей деревне по платформе «Земля и Воля» создать прочный и упрямый союз. Помните, у Толстого о крестьянах где-то сказано, что крестьянин наш мудрец, если говорить с каждым отдельно, а если они соберутся на сход, то становятся бестолковым стадом. Вот теперь настало время, когда этот отдельный мудрец-человек, как накопленный капитал, переходит в общественное достояние. Теперь за такими наблюдениями очень любопытно ходить на учредительные собрания сельских волостных комитетов, крестьянских союзов и тому подобное. В тот момент, когда избирается президиум, собрания еще представляют полное подобие прежнего схода, и другой раз часа два уходит драгоценного времени, пока удастся набрать президиум на одно только данное собрание. Курьезно бывает смотреть, как люди порядка, крепко сжав губы, чтоб не выругаться, начинают грозить кулаками самовольно говорящим и так мало-помалу водворяют порядок. Позвольте описать вам здесь первое организационное собрание волостного Комитета в наших черноземных местах.

Происходят выборы председателя на первое заседание, и только на это первое.

– Поймите, товарищи, что это на одно только заседание!

– Понимаем!

– Назовите лицо, которое вы желаете избрать.

– Владыкина! Чугунова! Владыкина! Чугунова!

Чугунов выходит.

– Крестьянин?

– Я крестьянин Стегаловской волости, был учителем.

– Нет, ты рассказывай сызмальства!

– Товарищи, мы выбираем этого человека лишь на одно заседание, вреда он причинить нам не может!

– Ну что ж! А лучше, пусть расскажет!

– Я из Стегаловской волости, отец мой пахал землю.

– А сам пахал?

– Я был учителем, потом служил волостным писарем.

– Писарем? Долой!

Чугунова «смыли». Выходит Владыкин.

– Товарищи, как член партии «Земля и Воля» приветствую вас!

– Благодарим!

– Не буду рассказывать жизнь свою, плохая жизнь: половину в тюрьме провел за дело «Земли и Воли». Только я не крестьянин, а рабочий

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

- Крестьяне и рабочие из одной утробы, ничего!
- Программа моей партии короткая: Земля и Воля!

Владыкина единогласно избирают. Записываются ораторы, речь одного из них привожу здесь с самой минимальной литературной подчисткой:

«Земля, – сказал он, – что такое земля, я всю свою жизнь думал и хотел понять из книжек и понял, что слово Земля есть планета. На этой планете Земля трава растет зеленая, высокая и низкая, реки бегут, лежат моря и озера, и солнце-светило льет на нее свои лучи днем и луна льет ночью. Но эта планета Земля была не для крестьянина: ему курицу выгнать некуда и любоваться охоты нет. Что такое Воля, я тоже думал долго и теперь я знаю: Воля – это просвещение, но и это не для крестьянина: он человек малограмотный. Значит, крестьянину нужно достигнуть просвещения-Воли и через это планеты Земли. Говорится „Земля и Воля“, а по-моему, надо сначала „Воля“ и потом „Земля“! И так оно будет!»

Эта речь оратора легла на крестьянские сердца, будто обмолоченная и провеянная рожь в закрома. Я нарочно потом спрашивал, имеет ли кто-нибудь хотя малейшее представление о политических партиях и о партии социалистов-революционеров, и убедился, что никто не имеет понятия. Но «Земля и Воля» – это так же понятно крестьянину, как мир без аннексий и контрибуций столичному фабричному. На деле «Земля и Воля» совершенно неожиданно, как «чемодан», ворвалась в заседание земского собрания, руководимого реакционной управой. Председатель и уездный комиссар, типичный человек старого строя, либерально поднял вопрос о земской газете. Ассигновали деньги, заговорили о редакторе.

- Редактора не будет! – сказал представитель Союза рабочих депутатов – единоличной воли в этом деле не будет вовсе.
- Как же так?
- Очень просто: семь душ будут редактором.
- А как же направление?
- Земля и Воля!

И очень наивно, и тем весьма убедительно, стал развивать, что огромное большинство людей нашего уезда занимается земледелием и желает воли, а потому газету непременно нужно основать на платформе «Земля и Воля». Понятно, что возразить что-нибудь при общем соотношении сил в стране невозможно, и вот почтенные наши деятели старого строя, опустив глаза и рисуя что-то на бумажке, делают постановление об издании газеты на политической платформе «Земли и Воли».

Я сказал, что, опросив всех членов Комитета из крестьян, я убедился в их полном незнании существования политических партий. Но я думаю, что и большинство наших помещиков не понимает разницы между республикой демократической и социалистической. А вообще крестьяне теперь стоят в понимании реальных государственных интересов неизмеримо выше, чем помещики: нападающий, впрочем, и в стратегии имеет какие-то большие преимущества. Поговорите с помещиком и вы убедитесь, что он представляет себе крестьянскую массу охваченной единственным и узким стремлением захвата частновладельческой земли и анархическому разделу ее полосками между собой. Не скажу, что этого нет, но совершенно то же скажу и о помещике, что он охвачен единственным и узким стремлением к сохранению своего владения в своих руках. В этом противники равны и по-своему правы. Но сравним разумные построения в оправдании своих инстинктов тех и других. Известно, как возражают помещики: вследствие такого захвата понизится производительность земли, и мы не в состоянии будем кормить города и районы неземледельческие. А вот пример крестьянского оправдания своего инстинкта захвата земли. На заседании нашего Комитета внезапно поднимается вопрос: не следует ли арестовать одного крупного помещика, который, по собранным сведениям, высевает всего шесть мер овса на десятину. Спрашивают агронома: рекомендуются ли в науке посеvy такого малого количества зерна. Агроном уклончиво отвечает, что при посеve рядовом требуется самое меньшее, но кажется, не меньше восьми мер. Я не сомневаюсь, что помещик злой воли не имел в этом деле, но самая малость причины и высота пафоса показывают, насколько крестьяне при всем своем алчном стремлении к захвату земли болезненно-ревниво относятся к сохранению производительности земли, к сохранению

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
хлеба как государственной собственности, необходимой для снабжения армии.

Не вижу я и в дальнейших постановлениях Комитета, как думают помещики, одного только безрассудного обращения крестьянства к захвату земли и понижению оттого ее производительности. Самое серьезное в этом отношении было постановление Комитета о таксах на хлеб. Известно, что при установлении монополии хлеба установлена была и цена на него в 2 р. 53 к. за пуд. Волостной Комитет наш совершил в первый же день своего существования деяние чрезвычайно дерзкое: установил, вопреки цене правительства, цену в 1 р. 58 к. И вот почему: предшествующая нынешней монополии хлеба мера старого правительства была реквизиция хлеба по 1 р. 58 к. Крестьяне нашей волости в массе своей расстались с хлебом по этой цене, а крупные помещики, ссылаясь на то, что хлеб у них не обмолочен, удержали в скирдах, а теперь исключительно за то, что они обошли реквизицию, продадут его государству по 2 р. 53 коп. Конечно, тут есть и задняя мысль, чтобы помещику стало худо, но, согласитесь, что она скрыта за мотивом справедливости и сбережения государственных средств не менее искусно, чем сохранение частной собственности за мотивом производительности земли? Мне кажется, я сумел бы не менее ясно показать вам известный смысл и в мотивах установления твердой цены на труд, но боюсь превратить свое письмо окончательно в докладную записку. Не удержусь, однако, чтобы не рассказать вам о постановлении нашего Комитета о труде военнопленных. Решили они так, чтобы за военнопленных, которые находятся главным образом в хозяйстве помещиков и богатых крестьян, цена была не по 6 р. в месяц, а так же, как и нашего рабочего, причем 6 р. платится военнопленному, а 15 р. в волостной Комитет, так что за 1000 человек нашей волости Комитет будет ежемесячно получать 15 000 р. Зато солдаткам военнопленные бесплатно: «У тебя муж на войне, вот тебе муж!»

Конечно, я не могу сказать, что значат все эти постановления за пределами нашей волости и выйдем ли мы благополучно из всей этой заворочки, теперь весна, и я хочу сказать только, что почва для посева очень богатая и нельзя не радоваться, когда все вокруг так горячо стремится к объединению. Только совсем другое чувство охватывает, когда переходишь из деревни в усадьбу. Ограда помещичьей усадьбы, которую разрушили в 1905 году, за это время вновь сложена и стала выше. В ограде живет человек, трусливо ожидающий нового разрушения. Как скряга, собирает он всякие дурные слухи и мотает на ус. Но ограда стоит, никто не обращает на нее внимания, кроме самого помещика. Иногда очень милый человек живет в ограде, случись с вами горе, смерть близкого человека, милый человек, может быть, придет вас утешать и обласкает, и поможет, но при одном только условии, чтобы и вы жили в такой же ограде. Что делается за оградой, ему непонятно и страшно, как смерть, которая на самом деле проста и ничуть не страшна.

Эту ночь я ночевал в одной из таких помещичьих оград и сон мне снился отвратительный: будто бы человечек какой-то весьма страшного вида, по фамилии Сиромыхин, в доказательство своей сверхъестественной силы дает мне леденцовую конфетку, и от этого по телу моему пробегает электрическая дрожь. И говорит мне: «В скором времени обещаю вам Всероссийскую Сиромыху». Показывает веревку: «Всех перевешаю!» – «Кто же вы такой?» – спрашиваю. – «Я, – говорит, – Сиромыха, но меня зовут неправильно Сиромыхин, в настоящее время я хлопочу у Временного правительства об отмене частицы „ин“». Сон этот, вместе с моим поклоном, передайте для истолкования Алешеньке, нашему юродивому.

Трифон
Июнь 1917 г.

По сю сторону Глиница живут кибай, а по ту – Шибай, и метятся на землю Стаховича, на его клевера: вот пустить бы на них стада, повытравить, разделить и распахать бы эту барскую землю.

Задумали это дело хорошо, а решиться не смеют, боятся. Не случилось бы как в пятом году, и еще боятся кибай из-за этой земли с Шибаями сцепиться.

Посылают в город крестьянина правильной жизни, Трифона. Не беда, что Трифон неграмотный, зато твердый, и уж у него-то крестьянская земля не проскользнет между пальцами.

Приходит в собрание Трифон, садится на стул и слушает. Вот первый оратор выходит и говорит:

– У меня, товарищи, так: если я сказал «А», то непременно потом скажу «Б».

Трифон ладони сложил, пальцы за пальцы загнул, твердо держит, чтобы ничего сквозь не проскочило, и вот думает, вот думает об этой загадке: «Ежели я сказал „А“, то беспрерывно потом скажу „Б“».

Второй выходит оратор:

– Земля, – говорит, – Божья!

А Трифон думает все о загадке про «А» и про «Б».

Третий оратор говорит:

– Земля, товарищи, ничья!

Это хорошо запомнил Трифон и опять вернулся: «Ежели я сказал „А“, то беспрерывно потом скажу „Б“».

Человек Трифон неграмотный, трудно ему разгадать, и человек он притом некурящий. Шибануло на него в собрании табачищем, – пропадите вы, табашники, пропадом! – замутилось в голове, закружилось, пошло все ходуном. Так и уснул от табаку и, главное, от думы своей, голову свесил на грудь, а руки на живот по-прежнему, ладонь твердо держит на ладони, палец за палец, чтобы, сохрани Бог, через них чего не прошло. Как раз тут и выходит настоящий оратор из Петрограда от партии «Земля и Воля», председатель Главного Союза, товарищ председателя Главного совета, действительный член Исполнительного комитета, и приветствует всех товарищей от бабушки русской революции, от министра земледелия социалиста-крестьянина Чернова, от с.-р. и с.-д.

– У нас, – говорит, – в Петрограде состоялось решение, чтобы слов иностранных не употреблять никаких абсолютно! – Спыхватился.

– Виноват, ошибся: совершенно никаких иностранных слов не употреблять, товарищи, а говорить только о вещах конкретных.

Опять спыхватился, но потом скоро наладился и объяснил просто, что самовольно землю расхватывать нельзя, а нужно выбрать земельный комитет и тогда можно будет всю землю отобрать в пользу народа.

– Организуйтесь, организуйтесь, – говорит, – без этого земля от вас убежит!..

И закончил речь:

– Товарищи, самый лучший бриллиант сверкал доньше, товарищи, в короне самодержавного царя, товарищи, а ныне он сверкает, товарищи, в короне самодержавного народа, товарищи!

Как тут все товарищи ахнут в ладоши, словно сто тысяч голубей сорвались сперепугу.

Пробудился и Трифон.

– Как, что? – спрашивает.

– Бриллиант, бриллиант, – говорят ему, – сверкает у нас в короне, а ты спишь, дурень.

Почесался Трифон, а земля-то и пробежи у него между пальцами.

Собираются на выгон Шибай и Кибай, спрашивают депутата Трифона, что он в городе слышал, какие о земле выходят права.

Кратко ответил Трифон:

– Земля ничья, берите!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

В ту же ночь табуны шibaевские и кibaевские выступают на клевера, утром выгоняются стада, семьсот с чем-то коров, не считая подтелков, две тысячи овец и с каждого двора по свинье с поросятами. Через две недели все чисто, выезжают пахать. Но мыслимо ли пахать клеверище сохами! Ткнулся один – прочь сошник, ткнулся другой – другой пополам, третий – третий сломался. И такой у нас упрямый народ, пока все не попробуют, не останятся, все сошники поломали. А тут еще беда: яровые зажухли от весеннего холода и от летней сухмели, и клевера потравили – чем кормить лошадей осенью?

Один кузнец богатеет и радуется, день и ночь у него работа. Раньше все был Алешка Голопузый. А теперь не подойдешь без поклона:

– К вашей милости, Алексей Семенович, соблаговолите сошничек наварить.

Земля и власть

Восстановление Соловьевской республики

Весна в этом году была дружная, как наша революция, после сильных морозов внезапно хлынул дождь, и вода, размывая чернозем, потоками бросилась в овраги.

Покрытая водой, покинутая властью человека, лежала земля как до сотворения мира: безвидна и пуста. Когда воды стекли, заезжает из города мещанин ко мне на хутор, арендовать мой сад, осмотрел деревья и говорит:

– Сад будет с урожаем, а снимать подожду, пусть образуется революция.

– Революция, – говорю, – уже совершилась, видите, все спокойно: саду от крестьян опасность не грозит.

– Власти нет никакой, – отвечает мещанин, – подождем, пока власть образуется. Революция, я согласен с вами, произошла, а ум человеческий не произошел.

И в ожидании власти покинул мой хутор.

Однажды нас разбудил среди ночи яростный лай в соседней усадьбе, и были слышны обрывки какого-то громкого неудовольствия потревоженных владельцев. Потом собаки провожают со двора какого-то врага до нашего хутора, к этим собакам присоединяются наши, въезжает тележка и кто-то в белом пьяно ворчит и ругается.

– У вас тут никаких прав нет на дворе!

– Какие же вы тут среди ночи права ищите, товарищ, кто вы такой?

– Комиссинеры!

Голос казался нам знакомым, как будто это был Архипов голос.

– Права проверяю!

– Зачем же среди ночи искать права, лучше бы днем.

– Вся власть моя, захочу, разбужу, захочу – мимо проеду. Моя власть и крышка! Нет у вас прав во дворе!

– Да это ты, Архип?

Совсем другой, обыкновенный и не враждебный голос ответил:

– Я, Михал Михайлыч!

И, как бывало моя матушка, весьма мудрая в обращении с народом, ласково приглашает к себе прежнюю всесильную власть нашу, урядника, так и я зазываю к себе вновь испеченного и уже пьяного комиссара Архипа. Необыкновенен вид этого столь знакомого мне с детства мужика: в белом брезентовом балахоне и шашка через плечо висит.

– Откуда балахон?

– От прежнего урядника.

– И шашка его?

– Ихняя шашка.

Хотел бы сказать: «проваливай к черту», но привычка ладить с полицией побеждает, мы уговариваем Архипа бросить проверку «правов» и отправиться спать. Доброму совету этому он подчиняется и опять, сопровождаемый ужасным лаем наших и соседских собак, исчезает во тьме.

Так после революции первый раз у нас показалась власть, будто из пучины безвидной земли чей-то первый рог показался.

После Пасхи – самый сев! А у нас в волости зовут начинать волостной комитет. Уездный комиссар, из учителей сельских, очень толково рассказывает нам о комитете, о том, какие у нас теперь огромные права. Вышли мы на двор, лошадей своих посмотрели, чаю попили, в селе поправились, и там всех заодно осенило, что быть председателем управы никому другому, как Ивану Иванову Мешкову. Главное, что за него стоят солдаты Московского гарнизона, и так человек подходящий: хозяйства у него нет, живет на задворках у дяди, нет у него и ни хаты, ни семьи, свободный человек, как птица, не какой-нибудь «буржуаз». Сидел он в тюрьме за уголовное дело, но потом исправил себя политикой и сидел за политику, вроде как бы несчастный какой – этот не выдаст мужиков! А что малограмотный, так при нем же писарь будет.

– Ну-ка, Иван Иванов, покажись всем!

И вышел на середину чайной худой-прехудой человек, лоб и нос у него утюгом, виски вдавлены, а глаза горят.

– Ну, скажи что-нибудь, оратор!

– Можно, – ответил Иван Иванович и почему-то заговорил про избирательную урну.

– Избирательная урна, товарищи, есть секретный вопрос, и совпадает с какой-нибудь тайной, и эту тайну нести нужно очень тщательно и очень вежливо и даже под строгим караулом.

– Здорово, здорово! – одобрили речь мужики – непонятное, но удивительное красноречие.

– И не выбирайте высокого, – продолжал Иван Иванович, – у высокого много скота, хозяйство, он буржуаз, выбирайте маленького!

– Верно, верно!

Постановили выбрать Ивана Ивановича и с тем являемся опять в волость, а комиссар уже знает, кого мы хотим выбрать, знает, что уголовного.

– Это, – говорит, – нельзя, это против закона.

Выходит солдат и читает по бумажке какое-то постановление, что вот де все теперь, кто раньше, чем виноват был, прощаются и возвращаются к своим правам.

Всюду одобрение солдату, и понятно: раз уж по-новому, то все нужно по-новому и виноватых нужно простить. Но комиссар знать ничего не хочет, стоит на своем: закон есть такой.

– Признаете ли, – спрашивает, – Временное правительство?

– Признаем, признаем!

В тесное помещение волости мало-помалу сходятся любопытные – женщины, дети, тесным кольцом окружают комиссара.

– Признаем, признаем!

– Так невозможно, – задыхаясь в дыму, говорит комиссар, – лишние люди выходите.

Никто не трогается. За комиссара вступаются:

– Товарищи, выгоняйте их, граждане, гоните, выметайте всех, товарищи!

Нехотя расходятся, а другие ворчат:

– Ладно, вы нас вывели, а мы вас на обществе выведем, вы не думайте, вы не вечные!

Расчистив место вокруг себя, комиссар рассказывает о мнимом двоевластии и что на деле нет никакого двоевластия. Пока он это говорит, народ с улицы опять битком набивается.

– Доверяем ли?

– Доверяем!

А один солдат вдруг и говорит:

– Мы доверяем потуда, покуда он с нами согласен.

– Верно, – кричат за ним, – постольку доверяем, поскольку он доверяет нам.

Комиссар опять заметил толпу:

– Невозможно!

– Граждане, выгоняйте, товарищи, выметайте! Но теперь уже больше никто не слушает окриков, и все прибывает и прибывает народу. Всем собранием завладевает солдат.

– Граждане, как член Московского гарнизона заявляю, что я вами недоволен. Мы, солдаты, все организованны, все читаем, даже понимаем слова иностранные и знаем, из-за чего война: без аннексий и контрибуций, на самоопределение. А вами, граждане, я недоволен, потому что вы плохо стремитесь.

– Плохо, друг, плохо!

– Потому что вы непросвещенные, у вас теперь враг не голод, не германец, а культурно-просветительная деятельность, что мы некультурные и вся Россия необразованная и никакая.

– Благоразумные ваши речи я поддерживаю, – останавливает оратора комиссар, – но прошу вас говорить ближе к делу.

– Хорошо: выбирайте, товарищи, Ивана Ивановича.

– Его нельзя: он уголовный.

– Теперь все равны!

– В таком случае я складываю полномочия.

– Ну, что ж!

Так смыли у нас комиссара. А потом дело пошло быстро и гладко. Монопольные цены на хлеб отменили, потому что это несправедливо: у бедного побрали хлеб по низкой цене, а кто хлеб укрывал, дали высокую. Отменили без всякой оглядки. Постановили цену на труд мужской и женский, австрийцев у помещиков решили снять и передать бедным солдаткам: у тебя мужа взяли – вот тебе муж!

И в один день этот вся Россия для нас переменялась, непонятные, бескрайные горизонты нашего государства как будто стали сходить ближе, ближе, и вот к вечеру все стало понятно всем, и даже неграмотным, где мы живем: мы живем в Соловьевской республике, и власти все у нас под руками, и мы сами власть. И когда мы встречаемся, то говорим как государственные люди, потому что все это стало свое: если я, например, плохо пашу, то меня остановят и поправят не из-за

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru моих интересов, а государственных, или вот, например, в лесу у меня дрова лежат, это дрова не простые мои дрова, а государственные. После их все стали тащить именно потому, что они государственная собственность, но это после случилось, об этом потом и расскажу особо. В этот же первый день нашей республики все как бы для всех стали богаты.

Поверочный молебен

Из газет, которые я даю читать Задирина от воскресенья до воскресенья, он непременно выжмет что-нибудь про попов и, возвращая мне газеты, подробно своими словами рассказывает и потом все переносит на нашего батюшку:

– А наш что молчит, он первый должен в церкви нам объяснить все, молчит, стало быть, недоволен...

С батюшкой я по этому поводу переговорил, но лучше бы не говорил; совсем беспомощный стал человек, жалко улыбнется. Впрочем, никогда и говоруном-то не был он, а так добра делал много, редкий, самый крестьянский, прежнего строя поп.

Вот приходит теперь ко мне Задин и объявляет:

– Пожалуйста, на сход, будем попа судить!

И рассказывает подробно, как и что вышло с попом: собрались в церковь к обедне, стояли, молились обыкновенным порядком до Великого Входа и тут батюшка...

Страшное, заговорщицкое лицо стало у Задина.

– Батюшка провозгласил: «...благочестивейшего самодержавнейшего...»

– Николая помянул! – испугался я.

– Так точно: помянул Николая Кровавого, назвал по имени, отчеству и потом супругу его и наследника цесаревича. Что теперь с ним делать?

– Не понимаю...

– Вот то-то, и мы не понимаем. Гул по церкви, по народу пошел, бабы сейчас между собой забалакали: вот, мол, мы говорили, что вернется, ну вот, и вернулся. «Цыц!» – кричат солдаты на них. И все пятнадцать солдат Московского гарнизона плюнули, вышли и возле церкви совершили великое бесчинство. Ну, скажите, что же это такое?

– Не понимаю, товарищ, не понимаю.

– И мы не понимаем. Приходите на сход разобрать это дело.

Пробираясь потом загуменной дорожкой на сход, завернул я огородами к Никите Васильеву, посоветоваться: жалко мне священника, знаю, что не посмеет он так, а легенда создается для него очень опасная. Никита Васильев старый, 90-летний человек, богомольный и справедливый: три раза в Сибирь ездил от общества землю искать и до сих пор сходы по-своему повертывает.

– Зовут, – говорю, – меня, Никита, на сход, попа судить, будто бы он царя помянул...

– Боже сохрани, – ответил Никита, – не помянул, а так...

– Да как же так-то?

– Отцикнулся. Сказал «самодержавнейшего» и ах!., державу Российскую. Батюшка не помянул, а отцикнулся.

– А супругу и наследника!

– Да, говорю, ничего, ни супруги, ни наследника и ничего протчаго, отцикнулся и все. У нас это диво, а по протчим местам, даже в городе часто попы отцикаются.

Тогда попросил я Никиту и на сходе так сказать, и вместе мы с ним отправились.

Пошумели на сходе, погорланили. Сначала, было, решили к батюшке «апутата» направить, но никто не соглашался идти депутатом. И вышло, как предложил старый деревенский ходок Никита: без всякого шума, чинно, благородно попросить батюшку в воскресенье отслужить на выгоне молебен и прислушаться получше, кого он поминать будет. Так и порешили.

Приходит то воскресенье. Выносят на выгон из церкви хоругви, а солдаты несут красные «флаки»: «Да здравствует свободная Россия, долой помещиков!» О всем, конечно, батюшка предупрежден, ни жив ни мертв выходит из церкви.

Никита шепчет мне:

– Вот времена-то настали: раньше попы чертей судили. А нынче черти судят попов!

У батюшки служба быстрая и такая манера: сначала кое-как, только бы поскорей, а под конец как бы обрадуется чему-то и закончит с большим подъемом и простодушной радостью по случаю ли конца или праздника. Теперь служить ему трудно, все впилось глазами в него, следят за каждым словом, Боже сохрани, ошибиться! Но тридцатилетняя привычка взяла свое, под конец оправился, воодушевился и победил...

– По-бе-е-ды... – как бы разбегаясь, запел батюшка.

И потом: раз, раз, раз!

– Благо-верно-му императору...

– Ах!

Вздрогнул.

И все вокруг загудело.

– Ах! державу Российскую.

Батюшка вдруг как бы осыпался и еле-еле довел до конца.

Вскочил на табуретку первый оратор, начинает митинг:

– Товарищи, слышали?

– Слышали, слышали!

Первый оратор предлагает скромную меру: проверить церковное имущество. Второй оратор забегаем дальше: потребовать сумму всего церковного имущества сельскому комитету. Третий товарищ спешит дальше, он забыл уже про священника и говорит про землю и волю.

Земля! Земля!

И вот, наконец, на табуретке любимый и страшный оратор Федька – большевик. Этот гол и ничего не боится. Кажется, не говорит, а во весь дух бежит и кричит:

– Земля, земля, за мною, товарищи!

Призывает народ немедленно захватывать помещичью землю, немедленно делить ее, кому что достанется: хоть по борозде, по две.

Земля, земля!

И так будто весь митинг бежит. Впереди бежит тот, кто вовсе гол, молод и ничего не боится.

– Земля, – зовет, – земля!

За ним бегут во весь дух: малоземельные, однолошадные, однокоровные. Оглядываясь, все ли бегут позади, посматривая на кустики, нельзя ли туда шмыгнуть, бегут двухлошадные, двухкоровные и разные мелкие арендаторы,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
нерешительно, смекая о всем, но с лицом обращенным в сторону бегущих, стоят сельские кулачки.

Отдельно, как заговорщики, собрались на свой собственный митинг безлошадные и безкоровные, вернее, помещичьи батраки: они боятся богатых мужиков, безнадежные рабы жизни, они давно уже на все махнули рукой, они знают, что работать у богатых мужиков придется много больше, чем у помещиков.

И заговорили безлошадные:

– Не надо земли!

Взбунтовалось все подполье Адамово, все оно бежит захватывать землю. А эти безлошадные не хотят вылезать из подполья и угрюмо твердят:

– Не надо земли!

У баб деревенских свой разговор – бабы по-своему разговаривают и о земле, и о митинге.

– Видела, – говорит одна, – самого Митинга, вышел Митинг черный, лохматый, голос грубый и кричит: товарищи, захватывайте землю, у помещиков много земли!

У помещиков, а вот еще где-то, сказывают под Москвой, в 12-м году француз много оставил земли.

– И под городами!

– Как же ты из-под городов-то ее выдернешь?

– И очень просто: города отменяются, городов больше не будет. Землю все разделят мужики, и по всей местности будут жить одни мужики и вместо царицы выберут какую-то бабушку Брешку.

Старый ходок деревенский Никита Васильевич очень, очень стар, ему бежать за землей не вмоготу, он сидит на камешке и беседует с теми, кто разбрелся и не знает, куда пристать.

– И опять я скажу, – говорит он, – не судите батюшку строго: он это не нарочно, это бывает и в городе, батюшка отцикнулся. Я вот про что думаю: говорят союзы, свобода и совесть, а зачем же грабеж? Нет, милые, нельзя нам без трех вещей прожить на свете, первое, без Бога, второе, без родителей, а третье...

Тут Никита вроде попа отцикнулся и вымолвил:

– Третье, без государя. Прости, Господи, – спохватился, – без пастыря.

– Чем же тебе не пастырь, – ответили старику, – Временное правительство и Керенский.

– Керенский, Керенский, – рассердился старик, – Керенский скажет подступать, а они отступать. Керенский!

Ах, эти годы, годы старые, стряхнуть уж их со своих плеч некому, когда минет девяносто. Вовсе забылся старик и, как сон, рассказывает:

– Мы в атаку, а он, батюшка, слез с коня, стал на коленки и молится, вот молится. Ну, а знаешь, чего эта молитва-то его стоит, может тысячи наших молитв стоит, такая молитва:

– Да про кого это ты, старый, рассказываешь?

– Про пастыря! – твердо ответил старик.

И не отцикнулся.

Самогон

Слово «самогон» явилось в деревне взамен монополии или, вернее, – «винополии».

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Было управление, теперь самоуправление, был суд, теперь самосуд, была монополия, теперь самогон.

В Елецком уезде, где я близко наблюдал сельскую жизнь, самогон изготавливается из ржаной муки. Для этого нужно иметь два чугуна, в нижний кладется мука, верхним этот чугун прикрывается, тут, в верхнем чугуне, собираются пары алкоголя, но по охлаждающим трубкам стекают в бутылку.

Техника винокурения постепенно совершенствовалась во время войны, а с момента революции она в деревне стала общедоступной. Почти каждая баба умеет делать самогон, причем качество получается у всех разное, как вообще во всяком кустарном деле. Небывалое распространение получил самогон в последний месяц благодаря, во-первых, новизне, а во-вторых, крайне угнетенному духовному состоянию крестьянина. Ждали земли, а когда дождалось и разделили всю землю, на которую имели притязания, напр<имер>, наша деревня, то оказалось, что достается всего по восьминнику на душу. Земли больше нет, значит, надо переселяться, а что такое переселение, это у нас хорошо известно, это самое последнее дело. Это и еще частая смена правительства смутили душу крестьянина.

В самом деле, что вы скажете, если сегодня видели на стене правительственной управы расклеенное объявление правительства о том, что цены на хлеб ни в коем случае не будут повышены, а завтра читаете, что цены повышены вдвое.

Тут «запешь, и многие запьют!»

Опять запили у нас люди – полгода возрожденные к новой жизни с момента закрытия монополии, прославившие трезвую жизнь. Второй Спас, например, у нас праздновали совершенно так же, как и злейшую эпоху монополии, и до того разбушевались, что из города милиции пришлось вызывать солдат.

В связи с этой потребностью в вине возникает новый отвратительный тип торговца и производителя самогона. Из пуда муки, которая, как известно, стоит до сих пор 2 р. 53 к. за пуд, выгоняется пять бутылок самогона, который продается на месте по 4 р. за бутылку и в городе по 10 р. Так что один пуд муки может дать 50 р.! Но этого мало: бардой можно великолепно откармливать свиней. Вот во что, в умелых руках, может превратиться один пуд муки, и правительство было настолько наивно, что верило, будто двойной ценой можно извлечь у крестьянина хлеб.

Не будь сознания необходимости жертвовать, и в то же время давления власти, то никто бы теперь из хозяев ни за какие деньги не расстался с собранным на своем поле хлебом.

Я не имею возможности учесть, сколько хлеба теперь перегоняется на самогон. Я замечал, что деревни наиболее малоземельные, которым все равно своим хлебом не прожить, занимаются больше самогоном, чем богатые: курят и продают, а потом будут сначала покупать, а потом просить хлеба.

В начале революции наша деревенская милиция довольно успешно боролась с винокурением, но мало-помалу эта милиция выдохлась. Наш милиционер, напр<имер>, получает 100 р. в месяц и живет в своей же деревне и занимается своим хозяйством. Он, как здешний мужик, опутан местными связями, и «поступить» ему против соседа никак невозможно. Никакие нравственные увещания, которые у нас тоже практиковались путем писания статей в местной социалистической газете, не действуют, потому что нет восприимчивой почвы («а Васька слушает да ест»). И, между тем, в настоящих условиях все-таки нравственная почва – единственная, на которой можно бороться со злом. Эта почва теперь ускользает, но без сомнения она явится после новых испытаний от какой-нибудь последней, десятой египетской казни или, кто знает? – от нечаянной радости.

Земля и власть

Как одно время спорили в столице о «где собираться Учредительному собранию», так в нашей волости летом спорили о «где собираться волостному комитету» – в Соловьеве или в Хрущеве? В Соловьеве находится волостное управление. Но зато Соловьеве далеко на краю, а Хрущеве как раз посредине волости и ходить туда всем близко. Однако печка нашего всегда горячего спора всегда топилась не этими холодными дровами, суть в том, что в Соловьеве большевики, а в Хрущеве просто землеробы. И всегда выходит так, что соловьевские на хрущевской почве силу свою теряют, точно так же, как и хрущевские в Соловьеве пикнуть не смеют. Думаю, не

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
менее половины всей нашей комитетской работы заняли эти споры о месте и в конце концов стало выходить так: какие слухи доходили сверху, под влиянием этих политических слухов и назначались заседания то там, то тут. А раз даже вышло так, что часть комитета собралась в Хрущеве, а часть в Соловьеве и весь день проспорили о настоящем законном месте нашего собрания.

Очень нехорошо, что избирательную комиссию для волостного земства нам пришлось выбирать под влиянием политических страстей в Соловьеве. В это время в Петербурге большевизм был разбит, но до нас новая волна не совсем еще докатилась. А впрочем, наш главный деятель большевизма Иван Шибай в это время уже получил от своего брата, петербургского солдата, такое письмо:

«...насчет того, что мы говорили, дело перевертывается, началось наступление. Ты теперь, ежели вплотную коснешься, поддерживай наступление, только сам вперед не суйся. Когда буржуи будут собирать Заем Свободы для наступления, ты легонечко мужиков осаживай, примерно так: мы, товарищи, наступление поддерживаем, только помните, что наступление это без аннексий, контрибуций и на самоопределение».

Мы, хрущевские, тоже кое-что узнали о наступлении, и, хотя линию свою в Соловьеве нам все равно не провести до конца, все-таки до начала заседания, на выгоне перед школой, окружили и налегли на Шибая: он говорил, что будет мир, и немцы нам первейшие приятели, а на деле выходит опять война.

– Я, – отвечает Иван Шибай, – в расчете был, что немцы Вильгельма свергнут, как мы своего Николая, потому я формулировал: с немцами нужно брататься, но покуда они его не свергли, я наступление поддерживаю.

Тут подошли соловьевские, и Шибай вовсе оправился:

– Я, – говорит, – сейчас наступление поддерживаю, но только помните, товарищи, наступление обязательно должно быть без аннексий и контрибуций и на самоопределение.

Как молотком по голове стучит Шибай своими удивительными словами, и все эти слова понимают так, что есть одно наступление обыкновенное, с выгодой для «буржуазии», и есть другое, шибаяевское, с выгодой для мужиков.

Заседание наше происходит в школе. Рассаживаемся на детских скамейках. По-настоящему бы грамоте учиться, а мы собираемся разбирать дела государственные. Возле черной доски не учитель сидит, а наш председатель Абрам Иванович Курносый. Помогаем Абраму Ивановичу, с молчаливого согласия комитета, мы, интеллигенты местные: диакон, сельский учитель и я. Курносый, хотя и не очень грамотный, но умный, широкий мужик, с нами он постоянно шепчется: «Вы как думаете, о. диакон, а вы как, Михаил Михайлыч?» – и потом уже, выслушав нас, говорит от себя. В минуты жаркого боя он добровольно уступает нам место, а сам почтительно стоит позади у черной доски. Так само собой сложилось это новое земство: вместо дворян – мужики, и мы, все те же бесправные и при дворянах и при мужиках интеллигенты, «третий элемент».

– Пункт первый, – объявляет Курносый. – Танеевская старуха просит лесу для избы.

И шепотом в нашу сторону:

– Вы как думаете?

– Передать в земельный комитет!

Совершается по-нашему.

– Пункт второй: инвалид просит хлеба.

За столиком у нас возникает спор, мы стоим, чтобы передать дело в продовольственную управу, а Курносому хочется накормить инвалида.

– Будет шептаться! – требует собрание. И передает дело в продовольственную управу.

– Третий пункт: малый нераспечатанный конверт.

– Почему же вы его не распечатали? – спрашивает диакон.

– Не получил полномочий!

В малом нераспечатанном конверте одно неважное заявление.

– Пункт четвертый: большой нераспечатанный конверт!

– Распечатать!

Ножниц нет, пальцы не слушаются, собрание терпеливо в глубоком молчании ждет. – Все пальцами, Абрам Иванович, все пальцами, – говорит диакон.

Конверт все не поддается. И вдруг Курносый, в величайшем изумлении, кладет на стол нераспечатанный конверт и разводит руками:

– Холстина!

– Вот так штука! – удивляется собрание.

Кто-то подает ножик, вскрывают холстинный конверт и, медленно разворачивая, показывает длиннейшую бумагу.

– О-го-го!

Бумага оказалась наставлением о выборах в волостное земство. Долго мы ждем эту бумагу и, наконец, приступаем к выборам в избирательную комиссию. Вопрос о составе волостного земства для Соловьевской республики все равно, что учредительное собрание для всего государства, – серьезный вопрос. А соловьевцы первыми называют опять одного своего малограмотного Ивана Шибая. Хрущевских сразу взорвало:

– Не хотим вора!

Соловьевские отвечают:

– Вы сами воры, и вы воры, и мы воры, – теперь все равны!

Приятель мой, самый мирный мужик, слова никогда не скажет в тихое время по своей застенчивости, теперь вдруг нашел всю правду и весь красный, во весь дух орет. Но другой тоже во весь дух орет за свою правду, третий за свою. И вот все до одного орут во всю мочь, и никто никого не слышит.

Председатель давно уже стоит почтительно у черной доски, а за председательским столиком диакон. У диакона такая линия: во время крика прислушаться к большинству, и потом, когда крик спадает, взять слово и посредством лукавой притчи склонить меньшинство к общему ладу.

Мало-помалу большинство определяется: хотят Шибая.

– Товарищи, – выступает диакон, – некоторые граждане упорствуют здесь об Иване, потому что видят в нем бывшего уголовного преступника, сидевшего в остроге за воровство. Но кто из вас не грешен, кинь первый камень!

– Правильно, отец диакон!

– Кто не совершил из нас сей же грех тайно? Иван Шибай совершил явный грех, а вы знаете – явный грех мучит больше тайного.

– Явный, известно, больше.

– Потому что не всякий даже способен тайный грех за грех принимать, а явный мучителен, о как мучителен явный грех! Согласны товарищи?

– Согласны, согласны!

Предоставляют голос обвиняемому, пусть оправдывается.

Иван сказал:

– Товарищи, я девять лет назад был судим, вам известно за что: по младости лет покусился на дьячихино добро. С тех пор я оправдал себя политикой: я страдал в тюрьме за политику!

Горяч наш народ, но отходчив: и соловьевские, и хрущевские уже согласны и рады избрать несчастного пострадавшего за политику человека.

– Ежели, – говорят, – не избрать нам Шибая, то кого же избрать? Иван – человек весь тут: и штаны его, и рубашка рваная, и башмаки бабьи, нет у него ни кола, ни скотины: маленький человек.

Так на глазах у нас творится сказка про Ивана-дурака: не хозяйственный умный человек выбирается посадником соловьевского народоправства, а самый заваливший шибайшко!

– Кто против? – спрашивает диакон. – Никого? Единогласно избирается.

Потом также криком избирается еще человек десять кандидатов из «видимых», то есть здесь присутствующих.

– А можно из «невидимых», отец диакон?

– Из видимых и невидимых можно!

Выбирается еще десять невидимых. И потом до позднего вечера на выгоне перед училищем идет баллотировка шарами.

Учитель подает шары избирающим и после голосования подсчитывает шары, диакон выкликает список членов комитета, после диакона я выкликаю членов совета крестьянских депутатов. Вначале все идет гладко, но вот уже через час всем наскучило, разбредаются, кто в чайную, кто куда. Мы охрипли, по десять раз выкликая одно и то же имя. Раздумье берет и досада. Раздумье о том, как хорошо у нас складывается сказка об Иване-дураке и как трудно – сделать Ивана председателем избирательной комиссии, как ужасно будет ему трудно, малограмотному, делать список избирателей всей волости. А досада берет, что вот мы же тут грамотные, совсем уж бескорыстно тут весь день работаем, хрипнем, и никто не подумал кого-нибудь из нас предложить в кандидаты, потому только, что мы собственники и в сказку об Иване-дураке не годимся...

Когда приходит моя очередь, я говорю себе: «Сказка сказкой, а дело делом!» – и кладу назло всем Иванам налево. Удивляет меня одно: кто-то еще кладет второй неизбирательный шар. Раз подсчет, два, три, и вот мы встречаемся глазами: это человек в синей поддевке, Пузырь, представитель от мелких земельных собственников из крестьян. Пузырь во время перерыва отводит меня в сторону и тихо спрашивает:

– И вы за царя?

– Что-о?

– При народе, конечно, это нельзя говорить, а ведь при Вильгельме будет лучше?

– При Вильгельме?

– Ну что ж, Вильгельм, мы его и не увидим. Велят куда-нибудь платить – ну, я заплатил дань, а остаток жития мой уж, собственный. Они же, пролетарии эти, берут все без остатка. Мыслимо ли так жить, нет, уж лучше Вильгельм!

Так вдруг мне в дальнейшей баллотировке представилось класть шар с Пузырем за Вильгельма, или со всеми за Ивана-дурака. И в несколько минут пробежала в уме вся моя жизнь, и вся безалаберщина, и всякие безобразия, и счастливые находки, и невидимый град Китеж. Как вспомнил про невидимый град, «нет! говорю себе, все равно пропадать, пропаду с дураками». И опустил свой шар за Ивана.

В хозяйстве не работа бьет земледельца, а забота. Уморился и отдохнешь. Но от

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
заботы никуда не уйти. Вот эта забота нынешний год и замучила. Наложил я копну ржи на воз, веду лошадь и представляется мне, что иду я, плетусь, наморенный, сам по себе, а воз едет по себе неизвестно куда.

И так чувствовал каждый из нас, потому что везде говорили, что хлеб у нас отберут. С одной стороны, говорят, трудовая норма и работай сам без работника. С другой стороны, грозят отобрать се и выдавать хлеб по карточкам. Хлеб, говорят, пойдет для снабжения армии и для городов. С третьей стороны, опять третье толкуют, что армия нам не нужна, а город нас всех обобрал: по двадцать пять рублей платили за косу! Ничего не понять в этой смуте, и кажется, что воз с рожью сам по себе едет неизвестно куда.

Не работа страшна, а забота. И так иду я с этим чужим возом усталый, невеселый. Смотрю, через мое поле из деревни спешит, машет рукой мне Иван Шибай.

– Что ты, Иван, какие дела?

– Дела! – ворчит Иван. И ругается на уездный комитет.

Дела Ивана оказываются тоже худые: предписали ему делать список избирателей по алфавиту. Приходит он в деревню, ищет букву «А». Нашел букву «А», записал. Теперь нужно «Б», оно на другом конце. Записал «Б». Приходит буква «В» – опять бежит чуть не за версту. Так три дня в одной деревне крутился, а их сорок четыре больших деревни и двадцать три маленьких.

– Как же тут быть?

– Очень просто, Иван, ты сначала составь черновик.

– Черновик?

– Пиши подряд хату к хате, а вечером дома перепишешь заново по буквам, черновик по избам, набело по буквам. Уездный же комитет не брани напрасно, там люди понимающие.

И так это удивительно на Руси пошло в это смутное время: образованный так работает, что кажется ему, будто не сам везет воз, а воз им управляет, необразованный кубариком бегаёт между буквами. А воз и ныне там.

Война слов

Из тех, кто был на Демократическом совещании, никогда не забудет красивую, представительную фигуру одного грузина, который сказал:

– Грузия достаточно сильна, имеет много оснований требовать кое-что для себя, но не хочет усложнять и без того сложное положение государства.

Эти простые слова были многими поняты так, будто сын умирающей за дверь матери сказал: «Мы собрались в лучшей комнате нашей матери, она еще жива, нехорошо теперь делиться, подождем».

И простые слова на время в собрании стали победными.

Еще смелее сказал другой грузин:

– Здесь были представлены все национальности, кроме русской.

Правда, почему-то грузины, поляки, мусульмане, украинцы, решительно все народности заявляют «о любви к отечеству и народной гордости», но великорусы... только соберешься с духом предстать и подумаешь: «Ну их к черту, жулик на жулике». Да еще как-нибудь повернешь все и в свою пользу: «Предстательством Отцов Святых и Пресвятыя Богородицы достаточно представлены».

Так раздумывая, встретился я глазом с представителем родного мне черноземного края, типичным человеком от «третьего элемента», и еще одним из деятелей 1905 года – эти люди – не охотники национально предстательствовать и вид у них обыкновенный. За ними разные новые интеллигенты, всякие кооператоры, разные интеллигенты без старой интеллигентской гимназической и университетской муштры, с готовыми формулами и резолюциями, все это организовано и подведено до такой

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
степени, что мышь не проскочит, а не то что какая-нибудь национальная
черноземная фигура в черкеске и с кинжалом.

Язык девяти из десятка ораторов – тот гладкий, без всякой задержки язык, которым
пишутся газетные статьи и который так презирают настоящие художники слова. И
невольно приходит на ум, почему слово человека земли, назовем такого человека
Сидящим, почему это слово не такое, как у Посланника.

Вот, например, из моей записной книжки речь деревенского оратора:

– Товарищи, друзья! Вы не подумайте, ежели я большевик, то я узурпатор или
подобен Дон-Кихоту! Я дерзаю, а вы, господин буржуаз, трусите: у вас еж по пузу
бегает!

За такой уродливостью речи вы слышите силу варвара-скифа, но почему же Посланный
сюда, в столичное Совецание, говорит исключительно по-мещански, так, что слова
его кажутся туго накрахмаленными и остриженными бобриком. Слова же бородатые
почему-то остаются там, при Сидящем.

Упрекнут меня, скажут, что вот нашел время, чем заниматься. Нет, друзья,
товарищи, я ищу красоты, без которой быть ничего не может, я ищу увидеть здесь,
в Народном собрании, лицо своей родины. Не нахожу этого, и в сотый раз
спрашиваю, почему Посланный так непохож на Сидящего, отчего те наказывают стоять
за лад и единство, а эти только и знают, что делаются.

Посланный говорит:

– Облеченный всем полномочием частных и групповых интересов, заявляю требование
о немедленном всеобщем демократическом мире!

Для этого есть у нас великие и простые слова: О мире всего мира!

За этими словами в церкви следует жертва.

А тут: «Требуем!» и петушком, петушком пробивает себе дорогу к раздору.

– Пораженец! – кричат ему.

Бунтарь в ответе опять выставляет целое войско накрахмаленных слов.

– Оборонческие партии, детищем которых является это собрание...

Война обессиленных слов... совершенно такая же, как в местностях с различными
народностями, на границах, в Галиции.

Так продолжается словесный бой несколько дней подряд, наконец, выступает и
девушка-мученица, у которой душа едва-едва покрыта человеческим покровом.

– Я, – говорит, – стою за однородное.

Ей очень аплодируют.

И она уже не своим прежним детским, душевным голосом кричит:

– А если буржуазия не...

Я не расслышал, что «не»...

– То тогда пусть узнает...

Что узнает, за шумом я не расслышал и спросил. Мне ответили:

– Призывает к погрому буржуазии!

Не думаю, чтобы она, такая, могла призывать к погрому, но половина собрания так
понимает слова Ангельской душки, а другая бушует от радости.

И, наконец, бой слов закончен. Начинается подсчет голосов. Тогда в ожидании

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
легла на лицо тень, и стало жутко, как перед настоящей, а не словесной войной.

Забылся я тут, прикурнул, задремал, и снилось мне, что разговор продолжается.

Кто-то из ораторов говорит:

– Русская революция виновата перед французской своим принципом бескровности; получается лицемерие: тут признается бескровность, а там самосуд.

Другой отвечает:

– Нужно открыть форточку, необходимо признать принцип крови.

Как известно, словесная война за мир всеобщий и демократический не закончилась, и ее постановили вести до полной победы, до полного истощения слов.

Не робейте, за нас индейцы!

Все лето, до самой рабочей поры, мы землю делили и столько из-за этого дележа приняли в душу свою злобы, столько смуты вышло и всякой попуты, а добыли всего-навсего по восьминнику!

Как досталось по восьминнику, поняли, что не стоило из-за этого было бездельничать и греха на душу принимать, лучше было бы идти за эсерами, дожидаться Учр<едительного> большого собрания, не слушать бы федуку-большевика.

– Большевик виноват!

Нашли виновника, а земли все-таки нет и взять неоткуда, имения все разделены, или намечены к разделу, все пересчитало и, хоть три раза удавись на осинке, больше восьминника на душу не выдавишь.

Помню, выходит на сходке старик наш и вещает народу:

– Добрые люди, я вот что слышал от старых людей: настанет время, и последнюю землю кинете, и так лежать она будет голая, и некому будет пахать ее.

Вспомнилось мне деревенское пережитое, и эти загадочные слова в Александрийском театре при дележе власти и перевел я слова старика с земли на власть, что настанет время, и бросят никому ненужную власть, и будет она так болтаться из стороны в сторону, пока не возьмет ее проходимец.

Множество признаков всюду равнодушия и цинизма в отношении к этой некогда ненавистой и священной и странной власти. Вот собралась толпа возле Народного собрания: едет к театру Верховный Главнокомандующий всех сухопутных и морских сил Российской Республики.

– Ах, вы, дураки, дураки, – проталкиваясь через толпу, говорит громко бывалый человек, – лезут на Керенского глазеть, вот добра не видали!

И никто за «добро» не вступается.

А когда началось это собрание, начались всякие мальчишества. Стул у кого-то из членов президиума покачнулся. Скобелев поправил ножку стула.

– Видно, что министр труда! – кричат.

И хохочут, и радуются; все совершается так же, как и в волостных комитетах, только там делят землю, а тут власть. Какие только люди не выходили на сцену: выходили и от земли, и от городов, и от военных, и от фельдшерских, и от всяких организаций. Слушал я, слушал и, когда все в голове стало путаться, выхожу покурить. Возвращаюсь минут через двадцать в свое подполье, в оркестр, где сидят журналисты.

– Что вы сделали, что вы пропустили!

– Что я пропустил?

– Декларацию индусов!

– Памирских?

– Какие у нас индусы, от настоящих, из настоящей Индии: что индийцы ждут от нас, только от России спасения, только на одних нас и надеются!

Поговорили, потолковали с журналистами о том, что вот как это все чудно, будто, правда, это не Народное собрание, а театр: мы землю делим, земли не оказывается, делим власть – власти не оказывается, делить вовсе нечего, а там вот люди за тридевять земель, так душевно располагаются на нас. И вспомнилось мне про Индию из недавно пережитого в деревне.

В июне, когда пахут пар, когда пришло вплотную время к дележу так, что хочешь ждать Учредительного собрания – жди, не паши, а если не надеешься, то сейчас, только сейчас захватывай – удастся вспахать и посеять озимое, твой будет урожай. Вот в это самое время и принесла нелегкая этого черта рябого Федьку-большевика. Зажег Федька митинг нерасходимый на выгоне.

– Берите, – кричит, – землю, боритесь, земной шар создан для борьбы!

А уж какой этот шар: по нашим деревенским знаниям и пониманию, земля вовсе не шар.

– Шар, – отвечают, – ну, ладно, а дальше что?

– Дальше: немедленно планомерно и неоднократно снимайте рабочих у помещиков, делите землю, пашите.

Смущены мужики, потому что на помещичьей земле всюду сидят тоже мелкие арендаторы и неминуемо с ними придется подраться и между собой, а там в этом имении еще винный склад.

– Идите, – кричит, – сейчас, снимайте рабочих, захватывайте, пощупаем их сундуки!

Митинг, как пожар, разгорается, оратор, будто пьяный, все говорит, и час, и два говорит, сядет, отдохнет немного и опять говорит. Скажет: «Побудьте немного без меня», отойдет в сторонку, ляжет, вздремнет и потом опять и опять говорит, и все от речей его, словно пьяные.

– Не думайте, – говорит, – что наши враги – немцы, нет, германцы приятели наши, а враги наши англичане, нам с англичанами воевать нужно и тогда за нас двинется Индия.

И опять свое:

– Земной шар, товарищи, создан для борьбы, за нас индейцы, не робейте, индейцы с нами, а Индия еще больше России!

До того заговорил, что хорошие степенные наши люди и те ошалели.

– Дружнее, товарищи, не робей, за нас индейцы!

Двинулись в Индию, а там оказалась вовсе не Индия, а просто винный склад: обыкновенная наша «винополия» Так вот и в Александрийском театре, в этом Народном собрании, совсем, было, мы приуныли от этого раскола нашего, несогласия, дележа, как вдруг выходят индусы и говорят:

– На вас вся наша надежда!

А мы, конечно, сейчас по градам и весям:

– Не робей, ребята, за нас индейцы!

Письма в провинцию
Остров Благополучия

Подъезжая к Петербургу, вы чувствуете напряженную злость к этим плотно набитым в вагоне людям: чуть кого-нибудь задел – начинает надолго ворчать, извинишься – не

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
действует, как будто мало извинения, а еще надо на чай дать.

По приезде, дня три, пока не приспособишься, ходишь голодный, и к этому непрерывно идущему, размывающему камни дождю, к этому ворчанию полуголодного люда, размывающего берега власти, присоединишь и свой голос.

Все очень злы, но я не думаю, что только от голода. Большой город всегда был похож на остров – твердыню состоятельных людей, окруженный морем нужды. Прошлый год перед восстанием у меня в этом городе-острове было человек десять знакомых богатых людей: они жили так, как теперь живут в Англии, почти совершенно не чувствуя войны через недостатки в продовольствии. Теперь же из этих домов у меня осталось только три – вот как сильно за эти шесть месяцев моего отсутствия Остров Благополучия размылся. И все-таки я не думаю, что злость исходит только от голода.

В моей квартире живет старая женщина с дочерью, мать с утра до ночи в очередях, дочь служит машинисткой и получает сто пятьдесят рублей. Едят они почти только картофель и бледные (дешевые) помидоры. Раз мать достала сало, а когда стала готовить, оно оказалось вонючим, гадким. Старуха вздумала перетопить его с чесноком и луком. «Мне, – говорила она, – ничего не нужно, только бы не заметила дочка». После обеда, шепотом она радостно сказала мне: «Не заметила, слава Богу, съела!» Дня три я ел вместе с ними, как вдруг, однажды, старуха говорит: «Вы, кажется, много зарабатываете, зачем вам терпеть?» Я удивился, я думал, что все так терпят, потому что всем выдается продовольственная карточка с 1/4 ф<унта> мяса в неделю. Я не знал, что рядом с городской лавкой, откуда, и то не всегда, после долгого ожидания, выдается 1/4 ф<унта> мяса в неделю, находится частная лавка, где за 2 р. 80 к. фунт можно получить сколько угодно превосходного мяса. Нас предупреждали в газетах, что молока не хватает детям, чтобы мы, взрослые, воздерживались. Но оказалось, что это говорится про дешевое, снятое молоко на рынке, а так всюду можно получить молоко парное прямо из-под коровы по 2 р. бутылку. И так все идет, как и прежде, и никакого закона о равенстве нет, А раз нет закона, то я сейчас же потребовал в редакции увеличения гонорара, поставил резко свой ультиматум и выбрался на Остров Благополучия. Теперь, зная, что спастись от голода можно только на Острове Благополучия, вы поймете ясно, почему в годину бедствия все требуют себе прибавки и разоряют в конце государство: потому что паника и каждому хочется спастись. Иногда требования бывают чрезмерны, но этому опять-таки есть уважительная причина: раньше человек жил, работал и откладывал про черный день. Теперь черный день наступил, и чувство сбережения переходит, естественно, в торопливость, в захват, схватил – и сапоги новые купил, или кушетку, или женился: этим буржуазным или мещанским чувством, оказывается, обладает громадное большинство населения. И все эти рвущиеся к жизни люди считают виновником всего буржуазию...

Странные вести приносит каждый день моя старуха из очередей: то, что мы все умрем с голоду, то, что взорвемся, то, что нас перебьют большевики и потом немцы придут и, БОГ знает, чего не говорят в очередях! Но страшнее всего для старухи, что вместе с министерством, где служит ее дочь, им тоже придется эвакуироваться, Ей жалко расстаться со своими вещами, и кажется ей, что там дальше, в глубине России, еще страшнее. Так многие думают, и потому никто не хочет уезжать.

Таковы дела в области жизни материальной, в духовной жизни мы как паутину опутаны разными партиями. Снизу Остров Благополучия подмывается людьми, не имеющими возможности выбраться на Остров, сверху, как ветер, его разрушают слова. Некоторые дворцы теперь стали огромными фабриками, днем и ночью производящими слова. Вокруг этих фабрик намечается образование особого, нового для нас политического быта, и нам, провинциалам, первое время кажется очень странным, что это словесное существование множество людей признают за самую жизнь.

Раздумываю об этом, и мне кажется, что все эти люди, как я когда-то, были очень аккуратными чиновниками и в определенные часы шли на заседания и там говорили и верили, что их слова создают Россию. У Особенно это заметно на Демократическом совещании при обсуждении коалиций и однородности. Почти все люди обыкновенного общественного труда, городские деятели, земцы, кооператоры стояли за коалицию, потому что никакого практического дела нельзя сделать без приспособления, объединения всего того, что, в общем, называется мудростью. Напротив, идейно-словесные люди стояли за однородное правительство. Все было похоже на дуэль Дон-Кихота с Санчо-Пансо, самое нелепое из всего, что только может

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru совершаться на свете. Временная победа Дон-Кихота произвела неслыханное опустошение на лугу жизни: литература, искусство, всякая красивая одежда, цветы, случайно вспыхивающие интересные разговоры – все исчезло. На случай полного исчезновения «буржуазных» писателей и художников американцы ассигновали даже крупную сумму для очень дорогого, как бы посмертного альбома. Дон-Кихот, словно камнями, завалил все газеты и журналы платформами и резолюциями, заматал всех веревками своей паутинно-сложной организации. Проходя по улицам, вы слышите такой разговор:

– Моя точка зрения, – говорит Бобчинский, – точка зрения моя лежит левее меньшевиков-интернационалистов и правее большевиков.

– Чем Вы это доказали? – спрашивает Добчинский.

– Я это доказал на митингах.

– Слышал я вас на митингах, не нахожу, что вы левее меньшевиков,

Потом начинается спор, как о сложнейших ходах в шахматной игре. Мне кажется, что для этого дела способности математические годятся больше других. Я совершенно лишен этих способностей, но представляю себе, что если войти, то очень интересно, но как войти? Недавно я слышал, как один молодой человек, тоже совершенно лишенный способностей математических, просил своего старшего товарища назначить ему какую-нибудь партию.

– Я, – говорил он, – желал бы, Саша, чтобы это все наше русское не у нас осталось, как смутное время, а значило бы для всего мира, как революция французская. Только я не хочу французской смертной казни и русского анархизма.

Старший товарищ задумался и сказал:

– Ты, Костя, я тебе скажу, кто ты: ты меньшевик-интернационалист.

Костя очень обрадовался, вынул записную книжку, просил указать ему бюро этой партии, где бы узнать ему, как быть ему дальше, что делать...

Наш Остров Благополучия я представляю себе как выходящий из моря нужды усеченный конус, по сторонам которого в трепете живет буржуазия, а на верхней площадке стоит Смольный – дворец Дон-Кихота. Часто из Смольного я возвращаюсь вниз, домой, только на рассвете, я возвращаюсь и будто спускаюсь все ниже и ниже, и вот, на самом низу, возле булочной вижу свою старуху-хозяйку первой в хлебной очереди: во мгле осеннего рассвета сидит она на каменной ступеньке, в черном платке, неподвижная, как мертвая, и немигающим глазом смотрит на прекрасно вырисованные на дверях замкнутой булочной белые крупчатые булки и куличи старого режима, самого старого...

О бесстрашии

Не бойтесь, друзья мои провинциалы, ехать в Петербург, уверяю вас, совершенно не страшно. Чего уж, кажется, страшнее наступления дикой дивизии месяц тому назад, как если подумать об этом где-нибудь в провинции. А на деле вышло очень просто. Газет в этот день, по случаю праздника, не ожидалось, и слава Богу! сижу я, письмо пишу. Наготовил писем, выхожу на улицу опустить. Встречается мне Марья Михайловна с корзинкой.

– Идемте, – говорит, – скорее идемте картошку покупать, я знаю одно место: продают по десять фунтов.

Служит Марья Михайловна в обсерватории и с корзинкой за картошкой вообще не ходит, и о продовольствии мы с ней никогда не говорим, а тут она хочет запасы картошки делать и еще увлекает меня – показалось странно.

– Боже мой, – говорит, – да вы ничего не знаете, Корнилов наступает с дикой дивизией, через день-два мы будем сидеть голодные, у вас нет корзинки, зайдемте ко мне, я дам.

Так я узнал в первый раз об этом странном наступлении и... пошел за картошкой. Так что страшного ничего не было, только на всю жизнь врезалась в память картошка, и где теперь ни увижу картошку, непременно вспомню корниловское наступление.

С тех пор, как туман, повисла над городом опасность войны гражданской, густо повисла, определенно. Теперь уже открыто в газетах призывают к свержению правительства и о гражданской войне говорят как о неизбежном. И все-таки мы живем здесь и не хотим уезжать. Страх войны гражданской есть сложное чувство, не раз мне приходило в голову: «Как могут все эти специалисты по гражданской войне так легко говорить о ней, неужели они совершенно лишены морального чувства? И почему о войне с внешним врагом всегда на первом месте мораль, а о войне гражданской как-то весело, вприпрыжку»? Приятель мой, вообще до волосинки моральный человек, говорит:

– Ну, и поколотят сколько-нибудь, при трех миллионах жителей это будет меньше, чем в Лондоне от трамваев.

И еще так:

– Пусть даже самая страшная Варфоломеева ночь, ну, тысяч тридцать при трех миллионах – опять пустяки.

Почему он, до волосинки моральный, о гражданской войне говорит без скорби, а так весело? Потому что он по этой части специалист и рассуждение имеет верное. Он знает, что наша обывательская жизнь есть постоянная война с великими жертвами, но мы привыкли и не замечаем ее. Теперь эта война переходит в сознание, началась борьба партий, которая приводит теперь к войне гражданской. Словом, раньше война была обывательская, а теперь с учетом и с выводом, в общей социологической схеме это считается шагом вперед, и потому приятелю моему, не признающему войны обывательской, сознательная война по душе, и сам он только и ждет того, как бы скорее дошло до него, чтобы его повесили, а идеи его восторжествовали, и на этот конец в его партии заготовлено знамя с изображением чаши, переполненной кровью и надписью: «Пролитая кровь обязывает».

Таков один путь преодоления страха крови, доступный очень немногим избранникам. Массы преодолевают иначе и прямо на опыте: во-первых, не всех же задевает крыло смерти и ловкому всегда можно улизнуть. А если уж и дойдет, то к тому времени так намотаешься от всяких недостатков, от смуты всякой в голове и на рынке, что как дойдет скажешь: «Ну и вешайте, хуже не будет, валяйте!» – и с улыбкой наденешь петлю. С улыбкой шли на гильотину французы. А мы-то, читая историю, думали: «Вот герои!»

В первое время, отправляясь на войну, мы, не военные люди, до того боялись за нервы: как, я думал, смотреть буду там на «горы тел», если в обыкновенной жизни видеть не могу без содрогания ушибленного ребенка. Приезжаю на войну, в один только завоеванный город. Встречается знакомый профессор – хирург.

Господин писатель, – говорит, – для вас любопытный экспериментик!

Едем с профессором в лазарет.

– Пожалуйста, десяточек рук!

Нам дают мертвые руки.

– Теперь, господин писатель, пойдете, постреляем.

Чудеса и страсти великие, и удрал бы, а стыдно удирать: малодушие.

Стрельба в мертвые кисти рук на близком расстоянии, в упор. Газы входят в пулевое маленькое отверстие и разрывают кисть. Фотографическое изображение дает звезду на ладони. Стрельба на далеком расстоянии дает маленькое отверстие.

Звезда есть доказательства самострела.

По пути на место применения найденного метода исследования профессор мне говорит:

Я сторонник гуманного отношения к «пальчикам» (так называются самострельщики). Комплекс социальных условий не всякого делает героем. А потому предлагаю не расстреливать их, а по излечении отправлять на передовые позиции в самые опасные

места.

Так, приезжаем мы на большой вокзал, весь заваленный ранеными: тут сидят, там лежат, стонут и корчатся тысячи раненых. Сначала испытываешь легкое головокружение, как при первой качке на корабле. Но профессор, как огромный чугунный столб, и я как будто держусь за него. Мы не обращаем внимание на тех, кто с разбитой челюстью и болтающимся языком беспрерывно мычит, кто лежит с закрытыми глазами и пальцами одной руки мнет и мнет какую-то бумажку, кто по-детски кричит, кто по-женски визжит. Мы с профессором подходим только к «пальчикам».

– Сестра Алиса, развяжите!

И пока развязывается рука:

– Господин писатель, вы должны быть психологом, это раненый по-вашему герой или «пальчик»? Вы думаете герой? Ошибаетесь, у вас глаз не наметался. Это трус!

– Пожалуйте!

На ладони у «пальчика» как на фотографии самостреляная звезда, очерченная кровью и порохом.

– Развяжите этому, сестра Алиса!

И так мы долго, как охотники за пальчиками, ходим «по мукам». Где-то в уголке совершает свое действие священник.

– Ну, господин писатель, теперь, я вижу, вы привыкаете, теперь вы психолог.

Скоро я совершенно привык и стал среди этой «империалистической» войны жить так же специально, как специально живут теперь деятели войны гражданской.

И у вас всех теперь скоро страха не будет.

Египетские ночи

Погибнуть или на всех парах устремиться вперед.

Н. Ленин «Рабочий путь», № 25

И все-таки, друзья мои, провинциалы, нельзя упускать из виду возможности, что большевики станут у власти. Я вас прошу к этому на всякий случай приготовиться и не страшиться, если вдруг на одну Египетскую ночь Клеопатра изберет себе большевика.

Есть трагикомическое положение, когда жена-ветреница, дома не сидит, а мужу приходится исполнять женское дело. Я сам видел одного такого мужа с дарами Сократа, полоскающего в корыте свое и женино белье. Такое же точно положение наших министров-интеллигентов в их браке с Россией: полоскают белье, а Россия крутится.

И пусть у власти станет большевик, я уверен, что он завтра же склонится к корыту, а Россия выберет себе другого любовника. Заходил я на днях в министерство, где служил я при старом режиме. Спросил чиновника, как дела.

– Дела, – говорит, – у нас, чиновников, те же самые, только нам казалось раньше, что министр – большой маховик и поворачивает всю нашу машину, теперь же мы все сами, кто как можем, вертим маховик.

Но зачем ходить в министерство, посмотрите на улицу: вот идет трамвай. Такое всюду разрушение, а идет же трамвай. Только это же старый трамвай, сделанный еще при царе Горохе; новых, революционных трамваев, вероятно, не делается. И парходы по Неве, все старые, щитовские. И дома, и лавочки, и бульвары, и даже одежда – все старое. Вообще, мы живем на старые средства.

Есть люди, которые убиваются в спорах о том, какую роль играли советы и комитеты в деле устройства нашей провинциальной жизни. Вспомните, например, погром в нашем Ельце: куда девались в этот момент члены Исполнительного комитета, советы, милиция? Не было никого, и в течение суток люди, творящие зло, творили его

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru беспрепятственно. Но только всего одни сутки, потому что тут же на улице «самочинно» возникла комиссия порядка, и почтенным людям возвратила покой. Вспомните наши земельные комитеты во время незаконной дележки земли, разве они что-нибудь сделали? Делили сами мужики. Нечего, конечно, тут искать большей справедливости, но и то удивительно, как все-таки при этом остались целы и люди, и хлеб. Не один помещик, а даже большинство их остались целы, невредимы и продолжают себе и отечеству на пользу поставлять свиней. Значит, помимо всяких советов и комитетов, этих призрачных учреждений, существует реальная сила, приводящая к порядку. Наши старые учителя говорили, что это естественно. Но мы, присмотревшись за это время к естеству человека, думаем, что эта реальная сила заключается не в естестве, а нажита нами в процессе совершенствования, это все та же самая сила прошлого, которая движет трамвай, и улицу, и министерство. Все видимое выходит из прошлого, и потому мы ни на одну минуту не сомневаемся, что как только наш большевик сядет в министерское кресло, так сейчас же ему старые чиновники и подставят корыто для стирки белья.

Итак, не бойтесь, друзья мои, все любовники нашей Клеопатры проживут только по одной Египетской ночи. Но вот как же сама Клеопатра, как вернуть ее на путь благоразумной матери и заставить полоскать белье?

И об этом не беспокойтесь: уйдет, одумается, выберет себе настоящего, достойного мужа и родит. Вот смелость-то большевиков на этом и основана, они хорошо знают брачные законы и хотят лишь устроить за это редкое время в жизни народов мировую демонстрацию.

Вдумайтесь только в эти слова Ленина: «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед». Старый муж нашей Клеопатры выражался просто: погибнуть или победить. Там была ставка на гибель, понятная всем: если не погибнем, то получим некий равноценный дар. И погиб старый муж. Новый муж опять ставит на гибель, но за риск мы получает уже не победу, а только одно стремление на всех парах вперед.

Во всем есть известное достижение: в браке – дети, в церкви – рай, в кухне – пирог. А тут одно только стремление, одно движение, один пар, и, следовательно, все это учение, хотя и от мира, но не для мира сего.

Вот, друзья мои, теперь я, кажется, подвел вас к истинному пониманию большевизма, не вашего провинциального, грабительского, а настоящего, здешнего, и вполне бескорыстного. Для вас Ленин – какой-то Стенька Разин с княжной, а для нас Ленин – один из чисто умственных людей, интеллигентов без княжны, даже без гитары, сидит весь день с книжками, сочиняет резолюции и даров никаких, кроме «стремления на всех парах», не обещает. И если и состоится его короткий брак с Клеопатрой, то, конечно, ничто не родится.

Хрустят косточки

Однажды с чиновником-работягой мы смотрели на картину заседания Государственного совета.

– Как ни плохо наше самодержавие, – сказал он, – а все-таки я думаю, что все более талантливое в деле государственного управления собрано здесь.

Теперь этот старичок давно покойник. Картина Репина, изображающая «талантливых» людей, завешена, и на местах их сидят представители тех, кто боролся с ними, от живущих старейшин Бабушки и Чайковского до мужа в полном расцвете сил – Авксентьева, до тридцатилетнего Керенского и моложе, вплоть до безусого большевика в матросской рубашке.

Религия человечества, которая давала силу всем этим людям в борьбе с самодержавием, имеет здесь всех своих представителей, и все они веруют, что движение человечества вперед есть движение к всеобщему миру.

На глазах наших совершилось великое чудо: вся власть вручена тем, кого несколько месяцев тому назад считали преступниками.

Так все сообразишь, обдумаешь, углубишься и чувствуешь какую-то великую силу в глубине жизни, и всего какой-то волосок отделяет нас от этой единой силы, которая может в короткое время дать нам власть одолеть врага и дать нам хлеб и, главное, радость. Но волосок этот заслоняет от нас эту единую силу.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Председатель Совета Республики говорит:

– Отечество в опасности!

И потом дальше, как по барабану, что отечество гибнет, что отечество, может быть, и погибло...

Никакого впечатления. А потом одна часть из исповедующих религию человечества называет другую изменниками и предателями, и те, в свою очередь, посылают их в немецкие вагоны.

И так получается, что если бы кто-нибудь из названных изменником, оскорбленный, тут же на месте убил бы оскорбителя, то это было бы моральнее, чем такое состояние «тепло-хладности».

Кто-то заметил, как часто теперь употребляют вместо «могу» – «смогу», вместо «мочь» – «смочь», напр<имер>, «полномочная демократия сможет дать достойный ответ». Почему-то всюду «может» заменилось этим «сможет». Раньше было слово «ерь» – признак рабской зависимости, теперь всюду и везде во время осенней распутицы это всеобщее смочь – признак бессилия.

Называют друг друга изменниками и предателями, но не «смогут» не только убить изменника, а даже публично дать ему оплеухину.

Главное же, что даже настоящих изменников нет и не может быть, потому что. Вот теперь я понимаю, какой волосок отделяет нас от силы единства: мы не смеем отдаться чувству отечества.

Земля наша дала множество даровитых и даже гениальных людей, но они вышли из нее, и земля оскудела. Каждый любит свой город, свою деревню, но преобразовать эту любовь животную в духовную и в то же время не расстаться со своим городом и своей деревней не может. И даже в лучшем случае получается какой-то Мир Искусства на удивление иностранцам, но не Отечество Искусства, мир без аннексий и контрибуций, но не мир всего мира, мир на основе всеобщего самоопределения, но не своего собственного. Как будто слово «свой», как в учении бегунов, происходит от дьявола.

Это наше новое чувство еще не воплощено, каждый понимает его по-разному и, верный своему пониманию, другого иначе понимающего называет изменником. Вот что разделяет этих служителей Бога Человечества: отношение их к отечеству. С тех пор как я сознаю себя, я чувствую себя связанным: я не могу вслух сказать это слово «отечество». Потому что если я его скажу, то какие-то слюнявые морды станут целовать меня и, заглушая мой голос, будут кричать:

– Бей жидов!

Мы, интеллигенты, в отношении к отечеству были похожи на тех младенцев, которым не удалось пожить на белом свете: которых мать приспала – присыпуши, которых удавила – удавуши, которых утопила – заливуши. В молитвах нашего народа за родителей, родственников и всех православных христиан часто упоминаются эти заливуши, удавуши и присыпуши. Есть трогательные сказания об этих нераскрытых душах, как их, тоскующих по своей матери-земле, мучат черти, всюду в омуте и вертепе посылают на побегушки, заставляют считать свое золото.

Но вот в Большом Верховном Совете пересмотрели все ценности, освободили присыпушей от власти чертей и сделали князьями родной земли.

Но они мать свою не могут узнать и помнят одно, что мать их задавила.

Барабан бьет пустую трель:

– Отечество в опасности, отечество гибнет, отечество, кажется, уже и погибло.

Бедные присыпуши, удавуши и заливуши, не Россия, не отечество наше погибает, а мы с вами, незаконные дети ее, на один миг, получив воплощение, возвращаемся снова в свое призрачное состояние.

Всюду на улицах из уст черного люда вы слышите, как говорят о первом нашем

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
интеллектуале, получившем воплощение в государственном бытии:

– Керенский – жид!

Не думайте, что это случайно и просто, Нет, это наша грубая мать, которую не хотим мы сделать своим отечеством, это спящая дебилая баба поворачивается на боку своим и душит дитя свое.

Хрустят косточки!

Земля и власть

Самосуд или протокольчик

От родных из деревни я получил письмо: «Милый хозяин! жить здесь без тебя становится жутко. Рубят последние сажанные деревья в лесу. Начинают сад. Станешь останавливать, – „Не подходи, – кричат, – это все наше!“ Тащат все, сдирают с крыши железо. Милиция каждый день пьяная. Самогон стал дешевой – по два рубля за бутылку».

Мой хутор вместе с неудобной землей занимает тридцать одну десятину. Земля, купленная дедом моим не дворянином. Сад и парк, насажен моей покойной матерью, которая покровительствовалась большим уважением крестьян. Я устроил восьмиполье с клевером, имея в виду и цели показательного участка. Весной после восстания я первый растолковал в деревне значение переворота и первый подал мысль учреждения совета крестьянских депутатов. После всего этого наши крестьяне в один голос говорят:

– Михал Михалыч не буржуй.

Мало того, я предлагал крестьянам взять мой хутор в собственность с условием не делить землю по ноготку, а вести хозяйство сообща. Предложение мое не было принято, в другом месте я расскажу почему. Когда началась проповедь снимать рабочих у собственника, я признал смысл ее: земля тому, кто ее обрабатывает. Уволил рабочего, даже домашнюю прислугу, все лето пахал, косил, чистил стойла сам своими руками. Крестьяне не знают, сколько из-за этого я потерял, оторванный от настоящего своего заработка. Но и все-таки каждый из них в отдельности наверно теперь скажет:

– Михал Михалыч не буржуй!

После всего этого я спрашиваю, почему меня разоряют и кто разоряет, и это я спрашиваю с целью выяснить вопрос, как нужно бороться с анархией.

Жизнь моя на хуторе не была работой в толстовском духе: работая, Толстой был анархистом, а я, работая, боролся с анархией. Ночь я иногда проводил на карауле, с дубинкой в руке ловил воров, загонял лошадей. Труд мой только давал мне право на борьбу, а уважение создавала борьба при помощи дубинки. Пока я не работал, все мои просьбы о защите сельского схода не имели успеха. Если я сам являюсь на сход, мне льстят и лгут в глаза, ссылаются на ребятишек: это, мол, ребятишки. Так, я вспоминаю тяжелую сцену. Однажды добился у схода не травить мой клевер и на другой же день ловлю на нем лошадей с мальчиком:

– Тебе кто велел?

– Татка.

Веду по деревне к татке. Спрашиваю отца, правда ли он велел. Отец, конечно, отказывается.

– Тогда, – говорю, – разреши мне ему уши надрать.

– Дери!

Беру мальчика за ухо и ясно вижу, что он не виноват, а виновен отец. Ему стыдно, глаза потупил, а мать шепчет мальчику:

– Ничего, ничего, потерпи!

Так бывает с постановлением схода, если я лично являюсь. Если же я посылаю

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
работника, он приносит мне как подарок матерное слово.

Но вот, я начинаю работать, теперь все видят, какой я. И я, будучи весь день на поле, вижу всех воров. Теперь я в новом положении, посылаю своего мальчика просить сход за меня заступиться.

– Воров, – отвечают, – лови и крой дубинкой!

Много раз повторили серьезно, сочувственно:

– Крой дубинкой, крой дубинкой!

С дубинкой в руке я ночую и, когда подходит вор с топором, я крою его со всего маху дубинкой и веду на сход избитого. Я приходил раньше на сход, имея за собой голубое небо и проповедь братства и равенства. Теперь за мною ночь и какая-то красная безумная радость пожара: я нахожусь внутри земной мужицкой стихии. Сход очень доволен, я получаю все права. Милиционер, такой же мужик, как и все, подходит ко мне, победителю, и говорит:

– Как желаете, Михал Михалыч, хотите протокольчик составлю, хотите самосуд.

– На первый раз, – отвечаю, – прощаю. – Как угодно, а то мне ничего: самосуд или протокольчик, по вашему желанию.

С этого времени всюду ко мне уважение. Без всякого протокольчика своим личным самосудом я назначаю штраф за потравы, за теленка полтинник, за корову рубль, за лошадь три рубля. И деньги мне покорно несут, и никто, ни одна душа вокруг не понимает, что это победа переживается мной как великое мое поражение.

Я приходил к ним в начале революции и приносил им большую радость о земле и воле, как союзе всех трудящихся земледельцев. За мною было голубое небо.

Вот среди летней великой смуты я приношу им листок с другим содержанием – о том, что смертная казнь восстанавливается, и что же в ответ?

– Слава тебе, Господи!

Не какие-нибудь арендаторы, лавочники и всякие деревенские буржуи, а самые обыкновенные малоземельные крестьяне говорят:

– Слава тебе, Господи!

Им кажется это победой власти, а мне кажется великим последним поражением.

Мы совершенно не понимаем друг друга.

Ну и что же, скажете вы, какой тут вывод можно сделать применительно к нынешнему положению, оправдаются ли надежды правительства на передачу власти войсковым организациям?

Отвечу на это, что дело не в переделках. Смеялись у нас: «Переделали полицию на милицию, а толку все нет». Милиция пробовала у нас сама переделаться на войско. В критический момент, после большой драки, вызван был отряд солдат, которые для наведения порядка поселились в одной покинутой усадьбе. На некоторое время водворился порядок, но потом эти новые солдаты сами стали ходить на улицу, «брататься», все пошло по-старому, и власть их испарилась.

Урядник и земские были властью извне, а теперь мы признали власть изнутри (самоуправление), и внутри-то, оказывается, и нет этой власти, внутри нас она, оказывается, не живет.

Так повсюду на Руси бывает с монастырями, издали, из-за многих сотен верст приходят в монастырь богомольцы и хорошо молятся, и находят себе утешение, и даже исцеление. Но люди, живущие вблизи монастырей, обыкновенно не исцеляются и глубоко презирают распутных монахов.

Вот почему теперь многие простодушные люди и ждут германца-избавителя. Это ждут далекую постороннюю власть, это совершается новое призвание варягов.

Предлагают еще один способ вызвать власть внутри: передать землю крестьянам, это будто бы поставить их на ноги. Ничего не могу про это сказать, потому что наблюдал за это время жизнь России только в одной ее точке. В этой точке земля, говоря по правде, перешла почти вся крестьянам, и все ее поделили. Если и остались какие имения нетронутыми, то мысленно они уже поделены между соседними деревнями. Я не предвижу какого-нибудь переворота в душе крестьянина, если эти последние имения будут разделены.

В моем летнем одиночестве часто мне казалось, что если бы все кишачие в городе политические агитаторы явились в деревню с какой-нибудь выработанной программой устройства самого производства хозяйства, то все бы сложилось иначе. Об этих моих думах я расскажу в другой раз, а теперь пока скажу, что общий путь нашего дальнейшего бега ясен становится и яснее день ото дня.

В начале войны мы считали своим врагом немца, угрожающего нашим государственным границам. В то же самое время, вы помните, всюду по Руси гуляла легенда, будто к такому-то помещику прилетал на аэроплане Вильгельм за планами. Мало-помалу эти легенды о внутреннем немце все крепнут и крепнут. Солдаты с фронта присылают письма, в которых указывается, что Москва и Петербург уже проданы. Враг внутри государства, внутренний немец принимает все более и более ясные очертания: Сухомлинов, Штюмер, Распутин, царица. Так доходит и до царя, и его свергают. Внутренний немец воплощается в класс собственников, которые все вместе называется «буржуазией». Многоголовой гидрой оказывается эта буржуазия, от крупного помещика до соседа-крестьянина, имеющего на одну лошадь и на одну корову больше, чем я. В настоящее время совершается собственно борьба всех против всех. Я стою на страже своего имущества, владею дубинкой, и я цел. Но стоило мне на месяц уехать из деревни, и все пошло прахом.

В дальнейшем, если враг даст нам время вести войну с внутренним немцем, мы должны увидеть его не внутри государства, как физическую личность, а внутри себя, и тогда мало-помалу все снова, Бог даст, наладится.

Мертвая зыбь (из дневника)
20 октября

Опять, как в корниловские дни, хозяйка моя приходит с мешком картофеля, робкая женщина на случай нового восстания и голодовки запасается продовольствием.

С объявлением из «Биржевки» приходит ко мне управляющий домом: продается револьвер с патронами, недорого. Советует купить. А мне лень идти за револьвером и скука. Я бывал на своем веку в самых рискованных положениях, и никогда не было у меня револьвера.

– Но если ворвутся грабители, что будем мы делать, невооруженные.

– Ничего не поделаешь...

Как же быть? Разве позвонить к Грише? У того целый арсенал, большой любитель оружия. Я помню еще в феврале, в предчувствии революции, он говорил мне:

– В девятьсот пятом году, ты помнишь? Я был против революции, но теперь, если начнется, я пушу в ход все оружие, я могу тут целый месяц отстреливаться, если придут.

– Кто в тебе придет? – спрашиваю.

Он не знал, что и я смеялся над его воинственным настроением, а вот теперь этот революционер, пожалуй, найдет применение своему оружию.

Еще мне вспоминается в Львове один гимназистик, который тоже хотел найти применение оружию. Пристал к солдатам, долго скитался на фронте, ничего как-то не выходило у него, солдаты его обижали, смеялись, плохо кормили. И вот из-за каких-то провокаторских выстрелов случился в Львове обстрел еврейских домов. Встретил я гимназиста с винтовкой в руке, он хвалился:

– Я тоже убил двух жидов.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Так мне и представляется теперь, что стоит только завести револьвер, а там он уже сам найдет себе дорогу.

Как же все-таки быть, если придут. Разве поставить на окне оборонительный образ Николая Угодника? Так делают жители завоеванных городов. В невидимого врага долго стреляют, и он оттуда стреляет, а потом, когда кончится дело, город завоеван, победители вступают, дома жителей города встречают выставленными на окно иконами и распятиями с надписями:

– Пощадите невинных!

Заступники, святители, Мадонны, Распятия на окнах, на дверях, а людей на первых порах нет, будто город врагов исчез и стал, как Китеж, невидимым.

И есть какой-то глубокий смысл в этом обычае обыкновенной войны, а в гражданской войне нет и не может быть этого обычая. Дух разрушения устремляется в самые истоки нашего существования, что ему иконы?

– Мы тоже, – скажет, – когда-то молились этим богам!

Осенний ветер воет трубе, гонит ветер с войны призраки, души убитых павших – за что? Они спрашивают, смущенные, сердца живых, за что нас убили, за кого мы пали.

– За царя?

Нет больше царя.

– За отечество?

И им отвечают на разные лады:

– Как понимать отечество, что такое отечество?

Слова падают мертвыми камнями, рассыпаются мелким песком, поднимаются вихрем вопросов неуспокоенных душ. И никто вокруг не знает, кто наш враг, в кого будет стрелять купленный для самозащиты револьвер.

Осенний ветер воет, мчится с ним какой-то дух с разящей пикой. Снилось мне, будто был я на своей истинной родине, далеко отсюда, там не в магазинах, а на одеждах людей было золото и бриллианты, и покровы земли не были измяты, и покровы духа нашего – слова были живыми. Я видел, как шли украшенные люди с оборонительными святителями Града Невидимого, шли навстречу этому страшному нам духу с пикой, и падала пика, и ветер, долетевший до края, ложился, и выходили из облака прославленные войны-братья.

– Прощайте же, граждане свободной и завоеванной родины, мой путь не с вами! – сказал я и пробудился.

Все исчезло, я пробудился опять в свободной и завоеванной родине. Только сердце все еще живет и бьется от тех видений и словно море волнуется на потопленном граде чудес, все утонуло, стало невидимо, и ходит мертвая зыбь с острыми, ядовитыми волнами.

Чающие и обещающие (из дневника)
26 октября

Мы живем в близком соседстве с «Авророй», на Васильевском, стрельба из пушек с «Авроры» на моих жильцов не оказывала большого влияния, но когда зарезали дворника в соседнем доме, они стали вдруг полубезумными и монархистами: вопили о царе, как народ в Книге царств.

Фантазия стала действительностью. Россия мне представилась керосиновым фонарем с разными стеклами-платформами, поворачивающимися в воздухе: то повернется одним красным стеклом, то белым, то черным. Вот сейчас фонарь светит самым красным стеклом – стреляет пушка «Авроры». За ночь фонарь перевернулся в моем полусне всеми сторонами, утром опять остановился на красном, я вышел на улицу и увидел «Аврору». У самого берега Невы мужик и баба, ругаясь, круглой пилой резали дрова на швырок, и матросы с «Авроры» хохотали над ними. Недурные лица моряков,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
попадают даже вовсе добрые, но жалко их: не знают, что творят.

Вспоминается мне одна старуха из Варнавина, которая предсказывала, что рано или поздно придут пророки ложные, Гоги и Магоги. Демагоги!

Так вот это теперь ясно показывается для всех с очевидностью, потому что нивы побелели и созрели колосья, а в зародыше все было раньше. Был тоже за Волгой один такой ложный пророк, забыл я, как зовут его, но лицо смутно помню, так, рыжий человек. Лет тридцать он сидел у церкви, исцелял болезни, кто веровал в него, а если исцеление не выходило, то он обещал:

– Вот скоро вознесусь, тогда исцелишься.

Из года в год обещал и собрал множество чающих и, между прочим, нажил денег тысяч сорок, говорят. Однажды чающие в огромном числе собрались и потребовали исполнения обещания.

– Вознесись! – говорили чающие.

– Ну, что ж, вознесусь, – ответил обещающий.

И полез на колокольню.

Бросился вниз и разбил себе руки и ноги.

Было это еще и в Задонском монастыре, в Воронежской губернии, такой же случай был еще в губернии Тамбовской, но в каком месте не упомяну.

Так раздумаюсь – ничего нет в этом вознесении ни чающим, ни обещающим, а вот почему – то все это повторяется: чающие остаются в ослах, а обещающий ломает себе шею.

«Гоги и Магоги» – называли их старцы из Варнавина.

А мы теперь их зовем:

– Демагоги.

Только не надо все на них сваливать, на одних обещающих, в конце концов, виноваты, по-моему, и чающие. Недаром же, как я сегодня прочел в газете (может быть, и врут), министр земледелия Семен Леонтьевич Маслов послал по телефону из Зимнего дворца проклятие: «Я проклинаю демократию, пославшую меня во Временное» правительство и оставившую умирать в трудную минуту без помощи и авторитетного вмешательства» (Новая жизнь, № 163).

Порождение ехидны

Вчера я видел, с каким позором выгоняли этих «победителей» из Городской Думы, им кричали:

– Изменники, предатели родины!

И напрасно я в своей совести искал небеса, чтобы оттуда посмотреть и увидеть в этих поносимых людях правду человеческую. С высоты первого неба я увидел правду царскую, но она оставалась тем, что она есть. С высоты второго неба я увидел ужасы войны, голода, я увидел слабость и попустительство людей, взявшихся за власть после царя, но они, эти люди, оставались тем, что они есть. И с высоты последнего, доступного мне неба, я увидел в них диалектика-женщину, рассуждающую о том, что можно только любить и ненавидеть. Она, эта усатая женщина, на всю мою страсть земную отвечает холодно:

– Вы на каждом шагу делаете логические ошибки!

Я овладеваю собой и начинаю следить за ее диалектикой, ловлю ее на ошибках, она ловит меня, и вот где-то на стеклянном небе занимаемся мы с усатой женщиной диалектикой, а внизу возмущенная, исстрадавшаяся земля ожидает нашего решения.

Вспоминаю теперь, где я в жизни, которая называется «действительной», видел усатую женщину, и вот вспомнил: видел я ее в кулуарах Совета Республики, в споре

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
с единственным настоящим мужиком, бывшим в Совете. За причину нынешних аграрных погромов усатая женщина считала нерешительность правительства, нужно немедленно мужикам передать землю.

– На что сейчас мужику земля, – возражал мужик, – теперь земля скоро покроется снегом, а через три недели хозяин земли – Учредительное собрание распорядится.

И сделал скачок от избытка чувств:

– Вы, сударыня, в земле ничего не понимаете, а находитесь в Совете.

Она отвечает:

– Вы не понимаете в земле, я больше вас понимаю.

– Я землю, сударыня, с малолетства пашу.

– А я знаю и говорю.

– Не говорите, а только плесень сушите! Говорить можно что угодно: языки мягкие.

Мужик взбушевался и пошел, и пошел, а усатая куда-то исчезла. Мы потом успели и закутить в буфете, и чаю напиться, а мужик все стоял на своем месте и бушевал.

Так, я думаю, тем все и кончится: усатая женщина улизнет за границу, ей не будет стыдно, совесть у нее тоже диалектическая, а мужик будет крыть дубинкой, попадая совсем не туда, куда нужно.

И еще бы не крыть: разве, в конце-то концов, русский народ всю правду видит в прибавке полдесятины чернозема, разве в этом причина?

Если даже и сбудется обещание: народу будет в изобилии дан хлеб, земля и мир этими людьми, захватывающими престол властителей, все равно настоящий избранник народный скажет им:

– Порождение ехидны!

Потому что наш народ верует, исповедует, что не единым хлебом жив человек.

Смех обезьян (из дневника)
28 октября

До выступления большевиков, проходя по Невскому возле Мойки, мы еще любовались деревьями с нежелтеющими листьями, не знаю, какие это деревья, каким чудом сохранилась их зелень до конца октября, трагическая, прекрасная зелень.

После выступления большевиков я не замечаю этих деревьев и ничего не знаю о них. Любил я еще, заметив коротенькую очередь возле табачного магазина, зайти и купить лишнюю четверку в запас. Теперь никаких запасов не делаю, ни табаку, ни хлеба, ни бумаги, теперь мне все равно.

Расстрел Зимнего дворца, где были представители русской демократии, витающие здесь сказания об умученных женщинах батальона смерти, защищавших Временное правительство, речи Троцкого о бескровности второго переворота... – мне совершенно ясно, мы завоеваны.

Полубезумный офицер в трамвае истерическим голосом заявляет публике:

– Мне все равно, я присягал царю, присягал Временному правительству, если меня заставят опять присягать, то хоть турецкому султану, мне все равно.

Мы завоеваны, последнее оружие, принятое нами, русской демократией, от наших великих учителей, отвращение к насилию, к смертной казни находится в руках Троцкого: после его слов о «бескровности» переворота, нельзя без чувства гадливости употреблять это слово. Бессильно всякое слово, потому что, произнося его, мы смешим хор обезьян. Скажите слово «земля», наш символ единения трудящихся, и вам скажут то же слово как символ разделения. Вы говорите «воля», вам отвечают таким же словом и закрывают вашу газету. Счастье наше, что слово

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
«женщина» не попало в демагогический лексикон и женщин мучили не принципиально. Так и нужно записать, что путь к Интернационалу лежит через труп русской опозоренной женщины. Чистенькие интернационалисты, конечно, теперь не с большевиками, они теперь моют руки.

Для шумящих теперь на царском троне большевиков совершенно ясно, что лучше: десант немцев или генерал на белом коне, конечно, немцы, и они откровенно, стреляя и мучая демократию, прут на это.

Как же мы теперь будем вести себя, у кого искать опоры и защиты, не становясь в положение чистеньких интернационалистов, умывающих руки?

В себе самих, друзья мои, умрем, но не предадим отечество ни большевикам, ни немцам, ни генералу на белом коне. В конце концов народ пойдет за теми, с кем останутся величайшие герои русского духа и через нас наш путь на Божий свет, а не через умученную русскую женщину под смех обезьян.

Убивец (из дневника)

Дворянин Ульянов-Ленин затеял в крестьянской России пролетарскую республику, и нет ничего ненавистней ему, наверно, Учредительного собрания, которое он называет мещанским.

Так можно и назвать момент этого столкновения: война дворянской затеи с мещанской республикой. Пролетариат, я думаю, тут почти не при чем, разве лишь постольку поскольку он введен в заблуждение.

Не нужно быть большим художником, чтобы заметить в первые же дни выступления на лицах простых людей, солдат, матросов, рабочих какого-то смущения, будто венчик преступности окружал их лица, будто каждый из этих людей смущенно созерцал видение Раскольникова, этого таинственного мещанина, который каждому из них говорил:

– Убивец!

Я спрашивал для проверки себя множество знакомых, между прочим, и одного из лучших живописцев-художников, и все они в один голос отвечали, что видели также этот венчик преступления и наказания вокруг лиц простых, закруженных дворянской затеей людей.

Конечно, я не в сословном смысле употребляю это слово – «дворянская затея» и мещанство тоже принимаю не по Марксу, тут все в оттенках быта нашего русского, нашего непосредственного взора, ясного зрения. Что бы там ни говорили настоящие ученые люди и дворянские записи, а преступление Ленина дворянское и наказывать будет его мещанин.

– Убивец! – скажет мещанин.

Чем ответит Ленин, я не знаю, может быть, бросится на свой меч, или перекоцует в Европу, или поймает его наш Порфирий. С первого же дня его выступления мы почувствовали, что это вор.

– Вор! – первые сказали чиновники.

Государственные учреждения перестали работать, и все увидели, что это не министр, а вор, голый вор.

С этого момента все эти сочиненные классовые перегородки упали, все партии закричали:

– Убивец!

И все, от черносотенцев до интернационалистов, стали мещанами.

В оправдание своего поступка большевики обыкновенно говорят: «А вы разве не той же силой действовали, когда свергли царя?» Логика Раскольникова, – по существу ответить невозможно на этот вопрос. Но тогда, во время свержения царя, я сам сидел в министерстве и видел я, с какою радостью принялись тогда за работу чиновники и как они восторженно приняли нового министра. Теперь же в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
министерство будто заноза впиалась, и тело учреждения стало нарывать и пухнуть, там был румянец, тут опухоль.

Можно ли злобно сказать французское слово «авантюра», если у русского человека существует столько специальных ругательных слов? А я слышал на Невском, как один маленький чиновник, Акакий Акакиевич, с искаженным злобой лицом, под выстрелы пулемета, крикнул большевику-рабочему вместо «убивец!»:

– Авантюра!

И большевик с холодной злобой, как затравленный волк, ответил:

– Я обращаю авантюру на вас!

Он хочет этим сказать, что «авантюра» порождена в недрах этих же теперь так напуганных людей, как проституция, в конце концов, исходит из спальни дурных супругов.

Вот только неправда, что авантюра вышла из недр Акакия Акакиевича и вообще чиновничества, кооперации, профессиональных союзов, все, что называется «мещанством» – это все здоровое, все это вплоть до Учредительного собрания, которое непременно будет «мещанским», – здоровье живого тела народа.

И Ленин с Троцким, в конце концов, только заноза. А вот куда «обернуть авантюру», по всей правде не решусь сказать.

Не могу я сказать, потому что авантюра обняла весь человеческий мир на земле, но за пределы человеческого, только человеческого, еще не вышла, и со стороны в Божьем мире нам, сейчас живущим, к ней подойти невозможно.

Красный гроб

(Слово о том, как показала Россия, что человек действительно происходит от обезьяны)

Будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения во век..

М. III. 28, 29

Я помню это страшное молчание, когда огромная московская толпа встретила первых раненых на Смоленском вокзале и, расступясь, пропустила первый скорбный поезд. Простой человек возле меня, который теперь невидимо существует, перекрестился, сказал:

– И птицы на войну улетели: вороны, сороки, все теперь там, клюют...

И зарыдал. Я тоже не мог удержаться от слез, потому что мне представилось, простой человек не о птице сказал, а как говорится в Евангелии, что завеса церковная разодралась. Кругом все благоговейно молчали.

То было одно молчание, то молчание земли, когда Христа распинают. И русский писатель все время войны молчал, а если пробовал говорить, то бывал наказан бездарным творением.

Теперь молчат по-другому. Нельзя теперь ничего сказать, потому что все лучшие слова наши опутаны ложью, как нитями паразита стебли цветов полевых. Война была распятием, но последнее восстание – хула на Духа Святого. Даже слово «человек» нельзя теперь просто сказать, потому что и это священное слово стало, как прорытая скорлупа червивого ореха.

Я не знаю, во имя какого человека совершилось восстание – того, которого пригвоздили к горе Кавказа, или которого теперь разыгрывают актеры на русской сцене – человека-обезьяну.

В марте был радостный день, когда уже замолкли выстрелы и все вышли в этот веселый солнечный день на улицу, смотрели, как сжигали на кострах деревянные гербы и короны. Еще не было газет, все голодали, тосковали по слову. Тогда показалась на Невском тележка, доверху нагруженная книжками в зеленой обложке. Все бросились ее покупать и разошлись по домам с книжкой в зеленой обложке в руке и говорили: «Самая теперь интересная книжка!»

Книжка эта была история французской революции. Книжку прочли, рассказали ее своими словами в миллионах собраний, актеры разобрали себе роли, и началось представление на русской сцене пьесы о человеке, созданном французской революцией.

Так и условились молчаливо, что это не больше как представление и назвали его бескровной революцией, хотя было много убитых. Я спрашивал, почему хоронят в красных гробах и откуда это взялось, и для чего это нужно. Мне отвечали, что во время французской революции хоронили убитых, завертывая в красную материю, и, значит, нам непременно нужно хоронить человека в красном гробу. Хоронили и пели дурной перевод марсельезы: «Вставай, подымайся, рабочий народ!»

Сердце сжималось от обиды. Для того ли я странствовал лучшие свои годы по Русской земле, отказываясь от благ земных, собирал драгоценные слова, записывая старинные песни хоровые, свадебные и похоронные заплачки северных воплениц, чтобы в радостный день воскресения русского народа пели дурно французскую песню и хоронили в красных гробах.

– Дело не в стиле, – отвечали мне, – пусть представление французское, а сущность русская: наша революция бескровная.

И продолжали играть, и так дошли до коммуны, и как дошли...

Смутно в душе, я это предчувствовал всегда: разве так просто небо голубое, а земля покрыта зеленым ковром и молодые одеваются в светлое, а старые в темное, на свадьбу приходят в цветном, на похороны – в трауре. Я предчувствовал, что красное так не пройдет, рано или поздно взовьются красные гробы и, увидев их, с ума сойдут и актеры и публика.

Актеры забыли, что они только актеры и разыгрывают человека, созданного французской революцией. Забыли, и вдруг французская пьеса превратилась в русскую мистерию о происхождении человека от обезьяны, страшную и невиданную миром мистерию, где на тронах сидят обезьяны, а души усопших по черным улицам вихрем носятся в красных гробах.

Поцелуйте боженку под хвостик! (из дневника)
5 ноября

В формуле «без аннексий» есть своя Марфа (евангельская), которая называется самоопределением. Во имя «без аннексий и контрибуций» можно делать какие угодно безобразия – все прощается, но самоопределение, как Марфа, печется о мнозем и сора в своем доме не терпит.

Во имя «без аннексий и контрибуций» можно расстрелять живую святыню нашего до сих пор верующего народа – Успенский собор, и ничего: во имя формулы мой приятель-диалектик найдет смягчающие обстоятельства даже для такого преступления.

Он мне так и сказал:

– Что вы горюете о церкви Василия Блаженного и о Успенском соборе и трепещете за Эрмитаж? С моей точки зрения жизнь одного красногвардейца дороже храма Василия Блаженного.

Конечно, если признать, что красногвардеец вмещает в свою душу полноту веры в мир всего мира, я понимаю, такой живой храм дороже старого храма Василия Блаженного, и Бог с ними, с мощами святых Успенского собора и всеми сокровищами Эрмитажа. Юношеская героическая душа готова перескочить через всякие преграды. Но моему приятелю уже под сорок, и я вправе спросить его:

– А как же самоопределение, какой же нибудь нужен национальный материал для самоопределения, потому что если все выйдет по вере красногвардейца и мир всего мира будет заключен, то что с ним делать, печка будет сложена, а теста нет – на что мне печка?

Словом, это самоопределение, спрятавшееся под хвостиком знаменитой формулы, напоминает мне анекдот о верующей старушке перед иконой, на которой, между

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru прочим, изображен и обыкновенный черт. Старушке-то хорошо, она высокая, ей можно поцеловать Божию Матушку, а маленькой девочке не достать, перед ее губами только черное существо с рогами и хвостом. Старушке древней девочку не поднять, и вот как она выходит из затруднения:

– Ничего, деточка, ничего, поцелуй Боженьку под хвостик.

Так вот и своему маленькому и в то же время сорокалетнему приятелю, когда он мне говорит о живом храме красногвардейца, более ценном, чем святыня соборного народного поклонения, я ему всегда говорю о самоопределении в таком роде:

– Поцелуй, деточка, Боженьку под хвостик!

Сорок лет, захвативших конец XIX и начало XX века, не шутка, хвостика тут никак не минуешь, и как только поцеловал под хвостик, сейчас все в своем естественном виде и показывается и красногвардеец – прескверный мальчишка из подонков города не стоит мощного потока и весь разговор какой-то другой. Оказывается даже, что вовсе и не красногвардеец стрелял в народные храмы, и вообще никак не дознаешься, кто совершил такое неслыханно гнусное деяние.

Я многих расспрашивал, ничего не понял, а один собеседник мой так сказал:

– В этом участвовал кто-то третий.

– Кто этот третий? – спросил я.

Смутно объяснил мне собеседник общую картину, и выходило из слов его, что русский солдат наводил пушку, например, на какого-нибудь буржуа-юнкера, в то же время буржуй-юнкер наводил на большевистского солдата, а кто-то третий переставлял прицел, и снаряды попадали ни в буржуя, ни в большевика, а прямо туда, куда в постное время ходили говеть и солдат-большевик, и буржуй.

Последствия стрельбы этого таинственного третьего вышли ужасающие: у нас налицо прежняя абсолютная власть, с той только разницей, что высшего носителя ее по всей Руси презирают и ненавидят гораздо больше, чем царя, у нас есть опять оторванная от народного понимания и поддержки демократическая интеллигенция, и тюрьма, и участки, и взятки, все прежнее во всех мельчайших подробностях и в новой ужасающей видимости. Есть такая злейшая шутка над ребенком: показать Москву. Сначала размят ребенка Москвой, что хороша она: царь-колокол, царь-пушка. А потом возьмут за голову и потащат вверх и приговаривают: «Видишь Москву, видишь?». Черт знает что! И про это новое самодержавие только и можно сказать: «Черт знает что!» – голову отрывают и приговаривают: «Видишь, там, вдали, все без аннексий и контрибуций!»

Царя мы тоже не видели, как аннексию и контрибуцию, но никто и не тащил тогда за голову показывать, головы наши все-таки держались на плечах.

Вот я спрашиваю: «Ну, кто же этот третий, совершивший столь великое зло?»

Большевики, настоящие, идейные явно тут не при чем, и буржуям тоже незачем переставлять прицел на святыню. Знаю, что будут указывать на евреев, – тоже вздор! А уж за немцев я буду горой стоять: немец будет разрушать только в интересах высшей целесообразности.

Кто же этот третий разрушитель, переставлявший прицел пушки на святыни наши – так и не догадаетесь? А я уже давно догадался.

Русский он, русский, друзья мои, самый настоящий русский... человек... – тьфу, тьфу! – не человек, а вот тот самый с хвостиком в нижней части иконы.

Они, большевики-то, и тянутся приложиться к ручке Божьей Матушки, но где им достать, маленьким большевикам, великой, уму непонятной святыни.

Мы тоже изморились на службе, несчастные, измученные русские люди, не могли поднять большевика до Божьей Матери и сказали:

– Поцелуй Боженьку под хвостик!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Большевики поцеловали – и вот уже двенадцатый день на троне сидит Аваддон.

Ключ и замок (из дневника)
8 ноября

Летом к нашему берегу на Васильевском острове приплыла барка с дровами, и рабочие всю середину улицы завалили швырком. Все лето, пока было тепло, в этих дровах совершалась Вальпургиева ночь. Теперь, осенью, треньканье балалайки прекратилось, иногда слышатся отсюда выстрелы: раз! и два! – потом, словно подумав немного, еще. Вчера мне объяснили эти выстрелы: расстреливают воров.

Нева плещется о пустые желтые бакены, и от этого кажется, будто вдали на море из пушек стреляют. Многие, проходя здесь, прислушиваются к этим звукам и, принимая за выстрелы, начинают разговор о дикой дивизии, о каком-то корпусе, посланном с фронта выручать Петроград, о бунтующем флоте, который должен обстреливать наши войска с моря. Многие, проходя здесь и слушая рассеянно глухие удары волн о железные бакены, начинают один и тот же разговор о том, кто освободит Петроград от тиранов.

Возле железных, черных ворот нашего дома я хожу взад и вперед с винтовкой, из которой не умею стрелять: охраняю жильцов нашего дома от нападений. В тесном пролете я хожу взад и вперед, как, бывало, юношей ходил с постоянной мыслью о том, когда же освободят меня, когда мир освободится от власти тиранов, совершится всемирная катастрофа и пролетариат будет у власти. Мысли мои, воспоминания время от времени прерываются стуком в железные ворота, я спрашиваю имя, номер квартиры и пропускаю по одному. А потом ясно вижу ошибку своей юности: и туда, в тот мир, в тот мир свободы, равенства, братства тоже пропускают по одному. Такой высший закон: всех сразу, всю безликую, безымянную массу невозможно пропустить через железные ворота. Доказательство налицо: совершилась мировая катастрофа и наступила диктатура пролетариата, а жизнь стала невыносима, и лучшие часы свои я должен проводить в тесном пролете двора с винтовкой, из которой не умею стрелять.

За воротами, в дровах, послышалась брань, жестокий спор, кто-то яростно стоял за правду и называл Керенского воров.

– А думаешь, Ленин не украдет? – слабо возражал ему кто-то.

– Не оправдается Ленин – и его на ту же осинку.

Потом началась в дровах возня и потасовка.

– Насилие!

– Пикни еще – и увидим насилие!

Кто-то отчаянно закричал:

– Товарищи, мы православные!

Я открыл ворота и увидел Гориллу, она душила кого-то, а из-за дров кричали:

– Товарищи, мы православные!

Я помню, на каком-то митинге говорили о царстве Божием на земле и мало-помалу перешли на богатство царя, и какой-то мещанин, бывший раз в Зимнем дворце, сказал, что у царя все золотое, и столики золотые, и подсвечники золотые, и стены все отделаны золотом.

Ворвались теперь в Зимний дворец и давай выбивать из стен штыком золото, много, говорят, нашвыряли золота; когда рассвело, взяли в руки: бронза! и все бронзовое, и столики, и подсвечники.

Потом Горилла пошла к Неве, кто-то измятый, скорченный – к Среднему, и все стало тихо, и я опять хожу и раздумываю о двух «мы»: мы – товарищи и мы – православные. И о том, как это странно и неестественно сочеталось в одно: «мы, товарищи, православные», а в итоге из русского человека, природу которого во всем мире считали за мягкую, женственную, вышла Горилла.

Смиренным людям, униженным и оскорбленным, Достоевский давал утешение: «Терпите, Константинополь будет наш! Се буде, буде!»

И жили, терпели, и много делали доброго, пока недостижимый идеал не приблизился: иностранный флот вошел в Дарданеллы, русские войска готовы были ворваться в Болгарию. В это время один профессор в «Биржевых Ведомостях» предсказывал тем, кто имеет дачу в Крыму: обесценятся эти дачи потому, что каждому интереснее устроить свой уют на Босфоре.

Сентиментальная серая обезьяна протянула свои лапы в город невидимый и стыдливо спряталась: мы – православные.

Так случилось и с другой половиной ночного крика в дровах:

– Мы – товарищи!

На каком-то митинге говорили о Царстве Божием на земле и мало-помалу перешли на богатство царя, и кто-то, какой-то мещанин, бывший раз в Зимнем дворце, сказал, что у царя во дворце все золотое: и столики золотые, и подсвечники по столикам золотые, и стены все отделаны золотом.

– А говорят, что все золото в Америке.

Ворвались теперь в Зимний дворец и давай выбивать штыком из стен золото. Много, говорят, нашвыряли золота, взяли в руки – бронза! И столики, и подсвечники – медные.

Тогда зарычала Горилла: «Обман!»

Итак, не вышло ни «мы – православные», ни «мы – товарищи», и скучает Архангел у закрытых врат царства Божия на земле и на небе: не хотят идти туда люди поодиночке, называя свои имена, а всех разом пустить невозможно.

Раздел (из дневника)

День прошедший, тринадцатый день сидящего на троне Аваддона, отмечаю как день всеобщей голодовки: так похоже на сиденье в тюрьме, так похоже все на голодную забастовку. Сосед мой, художник, все время войны и революции писал картину, теперь он сказал:

– Нет, не могу!

На улице зазимок, в комнате от снега светлей. Бывало, радуешься, вспоминаешь провинцию, где при первом снеге говорят:

– С обновкой, с обновкой!

Теперь тупо думаешь о голодной и разутой армии и о каких-то блуждающих корпусах. Время от времени приходит с фронта корпус для освобождения Петербурга и, постояв вблизи, куда-то уходит. Блуждающие корпуса напоминают мне слышанное в детстве про умирающую женщину загадочное: «У нее блуждающая почка!»

Так похоже теперь на умирание близкого человека: мать умирает. Съехались наследники, близкие и самые отдаленные родственники. Знают, что завещание сделано без нотариуса и двух свидетелей. Кто любил покойную, стремится не довести дележ до суда, кто с боку-припеку всячески поселить раздор: любящих мало, их деятельность ослаблена внутренней необходимостью быть пристойными при кончине, горе не дает думать о наследстве, и все дело у тех, кто с боку-припеку.

Посетил меня клоп с папироской в губах, стал разговаривать о политике: все клопы замечательные политики. Признает огромное мировое значение за большевистским переворотом.

– Россия, – сказал он, – со всеми своими естественными богатствами представляет колоссальное наследство. Большевики разорвали завещание, спутали все расчеты и вызвали мировой передел. – И прибавил о значении кусающихся насекомых вообще: – Велик ли клоп, а укусит ночью и громада-человек просыпается.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

На октябрьское восстание гарнизона у меня устанавливается такой взгляд: это нападение первого авангарда разбегающейся армии, которая требует у кого-то мира, тепла и хлеба. Поистине их гонит сила вещей, и все эти страшные большевики не больше, как страшная сила вещей.

Из керосиновой очереди приходит моя хозяйка и сообщает свою очередную новость:

– Ленин хочет объявить Германии войну.

Причины – дерзкий ответ Вильгельма большевикам на их предложение всеобщего сепаратного мира. Хозяйка видела двух матросов Балтийского флота, и они будто бы сказали: «Будем драться до полной победы!»

Этот героизм напоследок – очень русское явление, у горьких пьяниц и всяких пропащих людей он выражается словами: «А захочу, и буду хорош!» К сожалению, этот героизм напоследок не имеет почти никакого значения в современной войне, и я предпочел бы ему обыкновенное состояние честного человека: пока не поздно сознать свою ошибку и пойти искренно навстречу свободе выборов в Учредительное собрание

Признаюсь, что мало верю в Учредительное собрание, но я сам смотрю на него как на последний уговор делящихся наследников, разделиться полюбовно и не доводить до суда, то есть нашествия варягов.

Сейчас на улице, я слышал, недурно по этому поводу говорил фельдфебель. У юного красногвардейца случился непорядок с затвором винтовки. Старый фельдфебель разобрал части и, складывая их, поучал юнца по уставу:

– Винтовка есть оружие для защиты от неприятеля.

– А кто наш враг, – спросил кто-то у фельдфебеля, – казаки, или большевики, или немцы?

Фельдфебель невозмутимо отвечал по уставу:

– Казаки есть конница.

Вот жаль, не помню, как это он выражал точно словами устава основную мысль, что казаки не могут сражаться без пехоты. И потом долго о том, что такое пехота и, с другой стороны, о красногвардейцах тоже с технической стороны. Так, читая по уставу, он доходил до изображения сражения между казаками и красногвардейцами. С напряженным вниманием слушает публика речь фельдфебеля, стараясь понять, на чьей стороне и чем все это по его воинскому уставу должно кончиться. Выходит так, что и казаки одни не могут, и получается полный тупик. Тогда вдруг фельдфебель говорит:

– А прочие державы...

Все объяснилось: прочие державы придут разнимать казаков и красногвардейцев.

Я это и называю: довести дележ до суда.

За день на трамваях и на улицах много раз слышал язвительные замечания насчет 3/4 фунта хлеба на два дня: «А обещали!»

И видел я на Невском много лошадей, падавших от истощения.

Неужели так скоро будет и с нами, и, обладая несметными богатствами, мы будем падать от истощения? И вспоминается мне, что так было действительно при одном дележе: озлобленные родственники много лет переходили от апелляций к кассациям, многие из них померли почти нищими, а богатое имение осталось не разделенным, и было как тучная корова, которую никто не мог подоить.

Подзаборная молитва

Грянула пушка. В восторге прибежала к нам Козочка.

– Вот какое ядро над самой головой пролетело!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
И показала руками диаметр ядра аршина в полтора.

Ей только шестнадцать лет, ни одной колючей идейки в голове, «позиции» не занимают ее даже перед зеркалом, «партии» не интересуют даже романические.

Прибежала, поела чего-то – и прыг опять по революции до самого вечера, там, взявшись за руки с незнакомыми людьми, идет под красным знаменем и поет: «Мы жертвами пали», там залегла от пулемета между ступенями подвальной лавочки. И революция для нее наступает, и проходят первые дни, как весна.

Теперь, глубокой осенью, Козочка больше не прыгает, ей все противно на улице, и стрельба ненавистна, и злые товарищи – уже не люди. Только вдруг почему-то остановится на улице и вся просияет. Я в это посвящен: она видит своего легендарного кавказца. Нет ничего хорошего на свете, и холодно, и голодно, только на голодуху одна остается радость – вот это видение кавказца в папаше с кинжалом за поясом.

Грустно мне смотреть на похудевшую, истощенную Козочку, несмело просится живая молитва какому-то незнакомому Богу: «Господи, помоги все понять, ничего не забыть и не простить».

Раньше у меня было всегда, что понять – значит забыть и простить. Теперь я хотел бы молиться о мире всего мира, а в душе – только бы не забыть, только бы не простить!

Стынет в поле последний синий цветок. Вянет Козочка среди злобы людской.

Молится в церкви священник:

– Господи, умили сердца!

А на улице, за оградой церковной, кто-то спрашивает в темноте:

– Пришли хоть к какому-нибудь соглашению?

Другой отвечает:

– Русский народ черти украли, с чертями не может быть у нас соглашения.

Козочка молится в церкви вслед за священником:

– Господи, умили сердца!

Я по-своему за церковной оградой творю свою подзаборную молитву:

– Господи, помоги все понять, не забыть и не простить!

Или молитва моя сильнее церковной? Бледная приходит ко мне Козочка, бровки рожками, нос холодный, стала на свою какую-то тайную позицию, задумала Россию спасать.

– Кто у нас Марат?

– Ты что же, хочешь, как Шарлотта Кордэ?

– Нечего смеяться, кто Марат – Ленин, Троцкий, кто похож на зеленую жабу?

– На жабу никто не похож, может быть, ты хочешь убить обезьяну?

– Обезьяну? Нет!

И опять, как с видением легендарного кавказца, всюду мерещится Козочке зеленая жаба.

– Ерунда! – сказал я решительно, – пойдем на Шаляпина. В этот страшный вечер, думал ли кто-нибудь из друзей моих в глубине России, что Шаляпин поет, что можно идти на Шаляпина! Стреляли на улицах, а мы шли, и он пел, как он пел в эту ночь! Козочка хлопала и визжала:

– Шаляпин, Шаляпин!

С тех пор она каждый день стоит в хвосте на Шаляпина и, кажется, забыла про зеленую жабу.

Отвел Шаляпин сердце девочки, или долетела молитва из церкви:

– Господи, умили сердца!

Радуюсь я, что миновала злая чаша ребенка, а для себя, ее старый дядька, твержу свою подзаборную молитву, обращенную к неведомому Богу:

– Господи, помоги мне все понять, и ничего не забыть, и не простить!

Овчее дело (из дневника)
12 ноября

Выхожу я на улицу исполнить свой гражданский долг, а за кого голосовать, твердо не знаю, мне это простительно вполне, потому что даже настоящие партийные граждане не голосуют теперь за списки своих партий.

Встречаются мне по пути два славных мальчика, постарше и вовсе маленький. Спрашиваю того мальчика, который постарше, за кого бы он подал свой голос. Мальчик отвечает:

– Одни подают за землю, другие за волю, третьи за свободу, четвертые за хлеб, пятые за мир, шестые..

– Да, ладно, – говорю, – ты за кого?

– Я бы, – отвечает, – подал за того, кто купил бы мне маленькие часики.

Другой мальчик, вовсе маленький, сказал:

– А я бы свой голос подал за Урсика, за нашу собачку.

– Урсик, Урсик! – закричал.

И прибежала славная черная, лохматая собачка.

– Вот, я за Урсика.

Сразу меня осенило: раз непартийный человек, значит, как маленький, мне надо подавать не за список, а за людей, хорошо знакомых, надежных, как мальчик за Урсика.

Только подумал об этом, вижу, на заборе наклеены афиши с портретами хорошо знакомых людей и под каждым портретом написано о заслугах этих людей перед нашим отечеством, все люди эти прямые, честные, образованные, неглупые. Мальчики вместе с собачкой проводили меня до Реального училища, и я там подал голос свой, как за Урсика, за список № 1.

По-своему тоже голосовала квартирная моя хозяйка, женщина мрачная, губастая, с перекошенным ртом – страшного вида. Революцию она считает просто разбоем, каждый день, как и до революции, молится за царя, считая, что раз он жив, значит, царствует. Красногвардейцев она называет «шатия-братия» и считает их изменниками и продажными людьми. Так прямо им в глаза об этом и говорит, и они ничего: считают за сумасшедшую. Когда ей принесли избирательные списки, она спросила:

– Который за царя?

– У нас, – отвечают, – республика.

– А, республика проклятая!

И расшвыряли списки по комнате.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Сегодня, в день выборов, она одумалась, собрала листки и спросила:

– Которые в Бога веруют?

Ей указали на список приходских священников, № 12. И она пошла голосовать за них, но мало того, вывела из богадельни девяносто верующих старух и всех научила голосовать за тех, кто в Бога верует.

Как ни унижительно это голосование, когда одна из партий стоит над душой с пулеметом, как волк у стойла овчего, и требует, чтобы смирен был человек, как овца, а все-таки проголосовал и будто разговелся, возвращаясь домой с облегченной душой. Конечно, дома ожидает меня посылка с сухарями, пшеном и коровьим маслом. Размочил я сухарь в чаю, и какой сухарь! Из той ржи сделан сухарь, которую я своими руками из лукошка сеял, и землю пахал своими руками, и косил, и возил, только уж на мельницу зерно свезли после меня. Стал я есть сухарь и прислушиваться к себе: не пройдет ли пережитое летом теперь в каком-нибудь ясном и полном своем значении. Но так густо время, так много всего, что не мог я ни на чем на одном сосредоточиться. Только вспомнилось почему-то про овец. Вычистил я раз одно стойло и перегоняю сюда овец из грязного. Станет у порога чистого стойла одна овца, подумает что-то, покажется ей как-то не так и назад, и как передовая овца назад – шарах! все в грязное стойло. Раз, и два, и три так, измучился вовсе с глупыми овцами и вдруг, с досады, хватаю одну овцу, швыряю в новое стойло и сейчас же все овцы – шарах! в новое стойло.

Вспомнилось мне это после выборов и так молюсь я о человеках:

– Господи, схвати одного и перешвырни, как я передовую овцу, в новое чистое стойло.

Князь тьмы (из дневника)
14 ноября

Пришел сегодня ко мне простой человек и такими словами сказал о нашей беде:

– Цари наши не думали о человеке, их дело было собирать вокруг себя как можно больше земли и морей. Задавила земля человека, и вдруг он встал, встряхнулся, и царь пал. Тогда все бросились разбирать по карманам рассыпанное царство, а то, из-за чего свергли царя, про человека забыли. Так и осталось славное русское царство на время и без царя, и без земли, и без человека.

И еще сказал мне гость:

– Смирение русского народа достигло последнего предела, оно перешло по ту сторону черты, за которой нет креста: народ отверг и цвет свой, и крест свой и присягнул князю тьмы Аваддону.

– Что же нам делать? – спросил я. Он ответил:

– Нужно собирать человека, как землю собирали цари.

– Французского? – спросил я.

– Нет, нашего, русского человека, в русском, думаете, нет человека – есть! только теперь он невидимый.

Посещение фараона (из дневника)
16 ноября

Он вошел одновременно с моим приятелем, и я подумал, что тот ввел его, усадил неизвестного в кресло, и – что значит влияние чужого человека! – разговор наш от искуства сразу перешел почему-то на политику. Разговаривали, конечно, о том, кто виноват в корниловщине и, значит, в большевизме нынешнем, Керенский или Савинков.

Раздражало меня, что гость мой весь этот сложный исторический факт хочет понять как-то нижним чутьем, что ему более важно знать, в какой комнате находился Львов, когда Керенский по телефону разговаривал с Корниловым, чем непосредственная психологическая догадка нас, современников и участников.

– Никто не виноват, – сказал я, – один хотел спасти Россию, опираясь на демократию, которая вся в трещинах, и провалился в трещину, другой сказал: «Я спасу Россию!» – и запутался в сетях, всюду расставленных на случай появления чуда и возникновения нежданного «я».

– Оба хороши! – оборвал меня гость, – но мне нужны документки, так вы, стало быть, ничего не знаете...

Раскланялся и вышел.

Сейчас же спросили меня, кто это был. Я не знал, и тот, с кем он вошел, тоже не знал, и как его фамилия, и чем занимается, и зачем он приходил, – никто ничего не знал. Переглянулись, накинулись на меня: как это так, да можно ли пускать, такое ли время.

Из всего, что говорил неизвестный гость, выходило разное, одни поняли, что это большевик, другие – сотрудник Родзянко, третьи вспоминали, что он ссылаясь на свои занятия в Исполнительном комитете, четвертые – у кооператоров.

Кто же он такой?

Ответ давно вертелся в уме и вдруг соскочил с языка:

– Фараон!

Очень возможно, что это не был «фараон», но создалось настроение совершенно такое же, как во времена уже забытой нелегальной жизни. И будто посетил нас очень хорошо знакомый покойник и, вложив наши персты в свои раны, сказал, что воскрес и ныне жив.

Восемь месяцев этого не было и теперь стало, как раньше, и восемь месяцев, будто восемьсот лет прошло. Пусть это не фараон, но если мы так чувствуем себя, то значит, он воистину воскрес и всюду является, и контрреволюция, незаметно для нас, уже совершилась.

Кто-то из нас сказал:

– Вот, вероятно, и царь как-нибудь так же просто явится в незакрытую дверь, без рекомендации и непременно пешком, потому что место, в которое привели нас большевики, как раз и есть то самое, куда царь пешком ходил.

Невидимый град (из дневника)

И повелел строить на берегу озера именем Светлояр град Китеж... Но попущением Божиим и грех наших ради прииде на Русь воевати нечестивый царь Батый. И взял тот град Китеж и убил благоверного князя Георгия. И запустел град. И невидим стал до пришествия Христова.

Сегодня ночью в три часа стучат в мою дверь (звонки не действуют).

– На дежурство, пожалуйста.

– Разве еще существует дежурство? объявлен гражданский мир.

– Пожалуйста!

Смена состоит из одного меня, потому что больше никто не хочет идти на дежурство. Винтовки больше не дают: одну украли, две испортили, остальные спрятали под ключ. Я один хожу у ворот, даже дворника нет, он тоже не дежурит: зачем дворнику сидеть в воротах, если там барин сидит. На лавочке дворника, возле копчушки (электричество не действует), без оружия, не имея даже ключа от ворот (дворник ключа не доверяет), дремлю я, последний воин нашего дома эпохи гражданской войны, и думаю я о керосиновой копчушке.

В моем воспоминании война с Германией начинается керосиновой копчушкой: староста, сняв стекло с копчушки-лампы, держит печатку и потом прикладывает ее к бумаге, извещающей население о мобилизации. И потом, словно от огонька этой копчушки, такой великий пожар разгорается: и ужас, и восторг, и падение первое,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru и падение второе, и третье, тоже, тоже. Краткая вспышка революции – и новое глубочайшее падение, и под самый послед окончательное унижение, позор подворотный с керосиновой копчушкой гражданского мира. Копчушкой началось, копчушкой и кончается.

Невеселые мысли, последние мысли, за которыми должна последовать смерть, или начало жизни совершенно иной.

За воротами шумит очередь: с девяти вечера, всю ночь, до утра, дожидаются хлеба. Там вьюга, здесь затишье, и керосиновая копчушка не дрогнет. Какая-то полузамерзшая старушка гремит ручкой ворот, здешняя жиличка, просит ради Бога впустить ее во двор обогреться. Но ключа у меня нет, а электрический звонок к дворнику не действует.

– Христа ради, сходите к дворнику! – просит старушка.

Я, бесплатный, последний воин нашего дома эпохи гражданской войны, пробираюсь к спящему в тепле, получающему хорошие деньги дворнику и прошу у него ключ.

– Нет вам ключей: винтовки испортили, ключи испортите.

– Тогда сам стой и отворяй двери сам: я денег за это не получаю.

– Да, буду я там кипятки кипятить!

Старуху он все-таки впускает с ворчанием и опять отправляется спать.

Последний бесплатный воин, сижу я без ключа и без оружия, псом подзаборным, и думаю о России, которая скрылась теперь и стала невидимой. Последнее нахожу спасение: уйти и скрыться в невидимый град и оттуда вернуться не с поломанной винтовкой и керосиновой копчушкой, а с пламенным, разящим мечом.

Вторая продрогшая в ночной очереди старуха робко шевелит ручкой ворот и просит:

– Сходи, ради Христа, сходи к дворнику.

А мне вспоминается другая старуха Татьянушка, из скитаний моих в тех краях, где скрылся град наш Китеж. Говорила мне там старуха Татьяна:

– Сходи, сходи на Светлое озеро, поклонись граду святому Китежу. Неси, неси, дитя, в пустыню сердце изможденное, не виждь прелести мира, беги, аки зверь дикий. Затворись в вертепе, и примет тя пустыня, яко мать чадо свое. Только не оглядывайся.

Так говорит в воспоминании старуха Татьяна, наверное, теперь уже покойница, а живая старуха все гремит ручкой двери и все просит меня оглянуться на сердитого дворника.

Оглядываюсь я на дворника, и новое жестокое воспоминание встает в моей памяти о людях, потерявших путь в невидимый град Иерусалим, нисходящий и украшенный драгоценными камнями. Нашлись такие на Руси люди, которые поверили, что град уже низшел и скрылся в одной из гор Кавказа. Соблазненные князем тьмы, русские люди стали долбить эту гору и вот уже больше двадцати лет роятся в тьме, надеясь выкопать невидимый град, украшенный, по Откровению, бриллиантами, топазами и рубинами.

Есть и такие на Руси люди. И не похожи ли все эти интернационалисты на людей, долбящих гору Кавказа, чтобы откопать, минуя сердце многомиллионного народа, умом и голыми руками схватить пылающий невидимый град!

Тускло горит у черных ворот копчушка будто бы прекращенной гражданской войны – ничего! Копчушкой началась великая мировая война, и копчушкой она кончится.

Папиросное войско (из дневника)

На Невском если видишь большое войско, то ищешь глазами папиросную лавочку, и как нашел ее, все становится сразу понятно: это не войско, а солдаты, построенные в очередь за папиросами, – папиросное войско эпохи гражданской войны.

Папиросное войско самое добродушное в мире и самое страшное, стоит крикнуть кому-нибудь: «Вот буржуй, бей!» – и никто не поручится, что это папиросное войско <не> бросится, и <не> разорвет, может быть, совсем невинного человека.

Так разорвали Духонина.

И так же, я помню, в Москве, в окрестностях Петровско-Разумовского собаки разорвали одну стареющую актрису, гулявшую там во время собачьей свадьбы со своими любимыми таксами.

Собаки сами собой приходят на ум, потому что, какое же отношение самосуд папиросного войска имеет к человеку?

В гильотине есть трагедия: история потом долго нам рассказывает, как умирал на гильотине герой своего времени. Но что можно сказать о кончине Духонина: солдаты разорвали – за что? Орудие смерти крест сделался предметом поклонения, гильотина страшна, но если просто разорвут – тут ничего не остается для памяти – тут все на поверхности, и о смерти человека так же мало говорят, как папиросная лавочка о стратегии.

Смешно бить себя по своему телу – по телу бьет кто-то другой, а по душе прилично бить только самому себе. В этом и есть сущность свободы: радостное состояние, когда битье по телу заменяется самобитьем по душе, это радостное состояние – тут и ренессанс, и реформация – выражается у нас папиросой, купил, закурил и пошел, и пошел.

Боже сохрани статью на пути курящему, всякий, кто скажет: «Брось папиросу!» – буржуй и корниловец, курящему будет казаться, что не ради спасения отечества его останавливают, а хотят вернуть в прежнее состояние битья по телу. И еще тут есть папиросный закон, кто закурил папиросу, тот курит ее до конца и самое последнее кажется самым сладким, и уж когда совсем накурится, станет мерзко во рту. Никакие уговоры тут не подействуют, и выдвинуться, сделаться героем никто из уговаривающих не может.

Мне рассказывали, что погром винного склада в Мценском уезде начался невинно: какой-то прапорщик предложил солдатам выпить только по одному стаканчику спирта и для гарантии умеренности сам стал к бочке и сам подал по шкалику. Выпили по одному, запросили по другому – что же делать, дал (а то разорвут), потом по третьему и так пошло, пошло до конца, и десятками падали мертвые на месте от перепоя синие, страшные тела, а прапорщик все стоял у бочки, наливал и подносил: ему был один путь спасения – перепоить всех до конца.

Но если бы этот прапорщик не был рядовым человеком, а вот как прапорщик Крыленко грудью бы стал на защиту Духонина (так пишут) и пошел бы против лавины?

Я не представляю себе, как мог бы спастись от буржуя и корниловца самый героический прапорщик, исключая Крыленко.

Ваше моральное чувство, читатель, конечно, на стороне того, кто стал против лавины, а не потчевал вином, пригвожденный к бочке? Вы готовы сделать из него героя, как вдруг... его на клочки разорвали, и вы вспоминаете, как тоже разорвали собаки стареющую актрису.

Теперь, представьте себе, что Духонина не разорвали бы, а отрубили голову на гильотине – каким потоком хлынуло бы ваше закрепощенное чувство к творчеству образов героической смерти и сколько бы тут примеров нашлось для воспитания будущих поколений,

Вот почему я присоединяюсь к г. Троцкому, который, по слухам, тоже против разрыва и хочет завести гильотину.

В защиту слова (из дневника)

Сегодня выходит однодневная газета в защиту слова, вчера нужно было в нее написать пятьдесят строк, но, как не бился я, написать не мог, – почему ж я не мог ничего написать в защиту слова?

Первое, что мешает мне, это раздражение: вот уже почти месяц я хожу ежедневно в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
редакцию «Воля Народа» с целью выпустить в свет редактируемое мной литературное приложение «Россия в слове» – давно собран превосходный материал, набрано, сверстано, исправлено все, а пустить в печать не могу: то сумятица в редакции по случаю ареста редактора, и мне говорят, что «не до литературы теперь», то явились ночью в типографию красногвардейцы, расплавили стереотипы, и газета вовсе не вышла, то не выпустят потому, что вперед надо объявить, но как можно теперь что-нибудь объявить?

Из-за этого я и не могу ничего в защиту слова написать: самые лучшие слова я уже собрал – сказаны быть не могут, значит, в защиту слова остается только заложить фугасы перед типографией и объявить жирным шрифтом на первой странице:

– Атмосфера насыщена. Фугасы заложены. Редакция слагает с себя ответственность за могущие быть последствия!

Не мешает, конечно, нанять собственную редакционную боевую дружину и поручить ей повторять обычные теперь в Смольном сильные слова:

– Я тебя на штык!

Или:

– Я тебя, как собаку, пристрелю!

Окружив, таким образом, типографию фугасами и штыками, я выпустил бы свое литературное приложение со стихами нашего поэта Вячеслава Иванова:

– Есть броня литая

На душе родимой,

Есть ей Вождь незримый;

В смуту и разруху

Я Христу и Духу

Верю и молюсь.

Шутки шутками, а нет, нет, и подумаешь серьезно-пресерьезно о слове, окруженном штыками и построчными гонорарами: не потому ли оно бессильно теперь, что задолго до революции возвращено?

Превосходное по силе, магическое слово создала революция, я поставил бы его в образец всем христианским поэтам, которые должны же знать, что Христос принес не мир, а меч и создавать такие же сильные и страшные слова, как это знаменитое наше:

– Буржуй!

Ни один фугас, никакая двенадцатидюймовая пушка не могли бы произвести такого опустошения, как это ужасное слово, которое заставило в России замолчать почти всех людей с организованными способностями и многим стоило жизни.

«Не в словах дело» – принято выражаться, а как же не в словах, вот этот «буржуй» – сколько в этом слове дела! Когда говорят «не в словах» – думают, не в оболочках слов дело, оболочка слова «буржуй» самая невинная, это значит буржуа, житель города, оболочка французская, содержание нижегородское и вместе сила разрушения великая.

Теперь нужно равное этому слово созидания. Вот я, приглашенный написать в защиту слова пятьдесят строк, и думал об этом и не додумался и ничего не мог написать.

Одно слово вертелось у меня на языке, и я думал, что найду в себе силу сказать его, как вдруг я увидел в трамвае такое объявление громадными буквами:

– «О существе Божиим».

И под этим строчка помельче:

«Ответы на все вопросы даст комиссар по народному просвещению А. Луначарский».

В революционном приказе по армии и флоту № 1 отменяется «ты» в обращении к солдату, офицер и солдат говорят теперь между собою только на «вы».

Англичане говорят на «ты» одному Богу, для всего живущего на земле английская индивидуальность имеет защитное «вы». Французы тоже говорят на «вы», но если поругаются, то переходят на «ты». В России, за исключением образованного класса, все тыкают. Русский народ по правде говорит только на «ты», индивидуалист в России не огражден от тыканья совершенно. Хорошему начальнику солдат говорит: «Ты, ваше благородие». Существует письмо эпохи Петра Великого: «поздравляю себя с Вашей Светлостью». Стоя без шапки у балкона помещика, мужики говорят: «Вы, барин...», а если помещик вздумает с ними покосить траву, они будут учить его: «Не бойся, наступай, пятку ниже держи, гуще, гуще забирай!»

Русский либерал, демократ, деятель социализма, все с удивлением выслушивают «ты» от простого народа: это «ты» – знак понимания, правды, союза, единения. Наше русское народное «ты» – не обидное.

Вот почему я думаю, что в приказе № 1 по армии и флоту нужно бы узаконить не «вы», а «ты», одинаковое для солдата и офицера, это была бы настоящая демократическая и революционная реформа. Я допускаю это, конечно, при наличии радостного подъема народного духа, каким непременно должна быть революция и какой она была в первые дни.

Что же оказалось? «Вы», которое и создано исключительно для ограждения личности, в русских условиях совпало со временем наибольшего умаления личности. Характерно вместе с тем почти полное исчезновение словесного творчества, которое в России все построено на разговоре на «ты». Газетная и ораторствующая Россия теперь вся говорит на «вы», стараясь употреблять как можно больше слов иностранных, и Свет Божий стали называть интернационалом.

Русские писатели не были никогда националистами, на Свет Божий их выводила страдальческая любовь к своей родине. Теперь как будто явился короткий прямой путь на Свет Божий, а слово иссякло. Потому что на этом пути сделан мост поверх личности и, узаконив между собою холодное «вы», мы пытаемся сказать другому народу на «ты». И народ чужой отвергает наше «ты», потому что на «ты» он говорит только с БОГОМ.

«Воля вольная». 1917. № 1. 26 нояб.

Во вторник, 28 ноября, при нашей газете будет дано литературное приложение «РОССИЯ В СЛОВЕ», под редакцией М. М. Пришвина. Содержание: Стихотворения – «Соловьиный сад» А. Блока, Ю. Верховского, «В казарме» В. Пяста, «К морю» (из Верхарна) Вл. Чернова; рассказы: «Крест белый, из тополя срубленный» Исаева, «Слово о гибели русской земли» Алексея Ремизова; статьи: «Искусство в армии» П. П. Гайдебурова, «Руки (о Родене)» А. К.

Радовался, что придумал хорошее название, а ночью красногвардейцы выскребли «волю», и газета вышла «вольная». Кто-то на улице спросил эту «Вольную» как новую, а потом увидел «в борьбе – право» и отказался покупать.

Сила вещей победила, потому нет героев и не за что жизнь свою отдавать тому, кто ищет подвига: не герой действует, а деятель, и лик у него деревянный.

Не нужно забывать никогда, что мы живем не среди партий, а среди сект: такие явления, как пораженчество и большевизм, – результат вероучений.

Газеты наши, как в бурю корабли на море, то покажутся на волнах, то опять скроются, и так, верно, всякое дело, за какое ни возьмись: показался на денек – урвал свое, а там видно будет. И вот уж когда верно, что от суммы и от тюрьмы не отказывайся.

В газетах все еще по привычке ссылаются на обывателя, а нет уже давно ни обывателя, ни героя, какой это обыватель, если про черный день отложить ничего нельзя, и какой это герой, если сила его только в силе вещей.

Молитва пастуха

Получил я из дома сухари из хлеба, который добывал сам своими руками, без работника: сам и пахал, и сеял, и косил. Размочил я сухарь в чаю, стал есть и думаю, что вот сейчас в каком-нибудь особенном значении пройдет пережитое летом. И ничего не прошло, только вспомнилось про овец. Вычистил я раз одно стойло и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru перегоняю сюда овец из грязного. Стоит у порога чистого стойла овца, подумает что-то и назад, и за ней – шарах! все в грязное стойло. Раз, и два, и три так – измучился вовсе с глупыми овцами, и вдруг с досады хватаю одну овцу, швыряю в новое стойло, и сейчас же все овцы – шарах! в новое стойло. Вспоминаю это и молюсь о человеке:

«Господи, схвати одного и перешвырни, как я передовую овцу, в новое чистое стойло».

В квартире моей живет пожилая женщина страшного вида, губастая, с перекошенным ртом. Революции она совершенно не признает и молится за царя, считая, что он раз жив, значит, царствует. Красногвардейцев она называет «шатия-братия» и считает их изменниками царю. Так прямо им в глаза и говорит на улице, и они ничего: считают за сумасшедшую.

Вчера ей доставили избирательные списки.

– Который, – спрашивает, – за царя?

– У нас, – отвечают, – республика.

– А республика! – расшвыряла списки по комнате.

Сегодня, в день выборов, одумалась, собрала листки и спросила:

– Которые в Бога веруют?

Ей указали на список 12-й, приходских священников. И она пошла голосовать за попов, но мало того, что сама, а еще вывела из богадельни 80 верующих старух и всех научила голосовать за тех, кто в Бога верует.

В большевизме теперь все черносотенство, подонки революции, подонки царизма смешались в одну кучу говна с воткнутом в него флагом интернационала.

Большевизм – это отхожее место самодержавия и революции. Борьба с царизмом начинается подвижниками и кончается преступниками, той шайкой, которая назвалась Исполнительным Комитетом с. р. и с. д.

Народ стал, как разъяренный бык, которого раздражили красным кумачом и трубными звуками марсельезы, и все-таки я удивляюсь, какой это смиренный народ: как он беззаветно подчинился сидящему на троне князю тьмы Аввадону, и во имя какой-то Аввадоновой правды разрушает свое же добро. Остаюсь с теми вполне, кто считает отличительной чертой народа нашего смирение. Да и не может быть гордости, откуда ей взяться, из чего?

В борьбе – право (из дневника)
28 ноября

Простой человек захотел купить простую газету (понравилось название), но, разглядев, что в газете напечатано: «В борьбе – право», вернул ее обратно разносчику.

Видел простой человек довольно, какой борьбой и какое создается право. Вот он и сейчас, в день открытия Учредительного собрания (на улице неизвестно: откроется или не откроется) как бы вновь входит под сень надежды: не вывезет ли как-нибудь кривая? Подходит к митингу, прислушивается и вдруг рядом в толпе: бац-бац-бац! из ружья.

– Провокаторы, провокаторы!

И бежит простой люд врассыпную, как распуганное зверье, бежит от кого-то невидимого, страшного, кто в борьбе создает себе право.

«Спаситель скоро придет!» – объявляет афишка Армии Спасения.

И стрельба, и Спаситель, и «в борьбе – право», и Учредительное собрание – где тут во всем разобраться простому человеку!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Я у нашего дворника нарочно для проверки своих настроений спросил, как он думает о всем этом, будет Учредительное собрание или не будет.

– Дай бог, – сказал дворник, – я тоже за старое.

Очевидно, в его представлении Учредительное собрание есть образ старого мира, противоположного тому, что открывает формула: «В борьбе – право!»

Пробую дворнику рассказать об Учредительном собрании, о настоящей борьбе за настоящее право как о творчестве новой жизни, но на слове «новая жизнь» он лишает меня доверия: ему нужно что-нибудь одно: или «в борьбе – право» или «Спаситель скоро придет». Это у него зарублено, думать он не хочет: то, чем душа согревается и освещается, погасло; без веры, надежды и любви всякая душа – темный сарай.

И как нашему дворнику не разувериться: вчера еще на дежурстве у ворот стояла барыня с медной трубой; дворник чай пьет в тепле, а барыня зябнет на морозе; барыня трубит – дворник выходит ворота открывать.

Настоящая социальная революция!

И как же тут не поверить, что добра хотят большевики простому человеку: дворник чай пьет, а барыня трубит на морозе!

Новый социальный строй в нашем доме продолжался около двух недель, теперь не только барыни, но и кавалеры вернулись к своим обычным занятиям, винтовки спрятаны за сундуком в квартире уполномоченного, а труба возвращена в казарму: кавалеры больше не ходят с винтовками, барыни не трубят, а дворник по-прежнему всю ночь стоит у ворот.

Социальная революция кончилась, дворник сочувствует Учредительному собранию.

– Дай бог, – говорит, – чтобы открылось благополучно, я теперь тоже стою за старое.

Напрасно уверяю дворника, что Учредительное собрание принесет новый строй, не верит мне дворник.

– Она – попробовала.

Он это все про барыню.

– Черт ее теперь заставит трубить!

Сила вещей (из дневника)
29 ноября

Все еще в газетах употребляют слово «обыватель», хотя его давно уже нет – какой это обыватель, если про черный день ничего отложить не можешь, и вещи обывательские исчезли. И какой тоже герой, если сила его только в силе вещей (примечание: бессилие Крыленки при убийстве Духонина).

Футуристы (литературные большевики) очень неглупо написали еще до войны одну пьесу, в которой бунтуют вещи и нет человеческих лиц.

Победила сила вещей, потому нет героев и не за что жизнь свою отдавать тому, кто ищет подвига, не герой действует, а просто деятель, и потому лик у него деревянный.

Бессильная злоба одеревянила и лица обыкновенных людей на улицах – это люди завоеванного города, которые теряют свой цвет и становятся робкими тенями человека.

Как жертвовать собой, если то, из-за чего жертвуют, – поперано и разрушено до основания.

Скажут: «переходное время».

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

А где же человек? Разве можно хотя бы на одно переходное мгновение оставить его?

Некуда убежать: вся Россия теперь такая же завоеванная страна, и люди ее повсюду одинаково, как мыши, заняты поеданием каких-то припасенных крох. И что будет последнее – никто не знает.

Я слышал в одном большом собрании истерический крик одной девушки:

– Все кончат женщины!

Никто не понял тогда смысла этого крика, но теперь все больше и больше начинаешь понимать, что значит это пророчество.

То, что в мужчине культивировалось раньше как героизм, выродилось в Нелепое, а вечно женственное перешло в Естественное, в очередь женщин за полфунтиком хлеба.

В спальнях институток слуги царского строя распоряжаются именем Российской социалистической республики – вот Нелепое.

А у лавочки против Смольного, женская очередь перед нарисованными на дверях лавочки булками, – это Естественное.

– Хлеба нет!

Очередь шарахнулась в другую лавочку и слилась с другой очередью, и все женщины, женщины. Лавочник вышел и обрезал хвост: те, которые он отрезал, хлеба не получают. Не эти ли женщины прислали к нам в редакцию письмо с тридцатью тремя подписями?

– Будьте так добры, господин редактор, напечатайте наше письмо, так как мы, бедные женщины, пока больше ничего не можем сделать, а душа исстрадалась ужасно, готовы все подписавшиеся принести свою жизнь во славу народа.

«Во славу народа принести жизнь!» – пишут полуграмотные женщины под диктовку голода.

А вот самое письмо:

«– Это письмо написано слезами женщин и проклятием всей души.

– Ленин, опомнись!

– Что ты делаешь?

– Ты ведь Иуда!

– Ах, ты!

– Кровожадный! Проклятие тебе от бедных женщин. Наше проклятие сильно».

И все письмо, а потом следуют тридцать три подписи и под самый конец крестики за неграмотных. В живых буквах-каракулях письмо читается как заговор-отпуск, и очень страшно. Читая его, понимаешь, откуда взялся истерический крик в большом собрании – что войну и также революцию закончат женщины, и Нелепое погибнет в Естественном, силою тех же вещей.

Р. С. Началом перелома в силе вещей я считаю не 28, день Учредительного собрания, а день винного праздника в Зимнем дворце, с чем, вероятно, согласится и комиссар по борьбе с пьянством в Петрограде, Иван Бызам.

Перестаньте, я вас застрелю! (из дневника)
2 декабря

В трамвае говорили, что в разных частях города громят винные погреба, а на Лиговке даже как-то выкачивают вино, и там стрельба.

Оценивать это вслух боятся и только глазами своими робкими (буржуазными) ищут родственных глаз, обегая большевистские глаза, и перемигиваясь.

При тесноте трамвайной трудно уберечься от столкновения с кем-нибудь раздраженным – какой-то штатский о чем-то заспорил с военным, и вдруг этот военный говорит:

– Перестаньте, у меня револьвер: я вас застрелю!

Штатский быстро уходит на площадку и там проклинает кого-то, военный остается в трамвае, и публика вся молчит, избегая встречаться с ним глазами: у него револьвер, возьмет и застрелит.

Так вот мы и едем в трамвае, будто всех нас пришибли: доехать бы до своего места, а там можно и волю дать языку. Помню, в начале войны те, кто приехал из Германии, возмущались, что где-то на мостах, чтобы не глядела в окно публика, солдаты наводили ружья – как странно вспомнить такое возмущение! И потом, от разорения Бельгии до применения на войне удушливых газов – все эти возмущения немцами, как они потускнели в сравнении с возмущением, бессильным от действия внутреннего немца!

Настроение того времени и нынешнего до того сходно, эти следующие один за другим удары по амбарам нажитой морали до того родственны, что часто думаешь: да это же и есть те самые немцы с удушливыми газами, только тогда Бельгия, а теперь мы.

И в то время как слепой не видит, что нас бьют теперь те же самые немцы через своих агентов, создавая у нас «внутреннего немца», вся Россия до Ташкента ждет не дождется настоящего немца внешнего (для порядка).

И на фронте происходит настоящее второе призвание варягов.

– О, Бельгия, синяя птица! – пел Игорь Северянин.

О, Россия...

И как тупы люди, которым нужно толкование к самоубийству Скалона.

Сегодня был у меня крестьянин Тамбовской губернии и рассказывал, что одно село у них разгромило церковь, Престол был вытасчен вон, и вокруг него плясали всем селом.

– Правда, – сказал мой собеседник, – церковь эта была при усадьбе помещика.

Случай этот он рассказал мне как ответ на вопрос мой: а как с народной «верой»?

Ночью, после двенадцати, я вышел проводить гостя до остановки трамвая. Пьяный матрос ругал громко новое правительство за то, что оно его, матроса Черноморского флота, посмело на два часа лишить свободы. Извозчики и женщины сочувственно отзывались.

– Перестаньте, товарищ, – сказал некто с ружьем, – я вас застрелю!

Но матрос не обратил на это ни малейшего внимания и, бушуя, уходил в темноту куда-то навстречу «всеобщему сепаратному миру».

Хождение в народ (из дневника)
2 декабря

Внезапно, как убитый, умер на месте трамвай, и снежок, медленно падая, засыпает неподвижное: окна, крыши, номера обрастают белым. А публика все не хочет верить, входит, дожидается. Вдруг собирается митинг солдатский.

– Что нам Учредительное: мир нам нужен.

Чиновник из городских писарей на это говорит:

– Если только мир нужен вам, то почему же вы не идете с миром домой?

– А плата? – закричал солдат – мы работники, жили у хозяина, подавай плату!

– Какую плату, от какого хозяина?

Ответа я не расслышал, меня оттерли, и жаль, так мне жаль, что не слышал я, как о хозяине и о плате ответил солдат. Потому я интересуюсь, что в этом же и есть вся заворoshка: в первый год войны множество людей умерло за что-то лучшее для своих. И многие из нас тогда думали, что то военное настроение было подлинно революционное. А вот теперь и спрашивают плату за то. Насчет расплаты я вполне понимаю, а вот о хозяине очень хотелось бы мне узнать, кого теперь считают за хозяина, с кого получать плату. Когда я опять дотолкался до писаря, разговор там был о том, что плату нужно требовать не только фабричным и солдатам, а и мелким чиновникам.

– И тоже доктора, и разные ученые люди, – говорил писарь, – они работать на фабрике не должны, у них свое дело и большое, нужное дело – наука.

– Как же так наука, – отвечал солдатик, – зачем им одним отдавать науку?

– Потому что они ученые.

– А нам говорили: и наука усем, одно слово, что и земля, и капитал и наука – усё и усем. И после всего, кто что себе на фабрике заработает.

Так я понял солдата о науке, что ее можно сразу, как землю и капитал, разделить между всеми и она, как воздух и вода, бесплатно (усё и усем), а за деньги только работа на фабрике.

Тут спор, конечно, был не о науке, а просто чиновник уже кое-что понимал о себе и, может быть, о личном подвиге и хотел быть сам собой, а солдатик был каплей, которой непременно нужно слиться с другою каплей и стать бушующей водой.

Серый солдатик и чиновник завязли в споре, и тут один «сознательный» солдат все разрешил.

– Вы рабочий? – спросил он чиновника.

– Конечно, рабочий, я еще меньше рабочего получаю и целый день на службе.

– Ежели вы настоящий рабочий, почему же вы не подчиняетесь пролетарской партии: банки бастуют, трамваи вот остановили...

– Партии большевиков мы не хотим.

– А почему же народных комиссаров?

– Какие они народные.

– Стало быть, и советы рабочих и солдат по-вашему не народ? «Не народ, конечно, не народ», – так думал, наверно, чиновник, но сказать вслух это побоялся, стих и смялся.

– Залоханился! – сказали в толпе.

И пошло.

– Ах вы, буржуи, рыла нетертые.

И пошло, и пошло, а чиновник пропал, и голос его в защиту личности, которая больше народ, чем все народные советы, потонул этот робкий голос, как в море полушка.

– Усё и усем! Бушевало море над потонувшим чиновником.

Расходились, взбушевались волны, смыли царственных птиц с утеса, неведомо куда разлетелись хищные орлы. Бушуют, никому не дают садиться на утес, и только одна лепится там каракатица. Придет время, улягутся волны, поймут, что не в птицах дело, а в граните, и опять начнут незаметно подтачивать камень, пока не подмоют самое подножие власти и не примут власть в недра свои – до тех пор веками еще будут мягкие волны лизать твердый гранит.

Испытание вином (из дневника)
5 декабря

Из Сибири мне пишут:

– Как вы живете в этом аду?

Отвечаю в Сибирь:

– Ад не страшен: едим пряники мира.

Приходил в редакцию душевно-внимательный человек Н. М. К. и давал советы:

– Вам нужно не отвертываться от стремления масс к немедленному миру, а идти с ними об руку, по пути разъясняя им, что истинный мир есть венец победителя.

Еще яснее он сказал после спора:

– Вам нужно использовать стремление масс к миру, и когда массы поймут истинный мир, они создадут войско добровольцев. На это кто-то ответил:

– Зайцы всегда почему-то, убегая от собаки, возвращаются на старое место и там встречают охотника.

Вечером, возвращаясь домой, я попал под перекрестный огонь, а продавцы вечерних газет, не смущаясь стрельбой, кричали:

– Перемирие объявлено!

С текстом мира в руке я залег на каменных ступеньках подвальной лавочки и видел отсюда, как бежали, гремя бутылками, солдаты и матросы, последним, далеко отстав, спотыкаясь и падая, бежал человек на деревянной ноге и был очень похож на зайца с перебитой лапой. Его быстро настигали красногвардейцы.

Поздно ночью был свидетелем испытания друга своего вином: ему, запойному человеку, предлагали бутылку вина с маркой тысячу семьсот какого-то года за двадцать пять рублей. Он протянул руки, как у Репина Иван Грозный к убитому сыну, и, дрожа, отказался. Вспомнился человек на деревяшке, преследуемый красноармейцами: тот потерял ногу на войне, выдержал испытание огнем, а вином не выдержал и превратился в зайца, друг же мой, заяц военный, выдержал испытание вином и стал похож на человека. Еще мне вспомнился душевно-внимательный человек Н. М. К. с предложением использовать стремление масс к миру в целях пропаганды настоящего мира, и злая мысль шевельнулась:

– Почему бы не использовать тоже в целях душевной поэтической и религиозной пьяности, необходимой для творчества, стремление русского народа выпить?

Как трудно, как отвратительно писать, а нужно, необходимо. Писать любя, как раньше писалось, многие могут, потому что тут и малая любовь принимается, а писать, ненавидя, труднее – в этом испытание силы любви. Не огнем, не вином предстоит нам теперь испытание, а силой любви. Боже, дай мне силу писать, ненавидя!

Крест и цвет (из дневника)
8 декабря

Против Андреевского рынка рассыпалось на улице зерно, слетелись голуби. Трамвай врезался в стаю, подгрел голубей, трех раздавил и многим поломал крылья. Множество народу собралось пожалеть голубей, и добровольцы-мальчишки стали на часах, чтобы разгонять новые стаи перед ходом трамвая.

А на том же Васильевском острове в Волховском переулке в это же самое время люди стреляли в людей.

Пожалел и я голубей и пошел дальше, размышляя о жалости к птицам и о любви к человеку.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Пожалеть можно и того, кто под огнем пулемета нырнул в зимнюю воду за бутылкой вина и достал, вынырнул, но юный красногвардеец, прикосновенный к власти (то же вино!), меткой пулей спустил его на дно затопленного погреба коченеть между ящиками спирта.

И если бы даже, признаюсь со смущением, стало передо мной так, что пустить пулю в утопающего или самому нырнуть в ледяную воду за бутылкой, – я бы нырнул, не посмотрел бы на рыцарский «Кубок» Жуковского, ни на учебник патриотических героев Иловайского – я бы нырнул за бутылкой.

Так что предпочитаю полное уничтожение отечественного достоинства прикосновенности к власти, исходящей от князя тьмы Аввадона. Понимаю вполне, что пожалеть утопленника винного погреба можно, а любить – нет, Боже сохрани от такой любви!

Жалость есть тоска по любви, некого любить, ну, и пожалел, а кого все равно: кошку, собачку, голубя, утопленника винного погреба. Мы, русские, такой жалостливый народ, и предметы нашей жалости разнообразны, как мир вселенной. В жалости нашей нет лица, можно животное жалеть так же сильно, как человека, [но] любить животное нельзя как человека.

Слышу, в трамвае говорят между собою:

– Не довели до комитета, к стенке приставили и расстреляли.

– И хорошо: путаться там с комитетами.

Слышу еще выстрел.

«Не еще ли одного у стенки?»

Жалею этого несчастного, а не люблю: не вижу души его, лица его, не могу любить. И если бы увидел я его на гильотине, тоже не полюбил бы – погибает за вино!

И так все совершается невидимо, где-то в дровах, у стенки, лица не видно, любить некого. Вся Россия личная куда-то скрылась. Вспомните замечательных людей, которых вы знаете, кто из них показался где-нибудь на митинге, кто явлением своей личности окрасил неумное стадо? Вот хотя бы вспомнили нашего поэта Добролюбова, который ушел в народ и собрал вокруг себя многие тысячи верных людей, – почему где-нибудь в цирке «Модерн», когда Луначарский там рассуждает о Божественной премудрости, не выступил там от многих тысяч людей Добролюбов? Наша страна переполнена всевозможными искателями веры, и никто из этих особенных людей не приходит к нам. И если бы сам Лев Толстой теперь показался и сказал бы самое сильное свое слово, то и его бы ошельмовали, довольно было бы в «Правде» написать, что Лев Толстой – буржуй, и слово его не пошло бы в казармы и на фабрики.

Цвет народа – лицо его. Не цветет наше время. Потому не принимаю служения и крика во имя безликого, не беру винтовку красногвардейца, и если судьба мне выбор дает сделаться красногвардейцем или утонуть за бутылкой вина в мерзлой воде погреба, нырну на самое дно.

Разбойнику благоразумному
Сегодня барыня повесть прислала, развернул:

«Что такое, – думаю, – зима, а вся рукопись мухами засижена, должно быть, еще летом где-нибудь в деревенской избе мастерила». Присмотрелся к мушиным точкам, а это все многоточия. И ничего написано, только читать из-за этих мух невозможно.

Так у нас и вообще в нынешней литературе: талантов бездна, а меры нет, и добра хочет писатель своими точками, и никакого добра не выходит, все, будто мухами засижено.

Встретил на улице одного беллетриста, хочу у него попросить рассказик и побаиваюсь, кажется он мне меньшевиком интернационалистом: челюсть крепкая, вид благоразумный – тоже почему-то нас, приверженных к худому нашему измызганному отечеству, называет мещанами. Осмелился я, а он:

– Как у вас с гонораром?

– Для вас, – отвечаю, – выпрошу, а направление вас не стесняет?

– Ничего, я без направления.

– Кто же вы?

– Я художник!

Правильно, по-моему, только холодно сказал, не как у настоящего художника: «Подите прочь»! Холодно сказал, вспомнились слова моего дядюшки: «Не пей из колодца, пригодится плюнуть» и еще его же о сладком: «Не на всякое сладкое можно сесть мухе».

Пригрел я одного поэта – есть у него какое-то дарование и очень бедный человек: пусть, думаю, упражняется. Пишет он день, пишет два – бац! вижу его на враждебных подмостках. Меня к допросу, я к допросу поэта.

– А вы разве не замечаете время? – спрашивает мой поэт, – под нами теперь становится одинаково.

– Где под нами?

– Пласты сдвигаются: почитайте теперь «Новую Жизнь»!

Читаю день, другой, третий «Новую Жизнь» – удивительно! Каждую статью можно поместить в «Воле Народа». Как же так, почему? Или, правда, под нами пласты сдвигаются? Вот и Горького собираются заточить разбойники в Смольном. Значит, никогда не поздно раскаяться, никогда! Горького заточить! Сердце мое умиляется, мое сердце слагает акафист разбойнику благоразумному.

<Из дневника>

12 декабря

Первое письмо, которое прочел я сегодня в редакции, было от Ордена Иисуса: «Благословляя венки Иисусовых занятий, орден Иисуса повелевает людям немедленно прекратить все занятия, явно противные слову и духу учения Иисуса Христа, особенно: злые и грязные мысли, слова и дела, человекоубийство, кулачное право, погромы и укрывательство хлебных запасов».

В то время как я читал, в редакцию вошел матрос балтийского флота и требовал выдачи одного сотрудника, а другой матрос стал у двери на караул и вынул револьвер.

– Я член Учредительного собрания и старый революционер, – говорит редактор.

– А я, матрос и комиссар, знаю, какие вы революционеры!

В следующей комнате писатель с не принятой рукописью говорил:

– Знаю, почему не принимаете: кадетствуете!

Сотрудник отвечает автору:

– Что значит «кадетствовать»? Я говорю, вам надо учиться и знать, какими буквами вы пишете.

– Я пишу русскими буквами.

– А я говорю: арабскими!

С письмом Ордена Иисуса я вхожу к редактору, где большевик стоит с револьвером, и к сотруднику, где спорят о буквах, и приказываю: Орден Иисуса повелевает вам немедленно прекратить все занятия, противные слову и духу Иисуса!

Не слушают. Обращусь к Ордену Иисуса научить меня так повелевать, чтобы слушались обе ненавидящие друг друга стороны.

12 декабря

Волны. Все представляется, как волны.

Ударили волны о гранит, смыли царственных птиц, неведомо куда разлетелись хищные орлы.

Бушуют волны, не дают никому садиться на утес... Но скоро волны уймутся, и птицы опять налетят.

А волны снова возьмутся незаметно гранит подмывать, самое подножие власти, и пока не подмоют и не примут власть в недра свои, до тех пор ничего и не будет особенного.

12 декабря

Спиридон – солнцеворот.

Она как друг такой, какого у меня нет и не было, и я понял, что это не роман был, а поиски человека...

Когда я лично переживал такую же смуту, какую теперь переживает Россия, мне было так, будто люди вокруг меня стоят неподвижные, а все мы, кто задел свое сердце, кто наколот свою душу, бежали, натыкались, как слепые, сумасшедшие ежики в лесу, на неподвижные стволы деревьев.

Знал ли я, что еще долго буду жить, – и теперь никто не знает.

Так было мне, будто в лесу я густом, и разум подсказал мне единственный путь: обходить неподвижные стволы и привыкать жить между деревьями, не думая о том, чтобы сдвинуть их. В лесу этом я, как ежик, устроил себе гнездышко и жил кое-как, и нажил себе разум лесной, и порос снаружи колючками.

Теперь случилось так, что извечно неподвижные стволы лесных деревьев заходили, а мы все, кто двигался, залегли в свои норки и смотрели на них, вспоминали, как в прошлом то же самое было в нашей личной душе.

Продолжить: о России.

Проверяя вселенную, сторожевой ангел на седьмом небе заметил светлое пятно в черном тройном кольце и стал спускаться искать место, где нужно исправить повреждение.

Начиная с известия в деревне о смерти Александра II изобразить революцию по своей жизни: Дунечка, Илья Никол, и др.

Девочка Катя и мечта ее о севере и юге – куда убежать? На юге и смерть – любовь прекрасная в море. А собачку не брать, собачка не может дожить до прекрасного. Морфий тоже не надо – без морфия, а чтобы легко было и ясно.

(Вложить Козочке, соединить с «Подзаборной молитвой» и так с решением пустить ее жить).

И еще так: теперь будто движется быстро, безумно, с разумом все на месте стоит, а теперь все безумно мимо.

На чем земля стоит (из дневника)

15 декабря

С Северного фронта приехал знакомый офицер, рассказывал про свою армию, самую большевистскую, и про свой полк, самый большевистский в армии. Как только вышло от Крыленки, что можно домой уезжать, первые уехали все, кто вел пропаганду большевизма, и полк остался без водителей. Вот тогда объявили выступление против Каледина. А полк, покинутый зачинщиками, отказался, и весь большевизм его словно

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
сдунуло. И все бы разбежались домой, но тут выгодное дело началось: торговля с немцами. Бойко пошло, при удаче солдат выгонял рублей четыреста в день на коньяке. Сюда больше коньяк идет и мелочь всякая: кожи, зажигалки, трубки. Туда – мыло. Так и военное дело, и социализм исчезли совершенно в торговом обороте, крутилась, дымилась начиненная бомба, разорвалась, и нет ничего: над плоским местом последний дымок расходится.

Напомнило мне это пережитое в деревне. В июне, перед рабочей порой, тоже завелись у нас большевики. Стали поговаривать, что у С. в имении хранятся пулеметы и что нужно их поискать. Знаем, какие пулеметы! Пойдут за пулеметами и попадут на винный завод. Перепыются и тогда всем нам, хуторянам, капут. Живем возле этого спирта, как у самого края горы огнедышащей.

Так живем и посматриваем на солнышко, и просим: «Пеки, пеки, солнышко, жарче!» – потому что, как только возьмутся за покосы, все наваждение разом пройдет, рабочая пора все такое сразу приглушит.

Федька, наш самый главный большевик, тоже это смекает и не дремлет, всюду поспекает – на сходы, на ярмарки, на митинги и даже на молебны, – и везде его речи:

– Товарищи, земной шар создан для борьбы!

Так начинался какой-то фельетон в «Правде». Он фельетон этот выучил, а потом, что ночью снится – присыпал, что днем наболтается – прилыгал, и так извертелось, в такой большой ком собралось, что час, и два, и три говорит и никогда не иссякает. И чего-чего только нет в этой крутящейся, дымящейся бомбе. Но всегда неизменно всякая речь начинается тем, что земной шар создан для борьбы, и кончается призывом:

– Идите, хватайте немедленно, потому что земной шар создан для борьбы!

Так дотянули мы до самой рабочей поры, ну вот как: завтра в поле выходить, а нынче, в воскресенье, загорелось у мужиков, чтобы идти на винный завод искать пулеметы. Так загорелось, что скажи кто против, – «буржуаз!» назовут, а настоящий буржуаз-хуторянин скажи, так и побьют.

Посоветовались мы, между собой перетолковали и по телефону сказали нашему адвокату Михаилу Ивановичу – человек настоящий, лев, смелый, властный и, главное, у мужиков в большом почете, много им сделал по своей адвокатской части добра.

Собрались в воскресенье мужики к винному складу искать пулеметы, а Михаил Иванович тут как тут. Федька зажигает:

– Товарищи, земной шар создан для борьбы!

– Стой, – кричит Михаил Иванович, – врет! Прошу голоса!

Дали голос: нужный человек, адвокат.

– Врет он, товарищи, – земля вовсе не шар!

– Как так не шар? – спрашивает Федька.

А голос Федькин уже не прежний, оробелый голос:

– Так просто, – отвечает адвокат, – самое последнее открытие науки, что земля плоская, как стол, и стоит на четырех ножках. И это уж, что шар земля, осталось только для потехи ребятишек, и посмотрите, товарищи, взрослые люди, ну, какой это шар, как это увидеть?

Остановил речь и показал рукой в поля:

– Ну поглядите, какой это шар!

Посмотрели мужики вокруг себя далеко в поля бескрайние, рожью покрытые, – круглый стол земля, с дарами своими благодатными, и наверху в небе синем одна

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
прясточка над всем крылышками прыдет. Посмотрели мужики на землю, перевели глаза на Федьку.

– Ну, теперь продолжайте! – просит Федьку адвокат.

А он без своего заученного никак не может начать и опять:

– Товарищи, земной шар!

– Стой, не ври, земля плоская.

Мяк, мяк и замаякнлся, и захлебнулся. А Михаил Иванович и заговорил, и заговорил. В какой-нибудь час привел в разум мужиков, разошлись по домам смирно, а на другой день рабочая пора на обыкновенной плоской земле все приглушила до осени, когда опять разливанный пошел самочин, и опять земля стала круглая.

<Из дневника>
18 декабря

У трамвая мне встретился офицер, похожий на Бисмарка, плохо говоривший по-русски, – немец! Он с достоинством отдавал приказания высокому русскому фельдфебелю, и нужно было видеть, как почтительно выслушивает его русский солдат, будто это был хозяин и его приказчик. Так видно, что к этому состоянию и катится наша лавина, как снег катится к подножию горы: докатится и будет лежать.

На Невском, если видишь большое войско, то ищешь глазами папиросную лавочку: это не войско, а солдаты, построенные в очередь за папиросами, – папиросное войско.

Люди на улице – не люди, это какой-то мусор, поднятый ураганом. Это люди завоеванного города, которые теряют народные черты и становятся робкими тенями человека. По-прежнему их презрительно называют в газетах словом «обыватели», но у человека свободного, способного оценивать со стороны явления переходные, сердце слоняется в сторону обывателя, а не героя нашего времени, потому что обыватель все-таки страдает, а герой <2 нрзб.>

Некуда убежать: вся Россия теперь такая же завоеванная страна, и люди ее повсюду одинаково, как мыши, заняты поеданием каких-то припасенных крох. Живут в ожидании последней, окончательной перемены, все равно какой. Мы больше не воюем не только с немцами, но и с шайкой негодяев, занявшей трон, – все равно: и зачем жертвовать собой, когда то, из-за чего жертвуют, все поперано, нельзя пожертвовать собой, потому что это значит отдать себя псам на растерзание.

Мать-земля
(Из повести)
Глава I

Когда немцы разбили нас в первый раз в Восточной Пруссии, земля наша показалось мне голой и, проезжая в тот день на хутор, к своей матушке, я со всей силой чувствовал нашу вину и справедливость наказания за нерадивость, лень и беззаконие.

Сколько замечательных людей дала эта земля, – вон в той стороне пахал ее Лев Толстой, там охотился Тургенев, в детстве нас приводили под благословение к старцу Амвросию, а Тихон Задонский жил от нас близехонько. Матушка моя, помню, любила повторять слова отца Амвросия:

– Монах – сухой кол, а вокруг него вьется зеленый хмель.

Теперь так горько вспомнить, – где вьется эта зелень. А кольца стоят – для чего они стоят? Вышли замечательные люди, а самая земля осталась и оскудела.

Едет по чернозему хищный человек, норovit, как бы что-нибудь стянуть залежалое, и едет блудный сын со скорбной душой, и беспредельность не дает ему всмотреться в предметы. А попросту посмотришь, какое опустошение: лучшая в мире черная земля обезлешена, размита весенней водой, вся перерезана огромными оврагами и на мельчайшие полоски разделена – чем тут, на голой земле, загородить путь железному врагу: ни порядка, ни закона, дом не выметен, вещи не расставлены.

Спрашиваешь себя, как жил до сих пор. И тут же отвечаешь: обманом.

Я ехал в сумерках, и тогда ясно мне было видно будущее. Но, когда утром принесли мне известие о большой победе, я подумал, что это мне в сумерках так показалось, и брат мой тоже успокоил такими словами:

– Порядок, расстановка вещей и все такое немецкое – дело второстепенное. У нас дома убираются к празднику. Наступит красный день, и все выметем сразу.

Матушка моя, очень старый человек, радости от нашей победы не чувствовала. Поражение она встретила словами: «Так нам и надо», и победе не обрадовалась. Всю свою жизнь, начиная с освобождения крестьян, она читала одну газету «Русские Ведомости», где писали каждый день, начиная с освобождения крестьян, что мир движется вперед. В хозяйстве своем она, конечно, по-другому думала, там не вперед двигалась, как поезд по железным рельсам, а колесом, как времена года. Но юность, пережитая в годы освобождения, первая любовь и встреча с «идейными» людьми, и потом лет пятьдесят чтения день за день «Русских Ведомостей» укрепили в ней прочно особое, отдельно от хозяйства парадное понимание, что мир движется вперед. Представить себе, что лучшие европейские государства могут между собой подраться, она не могла, это значило бы, что вся жизнь насмарку и те памятные ей «идейные» люди обманывались и были обыкновенные, «как мы». Вот почему радость нашу от победы над Европой она не разделяла и, собираясь с последними силами, просила меня объяснить ей войну.

Как маленьким детям, я объяснял ей картину, показывал линию нашего наступления. Она кивала седой головой, но точка на бумаге ей ничего не говорила.

– Вот, – показывал я, – огромное неустроенное имение Россия, возле него маленькие, как наши крестьянские надель, лежат государства Европы, и им так же хочется земли, они так же ждут выхода из своего положения, как наши крестьянские хозяйства...

– Я всегда думала, – сказала матушка, – что война бывает из-за земли. Всегда я говорила, что мужики одолеют и земля перейдет к ним. Значит, ты думаешь, что наша русская земля перейдет к тем маленьким умным государствам?

И не дожидаясь ответа:

– После меня, – сказала, – тебе достанется тридцать десятин хорошей земли!

Я не очень понимал, почему теперь так особенно хорошо иметь землю.

Она ответила:

– Из-за земли же люди и дерутся!

Так всегда бедная матушка жила надвое: по одному верила, что мир движется к миру на земле, а по другому, что все идет кругом и возвращается к обыкновенному. И видел я на старом лице глубокую скорбь, что лучший мир остановился в своем движении, и тут же, на том же лице, видел радость, что у меня, ее любимого сына, есть кусочек родной земли, из-за которой могу я, как и все другие, подраться.

Вскоре после этого разговора мать моя внезапно скончалась. Я опоздал к ее похоронам, и на могиле ее, покрытой ветками елок, и плачу, и спрашиваю, и советуюсь, и опять спрашиваю:

– Всю жизнь ты учила меня любить мир, зачем же как радость оставляешь мне землю – из-за которой люди дерутся. Нет ответа из могилы. Умерла моя старушка...

Пахота

Вот как трудно мне было обсеять поля, так было тревожно на душе, так беспокоили воры, что случись так еще год – откажусь, брошу заветную землю, уйду что-нибудь проповедовать и распространять. Не то что как раньше бывало, оставить в полднях на поле плуг или соху. Боже сохрани! Возле дома на своем же заборе хомут повесить нельзя, за глазами теленка привязать опасаться – веревку отвяжут, до ветру сходить – прости, Господи, – суденышко себе устроил в кустах, так и этим не побрезговали – уволокли.

С грехом пополам все-таки отсеялись, подошло время пар поднимать, а у нас новая

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
смута: кому поднимать пар на помещичьих полях? И стал называться помещиком всякий, у кого хоть что-нибудь есть сверх надела. Работник мой уходит – хочет сам быть хозяином, скотница уходит, кухарка...

Что же делать? Продать не велят, и сам не продам я заветное, передать на время – нельзя, подарить мужичкам – разделят на клочки, задранят, ясени мои великолепные вырубят, сад обломают и все, что можно тащить, растащут.

Хожу я по дому до рассвета и думаю, как обещать мне людям этим землю и волю, если по-разному с ними это понимаю, и силы обещать в себе не чувствую, и сам только чающий?

Над вишнями рассветает – хороши вишни! – покойница-мать сама за ними ходила. Между стволами старых ясеней алеет заря – отец сажал эти ясени, все тут свое, заветное, и отсюда все мое пошло.

А красота между ясенями творится такая, как в детстве, когда читал Робинзона, и кажется мне, что я тоже теперь потерпел кораблекрушение и выброшен, как Робинзон, куда-то на остров, населенный дикарями, и уйти мне некуда, все нужно начинать сначала.

Зову я своих и говорю, что больше нет у нас работника Павла, нужно самим работать, готовы ли они? Недоверчиво смотрят на меня, готов ли я?

– Сейчас я иду запрягать.

И рано, еще до восхода солнца, выхожу я на свой остров работать.

Плуг мой старинный, неуклюжий, и пахать им по-настоящему может один только Павел. Называется мой плуг «нырок», потому что, чуть не уладил, и он по самую ручку в землю ныряет. Я нарочно пораньше выезжаю, чтобы никто не видал, как Павел будет учить меня.

Борозда, другая – овладел я Нырком совершенно, научился по-лошадиному гоготать на Рыжика, отлично держу в борозде Лопоухого, а Павел все ходит за мной. Вдруг кто-то говорит из кустов:

– Павел, дай ему в морду!

Остановливаю лошадей, вижу, из кустов выпучили на меня глаза молодые ребята, все шли с топорами лес мой рубить:

– В морду! – говорят.

А я Павлу.

– Ну, что же дай.

И потом им в кусты:

– Сами дадите, Павел не хочет.

Уходят, ничего не сказав, как оробелые псы.

Птицы кличут одна другую, кружатся, садятся на деревья, не решаясь идти вслед за новым пахарем. Бабы остановились на краю поля – заробели идти в лес дрова воровать. Мужики шли делиться и стали под лезинками, знаю, думают: «Весь прогорел, сам пашет – последнее дело!» Потом, осмотрев все мои движения, как птицы осмотрели, как оглядели бабы, идут они чередом за лес, на ту сторону оврага, и на далеко видном бугре начинается галдеж дележа.

Так не у нас одних, а везде – в других деревнях и за нашей волостью, и за нашим уездом, и за губернией, – всюду делятся. Так и по всей земле, по всему земному шару война дележа.

Нет счастья в одиночку! Земля такого не принимает, отталкивает. То лямка оторвалась – нужно лямку, то болты расшатались – болты, то лошади отчего-то не едут, и я кричу:

– В борозду, подлая.

Тоже одинокий, оторванный голос. А из тех же кустов, откуда сказали: «Павел, дай в морду!», – чей-то хозяйский, строгий голос:

– Хомут, хомут.

Правда, смотрю, хомут рассупонился и натирает Рыжику шею. Поправляю хомут, и хорошо мне думать, что вот хоть один человек нашелся и считает мое дело за дело настоящее, и помогает. Хочу ему спасибо сказать, а его уж и след простыл: далеко в мареве идет, колыхнется какой-то незнакомый, вовсе сивый старик.

Загон мой в день чуть побольше полдесятины. Утром я намечаю себе верную линию через два полынка на дерево, прорежаю так с четырех сторон, черной каймой вспаханной земли окружаю зеленый пар, и то, что вспахано, ширясь, ширясь – одна половина моего мира, а зеленое внутри – другая.

За леском на бугре все делятся мужики, день ото дня у них сильнее галдеж, и ничем это остановить нельзя: то кого-нибудь обидели – опять делятся, то кто-то новый пришел – новый передел, то другая деревня грозит себе отобрать землю и наших вовсе прогнать. Бушует дележ, как мутный поток по оврагу.

Разные формы принимает зеленый пар внутри черной каймы пахоты: к завтраку закругляется, к обеду становится с шейкой, как зеленый воздушный шар. Потом шейка тает – исправляю углы, пашу треугольник, из него выходит нож, потом бритва, стрелка, и когда солнце садится, я по узенькой зеленой стрелке провожу последнюю борозду и кончаю: зеленого нет, все черное, паханое, мое.

Работа медленная, и когда поймешь ее, то все оказывается в лошадях: сам выходишь, шли бы лошади. И так не работа сушит, а забота о лошадях: дать отдохнуть, попить, покормить, наносить на ночь травы – лошади пашут, человек только ходит за ними. Полегоньку работая, поднял я за неделю пар плугом и полю сохой и зараз бороню, а там, на бугре, все еще не разделено, и пар там невзметанный, заросший, твердый, как сухая доска.

На выгоне возле церкви жарче и жарче разгорается митинг: там землю обещают, волю и все на свете немедленно. Так близко это от пахоты, а никто из ораторов не придет сюда посмотреть, как тут пашут землю, и делятся, никто не научит пахать по-настоящему и творить землю такую, как, бывает, чудится она, когда с ней расстаешься.

По-разному понимаем мы землю и волю с теми, кто ее обещает, сам себя понимаю, как чающий, а они меня называют буржуй. Здесь, на пашне, те же самые люди говорят совсем по-другому, и много доброго получил я от них и кланяюсь теперь всем, бескорыстно помогавшим мне советом и делом. Шлю большое спасибо рассудительному человеку Артему, кланяюсь низко за душевное сочувствие смирному Пахому, еще кланяюсь ясному Евлану за починку хомута, бородачу Никифору за оглоблю, голопузому Алешке, что сошник оттянул, еще кланяюсь деду за гвоздик и кто только чем только ни помогал мне или хотя бы только «Бог помощь» сказал – всем кланяюсь. А еще низко-пренизко кланяюсь неизвестному мне белому старцу, который мне раз из кустов крикнул: «Хомут, хомут!» – и спас мою лошадь от раны. Привелось мне еще раз с ним встретиться в жаркий полдень, когда из влажной земли поднималось марево. Худо мне было тогда на душе, скажу прямо: отчаялся. Нехорошими словами, как сосед мой, кричал я на усталую лошадь, соха прыгала, палица постоянно выскакивала. Вдруг из кустов крикнули:

– Борона, борона!

Оглянулся я, а лошадь с бороной не за мной идет, а стоит на том конце борозды и травку щиплет: до того, значит, я разошелся душой с этим миром, с этой землей, на которой родился, что лошадь с бороной потерял. Стыдно мне стало, и не знал я, какими глазами посмотреть на того, кто крикнул мне: «Борона, борона!» Улыбнулся я жалкой улыбкой, как нерадивый работник хозяину, посмотрел, а сивый старик уже далеко от меня, идет, колыхнется в мареве, осматривает наше общее хозяйство, нашу общую землю, родимую мать.

О детях и детям

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Гонятся теперь у нас за большинством, но ничего не выходит: нынче оно такое, завтра другое. Настоящее, вечное большинство в детях: кому охота все счетом брать – маленьких и счетом больше, но главное тут не в счете голов и годов будущих. Мы, взрослые, как ежики, покрыты колючками, и трудно, почти невозможно быть нам теперь как дети, но мы делаем усилие пойти к ним навстречу и, главное, хотим взрослым напомнить: «Будьте как дети!», а то никогда не услышите: «Слава в вышних Богу и на земле мир!»

Про зверя ужасного вида
Рассказ

Облетая седьмое небо, заскорбел сторожевой самый маленький ангел: так велик был соблазн на земле, что и на седьмом небе отразилось изображение зверя.

Тяжелы не по силам были маленькому ангелу скорбь о человеке и гнев, стал он от этого низиться и пал среди высоких деревьев и низких трав на берег лесного ручья, где жили звери, поедая друг друга.

Не горевали на небе о нем, не стенали, как на земле. Маленький ангел заскорбел о человеке, и в тот же миг ему назначено было служить на земле полезным человеку животным, пока не исполнятся сроки.

Неподвижны твердые стволы деревьев с корнями-удавами и тяжела земля, как тяжела земля! И птицы устают от земли и поют сидя. Лежа спят, отдыхают звери. Колышутся травы-злаки везде и не могут стронуться с места.

Твердое, тяжелое и неподвижное для упавшего было ужасно. Только воде он обрадовался и узнал ее.

– Сестрица моя!

Но быстро обежала вода и на острых камнях оставила болеть его новое тело. Тяжело проходила первая боль, и выросла на месте ее длинная сухая игла.

Ветру обрадовался.

– Братец мой, ветер!

Не узнал ветер, облетел.

И на месте больном вторая выросла длинная сухая игла.

– Милые мои, птицы!

В краю непуганых птиц испугались крика его поющие птицы и разлетелись в разные стороны. И на месте больном новая выросла длинная сухая игла.

– О, Господи!

Бог не откликнулся: никто не знал в лесу, для чего это нужно так и чем все это кончится. Только эхо отвечало тем же стоном:

– О, Господи!

Тяжко проходит время в лесу, и, лукавя, привыкают звери обходить неподвижное.

Нет уже больше ни сил, ни охоты с братским приветом обратиться к живущим; все тело упавшего покрылось колючками, и весь он зарылся в сухой листве. Тогда выходит на мышиную тропинку зверь ужасного вида, весь кругом покрытый длинными сухими иголками, и говорит:

– И ты такой!

А упавший узнает себя.

– Брат мой, ежик, – сказал зверь ужасного вида, – ты теперь вырос, настало время служить.

И, обходя стволы и кусты, вышли ежики на моховую дорогу. Босая шла по дороге

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
женщина с ягодами и пела веселую песню. В колее, заросшей мохом, ожидая,
притаилась змея. Босоногая с песней шла на змею.

Старший ежик сказал:

– Брат мой, все в лесу боится змеи и даже победитель всего на земле, человек, не может побороть этого страха, но мы, ежи, не боимся змеи: мы это переболели и оттого покрылись колючками.

В сумерках наступающей ночи с песней проходила босая женщина змеиное место и не видела, как, наколов на иглы убитую змею, мышиными тропинками куда-то в лесные завалы пробирались ежи.

Не горюют на небе, не стенают, как на земле. Увидев на седьмом небе отражение зверя, заскорбел маленький ангел, и в тот же миг ему назначили пробить полезным человеку животным, ежом – истребителем змей, пока не исполнятся сроки.

Праздник рыжего таракана (из дневника)
29 декабря

Захожу я на Рождество к приятелю, который служил верой и правдой в Министерстве народного просвещения, и на пороге этого когда-то семейного и культурного дома останавливаюсь изумленный: неубрано, пыль, на столе черные сухари и колбаса, аркой во всю комнату библиофила развешена рыба – вобла.

Алексею Николаевичу Толстому, любителю описывать разрушенные дворянские гнезда, рекомендовал бы я посетить теперь квартиру библиофила, славянофила, чиновника нынешнего времени Акакия Акакиевича. Я едва узнал его, потому что волосы, которые он почти что брил, я всегда считал белыми, а теперь они выросли на вершок совершенно седые.

Прекрасный человек, ни малейшей «буржуазной» злобы за свою расстроенную жизнь, он думает только о России, верит, что она воскреснет, и все принимает как ужасное, огромное несчастье.

Кое-как вскипятив чаю, мы разговариваем о самоопределении народностей, это у нас с ним в начале революции было любимое: мы мечтали о расцвете народностей со слабым сопротивлением капиталу и водке, тех, которых воспевают Бальмонт: «Самоане, Самоане!». Что теперь осталось от этой мечты! Как будто и есть что-то новое: Дон, Украина, Сибирь. Всего два месяца назад один оптимист говорил, что из нашего трудного финансового положения выйти очень легко: можно продать Камчатку. Теперь Сибирь с Камчаткой отделились, а еще через месяц и сама Камчатка заявит: «Не хочу продаваться, я не продажная!» И те жены и дети, которых Минин хотел заложить, теперь, пожалуй, не пожелают закладываться, скажут: «Не хотим, мы сами!»

Мой собеседник об этом самоопределении во имя «Не хочу, мы сами!» говорит так:

– В этом еще нет человека, эта наивная вера очень похожа на предрассудок моей покойной няньки, будто червяки сами заводятся в цветочном горшке, что сам горшок порождает червя.

Нет человека, пустое Рождество!

В заключение нашей беседы этот новый Акакий Акакиевич, у которого воры украли шинель, вынимает из кармана белый носовой платок и весело рассказывает о своем открытии: оказывается, носовой платок можно самому прямо под краном вымыть в несколько минут, а прачка берет за это сорок копеек!

Кому же все-таки хорошо? – Не верю в настоящую радость тех, кто идет по зову всюду расклеенной афиши «Веселый бал», спрашиваю об этом разных «естественных» людей. На вопрос мой одному крестьянину, кому теперь на Руси жить хорошо, он ответил:

– У кого нет никакого дела с землей.

Солдат сказал:

– С войной.

Купец:

– С торговлей.

Тогда я подумал: «Смысл их существования заключается в сознании жертвы настоящим для будущего».

И спросил крестьянина, чем он теперь жертвует.

– Ничем! – просто ответил крестьянин.

Солдат сказал:

– Довольно жертв!

Купец:

– Мы сами жертвы.

Из этих ответов я понял одно: эти люди ждут, – чают чего-то лучшего; огромная масса населения только чающие, как те калеки, которые ожидали движения воды в Силоамской купели.

А весь мой интерес к событиям был в ожидании личности, которая укажет пример исполнения чаяния рабов и обещаний господ. С моей точки зрения, нового совершенно ничего не произошло: мир по-прежнему разделяется на господ обещающих и на рабов чающих и до того разделяется, что даже Учредительное собрание есть не больше, как чаяние Рождественских дней.

Спрашиваю себя, где же новое, и отвечаю, это, вероятно, в Европе. А русский народ теперь находится во власти сил мировой истории и покорно предается их воздействию на себя. Теперь все русские люди спешат занять удобные места в зрелище, за которые заплатили так дорого.

Конечно, я высказываюсь здесь с точки зрения человека, чающего признания личности, настроение обещающих совершенно обратное; для примера беру их газету и, ткнув пальцем в нее, при зажмуренных глазах выписываю из-под пальца:

– Вопрос о мерах к ослаблению грозного роста русского революционного движения дошел даже до палаты лордов и вызвал чрезвычайно любопытные дебаты.

Значит, основная разница точки зрения обещающих с точкой зрения чающих, что одни считают, что нас Европа определяет, другие – что мы определяем Европу, одни это наше Рождество считают пустым, бесчеловечным, другие устраивают «Веселый бал» по случаю того, что рыжий таракан у нас скоро не будет называться прусским («пруссаки»), а у немцев – русским («Russen»).

Обыск и аресты в редакции и конторе «Воли народа»
«Воля Страны». Пятница, 5 января

Редакционное сообщение

2 января в 2 часа дня в помещение конторы и редакции вошел наряд вооруженных солдат, занявший все входы и выходы комнат и объявивший всех находящихся в этот момент лиц арестованными. «Предводитель» отряда очень молодой господин вошел в кабинет управляющего делами издательства М. К. Павловского и заявил, что будет производить «выемку бумаг».

На требование предъявить ордер, «комиссар» показал бумагу следующего содержания:

«Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. № 112. Годен до...

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем поручает тов. Ходеницкому произвести обыск и выемку бумаг в помещении „Воли

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Народа“, Бассейная, 35.

Всех находящихся в помещении подозрительных лиц подвергнуть аресту.

2 января 1918 г.

Председатель Петерс. Печать.

Секретарь /подпись неразборчива/».

В первую голову он спросил, нет ли среди присутствующих редакторов, имена которых значатся в заголовке газет: Ек. Брешковской, Аргунова, В. Лебедева, Сталинского, Сорокина; когда этих товарищей не оказалось, был подвергнут личному обыску М. Н. Павловский, после чего ему было предложено вместе с управляющим конторой В. А. Смирновым отправиться под конвоем на Гороховую ул., 2.

М. Н. Павловский объяснил «комиссару», что в качестве управляющего делами он ответственен за имущество газеты, за бумаги и денежные суммы, находящиеся в помещении, и не уйдет из него до окончания обыска и подписания протокола. «Комиссар» после некоторого колебания согласился оставить М. Н. Павловского присутствовать при обыске «в качестве свидетеля»...

Между тем комнаты конторы стали наполняться народом. Приходили сотрудники, приходили служащие экспедиции и типографии, приходила посторонняя публика для подписки, объявления и т. д.

Всех пускали совершенно по-жандармски, но немедленно же подвергали задержанию.

Среди присутствующих находился член Учредительного собрания А. И. Гуковский, недавно выпущенный из Смольного.

Предъявив «комиссару» свои билет, он потребовал немедленного осведомления как лицо, пользующееся неприкосновенностью.

Растерявшийся комиссар начал убеждать А. И. отправиться с ним на Гороховую для «выяснения».

А. И. Гуковский ответил, что он привык ездить тогда, туда, куда он сам пожелает, а сейчас он желает выйти из этого помещения. «Комиссар», однако, отдал приказ солдатам не выпускать А. И., и на требование указать, на каком основании он так поступает, предъявил помещенный выше документ.

– Вы считаете подозрительным лицом члена Учредительного собрания?

– Нет, я не считаю вас лицом подозрительным, но я все-таки, я требую, я прошу вас следовать за мною.

– Значит, вы действуете вопреки ордеру, так как там говорится лишь «о подозрительных лицах».

– Нет, не вопреки ордеру... да и вообще. Вы отказываетесь ехать?

– Да, отказываюсь.

Полное молчание, растерянность. А. И. Гуковский уходит, надевает шубу и садится спокойно в углу.

Между тем управляющий требует освобождения служащих конторы, бухгалтера, барышень и т. д.

Начинается сортировка. Всех служащих и посторонних, не оказавшихся «подозрительными», отводят в особое помещение. «Подозрительных» обыскивают, принимают бумаги и затем по 4–5 человек увозят на автомобиле на Гороховую, 2.

В числе «подозрительных» оказался писатель М. М. Пришвин.

– Ваша фамилия?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Писатель Пришвин.

– Как?

– Пришвин, если бы вы были грамотным человеком, вы бы знали мое имя.

– Вы, товарищ, пишете в «Воле Народа»?

– Я вам, сударь, не товарищ. Люди, производящие такие безобразия, чинящие насилия, не могут быть моими товарищами...

Взволнованный М. М. долго и горячо спорит с комиссаром и солдатами. Ни за что не хочет расстаться с портфелем рукописей, среди которых имеются рассказы Ремизова и др., требует опечатания портфеля.

Наконец, успокоившись, говорит: «Если бы в России был хоть ценз 4-классного городского училища, этих безобразий бы не было. Вы сами не понимаете, что делаете. Когда вы будете грамотными, вы это поймете».

М. М. Пришвина уводят с другими.

У стола С. В. Фрид, заведующий хроникой газеты.

– Вы кто такой?

– Я на ваши вопросы никакого ответа вам не дам. Я уже был в Смольном, спросите у Красикова, кто я такой.

«Комиссар» растерян.

– Так как же вас записать?

– Спросите у вашего следователя Красикова.

Смущенный комиссар пишет: «Красик...»

В комнате гомерический хохот. «Комиссар» сердится, вычеркивает и пишет «неизвестный».

«Подозрительных» все больше и больше.

Тут и присяжный поверенный Я. Ф. Селюк, зашедший случайно в редакцию, и проф. консерватории Браудо, и управляющий конторой газеты «День».

Арестован Вл. М. Чернов, указавший, что он постоянный сотрудник газеты.

Арестованы сотрудники: Клевцов, Масловский, Власов, Нипоркин, заведующий экспедицией Романовский и др.

В это время в редакцию вошли члены Учредительного собрания А. А. Аргунов и П. А. Сорокин.

Обыскивающие возликовали.

Прервали опрос и «сортировку» присутствующих и предложили прибывшим отправиться немедленно, «вне очереди», вместе с А. И. Гуковским на автомобиле.

Члены Учредительного собрания отказались подчиниться «предложению» «комиссара».

– Мы подчинимся только насилию.

– Я прошу вас поехать, – спрашивает «комиссар».

– Мы не пойдем!

– Но я прошу вас, – смущенно бормочет и оглядывается по сторонам «комиссар».

– А если не пойдем?

– Тогда я применю силу.

– Применяйте.

Трех членов Учредительного собрания увозят.

Уходя, они заявляют присутствующим:

«Товарищи! Над нами произведено насилие, мы громко протестуем».

После их отъезда «опрос» идет ускоренным темпом. Очевидно, главная «добыча» уже в руках.

Арестованы: А. А. Аргунов, П. А. Сорокин, Е. А. Сталинский, В. М. Чернов, Е. А. Аргунова, М. М. Пришвин, В. А. Смирнов, Т. С. Ниясов, В. В. Романовский, С. Б. Фрид, Масовский, Нипоркин, Н. Н. Иванченко, Власов, Клевцов, Оречкин.

Тем же вечером отряд красногвардейцев под предводительством пом. комиссара печати Янковского занял помещение типографии, закрыл газету без указания причин, оставил караул, который препятствует всяким работам, не позволяет даже брать исполненные типографией частные заказы и т. д.

«Скифы» перекликаются

Недавно вышел в свет сборник «Скифы». В предисловии мы читаем: «Мы снова чувствуем себя скифами, затерянными в чужой нам толпе... Но прежнего чувства одиночества нет. Ибо мы перекликнулись за эти дни борьбы, мы знаем, сколько нас, таких, как мы, разделенных чужими становищами...»

Одним из редакторов сборника и, судя по стилю, автором предисловия является С. Д. Мстиславский. Среди участников сборника – М. М. Пришвин. Они перекликаются теперь.

– Ау! – кричит Пришвин из пересыльной тюрьмы, куда его бросили без предъявления обвинения, без допроса и вообще без всяких оснований.

– Ау! – откликается Мстиславский из следственной комиссии при Смольном.

О Мстиславском никак нельзя сказать, что он чувствует себя «скифом, затерянным в чужой толпе». Напротив, в толпе Смольного – Мстиславский свой, родной человек.

Опрос писателей

(Анкета «Нового Вечернего Часа» по поводу декрета об авторском праве и государственной монополии классиков)

М. Пришвин

Когда я принес свою первую книгу издателю-иностранцу, который нажил на русских книгах большой капитал, он так сказал мне:

– Начинаящий писатель, вы должны помнить, что в России из ста читателей девяносто пять дураков, и вы должны о дураках помнить, когда пишете книгу. Второе – помните всегда, что Россия не Америка, где писатель может пить шампанское.

Совета издателя я не послушался и писал без расчета на дураков: я не для выгоды избрал себе тот путь, он для меня путь неизбежный, я не могу не писать, я – писатель.

Писать может всякий, как всякая женщина может строчить белье; между прочим, и очень выгодно, каждый может заниматься писанием, но писатель настоящий, не может не писать, путь его предустановлен, все равно выгодный он или невыгодный.

Мой путь был невыгодный. Однажды пожар уничтожил все мои книги, рукописи, всю одежду, все хозяйство моей семьи. За ссудой в 300 рублей я обратился в литературный фонд, который, рассмотрев мои сочинения, выдал мне только половину, и тот, кто выдавал, сказал с сокрушением:

– Вы серьезный писатель, но вы не Толстой и не Тургенев; есть у вас какие-нибудь средства для семьи?

Я соврал, что у меня есть великолепное имение, и эти 150 рублей я беру только до получения денег от своего управляющего.

– Очень хорошо! – сказал друг писателей и показал мне по секрету тайный архив.

Волосы у меня зашевелились на голове, когда я пересмотрел карточки ссуд семьям покойных, спившихся и сумасшедших писателей. Поймите, бедные люди труда на земле и в городах, и все, кто теперь свободу хочет поймать, как жар-птицу, поймите же, бедные, что мы, писатели, лучше, чем ваши новые вожди, знаем путь свободы, мы его испытали: за каждым настоящим словом красоты, правды-истины и правды-справедливости скрывается загубленная женщина, замученный ребенок.

И все-таки надо идти, потому что это единственный путь и неизбежный.

На клочке земли – великолепное имение! – скучала по мне мать моя и сажала сад, я получил от нее в наследство сад – теперь этот сад разоряют крестьяне, потому что земля, на которой он вырос, объявлена общей. Я не горюю и понимаю несчастных, которые не знают, что творят, правда, земли у них очень мало.

Но той земли, на которой растил я свой соловьиный сад для всех, довольно, – эта земля без всякого спора общая, и каждый, кто родился писателем, поэтом или каким угодно творцом, занимает свободно весь мир. Вместе со мною трудилась, растила мой соловьиный сад верная женщина – звено между мной и детьми, которым нужно молоко обыкновенное, хлеб и каша обыкновенные, насущные – кому же, как не ей, отдать этот хлеб?

Устроители земного равенства хотят, отняв у детей моих черный хлеб и коровье молоко, разделить это между всеми и – безумие! – приобщить этим черным хлебом и коровьим молоком весь мир к соловьиному саду.

Пишу за себя и за друга своего, и за всех тех, очень немногих в России людей, которые по всей правде несут свой писательский крест. Порадейте за нас, бедные люди у земли, и люди труда в городах, не дайте в обиду тем, кто даже и не знает, о чем мы писали, не губите цвет свой, который вырос на общем нашем кресте.

Освобождение Пришвина
(«Новая Жизнь», 17 января)

В комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем произошел на днях большой конфуз. 2 января в редакции «Воля Народа» был арестован писатель Пришвин. В судьбе его принял участие Дм. Мстиславский, взявший его на поруки. Комиссаром юстиции Штейнбергом был подписан ордер на освобождение М. М. Пришвина под поручительство Дм. Мстиславского, но когда вздумали освободить заключенного, то оказалось, что ни одна из бесчисленных комиссий, ни сам комиссар не могли указать, где находится арестованный. Ровно десять дней прошло, пока следы Пришвина отыскивались в пересыльной тюрьме. Только 15 января комиссар юстиции Штейнберг посетил пересыльную тюрьму и там узнал, что Пришвин находится именно в этой тюрьме. 17 января Пришвин, наконец, был освобожден.

Капитан Аки

...но когда вздумали освободить заключенного, то оказалось, что ни одна из бесчисленных комиссий, ни сам комиссар не могли указать, где находится арестованный. Ровно десять дней прошло, пока следы Пришвина отыскивались в пересыльной тюрьме.

«Новая Жизнь». 18 января

Ловили сетями гидру контрреволюции и поймали раз нашего товарища. Он был грек, самый мирный человек, корректор нашей газеты, по фамилии Капетанаки. Но для арестующих показалась такая фамилия подозрительной, и бедного нашего корректора отправили в тюрьму с ордером чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем: «препровождается капитан Аки».

Из пятнадцати дней моего заключения дней десять я провел в обществе этого легендарного капитана, и я, русский писатель, не мог заступиться за бедняка,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
объяснить людям, что это вовсе не страшный капитан, а корректор, самое
неполитическое, самое отвлеченное существо из всех работников нашей газеты. Это
самое ужасное при ловле сетями гидры контрреволюции: человек становится нем, как
рыба, арестующий не понимает нашего языка.

Улов был очень велик, гидра оказалась многоголовая: рабочий Обуховского завода,
министр императорского правительства, ассессор и тайный советник, спекулянт,
археолог, адвокат, теософ – кого не ловили и не бросали в нашу камеру
бессловесным, как рыба на палубе.

Нас не допрашивали и освобождали просто, как рыбу: надзиратель приходил к
решетке и объявлял, что освобождается такой-то. И тот, оглушенный, одураченный,
исчезал, уплывал куда-то в житейское море.

Мало-помалу я разобрался в законе освобождения; рабочего освобождали требования
рабочих, учителя – учителей, чиновника –

157

чиновников, родного человека – родных. Но у меня родных в городе не было, а
писатели – какая у наших писателей организация? В делах общественных они немые,
как рыба.

Ловцы были неумолимы, ловили и выпускали, ловили и выпускали. А я все видел и
сидел. В отчаянии принялся я писать, слил свою судьбу с несчастным капитаном Аки
и уже стал догадываться, что капитан Аки и есть гидра контрреволюции, как вдруг
меня выпустили.

Из «Новой жизни» от 18-го января («Освобождение Пришвина») я узнал, что кум
моего друга С. Д. Мстиславского в первые же дни моего заключения взял меня на
поруки и остальное время, что-то около десяти дней, министр юстиции Штейнберг
искал меня для освобождения по разным местам заключения, пока, наконец, не нашел
меня в каторжной пересыльной тюрьме и освободил. Теперь, конечно, всему
поверишь, но все-таки странно, как это занятый человек, министр юстиции, мог
тратить драгоценное время на разъезды в поисках какого-то капитана Аки, если
тюрем у нас всего три и на телефонные переговоры с начальниками тюрем можно было
истратить всего три минуты? Что-то странное, по-видимому, в этом месте повесть о
капитане Аки и Гидре переходит уже в легендарное гоголевское сказание о капитане
Копейкине.

Станок соглашений
(Письмо узникам)

Друзья мои, заключенные литераторы, археологи, музыканты, адвокаты и всякого
рода другие контрреволюционеры и саботажники, вы, конечно, в тысячу раз больше
меня, читая газеты в тюрьме, понимаете в политике, чем я. Но все-таки, сколько
бы вы ни мудрили в тюрьме, я на воле вижу яснее. Великий переворот произошел
5-го января, гораздо больше, чем вы думали, сидя в тюрьме. Вот хотя бы для
примера расскажу вам, что случилось за время нашего сидения с дьячком, снимавшим
комнату в квартире моего приятеля Микитова.

Было это в конце октября, после первого большевистского переворота. Пришел к
Микитову снимать комнату дьячок Назарыч с молодой женой – только что
повенчались.

– Ну, как? – спрашивает дьячок жену.

– Тесновато, – отвечает, – а жить можно: тут будет столик, тут этажерка, а тут...

«Кровать» – не выговорила, сконфузилась.

Назарыч продолжал:

– Тут мы станок поставим.

Сошлись в цене, переехали, поставили станок и зажили. По праздникам Назарыч
ходит в церковь, по будням служит в конторе. Вдруг в конторе разгром, Назарыч
ходит без дела, орудует против большевиков, отбирает большевистские

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
избирательные бюллетени. Набрал он этих бумажек такое число, что хозяин Микитов до сих пор ими пользуется. Саботажники за эти дела выбрали его своим кассиром. Явился Назарыч в банк, назвался комиссаром, прикрикнул на маленьких комиссаров, подписался и получил тысяч тридцать. Большевики с револьверами вызывают хозяина вежливо: извиняются.

– Не пугайтесь, пожалуйста, мы сейчас вашего квартиранта застрелим.

Хвать, а Назарыча и след простыл. Потужили красногвардейцы и запечатали комнату, хотя в комнате всего только три вещи: столик, и этажерка, и «станок». Конечно, объявили дьячка вне закона и разослали его фотографии: пять тысяч по Финляндии и тридцать тысяч по России. На дворе постоянный вооруженный филер.

В таком положении и оставалось это дело до моего заключения, до второго переворота. Не раз мы с Микитовым вспоминали про Назарыча, что вот какие есть у нас монархисты, твердые, боевые, крепь и соль старой Руси и что как это неправильно думать, будто монархисты и большевики имеют какие-то общие корни.

Ну, хорошо. Выхожу я семнадцатого января из тюрьмы и прямо к Микитову, обнялись, я спрашиваю:

– Как дьячок?

– Тише! – говорит – Он тут.

Выходит дьячок, представляется, комиссар такого-то дворца и большевик.

– Раз, – говорит, – Учредилка фукнула и в Германии революция...

– Нет, нет, – перебил я, – Назарыч, в политике я ничего не понимаю, давайте по-душевному, попросту.

– По-душевному, – улыбнулся Назарыч, – вышло все из-за соломинки. Бегали мы с женой, как зайцы от гончих, нынче там ночуем, завтра там, беда! измаялись, дошли до последнего. «Доколе же, – спрашивает, – дьячок, мы будем терпеть?» Хотел ей ответить: «Потерпим еще!» Вдруг остановилась у меня в горле соломинка от мякинного хлеба. Дьячиха стучит по шее, дня три билась, ничего не выходит: колом стоит в горле соломинка, ничего есть не могу. За эти три дня фукнула Учредилка. «Из-за чего, – говорю, – терпеть, пойдем в Смольный!» Пошли в Смольный, закурил я там папиросу, кашлянул, и вдруг соломинка вышла. А тут еще в Германии началась революция, так все одно к одному и сошлось, вот я и вернулся к своему станку.

Так-то, друзья мои, заключенные, не ломайте головы, сидя в тюрьме, не ищите мистики в переворотах и переходах от черносотенцев к большевикам. Если даже и сатана явится к нам из ада, мы уживемся и с сатаной. А когда выпустят вас и всюду на улицах, в лавочках, всяких хвостах и процессиях услышите вы, как русские люди ругают правительство – то что в этом нового? Такой всегда была наша земля, ты – Русь моя, великая и бедная, простого народа своего жертва несладкая, ученых людей соль несоленая, и вас, заключенных, воля в неволе.

Суд есть сила греха

(Из тюремного дневника)

(Взяты без всякого основания, мы две недели дожидались допроса и дождалось следствия не над собой, а над теми, кто нас арестовал. Теперь их допрашивают, а нас вовсе забыли.

Опозоренные, осрамленные, за железной решеткой, в вонючей камере сидели и разговаривали вообще о суде. Кто-то сказал:

– Русский человек не любит, боится суда, по учению одной нашей секты – суд есть сила греха.

Присяжный поверенный возмутился:

– Какая нелепость – боязнь суда: человечество за все время своего существования нажило всего две общественные идеи: суда и веротерпимости.

Другой адвокат прибавил:

– И, прежде всего, это выражение «суд есть сила греха» – безграмотно, суд не сила, а процесс.

Я вспоминал, обдумывая спор, про Николу Сидящего в Холмогоре: сидит в мясных рядах на стуле перед своей лавкой скупой и мрачный Никола, слова не скажет ни с кем; и вдруг подымается (запой – час пришел) и начинает лупить кулаком всякого, кто подойдет, а желающих получить удар много, строятся в очередь. На другой день у Николы Сидящего опять очередь: побитые получают деньги, и всем Никола Сидящий дает, потому что нет ничего страшнее для него суда.

– Вот вам, – сказал я адвокатам, – пример русской логики: для вас суд есть процесс, а для нас сила, и выражение «суд есть сила греха», по-моему, правильно.

Спор наш обрывается словами надзирателя из коридора:

– Идет комиссар, не нужно ли вам что-нибудь заявить.

Дождались! Все бросились к решетке, облепили ее, как в зверинце, когда животному принесут что-нибудь с воли.

Не за обезьяньим лакомством бросились к решетке, нет! Мелькнула надежда, возможность хоть какого-нибудь суда. Два маленьких чиновника говорили адвокату:

– Ну, мотивируйте как-нибудь, помогай вам Бог!

В коридоре по ту сторону решетки показался представитель тех наследников старого 9-го января, теперь торжествующих и проматывающих свое благодатное дорогое наследство. У него широкая шляпа, на шее черный шарф, не смотрит на нас и стоит к нам скуластой щекой.

– Не желаете ли что-нибудь заявить?

Адвокат «мотивирует»:

– Сидим две недели, обвинение не предъявлено, допроса нет, мы требуем допроса!

– Только-то!

– Чего же вам больше?

– А не предлагали ли вам освободиться за деньги?

Ответа мы не даем. Адвокат говорит мне:

– Ваша правда, в России – суд есть сила греха.

Россия не погибнет (из дневника)
30 декабря

Когда я стучусь к соседу Ремизову и прислуга через дверь спрашивает: «Кто там?» – я говорю свой пароль по-киргизски:

– Хабар бар?

Значит: есть новости?

– Бар! – отвечает Настя. – Есть.

И слышу через дверь, как она громким шепотом говорит Ремизову:

– Грач пришел!

Она так проста, что чужой язык вызывает в ее представлении образ Грача; очень белая, ходит всегда в белом платочке и родом из Белоруссии.

Раз я спросил ее о новостях, и она мне ответила:

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Есть новости, только худые: Россия погибла.

– Неправда, Настя, – сказали мы, – пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет!

– Как, – спрашивает, – леу?

– Толстой.

– Леу Товстой.

С трудом заучила Пушкина, а Достоевский почему-то дался очень легко.

– Значит, они нами правят? – спросила Настя.

– Вот в том-то и беда, что не они, а самозванцы. Как-то пришел к нам в гости поэт Кузмин, читал стихи. Настя подслушивала и потом спрашивает:

– Это Леу Товстой?

Пришел поэт Сологуб, тоже читал стихи.

– Это Леу Товстой?

Очень ей нравятся стихи, так нравятся, что будь ее воля, всех бы за стихи царями поставила.

Как-то на улице против нашего дома обрезали очередь: не хватило хлеба. Очередь превратилась в митинг, один оратор говорил народу, что Россия погибла и будет Германской колонией.

– Не верьте, товарищи, – закричала Настя, – пока с нами Леу Товстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет!

Самоопределение коров
26 января

Получил письмо из деревни от своего мальчишка Левы: «Милый папа! А дела наши плохи. Имение Стаховича мужики разгромили и спирт разделили поровну. Нашей деревне досталось три бочки. Напились и увели наших коров, Рыжку и Бурышку. И записали в книгу, что увели навсегда. Только ты не беспокойся, без молока мы не погибнем. Коровы к нам пришли, сначала Рыжка, потом Бурышка. И говорят, что описывать и уводить больше не будут коров, потому что они сами пришли, значит, они наши».

И так у нас теперь все, например, арестуют тебя в конторе или в редакции, а удерешь на квартиру, живи спокойно, не тронут.

Голубое знамя
Рассказ

I

Любимое наше, бывало, с Семеном Иванычем в железном ряду кубари гонять. Расчистим ледок, зачистим кубарь, и ну его коровьими хвостами нахлестывать. Самое разлюбезное дело: Семену Иванычу погреться, а нам, ребятишкам, потеха. Мы свой кубарь гоняем, а рядом дядюшка Митрофан Сергеевич живот кушаком подтянет, бородину упрячет под воротник, поплюет, поплюет на руку – и тоже греться; за лавкой дядюшки братья Кожуховы, потом Ершовы, Абрамовы и компания – все знакомые, и посчитаться – все родня, и все гоняют зимой кубари плетями из коровьих хвостов.

Куда все теперь девалось! В железном рядке разве десятая лавка цела, в рыбном остались только Черемухины, и то не свежей икрой и стерлядью торгуют, а только на голом соленом сазане сидят. Против других дела у Семена Иваныча были еще ничего; другие взяли в своем природном деле: кто махоркой торговал – с махоркой погиб, кто по мучной части – становился вместе с мельницами, а Семен Иваныч все перебежал с дела на дело, как еврейчики, и только в самые последние дни закручинился – никаких товаров не стало. Прошел слух, будто немцы уже навезли в Питер свои дешевые товары, но ехать в ад крошечный за дешевыми немецкими

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
товарами Семен Иванович не решался и мысль эту даже отгонял от себя как непристойную. Выехал же он в Петербург не из одной корысти и как бы вне себя и совсем неожиданно: ехал на похороны в Лебедянь, а попал в Питер за дешевыми немецкими товарами.

На Филипповках случилось, скончалась в Лебедяни его племянница Сонечка, как в телеграмме было – скоропостижно. Знал Семен Иванович эту Сонечку девочкой, лет пятнадцать тому назад, любил с ней возиться и звал Козочкой. С тех пор не видел ее; доходили только слухи, что Козочка его теперь уже с актерами путалась и даже ездила в Париж танцевать. Почему Семену Ивановичу при нынешних-то путях вздумалось ехать на похороны полузабытой родственницы – трудно сказать; то ли делать стало нечего и забродило в человеке странное – Семена Иваныча у нас считали всегда немного странным, – то ли что в семье неладно: старший мальчик стал воровством заниматься, – или эта разруха со всех концов туда привела, что наперекор всему новому, красному, как бы голубым знаменем раскинулось старое, и захотелось по-старому, старинному свой родственный долг отдать маленькой Козочке, дочери несчастного брата своего, прогоревшего в торговле ли-венскими гармониями. Как бы там ни было, а на похороны Семен Иванович быстро собрался и выехал.

На узловой станции, где одни поезда идут в направлении Петербурга, другие в Лебедянь, во время пересадки вышла из поезда знакомая лебедянская акушерка и бух ему прямо про Сонечку: сама покончила с собой его Козочка выстрелом в сердце.

Трех вещей боялся в свете Семен Иванович: первое – горных пропастей, которых он, степняк, никогда не видал, но снилось ему часто, будто он подходит к пропасти и пропасть тянет его. Второй страх имел перед фокусниками, – что если бы фокусники и магнетизеры не оказались на деле, как все говорят, обманщиками, а, правда, могут это – так вот, как подумаешь об этом, кажется, сходишь с ума, – очень страшно! А третье – самоубийство: мысль об этом как пропасть утягивает, и одно тут средство спасения: не думая, бежать, как от пропасти.

На станции в сторожке притулился Семен Иванович, руки сложил на животике, а большими пальцами, как в купеческом быту часто видишь, палец о палец крутит мельницей, и час, и два, и сколько угодно так прокрутит, пока не перемелется и не выйдет новое решение.

Так вот был человек ясный, прозрачный, торговал, грелся – гонял коровьими хвостами кубари, и тут бы ему от всех и цена, и учет, и дань, но вот, поди, узнай его на узловой станции, одинокого, когда он часами сидит, крутит пальцами и выкручивает ни с чем не сообразное: собрался ехать на похороны, а узнав, что покойница сама с собой покончила, поехал в Петербург за дешевыми немецкими товарами.

II

Приехал-то приехал Семен Иванович в Петербург, а выбраться оказалось труднее: заказал билет – обещали к пятнадцатому декабря, сиди целую неделю без всякого дела в этом аду. Никаких дешевых немецких товаров не оказалось, пустяки всякие – кремешки, зажигалки, немного какао, и то все продается по ужасной цене; делать купцу вовсе нечего. Громят винные погреба, всюду стрельба и такие лица у людей, что заглянуть страшно. Днем еще туда-сюда, а вечером в номере все страхи к Семену Ивановичу собираются, хуже, чем во всяких снах и предчувствиях.

«Положим, – размышляет, – это не наш народ русский разделяет, а разные фокусники и магнетизеры».

А старинный страх Семена Иваныча перед фокусниками другое нашептывает:

«Вдруг это и есть такая настоящая правда, и такая новая жизнь сложится до второго пришествия?»

Второй страх, пропастной, тоже постоянно мучит в номере: то светло и тепло в комнате, а то вдруг, без всякого предупреждения, свет электрический погаснет, и с тоненькой восковой свечкой сидишь, как над пропастью.

И третий страх лезет тогда, самоубийственный страх, и вышел бы на черную улицу, расстегнул бы волосатую грудь: «Валите, ребята, в меня – один конец!»

Но Боже сохрани выйти на улицу; чуть засмеркается, бегом бежит Семен Иванович в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
свой номер, и там один, со своими страхами, кружится, как заяц, на залитом водой голодном острове.

Утром пятнадцатого мальчик принес билет на поезд в десять часов вечера. Обрадовался Семен Иваныч, выехал на вокзал засветло, для экономии на трамвае, и ящик с чаем очень удобно устроил в ногах, никому не помешал. За десять рублей солдат выбил для него окно в первом классе, и оказался хороший честный солдат: сохранил ящик с чаем и занял место в уборной на ящике.

Семен Иваныч устроился, перекрестился – донеси, Господи! Вдруг около десяти вечера объявляют: «Не пойдет!» Метель засыпала всю рассыпанную Русь и соединила в одно прежнее белое необъятное царство.

На обратном трамвае номер пять, со Знаменской площади на Васильевский остров, опять с чайным ящиком очень удобно устроился Семен Иваныч, никому не помешал. Слышно было, как из пулемета стреляли, но в трамвае на людях было не страшно. Переехав уже Николаевский мост, номер пять вдруг остановился, и свет в трамвае погас, и номер восемнадцать, который вплотную шел за пятым, тоже погас, и все трамваи в столице, где какой шел, на том месте остановились и погасли: тока не было. Подождали час и два – кому охота в метель под выстрелами пешком идти?! Но делать нечего, один за другим разошлись пассажиры, исчезая в метели, и, наконец, кондуктор ушел.

С тяжелым ящиком – пятьдесят фунтов чаю, выходит последним Семен Иваныч, озирается: света – огонька не видно кругом, и ни одного человека нигде, и, кажется, если бы и появился где-нибудь человек, так страшнее был бы самого лютого зверя. Вот если бы много людей – тогда ничего. В надежде встретить много людей на Большом проспекте, спешит Семен Иваныч так, будто за ним гонятся, во весь дух бежит, задыхаясь под тяжестью ящика. А на Большом еще хуже – на проспекте пусто, как в сибирской пустыне, и даже пустее, чем там: там от веку положено, а тут проспект, огромные дома – и никого!

Частую перестрелку донес ветер с Гавани, и так близко кажется, вот сейчас тут, на чужбине, и останешься совсем. Тогда явственно предстала Семену Иванычу его Козочка – покойница, Сонечка – племянница, снежно-белая, и жалится, зачем он ее бросил в Лебедяни и ее маленькие похороны променял на такие большие и все равно такие неправедные. Покачнулось видение, разлетелось, и показалось в метели огромное серое чудище: то понизится, то вырастет, и машет, машет, прямо на Семена Иваныча.

Выронил ящик, посторонился, перекрестился, и огромное выбежало из метели маленькой черной собачкой, прямо на Семена Иваныча.

Потом, выросли какие-то три горы и пошли к Семену Иванычу тремя штатскими, с ружьями. Осмотрели крышку, взломали – чай!

– Мародер!

И повели куда-то Семена Иваныча.

III

В той комнате, где грезил когда-то благородные девицы, записанные в бархатную книгу, сидят два генерала и в шашки играют, третий генерал замечает комнату. Каждый час вводят новых арестованных. Два старичка – были когда-то директорами департамента – пробуют уснуть и, холеные, не могут уснуть, от всякого шума вскакивают, узнают место и опять ложатся, и опять вскакивают, как заводные. Полковник, пожилой человек с офицерским «Георгием», что-то без перерыва бормочет про митрополита Антония. В полночь слышится в коридоре:

– Мародера поймали!

И вводят Семена Иваныча. Дико обводит горящими глазами грузный, черный с проседью, всклокоченный, заметенный снегом человек и тяжело садится на табуретку.

Руки у Семена Иваныча на животике, большие пальцы неустанно крутятся один возле другого и час, и два. Безумный полковник с «Георгием» ему, как другу, рассказывает о средствах спасения родины: завтра он подает прошение митрополиту

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Антонию, чтобы ему разрешил митрополит идти во все притоны хулиганские и вертепы и собирать хулиганов под голубое Христово знамя.

– Это завели их не туда, а в наших хулиганах много божественного!

Слушает внимательно полковника Семен Иваныч, а глазами косится на генералов, играющих в шашки, замечает, как загоняется пешка, запирается.

– Завели народ не туда! – бормочет полковник.

– Кончено, заперта! – объявляет генерал.

Семен Иваныч что-то промычал и очень обрадовал полковника: все-таки голос подал.

– Я, – говорит, – соберу для митрополита всех хулиганов под голубое знамя, приведу всех под благословение к митрополиту, и Россия будет спасена.

Глубинеет ночь. Где почивали смольные благородные девицы, записанные в бархатную книгу, вповалку спят теперь арестованные генералы, и бывший член Государственной думы, и член Учредительного собрания, разные социалисты, чиновники, только не спит один Семен Иваныч и все крутит пальцами.

Смольная Грезница коридорами-арками переходит в зал с двойным светом, где принцессой танцевала Екатерина Великая с последним польским королем, и скрывается в верхних голубеющих окнах.

Голубеет утро. Просыпаются заключенные один за другим и все на Семена Иваныча смотрят: как сел вчера на табуретку, так и теперь не шелохнется, сидит и только пальцами крутит. Хозяйственный генерал готовится к чаю, встают, оправляются директора департамента, социалисты, депутаты.

Часы бьют десять, одиннадцать, двенадцать... В первом часу объявляют Семену Иванычу:

– К допросу!

Так подумал Семен Иваныч, когда привели его к допросу, что это судьи сидят, и очень удивился им: знакомые, так хорошо знакомые, жил всю жизнь с ними, такие же точно и тут – на том свете – сидят.

– Здравствуйте, приятели!

Хмурые, молчат судьи.

– Зазнались, черти, не узнаете?

И хохотать.

Велели Семена Иваныча вывести, но под послед он успел им ввернуть:

– Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас божественного!

Какой-то секрет от всей заворошки открылся Семену Иванычу в эту затворную ночь, и все его страхи прошли, как будто он забежал дальше всякого страха и сам стал как страх. В самое пекло идет, в самую гущу бесповоротную, где возле винного склада красногвардейцы третьи сутки стреляются с пьяницами. Без всякого страха под пулями идет, идет Семен Иваныч к пьяницам.

– Здорово, ребята!

Пьяницы отвечают:

– Наше превосходительство!

Рыжий, растрепанный, вовсе пьяный солдатик подносит вина.

– Под голубое знамя, шагом марш! – командует Семен Иваныч.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Точно так! – отвечает рыжий.

Безумный и пьяный выступают под пули, и пули не берут их: никакого страха не имеют безумные и пьяные, они сами как страх. Свертывают сани, грузовики, автомобили, останавливаются трамваи, пропускают безумного идти с войском.

Так Семену Иванычу и представляется, будто не один пьяница за ним идет, а все полки, вся пьяная Русь шествует под голубое знамя. Семен Иваныч больше ничего не боится – Семен Иваныч сам теперь как страх. В ужасе сторонятся прохожие, обыкновенные люди, издали смотрят, как шествуют: безумный впереди, пьяный позади, в странном обманном согласии.

Жизнь есть эволюция

(Из петербургского дневника)

Второго числа нового 1918 года трамваи не ходили, я поколебался, идти мне в редакцию хлопотать о выпуске литературного приложения к «Воле Народа», или махнуть рукой, кому теперь нужно литературное приложение! Мороз был очень сильный, раздумывать некогда, я довольно скоро пробежал с Васильевского острова на Бассейную, где находилась наша редакция. Я вошел и попался: в редакции были солдаты с ружьями и два юных прапорщика скверно спорили между собой, кого арестовать. В их ордере от чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем было предписано арестовать всех подозрительных. Про меня кто-то сказал, что я писатель и у меня есть в литературе заслуги.

На это ответили:

– С 25 октября это не считается.

И потребовали мой портфель, наполненный только стихами и рассказами. Показал я стихи – не понимают. Стали капать на замок портфеля стеариновой свечкой вместо сургуча, приговаривая:

– Извиняюсь, товарищ!

Я рассердился:

– Какой вам я товарищ!

А они:

– Ну, так буржуй!

И отобрали у меня портфель со всеми стихами и рассказами.

Арестовали всех, даже тех, кто пришел в контору газету купить. Привезли на Гороховую, № 2, в градоначальство, и приставили к нам трех маленьких мальчиков – караульчиков с ружьями. На столе грудой в красных папках лежали дела о печати времен императорского правительства. Наудачу я взял одну папку и прочел в ней письмо известного редактора, оно начиналось словами: «Ваше превосходительство. В четверг, когда я был у вас, меня вы обнадежили...» Дело шло о штрафе в 1000 р., редактор делал маленький донос на «Речь» и просил отменить штраф. Длинное газетное тонкое дело, – теперь совсем по-другому: вздумалось, и арестовали всю редакцию в полном составе и всю контору и типографию, со всеми редакторами, сотрудниками, хроникерами, экспедиторами, конторщиками и случайными посетителями.

Нас продержали часа три, потом вызвали по одному, вывернули карманы, переписали и пересыпали в другую комнату. Тут мы еще часа три прождали и захотели есть. Попросили мальчика-красногвардейца:

– Воды и хлеба!

Он ушел спроситься и, вывернувшись, сказал:

– Сейчас вас отвезут в тюрьму, там вы получите воды и хлеба.

Посадили нас в грузовик, и заспорили наши конвойные-латыши о том, где находится пересыльная тюрьма. Поехали зря, долго блудили по городу, спрашивая прохожих на

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
перекрестках о том, где находится каторжная пересыльная тюрьма. Кто-то из нас спросил латышей:

– Товарищи, за что вы нас арестовали?

Они объяснили, что на Ленина было совершено покушение, и нас берут как заложников.

От нечего делать начали с латышами спор о существовании революции, и отчего так выходит, что одни революционеры уничтожают других.

– Жизнь есть эволюция! – ответил латыш.

Мы спросили:

– Может быть, революция?

Солдат ответил:

– Вот если бы Керенский теперь властвовал, то я лежал бы застреленный где-нибудь в земле и гнил, а теперь еще вас везу, – следовательно, жизнь есть эволюция.

И потом еще про бабушку русской революции:

– Мы уважаем бабушку за прошлое, но жизнь есть эволюция, сегодня ты признаешь одно, завтра другое.

После долгих блужданий грузовик остановился в воротах пересыльной тюрьмы. После короткой записки нас подвели к решетке, за которой были: идеалист М. И. Успенский – иконограф и археолог, один знакомый музыкант, несколько адвокатов, последний министр императорского правительства Н. Н. Покровский, народный учитель, энтомолог, один теософ – член общества возрождения чистого знания – в принципе Христа и много других интересных людей.

Мы вошли в камеру и с учеными людьми стали рассуждать на тему: «Жизнь есть эволюция».

Касьяны-именинники (из дневника)
29 января

Хозяйка моя, простая женщина, этой ночью сказку во сне видела и просила меня напечатать ее в газетах. Вот эта сказка.

Мать Мария, богатая хозяйка, захотела проверить своих сыновей и говорит им так:

– Нынче-завтра, дети мои, конец мне придет. Завещания от меня вам не будет: любите меня – разделитесь сами, не любите и раздеретесь – так вам и надо.

Сыновья заплакали.

– Не плачьте, дети мои, время мое прошло, не теряйте свое время, принимайте наследство, а я хоть одним глазком посмотрю на вас, какие вы настоящие.

Сыновья поклонились, поблагодарили и принялись за дележ.

Парамон в хозяйстве был плотником, Филимон столяром, Иван кожейжкой, Артем баловником, Кон коновалом, Спиридон кузнецом.

Спиридон говорит: «Не хочу быть кузнецом, хочу быть коновалом».

А Кону не хочется быть кузнецом.

Кузнец тащит коновальное, коновал не дает. Ивану-кожемяке хочется сад получить, а садовнику мять кожи не хочется: «Не отдам, – кричит, – сад, я садовник!» И то же Парамон с Филимоном, плотник и столяр, не согласны: плотник тащит столярное, а столяр не дает: «К столярному делу, – кричит, – ты переедешь только через мой труп!» И замахнулся рубанком, а Парамон топором. И пошла у братьев гражданская война.

А мать лежит в постели и терпит.

Переломали все инструменты, притоптали поля, стрясли яблоки, переловили кур.

А мать все лежит в постели и терпит.

Когда ничего не осталось, взялись сыновья за свои имена христианские.

Парамон говорит:

– Не хочу быть Парамоном, хочу быть Касьяном, – благородное и редкое имя, в четыре года раз именинник.

– И я хочу быть Касьяном! – сказал Филимон.

Все захотели называться Касьянами и заспорили о номерах, кому Касьян номер первый, кому второй, кому третий.

Как взялись ребята за имена свои христианские, мать Мария не выдержала.

– Нет, – говорит, – дети мои, я еще поживу, похозяйствую, становитесь все на свои места.

Большевик из балаганчика

(Ответ Александру Блоку)

Теперь стало ясно, что выходить с теплой душой во имя человеческой личности против насильников невозможно: чан кипит и будет кипеть до конца.

Идите же, кто близок этой стихии, танцевать на ее бал-маскарад, а кому это противно, сидите в тюрьме: бал и тюрьма – это подлинность. Только не подходите к чану кипящему с барским чувством: подумать и, если что... броситься в чан.

С чувством кающегося барина подходит на самый край этого чана Александр Блок и приглашает нас, интеллигентов, слушать музыку революции, потому что нам терять нечего: мы самые настоящие пролетарии.

Как можно сказать так легкомысленно, разве не видит Блок, что для слияния с тем, что он называет «пролетарием», нужно последнее отдать, наше слово, чего мы не можем отдать и не в нашей это власти.

Свой зов поэт печатает в газете, которая силой нынешнего правительства уничтожила другую газету, воспользовалась ее средствами и пустила по миру работников пера и приставила к себе караул из красногвардейцев.

Хорошо слушать музыку революции в этой редакции, но, если бы Александр Блок 2 января, например, принес свою статью не в «Знамя Труда», а в «Волю Народа» – ему бы пришлось эту музыку слушать в тюрьме. Вот если бы он из тюрьмы приглашал, – это было бы совершенно другое, и сила у него была бы не та.

Когда зарезали Шингарева и Кокошкина и весть об этом заползла в нашу камеру, ко мне подошел один заключенный и тихо сказал:

– Я пятнадцать лет писал книгу и бросил работу, забыл ее, потому что нельзя было так оставить людей. Бросить книгу было мне, как смерть, а теперь я ко второму готовлюсь, к последнему, и нужно всем к этому приготовиться, чтобы предстать с достойным ответом.

На одно мгновение тогда мне почудилась лестница жертв, и с какой-то ступеньки ее музыкально доходил смысл революции – только не буду говорить больше, потому что боюсь сказать не от сердца и засмыслиться.

О деревенских вековухах так говорят: не выходит замуж, потому что засмыслилась и все не может ни на ком остановиться, ко всем льнет и все ей немилы – засмыслилась.

Это грубо, но нужно сказать: наш любимый поэт Александр Блок, как вековуха, засмыслился. Ну, разве можно так легко теперь говорить о войне, о родине, как

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
будто вся наша русская жизнь от колыбели и до революции была одной скукой.

И кто говорит? О войне – земгусар, о революции – большевик из Балаганчика.

Так может говорить дурной иностранец, но не русский и не тот, Светлый иностранец, который, верно, скоро придет.

Мы в одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я – как любопытный, он – как скучающий.

Хлысты говорили:

– Наш чан кипит, бросьтесь в наш чан, умрите и воскресните вождем.

Ответа не было из чана. И так же не будет ему ответа из нынешнего, революционного чана, потому что там варится Бессловесное.

Эта видимость Бессловесного теперь танцует, а под этим вся беда наша русская, какой Блок не знает, не испытал. В конце концов, на большом Суде простится Бессловесное, оно очистится и предстанет в чистых ризах своей родины, но у тех, кто владеет словом, – спросят ответ огненный, и слово скучающего барина там не примется.

Письмо А. Блока
16 февраля 1918 года

Михаил Михайлович, сегодня я прочел Вашу статью в «Воле страны». Долго мы с Вами были в одном литературном лагере, но ни один журнальный враг, злейший, даже Буренин, не сумел подобрать такого количества личной брани. Оставалось Вам еще намекнуть, как когда-то делал Розанов, на семейные обстоятельства.

Я на это не обижаюсь, но уж очень все это – мимо цели: статья личная и злая против статьи неличной и доброй.

По существу спорить не буду, я на правду Вашу (Пришвина, а не «Воли Страны») не нападаю; но у нас – слишком разные языки.

Неправда у Вас – «любимый поэт». Как это может быть, когда тут же рядом «балаганчик» употребляется в ругательном значении, как искони употребляет это слово всякий журналист? Вы же не знаете того, что за «балаганчиком», откуда он; не знаете, значит, и того, что за остальными стихами, и того, какую я люблю Россию, и т. д. Я не менялся, верен себе и своей любви, также – и в фельетоне, который Вам так ненавистен. Значит, надо сказать – не «любимый поэт», а «самый ненавистный поэт».

Александр Блок.

P. S. Будьте любезны, передайте в газету прилагаемую записку.

Письмо А. Блоку
<Черновик>

Александр Александрович – мой ответ (на Вашу статью в «Знамя Труда») был не злой, [как Вы пишете], а кроткий. [Именно только любимому человеку можно так написать, как я.] Если бы автор не был Блок, я написал бы, что он получает ворованные деньги, что земгусар ничего не делал на войне, а пьянствовал в тылу, что он ходит почему-то до сих пор в военной форме и еще много, много всего. [И это надо бы все написать, потому что Вы это заслужили.] О [Ваших] семейных отношениях земгусара я не мог бы ничего написать, потому что я этим не интересуюсь, все наши общие знакомые и друзья подтвердят Вам, что я для этого не имею глаза и уха и если что вижу и слышу, забываю немедленно.

Лев Толстой говорит, что писать нужно о том, что знаешь. Вы не знали, о чем Вы пишете, и в этом Ваш грех. Вот Андрей Белый пишет строго по доктору и пролетает, не видя России. А Вы пролетели так низко над землей, что протянули руку, чтобы ощупать предметы – эти предметы [в крови и] огне Вам не достать, и не надо об них писать [Вы губите свои руки].

Сотую часть не передал я в своей статье того негодования, которое вызвала Ваша

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
статья у Мережковского, у Гиппиус, у Ремизова, у Пяста. Прежде чем сдать свой
ответ [Вам] в типографию, я прочел его Ремизову, и он сказал: «Ответ короткий».

Да, я русский, кроткий, незлобивый человек, но я, кажется, теперь подхожу к
последней черте и молюсь по-новому: Боже, дай мне все понять, ничего не забыть и
ничего не простить.

Еще напоследок вот что: Вам больно от меня, и мне больно от Вас, так больно, что
я и не знаю, где Вы лично, и где я лично – я к Вам, как к себе, а не то что
Буренин к Вашему «Балаганчику». Я не торжествующий, как Разумник и Горький, и
Вас понять могу.

В черных очках (из дневника)
Каких-нибудь месяца два тому назад мы довольно благодушно говорили в Петрограде
о недостатке продовольствия.

Один врач сказал мне:

– Поголодать полезно: люди стали здоровее.

Теософ по-своему:

– Астрал почистился.

Теперь, когда мы сели на восьмушку соломенного хлеба, врач смущен появлением
голодного тифа, а теософа пугает анафема. Вместе с голодным тифом показались
признаки и духовной болезни – анафемы, такой же страшной, как болезнь
государства – война.

Бывало, покойно стоишь себе в церкви и даже – грешный человек! – улыбаешься, и
многие улыбаются, когда соборный протоиерей перекачивает в церковных сводах
свою анафему. Послушаешь, помолишься, выйдешь из церкви, а на площади уже
великий торг собрался перед праздником: горы лежат ветчины по сорок копеек за
фунт, балыки всякие, наваги аршинные, столбы-бревна осетровые, целые телеги яиц
по копейке за штуку, везде живые гуси гогочут, визжат поросята – чего-чего нет!
Церковь, где только что анафематствовал протоиерей, утопает в обилии земных
благ. Ну, как тут не улыбнуться реву протоиерея при таком обилии и благодушии,
какая тут может быть сила в анафеме!

Теперь показалась в Петрограде анафема настоящая.

Вот после крестного хода в лавру на Невском собрался потолкуй; кто-то говорит,
что пограбить – ничего: у Христа ничего не было. Говорит, говорит об этом
оратор, слушают православные. Вдруг какая-то женщина из толпы распахнула грудь,
сорвала золотой крест свой и бросила в лицо оратору:

– На, грабь, анафема!

Я как раз в этот день из тюрьмы вышел, сел с корзиночкой на трамвай, еду себе
тихо-смирно на свой Васильевский остров. Около Гостиного двора входит к нам в
трамвай старуха в черных очках, сердито постучала посохом, дали ей место как раз
против меня. И заводит эта старуха, обращаясь ко мне, общий разговор:

– Разрешается ли, – спрашивает, – теперь говорить по-немецки?

– Теперь, – отвечают, – все разрешается.

– Вот как! Я очень люблю немецкий язык, родители мои были православные русские
люди, а первый мой язык – немецкий: немка-бонна научила.

– Ну, что ж?

– А то ж! – постучала палкой старуха, – русская я, а первый язык мой был
немецкий, по-немецки говорила, по-немецки думала!

Клюнула сердито носом и повторила:

– По-немецки думала!

– Второй же мой язык был французский, – и по-французски говорила, по-французски думала!

Ключула и еще повторила:

– По-французски думала!

– А третий язык мой был русский – училась я в пансионе его императорского величества государя Александра Николаевича: училась по-русски хорошо, по-русски говорила, по-русски думала. Потом я бросила свой дом и ушла с сумочкой. Сорок лет с тех пор живу в миру монахиней, по-русски говорю, по-православному думаю.

Завела, завела старуха, слушаем ее и не знаем, к чему это, куда она ведет. Вдруг эта старуха на меня:

– Ты большевик?

Отказываюсь.

– А чего же ты покраснел? Конечно, большевик: покраснел.

– Я, бабушка, ничего не покраснел!

– Полно брехать, бесстыжие твои глаза!

И вдруг предала меня анафеме, да как: от Главного штаба и до Васильевского острова какими, какими только ни честила меня словами сердитая старуха.

Так я вышел из тюрьмы и прямо попал под анафему, а сегодня вечером, может быть, попаду и под пулю.

Так живем мы здесь, в Питере, изо дня в день и привыкаем. Только не могу я привыкнуть к одному – что и тиф, и пули, и анафема не разбираются ни в именах наших, ни в поле, ни в возрасте. Это как-то надо усовершенствовать, особенно с анафемой, чтобы делать это поименно и с выбором.

Павел

Непременно сходите к Незлобину послушать пьесу Мережковского «Павел I», потому что этот спектакль нашего времени и мыслей порождает так много в зрителях, что они даже не аплодируют.

Исполнение роли Павла Орленевым почти гениально, между тем артиста, как это не всегда бывает, не вызывают. Кто-то объяснил это небывалое тем, что публика боится, как бы не заподозрили ее в контрреволюционности. Орленев играет мученика, человека, распятого на троне Зверя. Так вот будто бы нельзя в наше время открыто выражать свое сочувствие человеку в царе. Конечно, это неправда, но во всяком случае нужно отметить, что в наше время могут существовать и такие предположения. Нет! потому публика молчала, что трагедия на сцене слишком близка трагедии на улице.

Свергнув тирана в царской порфире, убийцы Павла I получают сейчас же Аракчеева – убийство это на короткий момент обнажает Зверя. Но в следующий момент появляется митрополит, и Зверь становится Помазанником Божиим.

Пьеса написана до революции, но кому же из присутствующих не придет в голову применить ее на современное: Аракчеев – Ленин, а следующий этап – появление митрополита и новое исполнение сна графа Палена о Ваньке-встаньке.

Ванька встал, остался мученик, которого играет Орленев, тот самый, на могиле которого в Петропавловской церкви теперь совершаются ежедневные молебствия.

Вспоминается из истории моего родного города: когда шел Тушинский вор, город поднес ему ключи. Потом этих изменников повесили. А теперь на месте виселицы стоит часовня, и чьей-то заботливой рукой поддерживается неугасимый огонь.

Так, я думаю, и в нынешних тиранах потом когда-нибудь найдут человеческое и затеплят над этим лампаду, – это будет по нашему, по народному. Только это будет

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
еще очень не скоро. Теперь же нас как будто ожидает последний акт «Павла I» –
благословение митрополитом Ваньки-встаньки.

Не от страха показать свою контрреволюционность молчала публика в театре, а от
раздумья и совести.

Сходите непременно на «Павла»: вы увидите, несомненно, самый крупный спектакль
нашего времени и унесете с собою упорную думу о том, как же свергнуть царя
по-настоящему, что не виделось и во сне про Ваньку-встаньку.

Последний ответ (из дневника)

День поворотный, исторический день: немцы наступают. Не нужно и газет читать, а
только послушать, о чем говорят в трамвае, или выглянуть в окошко на Невский.

Молчали, молчали, и вдруг какая-то ликующая злоба вырвалась из сырого темного
подвала.

– Последние денечки танцуете!

– Три дня подряд.

– Ну, потанцуйте!

Попик радостно говорит:

– Еще до весны кончится!

А спросить бы: что кончится? Россия? А пропадай вся Россия, лишь бы кончились
большевики, – пусть немцы, японцы..

Беспогонный военный говорит:

– Присягал царю, присягал Керенскому, теперь хоть турецкому султану присягну.

– Ничего, ничего, – встречает попик, – еще до весны кончится, а то землю наши не
обсемят, последнее зерно выбирают.

Слабо возражают:

– Думаете, немцы меньше зерна возьмут?

– И нас устроят, и барыши возьмут.

– Конечно, устроят: вот мы совсем уезжать собрались, уложились, а теперь нет,
подождем.

Так вырвалось из подполья новое пораженчество: прежнее было при сытости и от
духовного голода, – нынешнее и от духовного, и от телесного, и всякого голода и
разрушения с самого начала и до самого конца, до матери и ребенка, до буквы – Ъ
и всего русского правописания.

Всякий о своем болеет: я о букве – Ъ. Для меня эта буква все равно, что для
старовера икона с двумя пальчиками: припишите третий пальчик, и старовер бросит
ее. Так и у меня: если бы мне в детстве сказали, что буква – Ъ не обязательна –
я бы переломал все правописание, и никакая сила не заставила бы меня писать
правильно.

Что благополучно миновало меня, то постигло моего сына. Не давалась ему грамота,
бились мы с ним зимы три и даже летом не давали дичать, занимались понемногу, и
так стал он писать довольно правильно. Этой осенью отдал его в гимназию и уехал
в Петроград. Теперь получаю от него письмо: все отверг, как будто никогда его
ничему не учили.

Пишу ему:

– По твоим письмам вижу, что ты хочешь совершенно разрушить правописание. Напиши
мне, кто тебя этому учит – начальство или какая-нибудь партия, кстати, напиши, к
какой ты принадлежишь партии.

Мальчик отвечает мне:

– Я ничего не разрушаю, само валится все. А принадлежу я к партии эсеров, или специалистов-революционеров.

Вот еду теперь на трамвае по Невскому, смотрю, слушаю, как ведут себя русские люди в последние деньки, и думаю о последнем дне Суда, ну, ничего-то нет у нас, армия разбежалась, офицеры и студенты очищают улицы, курсистки торгуют газетами, которые дышат на ладан, дети разрушают правописание, – ничего не делаем.

– Кто же вы такие? – спросят нас на Суде.

И в последний час на страшном судище Господнем мы ответим добро.

– Мы, Господи, ничего, мы так себе, русские люди, специалисты-революционеры.

Голодные рассказы

Мышонок

Сегодня в столовой одну капусту в разных видах поел, выхожу голодный: «Дай, – думаю, – хоть трубочку выкурю». Набиваю трубку на площадке у лестницы и вижу – малюсенький мышонок хочет юркнуть в какую-нибудь квартиру и не может: все двери заперты. Я думаю, глядя на мышонка: «Это голод – еще не голод, будь по-настоящему – не оставил бы я его так». А сам начинаю почему-то этого мышонка гонять, стою на площадке и ногой ему навстречу дам и дам. Мышонок от меня к ступеньке и все боится спрыгнуть, и вдруг, шарах! через площадку и, дуралей, бух! в пролет, и с пятого этажа полетел, как плевков.

Спустился я вниз и полюбопытствовал: лежит на спине мышонок и дрыгает ножками, и кажется, ножек этих у него Бог знает сколько. Посмотрел я на мышонка, взялся за ручку двери выходить, а навстречу мне с улицы трое военных.

– Подождите, – говорят, – не выходите, – летит аэроплан, может бомбу бросить, тут безопасней от осколков.

Из столовой выходит дама, тоже голодная и, видно, злущая. Военные предупреждают даму.

– Русский аэроплан, – спрашивает дама, – или германский?

– Германский: белый, с крестом.

– Ну, – говорит, – это ничего, германский аэроплан бомбы не сбросит, немцы теперь не с бомбами идут, вот вчера знакомый из Пскова приехал, рассказывал: бесплатно всем раздадут по коробке рисовой пудры и ревельских килек.

Военные же слушают даму, а сами вместе со мной на мышонка смотрят. Один военный говорит:

– Вот мышонок!

Другой военный:

– Свалился, убился!

Третий военный:

– Подождите, и их есть будем, и до них дойдет.

Насыщение пятью хлебами

В суете последних минут перед чем-то наши русские люди перестали ясно понимать, кто наш враг и кто друг, оставаться ли под немцами или уезжать куда-то в настоящую Россию.

Сосед наш Иван Васильевич вдруг поднялся уезжать со всем семейством, с малыши ребятами и разными племянницами и падчерицами, а с вещами в квартире оставил Игнатъевну.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Мое дело таковское, – сказала Игнатъевна, – я постерегу. Только вам все-таки, Иван Васильевич, скажу:

– Ну, куда вы бежите от наказания? Только ребятишек подавите. От наказания никуда не уйдешь, а, может, еще Господь смилуется, врагов отведет.

– Нет, Игнатъевна, теперь не отведет, дело ясное, ведь они, бабушка, не идут, а едут.

– Ну, что же едут: захочет Господь – и укажет им дорогу назад, как французу. А не захочет Господь – ну, что же? Стало быть, виноваты.

Любимец Игнатъевны Петька. До последней минуты не знала она, как трудно ей с ним расставаться. Когда усаживала, едва на ногах держалась, а тут еще сани вдруг тронулись, толкнули старуху. Грохнулась старуха в слезах на снег.

Крикнул, было, Иван Васильевич:

– Стой!

И одумался:

– Поезжай скорее!

Уехали хозяйева от Игнатъевны хорошую Россию искать. Зачем уехали, куда уехали с малыми детьми! Разве есть какой-нибудь враг на свете страшнее своего собственного, и куда можно убежать от себя самого?

Хожу в пустой квартире уехавших милых людей, сажусь у детского столика, исцарапанного их ножичками, и все думаю про маленького Петю, как мы последний раз играли с ним в его зверушек, и как-то все выходило у нас, что добрые звери людям путь указывали...

Кто-то звонит. Открываю – офицер.

– Пожертвуйте бедным офицерам!

Игнатъевна и подает ему восьмушку хлеба, а офицер слов не находит, как ему поблагодарить старуху.

Всего у Игнатъевны пять фунтов хлеба: как шел паек на все большое семейство по восьмушке на душу, так и достался весь, пока не разузнали, Игнатъевне.

После офицера позвонился учитель, узнал, что уехали и разахался: да как же, да почему ж, так сразу... И под конец, как многие нынче, на хлеб перешел, что вот как голодна, вот как трудно.

Игнатъевна и ему немного отрезала.

Пришла курсисточка-бестужевка, Сонина подруга Фифочка, ошиблась днем, и тоже разахалась, что не простилась. Ей, бедной барышне, Игнатъевна, бывало, и раньше из своего собственного пайка что-нибудь даст. Отрезала, конечно, и ей.

Соседка, всегда голодная женщина, пришла – соседке отрезала. От нее узнали разные жильцы и их ребятишки. Позвонятся, будто проведать. «Не скушно ли, Игнатъевна?»

Какая тут скука: дверь на петлях не стоит, и все разговоры, и, уходя, раз десять спасибо скажут. Спрашивают: «Не скушно ли?» А на уме: «Хлебца бы!»

Игнатъевна всех наделяет без разбора; только уж как заметила, что валом валит народ, стала, чтобы не обидеть кого, паек уменьшать и так раздала все, и оставила себе с наперсток на ужин, но под самый конец Мишка прибежал. Она вспомнила про Петьку, жалко стало мальчика, и Мишке, будто Петьке, свое последнее отдала.

С полкусочком сахара напилась чаю, стала на молитву и будто снова розента: не пересчитать по пальцам, сколько накормлено народу пятью фунтами хлеба, и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
благодарила Бога, что такой счастливый день послал ей, старухе, и была счастлива на молитве Игнатъевна, ничего, чем мы болеем теперь, между ней и Богом не было.

Не слышала Игнатъевна, как сирена этою ночью созывали рабочих на новую войну. Среди разоренного царства, в пустой квартире была Игнатъевна одна с Богом и не знала, и не думала, что это же и совершилось чудо насыщения пятью хлебами.

Детский крик

Вот Гоголю теперь описать Невский проспект, всю жизнь его за год, от весны до весны, а героем поставить того же чиновника, который, как всякий человек, шел по Невскому и мечтал:

– Сейчас, в эту минуту, когда я иду по Невскому, похоже на старое время: безмолвно шествует куда-то «многоножка», и вот он, прежний чиновник, в утренний час с портфелем идет в департамент. Идет, конечно, мечтает, как всякий чиновник.

Не знаю, о чем он мечтает, не знаю.

Я иду, топчу тротуар вместе со всей «многоножкой» и думаю: удастся ли мне в том месте, где мне указали, достать хлеба по 5 ¹/₂ за пуд.

Это на утренний час слышу я, кто-то складно так и отчетливо крикнул:

– «Вечерняя Биржевка».

И на это кто-то сказал:

– Здравствуйте! Вот что выдумал! Утром вечерние газеты продает.

Но газеты после и не было:

Так просто, от любопытства или отчаяния крикнул вот этот мечтательный чиновник, идущий в департамент.

Я слежу за ним, глаз не спускаю, и на Полицейском мосту он внезапно крикнул опять:

– «Биржевые Вечерние».

«Многоножка» замешалась, заметила нарушителя обычной жизни, кто-то засмеялся:

– Саботажник возвращается в департамент.

Но внимания на это он не обращает, идет серьезный, один, опять совершенно один среди всей «многоножки», и странно и страшно, как посмотреть на его серьезное, бледное лицо, слышать его внезапный выкрик:

– «Биржевые Вечерние».

Лепешки «Земля и Воля»

Разговаривать больше нечего. Все опротивело, а хвост растет и сбивается в обычном шествии «многоножки». Митинг. Не может быть митинга теперь.

«Хвост».

Лепешки ржаные продают.

Я, конечно, в хвост, и боюсь, что опоздаю, и ничего не достанется мне, а времени много напрасно пройдет.

– Достанется мне, – отвечает спокойный голос.

– Вон еще корзину несут.

Мало остается и от второй корзины, когда я подхожу. Кто продает, я не могу видеть. Мелькают только руки его с деньгами, и время от времени слышится его:

– Достанется всем!

– Сколько? – спрашивает.

– Две.

– А три можно?

– Хоть десять – вон еще корзину несут.

По 80 гривен, за десять – 8 р., и нисколько не жалко, и 20 отдал бы.

Дома все тянутся ко мне, из рук хотят вырвать лепешки, только собачка наша Фурсик, всегда голодная, теперь почему-то не прыгает и даже носом не тянет.

Делю всем ровно по 1/2 лепешки, а остальное на ключ хочу запереть, и в это время кто-то попробовал:

– Фу, фу, фу!

– Что такое?

– Земля!

Попробовал сам: да, это земля. Во рту земля. Посмотрел на свет: глина пополам с тем, что на улице воробьи клюют... Рассеянно говорю:

– «Земля и Воля».

Попробовал Фурсику дать. Нос отвел:

– Земля.

Рассеянно повторяю:

– «Земля и Воля».

А меня поправляют:

– «Воля и Земля». Сначала воля была...

Мы сидели в тюрьме.

А теперь земля.

Еще раз Фурсику дал. Опять нос отвел. Не ест:

Земля.

Фурсик

Фурсика мы купили на Андреевском рынке маленьким щенком как водолаза и все ждали, что он поднимется, а он таким и остался навсегда и вид имеет такой, будто на водолаза смотришь за версту в обратный бинокль.

Маленький-то маленький, а ест как большой, и загоревали мы с этой собакой: самим нечего есть, делим хлеб на ломтики между собою, раскладываем в коробочки, как сахар, а тут еще любимая собака заглядывает в рот и тоскующими глазами провожает каждый кусок.

– Невыносимо.

Мы отправились этажом выше – к фрау Гольц. Она большая любительница собак; у нее знаменитые таксы. Может быть, возьмет Фурсика.

– Собак моих больше нет, – сказала фрау Гольц, – я их усыпила. Вышло неловко, заговорили о покойнике.

– Позовите ветеринара, – твердо сказала фрау Гольц, – усыпите Фурсика.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
– Жалко, фрау Гольц.

– Не надо жалко – это ваш долг перед собакой.

Как сказала «долг перед собакой» – заплакала.

Мы вышли опечаленные, обдумывая, как же все-таки выйти из этой трагедии.

Между тем Фурсик за это время сам что-то выдумал и куда-то исчез на неделю. Приходит – веселый, толстый, в новом ошейнике с шелковым бантиком, дали кусочек хлеба – не ест; даже сахару дали – не ест.

Не за едой, а по чистой любви к нам прибежал. И вскоре опять исчез на неделю, и опять веселый к нам возвращается, сытый, довольный, хвост пистолетом.

Мы второй сняли ошейник.

И так у нас и пошло с Фурсиком. Голод раздвоил даже собачью душу: у людей кормится, а нас целует и дарит ошейники.

Сон: Почки на сковородке

Вижу я, будто в старое время с друзьями сижу за столом в «Большом Московском». Задавили стол всякие яства: икра кубами, водка графинами и сколько хочешь, наваги аршинные, любимые почки прямо на сковородке, и сковорода на углях, и там разное, всякое и бесконечное, потому что на столе только представители [?] необъяснимого, неиссякаемого, беспредельного. Такая полнота, такое довольство, и вдруг я чувствую нестерпимую боль в мизинце под столом. Я ощупываю рукой мизинец и не палец встречаю, а мохнатое горлышко зверюшки. Я давлю это горлышко, а боль все сильнее и сильнее. Такая боль, что кажется – я и зверек на весах: боль одолеет – погиб я, сила моя возьмет – погиб зверек.

Делаю последнее усилие и чувствую слабеет зверек, боль унимается. Вытаскиваю из-под стола бездыханное, пушистое тело с оскаленными белыми в крови зубами и показываю пирующим:

– Вот, что я задушил, пока вы кушали почки на сковородке.

Колечки

Звонят. Входит барышня с газетами, дожидается денег. Я быстро одеваюсь, а сон еще не прошел, и кажется мне – про эту барышню снился: пушистая барышня, краса и гордость всего петербургского «саботажа». Бледная, голодная, зубки ровные, острые – вот-вот укусит.

На столе самовар. Я прошу ее вместе со мною чаю выпить.

– Есть, – соблазняя, – сгущенные сливки, есть хлеба немного и масло великолепное.

Отказалась: голодна, как бывало Фурсик наш, и горда.

Но время идет. Я позабыл совершенно свой сон. Саботаж спадает. Барышня начала пропускать дни, и газеты иногда приходится покупать самому. Как-то я предложил ей вместе со мной выпить какао.

– Не каконеза, – говорю, – что пьют теперь, а настоящее какао, редкость большая.

Не отказалась. Я заметил у нее на пальце золотое кольцо: раньше кольца не было.

Занимаю приличным разговором:

– Вот, боялись вы, что замерзнем, не хватит топлива, а уже весна начинается, бояться нечего: этот страх пережили, пройдет и голодный страх.

– Конечно, – отвечает, – переживем и большевиков прогоним!

А газеты носит все реже и реже. И вот у нее на пальце вижу еще второе золотое кольцо. Сон вспоминается. Думаю: укусила кого-то барышня. Весело говорю:

– Переживем!

Она мне уверенно:

– Переживем!

Последний раз пришла с третьим кольцом, и на кольце был красивый дорогой изумруд. Совсем весело объявляет, что газет больше не будет носить.

– Поступаете на службу?

– Ну, нет!

– Выходите замуж?

Рассмеялась, блеснула колечками.

Думай, что хочешь.

С тех пор потерял ее из виду: наверно, колечек у нее столько же, сколько у нас от Фурсика ошейников.

Тьма-тьмушая

(Записки торговца газетами)

Бледная, как ваты клочок, висит на небе луна, – так и душа моя, такая же бледная и невидная при свете нашего пожара.

Я стою на углу набережной и 6-й линии Васильевского острова и торгую разными газетами, кричу офицерским своим голосом, сбиваясь на команду, утром – про утренние газеты, вечером – про вечерние.

Утренняя моя молитва теперь единственная детская: «Хлеб наш насущный даждь...»
Вечером, утомленный, произношу: «Господи, не оставь меня».

Недалеко от того угла, где я стою с газетами, лошадь, вытаскивая воз через кучу лежалого снега, свалилась и кончилась. Лежала дня три и стала уже сплющиваться, вращая в снег, как вдруг ее кто-то пошевелил, вытащил и даже вырезал зачем-то кусок мяса.

Стали сюда сбегаться собаки, вить, драться... Теперь из снега и льда обглоданная торчит лошадиная нога и как будто грозит по ту сторону Невы Медному всаднику.

– Ужо тебе!..

И нога эта здесь кажется такой огромной, а оттуда скачет Медный всадник – вовсе маленький.

Сегодня проходят мимо меня три веселых великана и, слышу, говорят между собой:

– Кому же иначе и жить, как не нам!

Великаны хотят по-своему жить, я – по-своему, и разговаривать нам между собой невозможно.

Один из них спросил у меня «Правду» и потом за «Наш Век» крикнул: «Буржуй!»

– Друг мой, – ответил я, – «Правда» вся разошлась, нет больше «Правды». Остался «Наш Век».

– Знаю вашего брата, – сказал он, – вижу по чистой морде: «империал».

– Друг мой, от «империала» у нас и половины не осталось, назовите лучше меня «полуимпериал», – и показал ему на лошадиную ногу, грозящую Медному всаднику.

Странно посмотрел на меня великан, желающий жить.

– Ужо тебе!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Он принял меня за сумасшедшего и пошел прочь, испуганный.

Бледная, как ваты клочок, висит на небе утренняя луна. Так и душа моя – такая же бледная и невидная при свете нашего пожара. Теперь я понимаю, что значило пророчество: «Звезды почернеют и будут падать с небес».

Звезды, ведь это – любимые души людей...

Оглядываясь вокруг, прошу себя назвать хотя одну душу-звезду, и нет ни одной: все мои звезды почернели и попадали...

Закрываю глаза и вижу: в темноте лавочка и на ней сидит беспокойно женщина в черном, – вероятно, покойная мать моя, и смотрит на меня, как бы вопрошая: «Не я ли?» Так на пожарище, при последней гибели скопленного добра вскидывают на вас несчастные люди глаза:

– Не ты ли?

И, не дожидаясь ответа, к другому: не он ли спаситель?

Она повернулась в сторону и, как бы указывая, напряженно смотрит в темноту, опираясь на лавочку.

Вспыхнуло пламя пожара, и я увидел русское поле. На этом поле тумбами стоят безрукие, безногие и – страшно сказать: друг в друга плюют.

Я шел в страстях и все понимал без Виргилия: это были страдания людей, присягнувших Князю Тьмы. Он соблазнил их Равенством и дал им Образ Беднейшего.

Они все сожгли и сравнялись по бедному, но с войны привезли еще безруких, безногих, кто более самых бедных имел теперь право на счастье, и чтобы с этим им сравняться, все обрубили себе руки и ноги, но ничего не осталось, кроме злости, в этих обрубах.

Не могли они даже дракой избыть свою злобу и только плюются.

– Господи, – говорю я, – неужели вовсе оставил Ты меня?

Я открываю глаза и вижу все то же самое:

– Ужо тебе! – грозит лошадиная нога Медному всаднику.

Кровавый гусак (из дневника)

Сегодня возле Невы такую вижу картину: тяжелыми ломami девушки в одеждах сестер милосердия колют лед, военнопленные австрийцы складывают его на санки и возят.

Милосердие шевельнулось в душе моей к сестрам милосердия, и я подумал, что скоро мы будем плакать, и как еще плакать, надо всем содеянным, и жестокость наша сменится жалостью.

Так дети часто плачут потом над ими же замученной птицей.

Вот сейчас вспоминается мне, сколько тайных, никому неведомых слез я пролил после одного ужасного моего детского греха и сколько раз за это я прошептал про себя: «Господи, милостив буди мне, грешному!»

Это было жарким летом, когда начинают косить пшеницу и гуси являются на гумно поклевать зерна.

В это время задумали мы с братом Сережей поймать гуся на гумне, зарезать и зажарить непременно на вертеле.

Что такое «вертел», мы хорошо не знали, но так было у охотников Майн Рида, и нам хотелось, чтобы у нас было все, как у них.

Мы сочинили себе и нравственное оправдание так же, как нынче при убийстве людей: не людей убивают, а «буржуазов». Так и мы решили, что нашего гуся не зарежем, а поповского.

Почему-то выходило, что гусь поповский – почти что не гусь, как «буржуаз» – не человек, и с ним можно делать все что вздумается. Поповский гусак самый жирный и злой – шипучий, главное, что не смеет же он ходить на наше гумно, и как же так может быть: гумно наше, а ходит поповский гусак. И у нашей няньки-птичницы постоянно было на языке: «виноват поповский гусак». Что бы ни случилось на птичьем дворе, по няньке выходило, что во всем виноват поповский гусак. «Подожди, подожди, – скажет, – вот я до тебя доберусь!»

И так повсеместно у нас было, что если нужно взыскать что-нибудь с гусей вообще (за огород, за гумно) и кто-нибудь скажет, что во всем виноват поповский гусак, то все согласятся с ним, и не только в нашей деревне, а повсюду, и даже там, где поп теперь не живет, и сохранилось от попа одно только воспоминание.

Коренной русский человек не может даже подумать о поповском гусаке без злости и зависти, а как же мы-то, маленькие дети: для нас никакого не было вопроса в виновности поповского гусака перед всем миром, и мы гусака этого постановили убить и зажарить непременно на вертеле.

Мы стащили из буфета довольно тупой столовый ножик и в полдень пошли на гумно. Поповский гусак был, конечно, тут и даже попробовал за нами погнаться, вытянув голову с обычным своим шипением.

Смело кинулись мы на него, и он отступил. Мы наддали – он пустился от нас бежать.

Раньше и во сне нам не снилось, чтобы гнаться за поповским гусаком: ходить боялись мимо попа. А вот теперь гусак бежит от нас, и мы озверели. Сережа со снопом, я с ножом по гумну и в ригу, и там под привод, в яму с черной водой, и в воде по колено стоим: Сережа держит, я пилю ножом по крепкой как кость гусиной шее. Долго я пилил, стиснув зубы, и ослабел.

– Сережа, попили ты!

Лицо у Сережи отчего-то бледное, страшное, так и кажется, будто не на гусака он так, а на меня...

..Время теперь так путается: ночью во сне точно решаешь задачи, днем ходишь по улице и как будто сны видишь самые фантастические, и что сейчас совершается, путается с детскими воспоминаниями, и это детское цепляется за нынешнее.

Двадцать шестого октября, после переворота, я у матросов такие лица встречал, как было тогда у Сережи.

Охотничье чутье в этой яме с черной водой мы уже совсем потеряли и рады бы, вот как рады, бросить гусака и уйти, но ведь он весь в крови возвратится к попу, и наше преступление раскроется, а что это преступление – мы уже знали.

Сережа пилит – я отдыхаю. Потом я пилю – он отдыхает. И так мы покончили...

За гумном прямо – большое поле несжатой спелой пшеницы, и через поле идет неведомая нам озорная тропка, и все поле это неведомо где кончается, и куда мы придем по озорной тропе – нам неизвестно.

Сережа идет впереди, и я так чувствую, что он боится оглядываться на меня с мертвым гусем.

Так мы долго идем, маленькие, среди высоких колосьев в поле пшеницы, как в первобытном лесу. Поле кажется нам бесконечным, и куда и зачем мы идем – неизвестно.

Белый полдневный жар. Вдруг Сережа, все не оборачиваясь ко мне, говорит:

– Брось, бежим!

Страшно и мне. Я отвечаю:

– Бежим!

Бросаю гусака, и вдруг...

Тогда мы не знали про гусиное горлышко. Что если даже вынуть его из гусака и как-то пожать, то оно закричит по-гусиному. Я бросил гуся, а он вдруг мертвый закричал...

Жар. Холодина. С шевелящимися волосами стремглав несемся мы, бросив тропу, неизвестно куда, ломая пшеницу, падаем, поднимаемся, опять бежим, и за нами все время бежит и гогочет огромный кровавый гусак...

Столько раз потом ночью с криком я просыпался от страшного видения и в гусином гоготании мне слышался: «Ах – сатана!»

Я же завертываюсь с головой в одеяло и там шепчу единственное, что спасет меня: «Господи, милостив буди, мне грешному!»

Потом разговариваю с Богом: «Господи, честное слово, не как фарисей, а как мытарь!»

Стучу, стучу в грудь кулачком: «Господи, милостив буди мне грешному!»

И так это скоро будет у всех: жестокость непременно сменится жалостью, разбежится с озорной тропы Русь в беспутье свое и будет стучать в грудь кулаком:

– Господи, милостив буди, мне грешному!

Гробы повапленные (из дневника)

Боги революции, Мараты социалистического отечества и Робеспьеры «земли и воли» покинули наш Петроград, и весна растворила болота.

Невский проспект, столько раз за год революции живший как вече, теперь умер, и я не знаю, что могло бы его вновь пробудить и заставить толпу снова собираться на нерасходимые митинги.

Пусть история бьется теперь где-то в Европе, в Америке, может быть, на Дальнем Востоке, а у нас в Петрограде мертво: «Вече опустело, сила отнята...»

Шлепая в худых калошах по грязи непереходимой, граждане повторяют озлобленно:

– Болото, болото...

И представляют себе, как прошлой весной прорвало болото нашей империи, и нынче весной оно залило нечистотами все лоно петроградской коммуны.

Вот сама владелица дома, выполняя предписание коммуны, одетая в платье вполне буржуазное, пробует кургузой метлой прогнать в Неву целое озеро грязи, и сюда же кто-то приехал на конях, свалил здесь воз нечистот и уехал, и никто не остановил его, некому остановить безобразника.

Вчера я проходил по Невскому рядами торгующей газетами интеллигенции и вдруг на Аничковом мосту увидел перед лицом своим женскую руку с коробочкой и в коробочке 2 кусочка мыла.

Прислонившись к решетке моста, стояла очень серьезная девушка в очках и робко, неумело предлагала туалетное мыло, невнятно повторяя какие-то слова, Я нарочно три раза прошел мимо нее, чтобы понять ее слова, и, наконец, разобрал. Она повторяла одно слово:

– Метаморфоза...

Вероятно, это было название туалетного мыла.

И так все: общая внешняя метаморфоза.

Вот вчера на Обводном канале среди белого дня тридцать вооруженных людей расстреляли двух мальчишек, карманных воров, и утопили старуху за торговлю хлебом по 5 р. за фунт.

Эти наивные люди, стреляющие в воришек, не понимают, что через отверстия для самосудных пуль, как через игольные уши, проходят верблюды воровства и обмана и что мудрость жизни состоит в том, чтобы обходить маленький грех и смотреть на большой.

Сегодня говорил мне философ, приехавший из глуши разделенной России:

– Пришел к власти человек, это все равно, что пришел к своему смертному часу богатый и при конце этом нужно ему распорядиться своим добром, кому что оставить и на какие надобности. Где власть, тут и смерть. Кто же во власти для себя жить хочет, тот не человек, а паук, и за гибель его, как за паука, на том свете 40 грехов прощается.

Я, бедный человек русский, знал власть только паучиную, но с царем ее не смешивал; когда царь пал, я спросил:

– А пауков вытащили?

– Все, – говорят, – пауки в тюрьме!

– А лапки, ножки паучины, – спрашиваю, – сожгли?

Ну, конечно, лапки, ножки забыли. Известно, как у пауков с их лапками и ножками: оборвите, бросьте их – они все дрыгают. Так, говорят, они да зари шевелятся, но когда настанет заря, нам неизвестно, и сами сторожа нашей тюрьмы ходят во тьме кромешной и сторож сторожа спрашивает:

– Скоро ли рассвет?

Некоторые говорят:

– Вот свет! – и показывают гробы повапленные, сверху окрашенные, а внутри набитые костями мертвецов. Сторож сторожа спрашивает:

– Скоро ли свет?

И косится на гробы повапленные.

Бедный я русский человек, рано потерявший отца, который не научил меня во власти ходить, как во свете.

Мать моя захирела, и с раннего детства я ненавижу всякую власть и боюсь ее, как ядовитого паука. На сто тысяч один я хоть могу отказаться от власти – 999 вокруг меня только и ждут, как бы самим пролезть в пауки и вскоре лечь в гробы повапленные. А так вот если бы наша русская жизнь по-настоящему шла, то, я думаю, по-настоящему так бы должно: пришел человек к власти – это все равно, что пришел к концу своему богатый и при конце своем нужно ему распорядиться добром, кому что оставить и определить, на какие надобности оставить, и никого в смертный час свой не обидеть.

Где власть – тут и смерть тебе, а кто во власти для себя жить хочет, тот – паук, и недаром говорят, что за паучиную гибель на том свете 40 грехов прощается.

Золотые глоты

(Вырезка из газеты. Дата и место публикации не установлено.)

Замечали вы на всех нынешних собраниях, как чинно приступают к делу почтенные выборные люди от земли и городов, и вот среди них ни с того ни с сего шум поднимается, какой-то неизвестный никому член шумит, кричит, задирает, и все против, все против. Долго никому в голову не придет спросить этого члена, за что он стоит, чего требует. Лезут друг на друга выборные люди, кулаками даже грозят и расходятся, дела не сделавши. После одумаются, соберутся вновь, станут голосовать, и, вот чудо! все в один голос и в полной согласии. Тогда и тот, что шумел и мутил, тоже согласно с другими встает и становится незаметным: будто его и не было.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Спрашивают потом удивленно члены: чего же орали, кто это мутил?..

Одни говорят: «Глот какой-то!» Другие: «Золотой!»

Старое это: во всех селах бывал в то казенное старое время такой глот «Золотой», за двугривенный, за полбутылки любой сход сорвет. Пропали они куда-то вместе с казенным вином, а в последнее время вдруг, словно комары Петровками, в несметном числе сказались: теперь уж ни одно собрание без них не обходится. А вот, как и откуда они к нам попали, об этом самом и хочу я рассказать вам, товарищи.

Помните, как хорошо, пристойно стало на Руси, когда запечатали казенку? Вот так же у нас было и в первые дни после свержения царя. Как убитых хоронили, как потом без полиции Пасху Христову встретили – дивились сами иностранцы нашему порядку и говорили, что у них даже, людей образованных, так никогда не бывало.

А что всего удивительней, так это в деревне: убрали царя, объявили сразу республику, и мужик ничего, будто ему все равно. Удивление, куда все эти злейшие наши смутьяны-черносотенцы девались, ни одного! «Закрещены!» – объяснили старые люди в нашей деревне.

Овраг такой у нас есть в деревне, называется Глинище, страшной глубины, и каждый год овраг этот все подвигается к деревне и подвигается. Наверху Богом созданный пахарь Адам землю пашет, а там нижний житель оврага разделяет. Дорогу давно уже обрезало, ездят теперь крещеные люди вокруг крайней избушки и, проезжая этим местом, все крестятся, все крестятся. И закрестили. Остановился овраг, избушка третий год стоит у самого края, не валится, и в той избушке даже одна солдатка живет... Разумные люди поговаривали, что надо бы маленечко загородить, подналадить. Православные отвечали, что овраг не пойдет, жили отцы и деды, и мы как-нибудь, авось, проживем. «Закрещен овраг», – говорили православные. На кресты надеялись, крестами жили. Только вот что вышло в Петрограде с крестами на Крестопоклонной неделе. Приходят однажды говельщики в церковь – стоят церкви без службы. «Нельзя, – объясняют попы, – царя нет, не знаем, за кого и молиться. – Отвечают говельщики: – За народ молитесь!»

Почесались попы, не умеют, не приучены к этому. «Ну что ж, – говорят, – спросите митрополита разрешить, мы что ж! Как-нибудь помолимся».

Бросились к митрополиту. Сидит старый человек, друг Распутина.

«Так и так, – объясняют, – без царя жить очень хорошо, а без креста невозможно, – пусть митрополит велит архиереям и попам за народ молиться».

Звонит митрополит к архиереям, к попам – нет никого у телефонов, все попрятались. Пока их разыскивали и новые слова в молитвах ладно одно к одному пригоняли, храмы Божьи на крестопоклонной неделе стояли без богослужения и кресты на оврагах силу свою потеряли.

Лезет тогда из Глинища нижний пахарь.

Посмотрел, послушал... Тихо! Живут мужички без царя – и ничего. Поджал хвост «Золотой», спрятался и думал двадцать четыре часа.

В конце последнего часа слышит солдатка в крайней избушке, будто в овраге что-то не ладно, ЧВЫКАЕТ. Вышла поглядеть: сидит у края оврага в человеческом образе, в солдатской шинели этот нижний жилец, огонек развел, что-то варит в чугуне, а из чугуна трубка выводная длинная и капают из трубки светлые капли в зеленую бутылку.

– Что ты служивый тут стряпаешь? – спрашивает солдатка.

Отвечает он: «Суп варю».

И потом, как искушал змий первую жену Еву, так он эту солдатку искушал. Пошли в избу. Солдат ей этот суп, а солдатка ему свой суп. И пошло это дело у них, и пошло. Научили всю нашу деревню варить самогон. Из нашей деревни пошло по всем деревням. И тогда эти наши старинные «золотые глоты» – вылезать, вылезать из оврагов и все на собрания, все на собрания. И нет теперь на Руси ни одного комитета, куда бы ни попал Золотой. Шумит, орет, буйствует. За ним все шумят,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
орут и даже дерутся. И как одумаются, согласятся, все стоят за правду.

Золотой тоже с ними встает. Оглядываются друг на друга почтенные выборные люди от земли и городов и не знают, кто их мутил, из-за чего это весь сыр-бор загорелся.

Разговоры гостей (из дневника)
1 апреля (19 марта)

Наши гости беседовали о прочитанном каждым из них дома современном из области художественной литературы, и так нам странно казалось, что произведения эти совершенно меркли в нашей действительности: как будто их писали очень наивные, благодушные люди.

Например, Анатолий Франс в своем романе «Боги жаждут» из эпохи Великой французской революции – как он мягко относится к человеку, как он верит в него!

Никто из гостей сейчас не читал Льва Толстого, но «Война и мир» и так всем хорошо памятна – какой это тоже наивный роман для детей – в наше страшное время.

Даже Достоевский и его ужасный Свидригайлов. Почему этот Свидригайлов нас всех раньше так пугал, какой это тоже благородный милый человек: заманил к себе девушку и отпустил, все свое имущество отдал неопороченной своей невесте и застрелился. Правда, и Свидригайлов выходит очень мил в сравнении с тем, что теперь происходит на русской земле. Так это странно.

Черная весна
Всеобщая русская чересполосица.

Внизу – крестьянская, земельная, – крестьяне землю делят; сверху чересполосица власти – делят власть на полоски.

Но ведь есть же у нас люди, свободные и от земли, и от притязания на власть? Зачем истинному художнику принимать участие в чересполосице земли и власти? Зачем это ему, Божьей милостью владельцу «собинки», которая никому не мешает?

Те, кто теперь у власти, только плечами пожимают, когда слышат о бедственном положении писателей, художников и всяких артистов. Им это совершенно непонятно: сами они проходят мимо искусства так же, как прошли мимо голода, совершенно не чувствуя его на себе.

Наша чересполосная интеллигенция истари не знала свободы искусства.

Мне рассказывали о Ленине, как он однажды у кого-то в Гельсингфорсе спросил, где находится национальный музей искусств, и тут же просил никому не говорить, что Ленин в музей пошел.

В этом есть какая-то аскетическая девственность застарелой весталки русского революционного движения. Но ведь это исключение: теперь, напротив, власть имущие внешне готовы раскрыть объятия, но искусство не идет к ним, и им кажется, что артисты – саботажники.

В наше время, однако, жить на художественной «собинке» невозможно. Не нужно ни земли, ни власти, но к человеку тянет. В поисках отсутствующего в нашей революции человеческого начала художник хватается за партийное и странно кружится вместе со всей чересполосицей.

Я рассматриваю положение в идеальной связи, а в жизни просто же кормиться нужно, и как теперь прокормиться без партийного? Даже Н., который славился у нас тем, что мог помещать себя где угодно и ничего к нему не приставало, автор единственного крупного памятника литературы революционного времени первого года, «Слова о гибели русской земли», теперь, в своей великой нужде, отказался от предложения одной газеты и сказал:

– Не желаю помещать себя вместе с убийцами.

В телячьем вагоне

Лет уже пятнадцать по несколько раз в год езжу я из Петрограда в Елец, и никогда

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru не случилось мне встретиться с человеком, который одновременно со мной брал бы в классе билет до Ельца. Теперь в нашей очереди многие едут в Елец – южный полюс Российской советской федеративной республики, за Ельцом где-то очень близко немцы, и потому многие берут до Ельца.

На северном полюсе господствует принцип всеобщего мира и классовой войны, на южном – царство мешочников, без всякого принципа. Нелегко освободиться от петроградского принципа: из Петрограда я выбрался совершенно так же, как из плена, не брезгуя никакими средствами: я убежал.

И как бывало, еду я в поезде возле места военных действий, видно в окно, как шрапнель разрывается, а тут люди в вагоне пытаются осмыслить военное разрушение и убийство, и так теперь в поезде, идущем вдоль революционного фронта, еду я и слушаю, как человек-зверь пытается подняться на две ноги.

В нашем вагоне идет жестокий спор старушки-толстовки с большевиками, матросами гвардейского экипажа Балтийского флота.

– Ваша программа чудесная, – говорит толстовка, – мы, толстовцы, это признаем, только не надо насилия.

– Мамаша, – отвечает матрос, – это война!

– Не нужно войны!

Спорят, будто летят, а вот рядом со мною сидит человек бледный, опухший, измученный. Ему не улететь – он жертва войны. Три года тому назад он оставил семью, жену, пять маленьких, сражался в Галиции за Российскую Империю. Мне кажется, это его я видел у Ярослава на Сана, следил с наблюдательного пункта в бинокль, как он с крынкой молока пробирался вдоль Сана к нашей батарее. Вижу я, как снаряд попал в реку, взрыв обнажил дно, и солдат с крынкой исчез в белом столбе воды и дыма.

– Погиб! – сказал офицер.

Он ошибся: солдат ползает по земле, собирает выброшенную из Сана рыбу, пытается одной рукой нести крынку с молоком, другою – рыбу. Снаряды землю пашут вокруг него, пуля сбила фуражку. Без шапки, с крынкой молока и рыбой он достигает невредимый батареи и вручает молоко офицеру.

Мы пили чай с этим молоком, и офицеры говорили между собой.

– Мне страшно думать о будущем этих людей: они ожидают такого счастья от этой войны, какого не может быть на земле, в конце концов они будут обмануты.

Заведующий хозяйством сказал:

– Почему вы думаете, им наверно будут прощены некоторые платежи, понижены налоги.

– И опять воевать? – раздраженно сказал болезненный офицер, – нет, покорно благодарю, я больше не хочу, эта война – последняя. Первый офицер на это возразил:

– Вот вы, как этот солдат с крынкой, верите в то, чего на земле быть не может.

– Нет! – сказал заведующий, – я думаю, что земельные налоги будут на время отменены, даны будут разные льготы, и все будут довольны, и этим все кончится.

С тех пор прошло больше трех лет, и вот он, этот солдат, калекой возвращается из германского плена. Он – живой мертвец. Старый боженька из кринки молока, которую принес он под пулями своему офицеру, ни одной капли не претворил в революционную веру, – инвалид безучастен к спору толстовки с большевиками.

– Ваша программа чудесная, – говорит толстовка, – но только убийство; как можно чего-нибудь хорошего достигнуть убийством? Юноша задумчивый, нежный и жестокий, как Робеспьер, отвечает:

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Мамаша, если бы я мог собрать всю буржуазию, всех попов в одно место, в один костер, и мне бы досталось счастье поджечь его, – я бы поджег, я был бы счастлив.

– Ну, и что же потом?

– А потом, конечно, убийство: тогда мы вместе с вами, мамаша, будем проповедовать мир, люди будут счастливы.

Мамаша, удрученная, долго молчит, долго обдумывает и, наконец, опять начинает спор.

– Это война, – говорит она, – научила вас убивать.

– Мамаша, а разве мы хотели воевать и убивать? Нас заставляли. Вот, если бы вы это испытали, а вы это не испытали, вы счастливая.

– Вам нужно Бога признать, – отвечает толстовка.

– Мамаша, нельзя ли Бога отменить или заменить слово «Бог» каким-нибудь другим словом?

– Хорошо: пусть «душа».

– Не понимаю «душу»: какая душа, где душа?

– В нас самих.

– Это совесть: у совести есть глаза, а что такое душа, Бог, тот свет?

Я спрашиваю инвалида, как он обо всем этом думает. Я говорю ему:

– Они хотят отменить Бога.

– Бога? – повторил он.

– Да, Бога, и сжечь всех купцов и попов.

– Купцов и попов?

– Для счастья всего человечества.

– Как: для счастья?

– Не теперь, а потом, не для нас, а для будущих нас.

– Для будущих?

– Вы что-нибудь понимаете в этом?

– Нет, я ничего не понимаю, – меня укачало.

Не понимает, не узнает блудной дочери военной своей веры в счастье русского народа после войны. Старый боженька ни одной капли его батарейного молока не претворил в революционную веру.

Матрос говорит:

– А мне разве жизнь дорога, я разве из-за своей жизни хлопочу?

Мамаша спрашивает:

– Почему же вы теперь уезжаете в деревню?

– Подождать.

– Немцы идут, а вы ждать?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Это не немцы, это наша буржуазия. Скоро у немцев будет как у нас, нужно только подождать.

– Верите?

– Знаю.

Этот задумчивый и жестокий юноша спросил меня:

– А какой вы партии?

– Никакой партии, я сам по себе: я – человек.

– Беспартийный – это самое вредное.

Я спросил:

– Что же, и нас нужно сжечь в общем костре?

Жестокий юноша ответил:

– Непременно.

И Бога заменить разумом, и сжечь всех для всеобщего счастья – и жестокий и чувствительный, совсем как Робеспьер.

Так до самой Москвы пытаемся мы в вагоне осмыслить события, но в Москве на Курском вокзале, будто в бездну, проваливаемся в это царство мешочников. Часа три мы стоим на платформе в ожидании состава поезда телячьих вагонов и, когда подадут, на ходу кошками прыгаем в двери. На ногах моих сидят, плечи сдавлены. Сверху, низко так, что надо шею согнуть, настилают доски. Через щели в досках сыплются семечки, сор, льются помои, а потом и еще хуже: выйти никак невозможно. И полная тьма, хоть выколи глаза. На крышах топот, вот-вот крыша провалится. Слышно оттуда: «Красные морды!»

Так называют мешочники красногвардейцев – воинов Советской республики. Мешочники и «красные морды» – величайшие враги.

Оплеванный, огаженный, весь измятый, изломанный, к вечеру второго дня выглянул я на свет старого Боженки – какая жалкая земля, изрытая вся оврагами, какие жалкие жилища, похожие на кучи навоза.

Садилось солнце. На повороте я увидел весь состав нашего поезда и на крышах освещенные заходящим солнцем группы людей. Эти люди были похожи на пловущих по морю на плотках и обломках во время кораблекрушения.

Тонет корабль, я хватаюсь за бревно, сажусь на него верхом, – я рад, что мне досталось бревно. Вот плывет мешок с сухарями, я хватаю его, я рад. Меня выбрасывает на берег – я счастлив! А корабль утонул, и много погибло людей. Но я счастлив, и счастьем моим начинается на острове новая жизнь.

Вот так же и эти чумазные мешочники теперь на крышах вагонов, как на бревнах, плывут, жестокие, цепкие, как звери, ныне граждане единственной в мире социалистической республики, завтра – господа буржуазнейшего в мире мужицкого царства.

От земли и городов

Мужицкий рай

Огонек тления, горевший над армией, ныне горит над земледелием и будет гореть, пока каждый из граждан Российской республики не получит, как мертвец, равный другому кусок земли. Мой хутор в девятнадцать распашных десятин земли, с клеверами, восьмипольем и замыслом земледельческой школы, стоял до сих пор, как последний офицер земледельческой армии. Прошлый год, чтобы удержать за собой хуторок, я сделал героическое усилие: без посторонней помощи, без работника, без поденщиков, даже без домашней прислуги я убирал хлеб, пахал и сеял озимое. Нет! ничто не помогло; нынче трудовую норму мою не признали, распорядиться я ничем своим не могу: две коровы у меня – одну успели потихоньку продать, а то бы отобрали, чтобы со всеми сравнять; лошадь вторая сама околела; я не могу сдать

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
свой сад в аренду – сад, насаженный моей матерью, принадлежит комитету; только дом, который выстроил я на том самом месте, где в детстве моем стоял яблочный шалаш арендаторов сада, откуда я в детстве воровал яблоки, – этот дом еще мой, я в нем жить могу.

Я приехал к посеву, но сеять не могу, потому что земля, вспаханная мной осенью под яровое, – не моя земля, я должен ждать, пока не разделят всю землю нашей волости по живым душам, поровну: по одной четверти десятины на душу.

Никто не ревнив так к своему делу, как земледелец, и вот душевное состояние человека, когда нужно сеять, а сеять не дают на собственной земле, которую сам пахал и которую купили предки мои сто лет тому назад. Одно утешение, что и всем так: каждый хозяйственный мужик, купивший сверх надела земли, арендатор, имевший лишнюю корову и лошадь, огородник-специалист, снимавший под капусту десятину, – всякий сидит сложа руки и ожидает «декрета».

Вот мы встречаемся:

– Ну, что пахота?

– Ничего: я жду декрета.

Наш Смольный – одно имение, которое теперь называется «культурным» и где засел комитет, защищаемый пулеметами. Почти все имения вокруг разграблены, инвентарь разобран, скот уведен, только одно на волость оставлено «культурное» имение: задача его – переделить всю землю волости на мельчайшие полоски, как во времена глубочайшей древности, и смести всякую земледельческую культуру.

И все бы это ничего: я лично, хотя и агроном по образованию, но как всякий русский интеллигент, в душе большевик. Мне, например, не скрою, очень занятно сейчас думать, что сладкое блюдо помещиков зажато мужицкими руками. Как бы лично я ни страдал, этого я не выкину из сознания, что тут действуют рок и возмездие.

Я только против ханжества и маскарада: зачем называть себя культурным и говорить словами иностранными, когда явно идешь против культуры. Я не выношу этого мещанства, этой заразы, которая сейчас же пожирает всякого русского, лишь только он коснется власти.

И потом я страшно наголодался в Петрограде, я предвижу теперь такой же голод и здесь, если мы будем хозяйствовать так: мы непременно будем голодные.

Вчера, наконец, зовут меня на сходку: дождалась декрета. На сходке мне объявляют, что ярового мне на пять душ дается десятина с четвертью и спрашивают, согласен ли я на это.

– Я подчиняюсь силе.

– Это закон! – говорят.

Да, это закон: тот самый закон императорской армии, которому подчинятся все солдаты, если сказать им, что они могут, если желают, возвращаться домой. Это закон стихии, которая стремится все горы сравнять с лоном вод, это закон глины, из которой сотворен человек.

Все кончено: мой хутор растворяется в общем строе первобытного хозяйства. Впереди с саженом в руке идет староста, за ним я, как приговоренный, и за мною все общество. Еще хорошо, что удастся уговорить отмерить мне десятину отдельно, чтобы не ездить потом за версту искать свою полоску. А высчитали все до вершка, не забыли даже огородец у дома. Мною посеянный и выхоженный клевер признается собственностью общей так же, как лесок, и на будущий год там, где лес, будет овраг, там, где клевер, обыкновенная трехпольная чересполосица.

Сад, лес, парк, клевер – все отобрано, я теперь хозяин такой же, как все мужики. На своем наделе я могу содержать корову, половину лошади и при урожае иметь для себя два фунта хлеба в день. В сущности говоря, такого среднего существа, как я теперь, у нас никогда не существовало: одна часть хозяйственных крестьян снимала землю в аренду, имела купленную землю, другая часть имела заработка в экономиях и только урывками, отпрашиваясь у хозяина, тратила немного времени на обработку

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
своего нищенского надела. Теперь нет имений, нет купленной, арендованной земли.
Теперь все равны и все нищие.

Я знаю, что громадное большинство этих людей по отдельности думают так же, как я, но если они вместе, то какая-то сила гонит их к этому равенству, как ветер разветривает и вода размывает утесы. У большинства вижу сочувствие мне, понимание. Я нарочно выбираю одного из тех наивных, которые ничего не понимают и целиком отдаются стихии. Я говорю ему, что так неизбежно будем мы голодать. Он отвечает:

– Всякая душа получает хлеб, откуда же голод?

Что-то есть от веры, от легенды в этих словах его: всякая душа хлеб получает.

– А города?

– Рабочие? Они же наши, они получают землю.

– А мещане?

– У мещан есть своя земля.

– Купцы?

– Городская земля.

– Но люди, которые не занимаются земледелием, образованные?

– Образованные... – Вот что я осмелился сказать: образованные. Солдат подскочил к нам:

– Образованных у нас теперь нет, образованных мы к немцам прогнали, это образованные теперь идут на нас: Керенский и прочие. Мы знаем, какие это немцы города занимают: это не германец, а наша буржуазия – вот где образованные.

Вот так мы и разделились. Первый раз я не теоретически, а по себе испытываю, что значит хозяйствовать на одном восьминнике (четверть десятины на душу); самое главное, я не знаю, куда же мне девать девяносто девять сотых времени, свободного от обработки восьминника. А второе, не могу я молиться в этом храме мужицкого рая, где конечным счастьем считается равенство с двумя фунтами черного хлеба на душу в день.

На посевах

Озимки очень хорошие, но беспокоит сухая весна: после таяния снега ни одного миллиметра осадков, и снега зимой выпало у нас, в Орловской губ<ернии>, мало. Два года уже крестьяне ни воза в поле не везут в ожидании передела, теперь прибавится третий год. Я думаю, что и теперь не повезут, потому что передел всей надельной и помещичьей земли хотя и совершился, но уверенности нет, что все так и останется на вечные времена. Этот передел по живым душам уничтожил всю систему нашего хозяйства и, разрушив имения, эти фабрики хлеба, вернул земледелие России ко временам глубокой древности. На каждую живую душу досталось у нас по 1/4 десятины (по «восьминнику»). Даже при хорошем урожае в 12 копен на десятину 1/4 десятины дает в день около двух фунтов на человека. Я говорю это об одном из трех хлебородных уездов губернии, которые обыкновенно кормят все другие уезды нашей губернии с почвой лесной, подзолистой. Украина хлеба не даст, Сибирь в бездорожье. Вот при каких зловещих признаках сеем мы нынче хлеб на своих восьминниках.

Прошлый год мы сеяли хлеб под золотой дождь слов социалистов-революционеров о земле и воле. Теперь, в коммунистическом строе, всякая мечта о вольной земле отлетела: каждый мужик теперь знает, что больше восьминника на душу земли нет. Каждый мало-мальски вдумчивый наблюдатель скажет, что надеяться на какое-нибудь особенное творчество нашего народа в земледелии нельзя. И вообще надо отбросить иллюзию о народе-пахаре: народ наш самый неземледельческий в мире, потому что нельзя мыслить земледелие без культуры, как нельзя мыслить армию без стратегии и тактики. Вообще разрушение земледельческой культуры очень похоже на разрушение армии. Армия разбежалась к источникам животного питания и открыла путь воинственному иностранцу. Земледельческая армия после передела отошла в глубину

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
прошлых веков и открыла путь для вторжения хищнического иностранного капитала. Обилие «керенок» и очень искусно припрятанный хлеб сейчас создают видимую картину деревенского благополучия, на самом же деле деревенский люд представляет массу дешевого труда, готовую при первом случае отдаться всецело в руки иностранного капиталиста.

Я ошибаюсь лишь в том случае, если иностранец очутится в нашем положении или если совершится чудо – народ создаст власть.

Стало очень тяжело в свободные часы пойти куда-нибудь «погулять». Видал ли кто-нибудь картину весной во время движения соков срубленной березовой рощи? Сок ведрами льется из перепиленных сосудов дерева, заливая вокруг землю, в первые дни пни ослепительно сверкают зеркалами на солнце, потом начинают краснеть, краснеть, и вот вы гуляете по полю, залитому кровью шей с обрезанными головами.

Издали слышу удары топора, перехожу туда, в парк разгромленной усадьбы; вижу человека с топором верхом на стволе поверженного столетнего дерева, очень редкого у нас, голубой сосны. Я спрашиваю:

– Это закон?

Он отвечает:

– А как же? Теперь все общее!..

– Значит, власть, это – настоящая, народная власть?

– Стало быть, настоящая!..

– А если разбойники власть захватят?

– Так это же и есть разбойники!..

И начинает приводить всевозможные мелкие доказательства, что в комитетах сидят настоящие разбойники.

– Я и сам, – говорит он, – что я теперь? Подойду к церковному окну – бац из револьвера в народ, убью человека, и ничего не будет. С ручательством убью – ничего не будет. И двух – ничего, и пять убью – ничего?..

– А грех?

– Какой грех?.. Никакого греха.. Намедни на паперти один убил, и ничего.

У мужика этого, очищающего ствол голубой сосны, прехитрая морда: на щеках – морщины тройными уздечками и, Бог знает, что он ими разделяет; и все врет, – так я чувствую, что все слова его – ложь. Я говорю:

– Если власть держат разбойники, то зачем же вы ей подчиняетесь?

– А нам что? Захватите власть, и мы вам будем подчиняться!..

Вот врет: власть эта – хорошая, удобная, это его собственная власть. И этот губительный для народа передел по живым душам всей земли, который он сейчас тут будет ругать, – в общем и среднем хороший передел. Тут две причины: первая, что среднему хоть вершок земли да прибавилось, а мужику хоть бы вершок. Вторая причина, что всем досталось поровну, по восьминнику – мало: жить нельзя, а все-таки мне и тебе одинаково!.. Нет, нет: он врет – не разбойники, а самая удобная простонародная власть!..

Как ни далек я в своем бытии от личного интереса в земельной собственности, но в глазах всех я пострадал: из пяти десятин моего ярового мне оставили только пять восьминников. Поэтому я при своих злоключениях всегда делаю поверку на свой личный интерес.

Вид голубой сосны привел меня к этим нерадостным размышлениям: не потому ли я так думаю, что вот-вот срубят и мою голубую сосну?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Делаю поверку: на другой день иду опять туда – ствола теперь нет, но ветки лежат, будто перья расклеванной птицы. И потом всюду, куда ни иду, я вижу эти ветки. Нет, нет! Я проверил себя – образ расклеванной птицы выручает меня, не как собственную, – нет! Я жалею голубую сосну как убитую, расклеванную хищниками синюю птицу.

Буржуй и пролетарии

Разбирают у нас теперь по всей Руси, кто буржуй и кто пролетарий. Хорошо бы спросить людей, в этом сведущих, как наши елецкие мещане причисляются: к буржуазному или к пролетарскому классу?

За крестьянами с испокон веков у нас все ухаживают: то закрепощают, то освобождают, то благословенные места им предлагают в Сибири, то выселяют на хутора и отруба, то обещают землю и волю. Сделать пока ничего не сделали, но хоть поговорили. И то спасибо.

А кто подумал о мещанском сословии? Обещаниями алчность развили в мужике непомерную, и обиду в мещанине поселили великую. За самого злейшего буржуй считает наш мещанин крестьянина, а тот мещанин – за жулика. И вот, поди разбери теперь, в скорое революционное время, кто из них буржуй и кто пролетарий?

У Нагавкина в чайной мы теперь постоянно спорим об этом. Нагавкин – коренной наш чернослободский мещанин; нагавкали на человека, и стал Нагавкин: жулик и жулик. Каждый день приходят в чайную ораторы и разбирают, кто буржуй и кто пролетарий. Вот однажды Нагавкин такой вопрос задает ораторам:

– Товарищи ораторы! Посредника торговли как считать, буржуй он или пролетарий?

– Посредник – буржуй, – сказали ораторы.

– Всякий посредник?

– Буржуй!

– И тот, что на своем пупе два яблока и три коробки спичек носит, тоже буржуй?

– Буржуй!

Подумал немного Нагавкин и вынимает из кармана всю свою канцелярию, показывает квитанции о своем кожевенном заводике: нефтяной двигатель заложен, сырые материалы заложены, кожи заложены, стены заложены. Потом квитанции о доме: все заложено, и с мебелью. И чайная заложена с чайниками и стаканами.

– Жена только не заложена, – сказал Нагавкин. – Ну, как же, товарищи, разобрали, кто я такой?

И вот получилось, что у человека – завод кожевенный, дом собственный, в доме чайная... А товарищи не могут решить, кто такой этот, буржуй или пролетарий?

– Жулик, и все тут, и голову ломать незачем, – сказали бывшие в чайной мужики.

Не обиделся Нагавкин – за что обижаться? – с этим рос: жулик и жулик, а все-таки и без ответа этих алчных, как он думал, людей не оставил.

– Товарищи мужички, – говорит, – время наше такое – вроде как Страшный Суд – душу как-нибудь надо спасать, не хочу на тот свет предстать жуликом. Принимайте у меня завод, будем кожи выделывать, и все, чтобы у нас общее было, а кто что заработает, тот то и понесет.

Наговорил им короб, два, тридцать коробов наговорил.

– Давай, – говорят, – чернильницу, бумагу, счета!

Сидит Нагавкин за столом, бумага, чернильница, счета, голову ломает, душу спасает. А вокруг бородатые на пальцах выкладывают, проверяют. Скоро ли мужик на пальцах мещанина проверит!

– Товарищи, – обижается Нагавкин, – я к вам всею душой, а вы мне будто не

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
доверяете...

– Доверяем! – кричат.

Наслушались ораторов и то же себе:

– Доверяем постольку, поскольку ты нам доверяешь.

– Ладно, – говорит Нагавкин, – материалы все теперь учли: сорок тысяч, согласны?

– Согласны!

– А жалованье сами назначайте.

Тут спор, тут шум, тут галдеж: начали с пяти рублей, набавляли, набавляли, и кончили, что двадцать рублей в день на человека и харчи обязательные.

Согласились. Стали считать, сколько в году рабочих дней и сколько праздников. Царские дни, конечно, выкинули, зато маленьких святых всех учли. Всего двести дней рабочих вышло в новой республике, а праздников сто шестьдесят пять.

Подводит итоги Нагавкин на счетах, а мужики на пальцах проверяют, переглядываются, перемигиваются.

– Триста тысяч! – объявляет Нагавкин.

– Двести сорок, – кричат мужики.

Опять считать, опять проверять: на пальцах так, на счетах по-иному. Как ни бились, все тысяч полсотни не хватает. И тут нашелся один, говорит:

– Товарищи, он нас обсчитал!

Нагавкин сидит и посмеивается:

– Ах вы, антихристы, в кои-то веки душу спасти задумал, а они – обсчитал.

– И обсчитал!

Пошумели, погалдели, с большой обидой разошлись мужики.

И так она у нас эта обида исстари ведется: мещане считают мужиков за ненасытных и алчных иродов и антихристов, а мужики мещан за хриstopродавцев и жуликов. В нынешнее смутное время мещане крестьян к самым злейшим буржуям причисляют, а за какого считать мещан – за буржуев или пролетариев? – не могут решить даже самые первые наши ораторы.

Русский чан

Бывало, в нашей деревне заходи во всякое время в любую избу по делу или без дела – хозяева дома, перекрестись на икону, садись на лавочку и сиди, сколько тебе вздумается. Теперь в гости ходят с предупреждением, как в городе, потому что в каждой семье завелась тайна, можно перепугать хозяев, занятых прятанием хлебных запасов.

Не знаю, есть ли у нас совершенно чистые люди, разве уж такие, у кого, правда, нет ничего: невозможно не прятать, это может сделать только человек, стоящий по развитию ниже собаки, которая тоже иногда лишнюю корку зароеет в землю. Или это святой какой-нибудь человек не от мира сего.

Жертва не входит в состав революционной души нашего крестьянства.

Недавно я ночевал у одного приятеля и, уже лежа в постели, стал с ним разговаривать о самых надежных способах прятанья муки.

– Хорошо, – сказал я, – прятать в соломе: сухо – мука не греется.

– Нет, – ответил он, – наемни в омете у нас нашли рожь. Самое лучшее, я полагаю, прятать под себя: набейте мешок мукой и спите на нем.

– Тоже, – говорю, – не верно, наместники в нашей деревне нашли под бабой десять пудов – чуть не убили.

Хозяин перепугался и открылся мне: мы спим на муке. Много я хлопот задал хозяину своими словами, пришлось городить ларь, ночью тайно копать яму, заделывать.

Вот и попробуйте, зная все это, жить по-старому, зайти в гости, когда вздумается. Нельзя! Есть какое-то всеобщее убеждение в этой тайне почти каждой, даже голодной семьи, потому что множество тех, кто кланчит хлеба, тоже зарыли муку.

Но стоит этим же людям собраться на сход, и вы их не узнаете, и подумаете, что у них, правда, настоящий коммунистический строй и злоба на собственника подобна небесному палящему огню. В этом противоречии движется наша революция, то же противоречие в отношении к существующей власти; так, по отдельности каждый мнит о них как о настоящих разбойниках, а на сходке их постановления уважаются как настоящий закон. Это потому, что власть необходима, хоть разбойничья, лишь бы выше власть, над собой, сверх себя, но не из себя. Такое противоречие: коммунистический строй держится на монархической природе нашего крестьянина, есть, конечно, случаи, когда общество расходится со своей властью, хотя бы, например, в дележе спирта с винного завода; вооруженное население тогда внезапно сбрасывает с себя комитет, как побрякушку. Но комитет обыкновенный до этого не доводит и делает, в общем, все, угодное революционному настроению схода.

Впрочем, полные слова по вопросу отношения общества к власти я не могу сказать – все это сложно, противоречиво, текуче. И Россия мне всегда была двойною: хозяйственная – одна и духовная – совершенно другая. Я, например, хорошо знаю, что идея равенства всех, созданных Богом из глины, глубоко хорошая в народной душе, и если у нас здесь, на земле, только хозяйственное расстройство, голод, то в небесах трагедия.

Наше экономическое расстройство и до войны было так велико, что земледельческой культуры у крестьян, в общем и целом, почти что не было, это самый неземледельческий и самый оторванный от земли народ. Сидя на карликовом, чересполосном наделе, дорабатывая у помещика батраком, или в городе где-нибудь на заводе, или арендуя кусочек земли где-нибудь верст за пятнадцать от своего надела, крестьянин не хозяйствует, а мечтает о земле и воле.

Везде на Руси, от мужика до подвижника Синайской горы, все от земли удаляется, и лежит наша земля такая голая, такая изуродованная. Идея равенства, которой сильна так теперь деревенская власть, может быть, пришла к нам с Синайской горы и чудовищно извратилась поголовной дележкой.

Когда я раздумываю об отношении нашего общества к власти, я часто вспоминаю жизнь одной секты «начало века», которую лично я наблюдал в Петрограде. Члены этой религиозной общины отдаются в полное рабство одному «царю», имеющему, по их же признанию, всю бездну человеческих пороков, и терпят его власть над собой, как грех: они работают на него день и ночь, он пьянствует и насилует их жен. Их цель – дойти в своем страдании до такого состояния равенства, единства, чтобы не знать, где мое и где твое, быть, как одно существо. Испытав такую жизнь в течение многих лет, они, наконец, ощущают в себе воскресение, свергают тирана и начинают жизнь вполне достойную, но мир не спасающую.

Я как сейчас вижу лицо одного «раба», который привел свою жену на потребу пьяного «царя», как она, будто подстреленная птица, разбрасывала вещи вокруг, била чайники, пока не уходила и не отдалась... Как потом все вокруг стола пели религиозные песни, и в промежутки пения пьяным, заплетающимся языком их «царь» бормотал им свою «мудрость».

Это было в годы между двумя революциями и нашего интеллигентского богоискательства. И я видел культурных (без кавычек) людей, которые, приходя на собрание секты «начало века», спрашивали:

– Что делать?..

Им отвечали:

– Бросьтесь в наш чан и воспрянете вождями народа.

Жажда залучить к себе культурного человека у них была велика, потому что они смутно надеялись найти через это выход из теснин секты в общий мир. И у этих культурных людей жажда броситься в чан была велика, потому что им хотелось стать вождями своего народа.

Наблюдая теперь вокруг себя жизнь простого народа, бросившего в свой чудовищный чан всякую живую отдельность до полного растрепания, я часто вспоминаю секту «начало века». Мне кажется иногда, что не кучка фанатиков предлагает какому-то поэту-декаденту бросаться в чан царя-пьяницы, а целая огромная страна присягнула князю тьмы, и, в ожидании своего воскресения, предлагает светлому иностранцу (кто этот легендарный «пролетарий»?) броситься.

При иностранном сословии

Весной прошлого года, в эпоху борьбы Петроградского гарнизона с полицией, я приехал в родной город и был поражен идиллическим зрелищем: на всех перекрестках стояли жандармы, будто здесь ничего не знали о революции. Оказалось, что это милиционеры, испытывая потребность в какой-нибудь форме, оделись в жандармское.

Ныне у нас по городу разгуливают драгуны и гусары: красная гвардия оделась в эту живописную маскарадную форму.

В городе осадное положение. После девяти ни одного человека на улице: драгуны-жандармы палят из пулеметов – жуть! После девяти ни одного огонька, все окна по предписанию властей заставлены, завешены. Утром на рынок с корзинками, в платочках, чтобы казаться как можно проще, идут наши уездные дамы покупать провизию. Все помещики теперь собрались в город, уезд начисто выметен, в деревне коммуна; земля, сады, огороды, дома – все, как воздух и вода, натое.

Смотрю сейчас на Антошку-барышника, въезжает в город на телеге, подмигивает мне, я понимаю: у него под телегой подвешено запрещенное мясо. Навстречу ему едут на извозчике в маскарадных военных костюмах два мальчика, из карманов торчат горлышки бутылок со спиртом, в руках гармоники, на коленях принцесса.

Антошка весело смотрит на них, и я весело смотрю на Антошку, потому что нельзя же вечно без всяких антрактов зреть русскую трагедию. Антошке просто забавно разглядывать маскарад красногвардейцев, как нам забавно иногда поглядеть на танцующих в солнечном луче поденных комариков-мух. Антошка пересмотрел насквозь людей всех сословий и состояний: дворян и мещан, и купцов, знает всю подноготную жизни, открыл для себя ее вечный закон, – что такому человеку эти мальчишки в мундирах, все равно, что нам мухи-поденки.

Спрашивает:

– А что нам при иностранном сословии лучше будет или хуже?

Отвечаю, в том смысле, что насчет вот этого (мяса под телегой), по-моему, хуже. Когда я говорю «насчет этого», он ударяет себя по ягодице:

– Филей?

– Да, – говорю, – насчет филея плохо, а порядок и закон какой-нибудь будет наверное.

Чуть заметная тень прошла по лицу его, потому что единственное «сословие», им не изученное, это сословие иностранное, – в этом единственном он теряется и не может решить, как пойдет дело с филеем при иностранном сословии.

Наша культура

В кожевенной лавочке встречаю одну старуху, разоренную коробочку.

– Видели, – говорит, – полюбовались?

– Нет, – отвечаю, – не видал и не любовался.

– Очень жаль: плоды ваших рук.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Это она потому, что я слышу здесь как образованный человек и необыкновенный: прошлый год, например, своими руками обрабатывал трудовую норму на своем хуторе.

– Нет, – сказал я, – в чем другом, а в этом руки мои чисты.

– Почему же все собственники разграблены, а ваш дом стоит?

Я ее успокоил:

– Мне помог юридический Степанушка.

Старушка успокоилась и простила мою образованность. Но все-таки я успел почувствовать за эти две-три минуты, что не гожусь я в стадо старой «божественной» правды так же, как я не гожусь в стадо правды земной.

Вот я возвращаюсь к себе на хутор и узнаю печальную новость: рожь мою выгребли комитетские и деньги не заплатили. Бог с ней, с рожью, но деньги... и Бог с ними, с деньгами даже.

– Но ведь вы же, – спрашиваю своих, – не говорили, что каждое зерно семян этой ржи прошло через мои пальцы и, расстегнув ворот, я сам косил ее.

– Знают, это все знают. Он, – говорят, – человек образованный, он себе достанет.

И тут это образование, столь всем ненавистное, какое тут образование! Это веяние культуры, иностранного, чего даже Антошка-барышник побаивается и произносит непременно с твердым знаком: культура.

Второй Адам

Прошлый год народ валил к моему дому за новостями и газетами, ныне вокруг моего дома проклятая черта, переступив которую, каждый станет буржуем.

Тогда я говорил им, что если всю землю, господскую и надельную, разделить по живым душам, то достанется всего по восьминнику, и все наше земледелие рухнет. Теперь все это исполнилось.

– Дважды два – четыре?

– А Бог ее знает...

Подождали, увидели; а что теперь происходит грабеж и бесчинство – это просто от отчаяния, и какое тут может помочь рассуждение, если отчаяние?

Слышу за оградой:

– А буржуи-то еще живут?

– Живут!

И по-матерному.

К вечеру ставни плотно закрываются, а то еще какой-нибудь бродяга или мальчишка ахнет в окно. Нет керосина, зажигается лампада с тройным фитилем. Лаут собаки. Стучатся.

Беда!

Хуже чем, бывало, в путешествии по азиатской степи, где и тигры, и фаланги, и скорпионы, – там хитрости и оружие, тут ничего: человек-зверь страшнее всего.

– Кто там?

Робкие голоса:

– Мы, мы...

Пользуясь темнотой, пробрались ко мне мужики, у которых при переделе купленная земля отошла обществу: завтра им последний срок возвращения купчей, или нужно

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
переписать крепости для себя, чтобы иметь доказательства владения.

Переписка всеобщая; я уверен, что нет ни одного владельца в крае, кто бы не создал себе документа.

Но это не они, те хозяйчики, которых так боится Ленин и, правда, которых русскому коммунизму нужно бояться как непобедимой силы.

Те, кто пришел ко мне с крепостями, – обыкновенные хозяйственные крестьяне, прикупившие к своему жалкому наделу немного земли, это – Адам, с ними старая адамова заповедь: в поте лица своего обрабатывай землю. С тех пор второй Адам был изгнан из рая с той же заповедью «в поте лица». Но второй Адам увидел, что земля вся занята и рук ему приложить не к чему: этот «беднейший крестьянин» объявил войну первому Адаму и победил. Но ведь он такой же Адам по природе своей, его главное дело – плодиться и множиться. Для коммуниста страшен не первый – забытый, разоренный, живущий ныне в мышиной норке Адам, а вот этот новый, торжествующий, жадный – второй.

Я вот очень удивился, что рассказал мне наш сельский батюшка: никогда на его памяти не было столько браков, как в этот мясоед. Пожалуй, число их равняется бракам, заключенным во все пережитые им мясоеды. А столь неслыханное стремление к размножению объясняет батюшка просто: они боятся, что выйдет какой-то декрет о брачной свободе, и спешат, пока не вышел новый закон, связать себя стальными узами прежнего, церковного брака.

Брак и голод – вечные спутники. Тут надо как-то посмотреть – на всего Адама с высоты и пожалеть, как смотрел и жалел Иоанн Златоуст, ему ли не хотелось держать род человеческий в чистоте, но что же делать, если всего Адама удержать невозможно, ничего тут не поделаешь, и Златоуст, чтобы спасти Адама от блудодеяния, говорит:

– Кийждый свою жену да имать.

А если жена, то и домик, и земля, и всякое обзаведение до тюлевых занавесок на окнах и чехлов на мебель.

Детский рай

Если бы не трагическая обстановка нашего города: немцы в двух переходах, объявленная диктатура Двух, голод, – сколько бы я написал из провинции чудных, забавных штук, каких во сне никогда не увидишь! Не утерплю все-таки, напишу о гениальном (опять, если бы не трагическая обстановка!) предприятии нашего комиссариата по народному образованию.

Вы знаете, конечно, что такое в провинции садик позади каждого дома, огороженный невыносимо мерзким забором с гвоздями от воров и кошек, с щелками для подглядывания к соседям, зачастую своим смертельным врагам. Я знаю один садик, где груша-тонковетка свешивается своей кроной в соседский, плоды падают туда, и вот из-за этих груш внуки Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича до сих пор никак не помирятся. И вот гениальная, простая, как яйцо Колумба, мысль: уничтожить перегородки и превратить все в один громадный, бесконечный общественный сад!

Я ничего не знал об этом предприятии, сидел в деревне, занимался огородом со своим мальчиком, которого только что удалось вырвать из ужасных городских условий жизни.

Как вдруг получается циркуляр:

§ 1. Летние каникулы отменяются. Занятия учащихся должны продолжаться, причем весной и летом они должны носить характер занятий на открытом воздухе.

В параграфе втором приводится список занятий:

1) Очистка советских садов от мусора, лишних деревьев, устройство дорожек, площадок для игр, посадка деревьев.

2) Устройство скверов.

3) Устройство бульваров.

- 4) Постройка павильонов и беседок, оградок для клумб, их окраска, украшение.
- 5) Гончарное дело.
- 6) Сапожное дело.
- 7) Кузнечно-слесарное.
- 8) Столярно-плотничье.
- 9) Переплетное.

И все на открытом воздухе!

В заключительных параграфах циркуляра говорится, что овощи со школьных огородов поступают в пользование училищ для изготовления завтраков беднейшим детям в период зимних занятий. И в самом конце приписано, что участие в названных работах обязательно для всех обучающихся в учебных заведениях, а также обязательно оно и для педагогов.

Против обыкновения размер штрафа в случае уклонения не указан, но мы так напуганы штрафами, что я немедленно заложил свою тележку и поехал в город узнавать, в чем тут дело.

В городе сразу понял я, откуда и как пошел циркуляр о принудительных летних детских работах. Все это вышло из мысли, гениальной в основе своей: разобрать все заборы с гвоздями, соединить все в один сад и ввести детей в сад, как в рай первых людей.

Устроив свою лошадь на постоялом дворе, я вошел в калитку садика и пошел прямо в другой – заборов уже не было! Разнообразие флоры вышло необыкновенное: то идешь – фруктовые деревья, яблони, груши, вишни, то вдруг, как обрежет, – елки или высокие старые липы и – чик! бузина, из которой какие-то сорванцы уже режут себе свистульки; иногда все оборвется, и место открывается совершенно дикое, с горой мусора, горшков, битых чайников.

Едва узнал я знаменитую старую тонковетку, из-за которой в постоянной вражде жили два поколения соседей. Здесь на лавочке я помечтал, покурил, посмеялся, вспоминая далекое время, когда сам, бывало, длинной рогулькой тряс те сучки, с которых груши падали к нам.

И вот опять ничего! Все стало общее, в июле все будут приходить сюда и трясти тонковетку.

Дойдя до дикого места, где лежал всякий хлам и целая гора битых чайников, я понял, что находился на задворках нашего известного купеческого трактира, и вошел в него напиться чайку. Тут знакомые мне с детства владельцы садиков, купцы и мещане, заседали за чаем, судили-рядили советскую власть.

Один из них говорил:

– Это подобно как в Библии Вавилонскую башню строили, и Господь смешал у людей языки, то есть понимать нужно, смешал рассудок с совестью.

Другой на это сказал:

– Совесть, – я так понимаю, Сергей Петрович, в этом случае и есть причина помешательства рассудка.

А Сергей Петрович ответил:

– Нет, Иван Сергеич, причина в расстройстве рассудка.

Третий купец присоединился к Ивану Сергеевичу:

– Причина Вавилонской башни, – сказал он, – есть не совесть, а рассудок. Я по себе знаю: ежели у меня совесть болит, я пью вино, день пью, другой, третий, и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru по истечении недели рассудок становится на свое место, а ежели, сохрани Бог, рассудок у человека помрачится, то совесть на свое место не возвращается.

На этом все и остановились: рассудок совесть поел – вот причина Вавилонской башни и смешения языков.

После этого общего рассуждения я спросил владельцев садиков, как мне быть теперь с мальчиком моим, которого нужно везти теперь в город из деревни для очистки от мусора новых садов. Усмехнулись купцы и сказали:

– Вы смотрели в текучую воду? Много воды протекает в одну минуту? Так и это все протечет в одну минуту. Ведь штраф не назначен?

– Кажется, пока нет.

– Ну, так сидите и ждите, когда протечет.

Передел

С того момента как пришлось расстаться с работником и взяться за черный труд, возвратилась радость земли в душу, встревоженную черной смутой. Радует высокая зацветающая рожь, и птицы по-прежнему поют хором: «Благословение Господне на вас!»

Который уж раз накладываем мы с помощником моим гимназистом, вывозим в поле, раскладываем геометрически правильно на пару кучки навоза. Время такое, что этому нашему делу никто из настоящих землеробов не удивляется. Мы работаем, а настоящие землеробы в это рабочее время навозницы и пахоты который уж день слоняются толпами в поисках новой земли. Каждый из этих бедных, смущенных людей боится упустить свою часть из дележа, ходят, делят и, проводя в дележах золотое время, не уверены, что они получают правильно.

С самого начала славного дела нашего – этого великого выметания предателей земли русской, мы в деле созидания новой жизни запаздываем. Помните, была Пасха – самое время организовать местную жизнь. Мы это время пропустили и потом, когда начался посев, хватились и начали устраивать волостные комитеты. То же получилось теперь и с комитетами земельными.

Время возить навоз, а народ не знает, куда его возить, как разделить эту освобождающуюся от прежнего владельческого способа хозяйства землю и куда обратиться за помощью.

Вот мы собираемся накладывать в телеги навоз, к нам подходит кучка крестьян, спрашивают совета. Дело у них вышло такое: сняли они, двадцать три человека, сто десятин земли, обзавелись в расчете на эту землю скотиной, лошадьми, повезли навоз, а другие в несметном числе пришли эту землю делить. Остановили возку навоза, пошли в волостной комитет, там сказали им, что арендные договоры теперь силу свою потеряли. Что же тут делать? И вот они эти уж самые хозяйственные дельные мужики-арендаторы ходят, слоняются без дела в поисках закона. Одни ищут закон, другие – новую землю, и так они бродят как некрасовские мужики в поисках счастья.

– Прощение, друзья-товарищи, скорей надо писать прошение. Вот закон, писать так и так, пишите, несите прошение.

– Прощение, прошение! Вот это верно, вот нашли голову.

– Пишите!

– Мы неграмотные: сделайте Божью милость, напишите...

– А вы отвезете навоз?

– Навоз? – Давай кобылу!

И закипела у них работа навозная, как закипела!..

А я снова у письменного стола и по-прежнему ломаю голову, как бы этим бедным людям помочь. Смущен я думой, и птицы мои больше не поют свое: «Благословенье

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Божье на вас!»

Почему не поют птицы «Благословение» я понимаю: Хозяин земли тоже ломает себе голову и делит, переделывая все на мельчайшие части, делит, зачеркивая план, вновь чертит и вновь зачеркивает, создавая большую картину новой земли.

Бедняки земные думают, что сами делят и что в этом конец и начало, и все в том – по сколько сажений достанется священной и обетованной земли (чернозема) на живую душу. И солдаты, обиженные и ничего не понимающие, пишут письма мужам на войну: «Тебя, Иван, тебя, Петр, тебя, Семен, мужики обделили, спешите сюда землю делить».

Прошение мое изготовлено, готово – очень довольны. Благодарят, я тоже благодарю и беру в руки свои кобылу.

В саду

(Письмо другу)

Любящей рукой выращен сад. Старички видели в нем подобие рая. Теперь этот сад не метен, ветви зарастают волчками, стволы не обмазаны, под корнями земля не раскопана.

Меня мучает мысль, что любимый сад погибает в то самое время, когда исполняются заветные думы и «мое» в этом саду становится нашим, общим: сад признается народной собственностью. Я мог только я мечтать об этом, и вот они объявили, что сад общий. И что же случилось? Сад погибает, а слова про общее благо похожи на шкурки чумных издохших собак на проезжей дороге, никому больше не нужные, пустые слова.

Я знаю, как будет: в сад пригонят скот, траву собьют, сучья поломают. На зеленые яблоки набросятся дети и до осени будут трепать ветви. А зимой кто-то первый придет и срежет на топку старую яблоню, соседу станет завидно, он срежет себе, и все с этим садом будет покончено.

К этим людям, полудиким, я прошлый год прилетел черным вороном и каркал им зловеще: я знал их хорошо с колыбели. Едва-едва тогда вырвался, чуть не убили. Ныне с почтением кланяются:

– Верно говорил нам, дуракам, пропадает Россия!

Поздно! Я сам не хочу быть больше вороном, я собираю все свои силы, чтобы удержаться за что-нибудь и сказать им радостно, что не погибнет Россия. И ночью этой разгорается мой огонек и всю ночь горит во мне пламенем. Утром богатое солнце природы удивленно встречает трепет моего пламени. Я вспоминаю нас, мой учитель и друг, как будто мы опять вместе. И радостно я начинаю железной лопатой окапывать в этом общем нашем саду яблонки. Мне больше не стыдно за птиц-соловьев, что они скоро так запоют, будто наша родина счастлива. Напротив, и сад, и кукушки, и соловьи, и даже самое солнце старого Боженьки мне теперь милы и жалостны, как в разбитом войной и опустелом домике забытые брошенные детские игрушки.

Далеко на винокурном заводе стреляют из пулемета, мы к этому привыкли, живем, как у Везувия. Два парня перегнулись через ограду, кинули камнем в мою спящую собаку и, «страдающая» на гармонии, пошли дальше. Скверно ругаясь, пробежала толпа мальчиков – все ничего.

А вот недалеко удар топора. Этого слышать я не могу, подхожу к сажалке: неумело топором трудолюбивая Ева рубит прекрасное дерево, охраняющее сад с севера. Ленивый Адам удит пескариков.

Ленивый говорит:

– Руби, дура, под корень!

Трудолюбивая оправдалась:

– Поясница болит.

И продолжает рубить.

– Пропала Расея, – говорит он в угоду мне.

Мне противно сказать ему:

– Не погибнет Россия!

Не хочу, вот как не хочу теперь быть вороном.

Вот еще пришла девочка с лопатой, выкапывает молодую яблоню.

Ленивый продолжает в угоду мне:

– Пропала Расея!

– Милая, – говорю девочке, – пойдем со мной окапывать яблоньки.

Ужимается:

– Не хочу на солнце гореть.

Одна за одной перебираются через вал деревенские овцы, телята, коровы. Сил моих нет больше, бросаю железную в сажалку и ухожу из сада в березовую рощу.

Тут теперь одни пни, залитые, будто кровью, березовым соком. В овраге над падалью отравленной, приготовленной кем-то на зверя, собралось воронье. Клюют падаль, отравляются, спотыкаются, бредут, будто пьяные между пнями, падают, везде кругом одни пни, будто обгрызанные шеи, и везде пьяные вороны.

Слышно, рубят деревья в саду.

– Верно, – думаю, – сошел наш старый православный крест, и мужики так дружно работают, сколачивают себе новый крест – орудие казни позорной.

Учитель и друг мой! Теперь неделя Светлого Христова Воскресения, я не ропщу: и Пасха, и соловьи, и сад мне милы, и жалки, как оставшиеся от детей любимые старые игрушки. Вы старше, вы сильнее меня, мой друг, выйдите же, скажите им правду, спасите их, бессловесных, от казни на кресте, который рубят они себе своими руками.

Распни!

(Письмо)

Друг мой, в деревню лучше не ездите; мне кажется, у нас в городе все-таки лучше: там вас защищают каменные стены квартир и общество друзей. Здесь, на хуторе, днем прохожий пускает в открытое ваше окно (может быть, только за то, что окно открывается) свою отравленную стрелу – «буржуаз!» Ночью каждому бродяге может вздуматься стрелнуть из самодельного нагана по огоньку вашей лампы. Чуть залаяла собака, нужно вставать смотреть – дума ночью, как бы не увели воров корову, которая теперь стоит 3000, и то еще только теперь, в короткое время, пока мужик еще верит в керенки и набивает ими бутылки. Стоило от нас в тридцати шагах, но все-таки опасно, и теперь перевели мы корову под свое окно и веревку от ноги незаметно провели к себе в форточку. Впрочем, это все пустяки и даже занятно бывает вообразить себя фермером среди враждующих племен где-нибудь в Австралии, настоящая беда – в смердяковщине, в торжестве и господстве мнящего о себе Бог знает что лакея.

Так и помните, что в осуждении нас простым народам не так играет роль наше имущественное превосходство, как то, что мы называем «культурностью»: Смердяков отлично понимает, где зарыта собака.

По разным признакам я угадываю, что там, на воле, за решеткой этой смуты-тюрьмы, живут те же русские люди, но сторож, охраняющий доступ к ним, теперь куда строже, чем при самодержавии: тогда ко мне, поднадзорному, раз в неделю приезжал урядник чай пить, и тем все кончалось; теперь все деревенское общество круговой порукой обязано держать «буржуаза» под своим надзором. Я не думаю, чтобы детская мечта о земном рае (земля и воля) могла принести вред народу, – вся беда, по-моему, в смердяковщине. В разных местах провинции, в городах и деревнях, я встречаю этот руководящий тип, это бритое лицо без улыбки, с мутными глазами.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Бывало, в редакции придет такой и начнет убеждать в своей гениальности и, презируя всякую выучку, чуть не с револьвером в руке хочет заставить вас напечатать его неграмотное произведение. Вы его оглаживаете по затылку, нянчитесь с ним, выводите в люди, а он потом за все это и шархнет вас какой-нибудь препаскудной статьей. В русском простом человеке я любил всегда большое дитя, которое теперь в руках Смердякова. И лично вся Россия остается совершенно такой же, как была, – и пьют, и говеют, и умирают, и женятся все по-старому. Но общество смутой сбито, как на пожарище стадо овец: их отгоняешь от огня, а они лезут в пламя.

Смотрю я сейчас в окно за пруд, где на низкой десятинае тринадцать лет огородник Иван Поликарпыч занимался капустой и огурцами: теперь тут вся десятина в полоску и на этой тучной огородной земле сеют овес. Сам Иван Поликарпыч получил на свою живую душу надел где-то в поле, и там будет работать не как специалист-огородник, а как рядовой чересполосный крестьянин. Вот теперь время подходит капусту сажать, а где нам добыть рассаду?

– Товарищи, да что же вы наделали, ведь мы так без огурцов, без капусты останемся?!

– Комитет предоставит.

– А если нет? Вы бы Ивану Поликарпычу огород оставили, он бы и доставлял нам огурцы и капусту.

– Дюже будет жирен!

Самому крестьянину в деревне у нас овощи развести невозможно – все растащат соседи. Теснота! В комитете столпотворение вавилонское. Не будет у нас овощей. Сам же Иван Поликарпыч, получив на живую душу надел, обрел душу мертвую: наверно, он ждет теперь не дожидается приближения немцев, которые будут коммунистов пороть и расстреливать.

А ведь был человек он правильной жизни, трудолюбивый, смирный, умный – чуть бы волосок, и толстовец. Прошлый год, перечитывая Толстого о том, что в случае земельной анархии правильного человека не обидят, я заметил у нас Ивана Поликарпыча. Теперь вижу, что Иван Поликарпыч обижен, разорен, и живая, радостная земледельческая душа его стала мертвою.

Еще один пример крепче этого. В соседстве моем живет-доживает свое идеальное время – одна старая учительница. Я помню, как говорила о ней одна кумушка, неудачливая в сыновьях, моей тетушке:

– Всю жизнь с дурнями своими маюсь, и ничего мне за это не будет, а вот Косинька учит чужих детей и будто равноапостольная.

Мужики не раз говорили, я слышал, что Косиньку эту равноапостольную к нам Господь как ангела своего прислал. И правда, как ангел: образованная девушка, побывавшая и за границей, и на свои деньги школу устроила, тринадцать лет жизни отдала обучению детей. За это время вырос вокруг ее школы чудный сад – редкость большая тут. Вот бы при скудости средств отдохнуть в этом саду, насаженном своими руками. Теперь мужики отобрали у нее сад и от себя сдали в аренду. Сейчас это рассказал мне батюшка и так мне объяснил:

– Они никогда не поверят, что добро делается ради добра и с личною жертвой. Они думают, что человек трудится, – значит, польза ему, и Косинька тринадцать лет служила жизни и пользу свою получила, а сад их.

Так, оказывается, не прав Толстой, и я вижу его ошибку: он справедливость, которая расцвела в личности и происходит не от мира сего, перенес на массу чрева неплодотворенного, на самую глину, от которой сотворен человек, на ту материю, в которой нет сознания ни красоты, ни добра.

Друг мой, вы можете, созерцая зрелище пожара, предаваться отчаянью или же возвышенным мыслям о возобновлении жизни после очищения ее пламенем, но помните, что в числе немногих фигур, освещенных заревом, большинство таких, которым это выгодно; они все метаются тут же вырвать из пламени что-нибудь для себя, пустить в оборот собственной жизни и очертить вокруг этого круга, и назвать: «мое

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
собственное, Сенькино, приобретение». Эти темные фигуры, будто пионеры после завоевателей, пришли в страну диких племен и скоро будут открывать тут новые земли и ставить флаги свои: Сенькина земля, Илюхина собинка, Никишкины хутора. Нет, милый друг, не ездите летом в деревню. Только если будете очень страдать и до конца дойдете, – приезжайте, вы тогда увидите настоящую нашу Россию, и вас тогда не испугает, если со всех сторон будут кричать: «Распни, распни!». Я вам уступаю дорогу, потому что не силен. Я не могу жить и действовать, когда все детски простое запрещено, когда на одной стороне горизонта красное пламя пожара, а на другой черный лик, обрекающий даже дитя на распятие.

Земля и власть

(Записки хозяина)

Посмотришь, посмотришь вокруг себя по хозяйству – очень уж плохо; день так, два, три, неделя, другая, все думаешь, думаешь про себя. Вдруг счастье великое: газеты пришли! Прочитаешь газеты, оглянешься на себя: Господи, да ведь я же и есть настоящий буржуй, и мысли мои самые буржуазные.

Пусть я анархист по мыслям, толстовец по совести, странник по натуре, – но ведь это все личное, это хорошо в городских условиях, где можно в щелку забраться и вообразить о себе что угодно в плане вечности, Интернационала. Здесь же я для себя, только для себя, должен добыть из земли продукты грубейших моих животных потребностей; как и все люди вокруг меня, я должен думать только о себе, о своем благополучии, а это же и есть буржуа, только в грубейшем виде, без всяких иллюзий, в клеточке своего душевного надела, который обеспечит мне, в лучшем случае, всего два фунта хлеба в день.

Положение Робинзона, выброшенного морем на остров, населенный дикими племенами, или Гулливера, прибитого к земле лилипутами: как бывший собственник и вообще человек с организованными способностями – я Гулливер, как приписанный к обществу деревенскому чересполосный хозяин – я Робинзон среди дикарей. В том и другом случае я буржуа, а полудикие племена вокруг меня называют себя пролетариями.

Как у кочевников в Сибири, где много болезней и хищников, люди, встречаясь, спрашивают: «Руки, ноги здоровы, бараны наедаются, быки, лошади целы?» Так и у нас теперь на вопрос: «Как дела?» отвечают: «День прошел, и слава Богу, сам жив, скот, корову не увели, лошадь, овчонки, все цело».

Прежде в нашем деревенском быту при встрече, бывало, поблагодарят старого Боженку за дождик или потужат о засухе, – теперь вот чего уже хуже, рожь без дождя двух вершков от земли в трубку пошла, яровые накануне гибели, а как-то не беспокоятся очень: это дело еще далекое и поправимое, лишь бы для себя день прошел благополучно. Никогда не жил так сельский человек для себя на Руси, как в эпоху отмены частной собственности.

Руки от хозяйства отваливаются. Сейчас бы вот надо подумывать навоз на поле возить, а куда его возить – неизвестно: яровое с грехом пополам разделили, а пар все еще Божий. Справлялись в земельном комитете: там знать не знают, и вот, вот сами эти комитеты полетят, и вместо них, как раньше, будут комитеты волостные. Насмотрелись крестьяне довольно на безотчетное грабительство и хотят взять их дела под учет. Когда-то возьмут, когда-то наладится дело, а пар не делен, и навоз возить некуда.

Приехал барышник лошадь покупать; спрашиваю, как дела. Моргает...

– Идет!

Немец – избавитель, немец – хозяин земли русской пуще всякого Учредительного собрания. Только все-таки окончательно даже и барышник в немце не тверд, – не знает и он, будет ли лучше при немце.

Мы, разные мелкие собственники, учителя, пашущие свой надел помещики, знаем, что нам будет хуже. Так, недалеко от нас немцы заняли край и, когда оставили, – всех буржуазов мужики перебили. Там, в столице, вопрос: «кто лучше?» – патриотический, у нас – шкурный. Хоть разорвись, а не убедить нашего мужика, что это немец идет, а не русский буржуаз.

Есть множество причин возникновения этой легенды, помимо общей: обращения ради к заступничеству немцев. Ведь эта легенда прежде всего родная сестра тому сказанию

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
в начале войны о том, как Вильгельм на аэроплане облетал помещиков и отбирал у них какие-то планы. И потом множество мелочей, например, что германские офицеры почему-то по-русски говорят, что помещики почему-то сразу так легко и неизвестно куда исчезли – куда?

Без этой расположенности русского человека к догадкам никогда не понять вполне, почему это наш крестьянин, такой буржуазный в существе своем вообще, – большевик. Сию минуту был у меня один, который называет себя правым эсером. Он вполне рассудительный, трезвый человек, пока разговаривает о местных делах, но как только наша политическая беседа переходит границу Московского государства и начинается Украина, – он тоже с большевиками: идет не германец, а буржуаз. Дальше, в вопросах мировой войны у него полная путаница, и тут он вполне большевик.

Может быть, в этом случае играет роль само по себе хорошее, вкусное русскому человеку слово «большевики», но я на каждом шагу встречаю здесь веру в хорошего, идеального большевика. Это вера, по-моему, глубоко коренится, несмотря на все видимое.

Дух разрушения, как ветер над пригнутыми стеблями, мчится над головами побитых хозяев; в хозяйстве, в обществе, в государстве все исковеркано, только все еще не покидает русского человека, веками нажитая преданность далекой, исходящей не от мира сего власти, сверхвласти. И нет как-то отношения этого высокого к себе лично вот почему: вероятно, простой человек, почуяв «я – власть», становится грабителем. Так и православный человек, на самых первых порах уразумев, что Бог не вне его, а внутри, «в ребрах», начинает колоть и жечь иконы. Так и весь этот принятый на веру простым народом русским материализм, не есть ли только моменты жизни религиозной души?

«– Послушайте, Павел Иванович! – сказал Мирзоев Чичикову, – я привез вам свободу на таком условии... Ей-ей, дело не в этом имуществе, из-за которого люди спорят и режут друг друга, точно так можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте-сь, Павел Иванович, что покамест, бросаю все, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумав о благоустройстве душевного имущества, – не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком... Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы шло, как следует? Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу!»

Бумажный змей
(Жизнь деревенская)

По-старому живут у нас в городе только коровы. По-прежнему в час предвечерний вступают они в город, расходятся по разным улицам, и сами. Вот это казалось мне всегда удивительным, как это они сами – находят дома своих хозяев. Только те коровы, которых недавно перевели с собой сбжавшие с земли в город помещики, сами не могут найти свой дом, и их кто-нибудь провожает, иногда сама барыня – контрреволюционерка в платочке и с хворостиной в руке.

Я узнал одну старую знакомую; на несчастье свое подошел к ней.

– Видели? – сказала она, подхлестывая хворостиной корову, – любовались?

Я слышал, что ее имение «расчистили в лоск».

– Нет, – отвечаю, – я не видал и не любовался.

– Очень жаль: плоды ваших рук.

– Как моих? Вы же знаете...

– Знаю: все имения разрушены: почему же ваш дом стоит?

Я помолчал, она еще прибавила:

– И пишете в «Русских Ведомостях».

Она не знает, что я пишу; пишу, и достаточно. И дом мой стоит цел, и пишу –

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
виновен. Не простившись, разгневанная барыня повертывает в переулок вместе с коровой.

– Вот, думаю, ежели перевернется ветер и подует с той стороны, попадешь тогда, как в хождении Богородицы, «во вторые на распятие»: тут – за «Волю Народа», там – за «Русские Ведомости» еще старого времени.

Захожу на хлебную биржу нашего когда-то богатого хлебного города. Я любил сюда раньше заглядывать и за чаем, слушая рассказы маклера, вникать в подробности этого сложного торгового аппарата: я сам потомок этих купцов и часто, разбирая в голове все их беспросветное жульничество, спрашивал себя, как они все-таки могут так жить. За чаем, разбирая их торговую канитель, говорил я:

– Ваше дело, господа, все-таки сплошной обман.

Тогда они, как искрой зажигались.

– Тайна, – отвечали, – а не обман.

Так они представляли свое дело, как мы в повестях фабулу.

– Художество, – говорю, – художеством, а где же содержание, где вечное?

Помню, раз один купчина вынул из кармана серебряный рубль, хватил им по столу и сказал:

– Вот вечное!

Теперь нет и следа этой веры в вечность рубля, теперь нет на хлебной бирже маклерских столиков, и даже название другое: «Биржа труда». На стенах развешаны портреты Маркса, Лассалья, Бебеля, Либкнехта и всех других знаменитых вождей социализма, под ними на лавочках сидят «пролетарии». Всматриваюсь, вслушиваюсь. «Э, да у них тоже свои маклеры!» Вот один в углу стоит, попыхивает трубочкой. К нему подходит женщина с «цыгаркой» во рту. Их разговор:

– Муку ищешь?

Она кивает головой.

– Триста рублей!

– За пуд?

Он кивает.

– Су-у-кин ты сын...

Хочет уходить, а он ей тихо:

– Бери по восемьдесят.

Шепчутся вовсе тихо, чтобы не слышал ни Маркс, ни Лассаль, ни прочие знаменитые социалисты.

По дороге к себе на хутор для душевного спокойствия не расстреваюсь с обозом, знакомого мужика спрашиваю, почему это мука в городе вскочила сразу с двадцати на восемьдесят.

– А вот почему.

И рассказывает про операцию этого базарного дня.

– Хлеба нет? – Безделица! Разживусь спирта, наменяю на спирт, сколько хочешь. Знаю, у кого есть и в нашей деревне. Да я, сколько тебе хошь, разживусь, а вот как провезти? Намедни комитетские солдаты пришли нас обыскивать. Так и дали им! Не чаял он под собой пропасти! С чем пришел, с тем и ушел. А я тебе, сколько хошь, достану, только вот как провезти? Везу вот нынче воз картошки, выезжаю на большак... «Стой!» Лезут из вершины два солдата. «Давай выкуп!» Дал им бутылку

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
спирта. Писаного пропуска не дают. «Мы, – говорят, – вольная застава». Подъезжаю к городу; встречают красноармейцы, большевики. «Запрещается, реквизируем!» Ну, известно, против большевика Керенский: вынул «керенку», дал, пропустили. Въезжаю в слободу; народищу – что грачи! «Мне, – кричат, – мне!» Расхватили, а денег и половины не получил. Так вот и съездил: ну, пралич понесет меня другой раз! Кто не чаёт пропасти под собой, тот и везет, а потому вот и мука сразу с двадцати вскочила на восемьдесят.

Остановились возле ржи посмотреть, отчего это она такая невзрачная. Вот один куст: сам куст – подседь, как на осушенном болоте бело-желтая кочка, а из него три тоненькие былинки с коленцами-суставцами, будто три несчастных перста, поднялись и молят небо о дожде-милости.

Рядом с полем в саду пальба из винтовок: это красноармейцы собрались, наконец, выгнать гармонистов и баб, ломающих цветущие ветви яблонь и груш («цветочки»). Гармонисты в разных направлениях, каждый в свою деревню, расходятся прямо по ржи.

Высоко запустили мальчишки змей над полями, – им дела нет до наших скорбен: дул бы ветер, летал бы змей.

Разбирая куст ржи, мы решаем вопрос коренной: может ли еще поправиться, если польют дожди. Нам это важно знать: если надежды нет – разбежаться надо, и, кто умней, загодя.

Наше решение, что еще может поправиться: подседь возьмется, оживет, а то, что теперь «в трубку пошло», эти тоненькие былинки-персты, не в счет.

Не правда ли, как эта капля быта отражает всю нашу жизнь: дети змей запустили, им что, – змей, будто листик бумаги с декретом о твердых ценах.

Свет переставился. Мы привыкли считать, что государственные люди старше нас. Теперь, в революцию, наоборот, государственные люди бумажные змеи пускают, а тяжесть государственная всею своей страстью-заботой легла на человека-дитя, которое не знает географии дальше волости, в истории мешает Рюрика с Грозным и, если увидит Ясную Поляну, скажет: «Тут жил буржуаз!»

Старушка Vita
Не знаю, чья рука убила их,

Но мысль твоя направила ту руку.

Шекспир
Всем известные в нашем народе люди внезапно исчезли; много высказывали разных догадок, но жизнь перегнула самое невероятное: однажды в советской газете, на четвертой странице, петитом, в отделе «Местная жизнь», было напечатано, что вместе с ворами и разбойниками за контрреволюционность расстреляны родственники наши (в провинции, посчитаться, все – родня).

Душа обывателя устроена так: если в Мессине от землетрясения погибнет сразу сто тысяч людей, или взорвется Киев, Одесса, или кровью истечет Франция и пусть даже пропадет все человечество на земле, а родственники и знакомые останутся целы, то душа наша не дрогнет всей дрожью. Но если знакомый с детства человек, множество раз осмеянный за мелкие грешки и тут же вскоре прощенный, весь как бы чиненый-перечиненный, заплатанный и тем навсегда сохраненный от участия в трагедии, будет казнен – душа содрогнется.

Я это так объясняю: обыватель понимает жизнь «по душам», «по человечеству», жалостью, а всего человечества умом и волею воспринять не может. И обыватель отказывается от счастья всего человечества, если ради этого делается небольшой пропуск: жизнь человека знакомого. Наоборот, обыватель острова Советской республики готов ради человечества пропустить и всю жизнь, старушку Vita.

Ужаса этого я еще теперь никак не могу изобразить. Две недели сидели они в своих щелях и дрожали, изредка видясь и перешептывая невероятное, пока, наконец, осадное положение было снято. Тогда мало-помалу стали они выходить из своих углов и, воображая вокруг себя тысячи шпионов, молча закупать провизию. Откуда-то появился в городе сахар по ¼ фунта на человека, – еще осмелели и стали

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
рассказывать друг другу, будто жена комиссара народного просвещения поклялась, что впредь расстрелов не будет. Услышав это, выпив всю чашу страха, унижения до дна, люди успокоились, как после потопа, когда суровый Бог обещался больше не топить людей и в знамение этого дал на небе радугу.

Вспоминаю, как в эти ужасные дни приходили ко мне и говорили:

– Вы писатель, вы не посредством партийности понимаете жизнь – вот бы вам по душам, по-человечеству с Лениным переговорить.

– С Лениным, – отвечаю, – мне очень просто переговорить.

Вышло, как будто к царю отправляют меня с жалобой на местных чиновников.

– Неправда ли, – говорят, – Ленин этого не хочет: он не такой человек, он убежденный.

– Очень убежденный.

Радость на лицах: царь остается царем, плохи только чиновники, самоуправцы, самолюбцы.

Так еду я в Москву и, пережив с обывателем вместе его ад, совсем не вижу нелепости разговора с Лениным «по душам», «по-человечеству». По пути мне попадает новая газета, новые люди, мало-помалу я перехожу душой к интересам всего человечества, и теперь к Ленину мне совершенно не с чем идти: несколько без суда казненных где-то в провинции человечков – это пустяки: с представителем человечества, оказывается, нельзя говорить «по человечеству».

Только вспоминается из юности почему-то мой учитель химии, виталист (vita – жизнь), который учил нас:

– В основе всего, помните, жизнь (vita); помните, что ни при каких исследованиях мы не должны пропускать старушку vita.

И мне кажется теперь, что при нынешних наших исследованиях мы пропускаем старушку Жизнь. В этом, вероятно, и вся наша ошибка. Вероятно, так, иначе как объяснить себе, что даже теперь, когда вот-вот насядет задом на Русь беспросветное мещанство неметчины, не находится ни одного истинного поэта, певца большевистского бунта. Напротив, один из величайших заступников старушки vita, Шекспир, как будто о нас говорит:

– Твой Ричард жив, он души покупает,
Он в ад их шлет. Но близится к нему
Позорная, всем радостная гибель,
Земля разверзлась, демоны ревут.
Пылает ад, и молят силы неба,
Чтоб изверг был из мира взят;
Кончай скорее, праведный Господь!
О, сокруши его и жизнь продли мне,
Чтоб я могла сказать: издохнул пес.

Красная горка

Рассказ

В прежнее время этому рассказу моему никто бы не поверил, сказал: «фантастическое», – но теперь ничем не удивишь! Вот и наемни солдатики у нас одного подстрелили, обыскали, и что же? В кармане нашли сорок шесть аршин керенок!

Пришел тоже в нашу деревню неизвестно откуда один солдат, снял пустую избу, влез в общество, получил надел, обзавелся хозяйством, выбрал себе замухрышку, пьяницы Афоньки дочь, и вздумал на Красной Горке свадьбу играть.

Никогда деревня наша и никакая деревня на Руси свадьбы такой не видала: повар княжеский (самого князя выгнали) Потапыч обед готовил, настоящий обед, княжеский и даже с мороженым. Княжеские лакеи во фраках, с салфетками на плече, прислуживали. Из города выписали оркестр музыки из двадцати пяти музыкантов. Расставили столы по всему проулку у ручья: музыка играет, а жених на все четыре стороны кланяется: «жалуйте, жалуйте, товарищи!» Повалил народушка на эту

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
чертову свадьбу, что воробей на просо или муха на квас. Я сижу себе у окошка, смотрю, что будет, мое дело – сторона, живу на собинке и числюсь за это в буржухах. Погано мне на душе, тошно смотреть на мухоту нашу.

В сумерках, слышу, загалдел народ: стало вино разбирать, и, видно, не хватает вина, лезут на жениха с кулаками: «Давай вина!»

Деревня наша под горой стоит, красуется княжеский винный завод. Прошлый год половину спирта удалось нашим архаровцам расхватать; нынче там красногвардейцы с пулеметами; сами пьют, по маленькой торгуют, а грабить не подпускают.

На свадьбе, конечно, подгулял народ, осмелел, и верно, тут и сами красные гуляли. Живо наши ребята на гору... Хлоп, хлоп! – в них, для видимости, из винтовок, и кончено: захватили завод. Смотрю, как катят с завода здоровенную сорокаведерную бочку семь пеших мужиков: подогнали кверху и <1 нрзб.>! – пустили к ручью, прямо на свадьбу.

Катится, летит эта бочка, и – раз! – у ручья о камни вдребезги, и спирт весь в ручей. Смешался спирт с грязью, ринулась вся свадьба в грязь. «Берегись!» – кричат сверху.

Вторая летит, и эта вдребезги – прибавляет водицы в ручье, – какой там ручей, одно только название, – не ручей, а грязь. Третья, четвертая катится, одна ручей перемахнула, бережком, бережком, низами, низами, да и прямо ко мне через плетень, ударилась о лозинку и посереде моего огорода на попа стала.

Темным покровом ночь покрыла всю свадьбу, и что там было у них, я не видал; только слышал – кричат, храпят, дерутся, стреляют. Только перед солнышком я задремал, открываю глаза – Господи, сила Твоя: лежит в грязи, в топи вся наша деревня, как рать побитая, и коровушки уж сами по себе бредут в разные стороны.

Вижу своими глазами, подох народ православный, обожрался винища, лежит, смердит в болоте, а я вот один сижу у окошка, святой не святой, мужик не мужик, вина не пью, не льщусь на чужое, буржуй не буржуй – тружусь и только что сыт.

Вовсе погано мне стало, думал я, думал и говорю себе: «Издохну я с православными!»

Взял ведро, иду на огород, где бочка стоит, отбил у нее пуп, налил спирту так побольше четверти: «Этого, – думаю, – довольно с меня, издохну».

Сел возле бочки на камень, дух не переводя, пью, пью как лошадь из корыта. Слышу, упало, зазвенело пустое ведро и потом вижу: на куле муки, на большом белом, как на аэроплане, красный жених из оврага вверх поднимается и за ним свадьбой все на кулях с мукой как на аэроплане, вереницей мужики летят. Кричат мне сверху: «Подымайся, товарищ, в Москву!»

Поднимаюсь будто бы я с ними на куле, как на аэроплане, только никак догнать не могу: все отстаю, отстаю: балтых, балтых! – и лечу вниз куда-то в пропасть, к чертям!

Лежу я будто бы в печуре темной, чуть различаю только вокруг себя косматые рыла, языки красные набок свесили и все на меня винищем из пастей дышают; задыхаюсь я от винного духу, дохну, дохну, все кончилось: издох.

Сколько времени прошло, открываю глаза: огород мой, среди огорода бочка попом стоит, вокруг нее мужики сидят, опохмеляются.

– Ну как, – спрашиваю, – слетали в Москву с мукой... Почем продали?

А они: – Жив, – говорят, – жив буржуй-то наш, не издох!

Приподнялся я, сел, огляделся, в себя пришел: правда, жив, не издох, опять хлопотать надо.

Гольши (из дневника)

Нужный человек вошел ко мне и просил документ для прописки. Я дал ему командировочное удостоверение.

– Сколько вам лет? – спросил он.

Я ответил.

– Вероисповедание?

– Зачем вам моя вера? Церковь отделена от государства, совесть свободна.

Это все верно, а, между прочим, нам это требуется.

– Ладно, – говорю, – православный.

Очень обрадовался, по всему видно – православных уважает.

– А звание?

– Ну, звание не скажу, как хотите, не скажу: я – гражданин.

– Гражданин товарищ, это верно, я это сам признаю. А из какой местности, гражданин?

– Российской.

– Какой губернии?

Потом – уезда, волости, деревни. Как дошел до деревни, я вспомнил о паспорте:

– У меня, говорю, кажется, паспорт есть, не нужно ли? Как он обрадовался! А я ему:

– И не стыдно вам этим заниматься, товарищ? Для чего же мы освобождались? Будь я на вашем месте, так по одной гордости гражданина не взял бы в руки полицейского паспорта.

– Гордость, – сказал, – это нехорошо.

– Для вас, – отвечаю, – вы везде нужный, вам гордость вредна, а мне гордость на пользу.

– Какая же, – удивляется он, – может быть человеку от гордости польза?

– Конечно, не денежная – душевная польза.

– И душевной пользы не вижу в гордости.

– А вот есть!

– Не знаю...

Мы заспорили и, в общем, пришли к выводу, что гордость на пользу барину, а смирение – слуге.

Я думал после этого разговора:

– Мы, русские люди, как голыши, скатались за сотни лет в придонной тьме, под путной водой катимся и не шумим. А что этот будто бы нынешний шум, это мы просто все зараз перекатываемся водою неизвестно куда – не то в реку, не то в озеро, не то в море-океан.

Обыск

Рассказ

Земли колодезских владельцев веером раскинулись на половину волости, а усадьбы их, в головке веера, собрались в кучку, примыкая одна к другой садами; на выгоне сидит батюшка и вокруг него разная мелочь: потомки дьякона и дьячка, арендаторы огородов, садов. Теперь земли все отобраны крестьянами, остались только усадьбы, хорошо вычищенные обысками. Среди разоренных и уничтоженных владельцев батюшка сохранил некоторую долю веса в глазах крестьян, и теперь в честь его группа

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
усадеб называется не Колодезями, как раньше, а просто Поповкою.

Накануне последнего повального обыска в Поповке был большой переполох, – вопрос шел о сохранении самых последних имущественных запасов. Лепешкин Николай Иванович, по-моему, совершенно помешался, часами сидит, как загипнотизированный петух, и смотрит все в одну точку, например на цветочную тумбу. Вдруг вскакивает, опрокидывает тумбу, вытаскивает из-под нее окорок ветчины и мчит его на чердак, там выламывает из трубы несколько кирпичей, замуровывает окорок. А если кто-нибудь придет и обмолвится фразой: «Там-то намедни муку в трубе нашли», – он распечатывает трубу, спускается в глубину подвалов, и в подземелье роет, копает как крот.

Пример Лепешкина обратно подействовал на соседа его, в высшей степени благородного, принадлежавшего когда-то к партии мирного обновления, Ивана Михалыча Жаворонкова. В ночь перед обыском он сказал жене своей Капитолине Ивановне:

– Так жить невозможно, унизительно, нужно ссыпать обратно спрятанную муку в закрома, чтобы открыто было.

– Струсил? – спросила Капитолина Ивановна.

– Может быть, но я не могу так больше. Представь себе, какой сон мне снился этой ночью.

Сон Ивана Михалыча:

– Лежу я, будто бы, неподвижно и что-то ужасное совершается, наступает с невидимой нам стороны, а собака-защитница видит, но сказать не может и даже не лает от ужаса, и все пятится, пятится ко мне. Я говорю: «Понтик, Понтик, вперед!» Он же не бросается, как всегда, и все пятится, пятится ближе, ближе ко мне, прижимается, ложится, будто спать, только одна нога его складывается так, чтобы вскочить сразу. «Вперед, вперед!» – кричу я в ужасе. Он же ничего не слышит, смотрит туда и дрожит, дрожит.

– Весь сон? – сказала Капитолина Ивановна. – Ну, что же?

– Как, что же – страшно: я просыпаюсь весь ледяной. Мне кажется, сны такой ужасной быстроты бывают за то, что тело человека лежит в могильной неподвижности. Не за то ли и нам, русским, больше всего досталось от этой жестокой войны, что столетия мы лежим неподвижно?

Встревоженная и сном и общим настроением Ивана Михайловича, внезапно взволнованная, Капитолина Ивановна спросила:

– Ну, хорошо, мы покажем, а если у нас, как было в Ольшанце, все отберут, что же нам делать тогда?

– Ничего особенно: мы возьмем детей, приведем их на общество, скажем: «Кормите!» – бросим и пойдем по миру, разве это будет хуже, чем в таком унижении? Нет! мы сделаем еще лучше, мы возьмем где-нибудь разрешение на сбор и пойдем вместе с детьми собирать у богатых мужиков муку для голодающих.

Капитолина Ивановна за это время тоже ужасно измучилась. Сверкнувшая мысль обняла ее, подняла ее: вот исход! На этом пути, может быть, придется погибнуть, но ведь и так все равно не пережить смутное время, зато уж умирать человеком. Решительно сказала:

– Ну, идем переносить муку.

И они пошли ночью, озираясь, проверяя тропинки, не подсматривает ли кто, в стойла, где под соломенной настилкой, по пуду на мешок, лежало около десяти пудов муки ржаной, пшена, гречи. Ждали обыска с раннего утра в прекрасном настроении, так бывает всегда, если только решиться подвести черту – конец так конец!

Иван Михалыч занимался с детьми, никогда он не был таким добрым, внимательным учителем, и дети никогда не были такими усердными и послушными, предчувствие новой, прекрасной жизни передавалось и детям. Капитолина Ивановна хлопотала по

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
хозяйству, И. М. ничего особенного против вчерашнего в лице ее не замечал, хотя, если бы не был так превосходно настроен, мог бы заметить: она хлопотала больше прежнего и была чем-то озабочена.

Ждали с раннего утра, но никто не приходил, и уже сели обедать, как вдруг Лиза, единственная прислуга-девочка вбежала:

– Идут, идут!

– Ты обедай, – сказала Капитолина Ивановна – оставайся с детьми, а я покажу, ничего, ничего, я сейчас!

По-видимому, обыск был исключительно мягкий и скорый, может быть, из особенного уважения к хозяевам? Лиза скоро влетела:

– Уходят, забрали четыре пуда муки, все оставили.

– Как четыре? – изумлялся Иван Михалыч, – у нас двадцать пять!

– Успели спрятать, – радовалась Лиза, – три пуда в духовом шкафу, пять пудов в печи, три отнесли к поросенку, два замесили, два по решетам рассыпали...

Вернулась Капитолина Ивановна очень довольная.

– Совершенные джентельмены, – сказала она, – нет, грех нечего на душу брать, наша деревня еще, слава Богу, так жить еще можно. А про вчерашнее решение она как будто совершенно забыла. Взволнованный Иван Михалыч напомнил:

– Вчера мы решились на подвиг, сегодня ты опять прячешь.

– Милый, – сказала Капитолина Ивановна, – я не хотела тебя огорчать, за ночь я передумала: ну, хорошо, мы бросим все, мы пойдем собирать голодающим, и мы соберем, пусть мы накопим даже большие запасы, а что потом? Распределять же не мы будем, все пойдет в комитет, и получится – мы собираем для комитета, но не для голодающих. Если же для комитета, то можно просто тебе поступить туда... Иван Михалыч смущенно спросил:

– Для чего же мы вчера хлопотали, переносили, решались?

Капитолина Ивановна ответила:

– Я отдалась твоим настроениям и не могла сообразить такого пустяка. Но они совершенные джентельмены, я никак не ожидала. Знаешь, мы теперь можем купить поросенка.

Пришел Лепешкин, тоже совершенно счастливый, ничего решительно не нашли! Понемногу у Жаворонковых собралась вся Поповка, у всех прочих отлично, и только с батюшкой вышла беда. Дьячихина дочь рассказывала, запыхавшись от сильного желания поделиться известием:

– Ну-те, – сказала дьячихина дочь, – сала у них было много, три пуда. Не самому же батюшке закапывать сало. Матушка велела Митрию. Конечно, Митрий закопал в огороде бочку. А когда обыск прошел, выкопали бочку, ну-те! а она пустая.

– Ну, это от себя! – сказали Поповцы.

А в общем в Поповке все обыском остались очень довольны и сейчас живут хорошо, вполне обеспеченные до нового урожая. Один только Иван Михалыч время от времени видит свои страшные быстрые сны и, просыпаясь, говорит про себя:

– Такие сны ужасной быстроты бывают за то, что тело человека лежит в могильной неподвижности. Не за то ли и нам, русским, больше всего досталось от этой жестокой войны, что столетия мы лежали неподвижно?

<Без названия>

(Рукописные вставки М. М. Пришвина.)

...в деревне угощали меня свежиной, пирогами, яичницей и все говорили:

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Да разве мы вас выгоняли?

– С вашего согласия.

– И нашего согласия не было.

– Кто же меня выгонял?

– Никто вас не выгонял, да что вы, нишь вы худое что нам делали, как матушка ваша, царство ей небесное, благодетельнице.

И пр.

На прощанье сказал мне один:

– И как это сразу им народ повинулся?

Вот опять иду в город по большаку, что это там впереди виднеется, гора не гора... гора – вороны на падали, а поле, где падаль лежит, все голубое, один василек вместо гречихи и проса: советское поле!

Тут, помню, «трактор» работал, все дивились, и митинги собирали, и речи говорились о том, что крестьянин избавляется от сохи, вспахали машиной, а прополоть руками не пропололи, и выросли одни васильки! Я смотрю и чувствую, где зеленые точки с серо-темной земли смотрят на меня, как глаза, и рот земляной открывается, злословит.

– За что, за что? – шепчу я.

– За шляпу, – отвечает земля зелеными глазами.

Какая тишина в осенних полях, далеко где-то молотилка, будто пчела жужжит, а войдешь в лес, там с последним взятком пчела жужжит как молотилка – так тихо! Земля под ногами, как пустая бунчит.

Подхожу к людям в ночном с лошадьми.

– Был мороз?

– Был, да росую обдался.

Люди эти, пролежавшие всю ночь на тулупах, просты, как полевые звери, и разговор их был про зайца, которому корова наступила на лапу, – все смеялись, что заяц вился под коровой, а она жевала и ничего не знала; про куманьков, что они хотели дать народу свободу, а дело их перешло на старинку, работа и при них, выходит, все равно «на чужого дядю»; про то, как из лака с помощью соли спирт добывать; про немцев, которые из дерьма масло делают; про лисицу, про выборы, и где керосин раздобыть, и как лампу керосиновую переделать на масляную, про махорку, и набор Красной Армии, и про дурное правительство.

– Друзья, – сказал я, – мы заслужили наше правительство.

– Да, мы заслужили! – ответили они дружно.

И я удалился от них рубезом, поросшим муравью, в Семиверхи, где сходятся земли семи разоренных владельцев. Светлый водоем в парке, обрамленный осенними цветами деревьев, как затерянное начало светлого источника, встретился мне на пути. Тут с разноцветных деревьев, кленов, ясеней, дубов и осин я выбираю самые красивые листы и готовлю из них цвет совершенной красоты.

Вот я вижу теперь ясно, как нужно жить, чтобы вечно любить мир и не умирать в нем: «Друг мой, – шепчу я, – не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, и действуй силой любви, почерпнутой оттуда, и дожидайся в отважном терпении, когда голос тайный позовет тебя обернуться и принять в себя свет прямой».

Источник радости и света встретился мне на пути, но я не раз встречался так в жизни и потом скоро терял. Как удержать мне в памяти тропинку, по которой пришел

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
я сюда, навсегда?

В пении последней пчелы я слышу голос:

– Передай любимому цвет свой и возьми крест!

Тогда в этих цветисто-разукрашенных деревьях, кажется мне, складываются знакомые лица, и совершается тайна посвящения.

Выхожу на опушку леса, в поля уже дано знать о моей радости в лесу, синюют скрещенные верхи, ликуя, поднимается в прозрачность последний жаворонок. Вот по скрещенным верхам поднимаются двое каких-то, вероятно, обыкновенных людей, но как чудесно изукрашена земля под их ногами, такие тонкие зеленые кружева!

Выше и выше поднимаются, и затерялись на рубеже, поросшем муравью, в полях молодой озими.

Я малодушно растерялся перед наступающей в поле тьмой, но и тьма не могла закрыть моего радостного мира: еще не успела потухнуть вечерняя заря, как с другой стороны поднималась луна, свет зари и свет луны сошлись вместе, как цвет и крест в ярких сумерках.

Какая тишина в ярких сумерках полей! Как пустая бунчит под ногою земля, зажигаются звезды, пахнет глиной родной земли – невозможная красота является в ярких сумерках, когда расстаешься навсегда с родной землей.

Читаю теперь сон о «Чертовой Ступе» и удивляюсь, какой он вышел пророческий. Но в то время, как совершились события в Петербурге, совсем у меня было не так.

Правда, при первом известии мелькнуло в памяти детское, страшное. Помню, топот какой-то по лестнице, ближе, ближе, Дуняша вбегает: «Царя убили!»

А няня все плачет, плачет. «Чего же ты, няня, плачешь?» – «Теперь мужики с топорами на нас пойдут!» – всхлипывает няня. Я ужасно испугался, плачу так, что уж и няня, и Дуняша перестали плакать и меня все успокаивают. Я все не унимаюсь. На лестнице топот, ближе и ближе. Вот отворяется дверь. «Чего ты боишься, вот и мужики пришли», – говорит няня.

Пришел Павел ночевать в коридоре, молодой, красивый парень. Когда в глухие зимние ночи бывало нам жутко, то всегда приходил ночевать работник, и с Павлом мы тогда играли в дурачки. Страх прошел, но там, в душе где-то, осталось ужасное: «мужики придут с топорами». И через тридцать шесть лет всплыло. И опять пришел Павел, теперь уже седой, но все такой же. «Слышал, Павел?» – «Слышал, но только я верю и не верю». – «Нет, это верно, царя свергли». – «Ну, другого выберут. Тогда тоже убили и опять же царь, без царя же нельзя нам...»

Так этим, кажется, и кончилось, и день, и два, и три, и недели, и месяцы прошли, только вот маленькую заметил я черточку. Этот самый Павел с тех пор, как только нанял я его летом, добывал себе жеребенка и кормил его до поста. У него была такая мечта: выходить себе жеребенка и начать в деревне свое хозяйство. И каждый год, как приходит весна, непременно Павел постом продает жеребенка.

А теперь вот и весна пришла, а Павел все не продает жеребенка. Явился и покупатель, очень хорошо дает, – нет! «Чего же ты, Павел, дремлешь?» – «Нет, – говорит, – никак не продам, болтают на деревне, мужикам землю нарезать будут». – «Какую же землю?» – «Мало ли у нас болтущей земли!» – «Где же у нас тут болтущая земля? Везде все занято». – «Мало ли что!»

И как-то странно двойным взглядом посмотрит на нас...

Видно, уж из оврагов этой несчастной земли поднимается (презренный, ветхий?) Адам и мутит жизнь мужиков.

II. Произведения 1917–1923 гг
Иван-Осляничек
(Из сказаний у Семибратского кургана[2])

I
Семибратский курган

I

С благоверного князя Юрия начинается у нас всякая благочестивая повесть: как пришел наш князь на Ведугу и заложил город Белый, и как собрались вокруг князя семь святых отцов и начали Семибратскую обитель. Было это, говорят старики, до Иисуса Христа, во время татарского нашествия, еще при Иисусе Навине.

До князя был лес и вода. Спасались святые отцы и тогда, но в одиночку, каждый по-своему, и знали о них только хозяева лесные и водяные. В то время леший с водяным в дружбе жили. Березки стояли семьями в лесах у воды – белые, чистые, прямые пучки свечей; белая птица возле белых березок водой летит, чудится: запоздалый ангел спешит в глубину леса славить Господа. Хорошо в диком лесу, но только все это было незнато: благоверный князь Юрий еще не приходил на Ведугу. Лесные старцы жили – кто в норе, кто в лазу, кто под кокорю[3]. Тепло и ясно: сидят у реки с удочкой и по-птичьему славят Господа, а чуть что случилось в лесу – озираются, крестятся. Так и птица живет: клюнет и оглянется, клюнет и оглянется. Было хорошо на Ведуге: леший с водяным в дружбе жили.

Благоверный князь Юрий пришел на Ведугу с воинством, и захотелось ему тут отдохнуть. Воины срубили баню, князь попарился, стало ему на душе радостно. Место, где остановился князь, и теперь приятное. Ведуга, живая река, сверкает в синеве лесов, будто кажет рукой, и бегут туда со всех сторон сердитые елки, плывут молодухи-березки, лезут дубы, а она уже в другой стороне блестит: там дугой, там колечком свилась, всех обманула, спряталась под крутым берегом, уморенная, раскинулась, и грудь ее молодую, как отец, сторожит крутой берег с высокими соснами.

На этом месте, по ведужским сказаниям, отдыхал князь Юрий со своим воинством.

А пониже на реке старец спасался в лесу. Вышел святой отец поудить рыбку и видит: веник банный плывет по реке.

– Повыше житель есть, – молвил старец и пошел к верхнему жителю, откуда веник приплыл.

Да еще пониже старец жил, да еще, да еще – всего на Ведуге спасалось семь старцев. Прозорливые видели, какой это веник плывет, и знали, зачем шли вверх по реке. Старцы немудрые шли просто к верхнему жителю париться. А за немудрыми стороной хозяева лесные и водяные пошли, дивуясь: «Куда это сидячее старичье тронулось».

И собирались они все возле благоверного князя Юрия, и место, крутой старый берег у молодой реки, им всем понравилось.

Князь благословился у старцев и заложил недалеко отсюда город. Он и до сих пор сохранился и называется Белый. Вокруг города и теперь много церквей, монастырей. Со всех концов земли русской сходится сюда православный народ поклониться мощам преподобных. И хотя все церкви и все монастыри одинаково святы перед Господом, но люди превыше всех почитают обитель Семибратскую.

В наше время леший с водяным раздружился, увел лес в сторонку, и Ведуга одна бежит под голым берегом. Но бывают годы, когда водяной хозяин так разыграется, что забудет старые счеты и пожалует к самому темному лесу. Тогда на всем этом море воды виднеются три близкие острова: на одном стоит городе Белый, на другом – Семибратский монастырь, на третьем – Юрьево – село со старинной барской усадьбой князей Юрьевых.

Юрьевы от благоверного князя Юрия ведут свой род. В этом самом Юрьево, будто бы, жил древний князь не отдельно от святой обители и своего города, как теперь живут, а все это было тогда: и Юрьево, и город, и монастырь – один великий святой город Белый.

Теперь только лунною ночью, когда в собственных тенях скроются новые стены, и новые окна, и новые крыши, и новые люди уснут и загасят новые огни, оживает древний великий город: видны зубчатые стены, башни, церкви, и у Семибратского монастыря над курганом, над высоким священным дубом собираются звезды и словно молятся там.

Холм, Семибратский курган, высится над могилой благоверного князя. Тут, на том

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru самом месте, где он встретился с семьей старцами, схоронили его в золотом гробе. По горсточке земли каждый из жителей великого города принес на могилу, и так вырос этот большой холм, Семибратский курган, над могилой благоверного князя. И дерево, священный дуб, стоит теперь на кургане так высоко, что лунною ночью, кажется, верхушкой неба касается. Дерево заповедано; когда упадет, разроют курган, достанут гроб князя, будет свету конец.

Печальный край теперь все нагорье Ведуги. Леса и признака нет. Березка, оставленная для обсеменения, растет на голой земле бесплодной смоковницей; где-то в чистом поле еще подымается низко деревцо, но вот уж много лет не поднимется: овцы макушку скусывают.

Возле низеньких древних стен и церквей города Белого нынешние высокие церкви и дома кажутся почему-то маленькими и так, будто город живых, маленький город – лишь островок в море покойников. С седыми башнями страшно встретиться днем: вот-вот упадут. Тут в развалинах живут теперь старухи-мокрицы с белыми, тусклыми глазами. Падают со стен кирпичи, мокрицы копошатся, но не пугаются, не бегут.

– Божья воля, – шамкают старухи; – чему быть, тому не миновать.

Старый дуб на Семибратском кургане весь изгрызен православным народом: священное дерево от зубов помогает. Со всей земли сходятся крещеные люди и, у кого зубы болят, грызут старое дерево и с собой на случай кусочки захватывают. Ближко время, упадет заповедный дуб, разроют курган, достанут золотой гроб князя Юрия, и будет Страшный Суд.

С той стороны Ведуги, из лесов, бывает, выходят люди в лохмотьях, с горящими черными глазами и грозят, поднимая двуперстие:

– Эй, будете гореть в печи огненной!

– Мы и здесь горим, – спокойно отвечают пророкам.

– Эй, близко время, покайтесь!

– Один конец, двум смертям не бывать.

Высох старый Адам под своей соломенной крышей и Божий страх забыл, и заповедь: «В поте лица твоего обрабатывай землю». Земля разбита на мелкие полоски и нет охоты ее обрабатывать: все равно не прокормит. И, кажется, непрошенный явился на эту землю Адам: земля уже до него занята.

Но лунною ночью, когда в реку Ведугу спустится от месяца золотое веретено и закружится от перебегающих по нем зыбулек воды, город Белый – снова древний, славный город. Сторожевые башни и грозные бойницы высятся над Ведугой; в крепостной стене, как свой отдельный святой город, собираются церковные главы с золотыми крестами. Звезды спускаются и кучками у золотых крестов служат свою лунную всеночную.

Семибратский курган лунною ночью поднимается высоко над Ведугой, и старый дуб на нем ветвями словно неба касается. Не вместе ли с древним князем Юрием, зарытым в Семибратском кургане, молятся лунною ночью звезды, собираясь у золотых крестов? Не о нашей ли печальной земле молятся звезды и просят Бога дать ей нового великого князя?

Лунною ночью лес из-за Ведуги подступает к реке, и лесовой хозяин, дед с серебряной бородой, лапти из лычка плетет у реки. Когда облачно, звезды бегут за месяцем, и он, шая с ними, укроется в уголку небес, – потухают, как свечи, золотые кресты, будто за древней стеной звезды окончили службу в собор. Деду становится темно у реки лапти плести, старый поднимает голову, ищет месяц и приказывает:

– Свети, светило!

Месяц покажется. Золотое закружится веретено. Дед опять плетет лапти, и звезды по-прежнему у золотых крестов служат свою лунную всеночную.

Город Белый лунною ночью – замороженное царство принцессы, наколовшей пальчик о

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
золотое веретено. Но кто полюбил город ночью, сильно полюбил, тому и днем хорошо. Когда заря занимается, не тот ли это самый ночной серебряный дед едет на возу сена по заливному лугу? Переехал дед луг. У чугунного моста его собачка на возу затявкала, а из леса отзывается другая собачка. Деду чудно, останавливает лошадь, смотрит на лес и смеется. От зари нос у деда краснеет, а нос у него попугайчиком, и на самом конце торчит пучок рыжих волос. Собачка тьякает, лесной дед ухмыляется и чешется волосатой щекой о плечо.

– Чего ты, дедушка? – спрашивает рыбак, водяной дед.

– Как чего? Слышишь, – говорит лесовой, – моя тьякает, а там лесовая собачка откликается. Чудно!

Заря колыхается, и по мосту через Ведугу едет дед вовсе красный. А на воде не те же ли древние ночные суда плывут теперь ласточкой, распустив паруса? Этот кормщик деревянный, вырезанный с рулем из одного куска, это женка с бронзовым, чуть прикрытым телом: он управляет, она, помогая ветру, ступает по берегу бронзовыми ступнями и, шутя, ведет судно-ласточку. Не из того ли ночного царства принцессы все эти люди, суда, река, этот базар возле древней стены с грозными бойницами? Смотришь, смотришь на все это, и так хочется днем рассказать о том, что привиделось ночью.

II

Юрьевы от благоверного князя Юрия ведут свой род. Поднять бы старого Гурьича, вот кто рассказал бы о прежней славе и богатстве этих князей. Но Гурьич теперь далеко от нас, и когда нынешнего деда спросишь, отвечает одно: «Поднять бы Гурьича!»

Было время, когда площадка садовой террасы словно отдыхала на окружающих ее клумбах цветов и на ней, как на троне, сидела княгиня и знала только цветы. Князь тогда часто бывал в халате и с трубкой в руке на балконе, с другой стороны дома, на красном дворе. С черного двора на красный выводили породистых кобылиц и Марса, славу Юрьева и всего света. Гурьич был тогда мальчиком на конюшне и все просил конюхов дать ему почистить Марса, но конюхи опасались и не допускали мальчишку. Только уж когда Гурьич стал конюхом и даже сделался первым человеком на черном дворе, мог он и чистить, и кормить, и поить, и выводить Марса с кобылицами к господскому дому. Но радости мало было Гурьичу: Марс в то время на ноги сел, и кобылицы стали не те. Конец Марса был поворот в истории рода князей Юрьевых.

– Эра! – говорит теперь юрьевский батюшка, вспоминая те времена.

Раньше князья занимались лошадьми и хозяйством, а княгини сажали цветы. Теперь же княгини из сада вышли на балкон и стали хозяйствовать, а князья в саду занимались цветами. Что там вышло в господском доме, отчего стало так, неизвестно.

– Чужая тайна грудью крыта, – говорит юрьевский батюшка, не в силах объяснить это событие; но помня, что Марс кончился около этого времени, многозначительно устанавливает:

– Эра!

При барыне рассыпали стену между красным и черным двором, срубили старые ивы, и все стало видно, что делается и на красном, и на черном дворе, и на деревне, и на полях, и на лугах. Княгиня все замечала, все считала, сама объезжала поля, сама секла ленивых мужиков и сама щупала кур. Тяжелые времена наступили для крестьян села Юрьева!

Гурьича жизнь до седых волос прошла так, что вспомнить добрым словом можно было ему только время, когда Марса почистить хотелось и добрый князь на балконе сидел.

Старый князь жил и во время гонений, но был словно в плену у княгини, к людям из сада никогда не выходил и даже спал там, в беседке. Думали, князя уж больше никогда не увидим, и что настал конец ему, свет переделался, началось бабье царство, и время рождения антихриста от седьмой девицы исполнилось. Но вдруг показался князь на балконе в орденах и с лентой через плечо.

– Запрягите моего лучшего жеребца в навозные сани, – вымолвил князь, – гоните гонца по всем моим деревням в пусть кричат: «Вольные, вольные!»

Марса не было. Заводских лошадей княгиня перевела и оставила только рабочих. Но молва скорее коня разнесла всюду княжеское слово. Замутился крещеный народ и весь собрался к господскому дому.

– Вольные! – объявил князь с балкона своему народу.

Поклонились люди, со слезами припали к земле, как в церкви, когда выносят св. Дары. А когда, умиленные, подняли головы, на балконе вместо князя стояла сердитая княгиня и показывала народу свою голую ладонь.

– Когда шерсть на голой ладони вырастет – будете вольными! – сказала княгиня и прогнала всех со двора.

Но воля все-таки вышла, и поговаривали, что шерсть у княгини на ладони стала показываться и что князь выходил на балкон опять в орденах. Тогда не мужикам, а чужим людям продала княгиня всю свою землю, оставила себе сад и Сердечко, самый лучший клочок земли. Мужикам дали Глинище, и воля стала пуще неволи.

Показались признаки близкого светопреставления. За Ведугой леса обмерили, в самых глухих и темных местах пролегла цепь антихриста, чугунок огненной змеей пробежала в славном древнем городе Белом, и телеграфные проволоки опутали весь свет.

Из лесов в нагорье Ведуги пришли какие-то люди в лохмотьях, с горящими глазами и, поднимая двуперстие, говорили:

– Свету конец!

– Слава Тебе, Господи, – отвечали пророкам.

– Настало время, покайтесь, близок час, упадет дуб, откроется гроб князя Юрия!

– Дай-то, Господи, а то уж наши-то князья ни на что не похожи стали: бабы из них поддевки шьют.

Услыхал старый князь о близкой кончине мира, или сам прочитал в родословной книге, или вспомнил, что Юрьевы от благоверного князя Юрия ведут свой род, – князь в последний раз вострепнулся и вышел из сада. И пришел князь на то самое место, куда некогда благоверный князь Юрий пришел со своим воинством.

Прежняя молодая Ведуга бежала под берегом, и старый берег был, как отец, над ней. Сел князь на кургане под сенью священного дуба и задумался.

– На сто колов! – прошептал ему голос.

Князь обернулся. В пустом дубу сидел монах с кружкой. Перекрестился князь, положил в кружку денег.

– На сто колов! – ответил монах.

Князь о чем-то догадался, мысль свою достать золотой гроб князя Юрия оставил, вернулся опять к себе в сад и скоро преставился. Завещал князь похоронить себя возле беседки в саду, но княгиня и тут по-своему сделала: схоронила она князя на сухом месте в церковной ограде, обнесла могилу золоченой решеткой, поставила мраморный памятник и скоро, устроив свои дела и передав их молодому князю, легла рядом со стариком.

Гурьич был веселый, прибауткам и всяким безделушкам у него счету не было, наговорит мех и торбу, насыплет короба всяких присказок, да и ругаться примется, тоже, бывало, не найдет себе стрешника. Но перед концом и у Гурьича все стало отходить, таял, изнывал как черный слежавшийся старый снег весной. За день до конца Гурьич слез с печи и потихоньку куда-то ушел. Хватились, бросились искать и нашли его уж далеко в поле, куда-то скоро, скоро шагает.

– Куда ты идешь? – спросили старика.

– Домой! – сказал Гурьич. – Куда же мне больше идти? – удивился даже, что спрашивают. – А вы куда думали? Домой иду.

Все тут и поняли, что Гурьичу конец настал. Привели его домой, одели, положили в красном углу, причастили св. Тайн. Гурьич, уже причастившись, лежа, поймал рукой за ушко поросенка, попросил ножик и сам зарезал.

– Помяните меня! – сказал Гурьич, показывая на поросенка. И кончился.

II

Бабье царство

Бабье царство настало после старого князя и Гурьича. Мужья стали уходить на сторону, а бабы править мужской работой: пахать, сеять, косить. Пашущих баб в нагорье Ведуги стали звать распашонками.

Сойдутся теперь два старика, нагорный с низинным, и бывает у них разговор о земле, о лесах, о дорогах, о скотине, о корме, о хлебе.

– У нас, – говорит низинный дедушка, – земли светлые.

– А у нас земли темные, – отвечает нагорный старик.

– У нас от леса луга заросли: там кочка глядит, там можжевельник растопырился.

– А у нас луга чисты, лес сведен, земля голая. Народ у нас выбитый: мужья разошлись, остались бабы, старый да малый.

– Так Господь жить не наказывал.

– Не складывается по-Божьему. Мы не вольны, живем, как горох при дороге.

Говорят старики меж собою и сами посматривают на благоухающий сад юрьевской усадьбы, как, может быть, и первые люди смотрели на потерянный рай. А в старом саду пустые стволы и в пустых стволах муравьиные кочки. Идет молодой князь между пустыми стволами, из дупл, как грехи, вылетают черные птицы, соловьи поют, но голоса их, как воспоминание, сон, и сад – не сад, а сонное видение.

Князь садится на лавочку, и чудится ему, будто подходят старые деревья с пустыми стволами, окружают лавочку, опускают ему на плечи огромные свои корявые ветви. Озирается вокруг себя князь, и деревья тихо расходятся. Князь встает с лавочки, и деревья с тихим шепотом провожают его до дому, ожидают его у окон, подкарауливают, протягивают на крышу свои старые ветви; и пилят пилитьщики, и поет сверчок.

Загорается у князя наверху огонек и долго ночью желтой звездой светит в темном саду. В старых книгах читает молодой князь о том, как пришел благоверный князь на Ведугу, и как веник плыл, собирая святых отцов, и о кургане, и о пророчестве: последний в роду Юрьевых достанет гроб золотой, и тогда будет конец.

Светится желтая звезда в саду. Смотрит на нее Стефан, сын Гурьича, и хриплым басом в тишине разговаривает со сторожем.

– Наш князь хороший, простой, только тут... – касается лба Стефан и скажет:

– Наш князь с максимцем.

Живет Степан в двух полосах; трезвый – золотые руки, пьяный – бешеный и никуда не годится. Князь не пьет, но тоже двойной. То добр, прост, все раздает и во всем каждому встречному открывается.

– Все ваше, земля – Божия! – говорит в эти дни князь мужикам.

Обежит молва о Божьей земле село, собираются на сход мужики, начинают землю столбить[4], а князь уж в другой полосе: ходит по хозяйству, все считает, все метит, записывает, бранит лентяев: вылитая мать!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Захлебнется! – знают вперед мужики, чем все это кончится.

Подговаривают Сережку-барина выкинуть штуку. Барин положит камень в молотилку так, что все зубья из барабана вылетят, или у жеребца причинные места скипидаром вымажет: мало ли что может сделать Сережка-барин. Князь вспылит, изругает, изобьет барина, задрожит и уйдет.

– Захлебнулся! – бежит радостная молва по селу. Запирается молодой князь у себя, наверху и снова читает о пророчестве: «Последний в роду Юрьевых достанет золотой гроб князя Юрия, и тогда будет свету конец».

– А если я – последний?

Жутко подумать о кончине света, когда в темные окна лезут верхушки старых деревьев, и ночные головастые бабочки тукаются в стекло, и где-то между огромными: черными стволами зарница блеснет; кажется, вот загорится небосклон на краю, вот оно-то начинается, о чем не у нас решено. Вырваться? – не вырвешься, крикнуть? – никто не услышит. Беспокойные насекомые стучатся в окно – жить хотят, – а сверчок поет, словно давно уже все окончилось и он после того поет.

– Последний в роду, – думает князь и слушает, как виноватый, во всем последние звуки.

Пустует пустушка в сыром саду, квакает квакушка в пруду, ухает ухальница в сажелке, затонница в затоне, букает булальница, и турлушка вечную трель ведет, выходящую из самых недр темного омута. В этой трели турлушки есть что-то святое, какая-то светлая точка есть на дне темного омута, где словно собраны все грехи.

– Последние будут первыми, – вспоминает князь всегда, когда видится ему светлая точка, – все они были, чтобы создать меня!

С радостной улыбкой оглядывает тогда молодой князь собранные им старинные вещи: на стенах висит славянское и варяжское оружие, древние иконы, пронзенные татарскими стрелами и одежда славянского князя: светло-голубая ферязь, малиновое оплечье, шлем самого князя Юрия.

Последние будут первыми. Молодой князь спасет свой народ, он отроет золотой гроб благоверного князя, и пусть тогда будет этому свету конец!

– Захлебнулся! – бежит радостная молва по селу.

И спешит народ к усадьбе: кто луга травит, кто выдергивает молодые прививки в саду, кто, как мышь, сверлит стену амбара и спускает зерно.

Так скоро все княжеское добро пошло бы прахом, и настал бы конец князьям Юрьевым и конец всякой повести.

Вдруг Бог послал избавление и спасение княжескому роду от гибели. В Семибратский монастырь из чужих стран приезжала православная царевна помолиться Богу. Царевна отговела страстную, а на Пасху город Белый устроил большое торжество в честь заморской царевны. Благочестивая царевна пожелала во имя одного святого дела соединить на торжестве все сословия, в особенности дворянское и купеческое. Сама, не гнушаясь никем и не брезгуя ничем, ради хорошего дела, православная царевна объезжала мещанские, купеческие и дворянские дома, приглашая всех к доброму делу. Так приехала царевна и на Сборную улицу к Плещихе, в большой белый каменный купеческий дом. Старая Плещиха живет наверху, а внизу у ней за решетками сидят девки-поганки и трут табак. Бывает, разыграются девки, окно забудут закрыть, ветер подхватывает табак, и вся Сборная улица чихает.

– Вы чего, девки-поганки, развозились! – крикнет сверху Плещиха.

Окна закроются, но не скоро уляжется табак, и чихает всякий прохожий, кто любит табак и не любит. А многим, многим хотелось бы постоять около плещихино дома. Красавица-сирота жила у Плещихи, как замарашка у Бабы-Яги. Кто видел тяжелую черную косу на девичьей груди, как она спускается, спускается...

– Богиня! – вздыхал образованный.

– Сорок конфеток стоит! – облизывался простой человек. Но кто бы ни был, ученый-разученый, богатый и бедный, родовитый и простой, все равно: вздохнув о красавице – чихнет.

– Будь здоров! – со смехом провожают его табатёрки.

Царевна приехала к Плещихе по делам православия, пленилась красотой сироты и позвала ее непременно к себе.

Сирота не ударила в грязь лицом, а тут же попросила царевну быть на балу ее чепчиком.

– Шарегон? – догадалась умная царевна, – я очень, очень рада быть вашим чепчиком[5].

В пунцовом тарлатановом платье, давно уже вышедшем из моды в других краях, сирота заткнула за пояс всех красавиц, одетых в модные платья. Князь Юрьев увидел на балу красавицу, и замарашка в один миг стала княгиней.

Взялась молодая княгиня за хозяйство в Юрьеве. Не через пень в колоду, не по-княжески работала. И отступили заросли терновника, шиповника, крыжовника и татарника от старого дома. На треснувшие пустые стволы легли железные скрепы. Речным чистым песочком золотились дорожки в саду.

Простились мужики с надеждой завладеть господской землей, но таковы мужики: что бы ни было, уважают хозяйство.

– Царь-баба! – назвали княгиню.

Женатый князь перестал думать, что он последний в роду и должен спасти народ. Передав все хозяйство молодой княгине, он сделался начальником города Белого и человеком стал.

III

Сухая весна

Князь-начальник полюбил город Белый какую-то лунной любовью: прекрасно ему все древнее, новое унизительно дурно. А вовсе не плохо бы посмотреть ему ранней зарей, как сходятся по белым тропинкам и съезжаются по белым дорогам в базарный день: всякие здешние босомыки и заречные лесные бороволоки. Приезжает дед с лесовою собачкой на сене, старый, нос попугайчиком, с пучком рыжих волос на конце.

Осенив себя двуперстным крестом, дед становится в сенном ряду. Слетаются птицы, сходятся, съезжаются со всех сторон люди. Пахнет от босомык деду-бороволоку махоркой – он поморщится.

– Чурки, бревна! – ворчит дед.

Ко всякому слову бороволок говорит свою присказку, и хоть за сто верст от Белого помяни «чурки-бревна», вспомнят деда с пучком волос на носу и с лесовою собачкой на сене.

Бороволоки, помоложе годами, съезжаются за это время с заречной стороны из Боровинки, где земля светлая и хлеб не растет, зато много травы и лесов. Едут с гор, с темной земли босомыки, огурщукки, зимогоры, везут зерно и картошку. Приходят рассольные старухи, что весь день, как неживые, сидят над кадушками с огуречным рассолом и повторяют одно только свое: «Огурчики соленькие!». Приходят бабы качанные, укропные, солопницы, замочницы и те, что последний крест, последнюю икону выносят: этих сторожит старуха базарная, Тараканница, и скупает у них старье. В том углу, где сидит Тараканница, сходятся все рискунцы, что сами за свой страх и риск промышляют: идет кандидат, пишет прошения, профессор отгадывает по оракулу. Идет зачем-то Сашка-поездошник, что грабит в поездах. И, оставляя за собой следы лошадиных подков, в пятипудовой чугунной шляпе и с пятипудовым медным посохом, в белом, шитом из паруса балахоне, приходит и неподвижный, как огромный снежный болван, стоит весь день посередине базара Яша – Божий человек.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Возле древней стены города Белого закипает люд: кто рассказывает зачем-то чужому человеку всю жизнь свою от младых ногтей, кто слушает, кто приглядывается, кто торгуется, кто ругается, кто крестится на видные через бойницы золотые кресты древних церквей.

Тот же самый базар, на прежнем месте, что и в те времена, те же поросшие теперь кустарником и мхом древние стены, те же церкви, та же у старого берега молодая, сильная Ведуга бежит.

После обеда на базар приходит и сам начальник города Белого, высокий худой князь с длинными усами и рассеянным взглядом. Руки у начальника всегда лежат назад, а шинель поверх рук спускается хвостиком. Князь идет, натывается, знакомых не узнает, незнакомым вдруг поклонится так приветливо, что хвостик шинельный болтнется. В праздник с князем идет Царь-баба; она князя одергивает, направляет, подсказывает, кому кланяться. За князем и Царь-бабою идут господа, их зовут на базаре гужеспинники. Черный мохнатый чужеспинник – это тот, что весь день сидит в Правлении и глаз не поднимает, – пишет и пишет. Раньше думали: он много работает, труженик, а оказалось – он так сидит. Второй княжеский друг – худой, голова толкачиком, лицо тонкое, словно из бумаги вырезано, а усы толстые и прозвище чужеспиннику – Полюй Сучок. Третий друг – молодой, сын богатых родителей, ничего не признает, ни на что не глядит, идет и свистит на все ветры. Царь-бабе до них дела нет, она смотрит за одним только князем.

Лунною ночью, гуляя по улицам древнего города, князь-начальник полюбил древний каменный город и днем, узнавая его в старинных вещах, подходит к Тараканнице. У зябкой старухи и в теплое время стоит горшочек с углями, а в зимнее время пар столбом валит от Тараканницы. У кого спичек нет, подходят к теплой старухе закуривать, и она достает из-под юбки красный уголек. Там в тепле у Тараканницы хранятся и всякие древние вещи. Только божественное старуха держит в ящике-столе напротив себя.

– Никола Угодник, Божья Матушка, обоим вместе более тысячи лет, ровесники! – предлагает старинные иконы Тараканница.

– Дай луковицу! – требуют чужеспинники. Протирают луком черную икону, яснеет Никола Угодник: могучий лоб, плешинка, кудерки седые, глаза милостивые, прекрасные.

– Хорош Никола! – шепчут друг другу чужеспинники.

– Чем хороший? Тараканы съели, – нарочно громко говорит Царь-баба.

И цену сбивает. Не будь княгини – нищим ушел бы отсюда князь.

Там под капустным листом – крест византийский, там кровавый сверкает на солнце рубин, там голубые перегородчатые эмали, какие-то очи из той страны, словно дневные звезды, воспоминания о больших ночных звездах.

Есть какая-то лунная отравка в этих старинных чудесных вещах, укрывшихся на площади, окруженной санными и дровяными возами.

– Почем дрова, почем сено? – спрашивает Царь-баба, а князь, как отравленный, как заколдованный, встречается глазами только с эмалями.

Княгиня спешит вернуть князя сюда, в этот обыкновенный мир: князь мог бы и тут любоваться солнечным светом, душистым сеном, зелеными пирамидами овощей и золотистыми бородами бороволоков. Но князь не хочет возвращаться домой, спорит, как маленький, и с помощью друзей увлекает княгиню к седой башне, где, по сказаниям, есть ход из крепостной стены в Семибратский курган.

Седая башня, насквозь пробитая ядрами, стоит у начала подземного хода среди целого поля, засыпанного обломками другого какого-то огромного здания. Обломки под ногами, словно грешники скрежещут зубами. Испуганный, под сводами уцелевшего алтаря филин мечется, летит к отверстию, ошибается, ослепленный солнечным светом, летит к другому окну и бьется у железной решетки. В алтаре на земле есть черная ямка: это бродяги кашу варили, а некогда на этом самом месте престол Господний стоял. В церкви, где когда-то народ собирался, теперь стоят кусты бузины, березка белая, стройная посередине между ними, словно венчается, и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
корявые, скрюченные, низенькие, но старые осинки в притворе шепчутся,
вспоминают, как некогда их бабушка тоже венчалась тут.

Очарованный каким-то видением прошлого, стоит на этом месте князь и видит ему
только видные образы.

– Тут должен быть ход в Семибратский курган! – говорит князь.

– Ну и Бог с ним, что ж тут хорошего? – отвечает княгиня и уводит князя на
мостовую обыденного города Белого.

И так год прошел и два, и три. Бог все не давал князю наследника.

– Царь-баба проста ходит, – осуждали мужики княгиню, – живет, как почка в жиру.

Князь снова и сильнее прежнего задумался, а в городе говорили о задумчивом
князе:

– Начальник ретивый и добрый; всем хорош, только чуть-чуть с толоконцем.

В городе не винули княгиню в бесплодности.

– Наш начальник с максимцем! – говорили о князе. – Это все он.

Сказать, что значит «с максимцем», никто бы ясно не мог, но только не винули
княгиню.

И еще прошел год, и еще, наследника не было, имение росло и росли у князя с
княгиней несогласия.

Бывало, молча едут из города в Юрьево, только пока гремят колеса по грубым
мостовым. Но только выехали за город на мягкую полевую дорогу, княгиня
придирается к чему-нибудь и начинает князя пилить. Она цепляется за все, что
только видит, слышит, мучится сама, стараясь ухватиться за что-то главное,
отчего бы князь вдруг взорвался и весь оказал бы себя, но главное не дается
княгине. И так едут они, пленный князь и молодая княгиня, ожидающая сильного
ответа на свои бабы слова. Но князь все молчит и молчит. Обоз, представляется
князю, идет обоз по накатанной дороге, а пролетка скачет по камням и вечно будет
скакать и никогда не обгонит обоза.

Князь вдруг начинает рукой крутить, будто вертит маслобойку за ручку.

– Что с тобой? – на минуту обеспокоенная, спрашивает Царь-баба.

– зуб ноет, – притворяется князь. Помолчат немного, и опять она пилит.

– Барин, – хочет и не может сказать Стефан, – барин, да что ты молчишь, что ты
смотришь на бабу, побей ты ее!

Поднять бы старого Гурьича, посмотрел бы он вокруг себя на эту голую землю, на
баб-распашонку, на деловитую княгиню, задумчивого князя; вздохнул бы старый
Гурьич и осудил:

– Слаб стал человек, князь землю осилить не может. Землю возьмешь в руки –
хорошо, она возьмет тебя – худо, и тошно на человека смотреть!

Трезвый Стефан – золотые руки: он и кучер, он и конюх, и сторож, и староста.
Пьяный Стефан – весь в дьяволах. Не любила княгиня пьяных и давно прогнала бы
Стефана, да ничего не поделаешь: нет мужиков, все на стороне, одни бабы в
Юрьево, старые старики да малые дети; бабы сеют, бабы пашут, бабы косят, но за
кучера никак нельзя посадить распашонку.

Пьяному с каждого порога дорога: чуть выпил, идет Стефан, играя грязным пальцем
на пьяных губах, к барскому балкону.

– Полтысячи лет! – приветствует он от всей души барыню.

– Здравствуй, Стефан, – притворно кротким голосом отвечает княгиня.

– Еловый сучок! – продолжает Стефан.

– Какой это сучок?

Сучок, а вот какой сучок...

Марфа, жена Стефана, смотрит беспокойно из окошка людской, как муж с барыней разговаривают, выходит, копается возле чана с дождевой водой, словно не замечает, и когда уж барыне станет невмочь, бросается к мужу и уводит его по не зарастающей, вечной тропинке от балкона к людской, к деревянному домишке под черепичной крышей. К полудню Стефан забирает силу над Марфой, к вечеру муж бьет жену.

– Шумят, – говорят прохожие, – черт проехал на дикой козе!

Ночью избитая женщина ставит тонкую свечку перед Иваном-Осляничком: он сымет обиду.

Иван-Осляничек был святой, лицом, как ангел, прекрасный, хотел смирить себя и выпросил у Господа себе звериное лицо, ослиное. Ему, святому со звериным лицом, снимающему обиды человеческие, хочет поставить женщина свечку, а рука то тянется к заступнику, к Ивану-Воину. И падает Марфа, и часами лежит, неподвижная, темная в свете лампы, темная от обиды, бьется, пока не поставит свечку и Осляничек обидящий не сымет обиду, и станет на душе радостно.

В забытии приходит к Марфе Богородица, хорошая, ласковая женщина, и, показывая дитя, говорит ей тихим голосом:

– Марфа! – говорит Богородица, – будет тебе искушение – ты не искушайся и будут обиды великие – не обижайся: поставь Ивану-Осляничку обидящему свечу – он снимет обиду твою.

Успокоенная, засыпает Марфа. Засыпает без Стефана сторож, прислонившись к дровам; засыпают псы, свернувшись калачиками в ямах, вырытых курами. Вот когда, в ночной тишине, из-под соломенных крыш выходят на свой жалкий промысел возле господской усадьбы люди, похожие на изгнанных и проклятых Адама и Еву. У него – пила, у нее серп и мешки для травы. Голодным людям раем кажется житье в этой княжеской усадьбе, но первых людей манит не украшенная высокими деревьями и цветами земля, а голая: им нужен хлеб, трава скоту и топливо.

Тихо крадутся голодные люди к пустому раю; за ними на привязи идут животные. Прежние громадные деревья в раю, звезды блещут, соловьи поют. Озираются первые люди на единственный огонь в старом доме – большую желтую звезду. Он тихо пилит, она осторожно рвет траву и набивает мешки. Животные в ночной тишине мягкими губами захватывают сочную траву и слышно жуют.

Разгорается желтая звезда между черными стволами, чья-то тень медленно движется от стены к стене, останавливается, виднеется протянутая рука...

Это благоверный князь Юрий выводит в защиту своего народа полк за полком на городскую стену. На голове у князя мягкая шапка с узорчатым верхом и соболиною опушкой, на плечах узорчатая мантия, под нею светло-голубая ферязь с зеленым оплечьем. В руке у князя золотой Сион, украшенный драгоценными рубинами.

Эту протянутую руку с Сионом видят из сада Адам и Ева и озираются в страхе, но это не Божий страх. И если бы Сам Господь среди ночи вдруг явился в сиянии и воскликнул: «Адам, Адам!» – он испугался бы не Божьего голоса, а света: увидят при свете злые люди, оберегающие рай. Им кажется, не ангел с мечом остерегает рай, а злой человек.

До утренней зари горит желтая звезда, и выходят полки на крепостную стену, и под стрелами врага невредимые плывут над толпой чудотворные иконы. С утренним светом все исчезнет. Это не древний князь Юрий ведет свой народ, это наверху, в господской усадьбе, в комнате, увешанной старинным славянским оружием, из угла в угол, в раздумье о прошлом, ходит последний в роду Юрьевых. А в саду, на лугу и на полях не Адам и Ева пришли в потерянный рай, а простые мужики-босомыки и бабы-распашонки со своим скотом обложили со всех сторон княжескую усадьбу.

На рассвете, до солнца, без седел на острых хребтах лошадей, орошенные, холодные, как трава, озираясь, с припасенными за пазухой камнями, едут старики. Женщины идут потихоньку с мешками травы, прячась за ветки, за кусты, готовые чуть что покажется, бросить добытое и бежать без оглядки, как спугнутые козы.

Наступает дельное утро в господской усадьбе, и раньше всех через белые столбики выходит большая красная корова и уводит за собой стадо сытых коров. Пастух идет за коровами, весь заплатанный, и хлопает длинным арапником. По вечной тропинке из людской на скотный двор идет Марфа, за нею Стефан; его плечо и ее соединены жердью, и на жерди висит ушат. У колодезя с большим кругом они останавливаются. Он вертит круг, она ловит худую бадью; спешат, пока не успело все вытечь, опрокинуть в корыто. Сливают бадью за бадьей в корыто и потом наполняют ушат и снова, соединенные жердью, уносят ушат по вечной тропинке и снова несут его пустой. Распашонки ведут к корыту поить лошадей, запрягают, едут в поле, и двор пустеет. Кружатся ласточки, выходят на солнышко куры ямки копать. Соединенные жердью, еще долго ходят Стефан и Марфа по вечной тропинке.

– Уехали? – слышится с балкона голос проснувшейся хозяйки.

– Давно уехали, – отвечает Марфа.

Торопится хозяйка: без нее не будет дела; тут нет своей воли, все так устроено, чтобы рай зеленеющий и расцветающий с птичьими песнями – забыть; все так заведено, чтобы хозяин сошелся со всем, как навоз, удобряющий землю.

– Галка засиделась, – жалуется Марфа на курицу.

– А Стефан?

– Бог милует: утро держится, что вечер скажет. Солнце вышеет. Белые струйки поднимаются от темной вспаханной земли. Княгиня спешит туда, в марево: там она – распашонки пахут, нет ее – сидят и болтают. Межами, бороздами ходит по вспаханному полю княгиня. Там рукою землю потрогает: не суха ли, не сыра ли, рассыпается, мажется... Там ощупает на свежей, мягкой земле ногой твердый орех и крикнет на распашонок. В белых, колеблющихся струйках земли, между черными птицами, идущими за сохой, она сама, как большая темная птица, и черные глаза ее, проникающее в землю, – птичьих глаза.

Была сухая весна. Земля распаренная, жаркая, отдавала последнюю влагу солнцу белыми струйками; напрасно ожидала эта сильная земля пахаря с плугом: бабы чуть ковыряли ее сохами. Где-то плачет дитя, оставленное на меже; мать не слышит, ведет и ведет длинную мелкую борозду: не столько пашет, сколько птиц кормит червями. Закричался ребенок; довела борозду мать, вынимает грудь – молоко перегорело. И растет дитя больное, слабое, и на поле колос вырастет мелкий на тонкой, длинной солоmine – колос-зажмура, что все вверх глядит и на Бога обижается.

Сухая весна, когда не от теплых весенних дождей растает снег, а только от горячего солнца. С осени сухая земля весной сразу поглотит всю влагу: не было весенних ручьев, не было широкого разлива, была сухая весна. Близко около полудня, когда все дрожит, колеблется, соединяется, разъединяется в мареве, княгиня возвращалась домой по меже, разделяющей землю господскую и крестьянскую. Впереди марево создало море, и над ним парила в воздухе единственная березка с обкусанной макушкой. Ребенок где-то плакал, сверкала палица пашущей женщины.

– Где это плачет дитя? – подумала княгиня, но море расстилалось перед ней, и все закрывало и все уродовало весеннее марево.

Пашущая баба крикнула на лошадь, но слово не раздалось, а глухо кануло вниз; княгиня обернулась туда и увидела дитя. Сверкая палицей, подходила соха, остановилась возле ребенка. Лошадь изморенная прямо в оглоблях легла, и глаза ее от солнца красными кровяными шариками горели на темной земле.

Мать стала кормить дитя, и оно успокоилось и улыбнулось княгине.

– Отдай мне мальчика, – любясь младенцем, сказала княгиня. – Отдай мне его. Мой, мой! – играя с ребенком, говорила она. Распашонка смеялась, довольная.

– На что тебе ребенок. Отдай мне, – повторила княгиня.

– Как на что? Вырастет – кормильцем будет.

– А девочку отдала бы?

– Нет, и девочку не отдам.

– На что же тебе девочка?

– Как на что? Ведь и наши матери были девочками.

Княгиня хорошо знала распашонку: артельная баба рожала частых детей от разных отцов; родит, покормит немного, завихрится – и опять родит, и опять завихрится.

– Да куда же девать их будешь, как будут жить они?

– Подрастать будут и отходить, а другие, Бог даст, опять будут рождаться, подходить и отходить, так и пойдет.

И улынулась распашонка, артельная женщина, медными, едва сгибающимися щеками, а глаза были веселые и стыдливые.

«Подходить и отходить, – удаляясь, повторяла княгиня, – завихрится и опять: „подходить и отходить“».

Море исчезло куда-то, березка, парящая в воздухе, стала на свое место, показался знакомый и глубокий длинный овраг через все крестьянское поле. Весенняя вода из года в год размывала эту темную землю до красной глины и глубже, все глубже, – теперь овраг глубокою, какою-то бесстыдною щелью был на этой темной земле. Ива стояла у края оврага и, расщепленная молнией, упала с этой стороны на ту сторону, и на темной мягкой земле к этой иве уже легла белая, твердая тропинка: по иве овраг переходят. Ива лежала и зеленела. По расщепу этой упавшей, но все еще зеленеющей ивы княгиня хотела перейти овраг. Вдруг ей показалось: в этом овраге между камнями и вывороченными корнями упавшей ивы было что-то человеческое...

Белым полднем, когда в весеннем мареве все колеблется, мысли тоже двоятся, троятся, соединяются, разъединяются. Но теперь они вдруг соединились у княгини в одном ясном желании: дитя нужно иметь, все равно какое, свое или чужое, красивое или уродливое, и может быть, лучше уродливое, здоровое или больное, и может быть, лучше больное.

– Вот мое счастье! – прошептала княгиня и стала, цепляясь за камни, спускаться в овраг. На дне его весенняя вода оставила только слякоть, повыше был камень плиткой и над камнем другой камень – торчком; на камне-плитке, покрытом мягким, высохшим илом, под тенью другого камня заяц спал с раскрытым ртом, и недалеко от него под корнем ивы жаворонок спустил одно утомленное крыло; тут, возле жаворонка, была крохотная детская ножка.

– Вот мое счастье! – шептала княгиня, цепляясь за камни и корни. От шума скатившейся глудки жаворонка проснулся и улетел, а заяц, перепрыгнув овраг, сел на краю. Держась за корень ивы, вся на весу, княгиня протянула руку и тронула ребенка за ножку: она была холодная, и муравей бежал по ней, как по корню.

Смерть была в этом красном овраге, а вокруг, на темной, беспредельно широкой земле, исходя к солнцу, поднимались белые прозрачные струйки, как исходит кадилный дым в алтаре, когда поют херувимскую. Облака белые, словно молоком напоенные, выдвигались с края земли, земля ожидала влаги и сева.

IV

Перед севом

Пришла пора сева; батюшка после обедни раздал посевные просфоры, но сеять боялись и ждали теплого, хорошего весеннего дождя.

Стефан бил и бил свою жену Марфу ужасным боем, обещаясь каждый день перебить ей душевую кость. Он бил свою жену и летом, и зимою, и осенью, но весной бил за все

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
четыре времени года и каждую весну бил за все прошлое. И настала весна – конец, пришел такой день и час, что или Стефану пропасть пьяному, или Марфе лечь под ударами.

Днем в этот день Стефан не пил, был робок, видно, сильно хотел перебороть себя. К вечерней зори вышел посидеть на завалинке, и тут подошел к нему Сережка-барин.

– Жива? – спросил барин.

Стефан ничего не сказал. Барин хотел угодить Стефану, стал рассказывать, как и он бил свою покойницу: топил – из воды выплывала и приползала домой, жег – не сгорала, душил – отживала и померла своей смертью.

– Баба живуща, как кошка, – сказал барин, – ей ничего не дается.

Стефан слушал-слушал, встал, плюнул барину в рожу и пропал на всю ночь.

Марфа долго со страхом ожидала Стефана и уснула. Ей привиделся вещей сон. Приходит Богородица, хорошая женщина, и говорит ласковым голосом:

– Марфа! Завтра тебе искушение будет, ты не искушайся, и будет тебе обида – не обижайся, и страсть тебе будет – ты не страшайся. А после искушения, обиды и страсти будет тебе женское счастье. И показала Богородица Марфе своего мальчишка.

Пробудилась Марфа от сна, упала на колени перед иконой и помолилась. А на дворе зарница играла, и в темной избушке от нее словно белым крылом махало. Рано утром приходит к Марфе князь и просит ее икону продать: Ивана-Осляничка обидящего.

– Это не Иван, – сказал князь, – это Христофор; у него было красивое лицо, а это он сам выпросил себе у Бога звериное.

Марфа для господ ничего не жалела, но вдруг ей вспомнился сон, и князю она ответила строго:

– Для кого, батюшка, Христофор, а для нас Иван. Осляничка я тебе не отдам.

и кончился для Марфы этот памятный день, и ни разу еще этой весной не сияло так солнце, не синело так небо, не чернела земля, ожидающая влаги. После обеда с края неба стало глухо ворчать.

Чуяла Марфа беду и стало ей жалко, но кого, разобрать не могла и пожалела свою единственную корову Зорьку. Зорька в этот день немо, так немо ревела. Марфа для чего-то в этот день перевела корову в хлев и после этому дивилась больше всего.

– Словно кто нашептывал мне, – говорила Марфа, – переведи ты корову в хлев.

И в избе Марфа крепко-накрепко затворила окна и дверь. Грозы Марфа боялась.

Стемнело. Махнуло в избушке белым крылом. Грянул гром. Стала Марфа зажигать страстную свечу и вдруг не гром уж ударил, дверь затряслась, и по двери словно поленом ударили, и голос там Стефанов был.

Как ночью во сне, когда страсть надвигается, вдруг подломятся ноги и бежать нельзя, так и тут, наяву: как стояла Марфа перед иконами, так и осталась. А он подбежал к окну возле божницы, стучит и кричит:

– Отворяй! Не отворишь – я птичкой влечу.

Отвела Марфа глаза от Бога к окну. Гром ударил, крючок соскочил, и распахнулось окно. И видит Марфа: голова в окне без картуза, Стефанова голова, и бороденка его жиденькая, и нос коротенький, и вихры, только глаза не Стефановы, а красные, дьявольские.

Лезет в окно худой, коротенький, в чем душа держится, в руке топор, а Марфа оробела, сотворить молитву не может, пятится все к двери, ближе, ближе...

– Подавай мне корову, – крикнул Стефан, – за коровой пришел; пропью корову.

– Иди возьми! – сказала Марфа и вспомнила с радостью, что Зорьку она в хлев перевела.

Стефан побежал на двор и вернулся.

– А, ты надо мной намываться! Подавай мне корову, куда спрятала?

И подступает к ней с топором.

– Отойди, окаянный! – молвила Марфа, а про корову не сказала и тут жизнь бы свою отдала, но не сказала бы. Стефан поднял топор, хотел ударить, но тут Зорька немо, так немо заревела. Сердце у Марфы и так на одной волосинке висело, но тут гром ударил, махнуло белым крылом, и оборвалась волосинка. Когда опаматовалась Марфа, слышит шум, как из ведра льет дождь, а рука на чем-то липком лежит и поросенок это липкое лижет.

– Господи, Иисусе Христе! – прошептала Марфа, поднялась, затеплила от лампы свечку и поглядела, что у притолоки поросенок лижет, но не поняла сначала и только когда уж со свечкой наклонилась, увидела: это Зорькино вымя лежит вырезанное. Вот какую обиду надумал злодей!

С этой же свечкой прямо пошла Марфа к божнице и молится:

– Иван-Осляничек обидящий, сыми обиду мою! Лились потоки небесные, не умолкая гром гремел, то покажет старый господский дом, словно черный корабль между волнами, то корявые огромные верхушки лип, словно отбитые, куда-то летят, то Ведуга блещит, как змея в чешуе.

Но Марфа не видит ничего и не слышит, только смотрит в озаренное лампадой лицо Богородицы, переводит глаза на Ивана-Воина, Ивана-Осляничка, да крылья белые постоянно мелькают в глазах.

– Иван-Осляничек обидящий, сыми обиду мою! – шепчет Марфа и протягивает свою тонкую свечку к святому с ослиной головой, но руку словно кто отводит: рука тянется к Ивану-Воину.

И опять долго молится Марфа, и опять хочет поставить свечу Осляничку, и опять рука тянется к Воину.

В третий раз прошептала Марфа молитву, и свечка ее, тонкая копеечная свечка, легко стала перед иконой и загорелась просто, спокойно. Так же и у Марфы на душе стало покойно, будто и ее жизнь горела, как эта копеечная восковая свеча перед Осляничком.

– Поставь Осляничку обидящему свечку: он смет обиду твою! – вспомнились Марфе слова Богородицы.

Но не успело у Марфы от сердца отойти, слышит она шум на дворе, и человеческие голоса все ближе, ближе и много, много народа входит в избу.

– Получай хозяина! – сказали.

И положили Стефана на лавку под образами, о чем-то говорили, о чем-то спрашивали, пожалели Марфу и вышли вон. Так и осталась Марфа одна с покойником, долго стояла и не могла долго в себя прийти, а когда опаматовалась и свечку хотела покойнику в головы поставить, он открыл глаза и сказал Марфе ласковым, душевным голосом:

– Марфа! – сказал Стефан, – что ты ставишь мне свечку: я еще поживу.

Встал покойник с лавки и пошел к Марфе.

Дождь стихал на дворе, шумели только потоки воды на земле. На небе вспыхивающее красное пламя показывало черные гряды расходящихся, бегущих туч, а между ними все яснее и яснее светилась прозрачная зеленая ткань. Последний медленно проходящий клочок, словно волосы, свесился над двором и закрыл зеленую прозрачную ткань; красное пламя из этого черного клокa вспыхивало и освещало ряды страшно напуганных черных избушек у реки. Клок-волосы медленно сваливал за реку; снова

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru показалась зеленая светлая ткань; все ясно, ясно, наконец, побеждая все далекие красные огни, луна кротким евангельским светом осияла избушки, струистую реку, старый парк и старый двор.

Лампада-луна светилась и перед иконой, и Богородица с младенцем в руках говорила молящейся женщин:

– Марфа, после искушения, обиды и страсти будет тебе женское счастье.

У

У святого колодезя

В день Николы Вешнего солнце в окошко глядело, жаворонок пел над полями, благовест Семибратского монастыря собирал воедино людей и полоски разделенной земли. По дороге из Юрьева шли три женщины: одна в сарафане с красными цветами, другая в сарафане с белыми цветами, третья женщина была под годами, и сарафан у нее был в темных цветах.

– Милые! – говорила женщина в сарафане с темными цветами, – есть теперь люди, Бога не признают, говорят:

– Бога нет.

Женщина посмотрела на поля, на зеленеющие всходы.

– Милые, а это кто же нам посылает? Бог, милые девушки, Бог!

Молодые девушки плохо слушали: что им было до старого Бога, когда молодой Бог в окошко глядел на утренние росистые поля и молодой звонарь весело звонил: «Девки в лентах, бабы в бантах».

Благовест все креп и креп. Со всех трех сторон сходил народ. С четвертой, где нет ни сел, ни деревень, показалась черная старушка со свечкой в руке.

– Чья это старушка? – спросили девушки.

– Судьба! – сказала женщина в темных цветах.

– «Девки в лентах, бабы в бантах», – звонил теперь совсем близко молодой звонарь.

Народ вбирался в церковь, как пчелы в улей, но весь не вобрался: у Святого колодезя под ракетами, возле деревянной часовни, будто рой отроился; это были те, кто пришел сюда за советом к старцу Егору. Три юрьевские женщины у Святого колодезя наполнили пузырьки святою водой и сели на лавочку под ракетами. На ракетах пел соловей, в роще куковала кукушка.

– Ты о чем будешь спрашивать? – шептались одна с другой женщины на лавочке, на камнях, на пнях.

У одной поросенок хворал, у другой корова, у третьей дочка засмылилась.

Там говорили о счастье, там о женской доле, там о судьбе.

– Милые, – говорила женщина в сарафане с темными цветами, – судьба женская еще во чреве матери отпечатана.

– У всякого есть своя доля и мера, – отвечала ей какая-то женщина с медно-красным лицом, с окровавленными ногами.

– Крапивою, крапивою на ночь обложи, завтра ноги живые пойдут, – сказала женщина с темными цветами.

– Как звать тебя? – обрадованная советом, спросила нездешняя женщина.

– Меня зовут Марфой – сказала женщина в сарафане с темными цветами.

– Ну, вот же спасибо тебе, Марфа, за твою крапивишку. И земно ей поклонилась.

– А меня зовут Татьяна Одинокая, я не здешняя, – молвила женщина с медно-красным

лицом.

И, понизив голос, с лицом, обращенным к Марфе, но глазами, далекими отсюда, шептала:

– Вот что, Марфуша, шла я сейчас полями и видела, чья-то старушка со свечкой все доли обошла. Чья это, Марфушка? Тяжело вздохнув, ответила Марфа:

– Судьба, Татьянушка, у всякого есть своя доля и мера.

Седой старичок, опираясь на костыль, тихо поднимался в гору, откуда бежала св. вода. В руках у него был какой-то медный сосуд и св. Копие. Старец помолился в часовне.

– Для чего водица? – спросил он первую женщину, подавшую ему пузырек с водой.

– От поросеночка, батюшка; не знаю, какого оставить поросеночка: пестренького или беленького.

Женщина спросила просто, без страха, как у простого хозяина. Какой-то чужой молодой человек, одетый по-городскому, глядя из толпы на старца, спрашивал Марфу:

– Кто он, откуда он у вас?

– Как откуда? – удивилась Марфа. – Бог послал. От Марфиных слов показалось чужому, будто Бог – простой белый старик и живет вместе со всеми под соломенной крышей.

А старец в это время, услышав о поросенке белом и пестром и, сливая воду со св. Копия, как ласковый, добрый, но знающий и сильный хозяин, дельно спросил:

– Какой поросенок подтверже?

– Пестренький подтверже, – ответила женщина.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, – благословил старец женщину и, отпуская ее, сказал:

– Оставь пестрого.

– Что он тебе сказал? – обступили первую женщину другие.

– Он велел мне пестрого оставить. Послушаешься меня, говорит, и будет тебе во всем хорошо.

Другие женщины теснились возле старца с пузырьками святой воды, одна за другой спрашивали о своих мелких делах. Одна показала больную грудь, другая вынула из мешка больную курицу. Старец со светлой улыбкой окропил водой больную грудь и больную курицу, и улыбка его, не утомляясь в святой воде, переходила на баб, на кур, на поросят, на жениха и невесту, на старушек-бобылок лежащих, что все больны, как не зацепить их, на жадных старушек, что все с клубочками сидят и шьют на то время, когда руки владеть не будут, на домовитых хороших старух, что, не помня себя, работают до гробовой доски для своей семьи, и на девушек в сарафанах с белыми и красными цветами, и на весь крестьянский скот и живот.

– Я по мужнину делу, – шепталась Марфа с полюбившей ее Татьяной Одинокую. – Видела я, Татьянушка, вещей сон: приходит ко мне Богородица...

Татьяна перекрестилась.

– Да, Татьянушка, приходит ко мне в сонном видении Матушка Пресвятая Богородица, хорошая женщина, вся в белой одежде, с ребеночком в руках, и говорит тихим, ласковым, хорошим голосом: «Марфа, чтобы ни было с тобой нынче, не бойся. Будет тебе всякое искушение, – не искушайся. И будет тебе обида великая – не обижайся. И страсть будет – ты не страшайся. Искушению не поддавайся. Страсть будет – зажги страстную свечку, обида будет – поставь Ивану-Осляничку обидящему свечку: он съмет обиду твою. А после искушения обиды и страсти выйдет тебе женское

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
счастье». И показала дитя.

– Слава Тебе, Господи! – перекрестилась Татьяна Одинокая.

– Мальчика мне показала, Татьянушка, – продолжала Марфа. – И было мне искушение: приходит сам начальник в избу и деньги дает мне за Ивана-Осляничка, большие деньги. «Это, говорит, не Иван, это Христофор, у него не ослиное было лицо, а это он у Господа выпросил себе ослиное. Ну, уж нет, говорю ему, батюшка, по-ученому, может быть, и Христофор, а по-нашему Иван-Осляничек обидящий». И как только это вымолвила, вспомнила сон – и отошло искушение.

– Слава Тебе, Господи! – опять перекрестилась Татьяна Одинокая.

– После искушения приходит ко мне мой бешеный, пьяный-распьяный, прости Господи, царство ему небесное.

– Пером земляца! – промолвила Татьяна Одинокая.

– Подавай, – кричит, – корову, пропью! – Я коровушку перед тем в хлев спрятала: он давно добирался до Зорьки. Спрятала я коровушку, а она, как услышала, что он бьет-то меня, и зареви: немо так, немо заревела. Побежал он туда и вымя ее вырезал, и выменем хлоп меня по лицу.

– Окаянный!

– Господи, Боже мой, – молюсь я, – Иван-Осляничек обидящий, сыми обиду мою. – Твержу молитву, хочу свечку поставить Ивану-Осляничку, а рука-то тянется к Воину.

– К Ивану Воину тянется.

– К нему тянется. И раз, и другой раз не принимает, а я все твержу: «Иван-Осляничек обидящий, сыми обиду мою».

В третий раз принял свечу. Стало мне светло на душе и радостно.

– Снял обиду?

– Снял, Татьянушка, обиду, а за обидой-то страсть приходит: несут его.

– Мужа?

– Стефана несут. Какой бы ни был муж, а муж: жалко. Ручки у него золотые были: трезвый мужу не придавит, пьяный – весь в диаволах. Положили его на куте и ушли, я свечку в головах поставила, думала: кончился. И только я свечку поставила, он открывает глаза и покойницким голосом говорить мне: «Я еще поживу». Встает с лавки, идет ко мне...

– Покойник?

– Вот уж и не знаю: впала в беспамятство, а как опомнилась, он возле меня на полу мертвый лежит.

Марфа наклонилась к Татьяне и тайну свою, страшную, мучительную тайну прошептала ей на ухо.

– Для чего водица? – спросил в это время старец последнюю перед Марфой женщину.

– От мужа, батюшка, муж дерется.

– Муж дерется, – повторил старец, – надо терпеть.

– Терпела, отец мой, терпела, знает Господь да темная ночь, как я терпела, мочи нет.

– Мочи нет.

– Прости, батюшка, утопиться хотела.

– Что ты глупишь!

Женщина стихла.

– Сказывай!

– Перед Светлой заутреней приходит ко мне...

– Ну, приходит к тебе.

– Перекрестись, говорю, немытое рыло, время ли теперь: Господь во гробе лежит.

– Хорошо сказала, правда твоя!

– А он самосильно лезет. Собралась я с последним и спихнула его. Охнул и пошел вон из хаты.

– Напрасно так. Не властна жена мужу отказать. Ты откажешь, а он другую найдет; ты же виновата будешь.

– Ну, сказывай.

– Стало мне жалко мужа, вышла а на двор, а он...

Прости, батюшка, вымолвить страшно.

– Сказывай.

– А он с телушкой...

Старец опал в лице, ушел в себя и вернулся с ответом.

– Женщина, на ком хочешь вину искать? Зачем ты ему отказала? Не властна жена мужу отказать.

– Судьба моя горькая...

– Судьба твоя с пьяницей жить. Что же делать? Надо терпеть.

– Терпеть, батюшка.

– Уши не растут выше головы: против судьбы не пойдешь. Он скажет, а ты перемолчи.

– Так, батюшка.

– А если муж скажет слово, а жена десять, так уж тут мало хорошего. Ты женщина, тебе надо терпеть. Судьба твоя такая. А пьяному нет судьбы.

– Пьяный весь чужой.

Старец благословил и отпустил жену пьяного мужа, но она не ушла.

– Есть еще что? – Да, батюшка, та телушка буетет.

– Корову продай мясникам, – зашептали вокруг женщины, – это бывает; у нас тоже причинала корова от свекра.

– Для чего водица? – спросил старец Марфу, последнюю женщину.

– Видела я, батюшка, сон: приходит ко мне в сонном видении Богородица и говорит мне ласковым, хорошим голосом: «Марфа, будет тебе искушение – не искушайся. Будет тебе страсть – не страшайся. Обида будет – не обижайся. А после обиды и страсти будет тебе женское счастье». И показала дите, мальчика.

Марфа все рассказала.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Женщина! – молвил старец, – не ложен твой сон. И ничем ты не мяться, и не пугайся покойником. Нужно ему было. Нужно ему было семя человеческое на земле оставить. Туда ему нельзя было взять.

Старец помолился и общим большим крестом благословил всех и все; и больную грудь женщины, и больную курицу, и жениха с невестой, и старушек-бобылок, добрых и жадных, и коров, и телят, и поросят, и Татьяну Одинокую, и Марфу, и будущее дитя ее, семя человеческое.

VI

Веселая горка

Не так давно еще возле Семибратского кургана был хороший лес. Теперь от него осталась только небольшая заповедная рощица. Богомольцы, проходя этой рощей в монастырь, охорашиваются, оправляются, и после них к Петрову дню вырастет знаменитая семибратская земляника. К сенокосу схлынет простой народ, в монастырь приезжают господа, гуляют по роще и не нахвалятся душистой земляникой.

Редко кто из этих господ пойдет на совет к отцу Егору, а если кто, наслышанный от народа о прозорливом старце, посоветуется – выходит неловко: на все умные вопросы господ отец Егор отвечает доброй, растерянной улыбкой, принимается искать в келье какие-то дешевые книжки, листки, крестики, всем этим наделит, поцелует в плечо и отпустит с миром.

– Молитвенный дар! – почтительно вслух говорят о Егоре монахи, провожающие к нему в келью господ.

– Нет у него дара рассуждения, – думают про себя монахи, видя недовольных господ.

– Простенький! – говорят образованные люди.

Чистых гостеньков монахи ведут к Егору только по их просьбе, от себя же всегда советуют для беседы сходить к отцу Леониду. Вот кто может разговорить и разутешить, вот у кого великий дар краснословия и рассуждения, вот у кого золотые уста.

– Он у нас многограмотный! – гордятся Семибратские монахи отцом Леонидом.

Веселая горка, где стоит келья отца Леонида, вся в цветах, и вид на город и реку почти такой же чудесный, как и от Семибратского кургана. На Веселой горке веселая трава, веселые цветы, веселый садик и даже сосны смотрят не угрюмыми вещими птицами, а тоже веселые, и монахи в шутку зовут их «мироносицы отца Леонида». Весною цветут на Веселой горке тюльпаны, гиацинты, жонкилии, летом ремонтантные розы, осенью астры и георгины и в ту пору, когда всякий цветок, убитый морозом, склоняет головку, на Веселой горке, не унывая, цветут бессмертики.

«Мой Сион» – в шутку называет отец Леонид город Белый. Все цветы на Веселой горке – дар Сиона: благодарные дамы во все времена года убирают Веселую горку цветами.

Теперь отец Леонид остарел, лежит больной на своем клеенчатом диване, возле дивана стоит тележка, и в ней больной выезжает в другую комнату давать советы по старой памяти посещающим Веселую горку дамам, ровесницам отца Леонида. Старость и болезни изранили тело отца Леонида, но голова его по-прежнему свежая. Будь вечный день и постоянно будь новые люди возле старика, он, как бессмертик, остался бы вечно живым, но безлюдие, ночь и тишина томят его: кутается, зябнет, заснуть не может, и мысли скрипят, как жернова без муки.

«Старость есть грех, – думает в эти ночи отец Леонид, – грех, иначе говоря, есть вред».

Мысль о грехе-вреде всю ночь не дает покоя старику, уводит его в темный омут, похожий на ад, такой страшный, что, явись молодому один раз, и кончился бы молодой человек. Но со стариком каждую ночь повторяется одно и то же, и он привык, к утру всегда справляется с адом и радуется заутреннему звону, свету и солнцу.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Грех, конечно, есть вред, – под утро думает отец Леонид, – но, с другой стороны, все это ведет к счастью: люди стремятся избежать греха-вреда и устраивают жизнь свою к лучшему. Было время, скороходы за сто верст письма носили – ну что тут хорошего! а теперь почта и телеграф; в старину, бывало, в дорогу щи мороженые берут, нынче везде на вокзалах буфеты. Отлично живут! – веселеет под утро отец Леонид, – куда лучше прежнего: грех ведет к счастью.

После обедни часто приходит кто-нибудь за советом. Келейник хочет помочь встать с дивана и сесть в тележку.

– Не надо, я сам, я сам, – громко и бодро говорит отец Леонид.

Есть возле дивана в стене гвоздик, подальше вбит второй, и третий. От гвоздика к гвоздику тянется старик к своей тележке, сам садится, сам выезжает в другую, светлую комнату и вглядывается, узнавая забытое лицо своей гостьи.

Кто эта дама в старомодном темном платье смотрит на разбитого параличом старика, пугается, говорит ему о страхе своего близкого конца?

– Сударыня! – утешает отец Леонид, – когда вы будете умирать, ангелы на серебряном блюде принесут вам отпущение грехов, посадят вас на это блюдо и живой унесут на небо! Не бойтесь!

Дама улыбается, старик по улыбке узнает в ней Вареньку: она до сих пор носит в его сад цветы.

– Полегчило! – шепчется потом Варенька с другой старушкой, гуляя в монастырской роще, – сильно полегчило, – а вам что сказал?

– Я букет ему принесла, – с улыбкой говорит старушка, – он взял белую и красную розу: «Красная роза, – говорит, – вы, белая – я, монах».

– Все такой же! – смеется Варенька.

– А мне сказал, – говорит третья старушка: «Не осуждайте нас, одежда еще не делает монахом, это подобно костюму барыни, чудесный белый костюм, как эта белая роза, а загляните внутрь...»

– Все такой же! – смеются все вместе.

И старушки сдружаются, идут с Веселой горки в монастырскую гостиницу, кушают знаменитую семиротскую уху из бирючков, пьют чай и, закусывая невынутыми просфорами и улыбаясь далеким радостным образам, повторяют друг другу:

– Он все такой же!

Однажды не старушки, а молодая, сильная дама с румянцем, побеждающим здоровый загар, и темным пушком-усиками вошла в келью отца Леонида и застала врасплох старика. Было прямо после обедни, когда радостный звон вместе с радостным солнцем общей волной врываются в окно кельи. Молодая дама прошла одну комнату и заглянула в другую, где спал отец Леонид.

Келейника не было; отец Леонид, не зная, что в дверях стоит и смотрит на него молодая дама, перебирался от гвоздика к гвоздику, стремясь поскорее достигнуть тележки. Вдруг скрипнула половица; старик оглянулся, выпустил гвоздик, покачнулся и рухнул на пол. Молодая дама быстро умела поднять старика, уложить на диване, успокоить, обласкать. Села сама возле и рассказала о себе ему, как родному.

– Есть ли кого любить? – спросил ее прямо отец Леонид. Молодая дама замялась, но, посмотрев на умное и ласковое лицо старика, стала говорить намеками.

– Да можно ли его любить молодой женщине? – перебил отец Леонид.

– Я люблю его, но не всегда: когда задумается, его нельзя, невозможно любить, да он тогда и не здесь, не с нами бывает, представляется ему, будто он последний в роду и достанет золотой гроб князя Юрия и спасет свой народ, и последний первым сделается.

Княгиня все рассказала, что знала о князе.

– У вас нет детей? – подумав, сказал отец Леонид.

– В этом наше несчастье! – обрадовалась княгиня, что старик понял ее.

– Несчастью нельзя поддаваться, счастье сделать нужно.

– Как же можно счастье сделать? – спросила княгиня.

– Как сделать счастье? А вот что ты испробуй... Отец Леонид припомнил похожий случай и дал свой совет.

– Будет у вас дитя не свое, но это все равно: лишь бы князь за свое считал и поверь, княгинюшка, обойдется твой муж и забудет своего Юрия.

– Я сама так думаю, но ведь это обман.

– Тайна, а не обман. Есть большая правда на свете и правда коротенькая. Большую правду Господь нам откроет там, на небе, а здесь мы живем по коротенькой правде. Ты хочешь ему и себе в этой жизни счастье сделать, и сделай: князь обойдется. Но только держи это в тайне.

Леонид приподнялся, благословил княгиню, поцеловал и сказал на прощание:

– С Богом, гора!

Княгиня вышла в сад утешенная, обрадованная.

– Полегчило, княгиня? – спросили ее две старушки в саду.

Княгиня улыбнулась старушкам хорошей улыбкой, они улыбнулись ей, и хотя не знали, что она спрашивала, казалось, все понимали. Вокруг было множество цветов, и белый Сион на солнце весь горел золотыми крестами.

VII

Две правды

Раз в году открываются водяные ворота в крепостной стене, и над толпою народа плывут к Ведуге темные лики в золотых ризах с самоцветными камнями. Чудотворные иконы берегом реки оплывают стену до Белой башни, поворачивают на ту сторону и возвращаются назад к водяным воротам. В тот же день ворота забиваются досками на целый год, и ветер гремит ими в непогоду и швыряет кирпичи в реку с высокой седой башни над водяными воротами.

Некогда благоверный князь Юрий обошел ту же самую стену с теми же самыми иконами и спас город. Теперь, когда идут вокруг города, мало кто знает, почему он идет: обходят, как с исстари заведено, молятся без молитвы, крестятся, машут руками, как мельницы крыльями, кланяются, как деревья на ветру.

Обойдут раз в год стену и потом опять живут как ни в чем не бывало. Если же с кем-нибудь вовсе худое выйдет, возьмет копеечную свечку, обойдет за чем-то с ней город, отчего-то станет легче, и опять все наладится. Две правды живут в городе Белом: одна за стеной и другая вокруг стены. Страшно бывает днем за стеной встречаться с седою, древней башней; прохожий перекрестится, словно дань отдаст, и бежит из-за стены на базар, и обыкновенные дела ему после страшного кажутся веселыми. А лунною ночью, когда все новое спит и оживает каменное древнее, пугает керосиновый огонек в окошке мещанского домика или одинокий гуляка-фонарь. Две правды живут в город Белом: дневная – близкая и далекая – лунная.

Князь обходил крепостную стену с народом. В толпе было много людей из-за Ведуги, где земля светлая, песчаная, неплодородная, но почему-то в лесах сохранилось много великанов с волнистыми громадными бородами. Эти люди в овечьих шкурах, идущие за иконой, показались князю остатками седой старины.

– Кто эти люди, откуда вы? – спросил князь великанов.

– Мы – бороволоки со светлой земли, – ответили мужики в овчинных тулупах.

Светлая земля, населенная бороволоками, показалась загадочной князю, и потом дома он внимательно разглядывал карту древней Сар-матии. И там было племя, сходное с бороволоками, но только у тех бороволоков были копыта, рога и хвосты. Ведуга в то время текла в обратную сторону. И внезапно у князя в тиши его кабинета мелькнула мысль: взять на себя труд доказать, как с изменением русла реки племя бороволоков постепенно лишалось рогов, копыт и хвостов.

«Зачем это нужно?» – на минуту подумал князь, приступая к огромной работе. И тут же ответил себе: «Нужно знать свой народ».

В это самое время княгиня возвратилась из Семибратского монастыря и стала делать счастье князей Юрьевых. Марфу княгиня перевела к себе в дом и устроила в особой комнате рядом со своей спальней. Перенесла Марфа к себе Богородицу, Ивана-Осляничка, Ивана-Воина, повесила картину Афонской горы, св. Серафима с медведем, царя Ивана Грозного, розовую бумажку от кяхтинских чаев и стала всем им одинаково молиться за княжеское семейство все равно как за свое. И свою особенную, Марфину, тропинку пробила она от дома к леднику, и по всему стало видно, что ходить ей по этой вечной тропинке, пока жива будет.

– Марфа, а ты будто горошку поела! – стали говорить ей с соседней тропинки от людской к скотному двору.

Не брехом, как другие бабы, отвечала Марфа на эти слова, а молча глазами просила не трогать ее на вечной тропинке.

Наступало время рабочей поры, день ото дня прибавлялось работы, но княгиня все позднее и позднее выходила в поля. Утром она звала к себе Марфу и перекладывала с ней, советуясь шепотом, какие-то подушечки от самой тоненькой, в блин, и до подушки-перины.

– Эта на самое последнее время, – шептала Марфа об огромной подушке.

– Не велика ли? – сомневалась княгиня.

– И вы-то не маленькая, – отвечала Марфа, – еще прибавить бы, позаметнее.

Марфа, одев княгиню, садилась, распускала ненужные больше подушки-блины и все прибавляла и прибавляла пуху к огромной подушке.

Скосили на лугах сено, высушили, скопили, сжали рожь, сразу подошли овес и пшеница. Час пропустить в такое время – деловому хозяину за год покажется.

– Не замечает? – спрашивала Марфа.

– Что он может заметить, – говорила княгиня с досадой. – Прибавь еще!

Наконец, княгиня не выдержала и, с помощью Марфы, медленно и торжественно ступая, поднялась наверх по винтовой лестнице, постучалась и затворилась с князем. Обрато князь осторожно сам свел княгиню и под руку с ней вышел на двор, со двора на плотину и дальше в поле, где кипела работа.

Увидели в полях невиданное: под руку с быстрой княгиней шел медленно князь, обходя на дворе куриные ямки, камни на дороге и кучи хвороста на плотине. Возле канавы, отделяющей господскую землю от крестьянской, где раньше княгиня, не задумываясь, бывало, прыгала, не подобрав даже юбки, теперь князь сам положил кладочки. Не оставляя работы, искоса все смотрели с полей, долго не понимая; как гурт скота, когда вдали покажется не то волк, не то собака, не то Бог знает что. Вдруг, словно из-под земли, вырос Афонька-дурачок и, указывая на княгиню, громко сказал:

– Вот гора идет!

Те, кто ближе был к Афоньке, услышали, догадались и от копны к копне, от серпа к серпу, от граблей к граблям обежало все поле:

– С червячком стручочек съела!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Урожай был на господских полях. Урожаю, хоть и чужому, всегда рады бывают крестьяне. Радостно встретили в полях и радостно проводили князя с княгиней, как и в былое доброе время.

С этого дня княгиня в поле больше не показывалась. Князь верхом объезжал поля, считал копны и сидел в пыли на гумне, когда молотили хлеба, и вечером сам с балкона выдавал распашонкам квитки и делал наряд. Былые счастливые времена подошли, когда князя управляли хозяйством, а княгини в глубине сада цветы сажали.

Кто знает, быть может, и тогда, как теперь, княгини, сажая цветы, управляли невидимо князьями? Простому народу казалось, будто князь хозяйствует, народ не ведал, что делается с другой стороны дома, на террасе, выходящей в сад. Там, в тиши вековых лип, князь давал отчет за день: и сколько вышло снопов в новом скирду, и сколько зерна свезли в амбары, и каков умолот, и какова поденная плата, и много ли в половень свалили мякины, и сколько с мельницы привезли отрубей. Простой народ не знал, что бывало на террасе, окруженной цветами, когда рассеянный князь что-нибудь пропускал, – а он всегда забывал об отрубях и мякине, – как он глаза отводил от больших строгих глаз княгини, как тупился и боялся весь вечер встретиться со страшными черными глазами: раздражать княгиню было опасно.

Но мало-помалу князь привык ко всему, меньше стал забывать, меньше к осени было и работы. Княгиня становилась все спокойнее. А когда поздней осенью все окончилось, и Марфа рано с молитвою стала запирать на железный крючок дверь дома, – князь и княгиня ворковали, как голуби, не о древнем страшном князе Юрии, а о будущем, маленьком. Весною княгиня простилась с князем и вместе с Марфой уехала гонеть в один большой город, где было много знаменитых врачей. Уезжая, княгиня давала всякое подробные указы рассеянному князю, советовала повнимательнее следить за распашонками, а в городе на службе – за чиновниками. О себе княгиня обещала известить краткой депешей: если князь родится, в депеше будет слово клевер без подписи, если родится княжна – слово «timoфеевка».

– Еще проще! – посоветовал князь, – «овес» или «пшеница».

Это понравилось княгине, и хотя стоило одинаково, но показывало внимание князя и его большие успехи в хозяйстве. Садясь в экипаж и уже совсем простившись, она освободила руку из-под множества вещей, нежно потрепала князя по щеке и сказала:

– Как поправился, румяные щечки!

– Овес или пшеница? – пошутил еще раз на прощанье князь. Кучер обернулся, подумал его спрашивают: «Захватил ли он довольно овса лошадям».

– Овса много взял, – сказал кучер, – а не хватит, прикупим: овес нынче дешевый.

Весело посмеялись князь с княгиней словам кучера, и коляска тронулась.

VIII

Знаки и признаки

Семибратский курган лунною ночью высоко поднимается над Ведугой, и старый дуб ветвями неба касается. Звезды собираются к заповедному дубу, и все небо служит лунною всеночную.

Лунною ночью от белой монастырской стены отделяется дед с серебряной бородой и закидывает удочку в серебряную реку. Укроется месяц, водяному деду темно, поплавка не видно.

– Свети, месяц! – вымолвит дед.

Светило покажется. Звезды собираются к священному дубу молиться. Не вместе ли с благоверным князем Юрием, зарытым в Семибратском кургане, молятся звезды, собираясь у старых ветвей, не о нашей ли печальной земле звезды молятся и просят Бога дать ей нового великого князя?

Кто видел серебряного дедушку у реки лунною ночью, тот и утром узнает его в толпе черных монахов у Святых ворот. У старика в руке длинная удочка, в руках корзинка и в ней извиваются серебряные рыбы. Дед рассказывает монахам смешное о

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
рыбе Марине и о змие Дреколе; монахи веселят, мальчик-послушник начинает, шаяля, бросать камешки в стену, а звонарь птичкой заливаётся в малые колокола. По доске, проложенной от Святых ворот к храму, монахи уходят один за другим, оправляясь, подбираясь у паперти. А у Святых ворот только мальчик с ангельским ликом большим топором обрубаёт весенний слежавшийся снег и дед куда-то плетётся возле самой стены.

Дед – не настоящей монах: Бог знает, откуда он пришёл сюда, поселился в трещине монастырской стены и живёт себе на славу, промышляя рыбой. Он привык в монастыре, монахи к нему тоже привыкли, трещину обделали вроде кельи и назвали старика Бенедикт, а народ и простые монахи стали звать семибратского привратника отец Водяник. И с виду стал он настоящей монах, только не мог прочесть воскресную молитву и вместо Богородицы говорил Чудородица.

Со следами весеннего утренника-мороза на сутулой спине Водяник пробирался со щуками в свою келью, и видит старик что-то неладное возле стены, где была его келья-щель: все на земле засыпано известкой, камнями, кирпичами. Водяник посмотрел вверх на Белую башню и остался столбом стоять, пока обедня не кончилась и монахи один за другим по доске стали перебираться в трапезную. Увидав столбом стоящего отца, любопытные монахи перепрыгнули один за другим ручей и по сухой гравке, как по доске, все потянулись к нему, собрались большой черной кучей и все до одного, неподвижные, столбами глядели вверх.

Ночью, когда в реку Ведугу спускается от месяца золотое веретено, – сколько видений бывает у Семибратского кургана! Но кто из этих монахов, переплывающих Ведугу только затем, чтобы там, за рекой, в деревушке провести мирскую грешную ночь, кто из этих слабых монахов сумеет удержать видение до зари и среди белого дня видеть лунные призраки? В это не верят теперь: упал монастырь. Но если среди белого дня само явится, как же тогда не поверить?

Днем, как замороженные лунною ночью, стояли монахи вокруг водяного старика и смотрели на Белую башню, а сверху на них в блеклых красках, но в ясных очертаниях смотрело изображение благоверного князя Юрия. На князе были лиловая мантия, светло-голубая ферязь, малиновое плечье, голова с большими печальными глазами и длинными темно-русыми волосами склонялась перед сидящим Христом; в руке у князя был Сион, передаваемый им Господу.

Дедушка Водяник первый перекрестился и сказал:

– Ход! Монахи сразу все обернулись.

– Есть ход в Семибратский курган. Это Господь указывает нашему князю достать золотой гроб благоверного князя.

Монахи перекрестились. Изображение князя Юрия было как раз против Семибратского кургана.

– Ход! – заговорили монахи.

А Водяник, так и не выпуская корзины со щуками, пошел доложить начальнику города о явлении среди белого дня чудесного знамения.

Князь, со дня на день ожидая последнего ответа о приезде княгини, спешил окончить городские дела. В утро чудесного знамения ему подали для подписи бумагу особенной важности. Начальник стал очень серьезным, взял бумагу, хотел прочесть, но вдруг улыбнулся: вспомнилось смешное из только что прочитанного письма. «Овес посеян, – писала княгиня, – неужели пшеница взойдет?»

Деловая бумага была плохо написана и трудно читалась; князь опустил ее на стол и заглянул в окно на весну.

Было первое общее весеннее купанье всех птиц, здешних и прилетающих. Скворцы и жаворонки, вороны и галки, все крылатое слеталось к реке, кувыркалось на мелкой заводи. Бывало, такую весной непонятная тревога поднималась на сердце последнего в роду Юрьевых.

«Последний в роду Юрьевых достанет гроб золотой, откроет гроб, и тогда будет свету конец», – думал князь, когда весенними яркими днями видел черных людей,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
черную землю, черные деревья, черных птиц. Все черным казалось князю первой весной, и только после многих мучений в темном омуте вдруг неизвестно откуда явилась светлая точка, как неизвестно откуда весной прилетает певчая птица к нашей обыкновенной земле.

«Последние будут первыми, – говорил князь. – Я спасу свой народ, и пусть тогда будет этому свету конец!»

Нынешней весной князь был спокоен: птичья радость нынешней весной была ему даром. Но, может быть, князю это только казалось? Или это была последняя радость перед самым концом?

Князю было радостно смотреть на общее весеннее птичье купанье. Он важную бумагу отложил в сторону и хотел ответить на письмо княгини веселым весенним письмом. Но только он взялся за перо и написал крестьянскую поговорку: «Сей овес в грязь, будешь князь», что-то стало мешать писанью шутивного письма, кто-то из другой комнаты Правления в открытую дверь упорно смотрел на него, следил за ним и словно видел все его тайные мысли. Князь посмотрел в ту сторону, но особенного ничего не увидел: советник Черный мохнатый, как обыкновенно, сидел, заваленный бумагами, и, свесив громадные брови, писал. Князь хотел возвратиться к весеннему письму, но прежнего спокойствия уже не было, хотел посмотреть в окно на весну, но там ничего не было хорошего: вороны купались в мутной воде. Досадный говор и шум поднимались в комнате старших советников, мелькнуло белое, тонкое, словно из бумаги вырезанное, с громадными толстыми усами лицо – это Польш Сучок рассказывал что-то Черному мохнатому, а молоденький щеголь, сын богатых родителей, шагнул из угла в угол и насвистывал марш; младшие советники шумели, как гимназисты на перемене после звонка. И вдруг все, словно вспомнив о князе-начальнике, ворвались к нему в комнату и перебивая один другого, рассказали о чудесном явлении изображения благоверного князя Юрия на Белой башне против Семибратского кургана.

Князь внимательно выслушал советников и опустил голову к важной бумаге, делая вид, что занят ею. Советники вышли, принялись за дело, и тишина прежняя стала в Правлении

– «Дело прежде всего!» – сказал сам себе князь и принялся готовить важную бумагу. Но не успел князь взять ее в руки и пробежать несколько строк, на бумаге откуда-то явилась огненная точка и потом из нее сложился необычайно тонкой работы рисунок: князь Юрий, склонив печальную голову, подавал Господу Сион. Князь сделал усилие читать дальше, изображение, переплывая поля бумаги в одну сторону, возвращалось с другой стороны в тонах фиолетовых, красных, зеленых.

Князь откинулся к стенке кресла, закрыл глаза, приложил руку ко лбу. В этом коротком забытии ему ясно представилось, что всеми этими обыкновенными делами у всех обыкновенных людей не вся голова управляет, а только часть ее, ближайшая ко лбу и похожая на деревянную коробочку вроде мышинного капкана. И ясно было, что у него эта машинка была ничуть не хуже, чем у всех окружающих его умных людей: Черного мохнатого, Полого Сучка, сына богатых родителей.

«Отличная машинка!» – ответил ему какой-то внутренний голос. – «Но отчего же я не могу прочесть обыкновенную бумагу?» – подумал князь, открыл глаза и принялся читать.

Бывало когда не хочется работать, князь смотрел в соседнюю комнату на советника Черного мохнатого и, видя перед собой труженика, вечно склоненного над бумагой, сам принимался писать. И теперь, чтобы овладеть собой, князь посмотрел туда и вдруг увидел и понял, что Черный мохнатый только вид делает, будто он бумагу пишет, а сам сквозь волосы своих огромных бровей черным, блестящим глазом смотрит в ту же страшную даль, как и он сам, и что там где-то глаза их встречаются, узнают друг друга, сговариваются молчать и ни перед кем не открываться.

Князь опять откинулся к спинке кресла, опять приложил руку ко лбу, и опять ему представилась машинка, похожая на мышинный капкан, но только голос тайный теперь говорит: «Машинка испортилась».

А бумага лежала неподписанная, и от этой бумаги зависела участь многих и многих людей в краю.

– Господь указывает! – послышался чей-то голос в передней.

– Нашему князю, – ответили многие голоса.

– Есть ход! – сказал первый голос.

– Ход, ход! – подхватили многие голоса.

Дедушка Водяник с корзиной рыбы в руке вошел к советникам; с ним вошли сторожа, их жены в платочках, со швабрами, с тряпками: кто что делал, с чем был, с тем и вошел.

– Есть ход в Семибратский курган, – сказал Водяник.

– Есть, есть! – заговорили все.

Князь посмотрел на советников, словно справляясь, сон это или действительность... Советники серьезно смотрели на Водяника; о ходе в Семибратский курган к золотому гробу давно говорили, и кому же лучше знать о нем, как не водяному старику.

Глас народа, глас Божий, – сказал князь, помолился со всеми на образ, закрыл Правление и пошел искать ход.

В крепостной стене есть старинная седая башня Пустуй, пониже Пустуя – огромный белый каменный дом вдовы Плещихи; от Пустуя до Плещихи и от Плещихи по всей Миллионной горе скотные дворы и свал нечистот; между дворами и ямами вьется завитушками Сборная улица. Этой улицей вел князь Водяник, за князем шла толпа и росла все больше и больше, наворачиваясь, как снежный ком в оттепель. Возле башни водяной остановился, пролез в стенную щель, за ним пролез князь, и оба стали спускаться по темной лестнице. Был огонь внизу и вокруг него множество черных икон, увешанных чистыми полотенцами и украшенных бумажными розами; в углах шевелились старухи, как потревоженные стенные мокрицы, и все пошли навстречу князю, словно давно-давно ждали его.

– Вы какие старухи? – спросил князь.

– Мы пшенные старухи, – отвечали мокрицы.

И рассказали пшенные старухи, что они девушки, а пшено им идет от Плещихи и не поровну, богатым больше, бедным меньше: у них в стенном ходу был богатый и бедный ряд. Бедные мокрицы просили уравнивать всех, богатые жаловались, что бедные бесчинно ведут себя в святом месте, все, и богатые и бедные, просили прибавить к пшену снетков и сушеных ершей.

Бедным князь обещал всех уравнивать, богатым – ввести благочиние и прислать от себя снетков и сушеных ершей, лишь бы открылись по чистой думе: «Есть ли ход из Пустуя в Семибратский курган?»

Пали пшенные старухи в ноги начальнику:

– Есть ход! – сказали.

И чистой кровью открылись:

Идет ход из Пустуя под Сборную улицу и под плещихиним домом закрыт кованой дверью с железным замком. Пшено же они получают за вечное поминовение плещихиной родни и за то, что молчат про кованую дверь, а то станут копать и плещихин дом провалится.

– Ход, ход! – бежал слух всю Сборную улицу и всю Миллионную гору, и толпы несметные стали собираться возле Пустуя. Выползли на Божий свет и пшенные старухи, повторяя начальнику все одно и то же: «Во всем воля Божья», – и показывали на свету зеленое плесневое пшено и просили даже князя попробовать. Из верхней части Пустуя вышли какие-то безродные, посинелые босомыки и предлагали начальнику безданно и безпошлинно копать и выкопать с ручательством гроб золотой.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

День был базарный, весь народ с площади устремился к Пустую, и остался на возу сена только старик с седой бородой. Лесной дедушка повернулся лицом к народу и, почесывая волосатой щекой о плечо, рукою стал махать, звать кого-то к себе, а дед заметный: борода белая, нос красный попугайчиком. Водяник узнал его и, все не выпуская из рук корзинки со щуками, пошел спросить, что нужно лесному хозяину.

– Что ты машешь? – спросил водяной.

– Чурки-бревна! – сказал лесовой. – Чего это народ валит?

– Как чего? Ищут гроб золотой, скоро свету конец.

– Свету конец! – зевнул лесовой. – Ну и слава Богу – почудили и будет.

И, не продав сена, лесной старик поехал в лес.

– Что ты, дедушка, сено везешь назад? – спрашивали старика бороволоки.

– Свету конец, подковки сдирать! – отвечал лесовой хозяин. Бороволоки пошли в глубину лесов и, встречаясь на лесных тропинках, говорили друг другу:

– Свету конец, леший велит подковки сдирать.

IX

Толкуша

Плещиха ничего не боялась. Она знала кровь человеческую: ей была известна каждая капелька крови жителей города Белого, их отцов, дедов и прадедов. А если кто новый приезжал в город Белый и селился в нем, она так и считала: это новый, это не наш, – значит, ожидать можно всего, но только это не имеет никакого значения. Вздумай кто-нибудь похвалиться или обещать невиданное, Плещиха перебирала в голове родню и говорила: «Это было у деда». И когда все знают, что это уже было, то и не удивляются.

– Штукатурка обсыпалась, – сразу поняла Плещиха причину явления знамения, – что же тут особенного?

Но, считая веру в чудесное полезной для людей, прибавила:

– Это я так думаю, а там Бог знает... Мы, Плещихины, были всегда средней религиозности.

Князя Плещиха звала толкушей, и когда ей сказали: «Господь указал нашему князю поднять золотой гроб благоверного Юрия», ответила просто:

– У них это в роду: отец его тоже толкушей был. Но плещихины слова в этот раз были бессильны: или уж наждались, наголодались люди Сборной улицы и дошли до последнего? Или, может быть, самой Плещихе конец пришел?

Курица-вещунья пропела среди белого дня петушиным голосом.

– Сем-ка и я посмотрю, – встревожилась Плещиха и открыла окно.

Столпотворение Вавилонское, Содом и Гоморра были на улице: копали под самым плещихиным домом, колебалась земля, дом дрожал; стройными рядами, отливая на солнце синим бархатом, перебирались сытые крысы в соседний дом.

Курицу-вещуню одну боялась Плещиха и, когда снова запела курица петушиным голосом, задумалась:

«Как быть с толкушей?»

Были какие-то трубы со скотных дворов и ям Миллионной горы, и все они сходились в одну плещихину трубу на дворе. Когда загревели железные ломы о кованую дверь, Плещиха вдруг вспомнила о трубе и сказала:

– Сем-ка я их угощу.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
И угостила.

Князь был наверху. Слышал удары железных ломов о кованую дверь и с фонарем в руке хотел уже спуститься туда. Вдруг зашумело внизу, и босомыки, тесня друг друга, задыхаясь в зловониях, стали выбираться наверх.

– Что такое?.. – спросил князь, но, оглядев босомык, сам догадался.

Плещиха спокойно лежала всем своим большим животом на подоконнике и, седая, белая, спокойно глядела вниз. Князь хотел ей что-то приказать, но ему почудилось: это не Плещиха сидит, а большая белая обезьяна.

– Обезьяна! – хотел крикнуть князь, но вдруг остановился.

– Захлебнулся! – сказали в толпе.

Белая обезьяна сидела в открытом окне, редко мигая, спокойно и вдумчиво глядела на него маленькими, умными, живыми глазами.

– Толкуша! – говорили глаза белой обезьяны. – И отец твой, и дед твой, и прадед были толкушами.

– С максимцем! – шептались возле самого князя пшеничные старухи.

– И отец твой, и дед твой, и прадед – все вы были с максимцем! – выговаривали, редко моргая, умные глаза белой обезьяны.

Теснились вокруг князя, давили друг друга, всем хотелось видеть его.

Князь оправился, собрался с духом и крикнул туда, где спокойно сидела белая:

– Обезьяна!

– Ты сам обезьяна! – спокойно ответила она и побежала в толпу обезьян, обезьян, обезьян! Князь опять раскрыл рот.

– Опять захлебнулся! – крикнул кто-то в толпе.

И снова полезли все, давя старух и детей, смотреть, что делается с князем.

Но князь был спокоен. Князь в другую сторону повернулся, где было мало народу, и тихо пошел с улыбкой, читая поданную ему депешу.

– «Овес» – было там одно только слово.

Княгиня загорелая, румяная вернулась и легла в постель с мальчиком. Марфа приехала больная, но не ложилась и вымыла чистенько пол, постлала половики, зажгла перед всеми иконами в доме лампы. Еще другую Богородицу, Нечаянных Радостей, привезла с собой Марфа и повесила рядом с прежней.

– Обе матушки пресвятые Богородицы, Иван-Осляничек обидящий, Иван-Воин!

Так молилась Марфа, благодаря все это родное семейство.

По чистым половикам тихо подошел к Марфе князь.

Марфа, сияя внутренним светом, как на своего ребенка, посмотрела на князя и слегка погремела дверной ручкой.

– Войдите, – слабым голосом сказала княгиня.

Князь увидел младенца. Обыкновенный младенец был: красный, головка толкачиком. Но князю в первую минуту показалось, будто младенец не такой, как у всех, а ему почему-то теперь хотелось, чтобы как у всех был его младенец.

– Что ты смотришь так? – спросила княгиня.

– Толкачиком... – пробормотал князь.

– У всех младенцев головки толкачиком, – сказала Марфа.

И князь успокоился.

Назовем, конечно, Юрием? – спросил князь. Княгиня смутилась: младенец уже был окрещен и назван в честь Ивана-Осляничка, снимающего обиды человеческие, Ваней. Но, чтобы не огорчить на первых порах князя, больная моргнула Марфе и ответила:

– Юрием, Юрием...

Князь совсем успокоился и вступил в мир скромных надежд и нечаянных радостей.

Посмеялись в городе Белом над всей этой историей и забыли. Но в лесах за Ведугой не так прошло.

– Исполнилось три с половиной времени, – говорили пророки, обходя леса, – свету конец!

Бороволоки, услышав о конце, стали подковки сдирать, а лесные женщины, ощупывая за пазухой припасенные мешочки с ногтями, живые ложились в гроб.

«Затрубит архангел в трубу, – думали женщины, – ногти сростутся».

И видели они высокую гору, и видели они на горе Михаила Архангела, и видели самих себя, как ползут они на гору, цепляясь за камни длинными ногтями.

Но час обещанный пришел, архангел не трубил в трубу, в лесу было темно, не загоралась земля. Тогда вышли из гробов женщины, одетые в белую одежду, и спрашивали пророков: «Когда же будет свету конец?»

– Кончилось! – ответили пророки и вывели женщин из темного леса на чистое место и показали им небо, все усеянное звездами.

– Все там! – сказали пророки.

И поняли женщины, что забыты они здесь на земле, и горько-горько заплакали.

Саморок

I

Раз на маленькой снетоушке из Большого озера в Крещенье Нивки приплыл атаман одной самой счастливой рыболовной артели Степан-ведун. До сих пор поминают добром у нас, в Паозере, этого Степана; был он такой ведун, что, бывало, на любом месте зачерпнет горсть воды и без ошибки скажет, есть ли тут рыба и какая. Приплыл этот Степан в Крещенье Нивки и сел на большой смолистый пень покурить. Крещенье Нивки самое любимое паозерами место – высокий лесистый кряж, и под ним бухточка ласковая, только не говорит: «Заезжайте, пожалуйста!» В чуму скотскую, очень давно, похоронили здесь простого мужика Фому и поставили на его могиле крепкий дубовый крест, чтобы чума испугалась и поскорее ушла. Теперь к этой могиле ходят старухи Богу молиться, веруют, что тут не простой мужик, а сам Фома-апостол зарыт. Крест стоит высоко на кряжу; вокруг него большая густель, от прежних полей осталось одно только название «Крещенье Нивки».

Оглядывая любимое место, думал Степан про себя: «На воде ноги жидки... что наше рыбацкое глупое дело? То ли вот взять бы тут утвердиться; седи на месте, и никто тебя не догонит, а наше дело пустое: дунул ветер, и нет тебя, – на воде ноги жидки». Дальше больше раздумывал Степан, сидя на смолистом пне, писал на палочке ножиком, и выходило ему по крестикам на палочке, что землю он может осилить, а эти места как раз в то время и отдавались. И такой был атаман крутой и горячий, что сразу и решил отсюда ехать в город и делать заявку на Крещенье Нивки. Только стал, было, подниматься со своего пня Степан, вдруг слышит, кто-то его на пню придерживает. «Ай, леший сильней водяного!» – сказал атаман, рванулся, отодрался, подивился на пень, что уж очень смолист, и подумал: «Сам пень смолист, или кто насмолил?» Этого атаман не испугался, перекрестился на Фому-апостола, сел в свою снетоушку, парус поставил и прямой поветерью покатыл в город к начальнику делать заявку на землю. Ветру на Большом озере еще надбавило, не успел Степан хорошенько одуматься, как сидел уже в прихожей у начальника. На лавочке, где он присел, лежала какая-то грамотка; Степан ее не заметил, сел и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru прикрыл. А была это какая-то очень нужная грамотка; хватились ее, искали, искали, да так, что из-за этой грамотки все между собой переругались и начальник обещался к Новому году всех прогнать. Тут понадобилось Степану выйти на минутку покурить, приподнялся он, а лавка с ним поднимается; рванулся атаман, грохнула лавка, все оглянулись на Степана и ахнули: нужная грамотка назади к атаману примазалась. Пробовали отдирать – не отдирается, отмачивать – не отмачивается, отогреть смолу утюгом – штаны горят. Что делать? Сняли с грамотки копию и засвидетельствовали. Все тут, конечно, повеселели, помирились, начальник всех простил и дело о Крещеных Нивках сделал с большим удовольствием. На базар Степанову грамотку тоже заметили, стали смеяться, что неграмотному мужику грамотка сзади пристала, и прозвали его Грамотным. Так эта кличка пошла вечно ему и детям его, и все, кто селился в Крещеных Нивках, становился Грамотным.

Жил Степан долго и хорошо на своих Крещеных Нивках, а умереть пришлось на воде. Ловили рыбу сетями, увидели большого сига, закричали вдруг Степану перенять сига, пугнуть. Степан стоял на берегу под Фомой-апостолом, против самого глубокого места; услышал крик, повернулся как-то неловко и – в бучило. Так и сиг ушел, и Степан утонул. В это время починок Грамотных на Крещеных Нивках был уже порядочный: и поля были вокруг, и бани у реки, и часовенка с чугунной доской возле Фомы-апостола. После Степана осталось два сына – Кон и Пимен, да еще дочка Маша, девица вроде чернички, божественная. Кон, старший брат, был раньше парень-мот, шлялся на сторону, наживал и спускал, и пустел, и до того дошел, было, что жить стало нечем; пустой человек взял, да и повесился на березке. Ему бы на осинке вешаться, а березка – дерево хорошее, чистое, не приняло скверны и обломилось. Грохнулся о землю повешенный пустой человек, поднялся и стал жить совсем по-другому: был гол, неработень, пьяница, а теперь нет ему спокойной минуты, все время кипит, в деле ему черт помогает за десятерых, и все ему мало, все ему некогда, и одни только слышат слова от него: «Работы много, а работников нет». Все боялись повешенного: что-то он принес оттуда с собой, чего другие не знают, и свою особенную тайну имеет. Сторонились, боялись и звали его не Коном, а Каином.

Другого брата, Пимена, звали Саморок за то, что он всякое дело по-своему начинал, за всякую вещь, самую простую, брался по-иному, как будто раньше его и люди вовсе не жили на свете, или такие были глупые, что умного человека лишь с толку сбивали. Одному брату было так мало дано, что на том свете в счет будущего у черта забрал, а другому старик Степан постарался: не знал Саморок, куда приложить свою силу. Один сухонький, рябой, зенками своими цеплялся за каждого; другой смотрел через головы, а лицом и повадкой был вылитый отец-атаман: рост дубовый, в плечах полверсты, глазища в кулак, а рожа – как самовар. Братья с детства были приучены: один, старший, Кон, землю пахал, другой, Пимен, был пастух-скотовод. И так братья жили в русле Адамовом, Каин – земледелец, Авель – пастух; один из чужих мелочей крепко сколачивал себе земной ящик, другому всякое дело шутя давалось; сверх всяких своих забот всегда находил время читать Священное Писание и твердо верил, что божественная грамота с неба упала, а не как все Грамотные, что примазалась к штанам первому атаману у казенного начальника.

II

Было дано Пимену, младшему брату, жить радостно возле земли, и за этим большим своим счастьем не видел он душу своего родного брата, не знал, отчего тот раньше мотался, не понимал, почему вешался. Но пришел такой час, и сразу ему все открылось. Вышло между братьями из-за такого пустяка, что и рассказывать нечего, но жить больше вместе стало нельзя; и в тот же час, как увидел это Саморок, забрал своих коров и, в чем был, вышел из дома. Хотел он идти, как Лот, не оглядываясь, но одна корова отбилась, из-за нее посмотрел туда и видит: бежит, догоняет его сестра любимая, Маша, черничка божественная. Пробовала Маша успокоить брата, разговаривать словами обыкновенными, что нельзя так все по-своему начинать, нужно смотреть на людей, везде же люди живут как-нибудь.

– Рад бы я, сестрица, вернуться, – сказал Саморок, – да он же убил меня, на родной земле буду жить я мертвецом. Ты не думай, что всех покойников зарывают в землю, другие по земле ходят и с ногами, и с подковками. Мне другую нужно землю искать.

Удивилась девушка: жил все время Пимен с ней молча, а тут вдруг заговорил, да как хорошо, вроде как по-божественному.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Вот видишь, – говорил Пимен, – люди живут, как на поле полосы от передела до передела. Наступает время, и нет полос, вся земля Божья. Потом опять все переделят на полосы, и каждая полоска живет под началом хозяина. А посмотри, вон там лежит одна отбитая, задернелая, в сыром месте. Так вот, сестра, после этой обиды моя доля, как эта полоса, не пойдет в простой передел, полоса моя косокрайная.

– Наступаешь ты, братец, на верный путь! – говорила Маша.

– Путь мой теперь будет особенный...

Радостно, легко было идти Маше с братом; не видела она корявой дороги, не знала, куда и зачем идет. Что эти горькие полынные кустики на межах, что эти прошлогодние татарники, – старые пауки, межевые караульщики... Без караула, свободная и неделинная, лежала у ней большая земля и дожидалась своего единственного пахаря.

Хотела уговорить брата вернуться назад, – затем и вышла из дома, – а тут и про дом забыла; и в город пришла, не помнила, когда пришла; и протекло много времени, – она его не считала, – и все ждала, когда опять заговорит ее брат, как тогда, после беды своей – по-божественному.

Но Пимен молчал и работал. Маша тоже работала и чего-то ждала. Работа у них была по коровьему делу и шла хорошо – купили даже собственный дом в слободе. Убрала Маша собственный дом по-городскому, вычистила, приготовила гнездо, а Пимен запил. Пил он не для пьянства, а, как сам говорил, для души: в трезвом виде человек жесток, в пьяном – сердце мягче и понятливее. Большой был, крепкий человек Пимен, и пить ему приходилось ведрами. Но сколько ни пил он, все чувствовал, что черта человеческая лежит высоко.

Пил и молчал. Больше это бывало в праздники. Хуже нет времени праздников тому, кто оторван от родины и к ней никогда не вернется. И питье бывает тут невеселое.

– Ну, – скажет, – Маша, Пимен ушел.

– Куда, братец?

– А к себе в гости.

И все. Напрасно ожидает сестра, что хоть в праздник заговорит брат, как тогда. Пройдет по двору, посидит на лавочке Пимен, вернется, выпьет, опять немного походит и опять:

– Маша! Пимен уехал.

Смотрит Маша на свои чистые половики-дорожки и думает: «Ох, вы дорожки мои белые, дорожки, увели бы вы меня, дорожки...»

– Маша, Пимен уехал к себе в гости, Пимен гостит.

Страшный становится Пимен: шея, как у быка, глаза в три яруса – черное, белое, красное. Тяжелый ходит, гнет половицы, бык-человек, а сердце мягкое, спрашивает задумчивым голосом, покачиваясь:

– Маша, сестра моя милая, скажи, куда мне девать свое естество?

Подумает Маша про себя, что правда, как же можно быть такому великану без жены, не прямо словами подумает, а так пробежит это темной догадкой. И Маша, черничка божественная, отвечает:

– Остерегайтесь, братец, своего естества.

Бывает, в такие праздники Пимен что-то замыслит свое тайное, уйдет от сестры и глубокою ночью вернется, как виноватый вор. Только это редко бывало. Пимен боялся этого удовольствия. Своя баба умерла в первый год от родов, жена брата, злейшая, напугала, зря не хотел жениться и с чужой бабой гулять не понимал. Был тут какой-то' крючок... И это заметили, с кем по тайному своему пьяному делу приходилось встречаться Пимену. Удивлялись эти люди, что такой великан перед

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
гулящей девкой дрожит и разговаривает, как с барыней.

– Чужая... – лепетал великан конфузливо.

– Чужая? – смеялись простые гуляки, – то лучше, что чужая; на чужом огороде своя же баба и то слаще, а уж чужая...

Смеялись, ходили кругом-около возле его «крючка», догадывались.

– Не грех ли? Какой это грех! Не будь этого самого греха, не согреши Адам и Ева в раю, так и нас бы не было.

– Об этом в Писании ничего не сказано, – отвечал Саморок, – сказано только: ослушались, и больше ничего.

– Как не сказано, – смеялись гуляки, – двое жили в раю, мужчина и женщина, – сказано? А согрешили они очень просто: дождик пошел, одна капелька холодная упала на Адама...

Смеха этого Пимен не понимал, а чтобы оставили, улыбался виновато.

Не всегда случалось, что в такие ночные тайные прогулки и достигал чего-нибудь Пимен. А шел он домой все равно виноватый, как самый последний вор, боясь встретиться с людьми, шел задами-огородами, капустниками. И даже в своем собственном доме боялся громко постучаться и только чуть-чуть шевелил железной скобой. Маша отворит, и – как нет ее, разве только вспомнит передернуть часовую цепочку с гирями.

При свете лампы кажется, бегут эти белые, чистые половики-дорожки в родимый край, лучше рая, к людям, чище ангелов, а про себя кажется, будто где-то на дне бочки сидишь с огуречным рассолом, капустой, дегтем и всякою дрянью вонючей.

В ночной тишине у брата с сестрой бывает такой разговор:

– Маша, куда мне давать свое естество?

– Остерегайтесь, братец, своего естества.

III

Пимен своих коров держал для молока и масла, любил их, ходил за ними, как за детьми, а на мясо он покупал чужих коров и резал их. Никогда не задумывался, отчего это свои коровы у него – как святые в оправе, а чужие идут под нож. Это ему так было от бабушки в Крещеных Нивках. Когда старушка ослабела руками, а коровы были все тугосисие, – мальчиком еще приучился Пимен доить за бабушку и ходить за животными и понимать их; когда, случалось, нужно бывало зарезать скотину, бабушка перед этим молилась; верила бабушка: если помолиться как следует и лампадку затеплить перед иконами, то корова перед концом радоваться будет. И когда еще ножик точат, и корова замычит, – бабушка скажет:

– Радуется! Вы думаете, она не понимает? Еще как знает-то! Мычит, радуется перед концом, что Господь ее скоро простит.

Так и Пимен принял это от бабушки и резал чужих коров просто. Зато своих коров до того уж любил и жалел, что на скотном дворе его ждали, как дети своего доброго дядюшку. А в разговор с ними Пимен никогда не вступал, как это бывает у других, считал это делом пустым: бессловесное животное человеческого языка не понимает. Разговаривать с животным и понимать его нужно в строгом молчании. Насчет этого молчаливого разговора особенно хороша была у Пимена одна корова чужестранного рода, такая умница, такая красавица, что и сам прежний хозяин ее, барон, за удовольствие счел бы для себя ее подоить, да вот не далась она ему. И на баронском дворе она была первой красавицей, привезенной из Швейцарии, рая коровьего, но только никто к ней не мог подойти и подоить. Не понимали грязные скотники и скотницы, что не их самих, а грязи ихней боится чужестранная корова, и звали красавицу грязные скотники «Забастовкою». Когда увидел барон, что ничего с коровой не поделаешь, решил продать Забастовку. Пришел покупатель, махнул неловко рукой, а Забастовка тоже как махнет его на рога! Тогда барон и послал за Пименом, чтобы тут же в стойле и порешить Забастовку. Помолился Пимен, как всегда перед боем, сестричка-черничка лампадку зажгла, – взял свои железа

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
убойные и пошел на баронский двор. Окружили на баронском дворе Пимена грязные скотники, говорят-шушуют, что Забастовка мужика распорол, кишки выпустила, а уж раз крови испробовала человеческой, захочет и другой раз. Страха этого перед животным Пимен вовсе не знал, и когда ему говорили о страхе, то видел, что губы шевелятся, а понимать этого не понимал. Он прямо подошел к стойлу, отворил, – все скотники грязные, как тараканы – в щель. Вышло так, будто много лет ожидал Пимен увидеть такую корову-красавицу, а Забастовка ожидала чистого скотника, могучего, прямого и бесстрашного. Она прямо стала ему бок лизать, а он чесал ее между рогами. Полубовались друг другом и пошли по баронскому двору: Пимен впереди идет со своими железами убойными, Забастовка идет за ним. Дома ведрами стала давать она Пимену свое молоко и была самой послушной, самой понятливой коровой,

Грязные скотники барону говорили, что Пимен колдун, а барон очень любил колдовство и нарочно позвал Пимена, чтобы у него тайну выведать. Но никакой тайны тут не было.

– Это не тайна, – говорил Пимен, – а понимание. У коров, как у людей: на что уж бабье дело, слабое, а ведь другой подойдете – цоп! так она его так цопнете! Вот и корова так.

– Понимание! – удивлялся барон. – Как при таком понимании резать?

– А корова этому радуется – это коровья самая первая радость, чтобы Господь ее простил. Страха, этой нашей слабости, у нее нет.

– Так я же не о коровьем страхе спрашиваю – я о тебе, как ты ничего не чувствуешь: своих любишь, чужих бьешь?

– Я же не от себя бью: Богом назначено бить, я и бью, в этом я не хозяин. А вот в своих коровах тут уж воля моя, – свою корову я жалею и понимаю.

Пытался барон оттягать у Пимена Забастовку назад, но, когда привели ее на баронский двор, она подмяла еще одного грязного скотника, и пришлось отдать ее Пимену навсегда в обмен на простую корову. А Пимену при его жизни вся радость в коровах была; ему эта Забастовка была счастьем, и этого, конечно, не понимали в слободе люди с мертвой душой. Когда потом стряслась беда с этой коровой и самим Пименом, то в слободе говорили:

– От Забастовки Пимену в башку маленько горошку подсыпало; начал спрашивать с этого времени, как ему жить и что в жизни главное, Христос или коровы. Ежели, говорит, коровы, то нужно с коровами жить; ежели Христос, то коров нужно оставить. Какой был умнейший купец, а вот попало ему горошку, и затвердил: «Христос или коровы?»

Вышло это в день Пименова годового праздника – для себя он, по мужицкой привычке, считал годовой деревенский праздник Нила Сорского в Крещеных Нивках самым большим праздником. К этому празднику он с Машей всегда за неделю готовился, как будто ожидал, что к нему все Крещеные Нивки придут на праздник, и все будут удивляться и радоваться, что Пимен, прежний простой мужик, стал богат и живет вроде купца. И когда он так с Машей готовился, то это бывала у него самая счастливая неделя в году, словно теперь уж они не сидят и не проводят время попусту, а собираются ехать на свою счастливую родину. Тут уж в этих священных сборах каждая мелочь становится как бы священной. Чистят, моют, прибирают, расставляют, раскладывают целую неделю брат с сестрой и целую неделю бывают счастливы, вплоть до того, как придут домой от обедни. Было ли это оттого, что Пимен от мужиков отстал и к купцам не пристал, или уж он так от себя, без купцов и мужиков, был такой Саморок косокрайний, – только гостей у него не бывало. Приходят брать с сестрой домой: нет никого; ехали, ехали и никуда не приехали. Тут уж за всю эту счастливую неделю хватит такая заливающая, деревянная тоска, что если быстро оглянуться назад, перехватишь глазом, как деревянные стулья, мелькая, бегут. В этой деревянной праздничной скуке наливаются Пимен вином и вид принимает быка: шея толстая, глаза в три яруса – черное, белое, красное, слоняется, гнет половицы и приговаривает:

– Сестричка-черничка, Пимен уехал.

Из года в год он пил все больше и больше, а черта, где кончается сам человек,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
все была не достигнута. В этот раз, наконец, Пимен достиг этой звериной черты. И было это последнее не стакан, даже не чашка, а самая обыкновенная рюмочка из-под дьякона. Отказался дьякон выпить, рюмка стояла невыпитая и долго так стояла. Скучно стало смотреть на нее, выпил эту роковую рюмочку Пимен и вдруг вышел за черту, куда-то на край, и на краю этом все качается: заборы серые, домики слободские канареечного цвета в три окошка и собственный двор его, чисто-начисто выметенный и окруженный проваленными темными сараями, – все это качается, и он, Пимен, теперь быком тяжелым идет по краю, и все под ним колышется. А с того конца-края навстречу ему, быку, выходит из темного проваленного сарая чистенькая коровка; на середине двора чистого, празднично убранного коровка вдруг повернулась к нему, хвост подняла и медленно, чтобы видел, знал, понимал хозяйин-бык, взяла и напачкала для праздника, и раз, и два, и три. Тут заревел Пимен настоящим быком, откуда что взялось! – так страшно, не по-человечески, что Маша бросилась скорее к иконе, обмакнула вербу в святую воду, хотела окропить быка-человека. А Пимена в доме уже не было, выскочил в сени и хватил корову батоном по кресту. Коровий крест самое слабое место; другой раз мальчишки хлыстиком положат корову, а как Пимен ударил Забастовку батоном по кресту, она так и села; живая сидит, удивленными глазами смотрит на любимого хозяина, пробует подняться, не может, мычит, спрашивает мыканьем, что же это с ним случилось такое, – был человек, а стал дикий бык с рогами и хвостом – вот так праздник Божий!

Прибежала Маша, окропила святою водой Пимена и Забастовку. Пимен пришел в себя, а корова так и осталась лежать; приподнимется на передние ноги, упадет и мычит, опять приподнимется и все мычит, и мычит.

Три дня, не переставая, пока не кончилась, мычала на дворе Забастовка, и много раз брал Пимен свои железа убойные, и возвращался домой так: не налагает рук на свою корову. Отчего же раньше легко так бил, пластовал, как портной сукно? Не другой ли бил за него? Сидел у окна Саморок и вглядывался в того другого Пимена, кто убил его корову. Вот Саморок живет для своих коров, любит их, ходит за ними, как за детьми, доит, чистит, прибирает, а Пимен бьет чужих коров; вокруг него кровь ручьями льется, там ноги, там рога, там хвост, все это Пимен раскладывает одно к одному: там горка с мясом, там с копытами, с рогами, с хвостами...

Было время, брат родной Кон пришел и выгнал родного брата словами убойными, а вот теперь Пимен приходит с убойными железами и выгоняет Саморока...

– Маша, – спрашивает, – как ты это дело рассудишь: правильно ли я сделал, что ушел тогда?

– Правильно, братец, – отвечает Маша, – это Бог тебя увел от греха, и, видишь, Бог тебя за это наградил богатством.

– А что если я и сейчас опять подымусь и уйду от Пимена?

Не сразу Маша, поняла, как же это можно уйти Пимену от самого же Пимена, но по сердечной догадке ответила:

– Наступаешь ты, братец, на истинный путь!

Подняться бы нужно было и теперь, как тогда; в этих делах можно только сразу подняться. Саморок поднялся, а Пимен спросил:

– Как же теперь с коровами?

И Саморок не ушел. Слободские судьи потом говорили:

– Ему это от Забастовки горошку подсыпало, подбелило, подчернило; стал полубелый, получерный, с горошком, ходит по городу и спрашивает попов: «Христос или коровы?»

IV

Думали в городе, что Пимен с толку начал шибаться, а у него это крылья росли; дальше больше росли, и вдруг мясник поставил всему духовенству вопрос. Началось это в тот самый день, когда наш архиерей задумал поехать на юг отдохнуть. Собралось на вокзале много народа, и Пимен тоже, сильно выпивший, стоял головой выше всех как раз против самого архиерея. Перед самой площадкой вагона, где

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru стоял архиерей, много было попов, черных и белых, – провожали больного епископа. У одного батюшки в левой руке был какой-то кругляк, хорошо, по лавочному завернутый, перевязанный веревочками. Пимену разное лезло в голову насчет этого кругляка, и, Бог знает, откуда всплыло передуманное за чтением св. Писания о тайне круглой, закрытой. Читает Пимен, края-слова заучивает, а о большом, о середине, и думать не смеет: то для чающих закрыто. Бывало, нет-нет и мелькнет мысль похотливая – на что же он и был Саморок, – что если бы это открыть, найти бы такого попа из обещающих Бога, упасть бы на колени перед ним и умолить, и упросить, все чтоб без утайки раскрыть насчет обещания, а потом опять покаяться и, как все чающие, в покорности и смирении жить, но только чтоб все-таки знать насчет обещания. Эту мысль при чтении св. Писания Пимен отгонял как похотливую и дьявольскую. Но теперь она опять пришла. На поповский кругляк смотрел теперь Пимен как на особенную, закрытую тайну, и вокруг нее стоят теперь священники, и сам епископ внимательно смотрит.

– Что же это может быть завернуто у батюшки: сыр? или, может быть, кочан капуста? – того хуже.

И епископ тоже внимательно смотрит; вот пальцем подозвал попа с кругляком.

– Это что у тебя, арбузик?

Удивило это Пимена: и то, что он, епископ, такой большой человек, одинаков с ним думает о пустяке и что лучше еще его, мясника, простого человека, догадывается.

– Арбузик? – спросил архиерей. Батюшка улыбнулся и ответил:

– Паникадило.

В эту минуту Пимена вдруг будто лукавый толкнул, – конечно же, был человек сильно, сильно выпивши, – толкнуло Пимена подступить к ним ко всем и сразу задать свой большой вопрос страшный, и тут же обещаться на веки вечные. И так это сладостно подступило, чтобы обещаться не как-нибудь и не куда-нибудь, а раз навсегда в блата и мхи непостоянные, где вечная стоит ограда, и у той ограды быть сторожем.

Сердце таяло, грудь растворилась, голубок стучал, и Пимен выступил...

Такие были ангельские слова на устах, а сказались только:

– Человек я малограмотный... Удивился архиерей.

– Мясник я, Пимен... так что я от себя научился, а у меня коровы, хочу Божьего дела, а у меня коровы..

Все путалось, все говорилось не то, и вдруг пошел на поправку с отчаянием.

– Слышал я, как вы у батюшки арбузик просили, а он вам подает паникадило... Вот и я так: хочу арбуза, мне подают паникадило, хочу Богу молиться – арбуз мешает.

– Густо замесил! – шепнул и толкнул Саморока батюшка с паникадилком.

Саморок вовсе спутался. Прозвенел третий звонок; архиерей благословил всех и умчался.

– Густо замесил, – сказал громко батюшка, – нужно было о Боге, а ты о коровах.

– И об арбузе! – засмеялся второй батюшка.

– Вот он и уехал! – смеялся третий. Животики надорвали батюшки, сами себя застыдилились, озирались кругом – не видно ли? Подымали благообразные апостольские лица, проводили для успокоения по всему лицу и бороде ладонью – ничего не помогало, ослабевали пружинки, и все один за одним ложились и хватались за живот.

– Густо замесил, Саморок! Посмотрел на них Пимен серьезно и вдруг как бы отрезвел; так посмотрел, что и попы успокоились и участливо стали Пимена спрашивать, чего он хотел от архиерея.

– Есть у меня векселек, – загадочно ответил им Пимен, – человек я маленький, темный человек.

– Густо месишь! Подлей водицы!

– Так вот у меня, батюшки, есть векселек, хотел это я векселек предъявить...

Покачали головами попы, разошлись, и с ними разошлась по городу молва о новом Пимене, о его векселе.

Так впервые тут помаячило Пимену, как бы это собраться всем чающим и предъявить вексель обещающим... Сначала он стал робко об этом говорить, нащупывать, как кто о Боге понимает, как верует, и мало-помалу он с этим вопросом плывет, как броней одетый корабль, и все вокруг него, как вода, раздается. Откуда что взялось! Себя самого за последнего темного человека считал, и вдруг от его вопроса все зашевелилось вокруг. Что же, если бы настоящий-то пришел и спросил по-настоящему?

Вернулся архиерей с юга. Докладывают ему, что вот человек по городу ходит с вопросом, и вопрос этот вредный. Вспомнил архиерей, как ему на вокзале какой-то пьяный великан бормотал о коровах и об арбузе, и послал к нему миссионера Круглого.

– Какой это у тебя вопросик? – спросил Круглый. Был теперь Пимен уж не тот смиренный, что искал только случая упасть на колени и благословиться идти во блата и мхи непостоянные утверждать неколебимую ограду каменную, – Пимен теперь стал Саморок, первый чающий, вексель предъявляет обещающим.

– Вопросик, – сказал Саморок, – самый простой: спрашиваю, есть ли Бог? Отвечают: «Как же не быть Ему?» Проверяю обещающих: есть ли Бог? Обещающие не дают ответа. Мой вопрос самый простой: скажите мне сразу, есть ли Бог?

Улыбнулся Круглый.

– Есть ли Бог? – Да как же нет? Один ученый сказал: если и нет Его, так надо бы выдумать.

– Зачем выдумывать?

– А чтобы такому, как ты, прислониться.

– Понимаю, – сказал Саморок, – вы, стало быть, веруете, что Бог есть забор, веруете забору, а зачем же вы обещаете Бога?

Смутился Круглый: это же он не про себя, это он про одного ученого француза говорил.

– А сам как? – страшный приступил Саморок лицом к лицу, глаза, как ножи. – Сам как веруешь?

– Я вижу, – ответил Круглый, – ты хочешь, чтобы я тебе живого Бога на блюде подал.

– Хочу живого, а вы мертвого, вы мертвого нам обещаете. Дивился, несказанно себе самому дивился Саморок, откуда же это у него, у последнего человека, власть такая явилась смущать и даже потрясать, и в гнев и ярость приводить больших людей самым простым и первым вопросом: «Есть ли Бог?».

Так раздумывая, как всегда о чающих и обещающих, шел однажды по улице Саморок, и день обыкновенной человеческой жизни показывался ему в неясных обрывках, несвязанных: там говорили о белых усах – почему о белых? Там барыня хвалилась, что горничная у нее грамотная и может читать вывески; там в открытую дверь храма виднелась горящая зеленая свеча; там лежали окорока для праздника, шли исповедоваться, и тут же ветчину торговали: вперед знали, что Бог простит грехи, и нарочно дорожка скользкая усыпана была черными углями, чтобы грешники не упали и все у них кончилось бы с грехами благополучно, а то грешников не будет, к кому же тогда пойдет ветчина? Угольки рассыпали два мальчика и, рассыпая, спорили,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
кто старше, Христос или Боженька.

– Боженька старше! – говорил один.

– Старше Боженьки Иисус Христос, – отвечал другой.

К этим голосам прислушался Саморок, и видит, что за мальчиками идет какой-то простой, но чисто одетый рабочий человек и улыбается. А дети все спорили, спорили и подрались за Боженьку и за Христа, санки опрокинулись, угли рассыпались. Тогда рабочий подошел к ним, разговорил, помирил, даже угли подобрал. Саморок очень удивился, что человек взрослый, рабочий, тратит столько времени с мальчишками.

– Они спорили, – сказал рабочий, – о Боге, спрашивали, кто старше; один говорил, Боженька старше, другой, что Иисус Христос; спорили и подрались из-за Бога. Вот я им и говорю: из-за Бога драться, дети, не следует, – Бог есть любовь.

– Как ты сказал, – еще больше удивился Саморок, – Бог есть любовь?

– Да, я так верую сам, и больше, по-моему, веры нет никакой. Рабочий остановился возле деревянного домика, откуда слышалось пение священных песен и музыка.

– Хочешь, – сказал рабочий, – зайди к нам посмотреть; мы не дереву молимся, а духу, и драться нам не из-за чего. Божество деревянное у нас давно разбито. Бог есть дух, Бог есть любовь.

И увидел Саморок голые стены, а люди сидят хорошие, и как-то особенно молятся, – и хорошо, и тяжело: не на чем глаз остановить.

– А Христос у вас голенький, – сказал после службы Саморок.

– Голенький, – улыбнулись братья, стали ему рассказывать и пояснять Священным Писанием, отчего Христос у них голенький.

Все было так ясно и хорошо в их речах; и раз и два и три все ходил к ним потом слушать рассуждения, а чего-то главного не мог понять.

Была в их речах, скрывалась где-то простая самая подковырочка вроде бородавки к потайному ключу, и ее никак не мог понять Саморок: слушал, кивал огромной головой, будто во всем соглашался, а в то не мог проникнуть и мучился.

– Вера приходит от слышания, – сказал однажды евангельский брат.

И вдруг как свет какой с неба упал. Саморок поднялся и воскликнул:

– Ага! Понимаю: все нужно принимать на себя!

Понял он в эту минуту вдруг, что в Священном Писании все о нем же, о Самороке, и говорится все о нем, до малейшей черточки; и все сразу ясно, как день, отчего и эти люди так молятся, и отчего Христос у них голенький.

– Понимаю, – воскликнул Саморок, – все нужно принимать на себя!

Слезы ручьем потекли из глаз его, слезы радости, что душа себе выход нашла. Братья и сестры по духу окружили его, радуясь новому брату. Тут же перед моленной, на улице, чтобы все видели, стал на колени Пимен, не стыдясь, не унимая бегущих слез.

А прохожие смотрели на него и, смеясь, говорили:

– Вот человек, – нашел себе веру, и водка у него слезами выходит.

У

На коленях перед иконами стояла Маша и была в молитве своей тиха, как спокойная речка в русле Адамовом.

– Что ты молишься богам деревянным? – говорит ей брат.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
И снимает иконы. Огонь в печи разводит. А Маша, немая, смотрит, будто приведена сама на сожжение.

Окруженные пламенем стоят в печи иконы, и еще есть надежда, еще верит Маша, что останутся неопалимые, как три отрока в печи огненной.

Горят. Но Маша верит, что святой это пламень, бежит смотреть, не покажется ли чего из трубы. Дым из трубы валит простой.

– Сбегала, посмотрела? – усмехается Саморок, – нет ничего.

И спокойно, помешав жар, закрывает трубу.

Но это кажется только, что ничего не случилось; не та Маша, и Пимен не тот теперь, – оборвалась речка Адамова.

Брат с сестрой вместе читают Библию, он ее учит:

– Нужно все примать на себя. Что бы ни было, все на себя; о нас, живых, в этом доме идет речь, а не о тех, что там. Где там? Что там? Того мы не знаем. Нужно все примать на себя!

Начали от самого сотворения мира книгу на себя переводить: вот она, прежняя наша тьма, когда еще мы верили в богов деревянных, хаос вселенной – хаос нашей души. Этот первый свет – свет истинной веры. Стал свет, и отделилась ночь. И было утро, и был вечер – день первый.

– Нужно все примать на себя, – говорил Саморок. – Бог значит свобода, а не дерево. Адам – разум твердый, а не мужик Адам. Понимаешь?

До полуночи книгу на себя переводили и пришли к тому месту, как Лот в пещере уснул с дочерьми и Бог не осудил этого, и дети, рожденные Лотом от родных дочерей, были угодны Богу, творившему род человеческий.

Это как? Лотову пещеру как принять на себя?

Крепко задумался о Лотовой пещере Саморок, и так уснул с нерешенным вопросом: что значит пещера Лотова?

Снился ему в эту ночь лес необыкновенный, лес большой, на всю землю лес, натемно закрывающий небо. Из лесной густели, из темени в разных сторонах взывают люди к закрытому небу, молятся; но слова молитвы падают, слово Бог стало звук немой и сухой. И вот во тьме лесной показались огни и голоса. «Это мы, – говорят, – идите за нами, мы вас выведем». И повели род человеческий в разные стороны строить храмы из драгоценных камней, создавать в лесу небо. Он, Саморок, не хочет идти за разбойниками, он один, сам хочет найти правильный путь; идет он в темном лесу и вот видит перед собой пещеру...

Петух закричал. Проснулся Пимен, открывает глаза: вся в белом, в лунном сиянии стоит на коленях Маша и молится горячо на пустые места, где раньше стояли боги деревянные.

– Речка Адамова!

Задрожала Маша, испугалась брата. Но Саморок ласково поднял ее и, лаская и уговаривая, вошел с нею в пещеру Лотову.

Когда на другой день заканчивалось молитвенное собрание общины христиан, вспомнил свой сон Саморок и как он потом вошел в пещеру, и открылось ему тут, что Бог есть свобода и начало жизни. Радостно после службы объявил он своим братьям по духу, что этою ночью, подобно Лоту, сочетался, и так этому быть: Бог есть жизнь и свобода. И тут опять будто сон наяву: как в лесу тогда, вдруг все замолчало, и он один. Или эти братья только вид делают, что свободные? Наступило молчание, и все, ничего не сказав ему, разошлись из моленной. Как потом приходил к нему старший брат и ласково, запинаясь, говорил ему об исключении грешника из общины, и как потом гнал он брата этого по городу метлой, и как потом с сестрой выходил навсегда из дома, – все было как сон: лес, необыкновенный, большой, на всю землю лес, натемно закрывающий небо, и в лесу голоса и обманчивые огни.

Дня через три голодные, с жалобным мычанием, тем же следом вышли в поле пятнадцать коров. Впереди шла самая старая корова, вся в залізах, корках и со скрипучими копытами. На окраине города, у двух дорог – в лес и поле, – коровы остановились и долго стояли, будто советуясь, куда же идти, – в лес за хозяином, или в поле. От старой коровы развелось все это стадо, она одна помнила Крещеные Нивки и первая двинулась в поле, а за нею и все стадо пошло. Шли коровы гужом, не останавливаясь, полями, лесами, берегом речки, по высокому кряжу, до самого Фомы-апостола, где некогда утонул первый Грамотный. Поселок «Крещеные Нивки» стал теперь настоящим селом с церковью, но старая корова узнала прежний дом и у ворот остановила все стадо. Брат, прозванный Каином, сразу узнал старую корову, впустил ее со стадом, накормил и пошел в город узнавать, что там случилось такое, отчего коровы покинули брата.

– Ушел Христа искать, – сказали в городе. – От Забастовки ему маленько горошку подсыпало, ходит и спрашивает: «Христос или коровы?». Теперь бросил коров, ушел искать Христа.

Брат Каин тут помолчал, что коровы пришли к нему, придержался, а потом уж само собой вышло, что раз человек ушел Христа искать, то куда же деваться коровам? Так они и остались у Каина.

Старички

Бывает в Крыму весной, – отчего это бывает, мне объяснили ученые: при медленном согревании моря и все еще очень холодных горах верхний, горный слой атмосферы уляжется, не смешиваясь, на нижнем и так долго пребывает, пока вдруг от какой-нибудь ничтожной причины равновесие нарушится; тогда, бывает, при ясном небе с шумом и свистом косою полосой от края плоскогорья к берегу моря мчатся захваченные ураганом облака, цветы, крыши домов и повергаются в море; на воде, до той поры спокойной, синей, поднимается белый вихрь, похожий на зимнюю нашу метель, и так странно бывает смотреть, как в белых клубах этой метели мчатся куда-то красные розы.

Я это видел сам весной в Крыму: летели в море цветы персиков, ветки кипарисов, розы, магнолии; теперь, при воспоминании, из белых клубов метели встают передо мною человеческие лица: старички Михаил Иванович и Прасковья Михайловна; теперь мне кажется, будто весенний ураган вместе с цветами унес в море и их...

Было это в одном курорте на Южном берегу. Я жил у своих друзей в лучшей свободной комнате: друзья мои занимались «туберкулезной промышленностью», как в шутку называют в Крыму курортное дело. Когда приезжие снимали мою комнату, я переходил в другую, свободную. И так, странствуя из коридора в коридор, из этажа в этаж, очутился на самом верху, на башне.

Вокруг моей башни на крыше дома была устроена широкая площадка с лавочками; сюда постоянно приходили жильцы любоваться видом Генуэзской крепости, восторгались, пели, шутили, объяснялись, и каждое, даже тихо сказанное слово было слышно в башне, – вот отчего эта комната оставалась всегда пустой.

Все, должно быть, издавна привыкли думать, что башня пуста, и не стесняясь говорили все. Я кашлял, стучал, меня пугались, вскрикивали, убегали. Но мало-помалу и я привык не обращать внимания, и ко мне привыкли.

И мало было интересного для наблюдения в этом почти исключительно дамском пансионе. Дамы были все скромные; кто не имел средств, чтобы поселиться у дорогого и веселого Александра Безродного, кто боялся прямо подступить к веселью, постоянно ссорились между собою, скучали, и все представляли себе, что настоящий Крым не здесь, а где-то там, у недоступного Александра Безродного.

Поселился одно время и у нас веселый кавалер, но с ним стало еще хуже: все дамы разделились на две злейшие партии. Едва-едва как-то отделались от этого кавалера, как в его комнату прибыл другой; тот ухаживал, этот прямо стал делать серьезные предложения и распугал весь пансион. После этих двух неудач владельцы пансиона расстались с мыслью развеселить своих дам способом Александра Безродного и в свободной комнате поместили старичка Михаила Ивановича со старушкой Прасковьей Михайловной. И вот, как это ни странно бывает, чего напрасно ожидали от молодых, веселых людей, сделали эти очень старые люди: они соединили обе наши враждебные партии без всяких усилий со своей стороны. После

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
обеда приходил на площадку Михаил Иванович с полными карманами конфет и бубликов. Строгая Прасковья Михайловна всегда приносила с собой книжку толстого журнала и принималась читать что-нибудь вслух. Делая вид, что внимательно слушает, Михаил Иванович потихоньку бросал вниз из одного кармана кусочки бубликов собакам и птицам, а из другого – детям конфетки: внизу собиралась большая толпа детей, птиц, собак; все это возилось, пищало, шумело, но Прасковья Михайловна читала журнал, не обращая внимания на то, чем забавляется Михаил Иванович, как хороший священник служит Богу и не замечает толпы. Это повторялось у нас каждый день, и мало-помалу все привыкли к этим старичкам: кто присаживался слушать чтение Прасковьи Михайловны, кто под журчание чтения просто любовался морем, кто из старых дам, переживая давно прошедшие времена, задумчиво что-то вязал. По утрам обе когда-то враждебные партии уже начинали совершать совместные горные экскурсии, гуляли в общественном парке, катались на лодке. Было очень ясно, сухо, тепло, почти жарко. Но ранней весной в Крыму это бывает, говорят, перед сильной грозой и страшным ураганом...

Рано я вышел на площадку башни и видел, как Михаил Иванович направляется в горы со своей строгой старушкой. Смешон был старичок в своем костюме туриста, как будто на него были надеты две юбки, подлиннее и покороче. Как всегда, старички шли, окруженные детьми и собаками; направо и налево сыпались конфетки и бублики. У Прасковьи Михайловны и на этот раз, как всегда, была какая-то книжка. Они, конечно, отправлялись к Царской площадке, где в тиши утесов Прасковья Михайловна обыкновенно читала вслух, а Михаил Иванович, делая вид, что внимательно слушает чтение, пускает с пальца божьих коровок.

– На Царскую площадку? – крикнул я.

– На Царскую! – весело ответил Михаил Иванович. – Идем обед зарабатывать.

Я тоже скоро отправился в горы, забрался высоко и так до вечера пробыл возле одной знакомой висячей горной сосны. Вечером, подходя к дому, я услышал какой-то подозрительный небывалый шум в нашем пансионе, и зачем-то из соседнего пансиона к нам шли чужие люди. Я спросил на ходу, что случилось, и мне ответили странно:

– У вас какого-то старичка запечатали.

В доме было смятение; по коридорам неслись горничные, дамы, кухарки, – все перемешалось, как в урагане. Я спрашивал; мне на ходу отвечали:

– Михаила Ивановича запечатали. И проходили мимо.

Я спрашивал других, кто запечатал Михаила Ивановича. Мне отвечали:

– Становой запечатал Михаила Ивановича.

– Может быть, арест на имущество?

– Какое вам там имущество: самого старика запечатали, – такое свинство!

Встревоженный каким-то неясным и, очевидно, большим происшествием, я тоже за всеми бросился вверх; в коридоре второго этажа людей было еще больше.

– Михаила Ивановича запечатали! – слышалось со всех сторон.

Наконец, в третьем этаже толпа любопытных стояла плотной стеной, и перед закрытой дверью одной так знакомой мне комнаты стояла Прасковья Михайловна и то хваталась за ручку, то беспомощно отступала и тихо плакала. Ее старались успокоить, говорили, что все разъяснится скоро, на станowego пожалуются губернатору.

– Пустите меня к нему! – твердила Прасковья Михайловна и снова хваталась за ручку, и снова отступала: дверь была заперта.

– Он там? – спросил я соседа.

– Запечатали, а вы не знаете...

И все мне рассказали: как Михаил Иванович сегодня на прогулке скоропостижно

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru скончался в горах, как его привезли сюда и запечатали, а Прасковью Ивановну к нему и не пустили даже до приезда законной жены.

Я ничего не понимал от волнения, не мог даже и вообразить себе, чтобы у старичка Михаила кроме Прасковьи Михайловны была какая-то еще законная жена. Только мало-помалу разъяснилось, что, правда, у Михаила Ивановича есть законная жена, и хотя вот он уже сорок лет путешествовал с Прасковьей Михайловной, право войти к мертвому имела только жена та, законная: пока она не приедет, Прасковье Михайловне войти нельзя: мало ли что может случиться с вещами покойника. «Для вас все это спокойнее», – будто бы такими словами утешал Прасковью Михайловну становой.

– Возмутительно. Сейчас же будем телеграфировать губернатору! – твердила одна молодая взволнованная дама.

– Осталась одна с ридикюльчиком! – повторяла другая старая дама.

Целых два дня мы были в ожидании законной жены, боязливо озираясь на комнату-могилу, опускались вниз и все один перед другим старались высказать свое сочувствие Прасковье Михайловне. Цвели уже розы. Носили старушке самые хорошие, редкие цветы. Было много цветов, но природа без дождя была мертвая. Дождей всю весну не было. Кипарисы от дорожной пыли стояли серые, как в саванах, море казалось без ветра мертвой зыбью. Все омертвело, в сухом зное не сами раскрывались цветы, а как будто их выдвигали невидимые руки.

Знатоки говорили, что так бывает всегда перед грозой и страшным ураганом.

При этой затихшей природе не хотелось гулять, мы целый день проводили на башенной площадке, тихо беседовали и потом вечером тех, кто боялся покойников, провожали за двери комнаты.

Законная жена все не ехала. Последняя ночь была особенно томительной: мы долго не расходились и беседовали о праве законной жены обладать мертвым телом. Большинство думало, что получится разрешение, если сорок лет он жил с другой, та не едет.

– Явится! – говорили немногие опытные.

И, правда, она явилась на следующее утро: тоже глубокая старушка, в коричневой старомодной соломенной шляпе, вероятно, из какой-нибудь глуши дворянских доживающих усадеб. Из экипажа она прямо, – и видно, в большом горе, – пошла к хозяевам дома. И тут неожиданно для всех оказалось, что эта старушка горевала не менее Прасковьи Михайловны. С глубоким удивлением выслушали мы рассказ, каким хорошим мужем был всю жизнь Михаил Иванович. Долго мы ничего не понимали, пока старушка не рассказала одну страницу в характере Михаила Ивановича: лет уже сорок тому назад он заболел и весной уехал путешествовать; с тех пор ему для здоровья каждую весну было необходимо уезжать; возвращался же он домой только осенью.

«С одной жил, с другой путешествовал», – поняли мы, и все переглянулись, и точно сговорились в этот момент оберегать старушку от Прасковьи Михайловны. Мгновенно по всему пансиону разнесли наши дамы весть о необыкновенной жизни Михаила Ивановича, и все чувствовали одно: необходимо оберегать законную старушку. Позаботились даже, чтобы не дошло к ней чрез прислугу о Прасковье Михайловне: все горничные и кухарки были предупреждены.

Очень странно только мне кажется теперь, почему так вдруг все забыли о самой Прасковье Михайловне, как будто ее тут и не было между нами.

Я не помню присутствия Прасковьи Михайловны, когда распечатали дверь покойника. Настоящая, законная жена подошла к телу Михаила Ивановича и сначала все гладила, гладила рукой его волосы, а потом плакала, как плачут все настоящие, убитые горем жены. И горе ее было так просто и так полно, что в голову не пришло посмотреть вокруг себя на другую старушку.

Пришел священник, служил панихиду, принесли гроб, уложили, убрали цветами, повезли. Мы все провожали покойника до границы соседнего курортного имения, и только уже когда гроб и старушка скрылись на повороте за пыльными кипарисами,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
все стали искать в толпе Прасковью Михайловну. Встречались глазами и спрашивали молча: «Где Прасковья Михайловна?» Переводили глазами в другую сторону: и там не было Прасковьи Михайловны.

– Где же Прасковья Михайловна? – спросил, наконец, кто-то вслух.

Ее между нами не было. Все молчали в тревоге. Дома, не сговариваясь, пошли прямо в ее комнату, но и там ее не было, и на башенной площадке, и никто нигде ее не видел в курорте. Мы вообразили себе, что она где-нибудь в горах на своем обычном месте, на Царской площадке. Пошли туда – и там не было. Кричали – не отзывалась, и хотели уже подниматься выше по разным направлениям, как вдруг тут ринулся с гор к морю косою полосой, увлекая с небес облака и срывая на земле цветы, ураган. С большим трудом побежали мы домой в последней надежде, что она откуда-нибудь пришла, но ее дома не было.

Где же она была, куда делась? На другой день я уезжал из Крыма и удивлялся, как всех наших дам соединило эта печальное событие: все они вместе ходили теперь по берегу и собирали вчера унесенные и снова теперь возвращенные морем цветы.

Аптека счастья

I

У соседей на дворе я заметил садик немецкий: на крыше небольшого дома растет сеяная трава и поставлены скамейки, внизу под деревьями резонатор и эстрада для музыки, теперь все в бумажках, тряпках, все засыпано сухими листьями каштанов, ничего больше не убирается. Смешной садик с музыкой – следы немецкого влияния в польском городе. Я помню такой же другой садик в другом городе, только вместо настоящей музыки там был граммофон, и когда весной прилетал соловей, фрау Вейс выносила граммофон на столик, заводила его и странно... Теперь, через много лет, звуки соловья и граммофона для меня сочетаются в полную гармонию. Но что не сочетается, когда пройдет много лет? А фрау Вейс находила тогда прекрасном сочетать сирень, соловья с граммофоном.

– Wunderschon! – восклицала она.

Цвела сирень, пел соловей, играл граммофон, а фрау Вейс делала с нами расчеты: можем ли мы, начинающие литераторы, рассчитывать в будущем жениться на порядочной женщине. Вокруг этого садика на Малой Охте была невылазная грязь, капустники, лачуги пропащих столичных людей. Мы с товарищем снимали у фрау Вейс целую квартиру в четыре комнаты с кухней за четырнадцать рублей в месяц; весь низ большого, деревянного, крашенного охрой дома состоял из маленьких квартир, в них жило множество всякой интеллигентной бедноты. Весь верх занимала фрау Вейс, казалось, совершенно одна, так молчалив и тих был ее больной муж, фабрикант ковриков из кокосовых орехов. Утром наша хозяйка летала сверху вниз и в свой садик в неустанном труде, после обеда она стучалась в квартиры жильцов, неизменно повторяя одни и те же слова:

– Молодая женщина, не хорошо сидеть дома, гулять, гулять, пошел гулять!

II

В сиреневый садик выходили молодые и старые женщины, усаживались на лавочках, слушали граммофон. Их дети бегали, играли; чуть заметит фрау Вейс драку, сейчас же находит виновника.

– Ты с ума сошел! – кричит фрау Вейс.

И, бывает, отшлепает.

Наказывает, награждает, устраивает всевозможные игры для чужих детей, даже поет, даже учит танцевать свою любимую крейц-польку. Я забыл немецкие слова той песенки, но помню, в ней был какой-то пьяный Schwiegersohn, идет этот зять большими шагами, – вот и все содержание песенки.

И это на болоте, среди капустников или вовсе невозделанных торфяников. Удивляются теперь, что у немцев не бывает чувства тоски по родине, – да чего же им тосковать: с родиной они и не расстанутся, среди петербургских болот фрау Вейс была совсем, как в Германии.

И вот появляется у нас в доме Вильгельм Федорович, приличный, прекрасно одетый,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru всем кланяется, дальний родственник фрау Вейс. Слушать граммофон в садик он почему-то не ходит, чуждается нас. В его комнате висела большая карта Петербурга. Проходя мимо квартиры в часы, когда она проветривалась, мы замечали, как эта карта, начиная с центра, мало-помалу покрывалась булавочными флажками. Тогда и в голову не могло прийти, как теперь, заподозрить немцев в шпионстве. Но все-таки мы очень удивлялись, как эти флажки все прибывали и прибывали, а потом стали убывать, и через месяц остался только один. Ранним утром Вильгельм Федорович куда-то исчезал, возвращался поздно вечером. Лицо его, энергичное и довольное, по мере исчезновения флагов потухало и, наконец, когда остался единственный флаг, стало несчастным. В этот вечер мы встретились в коридоре лицом к лицу, я был поражен несчастным выражением всегда довольного лица, и, мне кажется, в эти минуты этот немец похож был на русского.

III

Мы выразили свои знаки сочувствия Вильгельму Федоровичу, он растрогался и просил нас в свою комнату.

– Здесь, – говорил он, – помещается мой велосипед, здесь помещается мой фотографический аппарат, здесь помещаются мои коньки и здесь помещаются мои скэтинг-коньки.

Мы указали на единственный загадочный флаг:

– А что это значит?

– О, это мой большой секрет! – ответил Вильгельм Федорович. На другое утро последний флаг исчез, вечером Вильгельм Федорович явился довольный.

– О, мои большие друзья, сегодня у меня будет большой, большой праздник. Я вас всех приглашаю.

Что было думать о странном поведении нашего немца? Мы говорили друг другу: «Вильгельм сошел с ума».

Заработала, застучала, загремела тарелками фрау Вейс, собрались в квартире соседа какие-то аптекари или оптики, совсем похожие на Вильгельма, сытые и довольные, счастливые, пришел и больной муж фрау Вейс, фабрикант кокосовых ковриков. Конечно, мы начали праздник с вопроса, почему торжество.

– Молодые люди, не торопитесь, больше всего людям мешает, когда они торопятся; такие люди не достигают цели.

Сделав лукавое лицо, Вильгельм поднес палец к улыбающейся, сияющей своей щеке.

– И больше всего это опасно молодым людям! – пригрозил он нам этим своим пальцем.

IV

Остальная часть вчера до глубокой ночи была посвящена биографии виновника торжества. Мы узнали, как трудно было Вильгельму Федоровичу где-то в русской, глухой провинции, но он все-таки никогда не падал духом, не расставался с мечтой о службе в большой-большой аптеке, в большом-большом городе и даже о собственной аптеке. Он изучал каталоги, знал все аптеки в России, писал, но все было напрасно, везде ему была неудача. Наконец, он скопил порядочную сумму денег, взял отпуск за месяц, и вот объяснение военных действий: флаги были поставлены на места всех существующих в Петербурге аптек, и составлен был план обхода всех их, начиная с центра, в последней аптеке Вильгельм и добился места провизора.

– О, это очень поучительно для вас, молодые люди, – лукаво подмигнул нам Вильгельм, – вы теперь знаете, как нужно достигать своей цели.

Провизоры и аптекари закурили сигары, фрау Вейс открыла окно в свой сиреневый садик. Все были очень счастливы, все говорили речи, и только больной фабрикант кокосовых ковриков молчал и совсем не похож был на немца: не было вкуса к немецкому счастью, не было охоты его достигать. Больной фабрикант кокосовых ковриков был очень похож на русского.

Во время войны я обеспокоился за судьбу старого своего приятеля и прозвонился в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
его собственную аптеку на большой улице большого города.

- Здесь Вильгельм Федорович? Голос очень знакомый ответил:
- Вильгельма Федоровича больше нет. Я назвал свое имя.
- Был Вильгельм Федорович, теперь я – русский человек. Василь Василич.

Цепочка Иисусова

I

Когда заболит дитя и мать, нуждой убитая, повторяет: «Поскорей бы прибрал Господь!», на пороге является высокая строгая старуха и спрашивает:

- Не улетела еще ангельская душка?
- Поскорей бы прибрал Господь! – отвечает младенцева мать.
- Грех так, – говорит мирская няня, – пределы Господа неведомы.

И начинает долго молиться. Потом без еды и сна сидит на полатах строгая и печальная, как Божия Матерь с Младенцем в руках. В избе тогда вовсе нет тяготы от больного ребенка, мать спокойно хлопчет с пирогами у печи, отец с хомутами входит и уходит. А то святое дело на полатах кажется вовсе не дело: так сложилось из света и теней похоже на Богородицу.

Из света лампы Родионовна творит себе молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!». Из теней разное складывается Родионовне, больше всего беспокоят хвостатые. Лезут из-под лавок, лезут из-под печи, лезут из всех щелок, лохматые и голые, рогатые и безрогие. Становятся на цыпочки, тянутся, взбираются по спинам, заглядывают, вздыхают, шепчут, порой вздуваются над полатами – доски трещат и вот-вот полата повалятся.

Молитва Иисусова – непрерывная цепочка святых заветных слов, сначала на губах, потом в сердце, потом сливается с движением крови. Оборвись тут одно звенцо из цепочки Иисусовой – и пропало все: лихая нечисть живо растащит дитя. И вот уж тяжело, вот уж как бездомно бывает Родионовне! Но глаза не отрываются от озаренного лампадой лика Божией Матери, крепче и крепче связывает цепочка молитвы Иисусовой больное сердце новой матери с неизвестным сердцем младенца.

Когда, слава Богу, оздоровел младенец, трудно бывает Родионовне, новой матери, покинуть свое дитя, ее дитя, и единственное. Уходит домой, шатаясь от горя, будто мать, родное дитя на войну проводившая.

И так она много рождает детей, но дети не ей достаются.

В сочельник Нового года за лесом помирал старый дед. У деда никого не было в избе, только сиротка-младенец. Без дедова ухода закричалось, потом стихло и загорелось дитя. За поздней обедней сказали про это Родионовне. Помолилась она за больного дитя и твердо решила ехать к больному. После обедни пошли на кладбище поминать покойников. Родионовна тоже понесла туда свои поминальнички. Кладбище далекое и тесное: гроб на гроб, покойник не покойника, камень на камень. Свою могилку узнают только по зарубкам и соснам. И даже зарубки сходятся. А так сухое кладбище, высокое, песочек, покойникам лежать хорошо, а живым помянуть – удовольствие. Разложили в это новогоднее утро женщины свои пироги, пришел батюшка, окадил, пономарь собрал в мешки поминальнички, Пономарев поросенок прибежал добирать, а за поросенком давно уже следил узкомордый волчонок.

Родионовна молилась и плакала о том, где свежее и больше чуялось горе. Когда все разошлись с кладбища и осталась одна, покрошила свои пироги над всеми могилами, и разные птицы стали слетаться на крошево. И хорошо было зимой между соснами, бело, светло было на душе у Родионовны.

А тот волчонок, стерегущий Пономарева поросенка, все полз и полз по канаве, напоз почти на самую Родионовну, струсил и пустился бежать через поля в казенный лес. Волчий след на поле перехватили охотники, побежали по следу, но вдруг замутилось на небе, снег повалил, ветер поднялся и замел волчьих следы. Только в самой глубине казенного леса, куда ветер не проходит, на пнях и волчьих кустарниках остались какие-то незанесенные снегом волчьих заметки. По этим

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
заметкам другие волки понимали свое волчье и тут же оставляли новые заметки, и новые волки, читая старое, прибавляли свое. Так по-своему они узнавали и свое волчье и всякие человеческие новости. Паршивый узкомордый волчонок все разболтал на кустах и пнях, про Пономарева поросенка и про старуху Родионовну.

Как замутилось небо, как помело сверху и снизу, замутилась душа у Родионовны. Не попасть, думает, к младенцу, пропадет без нее дитя: на небе-то, конечно, прибавится ангельская душка, с неба смотреть будет новая звездочка, а на земле против нее тесное кладбище. Сама не своя металась к окошкам Родионовна, выглядывала, не утихнет ли метель. Не утихало, и Родионовна весь день была сама не своя. Под вечер вошла к ней соседка с ребенком – такое славное было у нее дитя – цветок.

– Ангельская душка, – спросила Родионовна, – посмотри в окошко, можно ли мне ехать, волки не обидят меня?

Верила, как в старину все верили, что дитя никогда не обманет, и самому только надо делать точно, как скажет дитя.

– С дороги не собьюсь, не застыну, волки не обидят меня?

– Волки, бабушка, тебя не обидят.

Теперь нечего было больше раздумывать, ехать или не ехать.

Соседка пошла запрягать буланую лошадку, а волчонок, стерегуший буланку, побежал в казенный лес, оставляя на кустиках заметки, что Родионовна собирается на ночь ехать на буланке в казенный лес.

II

Ослепила метель все большое глазастое поле; залепила слух ушастому лесу, но волки по-своему гуляли: этою ночью ветер стихнет и месяц покажется. Старая волчиха-хороводница опять захотела испытать силу и здоровье своего лобастого друга, ставила метки в лесу, готовила большую рождественскую свадьбу. Осторожно, вдумчиво обнюхивали волки заметки, неслышно ступали по рыхлому снегу и собирались на опушке возле старой волчихи.

Месяц взошел, и опять стало поле глазасто. Показалась черная мельница. И так чисто, так все заметно на белом: полынки на меже, те будто ряды мужиков вышли поле делить и между собою тихо советуются.

Лес прислушался: далеко на Пониковке маленькая собачонка тявкала на луну. Огненным волчьим глазам все было видно: как на белых серебряных волнах плыла маленькая черная лодочка, покажется наверху волны и опять надолго под водою спрячется, и опять всплывает, и все подвигается к большому неподвижному черному острову, к мельнице.

Вот и мельницу проплыла, взбирается выше. Старый лобастый волк попросил у волчицы место впереди и приготовился выступить.

А Родионовна плыла в своей лодчонке совсем не по волчьим заметкам. Заметила себе в жизни Николу Угодника, старца строгого и милостивого, заметила Ангела-хранителя душ и телес наших, заметила Богородицу Деву, Матерь Бога нашего, и дитя Ее безутешное, Сына человеческого. По обещанию к больному младенцу держит путь, доверившись буланке, и не правит: сама знает буланку, где твердое, а дернешь, ступит с дороги, и потом уже из снега не выбьешься. Задремала старая, и представляется ей, будто она уже доехала и сидит там, на полатах, качает дитя. Твердо держит молитву Иисусову, а внизу под полатами будто бы волки. Вот сколько набралось волков, один на другого вздымается, все выше и выше лезут к полатам. Отвела глаза от иконы, глянула, сколько их, и вдруг оборвалась цепочка Иисусова: хочет сказать Иисусе, а выходит Сусе и Сусе, хочет помолиться Богородице, а молится какой-то Чудородице. Как оборвалась цепочка Иисусова, то будто на каждое прежнее святое звенушко новый волк прибавился. Хотела утешиться: ей, грешной старухе, достойный по делам конец пришел, а дитя все равно умирает, детскую душку Господь возьмет к себе. Глянула, а дитя не плачет, все лучшеет, цветки-яблочки на щеках, ручонками к бабушке тянется, и не видно волков. Господь вовсе и не думает дитя к себе брать. Господь младенцу жить велит.

А волки все лезут и лезут.

И слышит Родионовна, как в жилах ее не молитва Иисусова, а живая младенцева кровь переливается и у младенца ее кровь, и что ее, то – младенцево, и что его, то ее – материнское. Сила почудилась великая, хотела то, другое кинуть в зверей, но опомнилась и вдруг сама кинулась с младенцем в самую гущу зверей. Стала на коленки, земно поклонилась и говорит:

– Батюшки волки, не ради себя, а ради ангельской души прошу, не пугайте дитя, вы же и сами отцы!

Что ответили волки – не слыхала: пробудилась в сугробе, ничего не видно вокруг, только буланкины уши из снега, как рожки, торчат.

III

Старый волк на опушке леса смутился: вот сейчас только черная лодочка выплыла на знакомый высокий гребень белой волны и вдруг сгнула, словно сразу пошла на дно лунного моря. Подождал – не показывается. И сильный уступил место умной волчице.

Знала волчица – место еще выше мельницы, выступила из тени лесной и глубокими снегами повела на то высокое место. Там сверху волки все увидели и поняли. Серебря спинами, незаметно прокрались к самому краю отвертка и вдруг оттуда огненными глазами своими разом глянули.

Родионовна металась возле саней, но чем больше нукала буланого, тем глубже он опускался в сугроб.

Только придумала вылезть на дорогу и за вожжи тянуть туда буланку, что-то сверкнуло – и Родионовна, как была, так и осталась на месте неподвижная.

Старый волк опять переменялся местом с волчицей, утвердился задними ногами, хотел прыгнуть, но тоже вдруг замер, как и Родионовна.

Есть у волков мертвый страх к неподвижному. Даже нового выворотня боится волк: не сразу поймет, и только уж как бы умолив неподвижное в чем-то, робко подходит оставить на нем знак почета.

Страх неподвижности и молчания: обломись и тресни под ногой у Родионовны какая-нибудь твердая и хрупкая от мороза полыньинка или сама она двинься назад – волки бы кинулись. Но она не назад в страхе бросилась, вперед шагнула с молитвою, упала на колени, земно поклонилась и молвила:

– Батюшки волки, не ради себя, а ради ангельской души.

И так опять осталась, еще более неподвижная и непонятная. И уже дрогнули волки, не бежать ли назад к месяцу от темного, на белом неподвижного и живого? Но умная волчица осторожно обошла лобастого, понюхала неподвижное живое, отдала свой знак почета и трепета и удалилась краем отвершка. Потом один за другим все волки почтили неподвижное и след в след за волчицей, исполнив все, как она им указала, волки покинули страшный отвершек.

Так неприкосновенная от злобы звериной поднялась Родионовна и поехала дальше к больному ребенку. И сон ее на санях весь исполнился: дитя она отходила, старого деда похоронила, сироту взяла к себе на Пониковку и стала ему живой, земной матерью.

И до сих пор на краю леса стоит, уши развесил, казенный лес, поле глядит, лес слушает. А на другом конце поля слободка Пониковка, как старуха, сидит, и все, что покажется в поле, что почудится в лесу, собирает в сумку.

Много коробов всякой всячины лесной и полевой набрала старуха в сумку. Много раз от самой Родионовны слушали мы с трепетом рассказ о ее странной волчиной ночи и дивились обычаю волчьих заметок. Строгое лицо бабушки не унижается, когда дело доходит до этих заметок на ее спине.

– Поднялась – вся-то мокрехонька! – тонко улыбаясь, говорит Родионовна. А мы – слушая, смеялись над волками, но не над Родионовной.

Косыч

I

Какая теперь охота! Но мы пошли и охотились в краю Тургенева с Косычом-монопольщиком. Зайцев было очень много, потому что охотники ушли на войну; гончие работали отлично, а перехватить зайца нам почему-то все не удавалось. И уже близился вечер, кончалась охота, как вдруг по дороге из одного перелеска к нашему, прямо на Косыча выкатил русак, над русаком, как поддужный, летел ястреб, позади «по зрячему» в облаке пыли неслась вся стая гончих с великим гомоном. Времена были совсем не тургеневские и не охотничьи, но это на охоте забывается: сердце охотника одинаково во все времена. Сердце замерло, сжалось в ожидании. Дело было верное: Косыч сидел в кусте, невидимый зайцу, и целился. И вот я глазам и ушам своим не верил: целясь, он так и застыл с наведенным в зайца ружьем, выстрела не было, и осечки не было. Косыч был как соляной столб. Огромный русак пронесся возле него, и за русаком в отчаянии и ужасе промчались все гончие.

Косыч что-то бормотал о дороговизне пороха.

– Десять рублей фунтик, извольте его покушать!

– Зачем же шли на охоту?

– Тридцать копеек выстрел, а там убьешь, не убьешь – неизвестно. А может быть, он вернется на вас. Становитесь на место, бежит!

Но это не заяц возвращался, а молодая гончая, заяц так и не вернулся. Измученные, скоро прибежали все гончие; вечерело, охота окончилась, и на небе заваривалась звездная каша.

Печально было наше возвращение на Косычов хутор. Поля были убраны, а что на помещичьих землях оставалось необранным, то так и оставалось совсем, это теперь мыши обрашали в труху. Мышей в этом году! Что ни шаг, то две-три. Усталому нельзя было присесть на копну – копны от мышей были как живые. Потемневший от дождя не перевезенный хлеб, развеянное ветром просо, картошка, уже побитая морозами, никому теперь не нужная, брошенная в поле, и, главное, эти полчища мышей, заступившие место человека, – неловко было нести ружье, забаву барских времен.

Хутор был возле самого большака, где и теперь, запечатанная, стоит «винополия». Косыч тут был сидельцем чуть ли не с основания монополии. Когда вино прекратилось, Косыч купил рядом в развалившемся дворянском гнезде двенадцать усадебных десятин, открыл лавочку, хозяйствовал и торговал очень бойко.

На месте сгоревшего в забастовку дома он выстроил из парковых деревьев новый дом. Вчера между грядками лука и капусты я нашел чудом уцелевшие маргаритки и бессмертники – остатки распаханных клумб.

С этими цветами в руках я перенесся, будто за сто лет, в свое детство, вспомнил, как мы сюда съезжались на елку в Рождество и ночевали вповалку на сенных матрацах, как раз ночью старый отставной полковник вздумал зачем-то пройти через дамскую комнату, и оттуда крик раздался: «Адама вижу», – и голос полковника: «Еву слышу!» – и потом хохот был у них и у нас долго, и я слышал смеющийся голос ее, а она, вероятно, слышала мой.

Странно мне было, когда мы подходили к усадьбе теперь, во время войны. Казалось, будто те милые покойники дворянского гнезда теперь уже второй раз умирали. Спутник мой говорил о своем хозяйстве с достоинством, что все у него есть: две коровы, две лошади, десяток овец, всякие птицы, две свиньи. На свиньях хозяин остановился особенно.

– К чему дело идет, неизвестно, – говорил он, – а с этими свиньями я отсижусь от немцев, года два могу просидеть: вместо мяса кусочек сала, – сало свое! – горсточку пшена, – пшено свое! – выходит отличный кулеш, кусочек хлеба, – мука своя! – и сыт человек, а больше что ему надо. На Бога не жалуюсь, нет, на Бога не жалуюсь!

– Вы будто в крепости! – сказал я.

– Не в крепости, а в неизвестности, – ответил он. – Вы газеты читаете, ну, как теперь, что? Правда, говорят, турка с англичанкой помирилась?

Я сказал, что не слыхал этого и вообще надежды на скорый мир нет никакой.

– Вот и я так думаю, – живо подхватил Косыч, – а знаете, как я это узнал? Намедни мужичок едет. «Куда?» – спрашиваю. «В город, к жене». – «Зачем жена в городе?» – «Штаны шьет на армию». – «Какие, – спрашиваю, – штаны?» – «Стеганые!» Как сказал стеганые, я понял: теплые штаны шьют, значит, зимовать собираются, и мира не будет. Вот я тут и порадовался за себя. И он снова надоедливо стал перечислять свое добро.

– Нуте-с, – говорил он, – дровец я себе хороший сделал запас, дубовые, шкуренные, года на три хватит, гречиха у меня родилась, – каша будет гречневая; а главное, просо, вот чудо-то просо какое у меня вышло, у всех пустое, а у меня умолот! Зерно я теперь не выпущу, ни одного зернышка не выпущу: буду свиней кормить, потому теперь расчета нет кормить человека.

И еще он говорил о своем подвале, что запасся картошкой, свеклой, капустой свежей и соленой, огурцами и даже мочеными яблоками.

Так мы подходили к хутору, вошли в его новый бревенчатый дом. Хозяин пошел в кухню сам варить кулеш: ни жены, ни детей у него не было. Я остался один со своими воспоминаниями. В окна были видны, как и в те времена, те же не измененные временем деревни Кибаявка и Шибаявка. Из-за гумна Крыски Задирина месяц всходил. Такое безлюдье в деревне – ни человека, ни звука. Казалось, что люди уже все ушли туда, к заставе земли и неба, где жило это чудище призаставное.

II

Луна всходила. Но с лунным светом не вставали покойники. Так всходила луна над голой землей, и я был один на сырой земле. Потом вошел с дымящейся пищей другой человек, и все это наваждение кончилось, и все стало обыкновенным.

– Сахаром я вполне обеспечен, – говорил другой человек.

– Да будет вам, – остановил я его, – может быть, завтра же и вас позовут туда. Он открыл рот.

– Двадцати зубов не хватает.

– На это теперь не посмотрят. Он согнул голову так, что шея стала дугой, и по дуге этой чесал – знак какого-то хитрейшего обхода-маневра.

– Опоздаете, пропустите!

– Не пропущу-с!

Согнул голову на другую сторону и почесал с другой стороны.

Я пожелал ему покойной ночи и лег на диван. Он с большими хлопотами, принимая какие-то меры от насекомых, лег в кровать и, пожелав мне еще раз покойной ночи, загасил лампу.

Скоро я увидел перед собой красный огонек, перед огнем сидел нагой человек, огонек близился, близился, я открыл глаза: Косыч сидел перед лампой и пересматривал свою ночную рубаху.

– Блох боюсь, – сказал он, – а вас тоже это разбудило? Я отвернулся к спинке дивана, попробовал вновь заснуть, но не мог и скоро сидел сам перед огнем.

– Я каждую ночь так мучусь, – говорил Косыч, – засыпаю только под утро.

– И ничего не находите?

– Редко нахожу.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
И их действительно не было, я уверен теперь, что их не было, что это все создавала ночная фантазия в отместку за правду-неправду дневную, а меня Косыч заразил своей фантазией, как автор читателя. Я метался в бессоннице, то видел паразитов огромными, как в микроскопе, то уверял себя, что это воображение создает их. Но дело не менялось: воображаемые огромные насекомые мучили больше действительных. От бессонницы, от нечего делать и читать я стал развивать свои мысли вслух: что ничего нет вообще на свете, и все это нам кажется, словом, говорил, как у Шопенгауэра, и разъяснял примерами нашей обыкновенной жизни.

– А как же земля? – спросил внезапно Косыч.

– Земля и земля: такая же разница, как между действительной ничтожностью блохи и нашим воображаемым огромным, в сто тысяч раз увеличенным насекомым. Устаньте лучше – и нет блохи. Продайте хутор – и нет земли.

– Не может быть, – воскликнул он, – если бы так, почему же война?

Я хотел и о войне сказать в том же роде, но он уже не слушал, а думал по-своему:

– Из-за земли же идет война и во все времена была из-за земли.

Тогда мне вдруг стало ясно, отчего он такой скупой и скучный, почему создал себе эту свою крепость-хутор во время войны и так за нее держится, – он верил в землю как в твердыню, как в причину всех причин, как в мир в себе.

– Из-за земли же война! – повторял он.

– Пусть так, – отвечал я, – но представьте себе, что после войны землю не станут делить и она будет общей собственностью. Тогда ясно будет, что ваша твердыня тоже от воображения.

– Этого не будет, – сказал он, – я не отдам...

– Все согласятся, вы останетесь один со своими двенадцатью десятинами.

– И моя земля будет моя. Я не отдам: купил – и кончено. Силой возьмут? Но это будет несправедливость, и люди опять раздерутся, и все пойдет с начала.

– Причиной этого все-таки будете вы, а не земля, – говорил я.

– Нет, земля, нет, господа, тут что-то есть и в самой земле. Я еще мальчишкой деньги копил, чтобы землю купить. Купил и стал другим человеком. Захотелось раз мне пересадить одно большое дерево, стал я подкапываться. Копаю – черная земля, как деготь; вот, думаю, какая моя земля! Копаю дальше – земля стала серая: думаю, как же, купил черную верхнюю землю, а это чья? Да моя же, моя и серая! А потом пошла желтая – и желтая моя! И красная земля пошла – тоже моя! А там уж я и не знаю что: камни, и, может быть драгоценные, – мои камни! И золото, и железо, и вода, и огонь – все мое! И до самой внутренности. Глубина и непостижимость, а вы говорите – облигации.

– Я про облигации ничего не говорил.

– Все равно, так думаете. Сила, говорите, в том и власть, что немец обезьянку к пулемету приставил? Нет, сила во внутренности земли, кто понимает ее внутренность.

III

Разговор этот был очень полезен: воображаемые блохи исчезли, мы скоро уснули. Но сон был странный. Ветер в эту ночь взревел в саду и на улице, как будто там все наше с поверхности земли сметалось, летело, проваливалось и там попадало на огромные черные колеса чертовой мельницы. Так исчезли надежды – будущее рухнуло, и вкус исчез, настоящее рухнуло, и уже окончательно умерли покойники. А дом прежней этой дворянской усадьбы будто стоит, как тогда. Я вхожу в этот дом – дом пустой. Ни портретов, ни мебели, нет ничего. Только в одном углу будто бы горой насыпаны яйца. Полюбопытствовал я, подхожу к этим яйцам, и вдруг Косыч орет:

– Не смейте трогать мои яйца! И как загудит опять, как загремит там внизу, где-то на черных колесах! Яйца и провалились.

– Хотите, – говорит Косыч, – посмотреть, что у нас там, под землей, делается?

Мы опускаемся и видим серую, как Нева осенью, реку.

– Река, – объясняет мне Косыч, – это отработанный дух человеческий, мы его переделываем в прежнее состояние и упражняем на вещах чисто материальных: вот, посмотрите на ту сторону мельницы.

Глянул я на ту сторону, увидел великую силу народа, и все что-нибудь тащат, кто куль с мукой, кто бочонок с маслом, кто ящик с макаронами, и чего-чего только не тащат. Лица же у всех отнюдь не печальные, напротив, довольно веселые.

– Это их укрепляет и веселит! – объяснял Косыч. Разговоры же у них были самые обыкновенные, совершенно такие же, как и у нас теперь.

– С вазелином надо покончить! – кричал один. – А то вдруг мир, так с ним и останешься!

– Зерно придержите, советую зерно придержать.

– Постное масло? – спрашивал кто-то по телефону.

– Зерно придержите: кормите свиней, свинья теперь дороже всего в мире.

– А с вазелином советую совсем дело покончить! По ту сторону мельницы стоит множество корабликов, грузят их, и они в несметном числе уплывают по серой реке. А я будто бы прошусь у Косыча постранствовать на кораблике.

– Странников, – отвечает он, – теперь нет, все чем-нибудь заняты, если хотите узнать что-нибудь, станьте в какой-нибудь хвост. Странствовать теперь нечего, да это и не река, это отработанный дух человеческий, мы его возвращаем в первоначальное состояние и упражняем в вещах простых, материальных.

Всю ночь снилось-чудилось, всю ночь свистел ветер, бесилось что-то на черных колесах мельницы, а утром, когда рассвело, неузнаваем был сад: убитые еще раньше морозом листья сразу, в одну ночь, разлетелись по ветру, яблони стояли какими-то многорогими серыми животными, все было серо, обнажено, и осины, и клены, и ясени торчали бревнами, все было кончено, голо, и только в вишневом саду на верхних тончайших ветвях последние редкие огненно-красные листики над всем этим серым умершим были как сходящие из воздуха пламенные языки над бездною.

Грезица
Ужасный немец
Раненый сказал:

– Мне много лучше сегодня, сестра, присядьте. Ужасного немца я видел во сне. Будто бы в какой-то разрушенный пепельный город вступил наш отряд, и князю нашему говорит вестовой: «Ваше сиятельство, тут у нас германец в плен взят, офицерского звания». – «Господа, – сказал князь, – делать пока нечего, пойдемте немца посмотрим». Приходим мы в сарай, в темноте чуть видно копошится пленный где-то в дровах. Выводят его на свет: маленький немец, стройный офицерик, видно сразу, что человек высшего круга был, а теперь весь в навозе. И стыдно очень ему, и жаль мне его. Дают папирос, а про спички забыли, стоит с незакуренной папиросой во рту, и еще ему стыднее. «Дай огня», – говорю вестовому. Подносит унтер спичку, и тут упади папироска в грязь. Унтер все стоит со спичкой, думает, германец поднимет. Не хочет он поднимать, растерялся. Жалко мне его отчего-то очень, как вдруг он по-немецки к нашему князю с самыми дерзкими словами: «Доннерветтар!» – кричит. Князь на него с саблей, и все, кто тут был, кинулись к немцу с саблями. Только замахнулись рубить его, немец вмиг стал маленький, как обезьянка, вертит пальцем вокруг носа, и от этого на щеках у него шерсть показывается и на губах тараканьи усы в обилии вырастают. «Нате, – говорит, – подите, что, съели?» Те так и застыли с поднятыми саблями. В ужасе отхожу я и от них и от немца.

Встреча

– Сестра, не бывает с вами, что так и вся война покажется сном? Конечно, бывает. Это когда о себе задумаешься, о том, с чем своим пришел на войну; тогда это,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
военное, кажется, видишь во сне. И так когда эти разные большие государства выступали, припомнишь, по правде, что со мной в тот день было, как себя чувствовал, чем занимался, то государство, будто незнакомое светило, восходило, а сам в свете его жил, но по-своему, совсем отдельно, с приключениями, как во сне. Вот расскажу вам один свой день, когда выступала Англия. Помню себя на одной деревенской станции. Поезд подходит, народ лезет в вагоны. Обер-кондуктор, знакомый мне, важный, как самый большой генерал, пробует остановить толпу – нельзя остановить! И начинает своим личным делом заниматься, торгует сига.

– Англия не выступила? – спрашиваю.

– Кажется, выступила.

Равнодушно так говорит, а мне в этом большой вопрос: выступит Англия – так, не выступит – я выступлю. А я, будто, куда больше Англии, если я выступлю, то со мною все любимое и непобедимое выступит: и леса, и поля, и звери, и птицы, и покойники, близкие, далекие, все вместе. Только это не в мыслях, а в сердце ходуном ходит. В мыслях об этом одно только гвоздем вбито: выступит Англия или не выступит?

– А у вас, – спрашиваю обера, – нет свежей «копейки»?

– Извиняюсь! И опять про свое:

– Вот, посмотрите, сиг – что такое сиг? Рыба; что такое рыба? И то свою разницу имеет: сиг ладожский одно, сиг волховской совершенно другое.

– И люди равные, – говорит рыбак скромно. А обер важно, по-генеральски:

– Скажите, пожалуйста, человек разница, и рыба разница!

Тут я плачу за сига рыбаку в пользу обера, и тот, приморгнув мне, с рыбой в руке, ведет меня в первый класс. Теснота и в первом классе непродержимая, все входы, выходы, переходы, площадки вагона завалены вещами, Люди сидят один возле другого, стоят один к одному, даже под лавками лежат, даже на самом верху под крышей, как летучие мыши, привесились. Только одно отделение спасено от напора людей, и дверь к нему завалена мешками, корзинами. Разобрав с обером вещи, я вхожу в отделение, дверь за мной закрывается и опять заваливается вещами. Тогда я увидел перед собою.. кого увидел! А так для всех обыкновенно: дама там сидела одна, с ней было двое детей, две прислуги и большой серый кот в плетенке из-под печений, перевязанный веревочками, чтобы не выскочил. Смотрю я на эту женщину и узнаю.. Но я не могу сейчас прямо назвать ее, расскажу пока не военный сон, а настоящий, свою грезицу.

Нищий

Заезжает будто бы в мою избушку Сазонов-дипломат и везет меня в автомобиле в Гаагу на конференцию. «Закусим», – говорит Сазонов при входе в зал и подает мне на тарелочке сэндвич величиной в пуговицу. – «А, может быть, – спрашивает, – вы предпочитаете на черном хлебе?» – Скок! Язык у меня выговаривает сам: «Мерси вас». Сазонов-дипломат прыг от меня и пропал. Так завез он меня в Гаагу и бросил одного. Зал конференции будто бы очень большой; белый, чуть-чуть с золотом, пол ясный, как вода. Все в этом зале на меня смотрят, и у всех на устах мыш-шепоток перебегают: «А этот зачем, как этот попал сюда, кто привел его?» – «Сазонов!» – хочу я крикнуть, но крикнуть не могу. И вот идут-плывут ко мне кавалерственные дамы с золотым подносом, и на подносе несут дамы вещи драгоценные, самая дешевая стоит тысячу. «В пользу мира» на лентах написано. Из всего же так выходит: «Если я настоящий, то заплачу тысячу, а если явился незванный, то с великим срамом я укачусь куда-то по наклону». Какая там тысяча! Десянсто рублей с мелочью все мои деньги. Пробую укрыться за спинами гостей – все расступаются, пробую улизнуть – в дверях лакеи, как меделяны, по мне стоят, за мной следят. «Взмилуйся, государыня-рыбка!» – молюсь я. И вижу – на подносе между тяжелыми золотыми вещами, незаметно притаившись, лежит маленькая черепашинка с белым крестом из цветка. Вот я обрадовался: «Золотая рыбка посылает мне белый крест на черепашинке, правдивей, проще, красивей всех будет моя вещица, и девяносто рублей положить за нее в пользу мира совсем хорошо и прилично». Так все в зале, чувствую, начинает милеть, ласковей, а в окне деревенский рассвет начинается, прекраснейшая птица-галка по небу летит, и я молюсь туда, куда галка летит: «Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне еще раз посмотреть на красоту мира.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

День новый – Твое новое веление, помоги мне исполнить и узнать в нем еще лучше сотворенное прошлое, помянуть всех своих родственников и православных христиан». Помолился я так и положил все свои девяносто рублей на поднос. И так оно очень хорошо бы сошло, но язык мой обрадовался победе и сам говорит: «Это что девяносто, это мелочь, дома у меня денег куры не клюют». – «Куры денег никогда не клюют», – строго отвечают кавалерственные дамы – и черепашинку мне не дают. Тогда далеко среди белых дам узнаю даму, пославшую мне черепашинку с белым цветком. Имя ее Елизавета, как в «Тангейзере», лицом, совсем ни к чему, похожа на сестру нашу Елизавету Васильевну, а голос, как она позвала меня, ее голос собственный. Жалуюсь я Елизавете: «Ложь в этом зале от начала до конца, и ничего им от этого, я же всего на пылинку соврал – и то мне достанется». «Им это дозволено, – печально говорит она, – они богатые, а тебе, нищему, и на пылинку соврать нельзя, тебе это не дозволено». И удалилась, а пол медленно наклоняется, и качусь я по нем, сшибая на пути столики с вазами, куда-то в провалища, к последнему моему пришибу.

Вот мой сон, теперь я продолжаю рассказ свой спокойно.

Пересадка

Слово, какое же слово после многих лет молчания скажу я, как разобью эти каменные, чужие годы? Кот меня выручил в первую минуту.

– Кота, – говорю, – детки, я возьму себе на колени, а сам сяду.

– Бери! – ответили дети.

Сажу я, поглаживаю кота, хороший, серый, отличный кот. Елизавета не смотрит на меня и не знает, что это я тут возле сажу. Читает газету, а на уголке газеты, вижу, крупно напечатано: «Англия», и что дальше, не видно.

Совсем теперь не в Англии дело, когда возле она тут, а почему-то все и тянет, и подмывает болтнуть что-нибудь. И не своим настоящим, а голосом поддельным, чтобы, как у всех говорится, спрашиваю:

– Скажите, что в газете, как, не выступает ли Англия?

Не слышит или нарочно молчит. А я еще прибавляю:

– Это очень важный вопрос!

К счастью, в окне какой-то офицер показался. Она открыла окно и спросила:

– Кирасиры не ушли?

Голос был – ее голосом, и хочется мне, чтобы все было по ее голосу, и эти кирасиры какие-то не ушли никуда.

– Кирасиры? – останавливается офицер, – не знаю, драгуны, те еще не ушли.

– Кирасиры не ушли! – говорит обер-кондуктор.

– Драгуны! – строго поправляет офицер. – Так точно, – соглашается обер, – я же и говорю, что драгуны.

– Кирасиры и драгуны – большая разница, – говорит офицер.

И окно закрывается. Опять она садится на свое место и читает газету. Понемногу я чувствую, что к соседству еле привыкаю и как-то становится «все равно».

– Сударыня!

Даже «сударыней» осмелился назвать и только хотел выговорить «Англия», среди чистого тюля внезапно останавливается поезд. Дверь открывается с треском, люди хватают мешки свои, корзины, бегут, орут. Слышен голос обер-кондуктора:

– Пересадка, господа!

Какой-то широкозадый, разноплечий, кудрявый еврейчик бежит мимо нас и кричит

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
общественно:

– Пересядка, господа, всем пересядка!

Другие в тревоге спрашивают:

– Катастрофа?

– Пересядка, всем пересядка!

За еврейчиком с узлами, с корзинами, с мешками бегут разные люди, молодые, старые, женщины, дети, новобранцы, лезут друг на друга, давят, ругаются, обижаются, Среди этого гомона ее настоящий, прежний голос призывает меня на помощь:

– Что-нибудь возьмите, помогите.

– Кота, – говорю, – непременно возьму я, и еще, что велите, все возьму.

– Вот и хорошо, берите Серого, больше ничего не нужно, так скорее добежите и место займете.

– Где-нибудь да займу, непременно займу.

– Чтобы нам вместе быть, как ехали, так все вместе и поедем.

Говорили это простое мы так, будто никогда и не расставались. И узнавать нам друг друга не нужно было, само узналось. А что Англия выступила и война началась мировая, это было где-то далеко в стороне.

Кот ученый

С драгоценным котом бегу я, догоняю еврейчика, на ходу спрашиваю, куда мы бежим и что такое случилось.

– А вот что случилось! – показывает он обломки товарного поезда.

По обломкам, по вывернутым шпалам бежим, перескакиваем, перелезаем через горы щепы, бочек, товаров, рядом с нами бегут и хотят обогнать нас новобранцы, сзади общая насаждает погоня, а впереди бежит только один высокий, худой, в калошах на босу ногу, калоша одна у него соскакивает, пока он поправляет, мы проносимся мимо него и врываемся в первый вагон: всего шесть вагонов, а народ бежит из пятнадцати. Занял я место одно для нее, другое для детей и на него поставил плетенку с котом.

– Зачем тут кот? – спросил кто-то придирчивый.

Всюду бывает такой. И место у него хорошее, и ничего ему не надо бы, а вот придирается и придирается. Спорить нельзя с ним, за молчание тоже обидится, приласкать как-нибудь – не нахожу слов приласкать.

– Вот люди, – ворчит он, – в такое время котов с собой возят.

– Всякие люди есть! – начинают поддерживать те, кто удобно устроился.

А в вагон врываются все новые партии бегущих, каждый раз, как ворвется толпа, ищу глазами – нет и нет ее. Выглядываю в окно: с узлами, с мешками бегут там, и конца краю народу не видно. Придирчивый вовсе озлился.

– Милый, – прошу его, – минутку обождите, сейчас придет женщина с детками, не для себя я занял места.

– А кот зачем? – кричит он. – Военное время, а они котов возят.

– Долой кота! – кричат другие.

Успокоить их невозможно. Лезут в вагон новые прибегающие, дверь до половины завалена вещами. И через гору лезут, давят, кричат, ругаются, обижаются. Спасая людей, свистит кондуктор. Поезд трогается, люди бегут за поездом, и вижу в окно:

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
мои близкие там тоже спешат, машут, делают знаки кондуктору.

– Извиняюсь, извиняюсь! – кричит с подножки обер-кондуктор.

Так бывают сны такие глубокие, что никак не пробудишься, и когда, уже совсем приходя в себя, начинаешь различать все обыкновенное, и столик, и обои, и картинки на стенах, кажется, что принес с собой из того мира какую-то вещь и показать ее можно другим. «Был я, – начну рассказывать, – на неведомых тропинках и видел, стоит на прежнем месте, у Лукоморья, дуб и кот ходит – жив еще кот, вот я его с собой захватил».

– Долой кота! кричат. – К черту кота!

Откуда-то, кажется, с верхней полки, жилистые тянутся руки, поднимают плетенку и бросают в окно.

Хочет толпа вся вместе, а в одиночку, наверное же, у каждого есть своя грезица тайная. Вокруг леса горят на болотах, и поезд, разбрасывая новые искры в сухмень, тоже по-своему над чем-то грохочет.

На неведомой станции
Через пепел горящих лесов, как незнакомое светило, было тусменно-желтое солнце над черной спаленной пустыней болот. В вагоне говорили нелепое:

– Правда, что Новгородскую губернию перегонят в Томскую?

– И очень просто!

Другие говорили о станции, что эта станция, где сейчас поезд остановится, неизвестная.

– Бывает разве неизвестная? На карте все станции указаны.

– Поди-ка ты, все. О всем думали, все пересчитали, а про одну и забыли.

– Это в каждом деле бывает.

– Ну, и осталась неизвестная, захочет поезд, остановится, не захочет, мимо пройдет, ни спроса, ни ответа за это нет никому.

С большим трудом выбиваюсь я из вагона посмотреть неизвестную станцию. Тут у самого полотна учат людей в вольной одежде и с крестами на шапках. Девочка маленькая сидит на шпале, горько плачет, озаренная странным светом незнакомого солнца. Нищенка откуда-то взялась, просит у меня ради Христа. Я спросил у нищенки, почему так мало стало нищенок, куда они девались?

– Все тут, – отвечает, – у кого же просить, теперь нас забыли, теперь все о себе думают.

– Все о родине думают, – поправил я нищенку. Не понимает она и повторяет:

– О себе, теперь все о себе думают, теперь о других думать некогда, своего горя довольно.

– Ну, вот вам и «Копейка», – говорит обер, – я же верно вам говорил: выступила.

– Англия объявила войну – напечатано в газете.

– Объявила? Ну, слава Богу! – говорят возле кондуктора.

Только нищенке той нет никакого дела до Англии, она спрашивает девочку, почему она плачет. И девочка, всхлипывая, ей говорит, показывая на ополченцев:

– Татку бегать заставили, бабушка, вон он бежит. И, казалось, не солнце было на неведомой станции, а неведомое желтое светило так странно и отдельно от нас и не для нас было в пепле горящих лесов, и я, и нищенка, и эта девочка, трое мы, совсем ничего не знали про новое светило.

– Татку бегать заставили, – всхлипывая, повторяла девочка.

То не леса, то сама земля горит – ползучий, медленный, невидимый огонь на болоте валит деревья. Сядет птица на дерево, запоет, а дерево повалится. Перелетает на другое, и то валится. Пепел солнце закрыл совершенно. По черной поляне будто бы я бреду с посошком в город великий. Вот он прежний город славный, белый цвет на болоте. Весь он теперь, от края до края, засыпан пеплом горящих лесов. Выхожу я из пепла на широкую улицу, где много светлее, и мостовая на ней не асфальтовая, а костяная, белыми и черными шашками, все дома одинаково пепельны, и у каждого рядами костяные статуи, в черном – мужей, в белом – жен. Улица мне эта хорошо знакома, не раз я проходил по ней к одному дому тайно, теперь открыто вхожу в этот дом, потому что не от кого теперь в городе скрываться. В этом доме теперь открыто встречает меня над пеплом идущая Грезница, и сама подает мне тот самый потерянный белый крест из цветка.

Посев

Есть такая примета в наших местах, что как под окнами покажется молодая крапива – конец водяной весне, земля начинает дышать, муха волю получает, мужик соху налаживает, и близко время ярового посева.

Теперь, в годы военные, к этому еще прибавилось: когда молодая крапива под окнами показывается – солдаты с фронта на посев просят. Прошлый год в начале апреля в газетах проводили полезную мысль, что очень хорошо бы для посева давать эти отпуска как можно чаще.

Прочитал я это, посмотрел зачем-то в сад и вижу, в моем саду соседка Дарья, огородница, великая наша капустница, идет между яблоньками, наряженная в палевое платье, на всем желтом в саду она палевая, как первая полевая бабочка-капустница. Идет по саду Дарья и делает вид, будто срывает молодую крапиву или собирает сморчки. Выхожу я на крыльцо.

– Здравствуйте, Дарья Мироновна, что скажете?

– Молодую крапиву порвать, да вот еще... – Подает десяток яиц. – Попросить вас... – Сконфузилась. – Мужа нельзя ли выпросить, чтобы для обсеменения земли, мужа... – Запуталась в словах.

– Для обсеменения, – говорю, – можно, вот сейчас и в газете об этом напечатано.

Живо написал ей прошение и газетное о посеве тоже вставил в бумагу. Понравилось.

– Сала, – говорит, – не желаете ли, свинью сегодня опалила.

Поговорили немного про хозяйственное: чем кормила свинью, какой вес вышел, сколько сала, почему сало.

– Для вас будет сало бесплатно, денег мы с вас не возьмем.

Очень благодарила за прошение и ушла тем же путем, через сад, и на крапиву больше уже не смотрела.

Живешь на хуторе, газеты читаешь, и представляется, Бог знает как далеко находится фронт. Недели не прошло, как написал я прошение, смотрю в окошко, опять по саду в палевом платье идет Дарья Мироновна и с ней зеленый фельдфебель с крестами и медалями. Сад в это время набух, побурел, ивки зазеленелись, комар заиграл.

Благодарят за прошение. Сало принесли, денег не берут и говорят – не за прошение сало, а так, по-соседству, по-приятельски. Я, конечно, чаем угощать. Чинно сидят за столом огородники, только разговор плохо клеится. О войне он, будто, знает что-то, но, я думаю, ничего не знает. Примусь говорить, что по газетам знаю, – ему неинтересно: я ничего не знаю. Перешли на хозяйство. Они про семена огородные, как и где хорошие семена доставать. Я же рассказываю о постройке своей, что вот как трудно теперь строиться, далеко ли старая плотина наша, трудно ли камень привести – пятачок за камень просят!

– С какой же плотины, – спросил фельдфебель, – вы камень возить хотите?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– С нашей, – говорю, – со старой, вот что в ваш огород упирается.

– В огород упирается, – говорит, – плотина моя.

– Бог с вами, – отвечаю я, – эту плотину еще при царе Горохе мои предки насыпали.

Спокойно говорю, потому что уверен, как я сижу перед ними – так это я, а они – так они. Сосед слушать ничего не хочет, говорит, что еще осенью пень лозинный выкопал на этой плотине.

– Не знал, – говорю, – не допустил бы.

Он же отвечает:

– А я вам теперь камень не дам.

«Вот, – думаю, – на свою голову выписал!»

И говорю ему резко, что возчики наряжены, посею овес и примемся за камень.

– Как вам угодно-с, а камня я вам не дам.

– Посмотрим!

И разошлись.

Сразу тогда на место фельдфебеля Курносова стал мой враг – огородник Курносов: все неприятное в нем в один миг собралось и вражески предстало: и личность его – что деревянный он какой-то и пыжится, и поведение его в прошлом, и род его, весь Курносов род, и что у Дарьи, жены его, глаза, как у мопса. Об этом всем Павлу рассказываю, своему работнику, и Павел с большой охотой прибавляет новые качества. От обедни мужики заходят к Павлу, я им рассказываю про плотину. Они свое наращивают, и все мы растим врага, будто в оттепели снег катим. Обещаются ему ноги переломать, но знаю, ни один не тронется, а у Курносова родни много – гора.

Затужил я сильно. И поймет меня вполне только тот редкий человек, кто строился в тысячу девятьсот шестнадцатом военном году. Чудище прожорливое где-то всего в двух днях езды от нас пожирает людей, новых призывают – оно пожирает новых, опять призывают. И работников нет. Соберутся хромые, убогие, киластые – тюк! тюк! топориками, тошно смотреть. А слово сказал – уйдут к соседу работать. Что же я скажу им, когда приедут плотину ломать: «Подождите денек-два, ребятушки!». Подождут! Уедут и не приедут, а потом еще будет дороже.

Посылаю к соседу Павла, тот слушать ничего не хочет: «Не дам!» – и весь разговор.

К адвокату в город. Тот посылает в губернию добывать какие-то владенные записи очень далеких времен. Когда тут ехать!

– Так, – говорю, – можно всем моим добром завладеть: и лесом, и скотом, и землей.

– Конечно, – говорит, – можно, если силы хватит.

Советует силой, и хорошо бы, но у соседа родни гора, а у меня Павел старый, и тот уйти собирается куда-то на легкую жизнь.

Время идет, я все тужу. Строиться необходимо, двор завалился вовсе, и с улицы, с проезжей дороги все видно, что на дворе моем делается: корова загуляет, тогда все кругом говорят, что у Алпатова корова гуляет. И вот-вот уведут коров и лошадей цыгане на ярмарку.

Так приходит время яр снять, хорошее, бывало, время: слышишь, как гуси вверх летят в тумане, видишь, как из тумана отличные эти наши птицы грачи вылетают на посев помогать, и туман этот, хороший туман, теплое дыханье земли нашей.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Главное же, что не один сеешь, а все кругом в степи, куда ни помотришь, все сеют яр. Им желаешь добра, и они тебе добра желают. Встретишься: «Бог помочь!» Отсеешь: «Слава Богу!»

Сею на одной стороне пруда, а на той сеет фельдфебель. Как помотришь на зеленого с крестами в ту сторону, так свою обиду и на всю степь переведешь. Не земля это, кажется, великая, а шматы и хлопья ее, растерзанной хищным зверем. Всюду война у земли, мелкая война. Подлая, и, главное, такая привычная, что жизнь эту стали миром называть. Там полоску пропашешь – драка! Там посаженное дерево уволокли – звать урядника. Там – телят на землях моих пасут – загоняем телят. Целый год изо дня в день живем так – и воюем, и кажется высший дух нашей жизни – дух победителей и побежденных. И это называется миром!

Худые мысли приходят, но и худые мысли отдых дают, все-таки мысли. А больше всего о плотине думаешь, что вот, отсеемся, приедут возчики – что тогда делать?

Не в охоту посеяли яр. Сразу, как отсеялись, привалил в одно утро весь народ плотину ломать, и каменщики тоже все сразу пришли фундамент закладывать. Лошадей поставили на дворе, сами у крыльца собрались, галдят.

Будь прежнее время – выставил бы им вина казенного: «Вот, ребяташки, пейте, а курносова родня мешать придет, чур, за меня стоять!» И постояли бы. Так эти дела всегда делаются, но без вина жить и хозяйствовать в нашем краю все равно, что воевать без артиллерийских снарядов.

«Разве, думаю, попробовать гарного спирту пообещать, рискнуть?» Смотрю на возчиков в окно, раздумываю, поглядел в другое окно, в сад и своим глазам не верю: опять по саду идет Дарья, вся разодетая в палевое платье, и с нею враг мой, при всех медалях, крестах, лица у них не такие, как прежде, надутые, лица у них серьезные и вместе вольные, будто преображенные.

Сад еще не совсем оделся, далеко видно, как идут по саду люди, и листочки рожками на ветках яблонь, зеленые, такие молодые, что еще и тени от них нет, и, словно удивленные, смотрят, будто козочки с рожками. Птицы-поползни по стволам яблонь бегают, щеглы, синицы возню затеяли, утренний соловей налаживает песню, учится.

– Проститься пришел, – говорит мой враг.

А она платочком глаза утирает: кончился посев, кончился отпуск.

– Приведет ли еще Бог увидеться!

И ничего того нет, что я думал о своем враге: смелое лицо у него, решительное, и все по правде, и какие же у нее глаза мопсии? Хорошие женские глаза!

Благодарят за мое прошение. И о хозяйстве говорят: хорошо отсеялись, земля-то как рассыпалась!

Неловко было, но я все-таки сказал о плотине, как нам с плотинной быть.

– Ломайте, – говорит, – ваше дело!

Проводил я их до старой плотины, вместе ломать велели, и распростились.

И странно было думать, что причиной мира нашего была война, а то, что называется миром, чуть не привело к войне.

Страшный суд

I. На трубу Архангела

На войну ехали разные люди, как будто затрубил Архангел и всем неотложно понадобилось вставать и бежать.

Овечки – те просто стадом пошли, и говорить о них нечего, а козлища-грешники торопились ужасно.

– Не успею, не попаду, – каждый думал про себя и спешил перебить дорогу другому.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

На моем пути явился какой-то Причисленный к министерству, глазки у него ребячьи, рот старческий, губки тонкие, как листики. Он для войны и причислился, ходил в полувоенной форме, обещал меня устроить, во всем помочь и даже сказал:

– Я буду вашей нянюшкой.

Стали мы с ним ходить в кофейню, беседовать. Вокруг нас, столик к столику, собиралось множество всяких людей, все говорили, что война эта последняя, и у всех был тайный последний вопрос: «Чем все это кончится?» Многим казалось, что старый генерал знает больше других, все его спрашивали и доходили до последнего, генерал откидывался на спинку стула, разводил руками и на всю кофейню всем зараз объявлял:

– Ну, господа, этого никто не знает!

– Как же так, как же быть? – всюду спрашивали генерала. Еще раз, и еще, и еще, в разные стороны медленно повертываясь, повторял генерал:

– Никто, никто этого не знает!

– А Вильгельм?

– И сам Вильгельм ничего не знает!

В кофейне наступало молчание, всех давило неизвестное будущее: как будто раньше все знали вперед и теперь только стало видно, что никогда никто ничего не знал ни о чем.

– Все-таки во всяком же деле необходима какая-нибудь логика, – пробовали сказать самые ученые люди.

– Никакой логики, – твердил генерал, – никто ничего не знал, не знает и никогда никому ничего не узнать.

– Как же быть?

– Так и будете, пройдет, все само узнается.

Все понемногу смирились, пили кофе молча, только мой Причисленный кривил свои тонкие губы. Я иногда высказывал ему свои предположения, он сейчас же их опровергал и даже иногда умел склонить меня на свою сторону. Я потом высказывал его собственные взгляды, он их также разбивал. Когда я приходил, воодушевленный победой, он старался запугать меня какими-то огромными германскими мортирами. Если при неудачах я падал духом и ссылался на те мортиры, он уверял меня, будто все эти мортиры – одежда голого короля и их вовсе нет. Утомленный бесплодными разговорами, я напомнил Причисленному о его обещании устроить меня на войну, и как об этом сказал – он исчез. И опять мне стало, как в сновидении о Страшном Суде, что я не попаду ни к овцам, ни к козлицам, и останусь жить по-прежнему один без Суда.

А туда мимо меня все ехали и ехали разные люди. Ехали гимназисты и старцы, княгини, купчихи, лабазники, осетины, евреи, татары. Ехали всякие ряженные: путешественник неоткрытого севера ехал членом общества изучения культурных зверств, собиратель византийских эмалей прикомандировался к обществу сохранения памятников братских могил, этнограф ехал буфетчиком в Львов, журналист дьячком в униатскую церковь.

Не один раз так повторялось мне сновидение о Страшном Суде, что на каком-то огромном вокзале собираются все с вещами, самые обыкновенные люди, обыватели, которых ежедневно всюду всю жизнь встречал, и среди них нет ни одного большого человека. Сквозняк на вокзале ужасный, у меня инфлюэнция, насморк, платка с собой нет, чихаю, на меня обижаются, поведение мое неприлично, выйти невозможно: в мужской уборной дамы устроились...

Воскресали мертвые, приходили из далекого моего умершего, забытого прошлого и даже говорили со мною на «ты». Один даже расцеловал меня, и в кантах и ремешках непонятого мне военного назначения едва узнал я контролера нашей Рязано-Уральской железной дороги: сыскал некогда себе большую известность за

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
покровительство зайцам. Расцеловались...

– Ты теперь кто? – спросил я.

– «Белый Волк», – ответил он, – еду устилать поле сражения своими собственными трупами.

Я один не имел никакой лазейки на войну, и так мне всегда представлялось о Страшном Суде, что затрубит Архангел, все побегут к поезду, а у меня чемодан преогромный, тяжелый, бегу я с чемоданом, запыхался, спотыкаюсь, и вот все-таки кое-как добежал до станции к третьему звонку, сунул чемодан на ходу.

– Нельзя, – кричат, – не туда!

– Ради Бога, – прошу, – хоть чемодан-то отдайте!

Не пускают и чемодан не отдают, а в чемодане и все мое оправдание на Страшном Суде. Согласен теперь остаться и без Суда, лишь бы отдали мне чемодан. Но поезд с чемоданом уходит, и к одинокому, на пустой, покинутой всеми земле, подходит моя покойная старушка с назиданием:

– Говорила я тебе, дитяtko, собирай свои ноготки, затрубит Архангел, полезут все к нему на гору, срastутся ноготки, и будет чем уцепиться, а вот ты не слушал меня, ну, и сиди теперь с голыми пальцами!

II. Отсрочка

Прошло года два с половиной, опять я в той же кофейной и опять толчея, валом валит народ, как и тогда, и генерал по-прежнему сидит, и Причисленный, и все прежние знакомые приходят, советуются, бегут, как и раньше бежали на трубу Архангела, только теперь назад, в обратную сторону.

– Куда вы теперь спешите?

– На места продовольствия!

– Что же там, или Страшный Суд не удался?

На ходу все повторяют:

– Отсрочка, отсрочка Суду!

Вот дипломат, барон Пупс, бывший начальник санитарного отряда, теперь едет в другом каком-то костюме.

– Вы теперь кто, барон?

– «Уполоборона».

Это значит, уполномоченный по обороне.

Причисленный перечислился. Рекомендуются:

– «Женотруд»!

Организует женский труд на трамваях столицы. Кто заготавливает горох, кто фасоль, кто мороженое мясо и солонину, не перечесть всех, не пересчитать, все вместе называется «Заготсель», значит, заготовка по сельскому хозяйству.

– «Заготсель» на учете? – спрашивают генерала.

– Отсрочка, – говорит генерал.

Путешественник неоткрытого севера служит в особом совещании по топливу – «Осотоп», журналист, что ехал дьячком в униатскую церковь, сидит на бобах, знаток византийских эмалей – в комиссии «Трофей», и множество всяких других знакомых и незнакомых подходят к генералу советоваться.

– «Женотруд» на учет?

– Отсрочка!

«Осотоп», «Уполоборона», «Трофей», вся «Заготсель» вокруг генерала.

– Отсрочка, отсрочка!

Явился и тот, кто поле сражения хотел устилать своими трупами: «Белый Волк» теперь в смокинге и в лакированных сапогах, поставляет на заводы рабочих китайцев и персов.

– «Китоперс»! – говорит он генералу.

– Не понимаю, как ты сказал? – спросил я.

– «Китоперс»! – повторил он, – был «Белый Волк», теперь «Китоперс».

Все торопились, как и раньше, и меня опять увлекли.

– Ваше превосходительство, – говорю я, – нельзя ли и меня на учет?

– Ваше занятие?

– Мое занятие особенное, я так себе человеке, сочинитель, но теперь хочу бросить, хочу быть, как все.

– Как вам не стыдно, – отвечает генерал, – молодой и здоровый, идите на фронт!

Так я опять не попал, опять, как во сне, все бегут, а у меня чемодан огромный, сунул чемодан на ходу...

Сновидение повторяется, я один на покинутой земле, и опять с назиданием подходит старушка:

– Говорила я тебе, дитяtko, собирай ты свои ноготки...

– Милая, да это же не Архангел трубит, это бегут обратно, за отсрочкой, тут, кажется, ногти не нужны!

– Как так не нужны, для всякого дела нужны ногти, гордец ты! Все сочинял, а время ушло, видишь, все теперь кашу варят себе, попробуй теперь сварить для себя на земле что-нибудь с голыми пальцами!

Отец Спиридон

I

Перед войной, когда жили мы не спеша, удалось мне до самого океана пройти весь северный край, все это государство умершее и ныне существующее, как сказка, внутри живого, обыкновенного. Встречи с людьми далеких времен бывали в лесах, на берегах порожистых рек и спокойных озер. Мешались по воле сказителей времена и сроки, но одно было у всех:

– Близок час, – говорили они, – скоро Хозяин будет собирать урожай, плоды падают зрелые, нивы давно побелели.

С улыбкой, как сказку, слушали мы тогда о признаках конца этого света: что телеграфная проволока опутала землю, что люди стали ходить под крышами-зонтиками, что все сосчитали, и землемерная цепь антихриста пролегла по всем заповедным лесам севера. Теперь, во время войны, без улыбки оглядываешься в ту сторону и думаешь: «Уж и вправду ли не сбывается, не Хозяин ли это у нас собирает свой урожай?!»

Обойдя все это умершее государство так, будто шел по земле, бывшей некогда морским дном, под конец я посетил древний город, столицу этого государства. Город остановил меня красотой великого множества древних храмов, а в лике всюду изображенного Христа было странное сходство с чертами суровых лиц поморов, и как будто он говорил, как поморы:

– Близок час, скоро Отец Мой начнет собирать урожай, ветви склонились от зрелых

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
плодов, нивы давно побелели.

Жизнь настоящего времени была в этом городе жалкая, как рубище нищего. Но терялась мера текущего времени в этом городе, и часто я здесь забывал даже часы завести. Время тут люди считали по звону к заутрене, к обедне, к вечерне.

– Ну, что ваши говорят? – спросил один.

Другой отвечает:

– Стоят, да вот сейчас к вечерне звонили.

Сколько сказаний, легенд и преданий сохранилось в городе: вот камень, на котором один святой приплыл сюда из Рима, вот умывальник, куда святой заключил черта и потом ездил на нем верхом, – это всем известное. А сколько тут неизвестного – ни перечесть, ни пересказать, двор каждого жителя – не разрытый курган. Особенно нравилось мне одно сказание в мертвом городе, как некогда из оскверненного места в лесную глушь церковь ушла с семью праведниками и там пребывает: умирает один из семи, на его место является новый, и так вечно, до скончания мира эти семь молятся, и этим держится, не обрываясь, род человеческий.

II

Есть в этом городе священник отец Спиридон, человек старый. Живет он, как обыкновенный священник, в одном из деревянных церковных домиков, женат, имеет детей. Матушка, тоже старая, еще с ним, дети разбрелись по свету. Когда я захожу к старику, то всегда вспоминаю сказание о семи праведниках. Стою на ступеньке дома, зимой заваленной снегом, без следа человеческого, с волнением ожидаю: «Жив ли, не ушел ли?» Вытягиваю из ворот проволоку, пускаю, что-то звенит, лает собака, а калитка все не отворяется. Я уже привык к этому долгому ожиданию, знаю, что матушка в это время мечется, ищет что-нибудь накинуть на себя. Открывается форточка, показывается лицо ее: отец Спиридон еще с нами. Гремят, звенят крючки, замки, всякие тяжелые запоры-засовы: за семью затворами живет человек, мимоходом пройдешь, ничего не увидишь. Я, хороший знакомый, и то, сколько привыкаю к тишине, окружающей старца.

– Матка! – зовет время от времени отец Спиридон свою матушку.

Она появляется с подносом, вся в ровных мелких морщинах и с таким вещным взглядом, что ничего от нее не укроется: пролети паутинка – дунет, проползи паучишка в булавочную головку – схватит. Заметила нагар на свечке, ни за что не успеешь разобрать, как она его удалила, только видишь – меркнет свеча без черного крючка в пламени.

– Ты что это? – рассеяно спрашивает отец Спиридон.

И матушка на это всегда отвечает каким-то «фигаро». Я долго не понимал, что бы значило это «фигаро», и по правде до сих пор не знаю, только думаю, что «фи», значит, скверно, потом еще гарь, и вместе выходит приличное для гостя название французской газеты «фигаро», а главное сокращает сложную фразу: «Ничего, ничего, это я так, беседуйте, дрянь тут нагорела, так вот я ее...»

Шмыгнула матушка; и опять у нас с отцом Спиридоном не ладится разговор, у меня мелькает разное такое «фигаро», а он рождает слова, как детей, в муках.

Великую свою тайну открыл мне отец Спиридон в одну из таких минут: раз открыл мне отец Спиридон, за кого он вынул частицу с проскомидии, за Льва Толстого, за Льва! Слово за слово разговорились, и еще узнал я: за папу римского давно уж молится отец Спиридон, за Лютера, за князя Кропоткина, как шла жизнь, о чем думал – находил лиц тех, и вынимал частицу, и так их много, живых и мертвых людей скопилось в церкви отца Спиридона. Тут были французы, немцы и евреи, и христиане, и язычники, и кого-кого тут не было. Для всех них отец Спиридон строил великий храм, подобный храму Соломонову. Это храм св. Троицы, где весь мир сходил в имя Отца и Сына и Святого Духа.

III

В начале войны я посетил отца Спиридона. «Как-то он теперь молится, – думал я, – во время войны за соединение всех людей в одну церковь?» И вот снова я сижу у знакомого круглого столика. Отец Спиридон подходит к окну, всматривается,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru вслушивается. Новые, необычайные звуки врываются в тишину его жилища: вопли женщин, как на похоронах заплачки, скрип телеги смерти и песни солдат. В этот вечер окончились там какие-то большие приготовления, и все двигалось вперед. Мы видели, как по улице прямой к выходу из города на запад, где садилось теперь солнце, с песнями двигались войска, рядом с ними шли с узелками в руках плачущие женщины, и там дальше за городом, куда хватит глаз, до самого солнца, все были штыки. Там все пели, а здесь плакали.

В необычайном волнении отец Спиридон сказал:

– Я на минутку был с ними, и меня потянуло... меня...

Это было начало нашего разговора, и в этот вечер я узнал, что храм св. Троицы все строился, и отец Спиридон теперь молится за виновника войны.

– За Вильгельма? – спросил я.

Неверно и некстати вышел мой вопрос. Нет, не за Вильгельма: отец Спиридон нашел в себе силу вынуть частицу...

– За то существо, – как выразился отец Спиридон.

И будучи не в силах выговорить «дьявол», рассказал мне, как он понимает «то существо» – причину войны.

В этот раз, опять как будто про отца Спиридона я записал в этом древнем городе другое сказание: в одной церкви служил священник живым людям обедни; когда плохо стало между этими живыми, священник скрылся и невидимый стал ночью служить людям умершим. Так и говорят в этом городе старые люди, когда слышат звон среди ночи: «Это невидимый батюшка служит обедню покойникам».

Орел

Вижу я нашу сибирскую степь далеко от рек судоходных и железных дорог, там, где отроги Алтая из ровной степи высятся к небу, будто синие шатры великанов. Верхами на маленьких лошадках, похожих на диких куланов, идем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов-беркутов. У меня к седлу привязана охотничья сеть, у спутника моего, киргиза, в руке приманка: кровавое, дымящееся сердце только что убитого нами дикого барана-архара. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы в ее отверстия, когда падает сверху камнем орел за добычей, свободно мог бы он взлететь, но, распутив крылья, – остался бы в сетке. Внутри этого сетяного шатра мы оставляем сердце и сами прячемся в ближайшей пещере.

До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Кали все мне рассказывает про орлов. Как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам и, если с малолетства приучить, даже и волка останавливают. До рассвета мы потом беседуем про орлов. И вот, когда начинает светлеть и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, – кажется, будто это мальчики змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу не решился взять. Посоветовался там со своими, и вот снова делает круг и камнем, с шумом, падает на кровавое сердце.

Мы спешим к нему, – запутался, а повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову и глаза мечут на нас черный огонь. Кали не обращает на это никакого внимания, обертывает его сеткой, как рыбу, подвешивает орла к седлу, и с добычей мы возвращаемся рысью в аул. Радость в ауле большая: не часто попадают в сетку орлы и за хорошие деньги можно сбывать его богатому Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как сбывать, нужно приучить орла и приучить его к нашей охоте на лисиц, зайцев и, может быть, на волков. И вот как мы приучаем орла и приучаем для нас ловить зайцев, ломать спины лисицам и на всем ходу останавливать волка.

В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, на середину ее сажаем орла, привязываем его за лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею орлиные глаза. Слепой и привязанный орел сидит на веревочке, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не отдохнул.

Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит, пьет кумыс и ест кувардок из жеребенка сам главный любитель орлиной охоты, владелец пяти тысяч голов лошадей, наш почетный гость, царь степной Мамырхан. Он глаз не сводит с орла, и чуть он успокоился, делает знак, и киргиз дернет за веревочку.

Напились охотники кумысу, наелись баранины, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому по своей нужде выйти из юрты, проходя, дернет за веревочку, и орел на пол-юрты взмахнет крыльями; кому забота на душе и выходит проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки к ним, проходя мимо орла, дернет за веревочку. И кто, даже с боку на бок перевертываясь, заметил в покое орла, хлестнет по веревке нагайкой. Так проходит и день, и два. Задерганный, слепой и голодный, орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, как дохлая курица. Тогда снимают с глаз его кожаную коронку и покажут – только покажут! – кусочек мяса. А потом опять оставят орла и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого, вываренного, бескровного мяса. Продержат, продергают еще день-два, показывают кусок свежего, кровавого, дымящегося мяса и отпускают орла.

Теперь орел плетется по юрте за кусочком мяса, как пес. Мамырхан, довольный, улыбается; смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиками, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, – не знают, что делать: по перьям орел – хватать бы, а ведет себя, как собака.

– Ка! – кричит киргиз, – не! – и орел плетется себе.

И над орлом все покатываются.

Мамырхану понравилась птица, он сам хочет испытать его на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса.

– Ка! – кричит.

Орел садится к нему на перчатку. Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики выгнали зайца, кричат:

– Куян, куян!

Заяц бежит по той самой долине, где мы недавно поймали орла. Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает.

Взлетает орел над долиной, с шумом, камнем бросается, вонзил в зайца когти, клевал бы, клевать бы теперь или, что еще проще: взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг.

– Ка! – кричит Мамырхан.

Вынимает из голенища припасенный кусочек мяса, показывает, еще раз кричит:

– Ка!

И орел из-за маленького кусочка мяса бросает добычу, летит на седло Мамырхана, дает надеть себе на глаза кожаную веревку, застегнуть цепь на лапах. А киргиз спокойно берет себе зайца.

Орел больше не знает свободы, его передергали.

Зеленые яблоки

I

После смерти тетушки сын ее Клинушкин свои сто десятин отдает в аренду избранным хозяйственным мужикам и кое-как, холостой, на это живет, стареет, дичает в одиночестве. Без памяти любил он Колодези, хранит портреты умерших владельцев, подсаживает елочки, яблони и терпеть не может живых дворян и особенно почему-то попов.

Революции он вначале очень обрадовался. Мы с ним долго об этом беседовали, так я понял его, что из своей отшибленности и ущемленности ему как бы выход теперь

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru явился, светлость какая-то показалась, и намеком Светлый из позора и унижения обозначился. Спросил я его тогда, не боится ли он за свою землю.

– Нет, – сказал он, – моя земля купленная на заработанные деньги, двадцать пять лет служил, трепался, копил, мне выплатят, а усадьбу оставят. Еще лучше будет, не собирать с мужиков дань, а только резать купоны.

Между тем из оврагов этой несчастной земли подымался призрак ветхого Адама и мутил жизнь мужиков. «Заповедь, – говорил он, – одна: в поте лица своего обрабатывай землю, а вы что наделали, у кого земля». Смутный, хмурый подымался весной призрак Адама. Бывало, встретятся весной два мужика и вместе радоваться, что дышит земля, и пар подымается, закрывающий солнце. Теперь встретятся из двух деревень и вспоминать: один вспоминает, что Клинушкину землю его дед пахал, а другой спорит с ним: его дед пахал тут и скородил, и косил, а хомут постоянно вон на том дубу вешал. Подойдут к спорщикам другие мужики, вяжутся, и пошел галдеж. Старики же, раскапывая завалинки, говорят между собой:

– Не пар это, не дух земной солнце туманит, а скорбь это, братья, скорбь наша поднялась от земли до солнца.

II

Вскоре после Пасхи приходят в Колодези комитетские мужики зерно отбирать. Не очень справедливое и бестолковое дело, потому что зря его отбирали и зря раздавали. Но Клинушкин не спорил, сам отвесил, отдал.

– И все-таки хорошо, что революция, – сказал он мне после этого, – и у дворян отобрали, и у попа... Мужики все-таки лучше всех, прямее...

– А что если у нас пойдет так дальше, дальше и станет, как было во Франции?

– Как было во Франции?

Я дал почитать ему Минье, историю французской революции.

Тут были ненастные дни, Клинушкин сидел и читал дома революцию. Раз прибегает к нему мальчик сказать: дикая утка, редкость большая у нас, прилетела на пруд. Взял охотничье ружье, подкрался, прицелился. Вдруг на том берегу пруда захлопал Шибай. Утка улетела.

– Ты как смел?

– А ты как?

– Мой пруд!

– И мой: земля общая.

С охоты своей Клинушкин возвратился расстроенный и говорит мне:

– Если ваша любимая досталась вам после риска жизнью своей и вы говорите: «Моя, моя!» – и она вам: «Мой, мой навсегда!» И в это время заявляют, что она общая, как вы об этом думаете?

Я ответил, что разное думаю об этом, когда как, другой раз отбить ее хочется себе со злости на чужое счастье.

– Это другое дело, – воскликнул он, – а вот если ее и на все общество?

– Сад и лес, саженный вами, – сказал я, – конечно, ваш, но землю вы сдаете в аренду.

– Это их, я признаю, их земля, но деньги я заработал, без выкупа невозможно.

Чтобы замять разговор об этом, я спросил, как нравится ему французская революция. И он мне ответил:

– Робеспьер мне ужасно не нравится.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Вскоре в комитете признали, что все леса нашей волости принадлежат государству. И как только стало об этом известно, все бросились рубить и тащить Клинушкину рощу.

Так бывает, ветер попутный гонит лодку вместе с волнами, и вдруг переменится ветер, парус полощется и вот-вот погонит лодку назад.

Как пришибло хозяина, оробел. Раз осмелился сказать Павлу Гнедому:

– За самовольную рубку, смотри, брат, я тебя в комитет.

А Гнедой отвечает, как Людовик XIV:

– Я – комитет.

Как-то совсем уж по-ребячьи жалуется мне Клинушкин:

– Лесок мой защитный, посажен в овраге, защищает от размывания поле. Почему они своих оврагов не засадят, этой земли довольно у всех.

– Кто «они», – спрашиваю, – мужики все такие же разные, как жители города, кто «они»?

Напрасно я спрашивал, Клинушкин уже закусил удила; право же недурные наши с детства нам знакомые ребята разные: Павел, Евлан, Пахом, все стали «они». Клинушкин стал вдруг политическим. Ветер повернул, и лодка помчалась назад.

– Кто они?

Клинушкин сорвал и резко сказал:

– Робеспьеры.

Вскоре мужики сказали, что деньги внесут не ему, а в банк, потому что земля перейдет к ним, вероятно, без выкупа.

Ничего не ответил Клинушкин, повернулся и совершенно затворился в усадьбе. Даже в сад не показывался, там теперь ходят крестьянские коровы, овцы, аллеи не разметаются, цветы растоптаны, сирень изломана, парники разорваны. Ни французской революции, ни русских газет Клинушкин больше не читает, там и тут ему чудятся Робеспьеры. Все новости о наступлении и отступлении узнает от старухи Прасковьи и от дочери ее, солдатки Тани.

И раньше время от времени, когда, бывало, из простора полей переходил в усадьбу помещика, будто после вечерней прохлады полей застоявшийся воздух охватит, раздумье берет: вот она, земля, где жили когда-то скифы, и до них еще Бог знает какие всякие народы жили и переходили, а тут вот огородился человек и воображает, что овладел землей навсегда, она его собственность вечная, эта земля. Теперь мне вовсе жутко ночевать в Колодезях, и вижу я тут сон, очень страшный. Повторяется мне тут сон о каком-то жалкого вида чиновнике по фамилии Сиромяхин. Входит он робко, неуверенно, извиняется, жметя, а так знаешь, что на дне-то его души все сплетено из обид, претензии, самолюбия. «Я, знаете, – говорит, – что затеял, я хлопочу у Временного правительства об отмене частицы „ин“ в моей фамилии и скоро буду называться не Сиромяхин, а Сиромахо. А потом объявлю „всеобщую Сиромаху всея российской“». И показывает на шею, как вешают.

III

Таня-солдатка, верная мужу, одна во всей деревне из верных мужьям солдаток, не хочет тайно конца войны, ей страшно об этом подумать. Четвертый год ее Ефим на войне, и вестей от него нет. Таня ему верна, не ходит на улицу, ждет. Справлялась по начальству, и ей ответили: «Пропал без вести». Ничего, Таня ждет. Пришли его товарищи, рассказали, как упал Ефим при сражении в Августовских лесах и что там этих упавших некому было подбирать, разве волкам. Ничего, Таня ждет, и не хочет одного только, чтобы война кончилась. Тогда ждать будет некого.

От разных причин бывает больно, а люди этим равняются. Никому не говорила, ни одному человеку про свое Таня, а Клинушкину просто рассказала, почему не хочет конца войны. И он это понял и больше ничего об этом не говорил с ней, только все

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru справляется у нее о войне, как и что там говорят на деревне. Новости эти он любит, обдумывает, глядя в окно на знакомых ему во всех подробностях с детства маленьких птичек в саду, и по ним как-то ухитряется связывать мысли.

В ненастье, когда все богатые, красивые птицы умолкают, вылетает из дупла старого дерева худая серая птичка.

– Птица-пролетарий, – думает Клинушкин. В ненастье пролетарий наполняет весь сад однообразным металлическим звуком:

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Клинушкин им говорит:

– Что же вы хотите, товарищи, вечный дождь утвердить, нет, прогорите.

Со страхом объявляет Таня:

– Войне скоро конец, солдаты дали подписку наступать по всему фронту и разогнать немцев.

Это приятно слышать Клинушкину, спросить его, почему приятно, не сказал бы и очень бы даже удивился вопросу. Кстати, солнышко показывается, поют все богатые, буржуазные птицы. Но проходит несколько дней, опять дождь, ненастье и опять свистит Пролетарий.

Таня рассказывает:

– Не вышло наступление. Посылают на караул двух человек, а из ямы вылезает шестнадцать, и зарезали.

– Немцы.

– Неизвестно, какие-то головорезы. Посылают еще двух, и тех зарезали.

– Шпионы, изменники, большевики.

Ничего неизвестно. Выходит весь полк, окружает яму, убили пятнадцать головорезов. Стали шестнадцатого пытаться. Помер шестнадцатый и ничего не сказал, кто головорезы. И не вышло наступление.

На фронте новая беда, а на деревне будто и знать ничего не хотят: играют гармоньи, и самогон льется рекой. Вот наряженная толпа идет с красными флагами. Клинушкин из окна все видит и читает на флагах: «Долой помещиков, да здравствует свободная Россия!» Оратор одет в черный сюртук, на голове котелок, а штаны зеленые, солдатские. Девушки набеленные, нарумяненные спасательными кругами закатали драгоценные ситцевые юбки на бедра. Идут босые, а в руках держат ботинки. И кажется, будто деревня какой-то пропащий от голода город разграбила и нарядилась по-своему.

Не выдержала и Таня, идет и она с закатанной спасательным кругом на могучие бедра ситцевой юбкой послушать красавца-оратора. Чудно и непонятно говорит, а как хорошо! Земля дается всем, и воля объявляется всем. Сады помещиков называются теперь садами общественными. В общественные, в свои сады зовет оратор.

Ходила с детства Таня в господские сады пололкою, теперь входит барышней: свои липы, свои елочки, яблоньки, свои цветы... Рвать цветы, доставать зеленые яблоки!

И нет на свете ничего, никакого самого сочного, самого сладкого, спелого фрукта вкуснее запрещенного зеленого яблока, когда оно еще не больше ореха. И как тянет почему-то, забравшись на самую макушку старой яблони и всякой высоты, колокольни, лестницы, крыши дома, плюнуть вниз.

Едят зеленые яблоки, плюют сверху вниз, лушат семечки.

Гармония играет всю ночь.

– Робеспьеры, Робеспьеры! – повторяет Клинушкин.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Ненавистная раньше ему помещица «Каракатица» заехала, так рад теперь и Каракатице. Она его утешает:

- Евреи начинают потихоньку землю покупать, что это значит?
- Значит, скоро вешать начнут, и рубить головы, как у французов.

А домик в городе она ему присмотрела.

Обнимая Таню, оратор говорит:

- Идеино уверяю тебя, Таня, война кончилась, Ефим не придет.

Накусывая зеленое яблоко, Таня сама себе удивляется, как легко и хорошо все кончилось: и войны больше нет, и Ефима нет, а хорошо, будто черное покрывало свалилось.

Играет, наяривает гармония, светится огонек в барском доме.

Жалко Тане смотреть на огонек.

- Хмурый, – говорит, – стал барин, невеселый.
- Был барин, – поправляет оратор, – теперь гражданин.
- Все-таки жалко, хороший человек.

Все они хороши, – отвечает оратор, – но, конечно, обида, микроб в душе. Его микробы заели.

Раб божий

Вижу я наше поле глубокой осенью, различаю, где косец оставил подряды повыше, где косил гладко, там узелец еще и от косы и от зазимка синий цветок, там в жнивье притулился зайчишка и спит с открытыми глазами.

А погода на поле такая, будто лежит где-то человек, умирает, то затуманится, то откроется, как больной человек, то забудется, то очнется.

И как забывается умирающий, то кажется ему, что весь свет забывается. А как очнулся:

- Хорош свет, еще бы немного пожить, на ребятишек хоть посмотреть, на их счастье порадоваться.

Через все это глазатое поле вьется тропа к оврагу и через овраг к селу. Пашут ее люди и не запашут, боронят, не заборонят, ни травой, ни хлебом не зарастает – озорная тропа. По тропе озорной плетется себе странник какой-то, раб Божий, и думает:

- Вот как на небе переменно и тяжело, словно человек умирает: то отдышится, то забудется.

И сам он, странник, такой же, как умирающий, еле-еле плетется, и так похоже, что через овраг такому уже не перейти: озорная тропа спускается круто в этот овраг, в сухмень пройдешь по ней, в дождик трудно, а старому совсем нельзя, старый сейчас идет еле живой.

Все деревенское стадо от нечего делать смотрит на странника, и Артемов бычок, красавец, черный, как египетский Апис, медленно подступает к идущему страннику.

Посмотрел старик на красавца бычка и улыбнулся ему, вспомнил про овраг – нахмурился. А бычок все ближе, ближе, потянулся мордой, старик дал ему руку полизать.

- Бышка, бышка! – говорит.

Прояснило на небе, и старику стало весело, вспомнил, было, про овраг, да нет его! Вот маленькая березка с обкусанной вершиной двадцать лет такая стояла – эта

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
березка всегда была за оврагом.

– Будто Господь перенес ее! – подумал старик.

А вот и большие березы, что перед самым селом растут, стоят теперь совсем золотые, и мужики со светлыми лицами выходят встречать его и говорят ему про землю и волю: вот дождались, всем воля вышла и земли сколько угодно.

Прояснило на небе – вовсе очнулся умирающий: жить хочется, хороша все-таки жизнь, хороша.

– Мужички, – говорит странник, – что-то чудно: был тут всегда овраг, а нынче я так перешел.

– Милый, – отвечают деревенские мужики, светлые под золотыми березками, – чудо великое совершилось: Господь наш простил этот овраг.

Только промолвили это мужики, вдруг все оборвалось, соскользнул вниз раб Божий, покатился по глинищу и лежит на дне оврага, а бычок Артемов, черный, как Апис, стоит наверху и равнодушно жует свою вечную жвачку.

Стало темно, и голос из темноты послышался умирающему страннику:

– Русскую землю нынче, как бабу, засек пьяный мужик и свет-лучину, что горела над этой землей, задул. Теперь у нас нет ничего: тьма.

И видит странник на днище овражем, будто гонят метлами-палками великой силой весь русский народ в свиной хлев куда-то в указанное место выгребать и вывозить навоз.

А погода все хмурилась, хмурилась, и нависло теперь с неба темными тучами до самого жнивья, до самой земли саваном, будто умирающий кончился.

И правда: раб Божий на глинище кончился.

Много лет прошло. Выгребают православные люди свиной навоз, и конца этой работе не видно. И весны стоят все эти годы черные: ни травы на земле, ни листиков. Как мучился народ на прежнем свете, так и тут мучится: обманула его земля и воля.

Но пришел все-таки час такой, видно, оттрудил народ грех свой: шевельнулись в водах рыбы, заиграла муха в воздухе, показались на яблонках первые листики, зазеленела придорожная трава. И как зазеленел подорожник, прибежали в сад играть ребятишки. Выглянул тогда из хлева и раб Божий, странник первой жизни, старый, навозный. Вот один мальчик зовет его:

– Дедушка, укажи, какие это листики показались.

Говорит раб Божий:

– Деточка, вот этот листик от Отца, этот от Сына, этот от Духа Святого.

Ребенок спрашивает:

– А есть мамин листик?

– Как же не быть: вот мамин, а вот папин.

– Что же я слышал, будто в прежнем свете маму мою пьяный мужик кнутом засек и папину свет-лучину задул.

– Ничего, – отвечает раб Божий, – он засек и задул, а, видно, вот ныне мы его грех избываем: ночью месяц светил; днем тепло грело солнышко, распустились вербы, и Господь семена прислал начинать посев.

И крестится раб Божий, и благодарит Господа, что допустил его хоть на ребят посмотреть.

Адам

I

Сидит на раките у летнего пруда копчик, царь маленьких птиц, и думает:

– Какая глубина в воде, какое вечное смирение ив отраженных.

А воды в пруду всего на два вершка.

Под ракитой сидит старый ходок деревенский, Никита.

– Какая большая земля русская, – думает Никита, – сколько за нее крови пролито, а нет человеку места на ней, и почему это так? Едешь по дороге, конца нет чугунной дороге, конца краю нет земле, а остановишься, подойдешь к человеку: «Мало, говорит человек, земли, курицу выгнать некуда». Так выходит, будто сотворил Бог второго Адама и за грех его обыкновенный, Адамов грех, выгнал опять из рая и заповедь прежнюю дал: в поте лица своего добывай хлеб. А про землю забыл, прежняя земля вся занята.

Сидит на раките копчик и думает, как глубоко! А старик Никита знает, что воды всего на два вершка, и та последняя вот-вот сбежит по худому спуску. И молодежь деревенская так зарится на землю, будто вот сейчас царство небесное, а Никита знает, разделить по живым душам – и достанется в нашем краю на живую душу всего по восьминнику. И тут же по своему старомужицкому чутью знает, что не может так быть, где-то есть выход на белый вольный свет человеку, и выйдет он непременно, и земли будет сколько захочется, и одна будет забота, чтобы справиться и осилить землю.

Вот лежит сто десятин барской земли, снимают ее двадцать хозяйственных мужиков, и с самой ранней весны из-за этой земли смута идет великая: одни говорят, надо землю у богатых брать и делить по живым душам, другие – подождать. А земля лежит – усаживается, зарастает бурьяном: не смеют пахать ее хозяева, и не смеет делить и брать ее все общество.

Приезжает оратор, думали, вот он о земле все укажет правильно, а он кругами-колесами говорит о каком-то Константинополе. И к этому еще приговаривает:

– Раньше вы на четвереньках ходили, а теперь поднялись на ноги. Да еще проверяет:

– Понял, Никита?

Хитрый старик наш Никита Васильев любит дурачка свалить.

– Понял, – отвечает, – раньше на четвереньках воровать ходили, а теперь поднялись на задние лапы.

– А нужен нам Константинополь?

– Стало быть, нужен!

Рассердился оратор:

– Я вам, – говорит, – об этом битых три часа толковал, а вы все нужен да нужен, совсем он нам незачем.

Сколько-то времени проходит, другой приезжает оратор, и опять не о настоящем деле, а все о том же Константинополе тоже часа три говорил и тоже Никиту спросил под конец.

– Не нужен, – отвечает Никита.

– Как не нужен! – кричит.

И еще часа на два завел.

Потом стали приезжать и о земле говорить и тоже надвое: одни говорят отбирать, а другие – подождать.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Потерял тогда Никита всякую веру в ораторов, спрашивает одного:

– Как же так выходит, что один одно говорит, а другой ни на что не похоже, а все от одного правительства, мы к этому не привыкли, дай нам конец и начало.

– Конец и начало, – объясняет оратор, – лежит в вас самих, и все устанавливает общественное ораторство.

Так и поняли окончательно из всего и вывели, что законов нет никаких, а нет законов – стало быть, нужно счищать богатых мужиков и так землю делить, чтобы хоть по ноготку, а всем безобидно.

I

Осторожный страдалец и политик Иван Шибай, нынче каменщик, завтра стрелочник, а то просто бродяга лесной, водяга ночной – за тридевять земель учуял дележ. С палочкой-костыликом идет себе, весело насвистывает:

– Отрешимся от старого мира!

Говорят ему встречные люди:

– Скорбь великая залегла везде, а ты, милый человек, идешь и весело посвистываешь?

– Иду, – отвечает, – землю искать.

– Ну и пахарь! – смеются.

– Ну что ж, землю не придется пахать, так деньгами возьму, им земля, а мне будет воля.

Ближе к родным местам узнавать начинают Ивана, и как увидят, узнают – бежать! Давно считали покойником, а вот словно воскрес и показывается.

Там Иван подсобит камень поднять на телегу – спасибо скажут, там оглоблю вырубит в чужом лесу – покормят, там покажет бабам диковинку – угостят самогоном.

– Омертвили, омертвили меня, бабочки милые, на родной земле, – жалится бабам, – везде живого за покойника принимают.

Так подходит к самой своей деревне Иван, к колодезю. Баба и ведра бросила.

– Покойник пришел!

Все бабы попрятались, а мужиков нет никого, все ушли землю делить, и далеко слышно, как они там на полях и шумят, и галдят, и ругаются.

– Живыми, – сказали арендаторы, – мы не дадимся, землю себе отстоим, и ежели помереть надо – помрем и оттуда, от Господа, к вам с своими правами придем!

– Православные люди, – ставит им вопрос старый ходок Никита, – Бог сотворил землю и сказал Адаму: «В поте лица трудись!» Бог это сказал?

– Бог сказал, вот мы исполняем и трудимся. Мы – настоящий Адам, а вы безобразите!

– И мы – Адам! – закричали малоземельные и безлошадные.

– Не шумите, – успокоил Никита второго Адама, – заповедь Божия всем одна, всему Адаму со всем потомством сказал Господь, а не то чтобы выделил: тебе Иван – на! а тебе Семен нет ничего. Земля вся Божья!

Посмотрели искоса арендаторы на второго Адама: велик Адам, не справиться, изобьет.

– Правильно, – ответили, – ты говоришь, старик, что земля Божья, ну, а как скотина, своя?

– Скотину приобрел человек.

– Так вот же, братья, Бог с вами, делите землю по живым душам, оставьте только нам лишнего на скотину по одной полнине.

Согласились на этом, стали делить. Конечно, опять шум и спор. Тому недомерили, там промерили, один жалуется, что ему бугром, другой ендовой, у третьего на полосе дерник растет. Делятся и день, и два, и три делятся. И стали уж к концу подходить, вдруг откуда ни возьмись приходят барские работники.

– Вы, барские холопы, идите к своим господам.

– Господ, – отвечают, – теперь нет, теперь все граждане, и нас от них сняли, мы тоже Адам!

Приняли в часть и господских. А там приходят из города. Приплелся портной хромоногий, дворник, извозчик, человек пять сапожников и шесть кожемяк.

– Не хотим, – говорят, – кожи мять, давайте земли! И мы тоже Адам!

Делят землю на всех по живым душам, и неделю делят, и две, – все земля не дается пахать. Забурела уж и рожь, а мужики все не разделятся.

И высохла земля, и стала земля трескаться. Белым полднем покончили. И только стали было Богу молиться, вдруг из куста покойником выходит Иван Шибай.

– По живым душам делите? Примите, крещеные, и мою мертвую, я тоже Адам! И опять делить.

III

Дошло до усадьбы. Представили барину выдварительную. Он сразу выехал. Проводив навсегда хозяина, ночной сторож Петр Петров подошел к колодезю, вытянул бадью, припал к воде, долго пил, как лошадь, и остальную воду по привычке перелил в корыто лошадям, хотя ни одной лошади, ни одной коровы, даже овцы, даже курицы в усадьбе не было. Пожевал корочку, подошел к дому, поднялся по приступочкам вверх. В передней хрипло кашлянул, но никто не отозвался, не спросил, как бывало:

– Тебе что, Петр Петров?

Постоял в передней и пошел в столовую, оставляя валенками на полу огромные медвежьи следы. Столовую он много раз видел из передней, и гостиная с мягкой мебелью не удивила его, но в зале остановился и стал все разглядывать. Тут на стенах висели портреты прежних, тургеневского времени, владельцев Колодезей, на полу было разное: поломанная мебель красного дерева, мешки с гречей, и горки ржи, и сбруя, и грабли, – чего, чего только тут не было. А в углу стояло старинное трюмо, такое высокое, такое широкое, что в нем, как в тихом озере, отражалось все, что в зале было, и за окнами зала сад и даже неба кусочек. Петр Петров уставился на портреты в мундирах; все они ему казались одинаково прекрасны и все на одно лицо, и лицо это одно было – царское. Досмотрев портреты до угла, где стояло большое трюмо, Петр Петров вдруг увидел, что там в углу стоит брат его Иван Петров и удивленно, разинув рот, смотрит на него. Иван Петров был точно такой же, как брат: всклокоченные с соломинами волосы, густая, черная, словно ветром взметенная в бок борода, сутулый, руки висят почти до колен, и полушубенко такой же старый, платаный новыми шкурками. Не ударило в голову Петру Петрову, что брат его уже лет пять тому назад помер в Питере: стоит живой, стало быть, и живой. Петр Петров смутился не этим, а что брат его, такой нечистый, посмел забраться в хоромы.

– Ты зачем тут? – прохрипел он громко. И махнул рукой в сторону людской:

– Уходи, уходи!

Иван Петров тоже рот открыл.

– Уходи, уходи!

Братья пошли в разные стороны: Петр Петров по черному, Иван Петров по парадному. В людскую с парадного было много ближе, потому в людской Петр Петров спросил Акулину и Косычей:

– А куда же брат мой, Иван Петров, прошел?

Акулина сказала:

– Перекрестись!

Косычи уши наострили.

Рассказал Петр Петров все по порядку, что ночью он под балконом на соломе дремал, а сука всю ночь кость глодала. Рано барин велел запрягать лошадь. – «Я, – говорит, – бросаю вас, будь заместо хозяина». И уехал. А он, Петр Петров, напился дюже воды из бадьи и в хоромы пошел. Стал в хоромых царские портреты разглядывать, дошел до угла, а там брат. Махнул ему рукою в людскую: «Туды, туды!». И пошли, он по черному ходу, а брат по парадному.

Перепаала Акулина от рассказа. Косычи же зарадовались, что вот наконец-то барина выжили. Все, кроме робкой Акулины, пошли в барский дом, будто бы поглядеть, как ходит там хозяином Иван Петров, покойник. И когда в залу пришли, и показалось трюмо...

– Вот он! – сказал Петр Петров.

Смеясь, легли Косычи животами на гречу в мешках. Дивились и Косычи, дворовые люди, на барского человека, что всю жизнь свою спал под балконом ученого барина и ни разу еще не видал себя в зеркале. Живо смекнули дворовые люди свое дело: высыпали гречу на пол, набили мешки новыми, серебром отделанными уздечками, шлеями – ничего нет нынче дороже ремня! – и, взвалив мешки на плечи, садом и логом пустились к себе в Косычевку. А Петр Петров так и остался у зеркала, удивляясь все больше и больше его отражениям.

IV

Акулина бабам рассказывала про явление покойника в барских хоромых, а бабы Акулине рассказывали, будто кто-то видел на базаре барина в мужицком тулупе. И говорит будто бы барин:

– Все рубите в саду, оставьте одно только дерево – вам пригодится. Грабьте все амбары, только оставьте один амбар с веревками – пригодится вам.

Еще рассказали бабы, что на рассвете, с бубенцами на тройке, завернутый в медвежью шубу, как настоящий барин старых времен, проскакал какой-то мужик, – не покойник ли это Иван Петров все баламутит?

От Акулины узнали бабы, что барин бросил усадьбу и что Косычи уже это пронюхали. Не успели Косычи обернуться в усадьбу с подводами, слух обежал все окрестные деревни. Пока запрягали Косычи лошадей и выбрались, навстречу им валил народ с всяким добром: две столетние старухи диван тащили, пронесут немного и сядут, еле живые, маленькие дети дрались за портреты и за книжки с картинками; одна женщина икону несла – в одной руке Никола Угодник, в другой лампадка, со всем – с маслом и поплавком.

Как увидели умные Косычи бабу с лампадкой, поняли, какое это глупое дело, вернулись назад, захватили ломы-топоры и вскачь пустились в Колодези. Вот теперь бабье-дурачье делит внизу господское белье, всякую шуру-муру, а Косычи наверху крышу ломают.

Далеко, на всю округу слышно, как гремит железо – жуть! и как гомонят-дерутся на барском дворе – жуть! будто звери упали.

Сняли крышу, сбросили стропила, стали разбирать ряд за рядом кирпичные стены, и когда сняли какой-то ряд – вдруг на солнце весеннем засверкало своей верхушкой трюмо. Словно из плена господского вырвалось зеркало, и не одни портреты и старый хлам, а весь божий мир отразился в нем. Никто не хотел брать трюмо, не было ни одного домика вокруг, ни одной избы, куда бы можно было втащить такое огромное зеркало. Вытащили из-под него половицы, поставили на землю, понизилось

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
трюмо, скрылось, но стену все разбирали, и вот опять оно сверкает над развалинами, и все отраженное в нем прекрасно; и сад казался такой густой и дивный, будто рай, созданный Богом для первого человека.

Всему дивится Петр Петров, что видит в зеркале, а мелочи эти, как люди за добро дерутся и что сам он тут между ними такой нечистый, не замечает: смотрит на вербы речные, на весеннее небо с облаками-гроздами, на зеленые озими, и большое и малое – даже, что погожие комарики мак толкут, – все видно в зеркале и все так прекрасно, будто Господь Бог первого Адама только-только что в рай впустил.

V

Тут не было ни правых, ни виноватых, просто время переходило. По старой привычке для оправданий говорили о будущем счастье народа, но втайне знали, что нет правды, не будет счастья, и с отчаянья громили имения, вырубали сады и леса, и землю, без того бедную, оголяли до последнего оголения, до первой глины, из которой слеплен был человек.

Наступившая ночь не дала увезти последний воз кирпичей из Колодезей, а так уже все было голо: парк вырублен до последнего дерева, и склон, на котором он рос, теперь оказался оврагом. Нет следа на том месте, где на черном дворе стояла людская, конюшни, амбары, нет служб на красном дворе, и дома нет, только стоит еще огромное трюмо и возле него последний, не увезенный воз кирпичей – ночь не дала увезти этот последний воз, и хозяин его отложил до утра свое дело.

Под балконом, хотя и следа нет от балкона, на старой соломе лежит с собаками последнюю ночь сторож Колодезей Петр Петров. Слышит он в ночной тишине, как весенние птицы – гнездовики этой усадьбы, – прилетая, вьются над пустым местом и, не узнавая его, пролетают неизвестно куда. И видит человек, которому нечего делить с людьми, какой чудесный в зеркале восходит месяц. Вокруг месяца ночью собираются семь звезд больших и семь малых и до утра сияют-блестят. Утром побледнел ущербленный месяц, и, когда солнце показалось, заметил сторож, как оно еще кусочек отъело от месяца, и он, белый, скрылся со своею звездой.

Когда месяц скрылся, приехал за кирпичами второй Адам, наложил воз, стал смотреть в зеркало на лошадь. И говорит, ослабившись:

– Вот раньше барыня смотрелась, а теперь кобыла! Подбежала собака, он опять:

– Раньше барыня смотрелась, а теперь сука! Взял кирпич, ударил в зеркало. Взял другой и еще ударил – все разбил в мелкие кусочки. Изломал красное дерево, уложил на кирпичи и уехал.

Поднял один кусочек зеркала первый Адам, посмотрелся, каким Господь Бог его выгнал из рая, бросил кусок разбитого зеркала на голую землю и пошел. Оглянулся назад – нет ничего, посмотрел вперед – одни овраги – глинища, да на них кровью плачут весенней пни молодых и старых берез.

338

Базар
(Пьеса для чтения вслух)
Время действия.

Не так легко вспомнить теперь это время, оно летело – быстрое время. В провинции по растущим ценам, этим знакам движения времени, все предчувствовали катастрофу, и когда она совершилась, и время вихрем закрутилось вокруг себя, мы скоро забыли то впечатление быстроты летящего в бездну нашего быта. Мы избираем в 1917 году понедельник на маслянице, когда городские люди в провинции покупают на рынке продукты очень усердно, уездные запасаются даже на пост, и их вековая привычка к простой радости встречается с явлением внезапно возросших цен, страшным признаком улетающего времени.

Место.

Избираем место для нашего действия где-нибудь в черноземной России с бытом терпким, застойным, пусть это будет Елец. Богатый купеческий мучной центр города окружен цепью деревянных домишек полуголодного мещанства. Оба разнопоставленные

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
классы купцов и мещан мы можем встретить в ближайшем соприкосновении в центре города в рыбном ряду у Шатра. Попадешь в рыбный ряд, будто окунулся в бочку с рыбным рассолом. Вот два дюжих приказчика опрокинули бочку с таким рассолом прямо на улицу; снег стал рыжим месивом. Барыня по месиву идет кое-как с прислугой и гимназистом покупать любимые задонские бирючки, сельский батюшка едет из деревни заpastись на посток сазанами, а там подшатерная кувалда-хозяйка тащит студень, печенку, требуху и всякую всячину – кормить «подшатерную голытьбу». Этот Шатер, как в загадке, – «Без окон, без дверей, полна горница людей», – громадный площадью, на многочисленных низких столбах навес, укрывает лабиринты лавок, столов и на них тысячеголовую гидру простонародья, «подшатерную голытьбу». Тут вблизи всем торгуют, все можно найти, и даже такую певчую птичку, такого перепела, что как крикнет, бывало, весной, так вся подшатерная голытьба и все рыбные купцы повернут туда головы: «Вот так лупанул, вот так дернул!» – а потом и пошло гулять по головам, что белый не простой серый, а каких никогда не бывает перепелов на свете, белый перепел показался у нас под Шатром. Вот место какое избираем мы для нашего действия, только теперь птички такой белой больше уже не увидишь: она улетела... Высокая цена как туча нависла, и белый перепел не спасет купца от нарастающей злобы голытьбы подшатерной.

Лица.

Чертова ступа. В Кремле города, бывшего когда-то сторожевым окраины Московского государства, ныне в каменных и как бы приплюснутых, без всякой архитектуры домах, похожих на сундуки царства Ивана Калиты, живут богатые купцы, окруженные цепью полуголодных озлобленных мещанских слобод. В этих слободах рождается дух зависти и злобы, столь сильной, что носитель ее, мещанка, прозванная Чертова Ступа, может существовать не как рядовая мещанка, ворчащая на недостатки сего дня, а как одержимая, как дух, пророчествующий хотя бы только на завтрашний день. У нее маленькое, в кулачок, лицо с одним далеко выдающимся зубом, голос сиплый, простуженный; отхаркивается; в правой руке – всегда «цыгарка»; во время речи, с приподнятой рукой, двумя пальцами и цыгаркой, заключенной, как в двуперстии, она смутно (как обезьяна) напоминает боярыню Морозову в картине Сурикова.

Герасим Евтеич. Рыбный торговец, седой, с большой бородой и совершенно красным лицом; очень крепкий, коренастый старик. Может быть, он происходит от тех охранительных людей, которые некогда от самых храбрых присылались сюда для защиты окраины Московского государства. Теперь, для нового человека, очень странно гармоническое сочетание в нем, в одном лице, духа неизбежно плутующего, мелкого рыбного торговца с духом глубокой человечности. В русской общественности такой тип обыкновенно разлагается на плута и фанатика общественной морали.

Ростовщик. Он такой же двойной по вере и по делам своим, как Герасим, но Великий Пан Герасима претворяет, как у ребенка, в гармонию заветы новый и древний. У ростовщика заветы распались, и мы видим зверя рядом с Христом. Его лицо, когда спокойно, миловидно: тонкое, с розовыми пятнами на тонкой коже, глаза влажные; в гневе, налетающем мгновенно, это лицо преображается, глаза становятся сучьими, зубы оскалены. Одет он в заталысканное пальто с лисьим воротником, совершенно съеденным молю.

Мастеровой. Духовный сын Герасима Евтеича, борец за общественность, самоучка, домогатель, прототип партийного работника из меньшевиков.

Дюжий парень. В пьесе он один раз и на один момент выдвигается из толпы, как гора, не говорит ни одного слова и одним ударом (действием) прекращает весь путанный спор заветов. Он страшен безмолвием, и бессловесная роль его хотя и на один момент, но велика.

Евпраксия Михайловна. Дальняя родственница Герасима Евтеича, та русская Марфа, пекущаяся о мнозем, но не мещанка, как Марфа Евангельская, и своей бесконечной заботливостью и попечением о людях ставшая столь угодной Христу, что ныне вновь Он, может быть, из чувства деликатности не стал бы сопоставлять ее с Марией как существо низшей природы. Таких старушек можно видеть в будни у вечерни, когда, кроме них, нет никого в церкви. Летом в Ельце они одеваются в мантильку, которой очень удобно скрыть недостатки костюма, зимой в тальму.

Моряк и Химик. «Моряком» в Ельце называется шатун-пропойца; «химиком» – пропойца

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
с изобретательностью. Насмешливая пара от цинического нигилизма.

Малые люди. Голова, поп, диакон, шибай, печной подрядчик, торговец чижамы и прочие – не требуют пояснения.

Сцена.

В правом углу небольшая деревянная лавка Герасима, от нее в глубину рыбный ряд, в конце которого пожарная каланча. Налево – край базарной площади, назади которой угол Шатра, одна сторона угла против площади, другая против линии рыбного ряда.

Раннее утро. Подморозило. Крыши подсеяло белым. Полумрак. У навеса лавки Герасима горит лампада. (Слышится отдаленная песня солдат «Чубарики, чубчики».) Герасим Евтеич, с железным костылем, в распахнутом тулупе, под которым рыжее от времени пальто, подходит к своей лавке и молится. Спустя короткое время его мальчик приносит из трактира чайный прибор (чайник над чайником). Герасим молится то внимательно к духу, как бы сквозь икону, то бормочет затверженное, осматривая деловым глазом старые бочки возле лавки. Когда, утвердив на лбу неотрывно крестное знамение, он поднимает глаза к иконе, гаснет лампада, и виднеется тлеющий красный фитиль.

Действие I

I

Неугасимая погасла

Герасим. Царица Небесная, Матерь Божия, взыскание погибших... (Гаснет лампада.) – Чертенюк, ты опять лампаду не налил, вот-те и Неугасимая...

(Продолжает молиться, потом осматривает, не тронут ли за ночь ворами огромный замок, виснет на нем, гремит засовами, крестится перед открытой лавкой, входит, за ним входит мальчик с чайниками. Возвращается в одном опоясанном пальто, без картуза, с бутылкой, наливает лампаду, крестится, повторяя «Взыскание погибших», масло в руке отирает о голову, все более принимая вид благообразного старца, обычной фигуры крестных ходов. Уходит в лавку пить чай.)

II

Моряк и Химик

(Рассветает. Ближе слышится та же солдатская песня «Чубарики». Два оборванца, пробираясь разными путями к Шатру, встречаются на площади.)

Моряк. Где ночевал, Химик?

Химик. Под лавкой, а ты, Моряк?

Моряк. Под шапкой. Много настрелял?

Химик. Две тринки[1]. А ты что наморековал?

Моряк. Две семерки[2], и то одна с дырочкой: цыганская.

(Проходят к Шатру, подпевая солдатам. Выходят, встречаясь, мелкие барышники.)

III

Шибай[3] и Кибай

– Здорово, Кибай!

– Здравствуй, Шибай, как дела?

– Ну, и дела: овца-то, овца-то!

– Бог знает что!

– Свиныа-то, свиныа-то?

– Черт-е-что!

– Веселые дела!

- Дела, нечего сказать.
- А что, как оборвется?
- Слышал?
- Да нет, ничего: лошадей покупают старых, да стригунов, а третьяков осенью на войну.
- Что же ты каркаешь: «оборвется».
- Береженого Бог бережет, не лучше бы окоротиться.
- Ну, еще повоюем.
- А мука-то, мука-то?
- Бог знать что!
- Овес-то, овес-то?
- Черт-е-что!

(Проходят чай пить под Шатер. Показываются плотники, из «негодных», к ним подходит безрукий.)

IV

«Негодяи»

Безрукий. Здорово, плотнички, что-й-то рано затабунились, ай, наниматься?

Один из плотников. Помекаем задаток сорвать, а работа... какая нынче работа!

Безрукий. Работа хороша, ну и работники. Все негодяи.

Один из плотников. Все: я по 84-й – грызляк, этот по 62-й – золотушник, энтот по голове, слаб головой, мы все негодные, все негодяи. А ты?

Безрукий. Я тоже плотником был, да вот обезручел в Карпатах, приладиться хочу куда-нибудь в сад, в караульщики.

Грызляк. Как же ты подпорки-то под яблони ставить будешь, левой?

Безрукий. Не каждый год бывает сад с яблоками, пройдет как-нибудь лето, а там кончится война, ерманец придет, правую руку приделает. Чего вы смеетесь, окромя шуток говорю, он теперь своим железные руки делает, совсем с пальцами и суставами.

Грызляк. И девствует?

Безрукий. Еще как! Сила-магнит девствует, хочешь ли топором тесать, поставь на топор, строгать – на рубанок, точить – на токарный станок, поставил на заметки, придавил...

Золотушник. Пуговку?

Безрукий. Пуговку нажал, она и...

Золотушник. Закопается?

Безрукий. И закопается.

Грызляк. Немец выдумал?

Безрукий. Он!

Золотушник. И силу-магнит пустил?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Безрукий. Он! все он: и даже к пулемету обезьянку приставил – он! И постиг
унутренность земли кто? Он!

Грызляк. Все он! Удивляюсь, ну, скажи ты, милый человек, что же худого будет,
ежели он к нам придет и нас, дураков, всякому делу научит?

Безрукий. А ни елды[4] не будет.

Золотушник. Обложит, говорят, обложит, а свой, едрёна мать, не обкладывает?

Безрукий. Ни елды!

Грызляк. Тот хоть умственный, а свой...

Безрукий. Шпиён!

Золотушник. Придет и придет. Ну, кормлю я поросенка, неужели ж он скажет: «Не
корми».

Безрукий. Что там, ребята, да мы ли воюем? Базар.

Грызляк. Конечно, цари!

Безрукий. Вильгельм-то, я слышал, никак не против народов идет, а чтобы один был
царь на земле и чтобы не с кем воевать было. И не то чтобы ему самому царем, а
по очереди: нонче, скажем, год Вильгельм царствует, потом русский царь, потом
французский, так по очереди пойдет и пойдет...

Грызляк. Умнейшая голова!

Слабоумный. Без головы нельзя.

Грызляк. Ну елдак с ним, придет и придет, ни елды. (Проходят чай пить под Шатер.
За сценой слышится:)

Черепенники[5] горячие, черепенники!

Угольков, угольков!

Точить ножи, ножницы!

(Показываются мещанки в тальмах с корзинками, худые с острыми профилями,
мастеровой, черепенщик, потом Чертова Ступа и Странник.)

V

Чертова Ступа

Мастеровой. Почем черепенники?

Черепенщик. Пятиалтынный за пару.

1-я мещанка. Не хочешь ли трынку?

Черепенщик. Самой тебе цена и совсем с подушкой – трынка!

1-я мещанка. Идол!

Черепенщик. Дура!

1-я мещанка. Идол-лобан!

Черепенщик. Желтая дура!

Мастеровой (черепенщику). Вовсе озверел народ, портками тряхнешь, кричат: блоха
перелетела; прощения попросишь, мало: на чай дай.

1-я мещанка. Идолы, лопни глаза ваши!

2-я мещанка. Пралич вас всех расшиби!

3-я мещанка. Вихорь тебя унеси!

Чертова Ступа. До всех, до всех вас черед дойдет. Вот погодите, дойдет, – все будете в огне гореть, проклятые; думаете, так пройдет, нет не пройдет, – все попадетесь, всех вас истолчет Чертова Ступа, всех господ, всех купцов, всех попов, всех дьяконов, вот погодите, дай срок, близится время, ой, близится время, всех обдерет вас мелким обдиром. (Все, кроме Чертовой Ступы и Странника, проходят под Шатер.)

VI

Заяц в поле

Странник. Плохо, мать!

Чертова Ступа. Чего тебе плохо?

Странник. Шибко вы тут в Ельце ругаетесь, много злости у вас тут и скверных слов, будто прелых листьев в осеннем лесу.

Чертова Ступа. Как же не ругать их, отец, все нечестивцы, все разбойники, все воры: Елец всем вора́м отец.

Странник. Два у тебя, старая, глаза, а видишь одним, разуй глаза, обуй нос и увидишь зерно.

Чертова Ступа. Может, где-нибудь и есть что, – у нас нет ничего. Ты сам откуда? Где живешь?

Странник. В поле живу: я заяц.

Чертова Ступа. А родня твоя?

Странник. И родные все зайцы. (Проходят под Шатер, где теперь полная жизнь и обычный гул улицы. В церкви звонят; один удар, другой... Выходит Евпраксия Михайловна в рыжей тальме и с корзиной в руке.)

VII

Стеганные штаны

Евпраксия. Герасим Евтеич, а, Евтеич, батюшка, да что же у тебя неугасимая-то, глянь-ка!

(Из лавки выходит Герасим с чайным блюдечком у рта, быстро глотая горячее, подувая и спрашивая глазами.)

Евпраксия. Лампадка-то!

Герасим (быстро, испуганно). Потухла. Что же это такое: сию минуту сам налил, сам зажог, вот как... ну, что это?

Евпраксия (оправляет фитиль, зажигает). Все ли у тебя дома благополучно, Евтеич?

Герасим. Кто ее знает!

Евпраксия. Избави Бог. От Мишеньки есть ли весточка?

Герасим. Как же, вчера получили письмо: сдал экзамент – прапорщик, а место за ним остается бухгалтером.

Евпраксия. Ну, и слава Богу.

Герасим. За рыбкой?

Евпраксия. Спешу, тесто подходит, а потом тебя не добьешься, спешу.

Герасим. На вот сазана, хороший, малосольный.

Евпраксия (осматривая рыбу, соображая, как дана, даром или за деньги). Ну-тя, Герасим Евтеич, что же положите?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Герасим. А что с тебя возьмешь, сама знаешь, цена растет, как облако.

Евпраксия. Как облако!

Герасим. Бог с тобой, все равно не осилишь, возьми так.

Евпраксия. Спасибо, Евтеич, помогай тебе Бог, яблочка тебе не надо ли, с чаем хорошо.

Герасим. А есть?

Евпраксия. Антоновка лежит, чистая, как стеклышко. Я тебе нонче же занесу, а то с Нюркой пришло. Спасибо тебе, спасибо, правда твоя, нынешнюю цену и не осилишь, как в пропасть валимся, и долго ли так будет?

Герасим. Бог знает!

Евпраксия. Намедни Дуняшу встретила, спрашиваю, где служишь? – Я, говорит, шью солдатам штаны. – Какие? – Стеганные.

Герасим. Неужели стеганные?

Евпраксия. Теплые!

Герасим (качает головой). Стеганные, стало-быть еще зиму воевать.

Евпраксия. То-то и я... (осторожно) ну-тя, а как же липочка?

Герасим. Тужит. Васятка и то не может опомниться. Вчера спрашивает: жив ли папа? (Слезится.)

Евпраксия (тоже слезится). Один ведь, один у тебя... и когда же все это кончится, ох, один бы конец!

Герасим (спохватившись, сердито). Эх, Евпраксия Михайловна, ты говоришь, тебе неуправка дома?

Евпраксия. Ну, ну, и то: побегу. Лампадочку-то почаще посматривай, нехорошо: неугасимая. Антоновку я тебе нонче занесу, до запора, кушай на здоровье, Христос с тобой. (Уходит.)

VIII

Кубарь

Герасим (про себя). Чтой-то после чаю будто маленько простыл. (Жметя, разметая площадку.) Васька, принеси кубарь, погонять, погреться, простыл. (Мальчик приносит кубарь и два коровьих хвоста.) Запусти! (Мальчик запускает, Герасим подхлестывает, увлекается, входит в азарт, мальчик работает другим хвостом, старый и малый сливаются в одном деле.)

Герасим. Поддай, поддай, ему! Перехватывай! Опять прозевал! Бей! Прозевал, сядь тебе на макушку ворона! Гони сюда, не задерживай, выгоняй на чистоту! Вот так, ловко, ловко, молодец! Не становись, пострел, под локоть, ешь тебя муха! Ну, сбил с кона вовсе, эх, задави тебя задом вороня кобыла! (За это время нарастает движение у Шатра, приносят хлебы в харчевню, поют солдаты, газетчики кригат. «Елецкая газета»! Геройская защита Вердена! Продвижение англичан в Месопотамию! Сила русского штыка! «Угольков, угольков!» «Аладьи горячие»! «Черепенники, черепенники!». Приходит и становится на пост городской, за ним диакон, сельский батюшка, Сережа-дурачок, Голова и прочие.)

IX

Поп да петух

Городовой (отдает честь гонящему кубарь). Здравия желаю.

Диакон. Бог на помощь, преуспевайте, Герасим Евтеич, преуспевайте.

Герасим (чуть смущенный, кладет хвост на бочку, мальчик продолжает гонять). Почтение отцу диакону, вот погреться задумал, вчера замесило, а нонче морозик

держит.

Диакон (садится на табуретку возле лавки). Теперь немного осталось, подержит, подержит, да пустит: оборвется. (Заметив погасшую лампаду.) Э, божественный человек, Герасим Евтеич, что это лампадка-то неугасимая нонче у тебя не горит?

Герасим (испуганно). Потухла, опять? Ну, что-то есть!

Диакон. Да что есть: видно, опять старуху на рыбе обманул.

Герасим (раздраженно). Или диакон нечестивое умыслил.

Диакон. Какую-нибудь севрюжку с осьмушкой отвесил.

Герасим. Или диакон петухом ектению пропел, тут у меня завсегда тухнет лампада.

Диакон. А у меня примета: как Герасим божественный на рыбе старуху бедную обманет, иконы у меня в образнице к стене ликом перевертываются.

(Поп входит с Головой.)

Голова. Ей-Богу, высидел.

Поп. Никогда не слышал такого: ну, галка, понимаю, а чтобы индюх цыплят высидел. (Услышав спор.) Опять сцепились петухи, люблю их слушать, наемни Герасим столь за веру порадел: чуть диакона до смерти книгой не зашиб, вот какие у нас бои бывают, сижу, покатываюсь, уморительно!

Голова. Поп да петух и не евши поют.

Поп (Герасиму). Ну, ну, Евтеич, давай ответ.

Герасим (диакону). Погоди, отче. (Подходит под благословение к попу.) – Вы, батюшка, на посток заpastись прибыли? (Поп роется в карманах, доставая из них всевозможное, и ищет записку попадьи.)

Поп. Куда-то делась, всегда вот так попадьа, сунет, когда в сани садишься, а потом ищи-свищи.

Х

«Идейка»

Герасим (Голове). Лимону Петровичу. (Городовому тихо.) Ну, ты-то куда лезешь, двадцать лет на посту в рыбном ряду стоишь и не знаешь свое время: приходи перед запором. (Сережке.) – Сережа, стань в сторонку, обожди, дам. (Ваське, гонящему кубарь.) Перестань, постреленок.

(Дурачок сел на бревно, Васька все время бросает в него ледяшками, тот отмахивается пока добродушно.)

Диакон. Есть ли чего новенького, лимон Петрович?

Голова (не слушая диакона, продолжает нагатый с попом разговор). Ну, вот хотите, батюшка, перекрещусь на икону: высидел.

Диакон. Что такое?

Голова. Да индюх у меня цыплят высидел. Бывало, подойдешь, посмотришь, фыркнешь со смеху, а Домна Иванна су-урьезно: «Тише, тише, не дражни его». Ну, и высидел.

Поп (не слушая, роется в карманах). Такая вот попадьа, и всякая попадьа, подсунет в последнюю минуту, а потом ищи-свищи.

Диакон (Голове). Это бывает, индюх, – он добросовестный. А что, лимон Петрович, новенького на фронте ничего не слышать?

Голова. Как же: приехал уполномоченный с фронта.

Диакон. Ну-тя, как дух в армии?

Голова (необыкновенно серьезно). Твердый дух! (Переждав.) Хороший дух!

(Голос из-под Шатра: скверная рыба, тухлый дух!)

(Выходят плотники с безруким, потом мещанки, разные базарные люди, прислушиваются, скажут: «Э-э, черт, паскудный, вихорь тебя унеси. Почему? А не хочешь?» и т. д. и проходят дальше.)

Безрукий. Вон Голова, богатый купец, пойдете к нему наниматься.

Плотники. Ну, что ж, послушаем, что они там гуторят.

Диакон. Стало-быть, недурной на фронте душок?

Голова. У-у-у. Тут, я вам скажу, идея.

Диакон. Ну-те, какая же идея?

Голова. У союзников, и так кругом по нашему солдату идет.

Диакон. Идея-то какая?

Голова. Чтобы все к черту под орех разделать.

Диакон. А идея-то какая, Филимон Петрович?

Голова (рассердившись). Идея, идея. Что ты ко мне с ею пристал, что ты меня ею дражнишь, идея такая, чтобы перевести этого германца вовсе.

Из толпы. Поди-ка ты переведи, на-ка ты перевел. (Неопределенный скептический гул.)

Диакон. Боже сохрани, Филимон Петрович, я же вас не дражню, а все-таки на счет того, чтобы немца перевести, это идея не новая.

Голова. Нет, это не то, что раньше, а вдребезги его, германца, чтобы вдрызг.

Голос из-под шатра. Мародеры, анчихристы[6].

Поп (разбирая записку). Ну, вот, Герасим Евтеич, нашел, попадья тут наковыряла: мадеполам – это у Богомолова, два подойника – это у Абрамова...

Герасим. Батюшка, погодите.

Поп. Сейчас, сейчас, вот нашел: рыба-карпия...

Герасим (подмигивая). Погодите с запасцем, батюшка, сейчас вот Лимона Петровича отпущу. (Голове.) Пожалуйте, Лимон Петрович, в лавку. (Уходит с Головой в лавку.)

XI

Народ стал есть

Из лавки. Вот севрюжинка свежая, бирючки задонские, балык, икра паюсная.

– Почему икра?

– Десять!

– Давай икру!

(Показывается Голова со свертком икры, из-под Шатра гам и спор о фальшивой монете, народу на площади прибывает.)

Поп. Почему икорка? Десять? Ой, ой, ой, Бог знает куда вскочила, Бог знает что!

Голова. Черте что, а все-таки, скажу, плохого особенно тут нет ничего, народ стал есть. Намедни смотрю, стоит рабочий в хвосте, купил фунт икры, отошел в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
сторону и съел.

Диакон. Весь фунт?

Голова. Весь!

Безрукий. А где же он булку взял?

Голова. Без булки.

Безрукий. Соленую?

Голова. Отвяжись, не дражнись. Я говорю, что народ стал есть: раньше покупали выбойку, нынче мужики покупают первач, пекут хлеб белый, а когда это мужик в городе свежую рыбу покупал? Мужик стал есть.

(Моряк и Химик проходят по толпе, изображая: один – сытого, другой – пьяного.)

Моряк. Мужик стал есть!

Химик. Мужик стал пить!

Городовой (Химику). Где-то ты самогончику достал?

Химик. Выпил, друг, выпил, ну и что же? Кто запретил, тот и разрешил, кто высушил, тот и опять вымочил.

Городовой. Ну, на счет этого потише.

Химик. Не боюсь, милый, никого не боюсь, скажу «не согласен», и ничего не будет.

Городовой. Ну-ка скажи!

Химик. Городовой, я не согласен! – Вот, видишь – ничего.

(За это время Голова продолжает.)

Голова. Вы, батюшка, подумайте, что Россия от войны получила плохого: народ без вина оправился, страна покрылась новыми железными дорогами, фабриками, бюрократия умирает естественной смертью, ну, что тут плохого?

Диакон (таинственно, намекая на царицу). Ну, а насчет внутреннего-то немца ничего не слышать?

Голова. Внутренний тоже окружен, на внешнего блокада экономическая, на внутреннего демократическая. Самое же главное, что народ стал есть.

Моряк. Народ стал есть.

Химик. Народ стал пить, и есть и пить! Городовой, ты слышишь? Представь себе, что мы бедные египтяне и присягнули на верность фараону, а ты будто фараон. Ну, скажи, что ты должен делать?

Городовой. Я что, я ничего.

Моряк. Я понимаю, фараон должен первый своему закону подчиниться.

Химик. Верно. А закон этот пусть будто о вине: что запрещается бедному египтянину пить вино казенное. Ну, а фараон, значит, пьет и пьет. Что тогда будет делать бедный египтянин?

Моряк. Он будет делать самогон.

(Кругом смеются. Моряк и Химик проходят, повторяя: «Народ стал есть. Народ стал пить».)

XII

Чего-то ждут

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
(Разговор в группе женщин, среди которых находится и Чертова Ступа.)

- Слышала я, будто в каком-то селе упал с еропланом ерманский капитан.
- Это бывает, падают.
- Ну-тя, упал капитан прямо к бабам на огород.
- Небось, всю-то капусту поломал?
- Всю капусту, морковь и огурцы все с грязью смешал, и людей много побил, мужиков, баб, детей, и сам разбился, помирает.
- Помирает!
- Ну-те, капитан этот ерманский будто и говорит: «Я, говорит, мужички и бабочки, ничего худого обо мне не думайте, я на страшном суде за все отвечаю на вашем огороде, за огурцы отвечаю, за капусту отвечаю, за морковь отвечаю, а за людей нет, не отвечаю за людей, извините».

Моряк. За людей, конечно, чего их жалеть.

Голова (к попу). Правда, батюшка, ну, кого теперь жалеть, мужика? у него вся деньга. Жалеть рабочего, ну, когда была рабочему такая лафа? А все чего-то ждут, чего-то ждут.

Поп. Даже весьма сильно ждут.

Диакон. Шибко ждут.

Голова. И это хорошо, только бы не выходило из меры, а ежели из меры выходят, то, конечно, в государстве получают дефекты.

(Уходит, и за ним уходят безрукий с плотниками.)

Моряк. Ерманец твой правду сказал: людей жалеть нечего, их может народиться сколько ты хочешь, абы только огурцы, абы капуста, абы морковь.

Химик. И капусты, и огурцов, и моркови, ничего не надо. Пусти вино казенное, и пошло: пришел мужик пьяный домой, через бабу перелез и... балалайка в избе. Пусти вино и ни елды, народищу этого народится сколько ты хошь!

Чертова Ступа. Сказано в Писании, что сцепится черный орел с красным, и будет война. Красный и не заклевал бы черного, да тут выйдет на помощь Клеопарда.

- Леопарда!
- Выступит Клеопарда и уььет хоботом.
- Кого уььет?
- Царя!

XIII

Тайна

(Из лавки Герасима, с площади, из-под Шатра, все возрастая, слышатся восклицания:)

- Тарань-то, тарань-то!
- Селедка-то, селедка-то!
- Христа забыли!
- Анчихристы!
- Овес-то, овес-то!

- Мука-то, мука-то!
- А баранина, а свежина!
- Миреды!
- Шкурники!
- Христопродавцы!
- Мыла-то? А масла?
- Куда сазан въехал?
- А дрова? Ситец?
- Бог знать что!
- Ремень, веревка повеситься?
- Черте что!

(Под крики Герасим показывается с богатыми купцами из своей лавки. Его встречает Чертова Ступа.)

- Ой, будете гореть, кровопивцы окаянные, разорвись ваша утроба звериная, источи вас, идола, волосатики, проклятушие анафемы, всем вам, купцам, всем вам жидам, писарям и попам настанет последний час!

Купцы. Ну, опять пошли бабы пригудки, не к добру!

- От бабы никогда добра не бывает.

Герасим (Ваське.) Ты опять за кубарь взялся, перестань.

Чертова Ступа. Поставят тебя черти на кувырку, будешь кувыркаться, а они-то тебя хвостами, хвостами, как кубаря.

Герасим. Без ума ты, баба, и много вреда от тебя.

Барыня (с прислугой подходит к Герасиму). Почем снетки?

Герасим. Два рубля.

Барыня. Отвесьте пять, а то десять фунтов. А карпия?

Герасим. Рубль.

Барыня. Рыбу фунтов на десять, еще балыка, икры.

1-я мещанка. Ишь ты, и не смотрит, и не торгуется.

2-я мещанка (с угрозой кидается на барыню). Вот кто цену набивает, ишь трепалка расфуфырилась, трепачка мокрохвостая.

Сережа-дурачок (озверев, встает, как медведь, и все, что есть под рукой, рушит на Ваську).

Герасим. Почтенные покупатели, я-то за что отвечаю, цена идет мимо меня, спросите по ряду, у кого дешевле моего?

Диакон (шутит, не угадывая глубины тревоги). Я говорю, у меня примета верная: как Герасим бедную старуху на рыбе обманет, у меня в образнице иконы к стене ликом перевертываются.

Герасим (с внезапным бешенством). Ты у меня в нутре был?

Диакон. Не обманешь – не продашь, вся торговля обман.

Герасим. Врешь, диакон!

Поп. Уморительно.

Купцы. Ловко, ловко, дьякон. Ну, Герасим, за тобою ответ.

Герасим. Отвечу, отвечу, погодите; торговля, диакон, не обман.

Диакон. А что ж?

(Эхо толпы: А что ж? Росею продали, не обман? Москву продали, не обман? Петроград продали, не обман?)

Герасим. То измена и обман, а торговля (твердо, торжественно), православные люди, торговля есть тайна.

Пауза. (Проходит мужик в новом полушубке с большим хлебом.)

XIV

Большой хлеб

Герасим. Вот идет человек с большим хлебом. Эй, дядя, дай-ка твой хлеб. (Берет ковригу и показывает толпе.) Смотрите, сколько зерен пошло на этот хлеб, а не видно, все измолото, все хлеб!

Пауза.

Голос. Ну-те?[7]

Герасим. Так вот и нас жернова священные (показывает на попа и диакона) должны измолоть в один хлеб.

Голос. Правильно.

Диакон. Не понимаю твою точку, куда ты ведешь?

Герасим. Я веду к тому, что мое дело маленькое, я зернышко, расту в тайне, пробиваю себе дорогу, как мне назначено. Это не обман мое дело, это моя тайна. Тоже и поле: все оно из разных полосок, и на полосе разный колос, и каждый живет вблизи для себя, а со стороны одно поле, и такое чудесное поле, посмотри: там стрепеток, там касаточка, и колосья, миллиёны, миллиёны! Эх, братья, жизнь есть ценность и радость.

Диакон. Но скажи все-таки, куда ты нас ведешь, наконец?

Герасим. Веду я к тому, что мы, зернышки, рано или поздно должны попасть на священные жернова, а не попадем, измелет нас Чертова Ступа. Я веду к тому, дьякон, что на тебе сан. Тебе надлежит нас всех в муку смолоть, как жерновам, а ты языком мелешь. (Нарочито зевнув.) Эх, мы, грешные, языки-то мягкие.

Голоса. Убил, ну, убил.

Поп. Заморозил.

Мастеровой. Вот как верно Герасим нам про хлеб сказал. Я тоже к тому веду, чтобы из всех нас один хлеб вышел. Но как это достигнуть? Колесо вертится, а ухватиться не за что. Начать бы с какого-нибудь вывода и пойти ко всеобщему объединению.

Поп. На какой же базе?

Диакон. Что за базу считать, то есть за основание?

Печной подрядчик. Я работаю, а другой лежит. Какой же будет у нас связующий цемент? Я до кровавого пота просил Господа избавить меня от запоя, и он смиловался надо мною, я стал печи строить, первый стал печник в городе. Ну, теперь хоть убей меня, никому не поверю, что нельзя вино бросить. Это все от себя. Первоначально я думал, нужно с нутра начинать, а не с выводов.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Торговец чижамы. Я хоть самоучкой учился, не ученый человек, но понимаю, как Господь Иисус Христос говорит: «Нужно все на себя принимать, а не выводы делать».

Печник. Вот, вот, с нутра надо, а не с вывода.

Мастеровой. Хорошо тебе, Сидор Иваныч, нутро у тебя такое, что умеешь ковырнуть, а как же другие останутся? И опять колесо: как я могу против колеса без вывода? Нужно, чтобы не я один, а вся механика двинулась.

Печник. Сразу не двинется.

Мастеровой. Ну, не сразу, а все-таки чтобы вперед двинулась. Как бы нам с чего-нибудь начать, потому что я считаю за базу общество.

Дровяник. Рупь я считаю за основание. Ежели как сейчас, видимо всем, рупь закачался, то и все общество закачалось.

(Выступает ростовщик. Его выступление сопровождается криками.)

– Тоже и этот полез, оглашенный!

– На божественный мед!

– Пчела носит, муха ест!

– Пес!

Ростовщик (мастеровому). Вам хочется найти такую базу, чтобы всем мошенникам, вору и разбойникам ход был, и не базу вам хочется, а всеобщую покрывку.

Мастеровой. Я хочу всех таких, как вы, за жабры взять.

Ростовщик. В вашей базе дыра есть. Вы-то глупые, не увидите, а вор увидит. Вы думаете, вот нашли покрывку, покрыли лохань, сели на базу чай распивать, а из лоханки-то все лезут, говорят: и мы с вами чай пить хотим. Вы смотрите в эту дырку, а я смотрю в дырку Христову, чтобы сделать ход ко Христу всякому вору, всякому злодею-супостату и хулигану. За базу я считаю Господа нашего Иисуса Христа.

(Костлявая рука старухи тянется к оратору со словами: «Лисий воротник, лисий воротник, чего же ты мои две сковороды держишь?»)

Голоса. Христос, Христос, отдай мой самовар!

– А тоже Иисус Христос!

– За рупь арестовал полушубок, Христос!

– Анчихрист!

– Анчихрист те душу выешь.

Ростовщик (озлобленно). Псы. (Мастеровому.) Вот она ваша база дырявая, псы, псы!

Мастеровой. Я понимаю вашу точку. Вы желаете основаться на религии, но тут честности нет, все только выходы, тут человека нельзя прижать, как в настоящее время общество вас прижимает.

Ростовщик. Глупый вы!

Мастеровой. А у вас честности нет, и на все выходы и опять тот свет.

Герасим. Алексей, что ты мелешь? Ну, священство, я сам говорю, постоянно умалчивает, а чему худому нас церковь научила?

Мастеровой. Умирает человек у вас или у меня. Кто больше болеть будет? Конечно я, потому что у вас выход есть, все выходы и обещания, а я заперт в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
человеке, в человеке все, принимаю потому человека за основание.

Ростовщик. Если это ваше за базу взять, то петля будет пуще нынешней. Вы всех хотите в петлю поймать.

Голоса. И стоит вас всех, лисьи воротники, христопродавцы!

Герасим (мастеровому). Эх, Алексей, прочитай ты третью главу Ездры, он тоже, как ты, домогатель был. Там даже не человек, а баба за базу принята.

Голоса. Го-го-го!

Торговец чижамы. Чего же вы грохочете? Я тоже полагаю, что в основании баба, то есть женщина. Другой всю жизнь в одном этом и мучится, но я, благодарение господу, бабочками очень доволен. Анна Иванна – покойница, тридцать лет с нею прожил, слова дурного против себя не вывела. Собралась помирать, племянницу Лизу позвала, руки наши соединила: вот, говорит, тебе жена, а тебе муж. С Лизой тоже хорошо лет уже десять живу. Нет, бабочками я очень доволен.

Ростовщик. А я с женой своей, как скотиной, двадцать лет прожил.

Голоса. Сам ты скотина!

Ростовщик. Я скотина, а вы звери – львы: вы морите жен без оглядки, как лихие львы, а я понимаю, почему я так поступал, ну, уж скажу: в юности в соборе по воздуху влюбился во Протопопову дочь Машу, а женился по необходимости: так нужно было родителю, ну, я и морил свою жену, измором в могилу загнал, собственно сам.

Голоса. Окаянный!

Ростовщик. Помирает жена, смотрю – смерть, смотрю – действительность, а то все, что по воздуху было, то воображение. И тут меня так стукнуло, и такое произошло, что смерть эту я, как любовь, принял.

Пауза.

Голос. Замучил, а потом как любовь!

Ростовщик. Замучил, а потом как любовь!

Мастеровой. Выход нашел: воображение.

Ростовщик. Не воображение, а действительность. Смерть меня как бы елеем смазала, вроде как бы совокупление со смертью произошло.

Поп. Союз, а не совокупление.

Ростовщик. И тут я принял Христа не по умству, а как заразу.

Поп. Рассуждение христианское, а словесность худая.

Ростовщик. Вот как неизлечимую заразу, как сифилис принимают, так я и Христа в себя принял.

Поп. Скверные слова!

Ростовщик. И существо, бывшее во мне в затемнении, вдруг воссияло.
(Мастеровому.) А ты за основание хочешь поставить человека. Что есть человек без Бога, кем я был без Бога? Скотиной! И ты и сейчас есть скотина, худой пес!

Мастеровой. Так нельзя говорить, а то я тебе скажу: пес! Что это будет: война.

Ростовщик. Яне воюю, я только хочу тебе ухо отрубить, как апостол Петр.

Мастеровой. Погоди, погоди, и я тебе воткну.

Ростовщик. Воткни, воткни, посмотрю, сколько у тебя стали!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Мастеровой. Воткну!

Ростовщик. Ты меня пузырем, а я тебя пестиком. С мужем разумным по разумию, с мужем безумным по безумию. Я держусь двух заветов. (Противники, озлобленные и готовые подраться, подходят друг к другу.)

Плотник. Позвольте, господа, если Господь всемогущ, то как Он допускает такое безобразие?

Ростовщик (оглядывается, оскалась, как травимый волк). Тебе все охота Бога за бороду поймать. (Мастеровому.) Пес, истинно пес, невер!

Мастеровой. Кровопийцев отец!

Ростовщик. А у тебя отец – Василий кузнец.

Голоса. Подавай, проклятый, мои сковороды.

– Полушубок!

– Самовар!

(Парень дюжий, бессмысленный и неодолимый, как стена, выдвигаясь, встает перед ростовщиком, и удар его страшен тем, что выходит из молчания, из скалы, из бессмыслицы. Поднимается гам. Там и тут из толпы, как травимый собаками кот, показывается иногда над головами ростовщик, без шапки, скалит зубы, ругается, дерется. У самого края сцены Чертова Ступа с поднятой рукой, в двух пальцах которой, как в двуперстии, цыгарка, потом Странник, Моряк и Химик.)

Чертова Ступа. Поделом, поделом всем вам, все, проклятые, будете гореть, вот скоро дождетесь: придет черт на дикой козе, вы, проклятые, друг на друга с ножом ползете (она говорит непрерывно, а рядом с нею):

Моряк. Божество, электричество, не верю!

Химик. И в мощи не верю!

Моряк. Освещение, просвещение!

Химик. А взять нечего! (Странник, положив руку на Чертову Ступу, пытается остановить ее, чтобы сказать что-то толпе.)

Моряк (о страннике). Волоса длинные, может, что и знает.

Химик. По волосам божественный, а по говору – тульский.

(Чертова Ступа отталкивает от себя Странника и кричит):

Чертова Ступа. Близок час: едет черт на дикой козе! Всех господ, всех купцов, всех попов, диаконов, всех шапочников и всех шляпочников, зачисто всех перережут. Сын на отца, дочь на мать, брат на брата, сестра на сестру, все, проклятые, будете гореть. Всем будет Суд.

(Внезапно раздается свисток, и постовой городской, который при драке все говорил: «Разойдитесь», отвечает свистком. На каланче бьют в набат.)

XV

Суд

Крики: Пожар, пожар, кто горит?

Чертова Ступа (всем отвечая одинаково). Ты горишь, окаянный!

(Другие, не вдумавшись, подхватывают ее слова взаправду и передают на вопрос «кто горит?» – «Абрамыч горит», или – «Ты горишь, Абрамыч, ты, Петрович!» Паника охватывает всех и доходит до Герасима.)

Герасим. Кто горит?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Голос. Ты, Евтеич!

Герасим (бросается перед иконой на колени). Матушка Царица Небесная, Взыскание погибших.

(К нему подбегает Евпраксия Михайловна с ведром антоновки.)

Евпраксия Михайловна. Ох, Евтеич, Евтеич, говорила я тебе: не перед добром неугасимая погасла.

(Уносит яблоки в лавку, возвращается с бутылкой масла.)

Герасим. Ну, ты тут лавку поприкрой, а я побегу.

(Убегает. Евпраксия Михайловна наливает масла в лампадку, притворяет двери, к ним прислоняет табуретку и на нее кладет метлу. Крестится и уходит. Площадь, ряды – все пусто. Чертова Ступа подходит к лавке, садится на табуретку; взяв с нее в руку метлу, опираясь на нее, курит цыгарку. Странник садится возле нее на дьяконов табурет. Набат все бьет.)

Особенности местной речи

1 Трынка – копейка.

2 Семерка – две копейки.

3 Шибай – барышник.

4 Ни елды или елдак с ним – циническое отрицание.

5 Черепенники – пекутся в черепках, из гречневой муки, едят постом с «конопным» маслом.

6 Анчихрист – антихрист.

7 «Ну-те» – связь между собеседниками, всевозможных музыкальных оттенков.

Халамеева ночь

Мой батюшка, Петр Иванович Майорников, в церкви перед иконой зарекся не пить, купил на последний двугривенный копеечных свечек и пошел в деревню за счастьем. У старух на свечки он выменял три старых кокошника, вытопил серебро и сделал замечательный перстень. После того все стали звать его серебрянником и потащили лудить самовары.

Я с малых лет ездил с отцом по деревням скупать кокошники, по пути прихватывали дохлых баранчиков на шапочное дело, и так мы жили, перебиваясь с хлеба на квас. И таких много было у нас в слободе, все что-нибудь придумывали, каждый в голове имел свой засев, не как у мужиков, чтобы жить по капусте, по ржи или конопле. Мой отец, бывало, говаривал: «Мы, Михаила, хоть бедные люди, да благородные, пан, купец и мещанин – одна партия, бык, черт и мужик – другая».

Свой засев и у меня начался, когда я странствовал с отцом за кокошниками, очень я пристрастился к природе и особенно интересовался мельницами. Вот когда мы с трех уездов дочиста перетопили все кокошники, дела у отца пошатнулись, поглядел он раздумчиво на меня и отдал учиться на мельницу. Так я вышел в мельники и очень пристрастился к охоте, ну просто стал, как говорится, мертвым охотником. Всем это известно, какие тихие и жалостливые люди настоящие охотники, очень это удивительно: убиваешь множество птиц, зверей – убийство настоящее, а в душе страшная гуманность живет. Тихий я человек, революция мне пристала, как корове седло, и хотя, впрочем, я сам своими глазами видал, как на коровах ездят верхом. Так и я попал в революцию и даже самым страшным комиссаром сделался и собственно через охотничью гончую собаку.

Был в нашем уезде дуроломный князь, вы, верно, про него слышали: бывало, пьяный на своем коне к себе в спальню въезжает на второй этаж, и раз этот самый его ученый конь Арап доставил в земское собрание, и въехал князь в зал заседания на коне, как царь Иван Грозный в покоренный Псков. Через этот случай князь получил

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru известность, во всех газетах это было описано под заглавием «живая старина». И попутал же черт меня с этим дуроломным князем связаться: заарендовал я у него маленькую мельницу-колотовку, соблазнился местом из-за охоты. Говорят, сам Грозный сюда ездил: в одну сторону леса идут, и хоть сотню верст, хоть другую отсчитай, все будут леса, облоги и пустоши, в другую сторону – болота никому недоступные, там на островках разводится всякая птица, всякий зверь, и временами выходят, вылетают в леса и на пустоши. Между лесами и болотами ручей бежит, и на ручью стоит моя мельница. Весною вся утка, весь гусь валят над моей головой, осенью вся дичь рассыпается по кустам, по плесам, отдыхает, и какая жирная – убьешь одну штуку, и сала фунт, так и считаешь: фунт. Но у всякого охотника свое пристрастие, иной по волкам, иной по птицам, я любитель охотиться с гончей по зайцам. В то время, случись, издохни у меня от старости славный мой гончар костромич. Туда-сюда пошукал я, и скоро мне мужики привели польскую сучку, тоненькая, словно дружинка, и зовут флейтой. Наговорили, как водится, про собаку семь коробов, и что будто бы даже в княжеской охоте такой собаки не бывало, а хозяин ее убит на войне.

Было это дело осенью, вышел я в лес пробовать собаку еще при звездах: потому всегда рано выхожу на зайцев, что поутру они еще не крепко лежат, скорее подымешь. Пока я переходил с княжеских мест на крестьянские, пала роса-узерка. Я люблю крепкую узерку лучше даже, чем первую порошу, по ней следы зайцев тоже видны отчетливо, зелененькие по седому, а деревья стоят золотые, и собачий голос в одетом лесу мне приятней – ну, просто прелесть как хорошо! Вижу я по узерке след: три лапы заячьих, а четвертая как-то ни на что не похожа, ни человечесья нога, ни коровье копыто, скорее лошадиная подкова. Так я подумал, – это чей-нибудь конь в заячий след попал, но прошел по следу довольно, и нет, – это лапа такая у самого зайца, вроде как бы лошадиная. Пустил я сучку по этому следу, и враз она зайца этого невидимо мне в густели подняла и залилась тонко и очень приятно, будто флейта в лесу сыграла. Диковинный голосок, и сразу мне очень понравился. На первом кругу зайца я проморгал, или так уж он невидимо прошел в густели – не привелось даже и поглядеть. Перебегаю поляну, становлюсь на другой круг. Флейта нажимает, ближе, ближе – нет зайца, а собака проходит сзади меня: значит, пока я ждал его впереди, он аккуратненько сзади меня в двух шагах прошел и не показал мне свою окаянную лошадиную ногу. Лес мне совсем незнакомый; гон подвигается в неизвестную мне сторону, и я не могу, как ни стараюсь, не только убить, а даже и повидать косоного черта. Затерялся я на кругах, раз с разом перекрутился вокруг себя, все на свете забыл, и какое время, и где нахожусь; мне большая радость слушать собаку, только бы не бросала, а я своего добыюсь непременно и хоть убить не убью, а такого случая не бывало никогда со мной, чтобы не повидать тонного зайца, если собака его гоняла весь день. Мне страсть стала поперек горла, чтобы повидать узнать, отчего у зайца такая нога. Но, замечаю, уже вечерние звезды показываются, и тут я опомнился: надо как-нибудь домой попадать или готовить ночлег в лесу. Пошел я наудачу по первой зеленой тропе, шел, шел, и открывается мне луговина без края, и по ней стога сена вдаль уходят без конца, без счета. Я выбрал себе стог возле самого леса против просеки, омял ямку для ночлега и начал трубить, отзывая собаку. Сколько ни трубил, не подается собака, и слышу – парко так гонит и, кажется, прямо на просеку. В это время поднялся огромный месяц над луговиной и, как у него всегда бывает, сначала ходко пошел вверх, а потом остановился, будто опомнился, в свой вид пришел и засиял – вот как засиял, что мушку совершенно видно, как днем. Вдруг сердце у меня упало: при месяце вижу – просекой лупит на меня этот самый заяц, летит, растет, растет, и когда на выстрел набежал, так и стрелять стало страшно: какой-то с теляткой ростом, но уши и все обыкновенное заячье, правая же передняя лапа – балда, просто пудовая здоровенная балда. Наждал я его близко, шагов на двадцать, навел, как на стену, и выпалил. Он сразу осел, подрыгал ногами и растянулся. А собака моя все нажимает и нажимает – что такое? Глянул туда, а просекой другой заяц бежит и опять прямехонько на меня. Я и с другим скоро управился, а там третий, четвертый. Стреляю, а они все бегут, и все стреляю, и все они бегут и бегут. Понимаю, наконец, это не просто все, и надо мне самому удирать поскорей: хотя сам и не верю в глупости, а тут потерялся. Бросился я от стога по луговине, а зайцы эти убитые за мной, который на двух ногах, который на трех, у которого ухо отстрелено, и у всех кровь капает, впереди же всех тот первый огромный с лошадиной ногой, уши на небе, как тополя стоят, дробинками все, как сито, пробиты, и сквозь ситинки звезды блестят.

Теперь я все понимаю, к чему мне это показалось в лесу: было это мне к скорби. А я тогда ничего не понял и, как поутру очнулся на стогу сена, как услышал, что

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
собака все лает, – до того обрадовался! Такой собаки у меня никогда не бывало, чтобы день прогоняла и всю ночь. Гляжу я, а заяц и вправду просекой бежит на меня. Убил я его, осмотрел: ничего особенного, просто у него давно была перебитая передняя лапа и разрослась в огромную мозоль. Пока флейта до меня добежала, я еще, не сходя с места, убил двух шумовых, да по пути домой, не моря собаку, свернул с лежки двух русаков. Взвалил я все пять зайцев на плечи и нарочно прохожу по княжескому двору, чтобы егеря знали наших, видели, какая у мельника собака. Иду по двору козырем, хвост пистолетом. А вечером, только сел я чай пить, входит ко мне княжеский егерь, выложил на стол двадцать пять рублей.

– Ну, ну, Михайло! – говорит егерь.

– Без тебя, – отвечаю, – знаю, что я Михайло, чего ты нунукаешь?

– Ну, ну, – говорит, – князь твою собаку покупает, прислал деньги, давай собаку.

Поднялась из меня глубина: пушил я, пушил и князя и егеря. Но спокойно так, принунукивая, дал мне егерь понять, – ежели деньги не возьму и не отдам флейту, он сейчас только свистнет, и собаку силой возьмут. Так и приказано, если мельник не отдаст, взять силой собаку, а самого гнать в три шеи с мельницы. Стало мне на душе мелко, неприютно, упрасивал я, даже о стену головой стучался, ревел... Егерь знай свое бормочет, как тетерев: «Ну, ну!» Он из латышей был, упрямый. Так вынули из меня душу, а кой же черт мне без собаки и мельница! С этого вечера завинтил я на всю зиму без просыпа.

Очнулся я ранней весной, когда на снегу только-только забормотали тетерева. Слышу, все говорят: революция, арестовали царя. Не будь этой обиды с собакой, ничего бы со мной и не было, потому что по природе я тихий человек и верил в постоянство: солнце, к примеру сказать, постоянное, а ветер непостоянный, солнце ветер всегда перемогает; и в человечестве тоже, казалось мне, существуют цари, князья, образованность, это все постоянное, без этого нельзя, а что разные бунты, то это, как ветер переходит, делает свое дело сеятель, посеет, а потом работает солнышко. Об этом мы, бывало, много спорили с одним моим приятелем, Семеном Демьянычем – он мастеровой человек, в Сибири на каторге страдал за политику и сейчас жил, только одной картошкой с машинным маслом питался.

– И солнце, – говорит он, бывало, – тоже движется.

– Слышал, – отвечаю, – и солнце, и вода трепещется, а все-таки приятней нам всем бывает, ежели ветер стихнет и воды лягут.

– Тебе бы только приятней, – скажет Семен Демьяныч, – не в приятности дело.

Я это очень даже хорошо понимал, что не в приятности, и Семена Демьяныча за то уважал, но что же мне делать, если натура у меня такая: сам я тихий человек, робкий, на людях сам себя скоро теряю, а в сторонке – живу хорошо.

Но пришла и мне, тихому человеку, пора заволноваться. Как услышал я, что революция произошла и царь арестован, подымись и во мне этот ветер, из-за собаки, конечно, и прямо я к Семену Демьянычу за город на совет. Выслушал он меня и так говорит:

– Тебе бы, Михаила Петров, надо на платформу стать.

– Что ж, – отвечаю, – станови!

– Ладно, – говорит, – придет время, станем, а вот тебе мой совет: по-го-ди.

– Для осторожности'–спрашиваю. – Это хорошо, только на этой платформе я всегда стоял, покойная платформа, да вот только собаку у меня отняли.

– Это хорошо, – говорит, – что у тебя ее отняли, хоть мало-мальски стал сознавать. Нет, за меня ты не беспокойся, я не для осторожности тебе это говорю, а потому что наше с тобой время еще не пришло. Что бы тебе ни говорили – не верь, как бы ни ласкали – не отвечай, и может быть, и собаку назад отдавать будут – не принимай, мы ее сами возьмем. По-го-ди.

Умнейшая голова у Семена Демьяныча, как сказал, так в точности все и вышло.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Никаких перемен в нашей деревенской жизни поначалу не было, жили все равно как и при царе, а все-таки в конце концов и дождались: представили князьям выдварительную, чтобы в двадцать четыре часа вон, и с собой один воз мебели. Уехали князья, и началась какая-то путаница с переборами, какие-то чужие люди показались издали на телегах, живут при дороге, в парке, слетелись, как вороны на падаль.

Смешно теперь подумать о себе, какая в душе моей жила все-таки осторожность: собака моя собственная флейта живет на барском дворе, и царя нет, и князей нет, а я все опасаясь пойти и просто взять свое. Будь, конечно, люди вокруг и я бы другой был, а то какие люди! Знаете, как у нас, мужик скажет: в черта не верю, а в сумерках побоится в овин сходить; сами лезут грабить и сами же перешептываются, будто князь по саду ходит и говорит: все грабьте, оставьте только веревки вас потом перевешать. Понимаю теперь и свои сомнения: хотя Семен Демьяныч и страдал, но ведь Христос еще больше страдал, и все-таки до сих пор от этого не перевелись ни книжники, ни фарисеи.

День ото дня, однако, все тревожней становится, и в себе чувствую вроде как бы приказ: не зевай, Михаиле. Собрался я в темную, глухую ночь, прокрался на собачий двор, сгреб флейту – и на конюшню в стойло, где стоит тот самый знаменитый Арап, на котором князь въехал в земское собрание. И только-только вскочил я на Арапа, слышу – начинается грабеж, валит народ на барский двор. Держу я флейту в одной руке, на луке, в другой повод, и умывать, и умывать. Тридцать верст проскакал, будто живой рукой за молнию держался. Сказал зятю: «Спрячь, держи, чтобы ни одна живая душа собаку не видела». Сдал флейтушку и опять умывать назад.

Все пошло против меня, против моих понятий; видно, правду говорил мой родитель-батюшка, что бык, черт и мужик одна партия: все признают за наше, а все тащат к себе, в свой дом. И закипела во мне тогда такая злость, какой до того в себе никак не сознавал. Лег я на голую лавку, сапоги под голову подложил и спал до вечера. Слышу, наконец, под самым моим окном гармонья рычит. Прохватился, подошел к окну, а там хромой Евтюха-горлан вот растягивает, вот надувается:

Бейте меня, колотите меня.

Коли вам надоел, вы жените меня.

Спрашиваю Евтюху, чего это там у ручья столы стелят.

– Это, – говорит, – моя свадьба, женят меня, приходи.

И моргнул мне, головой кивнул вверх, где винный завод. Вон она, какая свадьба-то выходит, нечего сказать, веселая.

Из окошка моего все было видно, и очень все казалось чудно: княжеские лакеи подают кушанья – по-господски, и тут же зарезанная свинья лежит, любители сало вырезают и на костре поджаривают – по-крестьянски. Смерклось, стемнело, и осталась наверху только узенькая как бы медная полоска, а по этой зорьке, вижу я, люди как черти черные с винтовками в руках крадутся, ползут. Минутным делом вышло: хлоп, хлоп, а красноармейцы не стали стрелять. И там уж на медной зорьке черная бочка показывается, кричат оттуда:

– При-ма-а-йтя.

Летит бочка по кособору, докатилась до ручья – кряк о камень и вдребезги. В затоне к воде прибавилось. Сверху же опять:

– При-ма-а-йте.

И другая бочка летит, и опять вдребезги, и еще в затоне прибавилось. Катали, катали, как яйца, и редкая цела доходила. Одну и вовсе дуром пустили, накось пошла, прямо на мой домик ручей перекатила, на сухом с силой взялась, подвалила ко мне на огород маленечко, словно подумала, не назад ли ей, и вдруг, здравствуйте, милости просим: перед самым моим окошком на попа стала.

Закуралесили на свадьбе немытые рыла, кто из разбитой бочки дохлебывает, кто прямо из ручья, а бабы кувшинами винную грязь таскают и таскают домой про запас.

Такую сотворили Халамееву ночь. Как тут можно думать было, что люди людьми удержатся и не пустят опять к власти князей... Переломилась в тот час душа моя надвое, и князей не хочу, и с этим народом жить тоже не радость. Вот я взял тогда и придумал себе: издохну. Взял я ведро, нацедил из бочки спирту, губу приложил и слышу сзади знакомый голос:

– Михаила Петров, ты издыхать собрался? Оглянулся я, а это Семен Демьяныч стоит с ноганом и весь в коже. Объяснил мне: завод защищал, да вот все его бросили.

– Давай же, – говорит, – вместе издохнем. Пьет и глядит на меня, пьет и глядит.

– Ну, – крикнул, – прощай, товарищ.

Гокнулся и всего себя спиртом облил. Нацедил и я другое ведро, стал рядом с покойником, и уж я лакал, лакал, уж я жег себя, жег... Ничего не помню, как я ведро выронил, как на земле очутился. А было мне, будто на небе вроде кабы аэропланы показались, и вот летят, вот летят из конца в конец, будто птицы на перелет. Стал я к ним ближе приглядываться и разобрал, – не аэропланы это, а мужики на кулях летят, как на аэропланах. Один так низенько надо мной протянул, я ему успел крикнуть, и голос мне ответил сверху:

– В Москву летим, муку менять? Халамееву ночь справлять.

Сел я на куль и только взвился на высоту, куль из-под меня и выскользнул, и гок я на землю: голова болит, ноги, живот, – весь разбитый, весь поломанный, сию и не чувствую, я это или не я. Тронул себя, ущипнул – чувствую, стало быть я. Тронул Семена Демьяныча.

– Ты? – спрашиваю.

– Я, – говорит.

– Стало быть, я не издох?

– Нет, не издох.

Выпили мы, опохмелились, в себя пришли, повеселели. И вот будто мы с того света явились или с горы фавора: все на земле стало нам как бы в преображении. Там видим, бык в поле один ходит без коров – не бывает же так, овчонка, телушка – все разбрелось, а халдеи как лакали, так в грязи и лежат. Две бабы на камне сидят и вот голосят, вот голосят, будто в родительскую. Голуби стайками с крыши на крышу перелетают, и вороны кричат, надуваются, и все нам дивно, чудесно, и куда ни кинешь глазом, все не на своем месте, все переставилось.

– Ну, я по причине, – сказал Семен Демьяныч, – а ты отчего лег издыхать?

– Я тоже по причине; сам должен ты понимать, и их не хочу, обидели они меня, и князя мне ненавистны.

Вот тут-то и скажи Семен Демьяныч на грех:

– Ты, Михаила, сознаешь, почему же ты не берешь власть сам? Вынул из кармана пачку печатного, подает.

– Что это?

– Это, – говорит, – декреты. Человек ты грамотный, учи декреты и действуй. Так у меня тут будто хвист отвалился и крылья выросли. Взял я декреты, Семен Демьяныч мне мандат написал и наставляет:

– Учи, Михаила, декреты и помни, чтобы в точности все: сам видишь, вон эти люди лежат, как свиньи, власть над ними легко взять, да удержать трудно.

Так он мне власть передал, а сам в город, обещался живой рукой пулемет представить. Учу я декреты, смотрю, Артюшка подходит ко мне.

– Как же, – спрашиваю, – ты уцелел?

– Я-то, – говорит, – не диво, а вот как ты возле бочки сидишь и бумаги читаешь?

Показал я ему мандат, декреты, он подумал и говорит:

– Давай же вместе, я тоже маленько сознательный. Ух, и попер же у меня этот Артюха по деревням, только и слышишь везде его трубу:

– Гарнизуйтесь, гарнизуйтесь.

Набрал он каких-то безусых человек пятнадцать, у пьяных винтовки мы отобрали, вооружились, рассыпались по парку. А народ из чужестранных деревень все подваливает и подваливает и тоже: у кого винтовка, у кого наган. Обложили они нас с трех сторон. В парке же над озером было так, что раз выстрелишь – и будто сто раз ударило. Как начали мы палить, будто нас целый корпус. Вскоре и от Семена Демьяныча пулемет подвалил и зататакал. Загнали мы всю шатию-братию в грязь. Узнали они Халамееву ночь. И тут в эту самую ночь я утвердился во власти.

Смотрю теперь себе вслед, куда этот мой природный тихий человек девался, и вот оказывается, – нет, не знаем мы, на что способен каждый из нас. Вот есть у тебя умишко какой-нибудь, а приставь к нему власть – и сразу ты себе в тысячу раз умней покажешься, тот же человек и не тот. Семен Демьяныч все мне твердит: «Учи, Михаила, декреты», а мне уж смешно и слышать его старые понятия. Раз нам надо было собирать чрезвычайный налог, и так по декретам выходило, что это вроде как гуманность какая, народ, мол, для своей свободы жертвовать должен. Долго я с этой гуманностью сидел, бился, бился, уговаривал, упрашивал: ну, нет и нет начисто ни у кого. Раз случилось, был я сильно выпивши, я тогда дня не пропускал, – пришел ко мне тогда человек, стал на коленки, просит от налога избавиться, клянется всеми святыми, что нет у него ничего, помянул даже и Богородицу. Противно мне стало, взял я и так легонечко его в зубы наганом толкнул. И вот тут удивление: выплюнул он зубу, вынимает из карманы деньги и все отдает. Тут сразу я все и понял, и в две недели таким способом собрал весь чрезвычайный налог, и в город представляю. Семен Демьяныч и рот разинул:

– Как это, – говорит, – тебе удалось так, Михаила?

– Посредством гуманности, – отвечаю.

Смеюсь я и знаю: самого Христа поставь собирать чрезвычайный налог, и он точно таким же способом соберет, как и я, посредством этой самой гуманности.

А между прочим, пошли дополнительные налоги, и конца им не было из-за гражданской войны. У меня же вдруг начали руки трястись, от вина ли или от своего поведения, право не знаю, просто скажу: заболел. Раз как-то сижу у себя дома, выпиваю в одиночестве, раздумываю, какая у всех ко мне ненависть, а сам я чувствую гуманность в себе, и так удивительно, что все это вместе. Гляжу я за окошко, а из перелесочка зайчик выходит: ковыль, ковыль. Моргнул я крепко, и нет зайца; значит, так только представилось. Вот я занялся закуской и потом искоса так для проверки глянул на то место, где зайчишка проковылял, а там теперь два, и передние лапки у обоих перебиты. Сморгнул я, и опять ничего. Артюшка стоит у окна с донесением, чтобы неотложно по важному делу мне в Совет на чрезвычайное заседание. «Хорошо, – отвечаю, – сейчас». Он и ушел. Поднялся, хочу идти, как меня кинет! А зайцы из леса валом валят, подстреленные, с перебитыми лапками, и впереди всех большой с лошадиной ногой; уши на небе, как тополя стоят, вот как сито пробиты дробишками, и сквозь ситинки звезды горят.

Добрался я ни жив ни мертв до конюшни, сел на Арапа, кое-как держусь и еду в Совет. Было уже совсем темно, и не разглядел я, как Арап сам ступил на лестницу. А как увидел и вспомнил, что у князя он к этому был приучен, забавно показалось: дай-ка попробую... Шевельнул я ногами, ка-ак он двинет – моргнуть не успел и въезжаю в зал заседания.

Эх, тихий я человек, робкий, пристала мне власть как корове седло, но все-таки сам же я своими глазами видал, как на коровах верхом ездят. Вышел я из своей природы, и трудно мне было назад взойти. С одной стороны враги, с другой – эти привидения – зайцы. Пришлось мне из Совета пешком удирать через три губернии сюда на эту мельницу, и через все три губернии за мной зайцы шли.

Сыр

Моя жена очень сыр любит. Вот, – подумал я, – где-нибудь хоть бы фунтик достать, но задумался: не до сыру было, когда ели мякину. И вижу, на пороге у меня стоит Ходя, китаец, и в руке у него целая голова красного голландского сыру.

Поторговались немного, и сыр, такая редкость в то время, стал моим.

Весь последний месяц я обдумывал, как запаковать свои вещи, чтобы возможно было пудов шесть нести самому: извозчиков в то время, конечно, не было. Необдуманно я купил теперь еще сыр, уложить его невозможно, и так, круглый, занимает обе руки.

– Нет, – сказал я Ходя, – так вещи мне на вокзал не донести. Спокойно ответил Ходя – чудные они:

– Я помогу.

Верно, ему по дороге было. Я согласился, и мы пошли. Вагон, конечно, красный, телячий, пришлось брать с боя. В нашей партии были винтовки, мы победили, залезли и закатали за собой тяжелую дверь – кончено! Пусть там на платформе ревет партия неудачников, нам хорошо.

– Сподобил Господь, – к чему-то сказал старичок, сидящий у меня на коленях.

И только мало-мальски успел я себе пот с лица отереть и передохнуть после жестокого боя за место, как вдруг: т-р-р-р... Откатилась дверь, показались люди с винтовками. Мы, было, подумали, – это вторая партия вооружилась, что еще, быть может, отобьемся, но их предводитель кратко и бесповоротно сказал:

– Вылезай, женский вагон.

Поняли: это власть.

– Граждане, – взревел какой-то герой, – не подчинимся, стой крепко на своем, все, как один, не пойдем, и крышка!

Сотни уст согласно прогремели:

– Не пойдем!

Но кто-то, ближайший к предводителю, верно, узнав у него, что в составе есть пустой вагон, быстро соскочил и пустился бежать по платформе, за ним другой, третий, все, и я, конечно, со всеми под шестипудовой тяжестью вещей бежал, падал, меня подхватывали, помогали, да, помогали, все-таки это было немного человеческой атаки. Итак, мы взяли второй вагон и разместились там, конечно, тесно, на полу вплотную. Мой сосед старичок опять был возле меня и опять сказал свою поговорку:

– Сподобил Господь!

И вот, чуть бы еще немного, и поехали бы, нет! слышим – опять бегут, слышим – режут. Глянули в щелку: вся та партия расчихала и мчится к нашему вагону. Узнав сразу нас, крикнули:

– Мости!

Показались длинные доски, и над самыми нашими головами стали мостить второй ярус.

Расселись над нашими головами, полили сверху, посыпали подсолнухами. Новая партия прибыла с досками, и опять был голос:

– Мости!

Расселись на третий ярус, остальные полезли на крышу, и она затрещала под тяжестью четвертого яруса.

Я сидел в самой гуще посередине пола и, когда намостили третий ярус, темно стало, хоть выколи глаз. Мне было, будто повесил я петельку сердца своего на

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
гвоздик, а все остальное – ученость свою, идеи, тело, вещи, – все это брошено как-нибудь. В сердце же моем была жена, ребяташки и с ними такой покой, такое блаженство, и будто бы я им, прежде всего, по приезде показываю сыр. Так было в сердце, но мысль, как разделенная часть змеи, сама шевелилась, в той отдельной части было:

– Если ты вместе с китайцем едва мог дотащить свои вещи, то как же теперь их один дотащил?

Взыгралось мое сердце и соскочило с гвоздика:

– Ты сыр забыл в том вагоне!

Я вздрогнул, но у меня счастливая натура, потерянное всегда открывает во мне новую цельную почву, я посмеялся над пустяками и сказал соседу моему, старичку:

– А сыр-то я забыл в том вагоне.

Эти слова меня погубили: мой сыр, круглый, красный, был очень заметен, сыр, целая голова в такое время – какое счастье! Кто его не видал, кто им не любовался! Не успел я сказать «забыл», кругом меня ахнули, по всему темному подполью побежало «сыр забыл», и ко мне вернулось решение – приговор, бесповоротное, неизменное:

– Бежи!

Будь у меня вторая голова сыра, я охотно отдал бы ее, чтобы вернуть назад вылетевшие у меня о забытом сыре слова, только бы не двигаться, только бы сидеть.

Я пробормотал какую-то нелепость, что теперь уж поздно, теперь мне не пролезть, и на эти слова весь муравейник закопошился, открылось свободное место передо мной.

– Бежи! – повелительно крикнул кто-то сзади и с силой толкнул меня вперед, и там тоже пропихнули и, если бы я теперь пожелал вернуться назад, мне пришлось бы бороться с силой всего вагона, или бы истеричным голосом крикнуть: «Не в сыре дело!» – и получить прощение, как дурачок или сумасшедший. Я предпочел отдаться воле народа, полез, давя женщин, детей, дверь сама откатилась и, как бомба, я вылетел на свет, на платформу.

Все было так на платформе, как бывает в последний момент отхода поезда. Но я сразу узнал тот женский вагон, схватился за ручку, и мужской голос изнутри мне крикнул:

– Нельзя! Вагон женский.

– Сыр, – крикнул я, – сыр забыл!

Дверца откатилась.

– Сыр здесь, товарищ, – сказал военный человек, – ваш ли он?

– Его, его! – крикнули из вагона.

Все знали по сыру меня.

И я видел, как там внутри вагона быстро запрыгало круглое, красное, понеслось над головами; военный у двери ловко его подхватил, поддал вверх, как лаптой, и я бы, конечно, схватил сыр, но как раз в этот момент свистнул паровоз, рука моя дрогнула, и сыр, упав с платформы под колеса, весело покатился вниз под рельсами.

Я сделал движение бежать к своему вагону, но это мгновенно заметили, и опять, как тогда стало, будто сыр был не моя, а государственная или общественная собственность, порученная мне на хранение, мне крикнули неумолимо и строго:

– Куда, куда, лезь, успеешь!

Десятки людей стояли у двери и, брось я сыр, как хотел, все бы эти десять ринулись под колеса...

– Успеешь, успеешь, – очень спокойно, со знанием дела, как-то хорошо, почти по-родственному говорили мне сверху.

Все это было, конечно, одно мгновение, сыр еще двигался, когда я схватил его правой рукой и, прижимая к груди, левой подперся о каменный выступ платформы и выскочил.

Отчески спокойный голос был сверху:

– Вот, видишь, успел.

Из глубины вагона были голоса:

– Поймал?

Отческий голос ответил.

– Выбрался.

И поезд тронулся.

О, как страшно было наяву исполнение моего повторного через всю жизнь кошмарного сна:

Будто бы загорается край неба, начинается светопреставление, архангел трубит в последний раз последнему поезду, праведники, ликуя, глядят в окошки, а я чемодан-то свой сунул, чемодан мой за поезд приняли, а меня не пускают. Я бы согласился с радостью гореть на земле вместе со своими бумагами, но так, чтобы праведники мои бумаги читали на небе, а я один, без дел своих, без дум, голый горел на земле – нет, нет...

Ужасный сон исполнялся, поезд двигался, я рядом бежал, прижимая к груди дурацкую голову голландского сыра.

Был один момент, дверь вагона была у самого конца платформы, после которого начиналась земля, и тогда бы там снизу уже невозможно бы было вскочить в очень высоко поднятую дверцу товарного вагона, но десятки рук меня отдельно и сыр отдельно подхватили, и потом в темноте, как самодвижущаяся танка по трупам, я полез и остановился на своем месте. Сыр двигался отдельно и, когда я прибыл, старик держал его на руках, как ребенка, и ласково говорил мне:

– Вот и сподобил Господь!

Нет, я не завидую тому, кто в том году не испытал этих ужасных путешествий и обежал слепой пропасти жизни. На верхней полке яруса умирал, хрипя, человек, в углу, на среднем, – рожала женщина, в щелки сверху лилось, и сыпались подсолнухи. Двадцать восемь часов в полной тьме я лежал, задавленный чужими вещами, и одна радость была – зажечь спичку и покурить. Один раз при вспышке света я видел, как задремавший старик держал мой сыр. И что меня поразило, в лице его была совершенно материнская улыбка. Я не пытался взять у него сыр, для меня сыр перестал существовать как моя собственность, не я спасал его, сыр в моем кошмарном сознании принадлежал всему народу. Другой раз, помню, какой-то человек наклонился к старику, взял у него сыр, поднес к уху и стал нажимать, как арбуз.

– Хлюпает, – сказал он.

И передал другому любопытному, и тот, тоже выслушав, сказал:

– Здорово хлюпает.

После того сыр не возвращался в нашу сторону, и я, решив, что его съели голодные, забыл о нем совершенно.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

После двадцати восьми часов полной тьмы, корчей и страшной вони – как было радостно выйти на волю, каждый листик на дереве мне казался живым существом и все дерево большим государством зеленых жителей, я шел под солнцем в большой толпе, и шестипудовая ноша моя в то время была мне легка. Вдруг кто-то крикнул:

– Эй ты, в шляпе, стой!

– Стой, стой! – кричала масса голосов. Я оглянулся и увидел над черной толпой под солнцем, как огненный пал по суходолу, летит прямо ко мне от руки к руке мучитель – мой сыр.

III. Публицистика

У мужиков и помещиков

(Деревенские впечатления)

I. Господа умилились

Если идти у нас осенью по краю поля по склону, то, не зная вперед расстояния, можно сильно ошибиться. Кажется, до зеленого островка на безграничном безлесном пространстве – помещичьей усадьбы – рукой подать. Но вот под ногами глубокая промоина. Только обойдешь – снова ров, словно пасть из красной глины на черной земле. И так поля, склоны с пожелтевшей травой и рвы; ни деревца, ни кустика. И людей не видно. Спутанная лошадь с угнутой в тощей траве шеей, ворон, да стая табунящихся, готовых к отлету грачей, – вот, кажется, и все живое. Между тем вся эта земля разбита на бесчисленное количество полос, и в этом месте, как нигде, идет борьба за клочок земли. Люди живут в огромных селах, оттого и не видно далеко жилья. Эти места были описаны Тургеневым, но теперь леса вырублены, мужик измельчал, помещик разорился или превратился в кулака. Теперь великий художник не стал бы писать о наших местах.

Вот Дубровка – роща из вековых дубов. Кто-то из хозяев ее говорил. «Эта роща при нашей жизни никогда не будет продана». Но теперь ее рубят. Чем дальше в глубину рощи, тем глуше и глуше удары топоров. Показывается группа золотисто-желтых кленов, ясеней и лип, а среди них дом-вилла, весь обвитый покрасневшими уже листьями дикого винограда. В окнах тяжелые рубчатые ставни, двери заколочены. В доме никого нет. Тишина. Только звенит осенняя птичка, чуть шелестят листья и слетают один за другим с высоких лип на крышу покинутого дома.

Я был в этом доме лет пять-шесть тому назад. Тогда хозяин, – самый либеральный из крупных владельцев нашего уезда, – увлекался биметаллизмом. Он ходил в кабинете из угла в угол и говорил, говорил без конца. Время от времени он подходил к столу, брал иностранный журнал, читал выдержку и снова ходил и говорил. Молодой студент, только что выпущенный из тюрьмы марксист, опровергал его:

– Экономическая необходимость, борьба классов, революция...

– Неизбежная революция?! Что вы, что вы, молодой человек!? Наши мужики и революция!.. Разве это возможно? Посмотрите...

И хозяин широким жестом указывал на вид из окна.

С горы вниз к реке расстились сады. По левую сторону реки на безграничном пространстве желтела спелая рожь помещика. А по правую сторону к самой воде ползли избы деревни, словно кучка потемневшей прошлогодней соломы. За избами – узенькие полоски крестьянских полей.

Теперь я почти на том же самом месте. Выходит старик-сторож.

– Господа уехали за границу. Мужики выгнали... Вон пашут!

И на правом и на левом берегу копошатся черные точки. Это мужики запахивают посеянный ими на помещичьей земле хлеб.

Как же это случилось? Как время разрешило спор помещика и студента? Вот что можно понять из речей сторожа и рассказов соседей.

Почти прямо после 17-го октября крестьяне явились к владельцу с требованием земли. Они указывали на несправедливость: у них по семи сажень на душу, у владельца многие тысячи десятин. Говорили о каких-то правах на землю, о каких-то

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru старинных документах. Во что бы то ни стало они хотели «столбить» землю, т. е. ставить столбы на «справедливых» границах. Помещик убедил их ехать с собой в губернский город «искать правов», как говорили мужики. Он обещал их даже содержать на свой счет. Поехали. Ходили, ходили по разным местам, никаких правов не нашли и вернулись ни с чем.

В следующий раз мужики явились с дубинками и топорами. Их встретили казаки и разогнали. Мужики принялись за работу; казаков отпустили. Но когда поспели хлеба, то от уборки хлеба мужики отказались и явились с требованиями в дом помещика. Сыновей – октябриста и кадета – не было дома. Старик не занимался хозяйством и ничего в нем не понимал. (Не так давно я где-то читал его воспоминания о славянофилах).

Мужики явились к старику прямо в дом и с шумом потребовали к себе хозяина. Старик вышел, по своей всегдашней привычке нервно подергивая плечом и ногой.

– Попляши, попляши! – громко сказал кто-то из мужиков.

– Прошу тебя снять шапку, видишь, я постарше тебя, а стою без шапки, – сказал всегда неизменно вежливый аристократ.

– Нет, уж... Довольно мы настоялись перед тобой без шапки, теперь постой и ты перед нами...

– Как тебя зовут?

– Зовут... А зимой зовут Кузьмой, а летом зовут Филаретом.

– Го, го, го, го...

Кончилось тем, что землю отдали по дешевой цене в аренду. Нельзя было ничего сделать, все отказались работать, и даже домашняя прислуга ушла...

Я спускаюсь с горы по краю поля из помещичьей усадьбы к мужикам, сеющим хлеб. Сеют и запахивают привычно, обыкновенно, весело, совершенно так, как на своей земле, как будто ничего не случилось.

– Ну, как дела?

– Слава Богу! Благодать. По десятинке на душу прибавилось землицы, а у кого есть скотинки побольше и по две взяли.

– Да как это вышло?

– А так... умилились господа и отдали.

II. У горящей усадьбы

В конце августа или в начале сентября жизнь помещика перестраивается с лета на осень. Как-то незаметно устанавливается длинный вечер с лампой. Первое время неловко: не сразу приспособляются коротать время. Выглянуть в окно? Там тьма неоглядная, беспросветная. В городе фонари, блестят лужи, темные фигуры людей. А тут ничего: тьма. Да и никому в голову не придет, когда зажжена лампа и начался длинный вечер, раздвинуть шторы и выглянуть в окно.

Но теперь совсем другое дело. Теперь, если кто-нибудь идет мимо окна за чем-нибудь в другую комнату, непременно раздвинет шторы и взглянется в тьму.

– Ну, что, не видно?

– Нет, темно...

Вдруг стучит сторож.

– Хрущевы горят!

Пожар далеко. В бездне тьмы светится яркая точка, и оттого далеко виден горизонт, видны даже облака, светлые у самой точки, как от зари, и черные, зловещие там, где зарево переходит в тьму. Одна светлая точка, но освещено

полнеба.

– Да нет, это не Хрущев, у него уж два раза горело, и гореть нечему. И Хрущев чуточку поплавее. Ростовцев, это вот так...

– Как свеча горит, это, верно, солома – ометы горят. Если бы усадьба, так огонь бы широко разбрасывало.

И все долго смотрят на светящуюся точку в ночную тьму и молчат. Редко кто-нибудь скажет отрывисто:

– А разгорается.

И снова молча смотрят с балкона из тьмы на зарево. Жутко.

– Господи! Господи! – шепчет старушка. – И все-то горят, и все-то горят.

– А словно стихает?

– Нет, нет, это так. Вишь, вспыхнуло: это верно, усадьба занялась. Жарко горит!

– Надо спать ложиться, а то долго будет гореть, все равно не дождемся.

Но не спится: в глазах светящаяся точка. Посмотреть, не потухло ли.

– Ну что? Петух?

– Горит.

Спят. И снится светящаяся точка во тьме; из дома виднеются горящие ометы, усадьба...

Стук, стук, стук...

Сторож стучит палкой в окно. Что-то случилось.

– Пожар?

– Соседи горят.

От соседей может перекинуть сюда. Это – уже настоящий страх, реальный. И все бегут на пожар. Бьют набат.

– Это вы, батюшка?

– Я.

Батюшка, подобрав подрясник, бежит, спотыкается по грязной дороге.

– Поджог, несомненный поджог, это они Семена Федоровича выживают, – задыхаясь говорит батюшка.

Семен Федорович – такой же мужик, как и другие, но занимался тем, что снимал помещичью землю в аренду по 15 рублей за десятину и сдавал крестьянам по 22 рубля. Теперь, хотя землю у него мужики и отобрали, но осталась злоба, раздражение. Быть может, его хотели выжить для большей уверенности, из опасения, что вернуться прежние времена.

Горят скотные дворы. Огонь медленно ползет по крыше к амбару. Моросит осенний дождичек. Ничего не стоило бы перебить огонь. Но толпа народа стоит молча и смотрит в огонь. Никто не шевельнется, ни одной бочки, ни одного ведра. Странно и страшно смотреть на эту мрачную толпу. Это молчание, перешептывание во время пожара – невиданное, неслыханное дело. Все смотрят как раз на то место, где, по предположению, должна находиться скотина. Тут горит соломенная крыша; несомненно, скотина давно уже задохнулась в дыму. А скотина – самое главное для арендатора: постройки принадлежат помещику.

Сам арендатор с батюшкой и сыновьями возьмется у огня. Жена его выносит из дома

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
детей, мал-мала меньше, она сажает их на камни. Холодно, сыро: дети пищат. Она укутывает...

...Как ни в чем не бывало, согнув головы, начинают щипать траву. После разглядели местечко, где в углу, прижавшись, скотина спаслась от огня и дыма. Но тут спасение скотины показалось прямо чудесным. И та самая толпа, которая равнодушно смотрела, как мать вопила, схватываясь за грудь, пригибаясь от горя к земле, где на камнях плакали дети, теперь ахнула и умилилась.

– Потому что она, скотина-то, Божья тварь, вот Господь ее и милует...

– Бессловесная она, и Господь ее хранит.

Бабы тоже собираются к мужикам, радостно ахают и изумляются.

– Вот у Ростовцевых наемни лошади тоже жалостно горели. Как загогочут черным голосом, да как зачали глаза лопаться, а языки повысунули длинные.

– И все ногами-то дрыгают, все дрыгают...

– Грех, – сказал старик.

– Грех, грех, – повторили другие.

А в нескольких саженях от толпы убивалась мать с маленькими детьми, укутывала их и не могла укутать; дрожали и плакали дети. Но никто и не подумал сообщить радостную весть. Все жалели скотину, все смотрели на нее умиленно. Но мать с детьми никто не замечал.

III. За перегородкой

Помещики бегут... Исчерпают все средства, призовут стражников, в некоторых случаях казаков, а потом бегут.

Невыносимо тяжело тому, кто любит свою землю, кто сросся с ней и твердо решил отстаивать свое существование в деревне без стражников, казаков и драгун, путем уступок, соглашений. Прежде всего, нужно быть чистым в прошлом, иначе в сгущенной атмосфере трудно проникнуть в глубь мирных средств. И как бы ни был хорош и уступчив помещик, между деревней и усадьбой все стоит какая-то перегородка. Помещику кажется дикой и грубой деревня; а деревне не до тонкостей.

Утром староста неизменно жметя в дверях.

– Ясенек срубили. Арбузы порваны. В парник лошадь ногой попала.

И так без конца, каждый день.

И становится обидно, досадно. Земля отдана, луга отданы, лес вырублен. Остается сад, где дорого каждое дерево, все посажено почти что собственными руками... И вот срубят дерево. Это все равно что к писателю или ученому забрался бы кто-нибудь в кабинет и начал распоряжаться бумагами. Сад помещика – это интимная сторона его жизни. Поднимается дрянное чувство. Зовут старосту. Начинаются переговоры:

– Вам теперь все отдано: поля, луга...

– Точно так, благодать; корова придет домой, разлопается, страшно смотреть.

– Так чего же вы в сад гоняете скотину?

– Ах, они хамы, с.д., вот озорники, ды нешь это можно, разбойники...

– Ты с ними поговори.

– Поговорю, поговорю, ды нешь так можно...

А на другой день опять то же. И крестьяне, как общество, в этом не виноваты. Арбузы тащат мальчишки, лошадь пустит кто-нибудь по недосмотру, дерево срубил «хам и озорник».

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
И владение собственностью стало невозможным. Нужно звать казаков и бороться не на жизнь, а на смерть. Нужно убивать людей за дерево, за тыкву, вообще за неодушевленные предметы. Или бегать.

А там, в деревне, за валом, обсаженным ивовыми кустами, за этой перегородкой относительного благополучия нищета царит, великий хаос.

Вот стоит кучка, о чем-то беседует. Подхожу к ним. Задаю вопрос, что будет, как земли всюду станет мало. Говорю:

– Население размножается...

– Известное дело, размножится.

– А потом что?

– Да вот в Саратовской губернии много земли, говорят.

– А потом?

– Потом в Сибирь. А там пройдет уж лет сто. Там уж не знаю что, потерпит ли Господь наши грехи, или холера придет. Вот прошлый раз так по сто гробов в день к родителю таскали.

– Да что, дядя Кузьма, далеко ходить; наемни в Мореве поела баба опенков и померла. Ржавчина, вишь, пала на них.

– Не ржавчина, а сварить не сумела. По-настоящему сварить, так каждый гриб есть можно, хошь мухомор.

Мало-помалу собирается народ. Образуется настоящая сходка. Рассказывают про июльскую забастовку.

– Мы-то ничего бы. Так, только поговорили. А так, глядишь, идет сила великая. А впереди идут двое. И как зачали читать, как зачали. Та, та, та. Вот, говорит, тебе небо, а вот земля. Небо Божье, а земля ничья...

– Ничего не поняли?

– Зачем?... Поняли. Вот только про царя это напрасно читали...

– Врешь ты, про царя студенты не читали ничего, а это в бумажке сказано. Сейчас принесу.

Приносит правительственное сообщение. Говорю, что тут про царя ничего нет.

– А так это в другой.

Приносит выборгское воззвание. И там про царя ничего не сказано... И, наконец, вспомнили. Про царя это было в книжке, а книжку нашел дядя Кузьма на огороде, под «глудкой».

Молодые революционеры, рассудительные бородатые мужики и старые древние люди, наконец, крикуны, болтуны – все галдят, все шумят, все по-своему доказывают, что земля нужна. Начинает казаться, что это весь смысл раскопанного муравейника. Один только старик со средствами, немного кулак, держится в стороне.

Это – представитель черной сотни.

– А что, барин, – говорит он, – эта дума в Москве?

– Нет в Петербурге.

– В Пи-тер-бур-хи? А я думал, что в Москве. Так она в Питербурхи!

Плагатор ли А. Ремизов?

(Письмо в редакцию)

М. Г., г. Редактор!

В интересах литературной этики не откажите напечатать это письмо.

В № 11160 «Бирж. Вед.» помещена статья «Писатель или списыватель?», называющая писателя А. Ремизова вором, экспроприатором и др. именами. Для доказательства приводятся тексты сказок «Мышонок» и «Небо пало» в рассказе народном и г. Ремизова.

Эти сказки взяты из записок Импер. русск<ого> геогр<афического> общества, в собирании которых принимал участие и я, почему и позволяю себе сказать несколько слов, насколько основательны утверждения, что сказки, написанные г. Ремизовым, представляют из себя копию с собранных нами сказок.

Иллюзия тождества достигается автором заметок просто: он выпускает то, что добавлено г. Ремизовым. От этого не только рядовой читатель обманывается, но и крупные газеты («Голос Москвы», «Русское Слово») перепечатывают заметку.

Можно двумя способами сделать художественный пересказ произведений народной поэзии: 1) развитием подробностей (амплификацией), 2) прибавлением к тексту. Работа художника может состоять в прибавлении только одной мастерской черты, в развитии одной подробности. Вот эти-то мастерские штрихи умышленно и опускаются в названной заметке.

Для примера я приведу то, что пропустил, напр<имер>, автор заметки в «Мышонке»:

«Жил-был старик со старухой, и такие богомольные, что не только ни одной службы не пропускали, а другой раз и нет ничего, а подойдут, хоть так потолкаться около церкви. И все старики и старухи почитали и всякому в пример их ставили. Вышли они раз от обедни – дело было в престольный праздник – и идут себе домой к пирогу посидеть, старуха-то эта, старикова жена, такие пироги испекла – облизнешься».

Вот это-то указание на то, что старик и старуха были богомольные, и превращает сказку из этнографического материала в художественно-законченное произведение, восстанавливает ее подлинный смысл.

Критиковать г. Ремизова очень трудно. Работая над воссозданием народных мифов и легенд, он оперирует с большим научным багажом. По литературной традиции, начиная от Пушкина, народная поэзия используется у нас без ссылок на источники. А. Ремизов первый ввел у нас примечания. Мы все, следящие за его деятельностью, знаем, что примечания он пишет чуть ли не под каждым словом, и не только в таких журналах, как «Русск. Мысль», а даже в маленьких: «Журнал для Всех» и «Всем. Панорама».

Пишет он эти ссылки, пользуясь заветом средневековых художников: не таить в себе мастерства, облегчать другим трудный путь. Кого же «экспроприировал» А. Ремизов, кто «пал его жертвой»?

«Мышонок», напр<имер>, записан мной, пишушим это письмо. «Небо пало» – Е. Н. Ончуковым. Пользуясь указаниями акад. Шахматова беречь при записях народные слова, я часто упустил целое сказок за частностями. Своей обработкой А. Ремизов часто воссоздавал мне не только смысл сказки, но и образы, и быт рассказчиков.

Таким образом, я как собиратель не могу считать себя «экспроприированным», и читатели, если сличат подлинные тексты народных сказок и сказок г. Ремизова, не найдут тождества.

Автор «Лимонаря» и «Посолони» не нуждается в моей защите. Если я позволяю себе выступить с настоящим письмом, то делаю это для того, чтобы восстановить истину перед широкой публикой, для которой, как я знаю, наш специальный сборник неизвестен.

Примите и проч.

Член Импер. геогр. общ. М. Пришвин

По градам и весям
Крыса

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

В городе не очень большом, в черносотенной слободке на Сборной улице, поселился я в год, когда кричали: «Бей жидов!». Не успел я хорошенько устроиться, мальчишки различные стали кричать на меня: «Жид!», – за мальчишками и взрослые, и все за мои черные волосы. Прислуга Маша пришла наниматься к нам и спрашивает:

– А вы не жида? Нет? Честное слово, вы не жида? Я боюсь...

И рассказывает, отчего она так боится евреев: как же их не бояться? Служила у евреев ее подруга Даша, и жилось ей очень хорошо, в жизни своей так не ела, кормят, как на убой; но это не так! Когда месяца через три Даша разъелась и стала, как бочка, заперли ее в шкаф и начали сок выжимать, давят и выжимают, давят и выжимают, а соком этим хотят причащаться; чуть-чуть совсем не прикончили, насилие вырвалась и убежала через окно.

– Так вы не жида?

Интересовался я тогда стариной, покупал книги, рукописи, приглядывался к древним иконам. Однажды иду я так, все разглядывая, по базару и вижу издали, моя знакомая старьевщица сидит не в обычной бронзовой позе, а вертится вокруг себя, как кубарь, и кричит. Оказалось, у бабушки кто-то стянул кошелек с копейками. Когда я подошел, она еще не успокоилась, но любопытные все уже разошлись, жаловаться было некому больше, старушка, все еще сердитая, обернулась к старой иконе и упрекает Николая Угодника, что проглядел и дал старуху в обиду.

Икона была темная, закоптелая, изъеденная тараканами, но из-под копоти выглядывали священные черты византийского письма. Я стал торговать у старушки Николаю Угодника, и она мне очень дешево его уступила, должно быть, за то, что Николай Угодник ее кошелек проглядел. Вот эту-то икону я повесил в красном углу, зажег лампаду, и стало у меня хорошо: икона эта, Никола Угодник, любимая русскими купцами, соединила меня со всей моей родней купеческой.

И вот, когда я повесил икону и зажег лампаду, и прошли первые минуты радостного, детского, светлого настроения, чувствую странный запах не то гиацинтов, не то покойника – гиацинты пахнут покойником, – исходит из того угла, где висит Николай Угодник. Я подумал, это от воображения: сначала вспомнилось при свете лампы детство, а потом и разные покойники. Пробовал я силой воли вернуть себя к радостному чувству – нет! Запах трупный до того становится сильным, что даже в ноздрях щекочет, и особенно ясно и сильно пахнет, когда я начинаю ходить из угла в угол: пахнет сильнее там, где висит Никола Угодник, меньше возле форточки; каждый раз, как я подхожу к иконе, меня обдаёт волной трупного запаха, и жутко вспоминается народное поверье, что икона, внесенная в дом, как святая и чистая, открывает спрятанные трупы и всякую нечисть. Жутко стало, и уснул я в эту ночь, как в детстве, с головой под одеялом, и снилось мне, что я – «жид» и меня обвиняют в ритуальном убийстве, и уста мои немые...

Утром, особенно когда я открыл форточку, сомнений больше никаких не осталось в нормальности моих чувств: в комнате пахнет действительно трупом, и мои домашние тоже чувствуют запах, и Маша, прислуга, чувствует, и опять нам повторяет свой рассказ о приятельнице Даше, как ее хотели жида в стену замуравить.

– Кто знает, – говорит она, – может быть, и тут что-нибудь есть.

Посмотрела на икону и совсем уверилась, это Никола Угодник открыл, в флигеле не было иконы, а вот, как внесли, так и запахло.

Хозяйка нашего флигеля, тоже суеверная женщина, как вошла и понюхала, так вся и побелела, видимо, колебалась между страхами: религиозным, полицейским и хозяйственным. Конечно, и она слышит запах и верит, что икона может труп открыть, но ведь если подумать, что явится полиция – страх полицейский! и если будут ломать полы – страх хозяйственный...

– Чувствуете? – спрашиваю.

– Мой нос не чувствует, – отвечает бледная хозяйка.

И квартира остается так и стоит весь день, а ночью закрываем мы эту комнату наглухо и ночь плохо спим. В первый раз в жизни я задумываюсь серьезно о легенде распятого Христа еврейским народом. Я задумался над этим в первый раз, оттого

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
что с детства понимал это просто: «Христос всех любил, а разные толстые фарисеи за это его ненавидели, с фарисеями другие ничего не понимающие люди, все, ничего не понимая, распяли его». Никогда мне в детстве не приходило в голову переносить тех евреев на этих: на часовых дел мастера, портного, зубного врача. Теперь же, когда я сам попал в «жиды», вдруг открывается весь ужас этого и вся бездна этого страшного преступления пользоваться св. Писанием для погрома...

Мы открыли утром дверь, невыносимый, ужасающий запах вырвался из закрытой комнаты и наполнил всю квартиру, мгновенно пропитал одежду, белье, воду в раковине, чай, булки – все пахло трупом. Опять я приглашаю хозяйку.

– Слышите?

– Верю!

– Нет, сами-то чувствуете?

– Чувствую.

И глаз не спускает с Николая Угодника. Теперь она соглашается поднять пол, но только своими средствами, не заявляя полиции – нет ничего больше у домовладелицы страха полицейского!

Начинают ломать полы, а по Сборной улице из домика в домик слух бежит, как запах подпольный.

– Жиды в стену младенца замуровали.

Оторванный от занятий, хожу я из угла в угол, прислушиваясь к ударам топора наверху. Маше-болтушке раздолье теперь: врывается прямо без спроса с улицы и вносит с собой эти темные уличные слухи и тут же сама их развивает. Воображение и нервы мои расстраиваются, и в голову приходит: что если правда труп младенца?

– Кто раньше тут жил?

– Женщина одинокая.

Возможно! А я жид... я жид, потому что время такое, правосудие далеко, расправа короткая, и унижительно для меня погромщикам показывать свои бумаги...

Время было такое!

– Стук, стук! – наверху.

И этот черный, изъеденный тараканами Николай Угодник, и запах одуряющий; не заглушает даже табак. Жутко...

– Нашли!

– Что... нашли?

– Слава Богу – радостная бежит сверху хозяйка, – крыса, крыса удавилась!

Скоро все успокоилось на Сборной улице, и легенда о том, что икона трупы открывает, до времени спряталась в хорошенький соседний дом с геранями на окнах, как прячется потухающий огонек в глубину лампадного стаканчика.

Я рассказал это своему соседу во время процесса Бейлиса, чтобы показать ему, как из ничего собирается иногда темная туча, как бессилён бывает человек остановить ее...

– А все-таки Бейлис виновен, – сказал мой знакомый.

– Как? Факты?

Он верит и больше ничего, верит в существование ритуального убийства, как темное русское простонародье, и факты процесса располагаются у него по линии веры. Я это высказываю ему, он упрекает меня в таком же обращении с фактами, уверяет,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
что сам обладает объективной истиной: ритуальные убийства, несомненно, существуют, и Бейлис скорее всего виновен.

Вот... И не один раз я слышал сам, высказывались так:

– В этом деле меня волнует положение невинного человека; что существуют или не существуют ритуальные убийства, я не знаю, может быть, и существуют...

Этим открывается лазейка, и снова прячется от света дневного кровавая легенда, настанет час, и она опять оживет. Так, я думаю, осталась лазейка и в ответе присяжных. Пусть Бейлис оправдан, мое положение «жида» на Сборной улице остается по-прежнему. Необходимо во что бы ни стало сломать половицы и крысу найти.

В законе отчет

Вблизи того места, где некогда собиралось Новгородское вече, до сих пор сохранился уголок Великого Новгорода: группа тесно стоящих одна к одной маленьких деревянных церквей и Ярославова башня. Не раз вглядывался я тут с восторгом в пропорции маленьких храмов, похожих на старые деревья, поднимающиеся от земли к небу.

Проходя однажды этим древним городом с одним моим знакомым, старым генералом, слышу я от него такие слова:

– Если бы моя власть, я сейчас же велел бы срыть эти бессмысленные здания, черные и страшные. Помилуйте, ведь они всякую охоту молиться отбивают, то ли дело церковь нынешняя, стоит веселая и молиться зовет, смеется, как клюковка!

Срыть церкви! А генерал, я знал, – человек очень верующий, усердный православный христианин. И вдруг срыть!.. Негодует на здания, – чем они ему мешают? Не так ли, чем иногда мешали и жившему в Новгороде в ссылке Герцену? Не странно ли, что Герцен, друг художника-мистика Витберга в Вятке, здесь, в Новгороде, презрительно называет прекрасные древние здания «пережившими свой смысл». Почему же для Герцена, новгородского периода его жизни, не находилось смысла в том, что в наше время составляет содержание многих произведений наших лучших художников? Я думаю, это потому, что Герцен очень томился жизнью в Новгороде, ему хотелось «жить», как и генералу, ненавидящему старинные церкви, хочется не мечтать, а говеть, молиться в современных условиях. Герцену – делать большое общественное дело, генералу – домашнее, обоим действовать, быть. Так что, по-моему, не совсем лишены смысла генеральские слова – смысла жизни, проливающегося в трещины старых форм. А эта упорная борьба самого же духовенства с археологией, которую принято объяснять только эстетическим невежеством семинаристов! Я видел в Костроме белую церковь и разглядел под известкой драгоценные замазанные изразцы. Но даже и это варварство я не считаю плодом исключительно невежества: у батюшки свой вкус к белому, радостному, вот он и замазал старое и вокруг церкви посадил. Да, он невежда в искусстве, но если бы он был художник, он создал бы свой, иной стиль, а в старом не стал бы молиться, значит, замазывание не плод одного невежества, а также какого-то смутного требования иных форм для современной жизни.

Помню, я разглядывал однажды в музее темную икону византийского письма и, как плохой археолог, думал о том, что, может быть, некогда эта икона была почитаема и сотни тысяч людей поклонялись ей, целовали и по вере своей получали исцеление, а вот теперь живая святыня умерла и лежит в этом археологическом склепе под стеклом.

– Луком бы ее! – сказал в это время один старый священник, слушатель Археологического института.

– Я тогда еще не был знаком с обычными приемами археологов, не понял священника и очень удивился его словам.

– Луковицу надо пополам, – объяснил он, – половиной потереть, икона и повеселеет.

– А вы любите веселых?

– Ну, ко-нечно же! – засмеялся он и как-то особенно подмигнул.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Так и начался наш разговор о радостных иконах и так шуточками продолжался вплоть до того, как священник коснулся в своем рассказе своей какой-то душевной боли. Насколько я уловил, боль эта была в борьбе с различными сомнениями в религии. Борьба, впрочем, закончилась благополучно: из мрачного душевного состояния открылся радостный выход.

– Я понял вдруг за чтением Библии, что жизнь есть радость, счастье.

И батюшка так выразительно махнул рукой в сторону черной иконы, что у меня осталось в неясном сознании представление, будто батюшка оттого мучился, что верил в черные иконы, а теперь расстался с этой верой и стал радостным. «Во что же он теперь верит? – не раз приходило мне в голову. – Не может быть, чтобы этот старый священник так-таки весь целиком и отдался житейским благам». И как бы в ответ на это случай свел меня с другим священником на Оке, в очень глухом селе Тульской губернии.

Отец Николай до этого был в богатом приходе и сам о себе говорил теперь, что тогда ему «ветер был в зад». За какие-то пустяки совершенно невинного о. Николая сослали в глухой уезд и этим разорили и повернули всю его жизнь вверх дном. Несправедливость была так велика, что прежняя вера потерпела жестокое испытание. Бывало, прежде он молился в большой каменной, устроенной и отделанной им же самим церкви, а теперь на Оке церковь-завалюшка была до того запущена, что паникадила спускались на колесиках от прялок, а на дверях визжали бутылки с песком, как в кабаке. Но замечательно, что в этой мрачной обстановке, расставаясь со многим, во что раньше безотчетно верил, батюшка из года в год оживлялся и веселел. Когда я видел его в последний раз, он был занят отделкой своей старой церкви и борьбой с живописцем: хотелось во что бы то ни стало сделать радостной, наполненной молодыми ликами, а живописец был старик, постник, покуривал ладаном и хотел писать лики старые. Помню, когда рассказывал о. Николай о своих планах устройства церкви радостной, наполненной ликами младенцев и вообще живых, семейных отношений, невольно мне припомнилось читанное об этом у Розанова; до того было похоже, что я даже спросил тогда: не читал ли батюшка Розанова. Но о. Николай в таких глухих местах и понятия не имел о писаниях Розанова.

– Представьте себе, – спросил я о. Николая словом Розанова, – что невесту и жениха после совершения обряда оставить в церкви без людей для брачного сочетания.

Эта знаменитая розановская «позиция», с которой он открывает свою пальбу в монахов, как она покажется простому сельскому священнику?

– Представьте себе это только на одну минуту!

– И представляю, – спокойно ответил о. Николай, – это же и бывало в старину, откуда идет настоящее православие.

И рассказал что-то подобное из Библии, потом из книги Товита привел, как архангел Рафаил был сватом и прочел из псалма: «И на ложах своих возрадуются».

– Слышите: на ложах! Чего же вам больше. Никакой загадки мне ваш Розанов не загадал, я сам это знал. В православии есть все, решительно все для радостной человеческой жизни, а только монахи его испортили. А женская красота, да ведь это Бог знает что или произведение искусства: Венера Милосская и тому подобное, почему это грех? Все это монахи, а не православие виновато.

Напрасно я старался ввести батюшку в круг розановских «ужасных сомнений» в Христе, о. Николай во всем соглашался с Розановым, решительно во всем и настаивал, что это не Христос, в ком Розанов сомневается.

– Не знаю, как Розанов, – сказала тут же и матушка, вязавшая чулок, – но понимаю и всегда думаю, что Христос был хороший, очень хороший!

– Все это монахи, все монахи, а не православие, – твердил батюшка. – Вот приезжайте ко мне через год, увидите, какую церковь устрою.

Через год я получил письмо от о. Николая, и в нем он, между прочим, пишет:

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
«О церкви своей... Если хотите, у меня в куполе семья: Вера, Надежда, Любовь – малютки с матерью, отрок Артемий в синих порточках – деревенский мальчишка, Дмитрий царевич – детеныш. При входе в настоящую картина: Христос на открытом месте распротер руки ко всем, тут и убогие, и нищие старухи, юноши, матери, мальчишки. Своя собственная композиция, единственная в мире, нигде не найдете. Цель: поставить Христа ближе к народу».

И много еще я мог бы привести примеров, из которых ясно видно, что всем известное явление «обмирщения» духовенства вовсе не совпадает с понятием падения. Вернее будет признать, что в стране нашей черное и белое духовенство расходятся в самой основе, в понимании существа православия, что произошел распад, нарушено установившееся в веках равновесие между сущим и должным. И вот отчего Розанов, явно же выступающий против Христа, многими православными священниками признается истинным христианином: по их мнению, он борется только с маской Христовой, а не с самим Христом. Я заимствую слова «маска Христова» от одного старого священника, живущего в глубине России, отца Спиридона; он, достойный, глубокоуважаемый в своем краю священник, необыкновенно замкнутый и сдержанный человек, не раз во время наших долгих вечерних бесед загорался пророческим гневом и называл маской Христовой тот «темный лик», против которого так восстает Розанов. В первый раз в своей жизни от православного священника, живущего в недрах России, я услышал глубокое объяснение тому всем нам известному явлению обмирщения белого духовенства. Все, что сказал мне о. Спиридон, быть может, не ново с религиозно-философской точки зрения, но в устах провинциального священника и выраженное с пламенной верой, как исповедание, заслуживает глубокого внимания.

Некогда мир был до основ потрясен идеей бессеменного зачатия. Забыв старый мир, начали строить новый как отображение второго лица Св. Троицы. Ослепленные новой идеей, первые строители забыли, что не менее чудесно и зачатие обыкновенное. В этом была их основная ошибка, и за то мы теперь платимся.

В наше время идея бессеменного зачатия приелась, стала пресна, никого больше не поражает, и, может быть, потому-то и пришли монастыри в такой ужасающий упадок, а оставленный мир покрылся публичными домами и кафе-шантанами.

Раз я признаю действие божественной силы, то что же в самом деле особенного в факте непорочного зачатия, почему именно такое зачатие должно считаться чудесным, а обыкновенное унизительным или недостойным внимания и удивления? Напротив, обыкновенное зачатие по своей очевидности должно бы более поражать, чем зачатие бессеменное. Но, ослепленные новой идеей, первые строители церкви совершенно забыли об этом, и размножение рода человеческого вышло из круга христианского спасения.

Так некогда было нарушено равенство лиц Св. Троицы в их земных отображениях, Отца и Сына. Но что это значит? В том самом месте, где идея бессеменного зачатия была признана исключительно руководящей миром, являются магометане и приносят старую библейскую семью (многоженство). Каждому верующему в Промысел Божий страшно становится на этой мысли, так поразительно тут Его проявление: попытка подчинения мира господству исключительно сына Божия, второго лица Св. Троицы, так сурово осуждается вторжением в страну магометан – тут есть над чем пораздумать.

Нужно внимательно взглянуть во второе лицо Св. Троицы. Сын, Иисус Христос, остается всю жизнь девственным, почему Он девственник? Отец сотворил мир, породил его, почему же Сын не порождает? Оттого, что Он тогда бы не только был Сын, а и Отец; Он же есть только – Сын. Если же Он, по божественной своей природе, только – Сын, то по человеческой – девственник. Эта девственность не есть его какая-нибудь особенная заслуга, а просто Он таким должен быть, иначе Он и не мог бы быть. Переноса божественную природу на человеческую, мы думаем, что индивидуум избирает девство в силу внутреннего своего сродства, его вкус влечет, ничто иное, как вкус. Такие как родились сынами, так навеки и остаются по образу Христову, влекутся образом Христовой девственности. Есть между ними сродство такое, чтобы восполнять стадо Христово.

Сын есть только – Сын, а то Родитель вселенной. Рождающий, Отец. Раз Он Отец, то все земное должно получить свое отечество по образу Отца Небесного. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небеси и на земли» (Пс. Ефес. 3: 14–15).

Отец отделил часть своего божественного творчества, сделал земных отцов продолжателями своего божественного творчества, так что отцы восполняют стадо отцов сообразно Отцу Небесному. Как девственник, руководствуясь вкусом, своим индивидуальным средством восполняет стадо Христово, так отец земной восполняет стадо Отца Небесного. Где Дух Святой, там свобода – говорит апостол Павел. Вкус – свобода, единственный распределитель между тем и другим.

Таким образом, являются две партии – девственников, продолжателей дела Сына, и отцов, продолжателей дела Отца. И нам остается только сделать вывод: если лица Св. Троицы равны, то и их отображения земные равны: отцы и девственники.

Почет одинаковый, хотя дело их совсем разное. Нужно только хорошенько взглядеться в апокалипсические картины. Вот некие поющие гуслисты, они поют как бы новую песнь перед престолом, и никто не мог научиться той песне, кроме этих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Так рисуются девственники в Апокалипсисе: поют, не все поют, а только они, как певчие в церкви; поют и следуют, как следуют за царем телохранители, стремительность у них, куда бы Агнец ни пошел, они следуют, не сидят, а ходят. Так изображено дело девственников.

Совсем иначе в Апокалипсисе изображены отцы. На престоле там Сидящий и вокруг престола двадцать четыре ветхозаветных патриарха, облеченные в белые одежды, с золотыми венцами на головах сидят. И когда животные воздают славу, честь и благодарение Сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают перед Сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.

Так изображено дело отцов. Как девственники поют, так эти сидят, там движение, тут покой. И неужели же такое положение отцов унижительно? У всякого свое дело и положение. Дело отцов подробно изображено в Завете Ветхом, дело сынов в Завете Новом. Спрашивается, если лица Св. Троицы равны, если их земные отображения равны, то почему же отдавать предпочтение Новому Завету перед Ветхим? Стоит только на минуту признать равенство заветов, и все ветхозаветные лица возрастают в своем значении и становятся равноправными с лицами Нового Завета.

Христос нигде не обличил ветхозаветную семью, а ведь как Он обличал: «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры!» Почему бы не обличить ему и царя Давида, которому сказано: «И дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое. И дал тебе дом Израилев и Иудин, а если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше» (2 кн. Царств, гл. 12, ст. 8). Нигде в Евангелии Господь ни одним словом не осудил библейскую семью. В основу церкви легли мысли не Господа нашего Иисуса Христа, а Павла апостола, так что мы теперь скорее должны называться павликианами, а не христианами. Как на ужасающий пример искажения учения Христа, достаточно вспомнить толкование монахами притчи Господней, что будто бы девственники приносят плод в 100, вдовцы в 60, а женатые только в тридцать.

Когда христианский мир, ослепленный идеей бессеменного зачатия, начал строить церковь, то кто же из мира, кроме монахов, принимал участие в ее строительстве? Исключительно благодаря их вине мир остался за оградой христианского спасения. Это правда ежедневная наших будней, очевидная. Спросите любого нашего крестьянина, в поте лица своего обрабатывающего землю, надеется ли он своим трудом достигнуть спасения. И вам крестьянин ответит, что этим нельзя спастись, что для спасения нужно бросить землю и уйти в монастырь. И еще пример: почему существует столько подобных печатных руководств для спасения в монастыре и совершенно не существует никаких наставлений для спасения внутри семьи? Потому что молчаливо признается церковью единственно средство спасения: оставить мир и уйти в монастырь.

Мир поправлен монахами. И, конечно, они, а никто другой, являются виновниками современных бед нашей мирской, семейной и общественной жизни. Все мы так или иначе бессознательно или сознательно пропитаны монашеским учением и оттого, спустя рукава, устраиваем свою жизнь на земле. Только мало-помалу поправленный в своих правах мир начинает сознавать свою покинутость и предъявлять свои права к церкви. И наоборот, духовные лица начинают идти в свою очередь навстречу миру. Так образовались два нынешние потока в религиозном движении: от церкви к миру и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
от мира к церкви.

Одним из первых лиц у нас, задавшихся идеей низвести благодать Христову на все мирское, во все стороны, слои и уголки нашей обычной мирской, личной, семейной и общественной жизни, главным образом семейной, был у нас архимандрит Феодор Бухарев. В то время (в половине XIX в.) мысль эта была еще настолько нова, что митрополит Филарет смотрел с недоумением на взгляды Бухарева. За свои идеи он пострадал и, в конце концов, был лишен сана и умер нищим мирянином. Ввести семью в круг спасительной жизни была главная задача Бухарева. Соловьев распространил эту мысль на государственность и общественность, Неплюев на все виды труда. Протопресвитер Янышев и проф. Гусев признавали равенство девства и супружества для спасения, а примкнувшие к их взглядам тридцать два священника, известные под именем «общества церковного обновления», имели одной из задач предоставление епископского сана женатым священникам.

Одновременно с этим потоком из церкви к миру всем известен другой поток: от мира к церкви: славянофилы, Достоевский, К. Леонтьев, Вл. Соловьев и другие писатели, имена которых хорошо известны всем. А в последнее время явился еще интересный писатель В. Розанов, прозванный духовными сферами язычником, кощунственным, проповедником разврата. Розанов до того, однако, со своим «язычеством» близок к существу общего движения среди белого духовенства, что как бы прямо говорит устами их самих, и, может быть, слова его понимаются священниками лучше, чем им самим. Не язычник Розанов, а христианин, поскольку мы веруем в отца. Защищая отчество и материнство, он не выходит из пределов христианства – вот тут-то и есть весь секрет. Не Ветхий Завет он защищает, а христианство, которое, по словам своего Божественного Основателя, ни йоты не должно изменить в Ветхом Завете, первая заповедь которого: «Раститесь и множитесь и наследите землю». Розанов только о том и говорит, что заповедь эта входит в ограду спасения не отпетая, не похороненная. Он защищает христианскую же мысль, но забытую и оставшуюся в тени, и достает ее из праха забвения из старинных сундуков. И вот-то дивится ей сам! а другие отрекаются от того, что он в христианском же сундуке нашел: святая семья! Не язычник Розанов, а христианин под осенением отца. Он взял идею отчества, понес ее и по уши погряз в идее Отца, был поглощен и вопил поглощенный, что не в отставке Отец, не за штатом по преклонности лет.

Ведь нас трижды опускали в купель, а не один раз во имя только Сына; на деле же выходит, будто мы крестимся только во имя Сына. Были в истории секты, учившие, что Сын меньше Отца, но не было таких сект, где бы Отец был меньше Сына. Вот Розанов и вступает в противоборство в отношении 2-го лица Св. Троицы, и нет в этом ничего удивительного: он выступает воинственно, но не враждебно, как выступают воины на людей чужой страны воинственно, но не чувствуя личной вражды. Выступает Розанов в защиту идеи униженной, попранной и, в конце концов, воюет не с Христом, а с маской Христовой.

Дело в том, что христианство есть синтез Ветхого и Нового Завета, сумма органическая и нераздельная. Не Сам ли божественный основатель сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, а исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

Христианство есть триединое по образу и подобию равных и равнозначных между собою трех лиц Пресвятой Троицы. Но Промыслом Божиим в истории человечества там и тут подчеркивалось особенное проявление, преобладание одного из этих лиц. Так, Рим с авторитетом папы скорее отображает первое лицо Троицы; Византия, где процветали науки, искусства, – второе лицо, а протестантство во всех своих видах – третье лицо св. Троицы, потому что оно нашло в себе силу отвергнуть авторитет, как творческий дух вообще на известной ступени не нуждается уже больше в подмостках: „Где Дух святой, там свобода“.

Промыслом Божиим в истории человечества сказалось особенное действие того или другого лица Св. Троицы. Византийское христианство, разделенное с Римом, пришло на Русь, и, казалось бы, что Русь должна была усвоить это враждебное чувство к Риму. Но посмотрите на русского человека, он меньше, чем к чему-либо враждебен, как к человеку другой веры, стоит на войне только прекратиться враждебным действиям, как русский братается с турками, французами, немцами. Природа русского человека наиболее терпимая из всех других христианских народностей Европы, и, может быть, именно здесь, в России, должно начаться осуществление идеи Триединого Христианства как свободного, по требованию совести, синтеза

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru католичества, православия и протестантства, как трех совершенно равных и равночестных между собою исповеданий, по образу и подобию равных и равночестных между собою трех лиц пресвятой Троицы.

Было время, когда идея поклонения только Сыну была принесена на Русь, в Киев, из Византии, и вот начинают тогда строить на Руси храмы, посвященные св. Софии. Последующая Киевскому периоду история Московская показывает, что идея второго лица Софии-премудрости не была понята: Софию приняли за Матерь Божию, и вот начинается в Московский период строительство храмов Богородице (исключения только подтверждают правило). Третий период русской истории начинается неслыханным и единственным в христианской истории действием. Император Петр I бежит из Москвы и строит на новой земле храм Пресв. Троицы. С основанием этого храма, первый раз за 17 веков существования христианства было составлено русским священником величание Св. Троицы. И раньше пелось величание, но в нем выделялось опять-таки второе лицо: „Величаем Тя, живодавче Христе, и чтем всесвятого Духа Твоего, Его же от Отца послал еси божественным учеником Твоим“. Таково было прежнее величание. Ныне в память Полтавской победы составляют и первый раз поют в Троицком соборе: „Величаем Тебя, Триипостасный Боже!“ Так Петр I провиденциально положил идею триединого христианства и с него начинается нынешнее движение внутри русской церкви».

Вот что приблизительно говорил мне о. Спиридон в своем деревянном домике за долгими вечерними беседами.

<Рецензия>: С. Дурьлин. Церковь невидимого града (Сказание о граде Китеже) Книгоиздательство «Путь». М., 1913

Руководящая мысль автора этой небольшой, но содержательной книжечки состоит в том, что современное интеллигентное общество в своем служении церкви принимает ее видимую часть за целое. На это «сбиваются роковым образом все рассуждения Толстого, Мережковского и русской интеллигенции». Народная душа, наоборот, если видит несовершенство в земной церкви, находит себе утешение в церкви небесной, невидимой: так создалось сказание о граде невидимом Китеже. Мысль эта совсем не новая, но вышитая на узоре необыкновенно поэтического сказания о невидимом граде Китеже и притом очень заботливо, искренне и талантливо, увлекает. Жаль только, что автор мало анализирует факт, почему же Толстой и другие именно «роковым» образом смотрят на церковь видимую. И что без этих роковых писаний современного человека может дать факт народного устремления в церковь невидимую? Как странно, что никто из писавших о Светлом озере и граде Китеже не останавливается на моменте безысходной мрачности своих впечатлений. В самом деле, отбросим на мгновение поэтическую этнографию Китежа и перенесемся в другой край. Совершенно та же апокалипсическая легенда о низ-ходящем граде, совершенно та же религиозная психология людей, и вот мы что видим в одном уголке Кавказа: десятки лет священным долотом и священным топориком люди долбят каменную гору, веруя, что град, украшенный аметистами и топазами, низ-шел в эту гору. Не то ли и в Китеже:

– Старушка, ветхая, сморщенная, лезет ползком к коряге, подле овражка, и что-то тычет туда, за корягу, в валкий, провалистый мох, образующий что-то вроде отдушины.

– Бабушка, что ты?

– Пообносились угоднички-то. Ризы ветхие, холстинки им сунула. Не прогневались бы!

Тихо плескалась вода...

Отбросьте эстетику умиления автора – получится дыра Кавказа: представьте роковую душу интеллигента, потомка этой старушки, ищущего видимую церковь на земле, – и будет трагедия, и с нею смысл.

Отклики жизни (Желтый город)

Мы ехали посмотреть один, судя по объявлению, очень выгодно продающийся дом на окраине Петербурга, в этом многоверстном кольце деревянных строений, охватывающем каменный город. Казалось, что расчет наш был точный и разумный: вместо того, чтобы платить тысячу вестей рублей ежегодно за квартиру в пять комнат в казенном доме, купить дом в деревянном и расходовать деньги для себя, а

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru не для домовладельца; и потом какое же сравнение воздуха в части каменной и деревянной, а проезд каких-нибудь лишних двадцать минут – пустяки. Самое же главное – не выгода материальная, а простор душе. Приятель мой, чиновник Министерства народного просвещения, сохранил от своих предков стремление обзавестись собственным домиком и жить в нем независимо, как жил его дедушка, дьякон в Лебедяни, полвека тому назад. Портрет этого старика возле бревенчатого мещанского домика с палисадником висит у чиновника на видном месте. Не раз в мечтах о прошлом приятель мой снимал эту лебедянскую фотографию и, глядя на нее и представляя родной город, приходил в умиление: душу свою он сравнивал с душой Лебедяни, как у Роденбаха сравнивается это в «Мертвом Брюгге». С трудом выносил я эти признания: во-первых, душу героя сопоставлять с городом в России невозможно, просто нет этого у нас, а потом какая же в Лебедяни душа? Но приятель мой страдал разными болезнями, ему хотелось покоя физического, – я не спорил и с удовольствием поехал с ним покупать идиллический домик в деревянном Петербурге, будто бы похожем на Лебедянь.

Теперь в большой моде в Петербурге разглядывать различные архитектурные сооружения прошлого времени: раньше Петербург считался очень скучным и некрасивым городом, теперь его только что открыли. Я лично могу понимать красоту городских архитектурных сооружений только по книгам, когда они там отдельно от других строений и жизни улицы прекрасно воспроизведены на блестящей бумаге. А так все боишься, как бы не попасть под трамвай, и решительно ничего не видишь. В этом смысле благодаря многим вновь изданным книгам я вполне присоединяюсь ко всеобщему мнению, что Петербург вновь открыт. И в этот раз, проезжая Дворцовую набережную, мы с приятелем любовались дворцами, только чувствовали, как скучно в этих роскошных строениях, и с душевным трепетом ожидали простых деревянных Лебедянских домов. Скоро они и начались, желтые домики в охре. Погода была превосходная, мы сошли с извозчика и решили пройти две-три версты до желанного домика пешком. Несколько времени шлось очень хорошо, но потом желтое стало утомлять глаз.

Мне кажется, что архитекторы вообще совсем еще не научились ценить окраску домов: все у них лишь линии, но почему же не краски? Сколько раз я останавливался на красоте форм какого-нибудь дома только благодаря тому, что рядом был некрасивый, но подходящим образом окрашенный дом. Теперь же в деревянном городе вокруг нас была одна только охра, мы шли по какому-то кошмарному желтому городу. На улицах никого не было. Два хулигана, сипло бася, попросили у нас «ради Христа». Пристала чужая, очень ласковая собака. А главное, – что все было желтое в ярком солнечном свете.

Трудно передать, что мы увидели, когда пересекли всю толщу желтого города: там речка с черной водой и бабы белье полощут, фабричные трубы, болотные кочки и перелески, заборы, капуста. Это была помойная яма огромного города, и тут где-то мы разыскали наш дешевый домик. Он был, конечно, желтого цвета и довольно большой, со множеством отдельных квартирок. В переднюю часть коридора выходили двери квартир, в задней – одна к одной двери от необходимых мест с замочками; все невыразимо смердило и оканчивалось помойной ямой. Вся местность была здесь как помойная яма. Дым серой птицей с огромными крыльями висел над большим каменным городом. Там что-то варилось, сюда лилось... Мы бежали скорее-скорее по желтому городу туда, под темные крылья каменного...

Ежегодно пятьдесят тысяч нового населения, прибывающего в Петербург, вытесняют людей из желтого города, и они бегут, как мы, неминуемо к центру, под серые крылья. Вот почему такой ужасающий рост цен на жилища, такая переполненность города, такая строительная горячка, такая борьба, движение и мечта о дедушке-дьяконе в лебедянском деревянном домике с палисадником. Недавно я узнал, что есть на свете какие-то города-сады и что в Петербурге даже организовалось Общество городов-садов. Я подумал, что это какое-нибудь новое Общество петербургских мечтателей, и поехал смотреть чудаков. И мне пришлось встретиться с совершенно для меня новой породой мечты, которая меня сейчас очень увлекает: мечта людей не деревенских, как мой приятель, а выросших на камне, людей чисто городских, мечтающих о новом городе. Показывали диапозитивы этого нового города, устроенного где-то в Англии «по системе Гоурда». Перед нами была типичная картина средневекового скученного города, но окруженного не желтым кольцом деревянных строений, как у нас, а полями и рощами. В новом городе скученность домиков куда больше, чем у нас в самом тесном дачном поселке: один дом тесно примыкает к другому, и по улице нет ни одного дерева. Сады скрываются за домами, приходятся как раз на месте наших помойных ям, и такой величины, чтобы один

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru чиновник мог сам обработать лопатой, т. е. пять-десять квадратных сажень. Все подлинно сельское возмущается в душе, когда видишь эти диапозитивы с квадратами в несколько сажень для каждого чиновника, но в том-то и дело, что это не сельская расплывчатая мечта о дьяконе, а строгая умственная мечта горожанина. Сколько думал тут человек над планировкой улиц, над этой паучиной сетью, окружающей центральный парк! Оказывается, все эти наши широкие петербургские улицы – совершенно непроизводительная трата пространства и труда на мощение. Нужен только один проездовой путь, и вовсе не нужно остальных улиц мостить целиком. Мостовая только, чтобы двум разъехаться, остальная часть – под газоном. Тогда не нужно и разбирать мостовую для прокладки водопроводных труб и проводов: все это – под газоном. Есть и фабрики, и настоящие улицы, но все это на своем месте. Главное, что отличает мечту о новом городе от сельской мечты, это – не подчинение стихии, а господство над ней; сельская мечта оканчивается помойной ямой, городская – квадратами линий по белой бумаге.

Мой взгляд, что совершенно бесплодной мечты не бывает: при известной ловкости ее всегда можно бывает превратить в денежное и даже весьма полезное дело. Так случилось и с мечтой о городе-садике. Пусть эти квадратики – недостижимый идеал, но посмотрите, что наворотилось вокруг этой затеи. Прежде всего, ясно стало, что жить в таком квадратике можно только с товарищами, которым можно доверяться и положиться на них. Значит, необходима кооперация; новый город строится на кооперативных началах. И если главный принцип нового города – кооперация, то почему бы с идеей нового города не обратиться в старый и строиться тут на кооперативных началах?

– К сожалению, идея эта уже испорчена, – говорит оратор садов-огородов.

Идея кооперативного строительства домов превратилась в спекуляцию на «постоянные квартиры», т. е. в использование не чувства общности, а мещанского чувства самоличной собственности.

Но причем же тут самая мечта? Почему бы не обратиться с мечтой о садах-огородах к этому кошмарному желтому городу, окружающему каменный?

Слушая необыкновенно даровитого оратора и, должно быть, очень хорошего человека, я мысленно переделывал ужасающий желтый город в город-сад; со мною в той же комнате переделывали пять-шесть солидных господ и три седых старушки – члены этого чрезвычайно интересного общества.

Обрадованная Россия

Теперь, когда мир поправил все законы христианской культуры, где-то в глуши Новгородской губернии долетают до моего слуха такие слова:

– Слава Тебе, Господи, вся Россия обрадована, воистину Христос воскрес!

Изумленный этими словами, спрашиваю крестьянина, в чем дело, чем обрадована Россия.

– Казенку закрыли, – ответил крестьянин серьезно.

Перекрестился и прибавил:

– Все стали как красные девушки, воистину Христос воскрес.

Эти слова увели мою мысль далеко в историю кабаков, из которых выходила всякая бунтовщицкая, разбойничья голь вплоть до последних нынешних хулиганов. Я рассеянно спросил крестьянина:

– Куда же пьяницы делись?

– Оделись, ваше благородие, их теперь не узнаешь, человек вошел в свой вид.

И указал мне на рабочего, занятого прессованием сена:

– Вот они тоже были этим занявши.

Я подошел к рабочему, прессующему сено.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Простите, – сказал он, – мы люди слабонервные, нас к вину тянет сила.

– Магнит.

Он пояснил мне удивительное свойство силы «магнит» из одного человека делать двух: самый смиренный на свете – один человек и самый буйный на свете – другой человек, а сила-магнит делает так, что самый смиренный делается самым буйным. Вот он теперь две недели не пьет, зарабатывает в день полтора рубля, оделся, обулся, пришел в человеческий вид.

я спросил бывшего пьяницу, почему же раньше он не пробовал записаться где-нибудь у священника, дать обещание.

– Не могу, – ответил он, – считаю это за грех, вроде хотя бы за рыцарство.

Что такое рыцарство, он мне тут же и объяснил: это когда человек входит в сделку с Богом, остается, например, человеку и жить-то, может быть, всего год, а он обещается три года вина не пить: «рыцарство», когда человек Бога испытывает.

Еще больше удивила меня на днях встреча с одним стариком: человек он крайне правый, но вечно зол на начальство, повторял всему и каждому на тысячу ладов, что начальство у нас – немцы и поляки; в случае войны этот старик всегда пророчил беду. Теперь я встретил его и говорю:

– Вот вы говорили, а смотрите, как дружно поднялся народ.

– Слава Тебе, Господи, – перекрестился он, – видел я, как шли, и уж, признаюсь, всплакнул.

– Как же раньше вы говорили?

– А раньше было другое, теперь казенку закрыли.

Вот опять: там смирение христианское является будто бы после закрытия казенки, тут умный и прямо мудрый старик объясняет взрыв патриотических чувств закрытием казенки. Все это наивно и грубо, но так убедительно.

А вот еще из обрадованной России: вот я приезжаю в знакомый трактир, заказываю себе чай, меня окружают толпой крестьяне, мещане, прасолы и подают лист бумаги.

– Пиши, – говорят.

Вся эта гурьба людей просит меня в резких словах написать Государю прошение, чтобы закрыть казенку на все время войны.

Объясняю, что война требует больших денег, что доходы поступают с вина.

– Знаем. Пиши, что вместо вина жертвуем по пяти рублей с головы.

Я был уверен, что, скажи я одно слово, и они принесут деньги, и они были уверены, что вся Россия принесет – как один человек принесет – деньги.

– Не лучше ли подоходный налог? – спросил я.

– Так нельзя, – ответили они, – могут обидеться, скажут, не в свое дело суешься, а то так просто, что готовы по пяти рублей с души вместо вина. А когда кончатся деньги, опять по пяти и еще.

– Пока не одюжим врага...

Провинциальные картинки

I. Возле раненых

Первое, что меня так поразило в Петрограде во время военных событий, это – мгновенное исчезновение хулиганов: в последнее время их было такое множество, что картина быта от их исчезновения существенно изменилась. А в провинциальном родном, богатом купеческом городе меня так же поразило исчезновение черносотенцев. Куда они тоже исчезли?

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Я пошел искать их прежде всего на собрании гласных городской Думы, из которых значительно больше половины было черносотенцев. Один из первых вопросов заседания был выбор старшего главного на место прежнего, безнадежно потерявшегося за границей. Мне назвали кандидата умеренно-прогрессивной партии, а черносотенца не могли назвать, потому что будто бы черносотенцы держат это в большой тайне. Наступает время выборов, и все почти единогласно выбирают прогрессивного человека Николая Николаевича; а у черносотенцев никакого кандидата не было, и потом по всему ходу собрания оказывается, что нет и черносотенцев: все действуют дружно и заодно.

Исчезли хулиганы, исчезли черносотенцы, исчез всякий сор. Всем известно это угнетающее чувство провинциального сора, выметаемого на улицу, теперь ничего этого нет, и родной городок выступает в благородных чертах.

Несколько дней тому назад привезли к нам давно с волнением ожидаемых раненых. Мне рассказывал председатель Красного Креста, что известие о прибытии раненых он сообщил на ходу, так кое-кому; и этого было совершенно достаточно: шестьдесят прекрасных купеческих пролеток явилось на вокзал, – приходилось чуть ли не по целой пролетке на каждого раненого, – и потом было столько внимания, столько любовного усердия.

– Этого мы и не стоим, – говорили солдаты.

Зная, как трудно находить помещение в столицах, я спрашиваю: Почему так много в Москву, почему не сюда, в провинцию, к этим людям, поистине жаждущим этого дела?

При подсчете раненых оказалось – одного не хватает; я после узнал от солдат, что он сошел потихоньку где-то возле своей деревни; побудет и вернется, а побывать ему непременно нужно. Еще я видел двух солдат без тех пальцев, которыми спускается курок ружья: почему бы этих солдат, сделав им необходимое, прямо не отправляют на родину? Есть даже не раненые, а просто больные, случайно попавшие в строй; они тоже лежат у нас, а где-то в Малороссии, наверно, ходят их родные в город и ловят каждое слово о войне: не услышат ли чего о своих?

Богатый купец, – из тех, которые в обычное время питают какой-то инстинктивный страх к интеллигенции, – узнав, что я пишу, предоставляет теперь мне свой кабинет в лазарете. Я – в роскошном помещении, предназначенном для богадельни; хожу от одной койки к другой, спускаюсь вниз покурить вместе с легко ранеными, возвращаюсь в кабинет и везде встречаюсь с бегущим в деловых хлопотах о раненых, слышшим когда-то за главного черносотенца хозяином. И так ясно становится, что черносотенец – не весь человек, а дух, случайно на нем почивающий.

Ни одна книга о войне не расскажет того, что узнаешь от солдат, внимательно расспрашивая каждого, как и где он получил свою рану. Вся нынешняя война – больше в ямках: выкопает себе ямку и лежит.

– Налево была кукуруза, направо горела деревня, впереди, вижу, далеко человек выскочил и опять закопался; жду, когда он выскочит... Что-то прогудело и хлопнуло; покосился туда: человек сидит без головы, а впереди опять выскочил во весь рост человек и пропал; я опять покосился на соседа и подумал: сколько у человека крови!

В этих ямках от человека требуется страшно много внимания, о страхе думать некогда, нет страха вовсе, и потом он совсем исчезает, так что многие из этих солдат совершенно спокойно ждут возвращения в бой.

Меня остановил рассказ о сражении в роще, где все перепутались:

– Смотришь из-за дерева, – кто там за другим, свои или чужой? Свой – перебегаешь, чужой – пхнешь.

А глаза у рассказчика – добрейшие, и он же, много раз «пхнувший штыком» врага в лесу, рассказывает, как очутился раненым рядом с австрийским офицером: оказалось, вражеский офицер по-русски хорошо говорит и крест на нем – православный. Солдат и спрашивает: «Почему же офицер против своих же сражается?» Офицер будто бы и отвечает: «Что и рад бы не стрелять, да сзади немцы, нарочно в первую линию ставят; не станешь стрелять, они тебя сзади убьют».

И вообще много об австрийцах говорят хорошего, вражда совсем не переходит в чувство личное: тот, личный враг, им представляется где-то на прусском фронте:

– Те – сурьезнее!

II. Железный враг

Главная улица моего родного города, где живет много богатых купцов, два раза в день теперь одевается, утром в красное, вечером в зеленое: красное – утренние телеграммы в руках жителей, зеленое – вечерние.

Город читает, деревня слушает и глубоко переживает услышанное, украшая его собственным творчеством. Я появляюсь то там, то здесь, стараясь в тяжелый момент увидеть подлинные черты лица своей родины. Раз я приехал в город, купил телеграммы и узнал о несчастье на прусской границе; я рассказал об этом кучеру, он перекрестился и, помолчав, спросил:

– Откуда у него такая сила?

Я ответил, что враг наш железный, и вкратце передал историю нашего железного врага. Не знаю, что пережил в этот день кучер; вечером ехали мы с ним молча, кругом были необозримые поля черноземной России, где-то далеко на чистой полосе горизонта, под нависшей тучей, стояли два мужика: один, вероятно, шел из города и рассказывал встречному о несчастье...

Бог знает, что тут думалось в сумраке, но только я вдруг сказал решительно:

– Глеб, а все-таки мы победим!

– Бог знает, – ответил он, как мне показалось, поправляя меня.

Так все теперь отвечают в России, когда скажешь слишком решительно: «Мы победим; я успел уже полюбить эту поправку на голую железную волю и смутно слышу в ней силу, большую, чем железный закон».

Спустя немного, я сказал еще кучеру, что и немцы – христиане.

– Я знаю, – ответил он, – только мы христиане простые, а они христиане косвенные.

– Как?!

– Так что они косвенные: немец вперед знает, а я вперед знать не могу; у нас просто живут, а немец придет, посмотрит на меня и определит, кто я и на что я ему годен, он вперед знает, что из меня выйдет.

Все темнело и темнело в поле, потом луна взошла очень большая и полная, но при несчастье двери к природе закрыты: луна и земля были сами по себе, а железный человек шел сам по себе прямо на нас, и было так страшно думать, что ему все известно вперед, на что мы с Глебом годны и что из нас выйдет.

Я пропустил один мировой день в деревне и вот с волнением подъезжаю к городу. Что-то белеется на фонарных столбах; этого раньше не было, что это? Остановившись и читаем объявление городского головы: он приглашает почтительно обратиться в церковь и помолиться по случаю дарованной нам победы. Поразило это меня, что победа нам дарована, от волнения совершенно не думал, где это, на каком фронте, как это могло случиться: дарована победа, и нет железного человека, он не придет, не определит, на что я годен ему.

Потом побежали мальчишки с красными телеграммами, возле одного собралась большая толпа, и в толпе, я видел, робко протискивалась простая деревенская женщина, я видел, как она колебалась, нужно ли ей тоже покупать телеграмму; все великое мировое событие этой неграмотной женщиной понимается одним чувством утраты своего близкого, и вот я вижу, как она подает кому-то прочесть свой листок, слушает, крестится, плачет и радуется, что железный враг побежден. И словно кто нож вынул из сердца: с каким любовным вниманием смотрели мы, уезжая из города, на табун прекрасных наших грачей, на свежие весенние всходы озими. Только все это скоро прошло, железный враг показался в новых очертаниях: где-то во Франции,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
и Глеб на мое «Победим» опять низменно ответил: – Бог знает.

На братскую линию

I. Птицы

Побывал я на местах недавних сражений, видел, как теперь там по теплым местам сеют хлеб, и слышал, как говорят нам, приедем, вместо нашего «здравствуйте» – «слава Богу».

Двигаясь все ближе к братской линии, видел я поля, покрытые большими ямами от бризантных снарядов, теперь залитыми водой; однажды все поле было покрыто озерами, словно большими глазами. Тут люди еще не пахали землю, а только, бродя между озерами, собирали картошку и звали к нам: «Соли, соли!» – места соляного голода. Так, пробираясь по этим местам все дальше и дальше, я достиг, наконец, братской линии и увидел, наконец, в ямках живых людей с ружьями в руках. Здесь я останавливаюсь и начинаю рассказывать с самого начала, как я попал на братскую линию и что мне тут показалось.

Волочиск – пограничная станция. Тут уже был маленький бой. За лесом на болоте здесь стоит первый крестик братской могилы. Взорванная водокачка, таможня, множество остатков пострадавших от взрыва товаров.

В этом местечке я очень мучился в поисках пропуска в Галицию, потерял много времени, и спутники мне сказали потом, что «Волочиск волочит».

У меня было письмо к коменданту Волочиска от одной влиятельной особы, я был уверен, что меня пропустят в Львов по железной дороге. Но даже не распечатав письма, комендант мне сказал:

– За пропуском? Невозможно!

Прочел, смягчился немного и все-таки повторил, что невозможно. Это был прапорщик запаса, бывший учитель гимназии, филолог. Мало-помалу мы с ним разговорились о его деле, как он, филолог, вдруг погрузился в железнодорожное дело и все на свете забыл и помнит только, что когда-то давно-давно рыбу удил, и было там все голубое позади...

В комендантскую стали приходиться различные просители; я сел в сторонку и думал: «Как мне быть?»

В комнату приходили все больше за пропуском люди, не знавшие о запрещении движения по железной дороге, каждому нужно было вновь объяснять, и я видел, как филолог все больше и больше сердился.

Жена львовского пристава особенно долго объяснялась:

– Вы знаете, как дорого мясо во Львове, невысказанно жить, невысказанно жить!

Она приехала сюда, в Волочиск, и посылала отсюда мужу кондуктором дешевые бифштексы, теперь соскучилась, хочет к мужу.

Батюшка объяснил, что приехал по просьбе людей высокопоставленных к русским людям, освобожденным от иноземного ига.

Околоточный, в полной форме, при всех документах, объяснял, что ищет места во Львове, что во Львове большая нужда в полиции.

Потом, все прибывая и прибывая, приходили разные подрядчики, маркитанты и люди разных профессий: турок ехал бузю открывать, бессарабец – ресторан, кто с мукой, кто с табаком, кто с чаем-сахаром и теплой одеждой. Бог знает откуда и с чем только не являлись люди, – как вороны, когда где-нибудь у берега вытряхнешь из сумки лишнюю пищу, и вороны, раньше невидимые, возникают в воздухе темными точками, летают, кричат, хватают, дерутся...

Филолог был совершенно измучен, как вдруг среди этой толпы явился совершенно серый хохол, даже с кнутом в руке.

– Цибулю везу!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Сразу повеселело, комендант даже поинтересовался, куда хохол цибулю везет.

– В Новую Россию!

И рассказал, как он отсеялся, отпахался, взял насыпал воз цибули и поехал в Новую Россию смотреть город Львов.

– На лошади едешь, на лошади можно! – сказал комендант.

– На лошади можно? Не поехать ли на лошади?

Так мы пришли к соглашению ехать на лошадях. До Львова никто не соглашался везти нас: у извозчиков был какой-то страх перед Львовою, главное, боялись почему-то, что из Львова не выпустят. Наняли до Тарнополя и поехали. За нами поехали хохол с цибулей, молдаванин-ресторатор, турок с халвою, всякие маркитанты, впереди тоже ехали с мукой, с табаком.

Подволочиск – на другой стороне пограничной речки, в Австрии. Речка направо широкая – пруд мельницы, налево ручеек и в нем удильщики, как будто и не было войны, удят рыбу. Наш столб, австрийский столб, сломленная рогатка, и мы в завоеванной и, может быть, даже в освобожденной стране. Сожженные дома, разбитые снарядами стены, следы пуль на стенах – странно, почти радостно смотреть на стены, пробитые пулями, ищешь следы пуль глазами и, не находя их иногда, с презрением отвертываешься от уцелевшей стены. Хочется, чтобы все больше и больше было следов разрушения, чтобы ярче и ярче разгорался пожар – начало того чувства тяги на войну, что неминуемо приведет в самый бой!

В Подволочиске у этого коменданта мы должны были взять пропуск, как говорили нам, пустая формальность: всем дают, кроме ворон. Но этапный уехал куда-то на весь день, и пропуск давал пристав в полицейском участке. Сказали, что в ратуше полицейский участок, и мы сразу нашли его все по тем маркитантам: они все прибывали и прибывали, располагаясь возле ратуши со своими подводами.

В самой ратуше, ставшей полицейским участком, сидели два писаря, один местный инженер, другой служащий на фабрике жестяных этикеток. Давно прошло назначенное время для пропусков, но пристав не являлся. Больше всего сердился околоточный, и мы посмеивались над принцем в роли нищего. Никто не осмеливался сходить к нему на дом, народу все прибывало и прибывало. В комнате было накурено, невероятно душно, на душе безнадежно и страшно, у меня было предчувствие, что опять не пропустят нас. Из окна было видно, как по улицам, пустым и разрушенным, бродили группы евреев, по случаю праздника «кучки» (кущи) одевших особые единообразные с меховой оторочкой шапки, с длинными пейсами, мрачные от перенесенного несчастья, совсем какие-то особенные люди.

– Фанатики! – сказал наш околоточный.

И потом прибавил:

– Хасиды и цадики.

После, в дороге меня не раз бесил самоуверенный тон околоточного. Это было только начало. Я просил объяснить его, что такое хасиды и цадики.

– Просто фанатики – отвечал околоточный и смотрел на эти интересные фигуры людей с явным отвращением.

Писарь-инженер вмешался в наш разговор и долго рассказывал о положении евреев в Галиции; мне показалось интересным, что, по словам инженера, образованная часть еврейства больше, чем в России, разрывает связь с стариками, и потому здесь действительно между стариками много фанатиков.

– Хасиды и цадики! – твердил околоточный. И так мы были до вечера. Народу, подвод собралось бесчисленное множество, и вот вся эта толпа дрогнула.

– Идет!

Наверно, кто-нибудь его очень рассердил. Даже у околоточного, просматривая документы о свободном проезде по всей России, он придрался:

– Не сказано: по Галиции.

– Галиция – тоже Россия, – ответил околоточный твердо. Но, главное, испортил дело подрядчик. Он вздумал напомнить начальству, что день его стоит двести рублей, он потерял день и подводку.

– А у вас есть свидетельство о неподсудности? Свидетельства не оказалось, пропуск подрядчик не получил.

– Следующий.

Но околоточный не хочет ехать без нас, а мы еще можем попытаться у этапного.

И опять мы едем назад в Волочиск и приговариваем:

– Волочиск волочит.

За большим столом на вокзале обедают сестры милосердия, хорошие сестры, строгие лица, словно монахини, и между ними усы, огромные, добрые военные усы и хлыстик на плече.

– Велите написать в канцелярии пропуска – скорей!

С болью в сердце видел я, как наш почтенный старик-подрядчик бегом бежал в канцелярию.

Потом усатый комендант махнул хлыстиком и подписал всем своим чернильным карандашом, и все сестры видели, как у него это красиво выходило.

– Я всегда чернильным карандашом подписываю, – сказал он сестрам, – скорей.

Мы ночевали в грязной деревушке Фридриховке возле Волочиска. Плохо, тревожно спалось, возникали подробности виденного за день, вспоминалось, что в сожженном Подволочиске почти вовсе нет собак – куда они делись? Там, на войне?

Утром догнали мы обозы, узнали хохла с цыбулею, бессарабца желтого, турка с халвой и множество других маркитантов и увидели новое множество их. Быть может, невидимыми воздушными путями вместе с нами летели на войну и хищные птицы. Смотрю на дорогу, покрытую обозами, на поля и думаю о птицах, вспоминаю...

Еще в самом начале войны по земской дороге ехала со мной старая акушерка с волосатой бородавкой на щеке. Возле дороги стояли карликовые сосны. Я сказал акушерке:

– Сосны, будто игрушечные.

– Это не сосны, это ели. Сосны не растут на болоте.

А уж это было вернее верного, что сосны. Я сказал опять, что сосны это.

– Сосна не растет на болоте! – строго и окончательно отрезала акушерка.

Немного спустя наша лошадь остановилась, ямщик посвистел, помолчал, еще посвистел, нет: лошадь не затем остановилась.

– Уморилась! – сказал я.

– Нет, не уморилась, – ответила акушерка, – теперь все лошади останавливаются: война.

Кучер согласился с акушеркой. Я спросил:

– Может быть, их мобилизация напугала?

– Всегда во время войны лошади останавливаются, – отрезала акушерка.

Я вдруг понял моих спутников, это они так по-своему переживали далекую страшную

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru войну, это они так передавали свои глубокие, щемящие чувства. А вокруг были все болота, мелкие сосны и ни одной птицы.

– Ни одной птицы! – сказал я вслух.

– Птицы? Что захотели! Птицы теперь на войне.

– Вороны улетели! – сказал кучер, – вороны, ястреба, сорочье всякое...

– Все улетело!

Неправда, я потом это проследил, вороны все были на своих местах. Но что-то глубоко щемящее запало в душу, когда говорили о птицах.

Помню, въехал в Москву после большого сражения, привезли множество раненых в горах. Я въехал в Москву и чувствую, что не та Москва. Извозчик стал мне рассказывать о раненых, какие они, откуда, и долго-долго рассказывал о раненых и про войну и после всего сказал:

– А что там птиц!

И как дошел до птиц, так зарыдал. Все ужасное о человеке не могло пробить у него слезы, как дошел до птиц – зарыдал.

Сердце раскрывается в каких-то странных образах: какие-то странные чувства животных – лошади останавливаются; какие-то странные птицы – за тысячу верст чувт войну.

Я теперь вижу их на полях сражения, это обыкновенные птицы, обыкновенные хищники, жалкие, голодные бродят по полям, и вместе с ними бродят люди, выкапывают себе картошку, и я тоже вместе с ними высматриваю себе там ямки окопов, там обойму, там ранец, там крестик над неведомой могилой.

II. Бой махорки с консервами

До Тирасполя почти никаких видимых следов войны. Выходят хорошие озими, такой добрый, густой чернозем, едешь себе спокойно, будто в родную деревню к матушке в Орловской губернии.

– Как спокойна душа, когда пропуск в кармане, – сказал мой спутник околоточный.

– И Бог с ним, со днем, – ответил подрядчик, – зато сегодня погода хорошая, посмотрели исторические места.

– Места...

Околоточный встрепенулся:

– Ну и что же, проеду, посмотрю, а может, и место выйдет.

Дорога удивительная, у нас, может быть, только в Крыму есть такие дороги, и ни малейших следов от прохода войск, так что нет-нет и подумаешь, что войско здесь вовсе не шло. Таким детски-наивным кажется мне теперь это внимание к мелочам после виденных окопов с живыми людьми. Благодаря этому вниманию я, однако, разглядел довольно любопытное явление. В канавках, сопровождающих дорогу, я замечал иногда банки из-под австрийских консервов, иногда в очень большом количестве, и тут же часто виделись бумажки от махорочных пачек; это значило, что австрийцы шли тут и русские шли и даже можно сказать, что махорка преследовала консервы. Я обратил на это внимание моих спутников; заинтересованные, они всматривались теперь так же внимательно, как я, и время от времени восклицали:

– Консервы!

– Махорка!

Конечно, это было не так часто, но тем сильнее было впечатление, когда мы вновь и вновь открывали, что махорка не отстаёт, махорка неустанно преследует банки.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Время от времени нас отвлекали только от этого интересного наблюдения католические фигуры святых, расставленные по бокам дороги. Некрасивые фигуры, но очень уж заметные.

В окнах домиков нас встречали иконы, выставленные с верой, что война благополучно минует. Когда иконы и фигуры миновали, мы опять глазами в дорожные канавы, и опять время от времени радовались:

– Консервы!

– Махорка!

Первые окопы мы увидели на горке только уж перед самым Тарнополем, тут же были и первые полевые могилки, благодаря близости города убранные живыми цветами. В городе при въезде были разрушенные казармы; несколько обстрелянных домов, а потом опять ничего, город как город. И только уж всматриваясь в дома, начинаешь замечать, что эти спущенные занавески не поднимаются, что розы в садиках цветут без хозяев, для себя самих.

На базаре нам встретила надпись «Первая русская лавка», и тут же стоял первый наш русский городовой. Он отдал честь нашему околоточному, произошла сердечная встреча и почти дружеский разговор. Вопросы наши были: кто градоначальником, кто уездным начальником, кто приставом? А кто в Львове? А Петров здесь?

– Точно так, ваше благородие, Петров здесь. Это было почему-то очень важно, околоточный повеселел, и нам стало как-то на душе хорошо: если Петров здесь, то мы как у себя.

– Все-таки свой брат полицейский, – поделился с нами радостно околоточный.

С помощью этого городового мы нашли какого-то австрийского городового, и тот повел наших куда-то в манеж, где стояли подводы русинов. Хорошо, что не пошел туда, может быть, я не решился бы насмерть перепуганного старика-русина принуждать ехать во Львов. Тут война прошла, теперь война там, где-то во Львове, и ехать во Львов отсюда им казалось все равно, что ехать на верную смерть. В ожидании своих спутников я бродил по бульвару, разглядывал в витринах фотографии прежних жителей Тарнополя: сколько тут было счастливых парочек – что с ними случилось теперь? Дома пустые, на лицах в беспорядочном движении какая-то еврейская беднота. Иногда посмотришь в лицо, и в ответ вдруг снимают шляпу... Как-то очень неловко, я поскорее зашел в ресторан гостиницы, где мы остановились, и тут застал своих спутников, – все устроено, за четыре рубля в сутки старый русин везет нас на паре в одной телеге до самого Львова.

В тот день мы успели доехать только до Зборова, места становились волнистее, чернозем жиже, по-прежнему время от времени мы замечали движение махорки вслед за консервами, но опять-таки ничего похожего на картинное поле сражения не было.

С нашим стариком русином в первый раз я заговорил так: где-то вправо виднелось большое селение, все сиявшее на солнце новыми железными крышами; я спросил старика, как называется это селение, и он, посмотрев, ответил мне:

– Пид бляхою.

Это значило, что селение крыто железом, а названия он не знал, но в этом ответе «пид бляхою», в этом взгляде робком и чуть-чуть лукавом было что-то бесконечно знакомое, словом, я сразу почувствовал, что это был, действительно, русский мужик.

– Понимаешь по-русски? – удивился я.

– По-русски розумею – я русский, – отвечает он, – по-российски нит...

И так было дальше: я нигде, никогда не слышал этого неправильного прилагательного «русинский».

Не зная совсем малороссийского языка, я все-таки хорошо понял все, что он мне рассказывал: как у него австрийцы взяли детей на войну, что у него мало земли, что он очень боится ехать в Львов.

После от сведущих людей я узнал, что мы ехали по «мазепинским» местам, что эти места не дают ни малейшего понятия о действительной преданности ожидаемой, желанной России – и я сам потом встречал этой преданности живые свидетельства. Но и то, что встретил на первых порах даже в «мазепинском» краю, меня поразило: так охотно, так просто беседовал со мной этот мазепинец, почти нигде не было войск, даже разъездов, патрулей, и везде было так, будто едешь по родной земле, способной нести крест татарского и всякого ига.

Ночевали мы ужасно, где-то в каморке, около лошадиного стойла, пахло навозом, пробовали печь затопить, стало пахнуть печью и потом еще Бог знает чем. Измученный, я решился уже лучше отворить дверь прямо в лошадиное стойло, отворил и вижу: в лунном сиянии сидит наш старик на телеге, видно, как сел с вечера, так и сидит, видно, что бесконечно взволнован этой поездкой в страшный Львов, никогда им не виданный, и думает теперь об одном – поскорее бы добраться туда и выбраться.

Он очень просит меня теперь же ехать:

– Пане, місяц світит так ясно, так...

Он сказал одно непонятное слово, я попросил его повторить: как светит месяц? – спросил я.

– Так файно! – ответил он.

Я успел сообразить, что это сделано из немецкого «fein».

– Рад бы сам ехать, – ответил я, – да наши паны спят так крепко, так файно!

Остальную часть ночи я спал и не спал, я участвовал в каком-то огромном сражении слов. Мне чудилось, что эта война слов ничуть не менее страшная, чем там на братской линии, только эта война незаметна. Потом в битве приняли участие иконы, фигуры, перстосложенья, поклоны, цветочки на свечах... Мне казалось этой ночью, что всегда была и есть война во всякой повседневности, только невидная. Меня очень заняла эта ночная мысль о повседневном существе войны, и я не расставался с ней до самой братской линии.

После этой ночи, после этого сна все изменилось в нашем путешествии, и вся дальнейшая поездка мне вспоминается как сон со все нарастающими и нарастающими образами. Мы ехали теперь дальше по местам сражений за обладание столицей Галиции, от Злочева к Подгайцам и потом к Гнилой Липе.

Горы становились все выше, местами я чувствовал себя почти как в судакской долине. Помню, где-то меня очень пленила одна деревушка: вишни, каштаны, тополя и липы, бывшие когда-то в садиках, размножились, вышли из своих загородок, сошлись в один роскошный парк, и в этом парке очутились, как гости, белые, крытые соломой мазанки нашего точного малороссийского образца. Где-то высоко на горке виднелась деревянная двухкупольная униатская церковь, такая же прекрасная, как наши северные деревянные церкви.

Мы то спускались, то долго поднимались в гору, стараясь обогнать бесконечные обозы, и когда достигали вершины подъема, то открывался новый и гораздо больший подъем.

И по мере того как дорога становилась труднее, возле в канавах все больше и больше виднелось трупов лошадей, замученных в обозах, павших в пути. Я помню одного жеребенка, брошенного на погибель: стоит неподвижно возле зелени с полузакрытыми глазами, покачивается и опять стоит по-прежнему с одной подогнутой ногой; мы почти час спускались и поднимались, когда поднялись наверх, я посмотрел: он лежал, вытянув ноги, пал. Потом я это и после замечал, что лошадей как-то очень уж жалко, а для людей не находишь этого чувства, для людей совсем другое чувство, и я о нем теперь как-то даже ничего не сумел бы сказать: большое чувство.

Мы поднялись высоко, но еще много, много выше налево была часовня: я потом спрашивал офицеров, бывших в этом бою, о часовне, и они мне живо отвечали: «Да, да, часовня была!» Часовня – как небольшой древнегреческий храм с колоннами, но

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru с куполом. Другие холмы налево были покрыты желтеющими лесами, направо внизу была необъятная долина с лесами, садами, селами, церквами униатскими и костелами.

Попадались русские окопы, русские, вероятно, отсюда наступали, возле окопов были ямы от австрийских бризантных снарядов, здесь начинался бой. Хотя мы очень спешили, но все-таки в одном месте не удержались от любопытства, вышли посмотреть окопы. Тут один старичок нам рассказал, что вон из того леса выехал австрийский офицер, а из того вышел русский солдат. Офицер выхватил револьвер: бац, бац, бац – много раз выстрелил. А солдат стал на колени, приложился и сразу убил офицера. И сразу выскочило много русских солдат и погнало из леса австрийцев.

Мы спросили, кто же подобрал потом того убитого офицера. Русин ответил, что закопали, только некогда было, плохо закопали: мантиль виден.

И повел нас показывать мантиль; он виднелся, действительно, уголком из земли, и тут же крестик стоял в поларшина высотой из тонких прутиков. Как хорошо бы теперь кому-нибудь проехать по этим местам с специальной целью восстановить памятники этих одиноких и братских могил...

Потом мы проезжали фольварк, попавший под ружейный и артиллерийский огонь, сад был весь белый, как в снегу, от бумаг. Очень мне хотелось порыться в этих архивах, но спутники мои очень торопились, я успел разглядеть один только листок, и то на нем было написано: «Waagen».

Мы видели, где установилась наша артиллерия, как постепенно приближались наши окопы к неприятельским позициям, история борьбы махорки с консервами тут развертывалась с захватывающим интересом. Хорошо, что мне случилось поведать это все, не слышав еще ни одного настоящего выстрела, а то бы совсем было не интересно: после живой братской линии прошлое не интересует.

Мы видели по ямкам от снарядов, где наша теперь уже бесспорно славная артиллерия нащупывала австрийцев, поняли, что называется перелет и недолет, какие ямы делает граната и шрапнель, полевой и тяжелый снаряд. Видели места перевязочных пунктов, покрытых окровавленной марлей и ватой, видели братские могилы в кукурузе и как одна малюсенькая девочка, становясь на могилу, доставала себе кукурузу. Я спросил эту девочку, знает ли она, что тут похоронены люди, и сколько их тут.

– Богато! – ответила девочка.

Мы видели раньше поля, покрытые уже довольно высокой озимью, потом, где сеяли. Здесь еще не оправились от сражения, здесь просто массами люди бродили по полям, выкапывали себе где картошку, где капусту, тут же в полях что-то глодали собаки и клевали вороны.

С одного холма мы вдруг увидели, что впереди нас движется целое войско казаков, движется очень медленно, и нам неминуемо придется его обогнать. Русин наш вдруг остановил лошадей.

– Война! – сказал он с ужасом.

Он уже вообразил себе, что мы догнали войну. Уговорили ехать, догнали войско. Опять останавливается.

– Дурак! – сказал околоточный.

Я понимаю, почему он рассердился: вероятно, он тоже чуть-чуть побаивался, можно ли так просто взять, да и обогнать войско.

Казачьи сами даже без предупреждения охотно сторонились и давали нам вправо, но как раз, когда они сторонились, наш околоточный кричал нашему старику громко:

– Вправо!

И русин в ответ неизменно восклицал:

– Вишти, вишти!

И сворачивал влево, именно туда, куда сторонились казаки.

Весь мокрый от гнева, околоточный обертывался к нам и говорил:

– Ну какой же осел, ну какие же они дураки, ох какие... Вправо, вправо, дурак!

И старик сворачивал в самое лево, в самую пушу казаков, я удивлялся их терпению, мучился каждую минуту невыразимо, что кому-нибудь это, наконец, надоест, и он хлестнет старика нагайкой.

Но казаки ехали невозмутимо, страдали только старик, околоточный и я за старика. По некоторым отдельным замечаниям, словам, выражению лица я был убежден, что старик вовсе не дурак, напротив, очень умный, и тонкий, и ловкий, я очень удивлялся, почему же происходит такая невообразимая каша. И вдруг мне вспомнилось, что за границей обыкновенно при встрече сворачивают не вправо, как у нас, а влево. Старик воспитался на этом, в страхе от вида войск и от окрика он и сворачивал туда, куда ему подсказывал весь опыт его длинной и, может быть, праведной жизни. Тогда, сообразив это все, я ласково сказал старику:

– У вас «вишта» сюда, а у нас в эту сторону, – и показал ему раз десять пальцем вправо: – русски сюда, – говорю, – а российски сюда.

Он сразу понял, и сразу все пошло в ход, и мы, и казаки, и скоро мы их обехали. Тут я объяснил околоточному, в чем дело. По упрямству своему и по невозможности представления свертывать влево, он не соглашался; но я тут же ему и доказал. Кто-то спускался с горы на возу и, увидев казаков, от страха лег ничком в телегу и пустил лошадь на произвол судьбы.

– Посмотрите, что лошадь сама свернет влево, – сказал я.

И действительно, лошадь свернула влево, в самую гущу казаков, и произошло Бог знает что.

Это был мой первый удачный опыт хорошего влияния на околоточного, и я чрезвычайно горжусь им.

Когда дело объяснилось, все мы повеселели и посмеялись, и старик ожил: казаки оказались вовсе не такие страшные люди.

Смеркалось. Лошади шли слабо. Но стоило нам только сказать кучеру:

– Війско доганят!

– Вію, вью! – кричал старик.

И лошади снова трусили. Вовсе стемнело, и звезды показались, когда приехали, наконец, в несчастные Подгайцы.

Стены, пробитые снарядами и заткнутые мешками с соломой, стены, усеянные пулями, стены черные, разрушенные, обгорелые, и сквозь них мелькают небесные звездочки. Мелькнул и один живой, человеческий огонек. Мы заехали сюда покормить лошадей. Пожилая женщина, печальная, встретила нас, провела в хату. Пусто было в хате, и только много, много висело кругленьких образков, все Божией Матери. Мы спросили женщину, что она тут пережила, какой тут был бой.

– Наигорчайший бой! – ответила женщина.

Показала на стену, пробитую пулями:

– Як настрекало!

Дрались тут семь дней. Стало попадать в хату. Выкопали землянки. Вдруг австрийцы бегут и кричат:

– Heraus, heraus!

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Бросились за австрийцами.

– Війско текало, мы текали за війском.

Пришли в какую-то деревушку, и опять войско текало, и опять русские.

– Мы в Перемышляны, и опять русские, и опять наше війско текало, мы бочком, бочком, в ліс и к русским.

– И так вернулись домой?

– Всі на свое повертают, – вздохнула женщина. – да ниц немают.

Она мало жалуется на войска, ей главное досадно на своих же односельчан: кто не убежал за войском, выходил из своих земляных ям и грабил своих же.

– Австрийцев уже нит? – спросила женщина.

– Что австрийцы, – сказали мои спутники, – вот поскорее бы немцев одолеть, немцы сильнее.

– Житье у них липше, вот и сильнее, – ответила женщина.

Прощаясь, наши сказали:

– У русского царя вам будет хорошо!

– Дай Боже, пане, пане, нам жить все одно, тилько спокой, тилько спокой!

Дальше дома этой несчастной деревни были вовсе разрушены: отступая, австрийцы, не жалея, стреляли по своей же деревне; при свете звезд в полной тишине эти пахнущие гарью развалины щемили душу невыразимо. В этих черных развалинах я поднял какую-то белую записочку, сунул в жилет, и, вспомнив теперь пережитое, нашел ее у себя, – вот что в ней написано:

«Катерина Грималавска маэ честь повідомити, що вінчанэ її доньки Катерини з паном Максимом Стасишином в церквѣ парахіяльній в Підгайчиках».

Очень я просил своих спутников переночевать в Подгайцах, чтобы днем все видеть, как дальше была война за обладание столицей Галиции, но они очень спешили, и мы поехали ночью во Львов.

Это было 1 октября, ночь была ярко-звездная, прямо перед нами, куда шла война, была на небе около Медведицы комета.

Пережитое за день переносилось теперь в темные поля, и чего-чего там не казалось, в этих черных полях.

Мало-помалу я стал разглядывать тьму и увидел по обеим сторонам дороги, в канавах, черные ямки, одна возле другой, бесконечным рядом на версту, на другую. Потом оказалось, что мы все смотрели на эти черные ряды и думали об одном же, но боялись вслух сказать, принимая за свое воображение. Наконец, я говорю своим спутникам:

– Да ведь это же все окопы!

– На минуту мы остановились, я пошел к левой канаве, что-то звякнуло у меня под ногой, посмотрел: коробка из-под консервов.

– Австрийские окопы!

– Махорка! – ответили мне с другой стороны.

И сразу все стало понятно: австрийцы отступили к дороге на Львов и окопались в дорожной канаве, потом их выбили из окопов, и русские заняли их позиции на этой же самой дороге, только в противоположной канаве – теперь эти норы австрийские и русские были разделены только дорогой.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Ночью время идет иначе, чем днем, я не могу определить даже приблизительно, сколько времени тянулись эти окопы, но пока они тянулись, я душой был здесь, в Галиции, когда они кончились и комета ушла куда-то вправо, за войной, к Гнилой Липе, я вдруг почувствовал, что Львов взят, и как будто поехал домой, ехал из города в деревню, спешил поскорее привезти своим телеграмму Верховного Главнокомандующего о том, что Львов взят.

Отзвуки боя

I. После грозы

...теперь весь загружен: садишься на извозчика и не очень веришь, что проберешься между обозами. Так и случилось: по одну сторону почему-то остановился обоз с фуражом, по другую повозки с мебелью и всякой рухлядью все еще выезжающих жителей, а под шумок лошади беженцев воруют казенное сено. Вокруг везде – серые фигуры военных, большинство которых только что вернулись с поля сражения. С виду все эти фигуры, части такого громадного целого, что всякого возьмет оторопь подойти к ним и о чем-нибудь расспрашивать, но это только так кажется. Стоит любого из них спросить о моменте решительной встречи с неприятелем, как на лице спрошенного появляется какая-то детская улыбка, и начинается рассказ о пережитом, как будто призывающий и вас к совместной думе о том, что это значит. Я видел в лазаретах людей, умирающих в страшных мучениях от столбняка. Сознание их не покидало, ответы на вопросы врачей они давали, но голос их слышался, казалось, из самой глубины, – голос заточенного, замуравленного где-то в недрах самой преисподней. И вот даже у таких людей при вопросе о моменте решительной встречи появлялось на лице что-то похожее на усилие улыбнуться такой же застенчивой, детской улыбкой. Вот этот свет какого-то далекого, несмелого вопроса тайной нитью соединяет эти грубые фигуры людей, наполнивших город.

Теперь уже кончено смертельное напряжение, нам теперь ясно, что враг спешит отступить, но видно по лицам, что человек еще живет тем особенным светом, – не жестокости, как можно бы ожидать, а отречения. Да и эти серые, грубые шинели связывались где-то в моем представлении с черными рясами отречения.

Фонарики зрения у них такие маленькие, поражают простотой их попытки рассказать, что с ними было. За день я слышал множество рассказов и записываю их вечером в том порядке, как они мне припоминаются.

II. Рассказ о серой лошади

Маленький этапный прапорщик смотрел с улыбкой, как лошади беженцев воровали казенное сено. Я подошел к нему и спросил что-нибудь рассказать о себе во время отступления из Пруссии.

– Я в обозе, я не воевал.

– Что-нибудь из обозного.

Прапорщик стал рассказывать о какой-то серой лошади с человеческими глазами. Отступали в порядке так, как и было об этом написано, но все-таки нужно было спешить. Приводят казаки серую лошадь, прекрасную, а ноги отчего-то не разгибаются – упрется и стоит. Окрутили ноги соломой – не идет, били кнутом, ничего не выходит – стоит. А нужно нам двигаться непременно, – не стоять же из-за лошади. Прапорщик уже приставил ей к уху револьвер, а она тут и посмотрела на него человеческими глазами. Пожалел, разломали одну польскую повозку, уложили и повезли. Сколько перенес неприятностей из-за нее от этапного, а вот все не может прикончить, думает – выздоровеет. Прибыли на место, у нее начались судороги.

– Черт знает, какая баба! – сказал боевой старый капитан с клюквенным носом. – Вы были обязаны ее прикончить!

– А вот не мог!

– Попадись мне и человек такой, я бы облегчил.

– Неужто бы облегчили?

– Спросил бы, как он желает, конечно, а потом бы и облегчил. Прапорщик выразительно посмотрел на меня и ничего не сказал капитану. Я спросил прапорщика, кем он был в мирное время.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
– Бухгалтером.

III. Немецкая сумочка переметная

– Спрашиваете, как себя чувствуешь, когда потеряешь связь? Очень скверно себя чувствуешь. Выслали из... обоз на север, а мы тоже на север впереди едем; про обоз ничего не слышали. Видим: немцы свернули на запад, а обоз – прямо на немцев. Вот немцы увидели нас – за нами, догонят нас, а обоз идет за немцами. Дорога шоссейная, рядом – простая, мы – по шоссейной, немцы – по простой; по обеим сторонам дороги – леса; ни им, ни нам развернуться нельзя. Едем близехонько: мы – впереди, за нами – немцы, за немцами – наш обоз. Под вечер видим впереди, на дороге, стоит большая 42-х-сантиметровая пуговица. Подошли мы к ней... Ну, что сделаешь? Митюхи поглядели, покачали хоботом, видим, не взять ее никакой силой, – бросили, отошли и оглядываемся: что немцы с ней делать станут? Вечерело; наши Митюхи сигарки курят, глядят, а у тех – фонарики. Бились-бились, восьмерку лошадей запрягли – не берет. Потом стали вбок забирать, в лес; все и ушли, а та штука осталась. Видим: немцы ушли, мы – ночевать, а утром и наш обоз подошел – опять оглядывать пушку. Поглядели-поглядели и бросили. Так она и потеперь стоит там одна, и никому не взять: выдумали тетку больше себя.

Я спросил, почему же немцы ушли.

– Дали дрелимона, – сказал капитан. Сыграли Дрейфуса.

IV. Могила-дорога

На этом фронте мне ново было встретиться с каким-то особенным отношением наших солдат к германцам: наступление колоннами, заведомо обреченными на полное истребление, вызывает, с одной стороны, большое уважение, а с другой – чувство, похожее на то, когда хорошему охотнику приходится стрелять в сидячую птицу. Теперь давно уже нет тайного страха перед наступающим на нашу землю железным механизмом: механизм часто ломается целыми частями, из-под него показывается человек, и это вызывает то новое для меня на этом фронте отношение к «немцу». Мне рассказывал артиллерийский офицер, как он выехал из своего «кабинета» посмотреть действие наших снарядов за высотой 103, – батарею, стрелявшую по невидимой цели. Вот увидели действие пулеметного и ружейного огня на колонну: целая колонна германцев лежит на дороге почти в полном боевом порядке. Приехали в деревню, куда был направлен огонь всех батарей.

Деревня вся сгорела дотла; везде валяются оторванные конечности, а самих тел нигде нет; объехали всю деревню кругом – нигде нет убитых и нет могил. В роще обратили внимание на широкую полосу, похожую на дорогу, – не тут ли? Покопались и... да, эта проведенная машиной дорога была громадной могилой; машина провела ров аршина полтора глубиной; положили тела, засыпали, прогнали войско, и могила стала дорогой.

Отзвуки войны

Власть и пахари

Ничего нет наивнее и хуже, как в наше время скрывать что-то от народа. Хуже ничего нет, потому что сам же народ больше всяких властей его хочет победы, наивнее ничего нет, потому что как ни малограмотен народ, но в такое время все становятся как бы грамотными. Как будто можно бросить камень в пруд и запретить воде волноваться.

Живу я в довольно глухом месте, нарочно посылаю в город три раза в неделю, и все-таки, если что-нибудь совершается выдающееся, большей частью узнаю я от кого-нибудь из местных малограмотных людей. Так вот и в этот раз чуть ли не раньше газет узнал я от простых мужиков про события возле Государственной думы.

Понятие, выбранное парламентской историей и произнесенное теперь у нас, вызвало из недр простого народа широкий отклик совести. И еще бы не вызвать, когда каждый, самый даже темный крестьянин, понимает, что не армия виновата, а внутренность, снабжающая армию. Можно себе представить, какое впечатление на простой народ на почве больной «внутренности» вызвало известие о министерстве общественного доверия. Ответственное министерство в народе называется просто «ответственностью». Спросишь говорящего об ответственности, кто и перед кем должен отвечать.

Ответят – сподручники.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Так называется правительство.

И на вопрос, перед кем отвечают сподручники, говорят:

– Перед Государем, народом и Думой.

Иногда прибавят, что Государственный Совет – это лишнее, от него только путаница.

Иногда кроме сподручников называют хищников-купцов, всех, кто наживается на несчастье войны, а то даже назовут какое-нибудь лицо, более других виноватое в недостаточном снабжении армии. Странно бывает послушать, как этот народ, мирный и малосведущий в истории, начинает теперь по-своему обсуждать понятия, выработанные историей других народов.

Первую весть об этой «ответственности» занес мне Хорь. Мне уж не раз приходилось писать здесь, что у меня есть сосед-хуторянин, тот самый не умирающий тургеневский Хорь, который в противоположность самому углубленному Калинычу, занят вопросами общности.

– В Думе заявили ответственность, – сказал Хорь. И сейчас же добавил: Теперь ему пощады не будет. «Его» Хорь назвал по имени, главного виновника в недостаточном снабжении армия.

– ... вовсе Россия, – продолжал Хорь, – но, может быть, теперь будет у нас настоящая власть.

– Какая же это будет власть? – спросил я.

– Административная, – ответил Хорь.

Конечно, я был поражен: в другое время кто же больше Хоря этого бранил нашу административную власть, слушая его беспощадную критику, можно было считать его за отчаянного революционера, говори он свои речи не на своем уединенном хуторе, а в селе, так давно бы ему в кутузке сидеть, и тут вдруг этот же Хорь понимает ответственное министерство как торжество административной власти.

– Что эти суды и пересуды, – говорит Хорь, – таскался я много лет по судам, нам нужна власть твердая, короткая, неукоснительная и справедливая.

– Может быть, такая божественная власть?

– Божественная власть, конечно, такая, только до Бога далеко, а у нас на земле власть административная.

Понятно было одно, что это не та наша обыкновенная власть, а новая, идеальная, – пахарь взалкал по хорошей власти.

Я залюбовался клеверным полем:

– Какая благодать!

– Благодать-то благодать, – усмехнулся Хорь, – да недалеко уйдешь с такой благодатью.

Он хотел сказать, что нет ничего лучше клевера, да вот приходится оберегать его.

– Народ не может оберегать себя, – сказал Хорь, – народ этого не любит и не может. Нужна власть. Наше правительство слабое: не знает времени. Правительству нужно время знать. Теперь время такое, что каждого нужно выслушать, понять, исполнить, что желает народ. Время сейчас народное. А вот дай, перейдет срок, и он опять всунется к полям, замолчит: пожалейте тогда, делайте, что хотите, ваше от вас не ушло и не уйдет во веки веков, потому что народ власть не любит. Ихнее от них не уйдет.

– Вернется народ в поля, – сказал я, – опять произвол?

– И опять произвол, а потом опять чистка.

- И так до скончания века, одно и то же?
- До скончания века, до последнего Страшного Суда.
- А потом?
- Потом так и останется: власти больше не будет, и народ будет сам, последние будут первыми, а первые в огонь. Только до того времени далеко, сейчас народ без власти не может.

Так вот и в самых глухих местах по-своему разговаривают о всем, что пишут в газетах, разговаривают грамотные и неграмотные, время такое, что все тайное становится явным.

Православный с загулочей улицы
Покидаю литературные конюшни и с котомкой странника отправляюсь смотреть, как собирается Русь для встречи врага.

Как все изменилось! Прошлый год в это же самое время я ехал по этой же самой реке Мете на ее единственном пароходике. Купчик в каюте второго класса хвастался перед барыней, только что благополучно убежавшей из Германии:

- У нас всего много!
- А у них даже соль десять пфеннингов.
- У нас две копейки.
- Мясо у них...
- Мясо у нас объяснено.
- Мука...
- Мука объяснена.

Купчик не давал барыне высказаться: масло, крупа, дрова – всего теперь много в России, и все теперь «объяснено» губернатором.

Теперь этот купчик молчит. Я слышал, как его в третьем классе допекали мужики, что вот, когда у мужиков не было хлеба, он продавал муку по 2 р. 40 к. за пуд, а теперь у мужиков он покупает по рублю.

Купчик больше не хвалится. А барыня в трауре: потеряла на войне близкого человека. Барыня полупешотом исповедуется, видимо, совсем незнакомой ей женщине купеческого звания:

- Всякий, даже каторжный труд я взяла бы как милость Божью, лишь бы не это одиночество. Думала раньше: дом, хозяйство, садик любимый – это уж при мне на всю жизнь, а теперь на все смотреть не могу...
- А все-таки жизнь ваша легкая! – неожиданно ответила вдове женщина купеческого звания:

- Как?

И обе женщины, как два государства враждебных перед войной, жутко молчат...

По-прежнему в это время докашивается на лиманах сено, а на гористых лесах – жнут женщины рожь. Но только радость свою, очи свои прекрасные закрыла теперь мать-пустыня; жнут и косят люди так, чтобы насытиться.

Я выхожу на берег, присоединяюсь к детям, спрашиваю ребят:

- Грибы или ягоды?
- Пробки! – отвечают мальчики.

Они пробки собирают: у заливных берегов реки осели пробки; множество деревушек на берегу реки, в деревушках годовые праздники, и сколько бутылок выпивалось прошлый год, столько пробок оставил весенний разлив на берегу. Множество пробок, у одного мальчика их целая пирамида.

В шалаше у знакомого Алексея Васильевича, разговаривая о пробках, мы оба радуемся, что нет на Руси больше пьянства, а когда вечером стало холодно, перед едой Алексей Василия неожиданно воскликнул:

– Вот бы по стаканчику!

И так пожелал, будто выпил, и, уже выпивший, стал душевно рассказывать:

– Побывал в Петрограде, подивился: пьют какую-то ханьжу. Спрашиваю, как делается. – А просто, говорят, смешай горячий спирт с квасом, вот и будет ханьжа. Перед праздником говорю себе: «Олешка, ты чем хуже других?» – и купил, еще купил себе большую газетину: Выпью, думаю, и почитаю; завернул бутылку в газетину... шишки еловые! хорошо! Налил спирту в стакан по нижнее пятнышко, квасом долил, выпил – что за диво! Напиток, говорили, дерзкий и опасный, а действия нет. Налил еще спирту по среднее пятнышко, половину за половину квасом налил, выпил – ничего! В третий раз наливаю по верхнее пятнышко, сижу, дожидаясь – ничего, будто квасу напился. Газетину смотрю... шишки еловые! в газетине большими буквами напечатано: «Конец Европу!». Слава тебе, Господи! и даже перекрестился. Конец врагу Европу, дерзкому, матушка Русь одолела лукавого злодея. Читаю..

Алексей Васильевич вдруг переменяет свой веселый шуточный тон:

– ... читаю, а черти клещами за слова, черт знает что бормочу, похолодел даже: вот она какая ханьжа, вот она куда бьет! Входит Яков Макарыч. «Угости!» – говорит. – «Сделай милость», – отвечаю. Выпил он раз и два. «Почитай теперь!» – говорю. Читает, а я хохотать, и он хохотать. Щечкочут нос черти, бормочем слова, как при столпотворении вавилонском. С тех пор закаялся пить ханьжу, самое это последнее дело; тому это пить, кто уж и родителей не почитает.

И долго нехорошими словами честил Алексей Василии ханьжу. Я спросил про газету.

– Цела! – ответил он, – вот, почитай.

Беру газету и читаю «Конец Европы»:

«Национальное сознание и национализм – явление XIX века. Кристаллизуются национальные государства. Национальные движения XIX века противоположны универсальному духу средних веков, которыми владели идеи всемирной теократии и всемирной империи и которые не знали национализма».

– Вот тебе и конец Европу, – смеется веселый Василеч, – ну, дальше!

– Национализм есть партикуляризм; империализм есть универсализм.

– А не знаете ли вы этого человека, вот кто писал это? – спрашивает мой слушатель.

– Знаю, человек православный.

– Вот и я думал тоже: православный он человек, только, видно, как и мы с тобой, православный с загуляевой улицы.

Наше чтение слушали и в соседней палатке. Когда мы улеглись на сене и замолчали, я слышал:

– Хитрый человек, Библию знает!

– Библию знает-то – хитрый? Ничего ты не понимаешь! Хитрый человек – это кто изобретает полезное, а Библию знает-то – проходимец.

– Проходимец, а сыт.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Ну, так что: завернут ему в бумагу селедочный хвост, возьмет эту бумагу, напишет, а ему за это деньги.

– А может быть, он профессор?

– Профессор того хуже: еще что наколдует.

С котомкой странника и фельетоном Бердяева «Конец Европы» возвращаюсь я назад в свою литературную конюшню. Бедные люди открывают мне глаза на бедность нашего богатого ученого слова. Красным карандашом я подчеркиваю иностранные слова фельетона очень распространенной газеты, весь лист становится красным. Потом я нахожу другой фельетон «Конец интеллигентского сознания» и подчеркиваю: «Сознание нашей интеллигенции не хотело знать истории как конкретной метафизической реальности и ценности. Оно всегда оперировало отвлеченными категориями социализма, этики и догматики, подчиняя историческую конкретность отвлеченно социологическим, моральным или романтическим схемам».

Дела и случаи

Письмо первое. О том, как у нас мостовую украли и правду купеческую у нас мостовую украли. Стоя на посту по ночам, городской перетащил камушек за камушком к себе мостовую и уложил ее на дворе своего собственного дома. Бог бы с ней, с этой мостовой...

но эта мостовая странным образом связана со старой купеческой правдой родного мне города. И узнал-то я об этой мостовой случайно во время размышления о толстовской эпопее войны. Сажу я в своей комнате, стараясь припомнить места, где был великий писатель, коснулся этого огромного дела – снабжения питанием армии и вообще придавал бы исключительное значение этой жизни в тылу с точки зрения Марфиного дела. Или тогда было время другое, или эти вопросы не занимали писателя?

Мне вспоминается виденное при поездке на фронт: все эти человечки, занятые делом снабжения, эти огромные обозы, вся эта тыловая гуща и потом в заключение тоненькая полоска стрелков, лежащих в окопах, – эта полоска передовой войны только при первом впечатлении заставляет забыть про все огромное, необъятное тело врага. Но теперь я живо чувствую здесь, как солдат на позициях его – врага нашего, и так мне становится нехорошо, будто я уже им завоеван, и все мы здесь им, в тылу, минуя фронт, завоеваны.

В это время по улице, залитой светом провинциальной луны, проходит таинственный человек и тишину города заполняет ласкающими, мирными, такими детско-наивными звуками. Мне казалось, что тысячи лет прошло с тех пор, как я слушал колотушку нашего уездного города, тысячу лет я провел где-то в напрасных исканиях и не знал, что разгадка всего заключается в этой некогда слышанной и никогда не виданной колотушки.

При звуках этой колотушки все преобразилось в оценке тех маленьких, жалких людей, я их жалел и прощал, потому что они не знали, что делали.

Под звуки тысячелетней колотушки выхожу на улицу родного, дремлющего под звездами города. Как и тысячу лет тому назад, выходя из этого домика, боюсь, что наткнусь на камень – большой, неуклюжий камень лежал на улице, все ругались, его объезжали, обходили, спотыкались и так из поколения в поколение вырабатывалось особое чувство боязни этого камня, без этого чувства я не мог бы выйти на улицу в старое время и теперь я его вновь переживаю, боязливо ищу этот камень. И вот камня этого теперь я больше не вижу! Неестественным, невозможным кажется мне, чтобы камень этот как-нибудь уничтожили: камень очень большой, и если бы взяли за камень, то исчезла бы колотушка, загорелось бы электричество. Может быть, я заблудился, не та улица? Нет! Тысячелетнее чувство не обманет, ноги сами нащупывают то место, где был камень, ровное, мощеное место, камень исчез, как нос в повести Гоголя.

Напротив места, где был камень, – только я не верю, что его нет где-нибудь, как и тысячу лет тому назад, стоит славный купеческий дом, остаток тех времен, когда каждый крупный купеческий дом был банкирской конторой. В то время нельзя было нажиться, как теперь, случайное обогащение тогда носило характер естественный, казалось, что обогатился человек потому, что на широком гужевом пути из Украины ручей бежал, Богом созданный под мельницы. Под тяжелой аркой естественно

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
возникшего огромного дома у мельницы сохранилась еще лампада, на дворе я до мельчайших подробностей помню все многочисленные объемистые склады, всякие кладовые, чуланы – целое отдельное хозяйство, как феодальный замок. Одно маленькое окошко с железной решеткой, как в тюрьме, выходит на двор – тайная комната, где старик деньги считал. Это тайное дело, а на улицу – лавочка, где старик любил отдыхать. Бывало, приходит к лавочке мещанин, шапку снимет, просит пятьсот рублей, едет на Украину пшеницу покупать.

– А когда отдашь?

– Сами знаете, будут деньги – отдам!

Другой придет под баранов просить, третий так, из процентов.

– Что с тебя взять, пять или шесть? Ну, черт с тобой, бери за пять.

Ни векселей, ни расписок и даже записей: все держал старик в памяти, все дело было построено на совести. Удивительно легко вместе с векселем разрушился этот мир патриархальных отношений, основанный на доверии!

Глубоким старцем выходил еще на лавочку Николай Иванович, мы, бывало, высказывали ему, что торговля есть тот же обман. Серьезно смотрел он на нас, раздумывал и отвечал настойчиво:

– Тайна, а не обман.

Однажды, когда вся патриархальная жизнь была только воспоминанием, когда уже давно в городе были банки, присел я на лавочку, и старик указал мне на большой, неуклюжий камень, торчавший из мостовой.

– Вот этот камень объезжают, – говорил старик, – обходят, ругают, а камень все лежит. Что в нем пользы, для чего он лежит и мешает? Вот так и правда на свете.

Каинова легенда преследовала этих новых людей – кулаков, объезжающих камень-правду: это с тех пор стали говорить в народе, что за всяким торговцем, за спиной всякого капитала лежит преступление. Раньше купечество жило миром, теперь в одиночку, а Каин был одинок.

Дворянству давали собрания, всякие милости, а Каина клеймили презрением, и он черствел и мельчал, распляясь все больше и больше. Государство наше не признавало Каина, и вдруг теперь, во время мировой войны, предъявило к нему требование как к государственному, организованному сословию, запросило его о Минине!

В прежние времена на всем сословии лежала черта бережливости, в наше время на все это уездное купечество легла тень скаредной скупости. А этого нет и не должно быть в изначальном купечестве, скупость – это сознательное ограничение способностей, угашение духа: человек не рискует, а сидит и режет купоны. Даже странно припомнить жизнь этого начального купечества в нашем городе. Тут был дом одного коренного купца, выстроенный знаменитым Растрелли. Не где-нибудь в Москве, где связь – хранилище культуры поддерживалась между купцами борьбой за старую веру, а здесь, в этом уездном городе, православный купец дожил до Растрелли! Он прожился, как многие в переходное время, он не был мотом и прожигателем жизни. Но странно, что потом в короткое время дом переменял много владельцев – в этом доме все проживались! И вот один, последний владелец, посмотрел на дом суеверными глазами: велел срыть дом до основания и сложить из кирпича обыкновенный купеческий дом окаянного типа, из дерева срубить сараи и стойла. Стоит теперь на месте прежнего замка Растрелли окаянный купеческий дом, огромный, пустой. Выходит из него по вечерам одинокий старикашка посидеть на лавочке. Он – один и занимает в доме всего только две комнатки, а когда выходит на лавочку, любит засветить весь свой дом – представляется ли ему через это, будто он соединяется с большой родней?

– Чудак! – объясняют прохожие.

И они такие люди все у нас чудаки, чудаки – люди с общественно нераскрытыми силами.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Многое вспомнилось мне во время этого странствования по улицам родного города, при звуках тысячеконечной колотушки. В конце концов я вернулся опять к тому самому месту, где некогда торчал из земли камень-правда, я опять остановился на этом месте и тут встретил знакомого. Не сразу мы заговорили о камне, связанном со старой купеческой правдой.

– Все на козла, все на козла, говорит мой новый собеседник, – чем виноват козел?...

О власти мой собеседник философствует по-своему. Я забыл его образные выражения...

– Потому нет и Минина, – рассуждает мой собеседник. – У нас наживаются молча, а проживаются с шумом. Как ежели заговорил человек про гражданственность, стало быть, он проживается, у него нет ничего и никто уже не ценит его слова. Минин же говорил и не проживался, не от скудости, а от полноты говорил, – вот в чем секрет!

Тяжело это слушать, когда враг у ворот: что же дальше, неужели нет выхода? Приходим в мою комнату, молча смотрим в темный угол комнаты, где видится всадник на белом коне, – голова у дракона злая, маленькая, копье у Георгия тоненькое, а тело чудовища преогромное...

Я спросил собеседника, думал ли он о том, какая связь между геройскими делами на фронте, тех настроений, с которыми они приезжают оттуда, и этим нашим брюзжанием на дорогие дрова, сахар... и всякие нехватки.

– Соединяется, просто соединяется! – живо отозвался мой собеседник.

И посмотрел на икону Георгия.

– Враг один, только туда он лицом, а к нам задом.

Вот тут-то я и вспомнил о потерянном камне.

Выслушав мой рассказ о купеческой правде, связанной с большим, торчавшим тут из земли камнем, мой знакомый расхохотался, повторяя:

– У нас мостовую украли!

Мостовую украли, мостовая одно время исчезла с этого места, как исчез у героя Гоголя нос. Проснулись однажды жители города и видят, что нет мостовой, грязное, проломанное место, а из него огромный торчит камень-правда: мостовую украли. Хватились, а мостовая на дворе у городского, он стоял на посту возле того камня и по ночам от скуки камушек за камушком таскал на свой немощный двор. Сначала было незаметно, а когда обнажился камень-правда и вокруг него проезжие обмяли дорогу, чудовищно выросший камень-правда открыл глаза: мостовую украли. И не возить же назад мостовую городского, дело сделали проще: камень взорвали, раздробили на мельчайшие кусочки и умостили ими все украденное место: и ныне правда больше не колет глаза.

Закон вышел!

Теперь очень популярно бранить торговцев и сваливать на их вину. В известной части населения большой успех имел недавний фельетон Немировича-Данченко, где он ругал купцов буквально площадными словами. И я не читал еще нигде ответа купцов. Удивительно, как никто из них не рассердился. По-моему, это объясняется не сознанием своей виноватости, а тем, что вообще наше третье сословие любит отмалчиваться, вообще не любит слова вслух. Любопытно приглядеться к их выборам: выбирают молчаливого, на говорящего смотрят подозрительно.

Обывательский гнев на торговца понятен, на то он и обыватель, чтобы за деревьями леса не видеть. И я, как обыватель, тоже чувствую естественный гнев на торговца, который вчера мне продал дрова за 35 к. за пуд. Но есть простой способ упокоиться: нужно себя вообразить, например, хозяином дровяного леса. Положим, я владею участком леса и желаю продать его на дрова. Ко мне приезжает наш лесной царь и дает на месте громадную цену: 20 к. за пуд. Неужели я скажу: возьмите за 10 к.? Я продаю по 20 к. и делаюсь врагом отечества.

Живу я в купеческом городе, очень типичном и ярком, ежедневно беседую с

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
десятками мукомолов, кожевенников, дровяников, – громадное большинство их находится в том же положении, в каком представляю я себя с участком леса. Конечно, есть хищники, сознательно набивающие цену, но они все наперечет, и дело вовсе не в них.

Слов нет, поругаться не мешает, но до известных пределов, для того чтобы этим не закрывался самый предмет.

О самом этом предмете на днях я беседовал с биржевым маклером, человеком, переносящим всякое время, как оно есть. Высказываю ему свои общие соображения. Коренную причину беды нашей я вижу в том, что народ наш (не говорю о причинах этого) не любит и чуждается власти: какой-нибудь продувной писарь или старшина, вертит по-своему целой волостью, а мужики очень рады, что вот нашелся такой человек на дурное и необходимое дело; в то же самое время народ мечтает о власти справедливой, совершенно иной природы, и новые люди...

– Новые элементы, – перебил меня маклер, – никакого значения не имеют.

И объясняет мне, что копейка, собранная у верующих крестьян, во много раз превосходит сделанное «элементами», победа сложится из этого, а не из того, что делают и хотят еще больше делать «элементы».

В нашем рассуждении получается порочный круг: беда существует, причина – пассивность, а деятельность вредна.

– Как же быть?

Долгое молчание и, наконец:

– Терпение!

Потом вдруг маклер перекидывает мост на время после победы. Не узнать его! Представляя себе счастливое время, он клеймит народную темноту и всех, кто ей в прежнее время способствовал, зло критикует весь нынешний строй, все наши порядки.

Перекинул фантастический мост в послепобедное время и стал совсем другим человеком.

Будь я маклером и вообще практическим человеком, я сказал бы просто, немцы сильны своей организацией, сделаемся в этом так же сильны, а потому что мы русские и за нами правда, то непременно победим. Но если я так скажу, то маклер назовет меня человеком, далеким от жизни, доктринером, а свою фантазию он принимает за жизнь.

Вся эта разруха торговая напоминает мне то время, когда, пользуясь критическим положением власти, мужики пошли грабить имения помещиков. В то время случилось мне быть возле одного хорошо устроенного имения. Жалко мне было не владельцев, не имения, а земли нашей, хорошей черноземной земли. Тяжело было смотреть, как на глазах наших обдирали ее мужики, словно тащили шкуру с недобитой скотины. Она и так, эта земля, вся ободранная, до полного безобразия: в самом центре черноземной России чудовищные овраги, местами похожие на какую-то глиняную Швейцарию, страшно смотреть, как тут люди не ценят жизни, не любят природы. И вот на этой-то земле рубили немногие защитные леса, сады, с утра до вечера тащились мимо нас подводы с награбленным имуществом. Однажды мы подошли к этим грабителям и спросили их, когда же кончится все это безобразие и они начнут настоящее дело.

– Скоро кончится, – отвечали мужики, вполне сознавая, что такое состояние жизни есть безобразие.

– А как скоро? – спросили мы.

– С первого января, – ответил один. Другой пояснил:

– Старый-то закон весь вышел, а новый, сказывают, с первого января начинается.

Вот и в наше время происходит совершенно то же самое: не потому грабят нас, как

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
пишет Немирович-Данченко, что купцы у нас такие плохие патриоты, а просто закон
старый весь вышел, и новый не начинается.

Быстрое время

Даже к сельскохозяйственным животным стали мы за время войны относиться много
человечнее, потому что их стало очень мало. А с рабочими отношения теперь
совершенно иные: не только нельзя стало крикнуть на рабочего, – боишься даже
сделать необходимое замечание. У меня хозяйство маленькое, и все держится на
одном хорошем работнике, уйди он – и я должен буду стать на его место, значит, с
утра до ночи убирать скотину, возить воду, рубить дрова, пахать, косить. Поэтому
за работником я очень ухаживаю. Иногда, ложась вечером спать, чувствуешь себя
благодетелем этого рабочего: я плачу ему самое высокое жалование и, несмотря на
годовое условие, уже два раза его повышал; у меня на хуторе кормится вся его
семья, лошадь его стоит в моем сарае возле моего запаса сена, я отпускаю его
обрабатывать его собственный надел и часто даю ему в помощь свою лошадь, а в
обращении с ним никогда не позволяю себе даже повысить голоса – чего же больше?
Вечером, засыпая, иногда я думаю, что рабочий вопрос для себя я на время войны
разрешил благополучно, и тут же, по странной логике засыпающего человека,
перехожу от рабочего вопроса к сахару: как я тоже очень удачно запасся сахаром!

Это утро готовило большое испытание моему благополучию: утром неожиданно рабочий
вместе с женой своей, скотницей, просят расчета. Причина ухода, я знаю, ложная:
будто бы хотят жить дома и хозяйствовать у себя. Уговариваю, упрашиваю, слышать
ничего не хотят. В обед уносят из кухни свои образа, узлы, укладки. В сумерки мы
своей семьей убираем скотину, косим траву лошадям и коровам, месим какую-то
дрянь свиньям. Страшен был только первый момент, как при купанье в холодной
воде, броситься в эту яму черного труда, расстаться со своим высшим положением.
Но по военному времени, если господин станет сам ухаживать за своим животным,
сам будет пахать и косить, никого это не удивит и никакого толстоства не
выйдет. Все получается, будто так оно и быть должно, и здоровый труд на свежем
воздухе, в конце концов, дает жизнь. После ужина я как ни в чем не бывало
по-прежнему спокойно сижу на своей терраске, обращенной в сад, и слушаю, как в
тишине время от времени падают спелые яблоки. Только все-таки день, тяжело
усевшийся на плечах, не дает мысли надолго оторваться от земли: в тишине сада
мне теперь кажется, будто я слышу, растут не деревья, а цены. Я вдруг понимаю,
отчего бросил меня работник: я не прислушался к росту цены на труд, а кто-то из
соседей переманил работника. Так понятию становится, что не высокая цена –
причина беды (к этому скоро привыкаешь), а что цена сильно живет и растет. Будто
за облаками, за тучами кто-то делает новое быстрое время, а нас, отстающих,
перегоняет ценой, этим бичом времени, в мир совершенно иных отношений.

Как все изменилось в этом маленьком мире нашего хозяйства с тех пор, каким
застает его мое первое сознание. Помню, в детстве вечером читает вслух моя мать
газету и вдруг останавливается, прислушивается, спрашивает, обращаясь в
переднюю:

– Кто там?

– К вашей милости! – отвечает робкий голос.

После «милости» мне уже хорошо известно, всегда просят денег.

– Что тебе?

– Сделайте милость, дайте под кружок.

Это значит, он просит пять рублей и за них обязуется обработать кругом десятину:
пахать, сеять, косить, возить, все за пять рублей. Теперь эта работа самое
меньшее стоит рублей пятьдесят. Но и тогда кружок, если не ошибаюсь, давал
помещику большую выгоду сравнительно с летней платой за труд; по существу, это
была особая форма землевладельческого ростовщичества. В то время, однако,
отдавать свою землю под кружок не считалось делом зазорным. Правда, иногда
богатый помещик скажет гордо: «Я свою землю никогда не отдаю под кружок», но
гордость эта основана вовсе не в признании в кружковой системе вымогательства, а
просто потому, что богатый хозяин кружковую небрежную работу не находил
«рациональной» в агрономическом отношении. В руках его всегда оставалось общее
могучее средство привлечь на свою работу от зари до зари сколько угодно
работников, средство это – необходимость крестьянина, по своему малоземелью,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
дорабатывать себе хлеб батрацкой работой.

Добро, конечно, сильнее зла, если то и другое будут меряться в одиночку, но зло берет числом, скопом, – столько накопилось содеянного зла в отношении... малоземельного сословия! вспыхнула забастовка, и после нее как-то вдруг совершенно исчезла кружковая система вымогательства сильным крестьянского труда. Зато в нашем уезде быстро распространилась ничем не лучшая система обработки земли посредством обязанных. Это хозяйство состоит в том, что помещик свою запольную землю дешево отдает в аренду крестьянам, а за недобранную часть ренты крестьяне обязуются обработать землю помещика, лежащую вблизи его усадьбы. В техническом отношении работа обязанных еще хуже, чем кружковая; там на отдельного крестьянина еще можно влиять, но влиять на целое общество нелегко. Вот, например, дожди задержали уборку, а в жаркий день зерно от этого сразу подошло и потекло. Крестьяне рвутся к своим полям, но вечером староста оповещает обязанных косить «барскую» рожь. Условие так составлено, что крестьянам не дадут убрать арендованные ими земли, пока они не уберут помещичье поле. Конечно, они торопятся, делают кое-как, лишь бы поскорее дорваться до своего хлеба. В конце концов, у помещика убрано скверно, и у крестьян зерно утекло.

Теперь, во время войны, вот именно этим летом, рухнули и эта отвратительная «организация труда». Под тем предлогом, что крестьяне, вследствие грядущих военных наборов, не могут вперед ручаться за возможность выполнения обязательства, они повсюду отказываются закабалить себя обязанным трудом на будущее лето и предлагают просто арендную плату. У моих соседей борьба за обязанную работу продолжалась целое лето и кончилась победой крестьян: у помещика остался выбор: или бросить свое поле незасеянным, или получить деньги, – он выбрал последнее.

Будущие военные наборы, конечно, в этой борьбе только предлог; на самом деле крестьяне теперь со всей очевидностью поняли цену и значение своего труда, может быть, поняли даже условности ренты и даже денежных знаков, все это теперь видно насквозь...

Но вы глубоко ошибаетесь, если увидите в этой борьбе труда с рентой какие-нибудь проблески сознательного организованного движения в крестьянской среде: между ними идет такая же борьба, и друг с друга за обработку они берут, кажется, больше, чем с помещика.

От отдельных крестьян еще до войны не раз мне приходилось слышать осуждение забастовки: «С этой забастовкой мы в яму попали!» В виде утопии тут же высказывали, что вот если бы всем работникам не выйти на помещичьи поля, так это куда бы лучше забастовки, но тут и признавалось, что это невозможно; потому что нет в деревне никакого согласия.

Нет, никто не устраивал эту нынешнюю борьбу труда с рентой, она загорелась, как и война, за полем зрения нашего разума. И смотря по тому, чего мы чаем от времени после войны, какими глазами смотрим на мировую борьбу, такими же глазами смотрим и на эту ломку нашей повседневной хозяйственной жизни.

Так своими глазами посмотрел на дело и начальник губернии, повелевший крестьянам обязательно работать на землях помещиков. Так, оценивая поступок губернатора, посмотрело и какое-то совещание, ссылаясь на принудительный труд враждебной страны, представляющей из себя осажденную крепость.

Русский народ тысячу раз доказал уже, что он не боится принудительного труда во имя интересов государства. Он только просит не смешивать государственные интересы с помещичьими. Помещикам края, о котором я пишу, нужно только подешевле отдать свою землю в аренду крестьянам – тогда пустых земель не останется.

Сахар

Кто вырос где-нибудь в Ельце или в Лебедяни в маленьком домике городской бедноты, бесправной, забытой, брошенной, той бедноты, которая у нас называется мещанством, – только этот человек да, может быть, столичный рабочий, да беднейший студент, во всей мере испытывает страдание от недостатка сахара.

Нужно знать, сколько стаканов выпивается с одним мельчайшим кусочком сахара, как мало, в сущности, требуется, чтобы удовлетворить этот голод. С точки зрения физиологии, мне кажется, тут ничего не поймешь, если не знать стороны душевной

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
этого питания. В двух словах это не расскажешь... Как-то так, Бог ее знает, ну, положим, где-нибудь на слободском бугре вонючем, заваленном отбросами кожевенного завода, стоит домик и в нем живет благородная женщина с вечной сигаркой махорки во рту, дети ее полуголые бегают, вокруг ни лозинки, и вот тут-то бы кусочек сахару! Но сахару нет, и, въезжая в город, вы видите длиннейший, безнадежный сахарный хвост. Хорошо быть графом и чувствовать «отрадно» в таком хвосте, но когда знаешь все в тошнотворных подробностях, ох, как тяжело такому человеку переезжать в тележке, нагруженной многими пудами сахара, через этот сахарный хвост! Я это только что испытал и хочу рассказать, в немногих словах изобразить обстановку, в которой один российский гражданин везет пуд сахару, а другой из-за фунтика стоит под дождем целый день.

У меня тоже долго не было в деревне сахару, заменял его медом, но каким медом! По доверию к соседу пчеловоду я не пошел смотреть, как он «спускает», и он спустил мне в мед всякой дряни, с «червой», с «хлебушком», прибавив муки, воды, патоки. Эту сладко-горькую зеленоватую жидкость пчеловод продал мне в большом количестве, и вот уже месяца полтора я питаюсь этой гадостью. Приходит в гости батюшка, большой любитель чайку попить, а я ему этот мед. Поморщился. Спрашивает:

– Почему вы не запасааетесь?

– Как, где?

– Вам везде можно.

Отвечает совершенно так же, как мужики на полях после работ, после настойчивых – то умоляющих просьб, то угрожающих требований «керосинова брата», гарного спирту.

– Ну, где я вам достану спирту!

– Вам везде можно!

– Где, – спрашиваю батюшку, – достать сахару?

– Хоть бы в потребилке.

Это правда, я там мог бы достать, но я капризничаю. Когда мне в городе сказали, что я как сельский житель должен искать сахара в местном кооперативе, сунул я в нашу потребилку. Обыкновенная толпа чающих, как и в городе, стояла возле потребительной избы, только тут баб было больше. Один крестьянин широко «разделявал» стоящего на пороге избы члена правления.

– Не горячись, милый! – уговаривал его наш хитрейший Семен, – видишь, я старый член, и еще член правления, и то не получил.

– Не получил! Ах, ты, член-перечлен, ты не получил.

И опять стал «пушить» его. Главные упреки его были в том, что сахар многими пудами отпускают богатым и влиятельным лицам, и кто смел, и кто знает ходы и переходы – тот два съел. Спор принял широкие размеры, когда кооператор стал предлагать мужику сделаться членом общества и тот стал ему доказывать, что он такой же, как и Семен, член всего русского общества.

– Не горячись, милый, не горячись, – уговаривал Семен, – нужно уметь лавировать собою.

В это время вышла барыня с мешком сахара, бабы, подвинутые бойким спором, кинулись на нее:

– Шляпу, шляпу с нее сдирай!

Барыня едва отбилась и, негодующая, увезла свой сахар от воинственных баб.

После этой сцены я не стал добиваться сахару и запасся спускным медом.

– И не выкидывает? – спросил меня батюшка.

Я догадался: многие думают, что от меда выкидываются на тело прыщи.

– Нет, говорю, ничего пока не выкидывает.

– Ну, смотрите!

Вскоре, правда, мы все стали замечать на себе какое-то скверное действие меда, перестали его употреблять и вовсе лишились сладости. В это время приехала к нам, будто из другой стороны, племянница из Калужской губернии и привезла свой месячный пай, свои 6/8 ф. сахарного песку. Удивительно, как это разное в России: в то время как в нашей губернии большинство людей мечтают о карточной системе как о манне небесной, когда у нас чуть ли не на каждом шагу слышишь: «Взяли бы пример с Германии!», – в Калужской губернии (местечко Галкино), уже как в Германии, там введена карточная система, и всякий, без различия своего происхождения и ценза, во всякое время, без всякого хвоста может получить в месяц 6/8 ф. сахарного песку!

И как быстро приспособились калужцы к этим миниатюрным порциям. Когда мы хотели наброситься на сахар, племянница остановила нас: «Сахар еще не готов!» Оказалось, что в 6/8 ф. всего только 42 ложечки песку, и долго этим не проживешь. Получив свои 6/8 ф. песку, калужец немедленно варит его в молоке до твердого состояния и потом уже употребляет этот очень спорый сахар, как обыкновенно, в прикуску. Мы питались этим сахаром всей семьей чуть ли не целую неделю. А когда сахар кончился, то племянница нам рассказала, что калужская аристократия вечерний чай вообще предпочитает пить без сахара, так чай будто бы ароматнее. Утренний кофе мы заменили горячим молоком с булкой и так стали понемногу жить. Я опять повторяю, что нам, мало-мальски состоятельным людям, жить без сахара можно, и крестьяне многие совершенно не чувствуют утраты сахара, по-настоящему страдает только особый городской «чаевой» люд. И вот, как я теперь убедился, без карточной системы мы, состоятельные люди, буквально воруем принадлежащий по всему праву этому люду сахар. Однажды, когда у нас все не было сахара, я получаю от одного общества, членом которого я давно состою, общества, которое не имеет дела с потреблением, – я получаю извещение, что на мое имя там оставлено пять пудов сахара!

В семье переполох, оживление, торопят скорее ехать: «А то раздумают», «а то сами съедят». И не пропадать же, правда, сахару; конечно, я поехал получать.

Был день окладного дождя. Под этим дождем от Мясных рядов, через всю Успенскую улицу и вплоть до Бабьего базара на целую улицу тянулся хвост – выдавали по фунту. Я ехал этим хвостом за сахаром, как счастливый охотник, но когда пришел в зал общества, странное чувство, как озноб, стало забираться в мою душу: барышни шушукаются о своем, мне кажется, они шушукаются о тайне сахара; головку за головкой я выношу сахар в тележку – мне кажется, из окон домов следят за мной; с сахаром, хорошо укрытым от дождя, еду опять вдоль хвоста, и мне кажется, что вот-вот увидят, что у меня в тележке. Мало того: когда я уже подъехал к своему дому, домашние мои сделали так, чтобы укрыть сахар от глаз прислуги: это почему-то нехорошо, или невыгодно. Словом, это было так, будто украл...

Живу я далеко от центра, и все некогда заняться, съездить, разузнать, почему так долго не вводят карточную систему у нас везде. Неужели так трудно это? Неужели будет хуже жить просто, по-калужски, не воруя, считать, сколько ложечек в фунте, варить молочный сахар: о вареве с удовольствием вспоминают наши дети, но пуды сахара, провезенные тайком вдоль сахарного хвоста, съедятся на радость, ох, на радость!

По хозяйству

Дожди нас только пугали все лето, но вреда такого, как в прошлом году, не принесли, убрались благополучно, а зерно, чуть-чуть волжское, можно потом перелопатить. Вечера стали длинными, с полными закромами зерна можно спокойно сидеть и читать о борьбе за твердые цены. Как-то читают теперь те, кому не продавать хлеб, а покупать!

Сегодня мне бросилась в глаза одна газетная заметка: «Крестьяне и твердые цены», в которой указывалось, что по каким-то необъяснимым причинам крестьяне теперь неохотно продают зерно и даже будто бы, чтобы укрыться от возможной реквизиции, зарывают его в ямы.

Не слышал я, чтобы кто-нибудь в нашем краю зарывал бы зерно, но удерживаются от продажи – это верно, это чувствуешь по самому себе, как сам относишься к своему собственному зерну...

Необъяснимых причин этого явления, по-моему, не должно быть и для жителя города. Разве не замечаете вы, что каждый обитатель города стремится запастись мукой, сахаром, керосином и всякой всячиной. В нашем провинциальном городе я знаю людей, дома которых теперь настоящая полная чаша, напоминающая отдаленных знакомых по книгам времен натурального хозяйства. Мало-мальски запасливый и бережливый хозяин теперь стремится превратить свой дом в магазин. Мимо этого магазина без вывески толпа, образуя хвост, проходит в прежние пустеющие магазины.

В деревне, как в городе, есть богатые и бедные, но, конечно, характернее для деревни представление магазина без вывески, так же как для города характернее всего хвост перед пустым магазином. С самого начала войны очень бросалась в глаза эта борьба деревни с городом, и, вероятно, не мне одному приходилось сравнивать эту борьбу с войной промышленной Германии – огромного города, с земледельческой Россией – огромной деревней. И так оно приходится в настоящее время: Германия – сплошной общественный магазин, Россия – магазин без вывески.

В деревне запасы все на виду, каждый знает, у кого сколько намолочено. Сейчас, когда хлеб еще не продавался и солому не сожгли в печах, кажется, вся деревня завалена хлебом. Казалось бы, тут и жить, а вот плотник Осип чуть с голоду не умер среди этих запасов. Он плотник, хозяйством занимается небрежно, родилось у него что-то копны две и те полторы копны украли мальчишки. Пошел он к соседям рожь покупать. И такое вышло положение во время хорошего урожая: среди запасов зерна, отличный работник Осип, переходя от одного дома в другой, от одного магазина без вывески к другому, ничего не купил и некоторое время побирался, как нищий. Ему не продавали, потому что ожидали чудовищных цен в три рубля за пуд. Да и за три бы не продали, потому что это у крестьянина всегда так: вздумайте вы ему предложить цену на что-нибудь, совершенно цены не имеющее, напр<имер>, за снег возле дома, и он, не зная в чем дело, снег не продаст. А разве во время обсуждения себестоимости хлеба эти выкрики невероятных цен не были ценою снега, не донесли до крестьянина?

Но это я не считаю самым главным, это случайное в положении плотника Осипа. Так, на днях совершенно случайно попал у нас под корзину цыпленок. Хозяйки взыскались, хозяйки ссорились, винили соседей, ястреба и возле самой корзины, где был цыпленок, сыпали зерно другим курам. Так среди обилия корма цыпленок погиб под корзиной от голоду.

А чтобы понять в главном, почему крестьянин не везет зерно в город, нужно хорошенько тоже вникнуть в положение владельца деревенского магазина без вывесок. Дело в том, что война-то затяжная!.. Отдам я, положим, весь свой зерновой запас, коров, свиней, овец... а дальше что? Мы не знаем, когда

война кончится и должны не закладывать добро... а хозяйствовать, не трогая инвентаря, как будто войны вовсе и нет. Словом, отдавая «десятину» во время этой расчетливой войны, крестьянин создает государство, а жертвуя все, разоряет. Удивительно, как во время войны развилось у крестьянина это чувство бережливости: раньше, в пьяное время, он жил кое-как, продавал сразу, а потом вскоре и сидел на бобах до нового урожая. От этого хозяйства он и сам истощился и землю истощил до последнего. Теперь он захотел жить получше и очень научился ценить всякого рода выучку, которую называет образованием. Для примера этой новой бережливости далеко ходить мне незачем, довольно рассказать о своем работнике. Мне захотелось хозяйствовать по-новому и взять в работники не обыкновенного батрака, за которым нужно постоянно следить, а настоящего сельскохозяйственного рабочего, понимающего дело. Все теперь удивляются, как это мужичок, сам похожий на барина, у которого сын служит в земстве помощником бухгалтера, нанялся ко мне в работники. Причина этого мне известна и находится именно в связи со стремлением нынешнего крестьянина к бережливости. У работника моего от нынешнего урожая скопился запас ржи в двадцать четвертей, за прежнее время часть такого урожая он немедленно продавал, часть оставлял для скота и часть, очень скудную, для себя. Теперь он этот запас ржи хочет получить с меня за свои услуги, а свое оставить неприкосновенным для следующего года.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– А вдруг на будущий год не родится, – сказал он мне, – теперь я буду обеспечен.

Очень разумно: так должен бы делать каждый хозяин. Я спросил только, почему же он раньше так не думал.

– А вот прежде и не думал, – ответил он, – мало ли о чем я прежде не думал.

Я спросил его, а как он поступил бы, если бы цена на рожь установилась рубля в три.

– И за три не расстался бы, – сказал он..

Это и все, что я хочу сказать: необъяснимых причин в стремлении крестьянина удержать теперь свой запас для себя нет никаких.

Письма в провинцию

К тетушке об окороке

Милая моя тетушка, хорошая моя, старосветская вы моя! Не обижайтесь только, пожалуйста, на старосветскую – это лучше всего. Довез я ваш окорок до Петрограда благополучно, сейчас он уже коптит, но в дороге много он причинил мне хлопот. Вы мне советовали подсунуть его под нижнюю лавку, потому что внизу холоднее, я так и хотел сделать, но там внизу был чей-то другой окорок, и корзина с яблоками; пришлось определить его на самую верхнюю полочку, и оттуда он, где-то возле Лебеядни, рухнул вниз.

– Это ветчина, я у вас ее реквизирую! – сказал один господин в форме.

– Сделайте, – говорю, – одолжение, – кушайте.

– Этого, – отвечает, – мало, еще штрафа 500 р., и три месяца тюрьмы.

– Шутите, – говорю, – это нарочно.

– Как шучу, вчера один помещик тоже втяпался с телятиной: протокол составили, телятину отобрали.

Потом он смиловился, сам помог мне навестать на окорок больше газет, чтобы не похоже было на ветчину, и, подвинув корзину с яблоками, уложил под нижнюю лавочку, рядом со своим окороком. Чудеса творятся! Как будто мы переезжали не границу Орловской и Тамбовской губерний, а двух экономически воюющих стран, как будто перед таможеней многие, напуганные словами чиновника, стали подальше запрягивать свое съестное добро. И вот даже здесь, в Петрограде, я не мог добиться правды: имел ли я право везти с собой окорок или нет. Так это напомнило мне далекие студенческие времена, когда, бывало, едешь к вам в деревню и везешь тюк нелегальной литературы: Бебеля, Каутского, Энгельса. Как переменялось время! Раньше прятали Бебеля, а теперь окорок. «Это символ!» – восклицает наш батюшка. И я присоединяюсь к нему: да, это символ; этот окорочный интерес ныне объединил всю Россию и стер ту обычную пропасть между столицей и провинцией. Раньше я приезжал из деревни, как из неведомой страны, и меня влекло рассказывать здесь о ней свои сказки. Теперь этим здесь никого не удивишь, потому что сами столичные люди стали провинциальными, но только без сказок. Вот, бывало, сидишь у вас на балконе, впереди наш обыкновенный пейзаж, налево возле конюшни свежуют барана, а вы тут, глядя на барана, возбуждаете аппетит: «Ну, и баранчик, чесночком бы его нашпиговать, схожу за чесночком, а ты сбегай на парники за салатом». В столице же, как и откуда получается продукт, было неведомо. Теперь этим заняты все, и гораздо больше, чем в провинции, и так все перевернулось шиворот на выворот, что уже рассказывать хочется в провинцию, а не сюда с провинции. Но сказки съестные не идут на ум (сказки у нас политические), да в том-то и разница с прежним, что это новое городское еще не успело обрасти сказкой, и между нашей прежней жизнью в провинции и этой новой такая же разница, как между красным пасхальным яйчком и белым яйцом с пятнами грязи, прямо из-под курицы.

Я вам передал самую характерную черту времени, что жизнь наклонилась в материальную сторону, но я больше скажу: в погоне за материальным она приобрела черты искусства спортсменского. Вот, например, наш Александр Михайлович, чиновник средней руки, жалованье рублей что-то четыреста. Бывало, он отслужит свои шесть часов и потом читает по археологии, или едет в какое-нибудь общество слушать доклад. Теперь после службы Александр Михайлович наметит себе, например,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
масло или говядину, или сахар и отправляется путешествовать по кооперативам. Не легко это путешествие по нынешним временам: трамваи переполнены, не всегда удается даже стать, а часто прицепишься и висишь. Еще труднее потом ехать домой с добычей. Измученный спортсмен приезжает, наконец, домой с маслом.

– Почем купил? – спрашивает Софья Павловна.

– По рубль восемьдесят, – торжествующе говорит Александр Михайлович.

– А Сергей Петрович купил по 90 к.

– Как!..

И начинается длинный разговор о том, как и где ухитрился Сергей Петрович (приват-доцент истории) купить масло по 90 к. Вчера я видел трех лиц, которые купили масло в один и тот же день: один за 90 к., другой за 1 р. 80 к. и третий за 3 р. 60 к. – это истинная правда. И так во всем решительно, особенно плохо с мясом. В мясном хвосте вы, конечно, не увидите чиновника и приват-доцента: в мясной хвост из лавки поступают какие-нибудь жалкие обрезки по существующей таксе. А хорошее мясо продается по рублю, по рубль двадцать и больше (цены всевозможные) с заднего хода; мясник своих клиентов извещает обыкновенно по телефону. Так муж и превращается в спортсмена по мясным, масляным и всяким таким делам, а жена готовит сама в кухне, потому что прислуга с 8 утра и часто до четырех стоит в каком-нибудь хвосте. Вы спросите, что же делают в это время власти, как они это допускают. Я отвечаю вам: власти работают в комиссиях. На каждый предмет потребления существует своя комиссия. Вы себе даже и вообразить не можете, какой огромный труд несет на себе каждый из членов комиссии, какие тут сидят ученые, трудоспособные и даже честные люди. Дни и ночи работают эти бесчисленные комиссии, из них, как из колодцев, ручейки текут в реки, так текут из комиссий всевозможные доклады в особое совещание, а потом из особого совещания по рекам и ручьям плывут в нашу обывательскую жизнь: твердые цены, таксы, нормы, правила, законоположения и проч. У нас представляют себе так, что... общество страдает. Здесь, в комиссии, думают наоборот, что страдают, отдавая себя целиком на службу государству, чиновники... Дело в том, что пока живая мысль какого-нибудь члена комиссии воспримется всеми членами ее, пока она будет разработана и затем доложена в особое совещание и там опять переработается и окончательно затвердеет, за этот большой промежуток времени живая мысль отдельных свободных людей уже превращается в деньги – так получается, что на одной стороне бревна-мысли, по другой деньги. Вот, например, до чего додумались колбасники. Твердая цена на мясо приплыла, наконец, в Сибирь. Тогда сибиряки, в обход твердой цене, стали подсаливать мясо и торговать им без всякой таксы, как материалом для изготовления колбасы. И началась в Сибири мясная вакханалия, поголовное истребление скота и приплода его, будто бы во имя колбасы, продукта народного питания (два рубля фунтик). Теперь это заметили и начинают разрабатывать в комиссиях меры против колбасы. Но пока разработают и убьют спекуляцию, на этой стороне еще что-нибудь придумают. Трагедия! О том, как делу этому помочь, я спрашивал одного экономиста, работающего в комиссии. «Ничего не поделаешь, – ответил экономист, – экономический закон прежней жизни состоял в том, что предложение было больше спроса, а теперь спрос обгоняет предложение, и мы за этими не можем угнаться».

В результате – положение нашего Александра Михайловича, археолога, занимающегося мясным и масляным спортом, и положение хотя бы нашего родственника Ивана Петровича. Захожу я на днях проведать его. Помните, мы его называли Онегиным из купцов: человек и с деньгами, и с головой, как тень, бродил между нами и не знал, за что взяться, ездил в Бельгию изучать стеклянное дело – ничего не вышло, хотел эксплуатировать торф – не довел до конца, и многое-многое, о чем вам было известно и чему и над чем мы раньше просто смеялись. Посмейтесь же теперь! Заглянул я к нему: у него теперь мыловарение, фабрика гигроскопической ваты и чего-чего нет. А чего-чего мы не ели у него в это голодное будто бы время: икра, вестфальская ветчина, всякие семги и балыки, коньяк превосходный, вино и даже шампанское! Закусили мы с ним, выпили – превосходное расположение духа. Немцев очень хочет разбить. Смеялся над моим народолюбием.

– О ком, – говорит, – тебе теперь скорбеть, о России? Россия покрывается сетью железных дорог и фабрик. Кого проклинать, бюрократа? Он теперь умирает и скоро умрет естественной смертью или насильственной – все равно. Кого жалеть, мужика? Мужик богат. Рабочего?

И рассказал он мне об одном рабочем, мастере-слесаре, что он будто бы зарабатывает около тысячи рублей в месяц и что однажды на его, на Ивана Петровича, глазах, чтобы не стоять в мясном хвосте и не терять золотого времени, купил себе икры за восемь рублей фунт и весь фунт тут же на его, Ивана Петровича, глазах и съел.

– С булкой? – спросил я.

– С булкой, – отвечает.

– А как же он булку достал?

Иван Петрович тут немного смешался и сказал, что булку он как-то достал. И я понял, что рабочий с икрой – это легенда сытого и довольного собой человека, тем более что потом в тех же выражениях о рабочем с икрой рассказал мне и Костя. Вот тоже и Костя, посмотрели бы вы теперь на Костю! И мало ли их таких. Общее мое впечатление от этой жизни такое, что теперь как-то все продается и все можно купить и все есть, лишь бы были деньги, что брать с собой окорок у тетушки из деревни смешно человеку молодому, энергичному и образованному. Простите, милая тетушка, я подарил этот окорок нашему бедному археологу, а сам что-нибудь выдумую, непременно что-нибудь выдумую и скоро буду богат и привезу вам в деревню окорок и не простой, а вестфальской ветчины нашего национального русского, изготовления. Целую вас, дорогая моя. Любящий вас племянник

Михаил Хрущевский

Батюшке о переменах

Дорогой батюшка, о. Афанасий! Напишу вам в этот раз, как я нашел себе место, как устроился и какие перемены вижу вокруг себя. Помните то время в начале войны, как многие из нас одевались в военное платье, и кто мог воевать – воевал, кто не мог – лечил и собирал раненых, кто и этого не мог – ехал так, посмотреть на войну. Всех тянуло туда. Теперь тянет в обратную сторону – к делу продовольствия армии и населения. Потому ли это стало теперь самое главное, по другим ли каким причинам, но маскарад продолжается: тогда переодевались в военное, теперь в чиновничье, все хотят стать чиновниками. Мы с вами думали: стоит мне явиться сюда и сказать, что я агроном, практический хозяин, и меня сейчас же подхватят и назначат заниматься продовольствием. Не тут-то было: это у нас в деревне пустота и безлюдье, а в городе народу хоть отбавляй, куда больше, чем до войны, война тут совсем незаметна. Я целый месяц метался по канцеляриям правительственных учреждений, всюду подавал прошения с двумя рублевыми марками, бумаги куда-то уходили, рубли пропадали. Словом, попасть к делу казенного продовольствия было гораздо труднее, чем раньше попадать на передовые позиции. Но я думаю теперь, что причина неудач моих была в том, что я шел обыкновенным, формальным путем и как-то не попадал на человека. И вот однажды мне выпало счастье: шел я к одному действительному статскому советнику, не думая просить место у него в канцелярии, а только посоветоваться. Выслушал он меня внимательно, ничего не сказал, взял под руку, познакомил со всеми в канцелярии, потом положил на пустой стол какие-то дела, зажег электрическую лампочку. «Довольно, – говорю, – вам шататься, садитесь, служите! – А как же, – говорю, – прошение? – Вот пустяки, не все будет дело, как-нибудь на досуге возьмете, да и напишете, с Богом, служите!»

Знаете, батюшка, было такое чувство у меня странное: я хорошо помню, как вас посвящали в дьякона, как в торжественном облачении архиерей маленькими ножницами подстригал вас и два протодьякона, рыжий и черный, размахивали кадилами и создавали над вашей склоненной головой целое небо из ладана. А меня посвятили слишком уж просто, провели в кабинет, показали, я вошел, а они – щелк! – и закупирили. Щелк! – и здравствуйте: я – Государя нашего коллежский регистратор.

Между тем, это не шутка, и я все равно, как и вы тогда, вступил в мир совершенно иных отношений, и обыкновенный полевой мир стал для меня недоступен. Знаете, сколько нас таких здесь? Недавно градоначальник этим поинтересовался. Подсчитали: восемь миллионов! Всего живущих в Петрограде около трех миллионов, а чиновников оказалось восемь. Как это вышло? А вот как: один и тот же чиновник часто служит в различных учреждениях, а в особенности теперь, с развитием кооперативного дела, один обслуживает десятки кооперативов. Но как бы ни была нелепа эта статистика, сущность того, что я хочу вам сказать, она передает: на три миллиона живых людей в этом городе приходится восемь миллионов таких

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
состояний человека, каждое из которых носит название чиновника. Значит, по численности дело ничем не хуже, чем в вашем сословии, и я стал одной восьмимиллионной частью этого великого аппарата, но над моей головой не покадил протодьякон.

Когда меня так посвятили, я вдруг почувствовал себя маленьким человеком, пригото­вишкой каким-то: копаюсь, ничего не понимая, в бумагах, озираюсь, прислушиваюсь к шелесту бумаг его превосходительства – вот-вот войдет, спросит и единицу поставит. Мелькнула мысль: бежать! Но я отогнал ее и решил как-нибудь действовать. Вот лежит «входящая». На ней рукою начальника синим карандашом написано: «Вытребовать из штаба сто экземпляров правил». Беру телефонную книжку, звоню в штаб, спрашиваю... Там ничего не понимают, в канцелярии смеются, входит его превосходительство:

– Да разве так можно! Напишите отношение!

Смеется:

– Человек прямо с огорода!

И, как бы извиняясь пред кем-то:

– Ничего не поделаешь, время изменилось, людей нет, теперь все такие: беда мне!

Я защищаюсь: для чего писать бумагу, когда можно по телефону в один момент.

– Кто же вам что-нибудь даст по телефону, какие у него будут оправдательные документы?

– Ваше превосходительство, – говорю, – я был на фронте, там по телефону целые корпуса передвигают.

– То на фронте...

Хотел, было, я сказать, что скорость не мешает и в тылу, и в особенности в нашем деле продовольствия, но не посмел, побоялся, возьмет сразу и прогонит. Только так задумался вообще о бумаге: мне представилось, что бумага – это символ мира на земле, чем дальше от войны, тем больше бумаг. Груды бумаг входящих лежали на моем столе, целые шкафы стояли бумаг использованных. Я покопался, нашел как раз такую же, как моя, и написал по ней свою, потом написал таким же способом вторую, третью – и вдруг почувствовал радость: как будто одна восьмимиллионная часть всего этого мира соединилась со всеми остальными миллионами в одном великом бумажном деле, и почувствовал легкость необыкновенную. Но это продолжалось не долго, бумаги написанные нужно было нести для подписи, и вот тут началось:

«Признавая чрезвычайно важное значение постного масла для обороны государства...», – читал его превосходительство и ворчал, черкая синим карандашом: – Признавая! Вас никто не просит признавать, это уже давно всеми признано, – писал: «Учитывая чрезвычайно важное значение постного масла...»

Начеркав так по всем моим бумагам, он заставил меня вновь переписать. Я переписывал, отдавал переписывать барышне-машинистке, та в свою очередь, делала ошибки, я заставлял ее переписывать, и до самого конца занятий я не добился подписи его превосходительства, и он, схватив карандаш, быстро-быстро стал сам писать эти бумаги по-своему.

Дня два-три я был в полном отчаянии, и у меня ничего не выходило, на третий день я решил делать, как выйдет, и если выгонят меня, то пусть выгонят. И, представьте себе, вышло очень хорошо, начальник меня похвалил. Вскоре я понял причину моих неудач: я относился к делу слишком серьезно для моего все-таки значительного положения. Вам это, батюшка, совсем непонятно, а оно так: самое серьезное существо в нашем бюро, конечно, барышня-машинистка, она весь день стучит, и вся как-то замочалилась от работы, и она будет стучать вечно, движения по службе ей не будет никогда. Регистратор – следующая ступень – тоже много работает, но он все-таки иногда попробует пошутить, и очень медленно, но все-таки движется. Помощник делопроизводителя еще больше шутит и, конечно, быстрее регистратора движется по службе, и так далее, до моего начальника: тот

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru шутит много, у него даже есть нотка иронии ко всему нашему восьмимиллионному аппарату, но все-таки он слишком серьезен, трудолюбив и прям, чтобы иметь надежду когда-нибудь сделаться министром. Так, оказывается, что некоторая доля легкомыслия в государственных людях есть качество необходимое и полезное. Батюшка, вы меня извините, но это понятно: сама жизнь очень легкомысленна, у нее нет ни малейшего постоянства, а министр очень близок к жизни: жизнь меняется, и министры меняются, сегодня один, завтра другой.

Вот я подхожу теперь к тому, о чем, собственно, хотел вам написать – как сменяются министры, как сменился наш министр и что из этого вышло. Не сегодня-завтра, я знаю, ваш Лопухий привезет вам из города почту, матушка Анна Александровна примется разбирать солдатские письма, раздавать и читать о поклонах, а вы развернете свое «Русское слово» и воскликните:

– Перемены, опять великие перемены!

– Министра сменяют, другого министра сменяют, третьего... – говорите вы.

Все ожидают разъяснения от вас, а у вас в газете белое место. И тогда по этому белому месту всякий начинает гадать, и чем дальше, тем больше, больше, и через несколько дней такой клубок сплетется, что уже никому ничего не разобрать.

Вот совершенно то же бывает у нас перед увольнением министра. В разных этажах нашего министерства говорили самое противоречивое.

Сам министр куда-то исчез. Секретарь его, румяный от волнения, все время что-то сладострастно шептал кому-то по телефону и делал мне знаки близко не подходить. Как будто там, в пустой комнате погибающего министра, совершались роды нового. Секретарь, очень милый и расположенный ко мне человек, время от времени сам приходил ко мне наверх и сообщал последний бюллетень о состоянии здоровья министра. Но слухи эти были совершенно такие же, как и ваши, деревенские, по белому месту. Мой серьезный начальник слушал, слушал эти донесения, наконец, рассердился, загасил электричество и ушел, за ним из бюро один за другим ушли все, и я остался один дожидаться: я был уверен, что роды сегодня окончатся. Я загасил электричество везде и сел у окна, вид на город был отсюда великолепный, небо чистое и такая редкость здесь в это время: звезды на небе. Часов около десяти я услышал на лестнице знакомые шаги секретаря.

– Свершилось! – сказал он.

В это время на небе покатила звезда и на одно мгновение открыла душе моей своим движением все великое движение мира, я думал: «Вот настоящие звезды те, которые летят, а эти стоячие, обыкновенные звезды – что это такое?»

– Вы грустите, – говорит секретарь, – успокойтесь, нас перемены ничуть не коснутся, министры сменяются, а бюро остается. Bureau reste! – сказал он по-французски.

И тоже посмотрел на неподвижные звезды такими глазами, как будто это было огромное, безграничных размеров бюро.

Вот, дорогой батюшка, я это хотел вам сказать: не сетуйте на глушь деревенскую, не завидуйте и нам, служащим в небесных канцеляриях, тайны движения небесных светил нам также мало известны, как и вам, а, главное, и сами небесные светила меньше всех нас знают, куда они движутся.

До свидания, дорогой мой, сердечный привет матушке и деткам вашим, Государя нашего коллежский регистратор и ваш покорный слуга.

Михаил Хрущевский

Про горох и фасоль и солонину без костей
Друзья мои, письмо это будет общим, потому что все вы задаете одни и те же вопросы, про дороговизну. Расскажу вам, что я думал вчера о продовольствии перед кассой электрического театра. После обыкновенных служебных занятий переоделся в черное и отправился на заседание фасольно-гороховой – есть и такая! – комиссии. Проходя мимо электрического театра, я попал в целый поток-водоворот человеческий, вся улица как бы загибалась в открытые двери театра. Мне

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru захотелось тоже зайти в театр вместе с толпою, я стал в сторонку у витрины магазина, и вот что промелькнуло в голове у меня за несколько минут колебания между долгом службы и желанием провести вечер в кинематографе. Два Петра Иваныча, мои сослуживцы и члены этой самой фасольно-гороховой комиссии, мысленно предстали передо мной как два разных советчика. Я вас сейчас с ними познакомлю. Два совершенно разных человека и представители двух враждующих ведомств в нашей комиссии. Нужно на какие-нибудь четверть часа заглянуть в их канцелярию, чтобы понять, какие это разные люди. Один Петр Иванович в делопроизводстве своем придерживается манеры немецкой: все бумаги сортируются на огромные группы «дела» и подшиваются, основное правило тут: по исполнению всякая бумага должна быть немедленно подшита. Когда ни придешь в канцелярию такого Петра Иваныча, у него непременно кто-нибудь шьет. У другого Петра Иваныча бумаги сортируются в легонькие изящные папочки, немедленно описываются, но не подшиваются – манера французская. Встречается какой-нибудь вопрос, например, о снабжении населения картофелем.

– Картофель! – скажет в кабинете французский Петр Иваныч.

Чиновник пробежит глазами опись, надергает все, что есть о картофеле, и мчит в кабинет начальника.

Петр Иваныч немецкий даже своему чиновнику пишет что-то вроде отношения, и тот, пока-то перелистает подшитое дело, пока-то разложит на местах картофельные бумажки, пока-то дотащит тяжелое дело, пока-то сам Петр Иваныч разберется в заложках. Но зато вся канцелярская машина тут действует неукоснительно верно, и никогда тут бумажка не затеряется. А у Петра Иваныча французского бывает так, что он рассует бумаги по карманам, потом вынет где-нибудь в комиссии, прочтет, да и забудет на столе. Словом, у одного Петра Иваныча все дела, а у другого все случаи.

И вот во время моих колебаний у двери кинематографа: идти мне на заседание фасольно-гороховой комиссии или в кинематограф, – оба мои Петра Иваныча...

– Ваш долг идти в комиссию! – говорил Петр Иваныч немецкий.

– Какой там долг, – возражал другой, – просто 20-е число, идите в театр.

Теперь вникните в мое положение, друзья мои, войдите добросовестно в мою душевную драму. Вы, конечно, отлично знаете, что такое электрический театр, но вы наверно не знаете, что такое фасольно-гороховая комиссия. Произошла эта комиссия путем распыления вопроса о продовольствии. Сначала было только продовольствие, потом разделилось надвое: мясное продовольствие и мучное. Потом мясное стало делиться само по себе, а мучное само по себе. И в свою очередь эти части стали дробиться на кусочки и кусочки пылиться на мельчайшие комиссии, одна из которых и есть фасольно-гороховая. В свою очередь и наша комиссия делится на две подкомиссии: фасольную отдельно и гороховую отдельно. Должен оговориться, что в особом совещании теперь уже поняли опасность распыления вопроса на комиссии и, чтобы объединить их работу, при каждой комиссии учредили советы. Упустили из виду только одно, что люди в комиссиях, подкомиссиях, в советах и совещаниях все те же самые чиновники, уже истомленные достаточно своей работой. В какую комиссию, совет или совещание вы ни пойдете, везде вы встретите тех же самых Петров Иванычей. Вы спросите, куда же деваются общественные деятели, представители Государственной думы, Государственного Совета, всякого рода специалисты и техники? А вот куда они деваются.

В начале кого только не было в нашей, хотя бы этой фасольно-гороховой комиссии, это был настоящий Ноев ковчег, нагруженный существами самыми разнообразными, по паре от всех чистых и нечистых. Среди всех этих говорунов представители ведомств, эти молчаливые корректные люди, вначале были совсем незаметны.

Собственно говоря, цель наша была очень скромная: мы должны были обсудить меры для скорейшей заготовки фасольно-горохового пюре, продукта весьма важного для продовольствия армии. Казалось, чего бы проще, но в душе каждого общественного деятеля столько накопилось всяких больных вопросов, что он, говоря о предмете, только цеплялся за пюре: предмет же его часто был совсем из другой области и, во всяком случае, был вне компетенции нашей комиссии. Так, например, одно из первых заседаний против воли нас всех было посвящено обсуждению вопроса о солонине без костей. Кто-то усомнился вообще в питательности фасольно-горохового пюре и этим

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru вызвал горячих приверженцев вегетарианства; эти, в свою очередь, вызвали мясоедов, и спор внезапно принял окраску религиозно-нравственного характера. В числе членов неожиданно оказался настоящий, известный всем хозяйкам в Петрограде мясник. Не имея широкого кругозора, а страстно желая что-то сказать, мясник выступил против нашумевшего в последнее время проекта удалять кости из солонины для извлечения из них жира. Мясник, человек очень дельный, очень понимающий, свою необычайной страстностью увлек в обсуждение вопроса всю комиссию.

Всем известно, что у нас на рынке теперь нет масла и вообще жиров, может быть, они и есть, но продаются по такой высокой цене, что создается представление, будто их вовсе и нет. Это обстоятельство подало мысль одному энергичному деятелю вынимать кости из заготавливаемой солонины и жир из них вываривать. Для этих целей специалисты дела строительного выдумали особенные заводы, которые должны быть немедленно устроены на местах заготовок солонины. Вот на этот проект и набросился мясник со всю страстностью своего народного темперамента.

– Вы знаете, господа, – говорил он, – что такое мозговая косточка и что такое русские щи. Без мозговой косточки не может быть щей, без щей не может быть питания русскому солдату. Солонина без мозговой косточки – это тряпка, солонина без мозговой косточки все равно – постная свинья или человек без головы.

Все были очень смущены речью мясника, потому что так ясно было, что раз жиров не хватает и есть кости, которых не едят, то варить из них жир – дело в высшей степени полезное. Слабо возражали мяснику.

– Жир не пропадет, он будет только отдельно заготавливаться.

– В коробочках, – горячился мясник, – но позвольте вас спросить, как эта коробочка попадет в солдатские щи?

– Очень просто: при солонине будут в магазинах отпускаться коробочки жира.

– Как вакса при сапогах? А вы знаете условия военного дела: обоз с солониной придет, а обоз с коробочками запоздает.

Не скоро, весь вечер бился мясник, но все-таки под конец всех победил, и всем стало ясно: во всех отношениях выгоднее оставлять жир в своем естественном состоянии при солонине для русских щей и заводы строить не нужно.

Так оживленно проходили первые заседания нашей комиссии, но потом общественные деятели стали посещать ее все реже и реже, пока, наконец, в комиссии не остались исключительно только одни представители ведомств, чиновники, измученные предшествующей дневной работой в департаментах и других комиссиях. Но как они ни были измучены, все-таки привычка методично работать сразу поставила комиссию на верную дорогу: теперь говорили только о предмете комиссии и, вернее, не говорили, а прямо сообщая составляли обширный протокол заседания. Редко-редко залетит к нам какой-нибудь общественный деятель, и тогда бывает курьезно смотреть на него: будто муха разлетелась, села на липкую бумагу, – нет! Не пускает. Так и деятель рванется в общие, – а мы ему:

– Вы, кажется, не были в прошлом заседании, позвольте вас посвятить в сущность вопроса. Или ответим так:

– Ваш вопрос не подлежит обсуждению фасольно-гороховой комиссии, обращайтесь в особое совещание.

Или еще проще:

– Ваше замечание не относится к делу.

Так побьется, побьется, как муха на липкой бумаге, и вдруг замолчит и сидит с осоловевшими глазами до конца вечера.

Я сам так не раз сживал с осоловевшими глазами. Тогда кажется, что конца заседанию никогда не будет, и почему-то у меня, по крайней мере, всегда, от слезы то ли в глазу, на кого ни посмотришь, видишь радугу, вокруг лица каждого представителя ведомства радуга, будто венчик подвижника.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

– Всякая комиссия подобна живому существу, – говорит Петр Иваныч, – время цветения бывает кратко, отцветет, схлынут эти говоруны, свободные люди, и начинается дело рождения, воспитания; для этого остаются только люди долга, те люди, которым в комиссию ходить необходимо.

– Позвольте, – возражает другой Петр Иваныч, – это у вас своеобразное понимание долга, может быть, мы не по долгу отечеству ходим, а из-за 20-го числа?

– Хотя бы из-за 20-го: не обязательна монаху философия, а живет в монастыре, значит монах. Так и мы: ходим, работаем, не уклоняемся, а те говоруны только говорят.

– Но, может быть, они считают наше дело бесполезным и помещают свое чувство долга в другое место!

– Где веселее? Но должен же кто-нибудь заниматься заготовкой фасольно-горохового пюре.

Такие споры, друзья мои, бывают постоянно между Петрами Иванычами, и, право, не знаю, кто прав из них. Видит Бог, я хожу аккуратно во все комиссии, но в этот раз Петр Иваныч французский меня победил, в этот раз я не попал в комиссию и провел вечер в кинематографе. И, Боже мой, куда девалось мое прежнее аристократическое пренебрежение этого рода искусством. Я веселился, я хохотал весь вечер и отлично понимал всех в этом театре: они все, как и я, сбегали откуда-то и отдыхали, не думая, «а бы только пожить!», как выражаются в нашем городе.

Михаил Хрущевский

Вернисаж

Вчера, друзья мои, выезжал в Царское Село, стыдно сказать за чем: покупать черный хлеб. Возвращаюсь из Царского с хлебом, а на столе у меня лежит почетный билет на вернисаж выставки «Мира искусства». По простоте своей роздал я хлеб жильцам голодным и себе оставил только на раз. Утром съел остаток черного хлеба, надел смокинг и – на вернисаж.

Вернисаж, нужно вам знать, происходит от слова vernir, полировать: художник полирует картины, и вообще вернисаж значит праздник художников. Раньше, во времена белого хлеба, я почему-то презирал все эти вернисажи и премьеры, теперь на черном хлебе меня затрепало: каждый день куда-нибудь, до того, что некогда сходить к зубному врачу. Итак, замечая, что не я один, а как-то все теперь больше, чем прежде, без толку треплются.

Судьба одной картины потянула меня на вернисаж. Я видел ее в мастерской художника и принимал участие в совещании, выставлять ее теперь или погодить. Казалось, с одной стороны, что эту картину, по сюжету военную, публика неминуемо будет судить по войне, а не по искусству. А с другой стороны, выходило и так, что если пережитое нами во время войны сольется с замыслом художника, что если это не Петрова-Водкина, а наша собственная картина окажется, то как же ее не выставлять?

Как-то раз говорю одному знакомому, что вот картина есть замечательная, три года сидел над ней художник.

– Сюжет?

– Война.

– И он приемлет войну?

Такой человек был решительный, что я побоялся, и говорю:

– Нет, не приемлет.

И стал об этом раздумывать. Пушек на картине нет, аэропланов, убитых и всего только два раненых: вождь – прапорщик, центральная фигура, смертельно, и один солдатик, который, можно думать, потом вылечится. Словом, батального очень мало, но сказать, что вовсе нет, тоже не совсем верно: линия солдат со сверлящими

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru глазами, с ружьями наперевес идет в атаку. А в то же время и не батально: земля под ними не та земля, из-за которой дерутся, а чудесно преображенная земля – мать-пустыня. Лицо у смертельно раненного – лицо существа высокого на земле: человека.

Мой собеседник спросил:

- Так он войну не приемлет?
- Нет, – говорю, – войну не приемлет.

Не согласился он со мной. Одним словом, волнение художника перед выставкой передалось мне. И как узнал, что картина выставляется, как же тут не идти на вернисаж.

Иду на выставку и представляю себе перед картиной толпу приемлющих и не приемлющих в согласии: один будет толковать ее батально – и что же? Там батально все верно. А не приемлющим тоже хорошо: не радость же войны изображена на картине. Мастерство остановит эстетов. Среди всех них какая-нибудь женщина в трауре узнает своего любимого и. «Вот, может быть, из-за этого картину надо бы подождать выставлять», – раздумывал я.

И оказалось совершенно другое, потому что я никогда не бывал на вернисажах. Собралось тут народу столько, что картин почти совершенно не видно. И какой народ? И разговор не о картинах, а о разном, что вчера видели и слышали о премьере в одном театре, в другом, о «Маскараде», о Мейерхольде, об оккультизме.

С трудом нахожу я «нашу картину», мало толпятся возле нее.

- Что это? – говорят о смертельно раненном.
- Дон-Кихот!
- Лицо иконографическое.
- А какое художественное разрешение?
- Война!

И переходят к другому. Но другое тоже только на мгновение показывается, то заслонили, переходят к третьему, к четвертому. И так как-то все кругом, и кажется, что вернисаж значит водоворот.

Картина в этот водоворот не попала, завтра ее узнают, оценят другие, но в этот водоворот она не попала: она слишком серьезна.

Вышло не так, как хотелось, но вышло к хорошему. Вы меня поймете, если представите любимое произведение как любимое существо в водовороте: сегодня оно предстало на мгновение, удивило, но кого удивило? Предстало и погрузилось, а потом вынырнуло вверх тормашками, потом боком, потом рука, нога, нос. И главная беда в том, как хорошенько подумаешь, что не любимое это существо ныряет в водовороте, а сам ныряешь в этой праздной толпе.

Уходя с выставки, говорю знакомому, что никогда в жизни своей не приду на вернисаж.

- Придете, – спокойно говорит он.

И, должно быть, приду: затянуло меня.

На Марсовом поле, вспоминаю, что-то, где-то тут было похожее...

Тут было это. Скэтинг-ринг и вернисаж – это очень похоже. Там тоже шло все кругом. Толпа, залитая светом электричества, в пыли мастики, пахнущая пудрой, потом, духами, мчится очень скоро по кругу, не находя себе выхода: свыше было ведено неким злым существам вселиться в них и низвергнуться, но выхода не было нигде, чтобы низвергнуться, и одержимые мчались по кругу, не находя себе выхода.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Так что нового, друзья мои, о вернисаже я сказать вам ничего не могу: был скэтинг-ринг, а теперь вернисаж... Но поистине ново то, что завтра я опять за черным хлебом должен выезжать в Царское Село.

<Рецензия>. Последние дни императорской власти по неизданным документам составил Александр Блок.

Алконост. Петербург. 1921 г.

В этой небольшой книге, по-видимому, нет ничего блоковского, и только опытный читатель узнает в нем поэта в изысканной отчетливости выступающих фактов. Правда, у настоящего поэта (если уж он возьмется за это) факт бывает фактичнее, чем у людей, живущих в мире обыкновенного здравого смысла. Чего беспокоиться человеку здравого смысла о стенах своего домика – стоят и будут стоять. А у поэта они иногда шевелятся, и нужны очень сложные подстройки, чтобы найти и устоять в этих шевелящихся бездушных вещах. Жить-то, в конце концов, надо, писать, получать гонорар, покупать пищу и т. д., значит, ему заботиться нужно больше, чем человеку здравого смысла, у которого вещи не шевелятся, – и факт выходит фактичнее. Помню, один такой здравосмысленник, редактор большой столичной газеты, еврей, адвокат, и за месяц до революции купил себе имение – как это странно. А Блок, бывало, еще за несколько лет до революции выступал в религиозно-философском обществе с пророчеством о революции: ну, чей же факт сильнее? И вот все совершилось, как ожидалось, и стало очевидно, и адвокату здравого смысла тогда оставалось выйти на разрушенную улицу и посмотреть, как же это вышло в действительности. За этим занятием мы встретились однажды с Александром Александровичем. «Вы думаете, много пулеметов было на крышах?» – спросил он меня. – «Много, очень много?» – «А сколько?» – «Сто, двести...» – «Шесть!» (может быть, семь или девять, не помню). Удивительно, поразительно было слышать. Блок, однако, был с документами, ходил, считал, мерил кусок оторванной жизни.

Конечно, его книга будет иметь значение фактического памятника, но, вероятно, скоро утонет среди множества подобных специальных работ. Но едва ли в какой-либо книге факт будет окружен обаянием своей фактичности – так много, отчетливо он выступает у Блока. Почему так? А потому, что это книга все-таки вытекает из Блока, и если мы видим в ней аршин, то этот аршин – не «свой аршин» (всякий меряет на свой аршин), а тот особенный, святой, которым мерил и Леонардо свои фигуры.

Солнечный круг

I

Зимний крест

Никто из стариков не помнит такого инея, как в девятнадцатом году нашего века, и никогда в книгах мне не приходилось про такое читать. Иней оседал и насадал целую неделю, так что на седьмой день ломались ветви и верхушки старых дубов. Особенно в березах было много погибели: начиналась обычно сказкой о царевне-березке в белых цветах с бриллиантами, но потом березка склоняла все ниже и ниже оледенелые ветви, казалось, шептала: «Что ты, мороз, ну, пошутил и довольно!», а мороз все больше и больше леденил, все ниже и ниже склонял их ветви и наговаривал: «А вы как думали, сказка моя только забава, развлечение вам?» И вот уродливо изогнутые, глыбами льда загруженные, падали верхушки и ветви, а молодые ломались в стволах пополам. Телефонные и телеграфные проволоки стали толще векового дуба, рвались, падали, их подбирали и увозили проезжие. Когда вся телефонная и телеграфная сеть погибла и остались одни только столбы, в нашей газете за расхищение народного имущества было объявлено очень большое наказание.

После инея всей мощью своей бушевал хозяин всей древней Скифии – буран. Засыпаны снегами деревни, поезд в поле остановились, и от вагонов торчали только трубы, как черные колышки. В нашем засыпанном селе крестьяне работали, как на раскопках курганов, и вечерами так странно было с вершины сугроба в прорытой внизу траншее увидеть огонек. Смотришь сверху, а там, внизу под снегом, при огоньке дедушка лапти плетет, там мальчик книжку читает, а вот там – как страшна все-таки наша зимняя сказка! – там лежит покойница: в самый сильный буран в горячке, в одной рубашке вырвалась из хаты женщина, за нею гнались, но потеряли в буране, только неделю спустя, когда все успокоилось, розвальни, прокладывая себе путь, наткнулись на тело в снегу. В поломанных березах против моего окна,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
изуродованных инеем, засыпанных бураном, так дивно сложилось обличье дедушки
Мороза и так явственно, что мальчики в библиотеке, когда заходили за книгами,
постоянно мне указывали в окно и говорили: «А дедушка все смотрит».

Ехать пришлось в это время, дорога – погибель, разъехаться невозможно,
встречному издали кричишь: «Делим, делим дорогу!», потом боремся, трещат сани и,
свалившись с гребешка дороги, ругаясь всем матом, засаживаем лошадей по уши. Так
долго я барахтался в снежном море, и, когда выбрался, вдруг яснее, яснее стало,
прояснилось, и вовсе начисто засияло солнце над Скифией. Правильным крестом
расположились зимние столбы вокруг солнца. Внизу же все двигалось, все сыпалось,
видна мне была только верхняя половина лошади, и в поле далеко что-то
показывалось и пряталось в поземке, какие-то серые тени с ушами. Я долго в них
всматривался и, когда лошадь храпнула, понял, что волки. И еще я видел, как
черный ворон высоко пересек солнечный крест на небе, вокруг была древняя,
страшная эллинам Скифия.

II

Весенние заветы

Долго мороз боролся с метелью. Он у звезд ночных просит помощи – звезды
согласились, у месяца – месяц согласился, а солнце отказало. И вот прощается
зима по ночам яркими звездами, а днем весна приходит сухими тропинками.

Хочется выйти на дорогу, обрадоваться человеку, разделить с ним путь до села и в
селе этом обрадоваться всем живущим тут, поговорить, поесть с ними и расстаться
так, чтобы дети долго помнили веселого странника. А после дорогой подумать:

– «Наша детская радость, как мячик, и в мячике горе заделано. Мячик радости
прыгает, а горе в нем мнется, мнется и – раз! – мячик больше не прыгает. После к
горю, как к горе, привыкают: стоит гора, ничего не поделаешь, день за днем, год
за годом, и вот уже тропинка пробита наверх и оттуда видно, как всюду в долинах
новые мячики прыгают. И спускается странник в долину, радуется вместе с другими,
хотя знает, что за его спиной горе стоит и что у каждого из этих детей, играющих
в мяч, вырастает за спиной гора».

В голубом свете первой весны странник, может быть, еще скажет кому-то, вспоминая
Нагорную проповедь:

«Блаженны вольные люди, в Царстве Небесном у них будут ризы земные».

«Блаженны свободные люди, отдавшие волю свою на благо всем, в Царстве Небесном
им будет вверено утро вселенной».

Так хорошо, так чисто бывает на душе, когда яркими звездами по ночам прощается с
нами зима и днем весна приходит сухими тропинками.

III

Летний хозяин

Плуг мой старинный неуклюжий и называется «нырок», потому что нет-нет и нырнет в
землю по самую ручку. Но борозда, другая, овладел я нырком совершенно, научился
по-лошадиному гоготать на Рыжика, отлично держу в борозде лопушку. Птицы кличут
одна другую, кружатся, садятся на деревья, не решаются идти вслед за новым
пахарем. Бабы тоже остановились на краю поля, мужики шли делиться и стали под
лозинкой. Потом, осмотрев все мои движения, птицы слетаются клевать червей, бабы
за травой, мужики за лес на ту сторону оврага, и там на бугре у них начинается
галдеж дележа.

Нет счастья в одиночку! Земля такого не принимает, отталкивает. То лямка
оторвалась – нужно лямку перевязывать, то болты расшатались – подвинчивать
болты, то лошади отчего-то не идут, и я кричу:

– В борозду!

Как эхо отвечает сосед мой хуторянин надрывно из кустов:

– В борозду, подлая!

Тоже одинокий, оторванный голос. А из кустов кто-то хозяйски строго:

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
– «Хомут, хомут».

Правда, смотрю, хомут рассупонился и натирает Рыжику шею. Поправляю хомут, и хорошо мне думать, что вот хоть один человек нашелся и считает мое дело за настоящее и помогает. Хочу ему спасибо сказать, а его уже и след простыл: далеко в мареве пусто, колышется какой-то незнакомый, вовсе сивый старик.

Загон мой в день чуть побольше полнivy. Утром я намечаю себе верную линию через два полынка на дерево, прорезаю так с четырех сторон, черной каймой вспаханной земли окружаю зеленый пар, и то, что вспахано, ширясь, ширясь, – одна половина моего мира, а зеленое внутри – другая.

За лесом на бугре всё делятся, день ото дня у них сильнее галдеж, и ничем это остановить нельзя: то кого-нибудь обидели – опять делятся, то кто-нибудь новый пришел – новый передел, то другая деревня грозитя отобрать себе землю и наших вовсе прогнать. Бушует дележ, как мутный поток по оврагу.

Разные формы принимает зеленый пар внутри черной каймы пахоты: к завтраку закругляется, к обеду становится с шейкой, потом шейка тает – исправляю углы, пашу треугольник, из него выходит нож, потом бритва, стрелка, и когда солнце садится, я по узенькой зеленой стрелке провожу последнюю борозду и кончаю: зеленого нет, все черное, паханное, мое.

Работа медленная, и когда поймешь ее, то все оказывается в лошадях: сам выходишь либо лошади. И так, не работа сушит, а забота о лошадях: дать отдохнуть, попить, покормить, наносить на ночь травы – лошади пашут, человек только ходит за ними. Полегоныку работая, поднял я за неделю пар плугом, двою сохой и зараз бороню, а там, на бугре, все еще не разделено, и пар там невзметанный, заросший, твердый, как сухая земля.

По-разному мы понимаем землю и волю, но здесь, на пашне, те же самые люди говорят совсем по-другому, и много доброго получил я от них и кланяюсь теперь всем бескорыстно мне помогавшим советом и делом. А больше всех низко-пренизко кланяюсь неизвестному мне белому старцу, который мне раз из кустов крикнул: «Хомут, хомут!» – и спас мою лошадь от раны. Привелось мне с ним еще раз встретиться в жаркий полдень, когда из влажной земли поднималось марево. Худо мне было тогда на душе, скажу прямо: отчаялся. Нехорошими словами, как сосед мой, кричал я на усталую лошадь, соха прыгала, палица постоянно выскакивала. Вдруг из кустов крикнули:

– Борона, борона!

Оглянулся я, а лошадь с бороной не за мной идет, а стоит на том конце борозды и травку щиплет: до того, значит, я разошелся душой с этим миром, с этой землей, на которой родился, что лошадь с бороной потерял. Стыдно мне стало, и не знал я, какими глазами посмотреть на того, кто крикнул мне: «Борона, борона!» Улыбнулся я жалкой улыбкой, как нерадивый работник хозяину, посмотрел, а сивый старик уже далеко от меня идет, колышется в мареве, осматривает наше общее хозяйство, нашу общую землю – родимую мать.

IV

Осеннее прощание

Какая тишина в осенних полях, далеко где-то молотилка, будто пчела, жужжит, а войдешь в лес, там с последним взятком пчела жужжит, как молотилка, – так тихо! Земля под ногами, как пустая, бунчит.

Подхожу к людям в ночном с лошадьми.

– Был мороз?

– Был, да росую обдало.

Люди эти, пролежавшие всю ночь на тулупах, простые как полевые звери, и разговор их был про зайца, которому корова наступила на лапу, – все смеялись, что заяц вился под коровой, а она жевала и ничего не знала; про то, как из лака с помощью соли можно спирт добывать; про немцев, которые из дерьма масло делают; про лисицу, про выборы и где керосин раздобыть, и как лампу керосиновую переделать на масляную, про махорку и набор Красной Армии.

Я удалился от них рубезом, поросшим муравью, в Семиверхи, где сходятся земли семи разоренных владельцев. Светлый водоем в парке, обрамленный осенним цветом деревьев, как затерянное начало светлого источника, встретился мне на пути. Тут из разноцветных деревьев: кленов, ясеней, дубов и осин, – я выбираю самые красивые листья и готовлю из них цвет совершенной красоты.

Вот я вижу теперь ясно, как нужно жить, чтобы вечно любить мир и не умирать в нем навсегда: нужно с ним расстаться при жизни, чтобы он скрылся для глаза и стал как невидимый град.

Источник радости и света встретился мне на пути, но я не раз встречался с им и потом скоро терял. Как удержать мне в памяти тропинку, по которой пришел я сюда навсегда?

В пении последней пчелы слышу я голос, что нужно проститься с родною землей.

Выхожу на опушку леса и малодушно теряюсь перед наступающей тьмой. Но и тьма не могла закрыть от меня радостного мира: еще не успела потухнуть вечерняя заря, как с другой стороны поднималась луна, свет зари и свет луны сошлись вместе, как цвет и крест в ярких сумерках.

Какая тишина в ярких сумерках полей! Как пустая, бунчит под ногами земля, зажигаются звезды, пахнет глиной родной земли – невозможная красота является в ярких сумерках, когда расстаешься навсегда с родною землей.

От земли и городов

Письма из Батищева

1

(В свое время Батищево (Смоленск<ой> губ<ернии>, Дорогобужского уезда) было Меккой народников, и все в русском интеллигентном обществе его знали. Теперь необходимо напомнить, что славу Батищевскому хозяйству создал А. Н. Энгельгардт, профессор химии, «по независящим обстоятельствам» поселившийся в этой глуши. Перед каждым выдающимся деятелем в зените его дела и славы является искушение малых сих, так и к А. Н. Энгельгардту после его знаменитых писем «Из деревни» потянулись паломники, прозванные в Батищеве «тонконогими». Не знаю хорошо происхождения этого названия, одни говорят, что кличка эта была дана первому ученику с необычайно тонкими ногами, другие, что крестьяне вообще так называли батищевскую интеллигенцию за узкие брюки.

А. Н. Энгельгардт, человек исключительной инициативы, воли и дела, а рядом с ним «тонконогие» со своим вопросом «что делать?» – вот первое, о чем мне хочется написать вам, когда, с одной стороны, народническое дело в свете грандиозного перелома в крестьянской действительности так интересно возвращается нашему сознанию, а с другой стороны, Батищево стояло почти что научным городком (Энгельгардтовская областная сельскохозяйственная опытная станция).

А. Н. Энгельгардт жил в таком маленьком и худом домике, что зимой за ночь мокрый веник примерзал к полу; по десяти лет, не снимая, он носит одно и то же платье, часто ест-пьет с рабочими, не имеет никакого общества; жизнь такую вполне можно назвать аскетической. Но подвиг совершается из целей часто земных – ему просто надо сделать доходным свое имение, применить к хозяйству свои знания по химии, потом и других научить и так оказать свое общественное «Я». Кроме того, ему хочется из русской интеллигенции выработать тип независимого сельского хозяина, в этом он курьезно сходится со Столыпиным, который хотел сделать то же самое с крестьянином.

Энгельгардту, как и Столыпину, нужно создать крепкого на земле человека, разгрузить государство от босячества и чиновничества всех видов. Для этого Энгельгардт хочет возбудить в интеллигенции чувство самости, свойственное каждому мужику, то животворное начало, носители которого в природе называются самцами и самками, в человеческом мире из уважения к интеллекту эти названия не применяются, там человека-самца называют хозяином и самку – хозяйкой.

По нашему представлению, без животворного начала самости не может быть никакого хозяйства, ни личного, ни общественного, ни государственного, и это чувство неизмеримо шире чувства собственности; без силы самости нельзя быть хозяином, нельзя даже просто быть в природе, держаться на земле, а только висеть в воздухе

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
и спрашивать – что делать.

Вот, между прочим, этой-то самостью через мужицкую работу и хотел Энгельгардт наделить интеллигента, вернуть блудного сына из тюрьмы интеллигента в отчий дом природы.

У Энгельгардта задача была чисто деловая. Он был в России прагматистом, т. е. волю к жизни (дело) ставил на первый план в существовании человека. Психологически его натура совершенно противоположна натуре народника-интеллигента, но внешним образом его жизнь совпадает с идеалами народничества; и его аскетический образ жизни, и его земледельческий труд, и особенное внимание к мужику. Он звал в «мужику» по такому короткому рассуждению: мужик умеет работать, но не пользуется своим трудом, потому что работает не по разуму, а инстинктом, как все в природе; наоборот, интеллигент все понимает, но делать ничего не умеет, – итак, надо отдать интеллигента в мужики, чтобы он внес в работу разум, не хватаящий в труде мужика. Это рассуждение, вполне верное логически, все-таки до наивности просто и живо напоминает нам первый период революции, когда инженеры, учителя и другие специалисты занимались на полях и огородах сельскими работами.

Жутко читать договоры о работе Энгельгардта с «тонконогими» – работать от зари до зари, жить, есть с деревенскими рабочими и даже чаю по возможности не пить, а жалованье получать условно: хороша будет работа – получит, нет – без жалованья. И все бы это ничего, если бы вправду учиться хозяйствовать, но у «тонконогих» хозяйство не цель, а только средство для реализации своего высшего «Я». Жутко читать, как молодой человек решается бросить столичную жизнь; – ему бы такая жизнь, как алмаз, должна сиять всеми гранями, и покутить, и поплясать, и наукой заняться и художеством, а он едет в пустынные дебри Смоленской губернии, в мрачное место изгнания профессора, ставшего полевым хозяином. Еще более жутко следить, когда «тонконогий» приехал, поместился в рабочем сарае, от лихорадки работы не спал всю ночь, и вот утром староста, осмотрев его, посылает «на теплые воды», т. е. корчевать пустоши, понятно, что всем не хватает такой увлекательной работы, как бороновать или пахать, да и нельзя ее поручать первому «тонконогему» – до этого надо еще дослужиться и попотеть над корчевкой и вырубкой на «теплых водах».

Мы можем вперед сказать, чем кончится этот неестественный союз делового человека с «тонконогими». Затеряв свое в чужом деле, «тонконогие» постепенно заслоняют пустоту своего природного существа общинностью. Теперь учитель уже начинает подсмеиваться над своими «тонконогими», тут обнаруживается вся пропасть, разделившая «тонконогих» с Энгельгардтом. Пропасть эта состоит в чувстве самости, стихийно живущей в мужике, культивируемой Энгельгардтом, и от которого, как от черта, отрещиваются «тонконогие» со своей общиной.

Пусть тяготеет над мужицким миром его община, созданная фискальными задачами правительства, пусть даже существует эта община как выражение общих интересов крестьянства – пусть! Внутри этой общины каждый мужик живет для себя, он сам большой о своей конуре, и в нем самом – весь творческий мир природы, сам большой и щей горшок.

Нам удалось теперь быть свидетелями величайших событий в крестьянстве, мы видим ежедневно, как из общего крестьянского мира там и тут выходят эти самости, беспощадные в своих достижениях, способные на титаническую борьбу пассивного сопротивления, лишь бы стать самими собою. Наблюдая этот закон природы, рождение индивидуальности, такой же неизбежный и жестокий, как физические роды живого существа, мы улыбаемся, когда интеллигент со старой закваской тоскует, не узнавая прежнее крестьянство, о котором он составил суждение по своему же чувству жалости к бесправному, забитому народу, прозябавшему в невежестве и бедности, как Антон Горемыка. Мы улыбаемся нынешнему разочарованию в народе. И той же улыбкой улыбался Энгельгардт «тонконогим», устраивавшим свою новую общину без самости. Но горько думать об этой улыбке, и, верно, горька была она ему самому. Сам же он выдумал призвать интеллигентов в мужики и научить их мужицкой работе. Но как же можно научиться этой работе без чувства хозяйственной самости, без того стального ума, которым дух и материя связываются в чувстве личного обладания вещью?

Печальный эпилог похода «в мужики» расскажут теперь старожилы деревни Батищево. Среди общинников был настоящий простонародный самец-хозяин Иван, который не только отдавал себя физическому труду, но и держал в голове общий план

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru хозяйства; он и забрал в свои руки все хозяйство и с помощью капитала одного богатого общинника устроил обыкновенное батрацкое хозяйство. А «тонконогие» все разбрелись. Один из них начал на Кавказе другую общину («Криницы»), основанную на религиозных началах, но, кажется, тоже попавшую, в конце концов, в руки хозяйственного самца вроде Ивана. И много на своем веку я видел разного рода общин, но все они кончались, потому что их одухотворенные вожди не были связаны жестокими законом природы хозяйственной самости, и это брал на себя индивидуум.

Представьте себе картину мечтательно пространственных сумерек нашей родины. Кому не бросалось в глаза, что литература русская, столь отзывчивая на жизнь, кажется, ни разу не использовала широко распространенный на Западе сюжет, что какой-нибудь бедняк долгим, упорным и честным трудом добывается относительного материального благополучия, общественного положения и вообще того, что называется счастьем. В России такое счастье не может достаться труженику, потому что его перехватывает хитрец. Разбогатеть от своего труда было необычайно в России, и если бы и явился такой счастливец, то ему бы не поверили и сочинили бы непременно легенду о его первоначальном счастье – случае, например, что ночевал у него богатый купец, забыл у него бумажник с деньгами, и с этого пошло, а то – что прибило к его домику баржу с товарами, и что – попалась в неводе золотая рыбка. Словом, для среднего человека нельзя подняться над своей средой; поднимается только кулак или царский человек, и потому в русской литературе нет таких сюжетов. Над жизнью русской господствовал как бы нравственный комитет бедноты, клеймивший каждое проявление индивидуальности. И все-таки каждый даровитый человек в душе лелеял самца-хозяина, каждый хотел бы жить богато и хорошо.

Энгельгардт все это хорошо понимал и видел спасение от косности, с одной стороны, и хищности – с другой, в создании естественных условий для проявления чувства самости, которое интеллигент и до сих пор еще называет мещанством. Энгельгардт хотел всеобщего признания этой самости и возрождения, хотел в мягкие души интеллигентов вселить свой настойчивый дух, в их «тонконогие» тела влить мужицкую кровь. Но он был тоже мечтателем, как все одиночки.

В то время как он делал свои опыты, интеллигенция все сжимала и сжимала заключенный дух, который рано или поздно должен был разрушительно вырваться, и другой вулкан нашей жизни – мужик копил свою потенциальную мощь в жажде земли. Кто не слышал этого всероссийского крика: «Земли, земли!» Наш крестьянин похож был на Адама, которого Бог вновь сотворил и вновь выгнал из рая с той же заповедью обрабатывать землю в поте лица. Но земля уже вся была в руках старого Адама, и, послушный заповеди, новый Адам бродит по всему пространству: «Земли, земли!»

Еще нет у нас такого специального исследования, которое бы анализировало до конца, что же именно хотел выразить крестьянин своим криком: «Земли!» Хотела ли земли вся эта инертная темная масса, чтобы только остаться жить по-старому, плодиться, множиться и так осуществлять естественную самость, распространяться в ширину, как всегда росло Русское государство? Или, может быть, так же, как наш ученый пионер в Батищеве, этой жадой земли народ косвенно хотел выразить необходимость существа личной инициативы, которая должна бы оплодотворить эту пустынную землю?

И это ли не великий народный переворот? Мы не слышим больше крика «Земли!», и земля во многих местах лежит так. Зато без шума и крика хозяин подбирается к земле и завязывает свой крепчайший узел. Культ бедности, который начинается с Антона Горемыки и кончается манифестацией комитетов бедноты, окончательно потерял свое значение и растворился в повальной болезни сего общества как «бешенство кухарок»: все общество, принужденное своими руками стряпать свою скудную пищу, ворчит неустанно, охваченное этой болезнью кухарок. Так крылатое слово вождя Октябрьской революции: «Мы научим каждую кухарку заниматься государственным делом» привело нас к необходимости считаться с этой до сих пор мало известной болезнью.

Когда-то плакали люди над повестью «Антон Горемыка», почему же теперь так слабо отзываются на ужасы людоедства Самарской губернии, и повесть о голодном едва ли станут читать. Зато теперь уже почти что можно взять своим героем удальца с войны, в запрещенное время возившего под пулеметами в Москву муку, наделив его чертами новгородских ушкуйников. Пусть наш новый герой на эти средства сколотит себе мельницу пудов на тридцать в день дохода, строит себе большой дом на хуторе

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru и кормит не одно жирное животное в своем свинарнике. Положительные черты самости героя – отвага, настойчивость – почти-почти сейчас (не вслух еще, а молчаливо) балансируются с отрицательными.

Вы скажете, это падение идеалов. Да, это падение. Но в то же время и освобождение закованной силы земли. Энгельгардт был предтечей буржуазного строительства обыкновенной жизни земли, этого крайне нужного нам теперь дела, потому что прямо или косвенно всякая личность нуждается в этих питательных соках земли, нужно быть снисходительным к этим миллионам людей, которые размножаются и непрошенно хотят быть на земле счастливыми. И нельзя называть это естественное чувство жизни мещанством и буржуазностью. Но если вы не хотите обойтись без этих слов и они дают вам понятие о силе жизни земли, росте ее населения, растительного, животного и «человеческого», то пусть будет по-вашему, и я скажу, что Энгельгардт был предтечей буржуазной революции в России.

II

Ждали мы, ждали слова живого, и вот Алексей Максимович (Горький) натужился и удивил всех нас, сидящих, безмерно: жестокость (?) русского народа восходит к чтению жития святых.

От понимающих людей, наверно, уже ему, бедному, жестоко досталось, и не буду разводить критику, все-таки его ех-мысль родилась в твердом виде; на множество прежних народолюбцев революция подействовала слабительно: губки надули и крест свой испачкали.

В ожидании истинного слова и буду вам писать, как путешественник из страны дикарей, оставив в стороне свою кровную и душевную связь со своими лесными предками. Мне всегда казалось, что живем мы, люди читающие, среди неграмотных, что мы болезненно преувеличиваем значение книги, а они преувеличивают свое к ней презрение. Обижаться мне теперь не на что, хотя и обобран с головы до ног. За это время у меня, Робинзона, были такие Пятницы, что, как вспомнишь, – слеза прошибает; бывали и такие злодеи, что удивляешься, как обошелся без кровопролития, ни одной души не загубил, – все было. В стихии народной есть все, и если о ней серьезно говорить, то надо с себя начинать. И так будто предстал на Страшный Суд. Но знаете, все как-то жить хочется, и суд этот оттягиваешь, а робинзоновская точка зрения тоже позволяет сказать кое-что.

Сейчас у нас покос и жнев вместе сошлись, работа убийственная, а тут еще червяк взвалился. Я только что вернулся с прогулки: верст семьдесят босиком, ржами, овсами, лесами прошел, и везде один разговор:

– В вашей стороне червяк жрет?

– Жрет.

– Окаянная сила!

Plusia gamma называется червяк по-агрономически, льняная совка, ест и бураки, и картошку, капусту, горох, но главное – лен, так что от него остаются только одни голые стебли.

Происхождение Plusia gamma, конечно, небесное, и доказывается экспериментально: расстелили холсты белить, ночью дождь пошел, утром холсты были покрыты червями, значит, червя Бог с неба дождем послал и в наказание: ризы из церкви обобрали, вот Господь рубашку у человека отнял.

и бросились к попам молебн служить.

Молятся и смеются, да еще как хохочут, и над попами, и над самими собой. Помолились, посмеялись, утром встали.

– Ну как, жрет?

– Чернеется.

– Да ты посмотри, жрет ли.

Посмотрели и ахнули: весь червяк сидит на льне мертвый: на чернь тоже какая-то

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
плесень напала, температура понизилась за ночь, и к утру он весь был готов.

Попы-то, попы, верно, как ликуют.

А вот книга, и в ней сказано, что Plusia gamma всего два раза и показывалась, раз была в Пруссии и один раз у нас, больше ничего не сказано, кроме анатомии, физиологии, биологии.

– И все?

– Все.

– Это причина, так сказать, а как же обойтись?

– Про это ничего не сказано.

Всего два раза показывалась, и, конечно, меры борьбы еще не выработаны, – ну разве можно все по книге сказать, и как тут обойтись без молебна.

Но позвольте мне представить дело по-агрономически, рационально.

Я был сейчас в деревне и видел страду: великую, нисколько не меньше, если не больше некрасовской, и это очень удивительно должно быть для вас, горожан, потому что страда связана с работой на помещичьих землях, – нельзя, кажется, назвать страдой работу на двух-трех десятинах с одной лошадей и коровой. И все-таки, оказывается, страда великая. Я смотрел на нее не глазами Некрасова, а женскими очами Натальи Яковлевны, бывшей учительницы, заведующей детской колонией.

Краткая история Натальи Яковлевны: была в колонии и вышла замуж за деревенского парня, оттого, что очень замучилась в колонии. Не выдержала, прокляла учительство и бросилась в деревню на безначальное житье.

Посетил я ее.

– Что вы теперь чувствуете?

– Спать хочется.

– В каком смысле?

– В обыкновенном: спать и спать. С утра до вечера одна единственная мысль в голове, как бы выспаться.

– Неужели муж не дает?

– Муж жалеет.

– Хозяйство?

– Маленькое хозяйство.

– Кто же вам не дает выспаться?

– Кузьма беспокойный. В колонии булавками кололи – рвалась куда-то жить, а теперь Кузьма обухом пристукнул, и спать хочется.

Вот мы тут и разобрали крестьянскую жизнь всю до ниточки. Начинаем с коровы, потому что это же самое главное. Для коровы нужно луг достать. Раньше это было очень просто: из полу или из трети у помещика. Теперь луг распределяет Луговая комиссия. Ловкие люди перед наделом убогаторят, кто хлебом, кто самогонкой, кто поросенком, а когда время приходит делить луг, смотришь, мужики не делят, не косят, а «в косы играют» (режутся косами). Такое у нас хозяйство дурное, что к самой работе – голодные: ни мяса, ни хлеба, ни картошки, а только свекольная ботва, приправленная молоком. Голодные, раздраженные, как звери, делятся, подступить нельзя. Порезались, попы драли бороды, кое-как кончили – и косить.

По дождливому времени косят исподволь, покосил, посушил, урвал воз из воды и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
опять немного скошил. Будь хозяйство на отдельном участке, там бы ни делиться, ни спешить – работай, когда есть силы и погода хорошая. А тут работа по Кузьме беспокойному, так и за стол не садится, с куском хлеба ходит, а как он на работу – тут все бросай и спеши, а то полосу и скосят, и помнут. Тут жатва подоспела – жать тоже миром. Так выходит, что поспать некогда, голова работает – на миллион, а дела на копейку.

Скучно мне все это описывать, поверьте на слово такой чепухе, что из-за коровы одной, лошади одной, двух подсвинков, двух овец, двенадцати кур, дети уже на последнем плане, – приходится до восхода вставать (к пастуху) и лечь перед самым рассветом. Притом злоба такая между собою в деревне теперь, что человеку страшно в глаза заглянуть.

Так ведет дело Старый Хозяин, и я критикую его агрономически. Опять без радости, поверьте мне, что весь этот ад кончается, как только человек выходит на отдельный участок.

Это вдруг поняли – деревни лопаются, можно сказать, каждый день. Одна мне знакомая деревня очень долго держалась: никак не собиралось большинства в пользу раздела. И вдруг половина дворов сгорела. На одной деревенской половине гармонья играет, на другой – плач и скрежет зубовой. И постановили на сгоревшей половине: сжечь другую половину, где на гармоньи играют.

Но до пожара второй половины все-таки не дошло: поставили сторожей, выбрали свое добро в другую деревню и начали переговоры о выходе всех на участки. Позвали землемера, и все рассыпали, как горох по кустам, и вся «страда» кончилась.

Агрономически тут нельзя успокоиться: в сущности, это старое славянское расселение починками, а каждый из этих отдельных дворов со временем должен превратиться в прежнюю деревню, и опять должен подняться крик: земли, земли. Но тут важен разлад со старым бытовым укладом.

В начале революции говорили:

– Революция произошла, а ум человеческий не произошел.

Теперь по всему видно:

– Ум произошел.

Иду я как-то к Карлу Герасимовичу и думаю: «Русский он, православный, почему же имя у него лютеранское». Спрашиваю девушку про это.

– Мы зовем его Кирюшкой, – ответила она, – а это он сам себя назвал Карлом.

Прихожу я к этому Карлу: молодой он человек из военнопленных Германии, семья обыкновенная – старики, детвора. Все садятся за стол к общей чаше. Богу помолились. У Карла чашка отдельная, и Богу не помолился.

– Вы что же отдельно, и Богу не молитесь?

– Не молюсь: германский Бог крепче.

И посмотрел на своих вызывающе, те посмотрели на него: видно – борьба.

И начинает Карл все критиковать: разве это жилье без фундамента? Разве это дом – изба? Каждые десять лет подгнивает, а вот у немцев...

– Стоило у коров холодное и темное, корм дают без меры, а у немцев...

– В избе грязь – отчего? Бабы занимаются каким-то плетеньем, а вот у немцев...

– Навоза не хватает, золу выбрасывают на улицу, а у немцев...

И так все до последнего, до самого имени собственного: нет, всю жизнь надо переделать и начать с собственного имени, он теперь не Кирюшка, а Карл...

Смешно, конечно, но ведь если с большой высоты посмотреть на западника Чацкого в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
староколенной Москве, чем он отличается от Карла и что он, кроме западного, дает
старой Москве.

Наш Карл – это Чацкий в деревне, свой самородок деревенский.

Никола Сидящий

Наше село сидит на торфяном болоте, пусть оно раньше называлось Иваново, а
теперь стало называться Люксембург, ничего от перемены названия болоту не
сталось: грязь в Люксембурге совершенно та же, как испокон веков было в Иваново.

Не понимайте только меня, как любят понимать русские люди, притчами, я не хочу
сказать, будто ничего вообще не переменялось, вот, например, недалеко от этого
Люксембурга есть маленькая деревенька и в ней теперь завелось электричество,
притом безо всякой помощи правительства, просто крестьяне купили себе для пахоты
трактор и этот же мотор приспособили в темное время для освещения. В деревне
этой даже нет ни одного коммуниста, а просто порода людей такая: лет тридцать
тому назад, когда только что появились волшебные фонари, в этой деревне был
первый волшебный фонарь. Зато верст двадцать от нее есть другая деревня, там
никогда не было волшебного фонаря и теперь она самая озлобленная, темная, и от
революции ничего не перенимает себе хорошего. Нет, я не хочу говорить притчами,
что ничего не переменялось к хорошему в жизни местных людей, а исключительно,
что в Люксембурге от перемены названия грязь не уменьшилась и как было, так и
осталось болото.

Был в этом болоте человек, у него был большой двухэтажный дом ужасных пропорций,
без всяких украшений, просто кирпичный сундук. В нижнем этаже была мясная лавка
и бакалейная, приказчики продавали, а сам хозяин, человек пожилой, но еще
крепкий, в то время чуть только мука в бороде стала показываться, сидел
обыкновенно на камне возле лавки: чего ему соваться самому, поработал довольно,
дело налажено, сиди и сиди. В налаженном деле и с улицы, чуть перебой, – слышно.
Тогда хозяин встает с камня и в дверь: «Стерва».

Все затихает. Хозяин, прозванный у нас Никола Сидящий, опять садится на камень,
глядит на базар и молчит.

Хороши базары были в Иваново, кто не любит и не понимает базара, тот ничего не
понимает в этом житье-бытье. Вот в том-то и штука, не с лица надо смотреть нашу
провинцию, лицо у нее под платком и только нос виден, но живот, у-у какой живот
в базар раздувается. Со всех дорог, со всех концов лесных, полевых и болотных с
раннего утра трусят лошадки и везут, чего, чего не повезут бородатые овчинные
мужики. Бывало, купишь себе горячей самодельной колбасы с пол-аршина с ситником,
мнешь это, а леший прямо на тебя лезет по бочкам, прет на баб, ноги давит,
валяет ребят, кругом на него ругаются, кричат: «Куда ты лезешь, куда ты прешь?»
– а он все лезет и лезет и прямо на меня, наметил и прет; вот и добрался.

– Чего тебе, дедушка, надо?

– Чистого деготьку, батюшка, деготьку.

– Я не торгую.

– Чего же ты возле бочки стоишь?

– Колбасу ем.

– Колбасу...

А сам наметил себе еще где-то и полез в самую гущу куда-то за чистым деготьком,
и так он целый день будет лазить, валять ребят, баб давить, и сколько их, леших,
тут лазит, толчея, теснота в брюхе базарном несусветная.

Живот раздувается, и здорово варят кишки, а в кишках, как газы брюшные, разные
спекулянты шныряют, скупают, перепродают. К вечеру брюхо повисло, и остался на
площади только сор и навоз, да Никола неизменно сидящий на камушке.

Ну, как вы думаете, запой есть болезнь, или же, как голод телесный, например, к
людоедству приводит, а так голод духовный к вину и самому ужасному безобразию?
По-моему, так исходит от духа: нельзя же сидеть годы на камне и только смотреть

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
по постным дням на базарное брюхо. Раз в месяц это бывает с Николой, поднимается с камня, и сейчас же, как вороны на падаль налетают, сбегаются разные людишки смотреть, что будет разделявать Никола Сидящий. Сначала из лавки торчма головой летят приказчики в грязь, потом собираются в очередь здешние известные люди:

Лихобор, первый в очереди, кривоглазый, с полотенцем на плече, трактирный слуга,
за кривым рыжий Барбос, вышибало из темных номеров Анны Ивановны Мейер,
за рыжим плешивый, маленький Щучка,

за кривым, рыжим и плешивым всегда Фунтик, кумовья Опилковы, сваты Обрезковы, Тютюшкины и под самый конец Бегунок, мужичонка мусорный, плохенький, за пятак пять верст пробежит. И в стороне от очереди из любопытства стоит поп Сашка с двумя дурачками, один Сало-Макало («коли бы деньги, я бы сало макал»), другой Григорий Великий (ходил с Петром Великим в поход против Александра Македонского).

Как раненый медведь в берлоге зверует в своей лавке пьяный Никола Сидящий, не подходи близко, каждому морду морсом покрасит. А поп Сашка со своими дурачками подзуживает очередь:

- Ну, подходи, Лихобор.
- Что же, не подойду?
- Попробуй.
- Стервятина.

И летит Лихобор с разбитой рожой в базарную грязь.

Здорово, хохочет поп Сашка:

- Ну, как ты, Барбос?
- Стервятина.

И рыжий кровью рожи своей поливает грязь.

За рыжим плешивый Щучка, Фунтик пухом летит, кумовья Опилковы, сваты Обрезковы, Тютюшкины, мусорный мужичок Бегунок, и Григорий Великий, и Сало-Макало, одного попа спасает его благодать, он смело входит в берлогу и запирается в лавке с Николой Сидящим.

Если для прежнего русского человека страшнее слова, как война, нет. Суд страшнее войны: война ахнет, как муху обухом по затылку, так кончено, а суд, как мухе паутиная сеть; тут разбираются и, как из мухи паук, выпивает судья из жертвы своей каплю за каплей. И как это страшно подумать, что вот я, какой уж там я, Бог его знает, отбитый, отшитый под лопухом в дряни сидел, и этому самому «я», Страшный Судья с золотой цепью велит: «С великим своим мусором и подлостью приступите...»

Больше всего на свете боялся Суда Никола Сидящий, и вот, когда лавка его после побоища опять открывается, то вся очередь уже опять тут с раннего утра дежурит, и все по порядку старшинства без всяких споров и торгов получают: Лихобор побольше, Барбос поменьше, Бегунок, Григорий Великий и Сало-Макало получают требухой и овечьими шейками.

Вспомнишь все это как было, и кажется, прошло сто лет, и рассказываешь своим правнукам, а какобразишь, то оказывается так быстро время летело, и много всего было, и я летел по разливу на своей лодочке, но, когда спала вода, кто остался? да все те же самые люди.

Николу Сидящего с камня, конечно, сразу разливом сняло, где он был, что делал, как кормился – ничего не могу сказать. Раз, когда подходили казаки, я видел его на бревнах возле биржи, Никола сидел, надвинув козырек в пол-лица; в черных картузах те же, надвинув козырьки в пол-лица, как вороны сидели на бревнах, и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
другие наши купцы. Все молчали; как нам кажется, и птицы сидят и молчат, а на самом деле все отлично понимают друг друга без слов.

Дожидались и ничего не дождались хорошего. Сколько надписей сменилось на доме Николы Сидящего, в боевое время надписи были мелом, такая-то рота или дивизия, потом и по-настоящему: Женотдел, Утромот – чего-чего не было красным написано и расписано по дому Николы Сидящего.. И вот, наконец, появилась белым по синему: «Чайная Нэпо», застучали молотки на базаре – строили, городили ларьки, лавки, навесы, мужик попер опять весь на базар, живот стал опять раздуваться, и Никола Сидящий, уже весь сивый, показался снова на камне, сидит, но не торгует пока и едва ли когда-нибудь осмелится – грузен как-то и даже в новых деньгах соображать плохо умеет.

Торгует в ларьке первый из очереди Николы Сидящего, Лихобор, бывший трактирный слуга, двухмиллиардные налоги не почесав в голове платит, лохматую шапку надел, дочка в шляпе ходит.

Хлестко берет и вышибало Барбос, Щучка надел галифе и стал, как журавль на тонких ногах, фунтик, кумовья Опилковы, сваты Обрезковы, Тютюшкины, даже мусорный мужичок Бегунок ходит теперь с папиросами. Ну, а уж поп Сашка, трудно сказать, как ему стало: пожалуй, что поп проиграл. Под горячую руку в революцию отказался от Бога, в коммунисты пошел и на выгоцком деле был на заготовке кислой капусты, но не сумел уравновесить себя, был сокращен, исключен, пробовал опять в попы возвратиться – не приняли в попы, и от нечего делать сколотил ларек, торгует. Дело его ничего, только весь он издергался, стонет, как воробей, клюнет и оглянется, клюнет и оглянется, возле лавочки своей минуты не постоит спокойно, раскладывает, перекладывает и то рукой держит, то ногой – смешно. И прозвали попу Сашку за живость его на базаре «Живая Церковь». И так это пошло по базару во всеобщее употребление, и тот леший, когда начинает лезть и давить народ, ему укажут дорогу: «Куда ты лезешь, пошел в Живую Церковь, вон там».

Бывало, купец сам на резиновых шинах летит и поджилки трясутся, и как не трястись, его нажива на большом поле, и уж если пролетишь, то пролетишь по-настоящему, а так на фунт ему какая-нибудь часть копейки достается; теперь на фунт норовят пять нажить, и риску нет никакого, хочешь – торгуй, хочешь – лежи, товар все равно дорожает, чего такому купцу бояться, его сама судьба богатит.

Ну, а если бы и пролетел, куда пролетел: ниже того, где был, не упадешь. Вот почему новый купец отчаянно смел и его судьба богатит.

Зато старый купец Никола Сидящий всего боится, он теперь окончательно сел, и жизнь несется мимо него. Только твердо верит Никола в одно: что всему этому будет конец. Не на что выпить больше Николе, но зато духовного вина у него в избытке и дар пророческий открылся ему на старости лет. Из далеких глухих мест приезжают к нему залетные люди узнать, как и когда все это кончится. И Никола Сидящий по апокалипсису им точно сроки указывает.

Слушаешь, слушаешь его предсказания, и досада возьмет, он одну книгу прочел и предсказывает, а я миллионы и ничего не могу предсказать, в досаде и скажешь:

– Никола Яковлевич, апокалипсис написан на греческом острове, почему же вы его так-таки прямо на Россию и переводите?

– Приходите, – скажет, – завтра, отвечу.

Назавтра выискал строку и указывает:

– Северные царства. Видите, – скажет, – прямо и сказано, что все сие совершится в северных царствах.

Раздосадуешься и, откуда что возьмется, сам ему наговоришь от своего разума, как непременно будет в России.

– Ну?

– Приходите завтра, отвечу.

Назавтра:

- Ну, как будет, по-моему?
- Будет.
- Ну?
- Только будет сие на малое время.

А потом и пошел, и пошел по своему вечному плану.

Перебьешь:

- Ну, на малое-то время все-таки будет.
- Будет, ну так что: на малое-то время тебе и поп Сашка предскажет, иди в Живую Церковь – спроси...

Так в нашем местечке после революции разделилось все на две церкви: одна у камня Николы Сидящего, мертвая церковь, предсказывает на вечные времена, презирая малое время, в котором жить нам и умереть, а другая, живая церковь, в ларьке попа Сашки интересуется только тем, что на малое время.

Милость мира

С бульвара на бульвар с полупудовой жестяной керосина шел я и на Тверском приустал, сел на лавочку; как раз против меня была полусгнившая скамейка, на спинке ее разглядел я застарелые, почерневшие вырезанные когда-то слова: «Долой большевиков», на этой скамейке сидят две старухи, одна простая, другая была раньше барыней. Когда мимо старух проходят кто-нибудь мало-мальски хорошо одетый, старуха-барыня привстает и поет своим ужасным старушечьим голосом:

Голубка моя, умчимся в края,
где все, как и ты, совершенство.
Вы сами, наверно, не раз слышали и запомнили, «Голубка» пристаёт на весь день.

- Голубка моя... – Кто-то подал.
- Мерси, – сказала барыня.
- Спаси Христос, – сказала простая старуха.

Я схватился за карман, но в одном у меня ничего не было, а пока рылся в другом, остыл (обойдется без меня), и, как всегда бывает, когда откажешь в милостыне, стало на душе пусто. Да, это не взятку дать, там можно научиться давать, а милостыню «творят», это особый дар, тут чуть на волосок сознания – и выходит филантропия, еще волосок – к филантропии, выходит политическая экономия.

Пока я так размышлял, толпа окружила плачущую девочку и участливо ее спрашивает, почему она так плачет.

- Мальчика выгнали из булочной, – сказала девочка, – просил милостыню.
- Твой братишка?
- Нет, чужой, да у меня тоже есть маленький братишка, ну, как его выгонят.

И вот как утешали девочку и бранили кого-то, оскорбившего святое народное чувство; видно было, что не угас в народе этот дар – творить милостыню. Простая старуха поднялась с той скамейки, где другая поет «Голубка моя», – подала девочке и прошамкала:

- Ах, шевяки, шевяки.
- Большевики?
- А то кто же, батюшка, все шевяки, раньше в церковь, бывало, копеечку несешь, и хорошо: со свечкой постоишь или поставишь, теперь давай все тысячи.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

А шевяки все шли и шли по бульвару толпой. Тут были, наверно, больше приказчики, чиновники, чеховские вторые скрипки, выбрались из своего сонного обывательского подполья, шли скоро, энергичнее, бодрее, как за границей, где давно уже была революция.

«Так вот отчего, – думал я, – была раньше такая пропасть между видимостью нашей и заграничной, мы того не переживали, а когда до нас дошло, стали быстрее. И появились интеллигентные нищие с пеньем и музыкой, совсем как на парижских бульварах».

Не успел я об этом подумать, как появился другой интеллигентный нищий, стал возле старух и засвистел на свирели. Помню, еще перед войной тут в кафе был чешский оркестр, во главе его был энергичный горбоносый, до Пана только рогов не хватало, играл он тоже на свирели и всегда имел большой успех у публики.

В восемнадцатом или девятнадцатом году, когда вся торговля была закрыта, проезжал я в Москву и тоже под вечер шел по бульвару. Помню, злейший ветер гнал холодную пыль по сухой земле, и вот у памятника Пушкина стал этот Пан, еще в цилиндре, а концы брюк уже поистрепались и были упрятаны в сапоги. Пан поставил цилиндр у памятника и засвистел. Ах, до чего бывают иногда хороши звуки шарманки или свиистульки, если ко времени, откуда-нибудь из-за угла, с чужого двора, и прямо хватит за сердце, с расширенной душой я бессознательно достал целую керенку и незаметно опустил ее в порыжевший цилиндр.

Счастливым день вышел.

В самые тяжкие годы видел я, как из деревни в деревню проходили через всю страну люди, не имея ничего, питаюсь лишь подаванием. Ни за какие деньги, бывало, в избе хлеба не купишь, а так попроси – не откажут. И до такой чепухи доходило в голодный год, когда губерния на губернию наваливалась, и эти беженцы не хотели работать, потому что так подавали – какая нелепость. Но беженцы были несчастны, и им подавали, губерния кормила губернию.

Боже мой, кого я узнал в этих звуках теперь: этот сгорбленный старик с седой щетиной на щеках был тот самый Пан. А играл он по-прежнему. Нежданым гостем залетел на бульвар солнечный луч, и вдруг чудесно вспыхнули последние, не облетевшие октябрьские листки на деревьях. Как люблю я эти последние вестники любви умирающей природы, какой великий завет таится в недрах земли – умирая послать привет свой нашему Солнцу. Умирающий Пан играл на свирели, забылись все мелочи жизни, и радостно подал я старику миллион.

Буйно, размахивая руками, с энергичными лицами проходили молодые люди в прекрасных сапогах.

– Ах, шевяки, шевяки, – повторяла старуха.

Вот когда освободится душа от тела и улетает к себе в вечный дом, то по дороге все простит, все забудет, и станет ей жалко человека, может быть, даже совестно уходить от его страданий и мук в свой хороший дом, вот она задумается, остановится, оглянется на землю и... это звезда на небе.

А у человека на земле милостыня.

Звездами украшено небо.

Милостью простого сердца украшена моя бедная родина.

Москва, октябрь 1922

Сопка Маира

Вы не правы, милый мой зарубежный друг, грусть совсем не соответствует моему нынешнему душевному состоянию, но когда я пишу для «Накануне», то, в сущности, я пишу для Вас и мне становится грустно: неужели мы с вами никогда не увидимся? И как досадно думать, что я не могу настаивать на вашем приезде сюда исключительно по невозможности достать для Вас в Москве сносное жилище: на литературном заработке этого сделать нельзя, я сам, уже хорошо приспособленный, сытый, живу в такой сырой комнатке, что редкий день не болит голова. Но вообще я здоровый, мирюсь со всем ради того, что в России я имею квартиру для своей души: леса наши

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
мало-помалу очищаются от лома первых разрушительных годов революции, на горяч
поднимается буйная поросль, возле дорог открываются мирные пешеходные тропинки,
по которым можно совершенно спокойно ходить.

Не стыжусь сознаться вам и в том, что после голода и занятия не своим делом
радость бытия, как было принято у нас говорить «животная», вытесняет у меня
всякую грусть. Поешь – хорошо, удастся выпустить, хоть и с большими опечатками,
книгу – и думаешь: «заслужил отдых, заслужил!» Раньше, бывало, как-то иначе:
выпустишь книгу и не глядишь на нее, поешь – и загрустишь.

Опишу вам, как началось во мне это оправдание бытия и как вообще снова стал
заниматься своим делом.

Немного больше года тому назад в глухую деревню, где я был учителем и кормился
исключительно тем, что подадут родители моих учеников, приехал первый торговец,
и купил я у него зажигалку с бензином. До этого я высекал искру из своей яшмовой
печати куском старого напильника, затлевший кусок трута клал на угли и дул, пока
не вспыхнет лучинка, от этого дела во рту у меня всегда пахло копченым сигом и
при недостатке питания позывало на сига. И вдруг зажигалка – чик-чик! – и
готово. Первую ночь я, как ребенок, спал с зажатою в кулак зажигалкой. Потом
вместо лучины явился керосин, тоже огромная радость.

В марте прошлого года я собрался с духом и отправился в Москву на разведку.
Какую тут животную радость я испытал при виде открытых продовольственных
магазинов и книжных лавок – не пересказать. Помню, первые прочитанные мною в
книжной лавке слова были Андрея Белого, что Россия – гнилой, смердящий труп, и
все это гнилое, смердящее воскресло, причем это «воскресло» было спущено вниз
пирамидкой, как в старинных рукописях. Из книжной лавки я перешел к витрине
магазина Елисеева, смотрел на балыки, икру, на двинскую семгу, все время
повторяя про себя:

и все это

воскресло.

Обычный в то время припев обывателей о недоступности товаров для бедного
человека меня нисколько не смущал; мне бы только воскресло, а голова моя так
счастливо устроена, что воскресшее непременно попадает ко мне в рот.

Тут же на Тверской некто, делающий карьеру редактора, узнал во мне старого
писателя, попросил меня написать, указал тему, материалы и дал, как говорили,
пустяковый аванс. Но с этим авансом я приехал в деревню и купил пять пудов хлеба
– по-деревенски целое состояние. В этот момент я понял, что власть пуда хлеба
надо мною кончилась, что я выхожу теперь в свет опять на свой почин, на свой
загад.

Признаюсь Вам, что в юности я боялся этой силы пуда хлеба, добываемого из земли
при условиях труда нашего общинного хлебопашца. Замечательно, что и крестьяне
того уезда, где я жил, поняли хорошо тягость этого общинного пуда хлеба и
массами стали переходить на хутора. Наша деревня вся в одну неделю разбрелась по
участкам, я переехал тоже со своим хозяином куда-то в кусты на горушку и назвал
этот хутор именем одного моего рассказа «Сопка Маира». Тут, на этой Сопке Маира,
в августе месяце прошлого года я поселил свою семью и отправился в Москву делать
литературную карьеру.

Милый друг, мы с вами воспитались в такой общественной среде, где непременно
условием было при всяком выступлении признание какой-нибудь платформы или
позиции. Помню, даже при вступлении в члены религиозно-философского общества
Вячеслав Иванов меня спросил: «Вы на какой стоите платформе?» А когда я
удивленно расширил глаза, пояснил: «На христианской или языческой?» Может быть,
и вы теперь спросите меня, на какой позиции я стоял, отправляясь в Москву на
литературное поприще.

Скажу вам пару слов о добродетели. Мне кажется, добродетель вообще склонна к
покою, а из этого порождается лень – мать всех поисков, всякого зла. Напротив,
зло всегда деятельно, у него множество агитаторов, оно заражает, и действие,
видимо, такая же добродетель зла, как лень есть зло добродетели. Где было нам,
голодным, жаждущим жизни корневым мочкам, разбираться в добре и в зле, в

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
позициях и платформах. Я стал непотыдно равнодушен к словам о добре и зле: лишь бы только выбиться на свою дорогу. И такими стали решительно все в обществе, начиная от интеллигентного горожанина, кончая неграмотным крестьянином.

В Москве я поселился в такой маленькой и сырой комнате, – хуже только разве в окопе! Мебелью была одна лавка, и на ней вместо матраца енотовая, съеденная молью шуба поэта Мандельштама. Сам поэт Мандельштам с женой лежал напротив во флигеле на столе. Вот он козликом, козликом, небритый, и все-таки гордо запрокинув назад голову, бежит ко мне через двор Союза писателей от дерева к дереву, так странно, будто приближается пудель из Фауста. «Не за шубой ли?» – в страхе думаю я. Слава Богу, за папироской и нет ли у меня одного только листа писчей бумаги.

Вы спросите, дорогой друг, как это выходит, что описание литературной карьеры начинается у меня с лавки, комнаты и шубы, – потерпите немного. Вы скоро увидите, что это все необходимо. Вот еще баранина, мука, масло, которые назначил мне КУБУ (Комитет улучшения быта ученых). Мандельштам из-за этого поднял, было, настоящий бунт: он, как поэт, оказался ниже какого-то ничтожества, получает баранину по второй категории. К Мандельштаму примкнуло множество обездоленных и в высшей степени талантливых поэтов и писателей. Я сам попал ниже одной ступенью Бориса Зайцева, двумя ступенями ниже Вересаева и тремя ниже Горького (впрочем, категория Горького не обидная: он в ней один). Мы уже начали, было, вырабатывать ядовитую мотивировку коллективного отказа от академического пайка, и вдруг оказывается, что баранина, мука, чай и все прочее выдается всем категориям совершенно в одинаковом количестве и только денежное обеспечение разное, но, в сущности, то же ввиду незначительной суммы и падения курса, все сводится больше к арифметике. Принципиально, конечно, обидно, но за принцип стоял один Мандельштам, и он, увидев себя одиноким, тоже пошел получать.

Стояла жаркая осень, ледника у нас не было, спрашивается, куда девать мне два целых барана? Продавались очень дешевые примусы кустарной работы, я купил себе аппарат и решил зажарить баранину сразу и поскорей съесть. Но только что я поднес спичку к новой машине, вдруг все вспыхнуло. Счастье, в то время я еще ничего не написал, и вообще у меня ничего не было, сгорела только шуба Мандельштама.

Вот он, гордо запрокинув голову, козликом, перебегают ко мне от дерева к дереву. На пепелище своей собственной шубы он опять ставит принципиальный вопрос:

– Америка выдает помощь писателям, но требует подписи «благодарю» – не обидно ли так получать помощь русскому поэту? Не поднять ли этот вопрос в Союзе писателей?

– А что выдают? – спросил я.

– Восхитительные вещи: по двадцать фунтов белоснежного рису, какао, сахар, чай...

– Вот что, – сказал я, – напишем благодарность по-грузински: шени чириме, сульши чириме, гулып чириме...

– Что это значит?

– Так благодарят грузины, это значит: беру твои болезни себе, болезни сердца, болезни души... все болезни беру себе, и войну, и голод, и тиф – все себе, а вы будьте богаты и счастливы.

На этом и порешили и, поблагодарив американцев, получили их ару, а тут еще вскоре подоспел чехословацкий паек, хотя и скромный, но зато без проверки документов и обязательной благодарности.

Так у меня скопилось много добра, и, выбрав день, я повез мешки небывалых у нас продуктов к себе на Сопку Маира. Вот где было удивление, радость и какая-то окончательная реализация моей юношеской мечты о прелестях свободной профессии.

Я не шучу, милый друг, я это испытывал в легкой степени при получении первого гонорара, воплощение моей мечты золотой мне казалось тогда маленьким чудом, после я возвратился и стал принимать деньги за писание, как все. Но теперь юность вернулась: на столе гора белоснежного риса с тающим маслом на вершине, потом сладкое какао и дети, повторяющие: «Ну, спасибо же этим американцам,

спасибо!»

Как грустно все-таки думать, что заокеанские благодетели не понимают заключенной в самом рисе солнечной энергии, которая при соприкосновении с голодным желудком без наших забот непременно превращается в человеческий свет: благодарность.

Итак, поблагодарив с детьми на Сопке Маира американцев, чехословаков и наше КУБУ, я отправляюсь в Москву к новым литературным достижениям. Вы теперь понимаете, почему я так долго останавливаюсь на как будто бы посторонних самой литературе вещах: после всех испытаний мечта и вещь неразрывно соединились в моем существе, исчезла тоже и усвоенная в свое время черта между добром и злом, и то и другое слилось, вернувшись к первоисточнику своему: священной животной или растительной жизни. Не обрывайте, милый друг, настроение, полученное Вами от моего описания горы белого риса с тающим на ней маслом, и прямо получайте сюрприз: я продаю издательству «Круг» свой книгу «Сопка Маира» и покупаю своей семье ДВУХ КОРОВ. Поймите, что это значит: в начале письма я Вам сказал, что все Ваше счастье зависит теперь от квартиры в Москве, как только будет квартира, Одиссей смело может возвращаться в свою Итаку. А у нас в деревне все от коровы, с одной коровой – я человек, с двумя – я богатый человек. Правда, одна корова, моя Бурышка, очень маленькая, но зато она так огулялась, что молоко у нее будет, когда его в деревне ничем не достать в зимние месяцы. Другая корова моя, Рыжка, красавица, священное египетское животное, о котором Розанов говорил, что уж если нельзя к обедне сходить, так сососу хоть вымя коровье. Вот сейчас подходит золотое время, Егорьев день, – егорьевская роса пуще овса, вернется моя Рыжка с поля и легонечко так замычит, как-то особенно музыкально, и польется благодатная струя в подойники.

И все бы хорошо, но вот какое маленькое обстоятельство неожиданно возмутило мое совершенное счастье. Пока я возился на Сопке Маира, книга моя, тоже «Сопка Маира», набиралась. Я не заботился о корректурах, во-первых, потому, что эта, уже когда-то напечатанная книга теперь набиралась по-печатному, во-вторых, новое издательство придумало необыкновенный способ гарантии себя от небрежности сотрудников – оно решило против шмуцтитула с именем автора печатать и имена всех работающих над книгой наборщиков, брошюровщиков, метранпажа, корректора и т. д. При обсуждении этого вопроса я имел свое собственное мнение. Я говорил, что так называемое имя автора, печатаемое на обложке, вовсе не есть его ИМЯ, а только плакат, необходимый в борьбе за существование; что самое имя свое автор таит, строя на нем загадку не только для читателя, но и для самого себя. Я говорил, что для всякого настоящего писателя плакат его имени есть проклятие, что Толстой бежал от плаката в мир бесплакатных рабочих, но по пути был изловлен и умер страшной смертью среди корреспондентов всего мира. Еще я указывал издательству, что наши русские рабочие устроят из этой выдумки смех и во всяком случае будет если не хуже, то и не лучше.

– Россия вам не Америка! – сказал я в заключение.

Мне ответили:

– Вы слишком много придаете значения идеологии нашего прошлого, да еще с уклоном в мистику имен.

Милый друг, многое вижу я в жизни ясно, а когда навалится на меня публика, отхожу и думаю: «Кто там разберет, наверно, и у них есть своя правда».

Так я успокоился за свою книгу и возился в деревне с коровами. Приезжаю в город, нахожу свою книгу и сначала как-то ничего не заметил, – издано по-нашему времени богато, имена всех наборщиков, метранпажа, корректора набраны крупно, все хорошо. И вдруг открытие: заглавие напечатано не «Сопка Маира», а, будь ему трижды неладно: «Стопка Маира», какой-то – «стоп!» выходит из этой затеи.

Будь это в мои ранние писательские годы, так я бы с ума спятил, а теперь покачал головой и подумал: «Ничего, умный разберет, дурак не заметит, а рабочие наши все-таки молодцы, не американцы, расписались себе, как мы с Мандельштамом по-грузински, и хохочут себе, показывая свои замечательные имена на „Стопке Маира“».

Червячки

Недавно я ехал, числа не помню, только знаю, что червонец в эту ночь, повышаясь

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru правильно до сих пор в день на пятьдесят, вдруг скакнул на сто и достиг двух миллиардов, я уехал в Кимры купить себе на знаменитом обувном рынке девятивершковые болотные сапоги.

– Ну, как червячки? – спросил меня толстый-претолстый сосед.

Я удивленно смотрел на него.

Он же берет у меня из рук газету и, заглянув на мгновение, говорит:

– Прыгают.

– Что прыгает?

– Я говорю, как червячки-то прыгают, подгребаются под два, милашки.

Тут я только разгадал, что «червячки» значит червонцы, и сказал:

– Да, червячки, кажется, милашек поедают.

– Вот все вы, граждане, такие, – сказал толстяк, – не червячки, а совсем даже наоборот: милашки гонятся за червячками, а те от них прыгают.

И вдруг, переходя на ты, спрашивает:

– Ты не постным маслом торгуешь?

– Нет, – отвечаю, – а что?

– Да что-то у тебя как-то волоса длинные, ни на что ты не похож.

– А вы чем? – спросил я.

– Я еду, – отвечает он, – с жалобой на Рефесере, иск хочу предъявить на два фунта собственного сала, было девять пудов, а осталось семь, вот до чего довели.

Все смеются и все друг с другом разговаривают так же точно, как и мы с толстяком:

– Ты, Ваня, с чем едешь?

– С колодками.

– А ты, Степа?

– Я с лоскутом.

– Миша, ты что везешь?

– Мальчиков.

– Каких, – я спрашиваю, – мальчиков?

Толстый отвечает:

– Мальчикова обувь.

Там сандалии, там «хром», в углу же на железной печке и вокруг засели Тюха и Матюха, да Колупай с братом, едут к какой-то сватье за сахарной самогонкой в девяносто пять градусов.

И всем отчего-то очень весело, все без перерыву острят, то похлопывают друг друга, то попискивают, подмигивают, будто все родня между собой или дети.

Нет, что бы ни говорили худого о торговле, но она в каком-то родстве с искусством: в ней та же страсть к жизни, аппетит и нюх. Я никогда в таком обществе не скрываю, что я литератор, напротив, стараюсь поскорее об этом сказать, через это сделаться своим и уже не стесняюсь расспрашивать и

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
записывать.

– А на что тебе, – спрашивает толстяк, – болотные сапоги?

– Мы, – отвечаю, живем на болоте, необходимо ходить в высоких сапогах.

– Ишь ты, писатель, все с подковырками, а ну-ка, напиши в свою газету жалобу от русского народа, что уничтожили такие его любимые старинные буквы, ять, фету и твердый знак.

– Не знал, что эти буквы любимые.

– Ну как же, они слову свободу дают, хочешь, ты их ставь, хочешь не ставь и так поймут, с ними слово кудрявей выходит. На это Колупай заметил:

– Да, три легкие буквы отменили, пять твердых дали.

– Какие же твердые?

– Скверные буквы: Ре – Се – Фе – Се – Ре!

В вагоне все засмеялись, и до самой Волги посыпались неудобные анекдоты, их все, наверно, кто-то собирает, записывает, после будет из них замечательная книга русского смеха. Неужели так пропадет? Нет, я верю, это не пропадает.

Мы спустились к привозу через Волгу, и вот уже не знаю, почему так мой толстяк, минуя казенный перевоз, подходит к небольшому частному ялику. Лодочник, глянув на толстяка, сказал:

– Ты бы лучше все-таки на казенном ехал.

Толстяк плюхнул, ялик погрузился, мы прибавились, ялик краями стал почти в уровень с водой. И так мы едем через Волгу, а лодочник рассказывает беду: неделю тому назад вот тоже так поехали и все потонули, да вот как, что и мертвых до сих пор не нашли. И будто бы люди эти были с большими деньгами.

Мы спросили, почему он думает, что неизвестные утонувшие люди были с большими деньгами, лодочник ответил:

– Рынок почуял.

Толстяк объяснил, что это значит.

– Очень просто, – сказал он, – сейчас ты увидишь, какой у нас рынок, у тебя голова закружится с непривычки. Ну вот, бывало, есть у тебя обувной магазин в Астрахани, ты пишешь письмо, тебе высылают грузом башмаки, сапоги, чего ты заказал. Нынче ты человека посылаешь купить, и если в Астрахани, положим, пять магазинов, в Кимры едет от Астрахани пять человек, из Ташкента, из Самарканда, с Кавказа, откуда хочешь, со всех концов России ты можешь теперь на базаре найти представителя, получше даже, чем было в Государственной думе. И на всех на них рынок готовит товар. Вот он приехал с долларами, поглядел и едет в Москву, меняет на черной бирже доллары на червонцы и катит обратно закупать присмотренное. Купили, отправили, кончился рынок, пусто. А вот и не пусто, много осталось – отчего? Может быть, ехал тот человек с червонцами, да и утонул в Волге, и остался его товар, рынок почуял. Понял?

Так, болтая, мы подходим к базару, и он чует приближение толстого, все, кто ни встречается, с весельем его приветствуют, похлопывают, кто сзади по лысине, кто по брюху, и мне весь базар представляется, как огромный, раздутый живот. Как сиротливо, наверно, смотрят все эти провинциальные скромные домики в пустые дни, все дремлет и вянет и так все слабо выражено, как на лице при пустом животе. Но в базарный день со всех дорог, со всех концов лесных, полевых и болотных, с раннего утра трусят лошаденки, и чего только не навезут бородатые овчинные мужики. Купив себе на поларшина горячей самодельной колбасы с ситником, мы уплетаем это около керосиновой бочки, а леший лезет прямо по бочкам, прет на баб, ноги давит, валяет ребят, кругом на него ругаются, кричат: «Куда ты лезешь, немывое рыло, куда прешь?» – а он все лезет и лезет прямо на нас и вот добрался.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

- Чего тебе, дедушка, надо?
- Чистого деготьку, батюшка, деготьку.
- Я не торгую.
- Чего же ты возле бочки стоишь?
- Колбасу ем.

Колбасу...

А сам наметил где-то еще и полез в самую гущу за чистым дегтем, и, верно, так он, бестолковый, весь день будет лазать, валять баб, давить ребят, и сколько их таких леших лазает по этому огромному брюху скромного города.

Живот все раздувается, и здорово варят кишки, а в кишках, как газы брюшные, ныряют спекулянты и вояжеры со всех концов Руси. Их очень много, в тот раз кто-то из них утонул, живот вздрогнул, замялся, и теперь опять пошло, рынок больше не чувствует, что не для Волги лежит один с карманами, полными червонцев.

Мы возвращаемся к перевозу под вечер, и с нами все прежние наши попутчики тоже идут. Тюха да Матюха, да Колупай с братьями. И вот на берегу Волги видим народ, мы все туда, что такое?

Утопленник.

- Тот самый?
- Ну да: еврей.

И везет же мне в жизни на утопленников, и началось это с раннего детства, когда невод к нашему дому притащил мертвеца и тут же билась маленькая, совершенно серебряная рыбка.

Тут же была рыбка золотая, толстый пакет с червонцами, кто-то сказал:

- Триллён!

Среди этой толпы по Волге, потеряв на мгновение в сознании связь с нынешним часом, я очнулся от странных слов.

Тюха говорил:

- Он лежал всю неделю.

Матюха:

- Его раки ели.

Колупай:

- Лежал, раки ели, а они росли.

Я спросил:

- Что такое, как, где?

Толстяк смеялся:

- Они говорят, он лежал, ничего не делал, а червячки-то все прыгали.

И публика хладнокровно и дельно занималась вычислением, сколько эторосло на червонцы, пока хозяин их лежал под водой.

- Нет, - подумал я, - торговля в чем-то очень похожа на художества, а где-то расходится...

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru

Школьная робинзонада

В то время, когда города при помощи соли боролись, отстаивая свое существование у деревни, много лиц интеллигентных профессий бросилось в деревню; это было новое «хождение в народ», но только совсем по другой побудительной причине: новые народники «зашивались» в деревню исключительно из-за куска хлеба. Так вкрапленно по всей земле разместились инженеры, агрономы, учителя, студенты и курсистки всяких факультетов.

Помню, один инженер отлично устроился пастухом, нанял себе двух подпасков, смастерил кузницу в деревне и так очень хорошо зарабатывал. Один юрист занимался толкованием декретов, кооперацией и за свою мудрость тоже получал хлеб и сало.

Агрономы и землемеры потихоньку в запрещенное время мерили землю тем, кто выходил на отдельные участки; нечего и говорить, как они зарабатывали в этом рискованном деле.

Притаенно в порах деревенской жизни спасалось множество горожан.

У меня была семья на руках, мало приспособленная к городской борьбе за хлеб при помощи добывания соли, главное же – я не мог рассчитывать, что в скором времени явится спрос на художественную литературу, больше я ничего не умел, итак, мне оставалось тоже «зашиваться» в деревню. Моя жена вышла из самых недр народа, и мы решили с ней перебраться в ее родную деревню и там заняться по всей правде крестьянством и детей приучать к этому труду. После обычных в то время дорожных мучений, спалив за собой все возможности скорого возвращения в город, мы очутились в страшно глухих местах Смоленской губернии, в Дорогобужском уезде, около сорока верст от станции железной дороги. Я очень ошибся в расчете, ничего не вышло из этой затеи, и я могу сравнить свое положение разве только с Робинзоном, после кораблекрушения выкинутым в среду первобытных людей.

Не дешево доставалось в тех лесных местах право на землю, корчевка – это огромный труд, и потому крестьяне тут особенно дорожили каждым клочком обработанной, «мягкой» земли. Нам не только не дали надела, но из опасения, что в силу прав моей жены мы себе это потребуем, никто не решался даже сдать нам избу, против нас был применен по-настоящему бойкот, и – нечего делать – нам пришлось поселиться в лесной пуне (сарай с сеном) у ручья. Оно было и очень недурно по летнему времени: я ходил на охоту, и к столу у ручья всегда была то тетерка, то утка, зайчишка, а раз даже дикая коза; дети кое-что добывали, променивая грибы и ягоды в городе на базаре, жена часто ходила в гости к родным и приносила пироги, начиненные картошкой. Не оставлял я и свою любимую охоту на русское слово и много записывал сказок, толкаясь среди рахманных (мягких) неграмотных смоляков. Моим главным врагом по добыванию слова исстари были народные школы; бывало, на севере как начнут коверкать былины, так знай, что где-нибудь близко так называемая народная школа. Но тут народ был почти сплошь неграмотный. Конечно, это трагедия всей цивилизации, что народ при переходе на высшую ступень сознания утрачивает данное ему от природы, стирает пыльцу со своих крыльшек, проползает гусеницей, окукливается мещанским коконом, но противно, что школа не смягчает этот неизбежный процесс, а, по моим наблюдениям, даже способствует ему. Наша народная школа, какой она была до революции, могла только отрывать людей от земли, превращая лучших учеников в писарей, городских, в дьяконов, ничуть не заботясь о воспитании любознательности к стихийному творчеству своего родного края. Я не люблю русскую школу, я не расстаюсь с мыслью, что мое лучшее досталось мне только борьбой со школьной выучкой. Всю жизнь до сих пор мне казалось, что самое ненавистное, самое противное моей природе занятие есть именно учительство. И вот, верно, за это мое высокомерие суждено мне было сделаться народным учителем в самое лихое время жизни, когда шкраб в наших местах в иной месяц получал только фунтов шесть овса, ведро кислой капусты и две восьмушки махорки...

Ах, что же это такое? Я помню, что часа три стоял под дождем в очереди за кожевенными обрезками, и мне их приходилось два с половиной пайка, и что я получил какие-то пережженные и протестовал; я помню, как полудикие крестьяне, проведав, что я знаю массу всяких заговоров, стали зазывать меня с поклонами и подношениями заговаривать бородавки у коров на вымени, отчитывать непоросных свиней, чтобы они поросились, чтобы коровы разрешались от бремени не бычками, а телушками, чтобы волки не трогали в лесах стадо. Я бы мог отлично зарабатывать этим промыслом, но вот эта грозящая возможность, быть может, последнее падения и презрения к себе самому заставила меня взглянуть на учительство как на хлеб

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
для народа, как на последний якорь моего спасения.

Приближалась осень, перед каждой избой в деревне были сложены аппетитные поленицы лучин на всю зиму; по вечерам начинали уже там и тут зажигать эти яркие огни, освещающие из окон даже и дорогу; по ночам мы глубже и глубже зарывались в сено, и, наконец, стало невозможно так жить, я сходил в Дорогобужский наробраз и, в пять минут сделавшись шкрабом, отправился с семьей пешком из своей лесной пуни на место своего назначения. За нами болотной дорогой медленно следовал воз нашего добра.

Место моего назначения, бывшее имение Барышниковых Алексино, находилось еще дальше в глубь уезда, в семи верстах от моей пуни и в восемнадцати от Дорогобужа. Я думаю, одна усадьба этого громадного имения с озером и парками занимает от пятидесяти до ста десятин; тут были – и посейчас действуют – больница, школа первой ступени, сыроваренный и конный заводы, лесопилка. Дом – дворец, громадное каменное здание стиля александровского ампира – стоит на берегу прекрасного озера, окруженного парками. Вначале весь дворец находился в ведении Комиссии по охране памятников искусства и старины и назывался музеем усадебного быта. Потом сюда внедрилась детская колония, отбив у музея три четверти всего дома, за колонией въехал в нижний этаж ссыпной пункт, еще клуб местной культкомиссии, театр и, наконец, школа второй ступени, в которую я и определился. Совершив в течение следующих двух лет цикл обычных разрушительных действий в отношении прекрасного здания, в последнее время все эти учреждения рассыпались, и дворец опять весь стал музеем усадебного быта.

Начало школы второй ступени положила курсистка физико-математического факультета Елена Сергеевна Лютова. Она сначала была тут же учительницей школы первой ступени, но по своей доброте занималась отдельно с учениками, окончившими школу. Вот из этих ее учеников и учениц мы составили пригготовительную, первую и вторую группы школы второй ступени и перешли в здание алексинского дворца.

Нас было всего только четверо преподавателей: всей математикой занималась эта болезненная, но неутомимая работница просвещения Елена Сергеевна, естественной историей – сестра ее Александра Сергеевна; историей культуры занимался студент, сын местного сапожника, Сергей Васильевич Кириков, и словесностью – я. Вся руководящая роль была у Елены Сергеевны, мы только ей помогали.

Много пришлось бы рассказывать, как мы среди дремучих лесов синели в классах от холода, как добывали всей школой в лесу дрова, как приходилось на третий этаж таскать вязанки дров и отапливать музей усадебного быта, как ночью, бывало, и приворуешь дров в соседнем враждебном учреждении. А то, бывало, придет какая-нибудь бумага из города, и, намотав онучи получше, чтобы ноге в лапте было помягче, отмахнешь в день туда восемнадцать да назад столько же верст. То же случалось, когда бывало в волости собрание шкрабов, где всерьез обсуждались вопросы, например, такие, нельзя ли бумагу заменить берестой или писать стилетом на струганых дощечках; с этих собраний мы тащили на себе иногда и муку, но больше – овес. Это была настоящая школьная робинзонада; занятно, поучительно и подчас весело вспомнить, но как было жить и притом учить, считать себе это дело выходом из создавшегося сложного морального состояния духа – это, ох и ох!.. Вот это и было самое ужасное, что великое наше духовное дело упиралось своей райской вершиной в самое пекло ада материального и постоянно палило себе молодые ростки, но зато как же незабываемо прекрасны остаются навсегда моменты признания отдельными крестьянами учительского труда. Раз осенью в холодный моросливый день меня встретил один крестьянин – его звали Ефим Иванович Барановский – и ужаснулся, что я иду на босу ногу в дырявых резиновых калошах; сам он ехал в город на базар с возом. Поздно ночью – слышу я, кто-то стучится ко мне в музей, открываю и вижу: весь серый от дождя с новыми сапогами в руках стоит Ефим Иванович и говорит мне, передавая подарок, парадными своими словами:

– Категорически вам сочувствую, потому что взять вам нечего.

Да, я знаю, как доставались ему эти пуды ржи, отданные им за сапоги, и что значил этот подарок! Но мало того, передав мне сапоги, он еще сказал:

– Вы не думайте, что помрете с голоду, этого я не допущу, вы только учите, а душку вашу я подкормлю.

Это было только в самом начале моего шкрабства, и заслуг у меня еще не было; это

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru был результатом личных заслуг, конечно, Елены Сергеевны, это она сумела дать какой-то свой тон школе. Вот это что-то, вызванное из недр народа бескорыстной деятельностью курсистки, отличало нашу никому не ведомую и заброшенную школу. После в наш Музей усадебного быта из города приезжали школьные экскурсии, и можно было сравнить тех учеников и наших. Нельзя было сравнивать: те ученики были совсем иного мира, с явным налетом чего-то продувного, мещанского. Тех и других я водил по залам музея, рассказывал о Пушкине; наши ученики делали иногда глупейшие вопросы, но никто не осмелился не только спросить, но, наверно, и подумать, как спросили меня городские ученики прямо после моей лекции: «Нельзя ли нам в этих залах сегодня вечером поплясать?» Ни одной из наших девиц не пришло в голову примерить на себя музейную шляпу александровской эпохи, а у тех она сразу пошла по головам. Было очевидно, сравнивая тех и других, что при известных условиях можно миновать совершенно мещанскую стадию в юношеском развитии.

Да, я был, конечно, в исключительно счастливых условиях в своем деле преподавания древней словесности, но, конечно, благоприятно было и то, что я никогда не был учителем, не выработал себе еще шаблона, сам ужасно робел, и потому перед уроками столько занимался, что как будто сам готовился к экзамену.

Я не готовился даже, я просто сам сочинял свою историю словесности, потому что не по чем было готовиться, у нас не было библиотеки, не было даже учебников; самых старых учебников Смирнова было только несколько экземпляров. Не было вначале даже просто Пушкина, ничего не было: пустой класс с дымящей печью и дети земли, сидящие по краям ободранного бильярда.

Преподавание древней словесности в прежней школе считалось труднейшим делом, потому будто бы, что она очень далека от современного сознания учеников, но у нас в деревенских условиях она оказалась самым близким предметом. Мы начали всем классом записывать местные песни и сказки, свадебные обряды, лесные поверья. На помощь этому вскоре удалось раздобыть замечательный местный этнографический сборник Добролюбова. Старый Смирнов, конечно, тоже очень помогал для классификации собранного материала. Навернулся откуда-то Ключевский, и дело пошло много лучше, его характеристики лесного типа народа и степного легли в основу моих многих рассказов на уроках. Часто, бывало, рассказываешь о каком-нибудь древнем славянском обряде или обычае, например, что на перекрестках дорог хоронили родоначальника (Щур, или Чур), и потому теперь тоже некоторые говорят на перекрестках «чур меня», и вот вдруг кто-нибудь из учеников поднимается и спрашивает, почему теперь на перекрестках сжигают солому из-под покойника. Другие спрашивают еще что-нибудь в этом роде, и так древняя история сама приходит к нам в класс. Мы часто перекидывались из древней словесности в новейшую, так мне очень хорошо удалось оживить утраченный образ Перуна по рассказу Бунина «Илья-пророк»; найденная, помню, где то на подоконнике по пути на урок книга Сологуба открылась на стихотворении «Стрибог», выкопал я в Дорогобуже Ремизова, Городецкого и тоже нашел в них мною языческих и христианских образов. «Домострой» мне очень счастливо удалось осветить чеховским рассказом «Бабы». У нас был даже настоящий суд над преступными бабами, и при этом открылось много курьезного.

Известно, например, что у Чехова в этом рассказе очень ясно для нашего сознания проводится мысль, что принципы «Домостроя», проводимые мужем в современных условиях, доводят женщину до преступления. Воспитанные в новых идеях, мы это сразу понимаем и оправдываем «баб». Но каково же было мое изумление, когда огромное большинство моих учеников напали на баб и продолжали дело жестоких мужей-домостройцев. Оказалось, что принципы «Домостроя» были живыми в сердцах моих учеников, и мне открывалась такая еще девственная почва для многих живых уроков.

Много мы занимались историческим объяснением свадебного обряда, сохранившегося в Дорогобужском уезде во всей своей языческой наготе. Я сделал даже попытку написать свадебный обряд в драматической форме и разыграть пьесу с учениками, были планы даже поездки в Смоленск всей труппой, но все остановилось из-за одного совершенно не предвиденного мной обстоятельства: свадебный обряд в этом крае был еще настолько делом жизни, что ни одна наша девушка не соглашалась выступить в роли невесты на подмостках, ее бы это компрометировало.

Занятия сами своим ходом давали мне план и метод, и скоро они в группах приняли два направления. В старшей группе я все больше и больше старался освещать

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
древнюю словесность новейшей; чем скучнее был памятник, тем больше приходилось говорить о новой литературе; чем занятнее был памятник сам по себе, тем меньше приходилось экскурсировать в современность. В младшей группе преподавание приняло обратное направление: тут я искал материалов для оживления урока не в новейшей литературе, а в условиях современной жизни, в живых остатках старины, и так мало-помалу предмет – древняя словесность (народная) – превратился в краеведение. У меня был большой запас своего опыта по этому предмету, множество напечатанных рассказов о жизни на Севере, и тут уже приходилось не искать материалов, а суживаться, объективироваться, потому что о себе самом говорить всегда увлекательно и легко можно потерять меру. Вследствие этого преподавания у меня явились такие мысли о краеведении, с которыми я до сих пор никак не могу расстаться, и все мне кажется – я тут открыл какую-то Америку. К сожалению, у меня теперь нет досуга пересмотреть литературу о методах преподавания краеведения, и действительно, это есть нечто новое или же я открыл Америку, уже давно известную, – не могу сказать. Одно только несомненно верно, что если и знают об этом, то не пользуются и предлагают нам обратное и очень вредное. Возьмите, например, программы нынешнего года, предложенные для летних занятий в школах. В этих инструкциях краеведение разбито на составляющие его научные дисциплины, например, ботаника, зоология, геология и так далее; даже помню, расчленение одного предмета краеведения идет еще дальше: ботаника-геоботаника, геология-геодезия и т. д. Теперь представьте себе, что для преподавания ботаники, например, применительно к делу изучения местного края, нужно не только знать ботанику теоретически и практически, но еще и главным образом местную. Дальше представьте себе, что в состав краеведения входят все области знания; спрашивается, какой же небывало ученой головой должен быть преподаватель. А вот как я преподавал краеведение, то мне кажется, так может с пользой заниматься всякий элементарно образованный человек, и вот это мне и кажется похожим на известный анекдот о Колумбовом яйце. Краеведение, по-моему, есть прежде всего не только наука, оно, вероятно, есть настолько же и искусство, вообще оно не так аналитическая, как синтетическая деятельность человека. В науке я стараюсь уйти от предмета, отделиться от его частностей и случайностей и найти общий закон; напротив, в краеведении именно эти частности и случайности мне самое главное, и задача моя – приблизить к себе предмет изучения настолько, чтобы явилось во мне чувство и образ; из множества таких чувственных фактов у меня должно сложиться лицо данного края, с одной стороны, и практическое знание о нем – с другой. Положим, теперь я имею дело с ботаникой; вот пришла программа для летних занятий, как это я сам этим летом видел в одном городке, – учительница собирает детей и отправляется с ними в поле. Вскоре экскурсия находит желтый цветок, учительница показывает лепестки, чашечку, пестик, тычинки и говорит, что это лютик. И что же получается у детей от такого урока? Понятно о цветке вообще, стесненность своей природы и живой любознательности этим долгом мыслить логически по поводу встречающихся предметов – и ничего от знания местного края, потому что лютики встречаются всюду. Желая научить детей действительно, а не утомлять и не раздражать, я веду их к знакомой старухе в деревенскую избу, знахарке, ведающей местные травы, отсылаю бабушке ложечки два чаю, даю несколько кусочков сахару и уговариваю ее пойти с нами в поле и указать нам «пользительные травы». Вот стоит чудесная, стройная, как девушка, трава, и у нее прекрасное имя медуница: это уже одно является приобретением, мы знаем местное имя.

– Пользительная трава? – спрашиваем мы старуху.

– Нет, батюшка, – отвечает она, – только вот мы варим ее в квасу и красим.

– Что красите?

– Портки, батюшка, портки[6]. – И так равнодушно говорит, а ведь для нас это уже настоящее открытие. Мы берем эту траву с собой, засушиваем, надписываем ее местное название, практическое применение, быть может, и легенды, связанные с этим цветком; старуха непременно что-нибудь расскажет; хорошая старуха знает по-своему все травы, и это и есть изначальное местное знание.

И так мы обходим поля, луга, лесные опушки – сколько живых интересных всем знаний в один только день и какая открыта прекрасная долина, сплошь покрытая драгоценным валерьяной, – и все с помощью одной темной старухи. Значит, весь секрет нашего успеха состоит в том, что мы постарались через старуху приблизить к себе предмет и, так сказать, его ороднить, что ботанику в краеведческом смысле мы поняли входящей в состав жизни человека. И так можно решительно все изучать с огромною пользой, с каждодневными настоящими местными открытиями.

Впрочем, в чем же мое открытие? Что я говорю нового? Ведь, например, в Германии и даже совсем близко, в Лифляндии, школьный работник именно таким образом высосал решительно все из своего местного края, и там весь вопрос состоит в расширении научного горизонта самого учителя. Но у нас учитель не знает ничего местного. Никто не интересуется – ни учителя, ни доктора, ни юристы – никто.

Сейчас я живу в чрезвычайно интересном краю, где сотни тысяч людей занимаются сапожным, башмачным и другими ремеслами – целый мир материалов для техника, социолога, этнографа. И вы не найдете во всем крае ни одного писаного листка о жизни ремесленника, ни одного столика, на котором поставили бы для показа по одному образцу от каждого вида ремесла. Есть в этом краю несколько местных газет, но напрасно вы будете искать что-нибудь местное, кроме своих счетов, и потому газеты влечат жалкое существование. Недавно я встретил одного ремесленника и попросил его рассказать свою трудовую жизнь. Этот бесхитростный рассказ я поместил в одном московском журнале, и вот в магазине, на месте, где продавался этот маленький журнал, была за ним очередь башмачников, желающих купить журнал и почитать о себе самих. Не хватило всем, и журнальчик до сих пор ходит из рук в руки, из деревни в деревню. Между тем в этом рассказе нет ни малейших признаков чего-нибудь от себя, исключительно только честная запись, доступная всякому грамотному человеку. Скольких бы читателей приобрели мы, если бы удалось убедить местную прессу стать на путь сочувственного и напряженного внимания к жизни местного трудового человека. И что бы стало со школами, если бы они перестали учить детей ходить вверх ногами: да, если бы эта бюрократическая схоластика, наследие старых времен, исчезла и ученики знакомились с предметами как исходящими от жизни самого человека! Я готов поклясться в своей искренности, если скажу, что не талант мой, не образование, а какое-то простейшее знание, полученное от здравого смысла и доброго сердца моей покойной матери, дало мне возможность с успехом заниматься в народной школе, и если бы не страсть к писательству, берущая меня целиком, я никогда не оставил бы этого благословенного труда, вознаграждаемого высшей наградой – любовью детей.

Да, были светлые часы высокого самосознания на том Робинзоновом острове, куда закинули меня житейские волны. Но и какие же страшные были осенние темные ноябрьские ночи на постели в холодном чужом алексинском дворце. Я ненавижу крыс, а они там были, скреблись, подбирались к самой кровати, нагтели, потому что, умные, понимали, как трудно решиться высунуться на холод из-под одеяла. Это было не просто, как теперь, – чиркнул спичкой или повернул кнопку. У меня был обломок напильника и большой кусок яшмы, найденный во дворце, трут я делал из древесных грибов. Днем на свету я отлично научился высекать огонь, и едва ли кто мог в этом меня превзойти. Но в темноте сколько раз, бывало, попадешь по косточке сустава левого большого пальца, пока затлеется трут. А проклятые крысы этого стука то по косточке, то по яшме ничуть не боятся, скребутся, лезут и лезут. И холод пробирает, потому больше и не попадаешь по яшме. А когда высечешь, наконец, то скорей к столу, к тарелочке с углями и раздувать их, раздувать, пока угар явственно шибанет в голову. Тогда последнее веселое дело: приставить к углям бумажку, сильно дунуть и «вздуть огонь». Светец в Смоленской губернии почему-то называется «Гаврило», в него вставляешь заготовленную лучину и начинаешь при этом освещении работать, постоянно думая, как о болезни, чтобы не упустить лучину и вовремя сменить.

Так я жил, и вот однажды к нашему дому подъехал воз, его окружили женщины, и я скоро узнал, что это был первый «красный купец» с иголками, ситцами и всякой всячиной.

Я бросился к нему и купил бензин и зажигалку – какое это было счастье, и рассказать невозможно, это было, как Робинзону первый показавшийся вдаль дымок парохода. Скоро от друзей я получил письмо с просьбой прислать что-нибудь для журнала. Я написал для пробы маленький очерк и через месяц получил гонорар, из которого вышло чуть ли не пять пудов муки; у меня просто дух захватило от такого огромного вознаграждения! И надо бы так продолжать, писать и улучшать условия своего учительского труда.

Но разве можно летающую тварь, согретую весенним лучом, остановить? Прилив жизни поднял меня и унес с Робинзона острова.

Голубиная книга

Было высказано скромное желание оживить общественную жизнь вопросами быта, и по

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
всему литературному фронту пошло: Троцкий сказал, Троцкий сказал...

Я слышал от писателей, которые называют себя «бытовиками», что будто бы и нет никакого еще у нас быта: милиционера, например, нельзя теперь описать, как раньше городского: сегодня он милиционер, а завтра заведующий отделом МКМ (Московское купоросное масло). Я бытовиков этих никогда не понимал; мне казалось всегда, что чем дальше писатель от быта, тем он лучше может, если захочет, и быт описать; мне казалось, что сам писатель-бытовик является категорией быта, подобной городовому... Единственное, что присуще писателю, рисующему быт, – это наличие в душе его некоторой доли уверенности, что данное явление есть на самом деле, а не только его писательское представление; это, с одной стороны, а с другой – писатель не должен быть, как фотограф, и просто переносить на бумагу то, что он видит и слышит обыкновенными глазами и ушами. Сейчас у нас господствует именно это последнее ложное представление, и потому мы в газетах видим невозможные для чтения огромные точные отчеты без всякой попытки со стороны самого автора между ее угловыми фактами жизни провести свою волшебную сокращающую диагональ.

Один «вопрос быта» меня сейчас очень занимает. Раньше я очень интересовался русским человеком в отношении его к церкви, с одной стороны, и той природной религиозности, которую называют «язычеством». Теперь тот же простой русский человек становится перед лицом науки, противопоставляемой религии; в существовании такого бытового типа я имею полную уверенность, встречаю его на каждом шагу...

Вот, например, – я ехал из деревни в Москву на конференцию по вопросу хозяйственной организации центрально-промышленной области; рядом со мной сидел в вагоне кустарь-скорняк, напротив – молодой человек в военной форме, восточного типа, армянин или грузин, – политический работник, остальная публика – все кустари-башмачники. У меня есть работа по изучению производственного быта кустарей, и я, не теряя времени, занялся скорняком и скоро выудил у него ценные для меня сведения, что скорняки, изготавливающие ценные меха, вообще развитее других кустарей, и это очень понятно: они имеют дело с модными магазинами, с франтихами-женщинами и научаются особому, тонкому обхождению. В то же самое время оказывается, что ни один вид кустарного промысла так не пострадал от революции, как скорняческий, именно потому, что в те годы исчезла модная женщина.

– А как теперь? – спросил я.

– Теперь, славу Богу, – ответил кустарь, – понемногу оправляемся, ведь мы живем исключительно от бабы! Она загуляла, и мы с ней; соболей, правда, еще мало, но каракуль пошел, а ведь мы от каждого сака по две овчинки выгадываем – понимаете? Темное наше дело, и все, я вам скажу, исключительно зависит от бабы.

– Женщина, – вмешался политраб, – такого типа со временем должна исчезнуть.

– Да что вы? – испугался скорняк.

– Ну, конечно, вы же знаете, что новая женщина не носит дорогих мехов.

– И вы думаете, что со временем все женщины будут ученые?

– Со временем, конечно. Взять пример с нашего быта и деревенского: вы знаете, например, как теперь в деревне ценится жених, какое, пользуясь нашим временем, он заламывает приданое с невесты.

– Но как же и быть без приданого?

– Как быть? Вот у меня пустая комната, привожу к себе жену и говорю: будем жить, как я живу, так и ты...

– Вам хорошо, у вас пустая комната и, так сказать, голова, а ежели изба, хомуты и прочее, а женщина у печи и на скотный двор ходит, и я всякую вещь должен завести для совместной жизни, то как же я стану на хозяйство без приданого?

С этого момента я стал решительно на защиту хозяйственного быта в избе с вещами, с приданым, против жизни головой в пустой комнате, знаю я это житье – довольно!

– А почему? – резко спросил меня политраб. Это было совершенно особенное почему, не то обычное научное в смысле детерминизма, холодное, бесстрастное, а совершенно такое же, как в Голубиной книге и у детей, источник чего – моральная или эстетическая и вообще желанная качественность.

Я вооружился терпением ученого и решил, заключив вопрос о приданом в цепь исторических причин, увести политраба в бесконечность прошлого и, возвратясь оттуда, вдруг представить дело в таком виде, что вся совокупность наших знаний о приданом не даст нам троим – скорняку, политрабу и мне – согласно решить в данный момент, следует брать приданое или не следует. Я не рассчитал того, что цепь причин бесконечна, и политраб загонит меня своим «почему» в беспредельность и никогда не даст возможности вернуться к приданому в настоящий момент. Дело осложнилось еще и тем, что скорняк понимал нас по-своему, вмешивался и все перебивал примером из жизни какого-то купца Василия Ивановича. Я, например, говорю:

– Когда между враждующими славянскими народами явились базары, кончаются воинственные набеги за женщинами, прекращается умыкание жен.

– А почему? – спрашивает политраб. Я хочу ответить, но скорняк перебивает:

– Позвольте, вы говорите, кончилось умыкание, а как же Василий Иванович умчал себе жену?

И рассказывает подробно весь эпизод такими яркими красками, что увлекает весь вагон за собой, и нам долго приходится ждать.

Так мы едем, едем, и, наконец, Москва, а цепь причин все не кончилась. Идем по улице и все говорим, говорим, на манер Голубиной книги, отчего зачался свет и т. д.; где-то на углу политраб меня уже спрашивает:

– А что было в начале: речь или мысль?

Я ответил:

– Думаю, что речь, т. е. не логическая, а вот, – как галки говорят. Он очень обрадовался и пожал мне руку. Я спросил его, почему же так он обрадовался.

– А этот вопрос – ответил он, – у меня пробный камень, вы сказали: «Речь», и я понял, что вы стоите на марксистской платформе.

После этого оказалось, что ему прежде всех дел непременно надо посмотреть могилу Ильича, мне же надо было идти в Госплан на конференцию по хозяйственной организации Центрально-промышленного района.

Хозяин линий прямых

Я возвращаюсь к вопросам быта, ставшим в моем сознании как вопрос печати. Читатели «Известий» и «Правды», помнит ли кто-нибудь из вас две-три сухие заметки, притом помещенные на последней странице, о привлечении ученых десяти стран, каждой как Бельгия по своему пространству и называемых губерниями, для работы вместе с Госпланом над организацией хозяйственной жизни всего центрального района? Вам, конечно, известно, что центральный район в составе десяти губерний с Москвой в сердце являлся в русской истории организующим началом всей огромной бывшей Российской Империи, и в настоящее время этот центральный район, заключающий в себе величайшее богатство против других районов страны – человека с его культурными навыками, является основным в деле грядущего восстановления производительных сил всей страны?

Прибавьте к этому отмеченное мною «бытовое явление» – наличие среди рабочих, крестьян, служащих очень большого числа лиц, определяющих свой желанный и волевой мир согласно с достижениями науки, и вы поймете, почему я вопросы быта попросту называю вопросом печати.

Взяв цепь причин, я, конечно, отвечу, что печать сама является «надстройкой», не она виновата, а сама конференция, имевшая такие, казалось бы, блестящие условия, чтобы стать бытовым событием и праздником организующей человеческой воли; да, почему такая конференция прошла незамеченной общественным сознанием?

Я сидел на ней девять дней, бывая утром и вечером, материалов у меня накопилось очень много, изложить их не хватит места во всей книге журнала; моя задача теперь – только выяснить, какие же в конце-го концов недостатки в организации конференции не позволили сделаться ей бытовым событием и общественным праздником.

Приходится начать издалека.

Творческий процесс, являющийся в моральном сознании борьбой добра и зла, в моем сознании является как борьба хозяина линий прямых и линий кривых. Известно, например, что хозяин прямых линий местом своего постоянного пребывания избрал науку, а в искусстве он бывает только гостем. Там, в искусстве, засел хозяин линий кривых, и ему совершенно наплевать, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. А между тем успех всякого творчества является исключительно вопросом мирных добрососедских отношений между этими двумя хозяевами. Теперь это уже и официально признано: смычка города и деревни есть не что иное, как смычка городских линий прямых с деревенскими кривыми.

Вот я и думаю, что конференция плохо удалась именно потому, что хозяин линий прямых, Москва, несколько подавлял хозяина линий кривых – провинцию. Вы скоро увидите, когда будет изготовлена фотография, снятая с конференции, что центральным лицом на ней является тов. Егоров, представитель в Госплане наркома внутр<енних> дел. Этот замечательно активный человек, вышедший, по всей вероятности, из трудящихся, прежде чем взяться за такое огромное дело, как плановая организация центрального района, сначала основательно поработал над плановым хозяйством в своем родном Егорьевске. Стоит зайти в Областной музей (М. Грузинский, 15), чтобы посмотреть, какое чудо картографии представляет собой экономическая карта родного тов. Егорову уезда Егорьевского. Я вполне соглашаюсь с тов. Егоровым, назвавшим свое дело «революцией в области картографии», но я выскажу здесь и свое отдельное мнение, что революция в области картографии только при том условии является революцией, если карта, план находятся хоть в каком-нибудь живом взаимодействии с действительностью. Так, например, на той же самой областной выставке, где я видел карту Егорьевска, я заметил тоже мастерски сделанную карту заповедника Московского лесного института с его образцовым охотничьим хозяйством. Представьте себе лист бумаги с квадратиками, и в каждом чистенькими мордочками-силуэтками отмечено замечательно симпатично, где сколько зайцев, лисиц, лосей, медведей, разных охотничьих птиц. Увидав такую любезную моему охотничьему сердцу карту, я бросился искать проф. Житкова, чтобы попроситься у него посмотреть на охотничье хозяйство в действительности. И что же оказалось, когда я нашел проф. Житкова? Оказалось, что в действительности в заповеднике нет ни одного лося, медведя и вообще ничего, а это только план будущего. Еще хуже было со мной недавно в одной школе второй ступени на выставке карт, диаграмм и тому подобно. Я был еще более приятно тут поражен, чем охотничьей картой, но когда поговорил с одним учеником, автором замечательной диаграммы о движении населения, то оказалось, что он вычертил карту без всякого понимания и ничего о движении населения не знает. Воистину, это был язык, показанный жизнью хозяину прямолинейных планов.

Но мне тем не менее очень понравилась энергия, с какой тов. Егоров, открывая своей речью занятия конференции по плановой организации десяти центральных губерний, сумел поставить вопрос на должную высоту, и человек центрально-промышленного района с своей организующей волей выдвинут был им во весь рост.

После этого начались доклады высоких специалистов Москвы. Было представлено множество картин разрушения промышленной жизни в первые годы революции, но, в конце концов, указывалось, что человек, основной фактор производства, тот исторический человек промышленного центра России, остался и он сравнительно скоро восстановит все.

Нужно себе представить всю трудность работы конференции, имеющей дело с совершенно новым предметом, целой огромной страной из десяти губерний административных центров, слитых в одно хозяйственное целое. Каждому специалисту нужно было проработать над установлением признака целого с точки зрения своей специальности. Нужно знать еще, что Россия вообще-то страна неизученная, и оттого моментами мне казалось, что вот мы, конференция, группа ученых людей, высадились в неизвестной стране и ошупью бродим в ней.

Иногда, слушая какой-нибудь очень специальный доклад, я уносился воображением во времена Калиты, и его дело собирания русской земли в мешок сравнивал с делом этого коллектива ученых, выдвигающих идею собирания не так земли, как самого человека. В этом плане и прошлое вставало передо мной без обычного чувства горечи, и так я решил: в наше время мы будем собирать человека, как землю собирали цари[7].

Хозяин линий кривых

Я совершенно искренно изложил здесь свое почтительное отношение к делу хозяина прямых линий, но я уже сказал, что творческий процесс непременно является борьбой с другим хозяином, оканчивающейся мирными добрососедскими отношениями. Если бы все творчество можно было бы отдать хозяину линий прямых и совершенно бы устранить хозяина линий кривых, то на земле бы в короткое время был создан рай, и все бы в нем ужасно заскучали. Так случилось и здесь. День, два, три мы, провинциалы, терпеливо сидели, внимательно следили, как московские профессора, по правде сказать, очень неуверенно, выводили свою прямую линию. Теперь-то я очень хорошо понимаю, как надо было устроить, чтобы не убить духа: каждый из профессоров должен был вначале кратко наметить программу вопроса и потом предложить высказаться представителю с мест; в конце же диспута, проверив и себя самого, снова взять слово и выпрямить всю кривизну. Тогда бы не получилось того, что люди, десятки лет поработавшие в медвеьем углу в своей специальности, должны были на старости лет превратиться в студентов, и вся конференция – в скорые курсы для стариков.

Царство скуки началось во мне страстным желанием покурить. Я пробовал выходить в буфет, но там нарочно приставленная женщина меня строго останавливала, заявляя, что курить воспрещается. Курительной не было. Уборная же действовала, как водится, очень плохо, и вообще, там курить, пыхая быстро, как гимназисты, я не решался. Возвращаясь в зал неудовлетворенный, я плохо мог следить за докладами, они стали мне пролетать, не оставляя следа в сознании. Наконец, я решил идти в уборную и там встретил множество курящих людей; курили и говорили:

– Черт знает что! Все обдумали, все распланировали, а курительную комнату и забыли, мы даже не студенты, мы гимназисты...

Так я попал в резиденцию хозяина линий кривых, и тут везде слышалось: черт, черт, черт...

И черт, тот воин хозяина линий кривых, показался...

Вы знаете, как у нас в России распространено одно скверное ругательство святым именем, но все-таки нужно сказать, что это ругательство локализовано в известном кругу неразвитого народа и, если даже интеллигентный человек попытается иногда ругнуться по-народному, у него как-то выходит не так. Зато уж черт в России равно у всех на устах, так что иногда приходит в голову, нет ли за этим словом какой-нибудь специфически русской реальности.

И вот мгновенно обежало всю конференцию, что этнограф Василий Иванович Смирнов привез из своей Костромы черта. Тетрадки с легендой о черте («Труды Костромского научного общества», 3-й сборник) из уборной перекочевали в зал, всюду возбуждая веселье. Вскоре конференция разбилась на секции, провинция подняла голову, начались всякие эксцессы, показались нежданные частности, всякие случайности, и работа закипела полною жизнью.

Получилось такое впечатление, будто черт Василия Ивановича спас положение, и вот почему я считаю необходимым кратко изложить здесь содержание этого памятника.

Черт родился

Из вступления В. И. Смирнова

«В глухих, заброшенных в лесах и занесенных в снегах деревушках крестьянская масса, в толщу которой с трудом проникает политическая и общественная мысль, где неизвестна ниша изящная литература, в значительной степени продолжает жить чертовщиной, колдунами, рассказами об огненных змиях и т. д. Изменилось лишь направление народных вкусов и направление творчества, но последнее продолжает жить, притом нередко в старых, привычных для народа формах. Замечательно это свойство народной памяти твердо хранить приемы эпического склада; у нее всегда

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru имеется богатый запас готовых выражений и сюжетов, и в эти готовые рамки легко уже потом укладывается неустанно творимое фантазией сказанье, нередко дающее объяснение новым явлениям жизни.

С особенной любовью наше народное творчество, как и наша художественная литература, разрабатывает тему о черте. Одно время, весной 1920 г. можно было наблюдать процесс такого творчества одной легенды, примеривание, так сказать, различных старых сказочных и повествовательных рамок. Может быть, потом где-нибудь будет записана окончательно развившаяся стройная легенда, отдельные варианты которой и попытки народной разработки ее удалось нам записать в Костроме».

Первый вариант

«Не у нас это было, где-то тут близко, в Ярославской губернии. Жили мужик да баба. Мужик, коммунист он был, изрубил иконы, побросал их в печку. Знала ли, нет ли про то баба, стала она растапливать печь, – не топят дрова, да и только. „Что, – говорит баба, – за чудо!“ А из печки голос: „Это чудо еще не чудо, а вот через три дня будет чудо“. Испугалась баба, побросала все, а через три дня и разродилась, да и родила черта – мохнатый весь. Народ прослышал про это, собираться стал смотреть на черта. Что делать? Думали, думали мужик да баба, взяли да отнесли черта в лес и бросили там. Приходят домой, а черт сидит на лавке, смеется. „Вот так чудо“, – говорят. „Нет, это еще не чудо, а вот через двадцать дней будет чудо“, – говорит тот. Не знают мужик с бабой, что им и делать, отказываются от черта, и соседи никто не берет. Узнало начальство и арестовало черта».

Легенда не говорит о том, что случилось через двадцать дней. Но в это время легенда еще далеко не завершила своего развития – никто еще не указывал точно, где именно родился черт – «где-то близко, но не у нас», неизвестной оставалась еще судьба родившегося чуда.

Второй вариант

«Было это в деревне Сольникове Костромского уезда. Мужик-коммунист бросил образа в печь. Горят они каким-то особым огнем и не сгорают. Рассердился он, изругался и расколол образа. Через три дня жена его, бывшая на последних сносях, родила черта. Тужат мужик с бабой, а черт и говорит им: „Это за то, что вы жгли образа, и кололи, родился я чертом. Не бойтесь, молитесь и день и ночь, через шесть дней будет чудо“».

Дальнейшая судьба родившегося черта все еще неизвестна. Зато в следующем варианте легенда окончена, и вся она обработана иначе.

Третий вариант

«Знаешь Дуняшкина деверя? – рассказывал кровельщик М. Н. Ерунов, – так вот он ходил к себе в Ярославскую губернию. У них это было, говорят, в Романово-Борисоглебском уезде – бросил мужик иконы в печку, все сгорели, одна только и осталась. „Вот, – говорит баба, – чудо-то!“ А в брюхе у ней отвечает (брюхатая она была): „Нет, через три дня будет чудо, так чудо“. Через три дня и родила баба черта – как есть черт: мохнатый, с хвостом и с рогами. Баба померла от страха, а черт как родился, так сейчас и убежал под печку – черт свое место знает. Достали его оттуда и отправили в музей».

Законченная в своем творчестве легенда становится актуальной: по словам газеты «Красный Север», перед Вологодским музеем стоял целый хвост людей, желавших посмотреть черта.

Подробности

Легенда понеслась по всей стране, докатилась до Украины, где передавали, что черт родился в Пермской губернии, а в Подольской губернии одни указывали на Ярославскую, другие на Костромскую как на родину черта. Но особенно интересна

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
обработка легенды в Ржеве, Тверск<ой> губ<ернии>, появившаяся здесь значительно позднее, где рассказывали, что родился поросенок с человеческой головой, – поросенок родился живым, но был убит мужиком, и этого мужика будто бы расстреляли за то, что он загубил человеческую душу. Говорили, что после появления на свет поросенка был расстрелян священник, арестованный раньше за то, что он раньше предсказал рождение получеловека-полусвиньи. Вся легенда в деталях с неизбежными остротами и сплетнями носила явный характер сатиры на некоторые общественные явления того времени. Досадная молва волновала настолько, что осенью 1921 года особое ветеринарное совещание составило акт.

Акт

«Акт 1921 года 14 октября, согласно телефонограммы Уисполкома, комиссия в составе врача Филатова, Иоссель, Кринского, ветеринарного врача Волкова, под моим председательством осматривала препарат (формалин) поросенка, доставленного из рассадника Зеленкино, причем оказалось, что поросенок приблизительно шести вершков, мужского пола. Конечности развиты нормально, имеются копытца; туловище никаких ненормальностей не представляет. Черепная коробка недоразвита и неправильной формы. Лицевая сторона представляет из себя род складок, происшедших вследствие складки ушных раковин (дающих впечатление глаз), под ними имеется хрящевое образование, предназначенное, очевидно, для нижней челюсти, под которым имеется слепое отверстие (создающее впечатление носа). Под этими, т. е. складками, на расстоянии двух сантиметров имеется бородавчатое возвышение с волосами по бокам. Впечатление лица происходит исключительно вследствие случайно происшедших складок, вследствие недоразвития хрящей и вообще черепной коробки. Никаких оснований предполагать, что поросенок имеет человеческое лицо и голову, не имеется».

Закключение

Теперь от себя скажу, что легенда о родившемся черте, конечно, не миновала и моего слуха, я, например, знаю и такие подробности: в деревне Следово Смоленской губ<ернии> жена б<ывшего> военного комиссара Петра Васильевича Ермилина, Акулина, потихоньку от мужа повесила на рожденного ею ребенка крестик, чтобы предохранить его от превращения в черта; знаю, что Смоленский черт был заделан в ящик и отправлен в Москву в музей... Знаю, что и вот эта кустарная деревня Тверск<ой> губ<ернии>, где я сейчас переписываю свою работу, – такая же: в любой избе стоит мне только заикнуться о родившемся черте, как мне откликнутся новыми бесчисленными вариантами. Но я ничего не хочу больше рассказывать, потому что, кажется, уж и так хозяин линий кривых в моей работе начинает перевешивать хозяина линий прямых. Удивительно, как легко и занято писать и читать о черте, но как трудно возбудить интерес в той области, где прямая считается кратчайшим расстоянием между двумя точками. Вот почему надо всемерно использовать отмеченный мною вначале широкий интерес в народных массах к науке, к этому «почему» Голубиной книги. Не нужно только узко понимать задачу и ограничиваться изданием «популярных книжек». Таких конференций, всякого рода съездов в Москве бывает сколько угодно, хватило бы только людей, умеющих интересно писать о них. Секрет же интересного описания я, кажется, уже здесь довольно ясно открываю: писатель добрых начал человечества не должен очень сердиться на черта, напротив, он должен так увлекательно писать о пользе науки, чтобы и сам черт записался в студенты. Вот, когда это случится, только тогда недоказуемое положение, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками, будет воистину доказано и перейдет из отдела аксиом в теоремы.

Жильцы

Всего только в одной версте от той деревни, где я живу, в другой деревне устроили сами крестьяне у себя электричество, приспособив для этого трактор как двигатель; сейчас там устраивается паровая молотилка, читают газеты, книги, вообще хорошо. Мне стоит только пройти версту, чтобы собрать материал для жизнерадостного очерка, но я не иду, потому что это будет выискивание материала. Удовольствие же писать «по градам и весям» состоит в том, чтобы писалось так же свободно, как частное письмо. Даже имена людей и прозвища я не переделываю, потому что как только станешь переменять имя, так перестает писаться свободно. А прозвища так прямо и невозможно переменять.

Так вот из-за этого, из-за близости материала, вечером я не смотрю на небо,

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
выискивая на нем рыжее пятнышко от электричества соседней деревни, а наблюдаю
возле себя.

Каждую ночь огонек 20-линейной «Молнии», привешенной над верстаком соседа моего, башмачника, через прогон тускло освещает и мою деревенскую хижину. Он работает башмаки пару за парой, иногда по трое суток подряд, засыпает на короткое время у своей липки, подложив под голову свой пиджак. В базарные дни, наработав целую корзину, он несет ее на голове так привычно, что не поддерживает даже рукой.

Глаза моего соседа выцвели от напряженной работы зрением, стали как снятое молоко и с непереносимой слезой, ветер как будто пошатывает кустаря, или походка его такая неровная оттого, что грудь колесом, как у гоночного велосипедиста. Мастер он недурной, выработал ценою всей жизни такие приемы, какие отличают его работу от работы соседа, и потому они с соседом знают только себя и свое ремесло: про них можно сказать, как о попах – «два попа в одном приходе, два котла в метке».

С крестьянами, теми русскими мужиками, которые веками выносили все ужасные невзгоды царизма, эти кустари имеют мало общего. Они гораздо ближе к своеобразному населению русских городских слобод. Эти кустарные деревни как бы продолжение Растеряевой улицы.

Мой сосед – человек, крайне придавленный жизнью и, кажется, туберкулезный, похож на живого мертвеца. Он занят мечтой выстроить себе новый дом. Бревна уже сложены перед его завалюшкой и над ними предохраняющий от дождя тесовый навес. Бессознательно, под лозунгом для себя самого, этот бедняк очень возможно строит его для такого чужого человека, как я.

За небольшую плату я снимаю новый выморочный дом в этой кустарной деревне, не чувствуя даже благодарности к покойному строителю: я расплачиваюсь аккуратно с комитетом взаимопомощи. В деревне я называюсь жильцом в отличие от хозяев, владельцев домов, и, конечно, как жилец, человек, избежавший необходимости строить дом для других, я непременно чужой и подозрительный человек.

Среди этих кустарей не все были неудачливые и честные в труде. Иногда на обувном деле можно было хорошо наживать, дело обувное во время войн было золотое дно для разживы, и только жилец по природе своей не делался хозяином мастерской. И хозяева, и работники в то время легко отрывались от невыгодного земледелия и селились на окраинах столиц. Перебираясь в столицу один за другим, они и селились там рядом, занимая целые улицы, как было в европейских средних веках. Однако аромат жизни, сопровождающий человеческий труд, не оставался, как в Европе, на городских улицах, даже напротив, в Москве улицы ремесленников одни из самых жалких – там нет даже и признаков искусства. Не потому ли в городе не оставалось искусства, что наш ремесленник был целиком во власти земли?

Городской ремесленник жил мечтой возвратиться в свою родную деревню, в новый прекрасный дом, который он выстроит себе на скопленные деньги: в этот деревенский дом уходила вся его ремесленная мечта. Строили даже и за глаза, были на местах особые подрядчики и строили их по московскому шаблону, деревянные, в два этажа, с голубятником. Иногда к дому присоединяется вычурная павильонная пристройка, иногда ореховая дверь с электрическим звонком, и вокруг дома, как в дворянских гнездах, на двухстах саженях лиловое карре в два ряда. Все, как у господ, ничего своего, но что из этого?

Так вот и создавалась деревня промышленного типа, законное дитя буржуазного города.

Было время, когда в такой деревне, где я живу, стояли только такие дома-призраки, а сами жители безвыездно жили в столицах. Бывало, тут кое-где живут старики, больные, какая-нибудь богомольная старая дева спасается – и больше никого. Революция выгнала хозяев из столиц, мастерские рассыпались, каждый хозяин сделался деревенским кустарем-одиночкой, проживая в нижнем этаже своего дома-мечты или позади его в маленькой избушке-зимовочке.

Казалось бы, места довольно и для всяких жильцов, но попробуйте тут снять себе квартиру, это будет, наверно, труднее, чем в Москве: ведь дом – это для кустаря всё, и как у настоящего художника есть непродаемая мечта, которую он бережет для себя, так и у кустаря свой собственный дом.

Особенно трудно было устроиться именно в этой деревне, составленной почти исключительно из прежних удачливых кустарей, хозяев мастерских. Жильцы этой деревни – страшные вестники грядущего наводнения жильцов из городка, в котором уже совершенно нет квартир.

Жильцы – это как бы одна партия, хозяева – другая. Мне, как жильцу, конечно, ближе они, и я расскажу о своей партии.

Прасковья – жилица

Эта женщина носит нам каждый день две кринки молока, она чуть ли не единственная в деревне занимается только земледелием. Другим земледелие невыгодно, кустари пашут с неохотой из-за страха перед неустойчивостью сбыта обуви. Иные для земледельческих работ держат «казачку», что тоже невыгодно. Только в сенокосе все кустари бросают башмаки, и это спасает их от окончательного разрушения своего здоровья. Еще есть земледельцы-старики, которые не могут шить башмаки по слабости зрения. Даже на глаз, без всякой статистики видно, что эти старики бодрее молодых. Так вот и Прасковья-жилица, старуха шестидесяти пяти лет, а все сама пашет, сеет, убирает хлеб, все сама. У нее были дети, выросли, помогли и отходили на свое отдельное житье, один пропал в Красной Армии. Был у нее и муж, но бросил ее с детьми, сошелся с другой, пробовал вернуться, но Прасковья его больше к себе не пустила. Взясась она за жизнь не в своей деревне, а вот здесь у нас как жилица, да так вот и вся жизнь прошла, но память деревенская крепка: и посейчас Прасковья называется и признается как жилица.

Раз уже человек занимается земледелием, то хоть сколько-нибудь земли, все ее не хватает, потому что каждому хочется, чтобы земля была получше и поближе к дому. Со старухи же на седьмом десятке и спрашивать нечего, если глаз ее метится к запущенному участку усадебной земли какого-нибудь кустаря. Попросится у него попахать, тот согласится. Старуха подымет новь, соберет урожай. А хозяин смотрит на нее из окна и рад-радешенек: когда самое трудное сделано, земля стала мягкая, он отбирает ее у старухи и обсеивает сам для себя. Тогда Прасковья начинает у другого, и другой хозяин поступает совершенно, как первый. Из этого получается что-то вечное, и Прасковья, не в пример нам, другим легким жильцам, жилица вечная..

«Бандит»

При моем домике, в котором я теперь живу, есть избушка, вроде бани, по правде сказать, очень скверная и такая дырявая, что в иных местах между венцами можно руку просунуть, а внутреннее пространство было занято на три четверти глупой огромной дымящей печью. Но в домике перегородки не доходили до потолка, там невозможно было уединиться от своих буйных ребят. Избушка разрешала все трудности моего положения; это мой писательский кабинет. Все это мне пришлось рассказать на сельском сходе, потому что в этой избушке с женой и ребенком в то время жил человек, которого все называли бандитом.

Изложив все о необходимости иметь кабинет, я сказал, что домик могу снять только с избушкой, но вот там сидит человек..

– Ничего, – ответили мне, – его через две недели расстреляют. И кто-то шепотом рассказал мне о каком-то его темном деле с ограблением военного склада.

– Непременно расстреляют, – сказал этот человек.

– А если простят? – спросил я.

– Тогда сошлют.

– Нет, если совсем оправдают, может быть, он совсем и не виноват, бывает же так. В таком случае, кто будет его выселять, вы или я?

– Мы выселять не будем... да не беспокойтесь, верное дело. Через две недели ему будет крышка.

Конечно, я понял, что мною пользуются для выселения неудобного жильца, вышибают клин клином, но желание иметь отдельный кабинет было так сильно, что я согласился и подписал договор.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Правда, на другой же день «бандит» уехал в Москву на суд, а его жена, как мне передавали, стала уже складываться, перебираться на житье к матери. Но не успела она собраться, как вдруг возвращается «бандит», очень веселый, совершенно оправданный.

Так я и попался в ловушку, заплатив вперед за целый год.

Заливное из судака

В одном журнале я уже подробно писал об этой жилище, что она называется монашка или сестрица, что она предсказывает судьбу людей, раскрывая Евангелие, помогает укрываться беременным девушкам и часто спасает внебрачных детей. В отношении извлечения средств существования эта высокая, живая старуха очень хитрая. Дальше все сказка. Сюда она пришла будто бы из темного леса, где какой-то «святой» человек, умирая, благословил ее на житье в его келье. Там она будто бы и жила до революции. Однажды в ее часовенку пришел большевик, страшный рыжий человек, лампы все загасил, растоптал ногами, расшвырял всю часовню по бревнышку, сжег иконы и книги. Одним словом, глупая поповская выдумка. Так вот эта старуха далеко прославилась своими гаданиями, и у нас она, наверно, тоже имела бы очень большой успех, если бы не теснота, если бы она для своего творчества могла иметь обеспеченное уединение. Поселилась она в точно такой же зимовочке, о которой я мечтал для своего, тоже уединенного, писательского дела. Но хозяева ее, хитрейшие люди, следили за каждым ее шагом, встречали и провожали, выспрашивая каждого проходящего к ней человека. И, разузнав всю подноготную, опасаясь как бы не вышло им чего худого от этой старухи, стали ее притеснять и выживать. Но старуха упорно боролась. Я еще в прошлый год записал себе первое возникновение легенды о прокуроре. Во время одной очень сильной атаки хозяев с целью выселить гадалку немедленно она вдруг заявила им, что сегодня с вечерним поездом приедет из Москвы ее крестник, главный московский прокурор. Хозяева оробели. А вечером гадалка встречает у себя прокурора, беседует с ним на два голоса, сама громко жалуется ему на хозяев, прокурор же тихо поддакивает: «Подожди, подожди, я им покажу!». Так всю ночь беседовала, а с утренним поездом еще в темноте отправила прокурора в Москву и сама его на вокзал проводила.

Действие ночного диалога было чрезвычайное: не только квартиру оставили старухе, но даже лошадь дали дров привезти из леса. А мы долго еще смеялись по поводу того, как она одурачила хозяев своим несуществующим прокурором. Но вот самое интересное дальше, что происходит в течение года моих наблюдений. Чем больше старуха пользуется легендой о прокуроре, тем больше она сама верит в него, а хозяева привыкают и перестают бояться. Ведь у хозяев накапливается все больше и больше фактов против старухи, они тоже со своей стороны могут кое-что доказать прокурору.

Развязка вышла как раз через год, в день именин сестрицы. Конечно, на именины крестной должен был приехать и прокурор с разными другими важными лицами судебного мира. От нас была взята вся посуда. Все свои съедобные сбережения старуха пустила в ход на изготовление прокурорского обеда. Помню, огромную роль в этом обеде играло заливное из судака. И вот что удивительно, ведь это у нас в доме готовилось заливное, мы же знали всю историю возникновения легенды о прокуроре, между тем во время приготовления судака монашка несколько раз повторила: «Он (прокурор) еще маленьким мальчиком больше всего любил это заливное из судака».

Да, старуха в это время верила, что прокурор к ней на именины приедет. Но хозяева до того обнаглели, что, улучив время, когда монашка пошла на вокзал встречать прокурора, дочиста съели все заливное из судака. Из-за этого «заливного» скандал был ужасающий. Старуха прокляла дом и сама добровольно на другой же день исчезла в какую-то другую страну творить свои призраки.

Старуха удалилась, конечно, потому, что оскорблен был уже сам прокурор.

Костяная яичница

Слесарь Томилин, как страстный охотник, горой стоит за меня. Его положение как жильца самое прочное, потому что мастерство его полезно в деревне. Однако деревенская молва не пощадила и слесаря. Известно, что куница любит зимой попробовать дикого меда; сунется в рой, пчелы все на нее, она – в снег, поморозит пчел и обеспечит себя на всю зиму сладостью. Томилин, охотясь за куницей, сделал это открытие и стал таким способом каждую зиму через куниц запасаться медом. Кроме меня, в деревне этому никто не верит, и все считают

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
Томила воров специально медовым. За эту славу Томилину имеет на общество такой зуб, что не побоится другой раз и правду в глаза сказать.

Есть еще жилец Жук, хотя и башмачник по ремеслу, но не здешний: все делает на клею, скоро, продает сделанное дешево на базаре и тут же вместе с женой пропивает. Таких мастеров называют «художниками». Живет этот Жук в такой завалюшке, что в дождь может спастись от мокроты только в печке. И, собственно говоря, живет именно в печке. Ко мне питает уважение безмерное.

К своей же партии я причисляю одного маленького обувного комиссионера, прозванного за скупость «Костяная яичница».

Есть еще один старик, пуговицами торгует на базаре, не то баптист, не то евангелист, ищет такую религию для всех людей, чтоб никак уже не признавалось войны и убийства. Все его слова не имеют в деревне никакого признания, и когда он проходит по улице, то крестьяне презрительно говорят вслух: «Вот святитель пошел».

Есть у меня еще верный человек и замечательный мастер Волков, совершенно безногий, одну ногу пришлось отнять по правде, а другую будто бы доктор Борис Васильич подравнял для удобства. Был он самый горчайший пьяница с Хитрова рынка, в полном смысле слова босяк, обувной мастер, зимой даже ходил босиком и оттого лишился ноги. Вот когда он лишился ноги, то с ним совершился полный душевный переворот, он вернулся в свою избенку и сделался замечательным мастером и запойным читателем. Он и сам обладает замечательным языком, к сожалению, речь свою пересыпает известными русскими ругательствами. Он весь целиком крепко стоит не только за меня одного, но и за всех жильцов.

Тоже большой любитель чтения Елизар Наумич Баранов, так и прозываемый «Читатель». На почве религиозных сомнений он принялся читать книги и, скоро уверившись, что Бога нет, выписал себе «Безбожника» и все стены у себя оклеил яркими антирелигиозными картинками. Дня не пройдет, чтобы он не забежал ко мне.

Вот, кажется, и все жильцы и их сочувствующие.

Примечания

1 Здесь и далее в квадратные скобки заключены слова, зачеркнутые в рукописи. – Ред.

2 Об иконе «Иван-Осляничек» записано мною в с. Брыни, Калужск. губ., со слов Татьяны-Одинокой: «Иван-Осляник обидящий снимает обиды человеческие». После я узнал, что существует икона св. Христофора с ослиным лицом и сказание о нем: св. Христофор, прекрасный лицом, смиряя себя перед Господом, выпросил себе звериную голову. По моему предположению, Иван-Осляничек и св. Христофор – одно и то же: св. Христофор у русского народа превратился в Ивана.

3 Кокора – лесной выворотень.

4 Ставить пограничные столбы.

5 Выражение «быть чепчиком», т. е. проводить молодую девушку на бал, до сих пор сохранилось в глубине России и происходит, вероятно, от дословного перевода французского *Chaperoner*.

6 У меня потеряны мои записки, и не могу наверно сказать, что это медуница или другая какая-то трава применяется для изготовления краски.

7 Тезисы докладов отпечатаны, и их можно достать в Орг-бюро Ц. П. О. при Госплане (Воздвиженка, 5, комн. 46).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://prishvinmihail.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

Цвет и крест. Михаил Михайлович Пришвин prishvinmihail.ru
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!